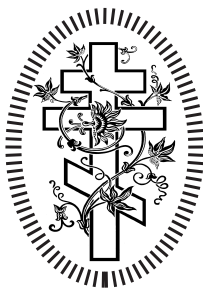


МИХАИЛ КАТКОВ



**ИДЕОЛОГИЯ
ОХРАНИТЕЛЬСТВА**

РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ



РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Серия самых выдающихся книг великих русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения:

Св. митр. Иларион	Филиппов Т. И.	Хомяков Д. А.
Св. Нил Сорский	Гиляров-Платонов Н. П.	Шарапов С. Ф.
Св. Иосиф Волоцкий	Страхов Н. Н.	Щербатов А. Г.
Иван Грозный	Данилевский Н. Я.	Розанов В. В.
«Домострой»	Достоевский Ф. М.	Флоровский Г. В.
Посошков И. Т.	Григорьев А. А.	Ильин И. А.
Ломоносов М. В.	Мещерский В. П.	Нилус С. А.
Болотов А. Т.	Катков М. Н.	Меньшиков М. О.
Пушкин А. С.	Леонтьев К. Н.	Митр. Антоний Храповицкий
Гоголь Н. В.	Победоносцев К. П.	Поселянин Е. Н.
Тютчев Ф. И.	Фадеев Р. А.	Солоневич И. Л.
Св. Серафим Саровский	Киреев А. А.	Св. архиеп. Иларион (Троицкий)
Муравьев А. Н.	Черняев М. Г.	Башилов Б.
Киреевский И. В.	Св. Иоанн Кронштадтский	Митр. Иоанн (Снычев)
Хомяков А. С.	Архиеп. Никон (Рождественский)	Белов В. И.
Аксаков И. С.	Тихомиров Л. А.	Распутин В. Г.
Аксаков К. С.	Соловьев В. С.	Шафаревич И. Р.
Самарин Ю. Ф.	Бердяев Н. А.	
Погодин М. П.	Булгаков С. Н.	
Беляев И. Д.		

МИХАИЛ КАТКОВ

**ИДЕОЛОГИЯ
ОХРАНИТЕЛЬСТВА**

МОСКВА
Институт русской цивилизации
2009

Катков М. Н. Идеология охранительства / Составление, предисловие и комментарии: Климаков Ю. В. / Отв. ред. О. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2009. — 800с.

В книге представлены основные труды великого русского мыслителя и государственного деятеля – Михаила Никифоровича Каткова. В 1850–1880-х годах он был одним из главных вдохновителей и организаторов русской национальной политики, вождем и идеологом охранительного движения. Мужественно противостоя натиску революционеров и либералов, Катков сыграл значительную роль в сохранении незыблемости самодержавия и укреплении исторических начал русского государства. «Национальная Церковь в России есть Церковь Православная, – говорил он, – и никакая иная не может быть русским национальным учреждением». «Во внешней политике мы должны знать только интересы нашего Отечества и руководствоваться в наших делах только долгом перед судьбами России».

Помимо своих трудов Катков оставил после себя плеяду национальных мыслителей и публицистов (Л. А. Тихомиров, Ю. Н. Говоруха-Отрок, В. А. Грингмут и др.), продолжавших дело своего учителя.

Ряд произведений Каткова публикуется в настоящем издании впервые после 1917 года.

ISBN 978-5-902725-18-3

© Институт русской цивилизации, 2009.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Михаил Никифорович Катков родился 1 ноября (здесь и в дальнейшем все даты приводятся по старому стилю) 1818 г. в Москве* в семье мелкого чиновника. Отец его Никифор Васильевич Катков, из костромских дворян, внезапно скончался, когда Мише было всего 5 лет. Рано лишившийся отца, он вместе с младшим братом Мефодием всем своим воспитанием и начальным образованием обязан любви и самопожертвованию матери – грузинке Варваре Акимовне, урожденной Тулаевой. Семья бедствовала. И чтобы прокормить детей, Варвара Акимовна была вынуждена работать надзирательницей в пересыльной тюрьме. Не раз возвращался потом Михаил Никифорович мыслью к тем незабываемым годам своего детства... Он теряет мать уже почти 32-летним человеком. Один из современников так запечатлел облик этой женщины: «Женщина добродетельная, отменно строгих правил. Катков женился (1853 г.) только после ее кончины, зная, что мать не даст самостоятельности его жене. Любила же она его так, что когда, бывало, он придет со службы и разбросает свое платье, она, убирая за ним, все перецелует»**.

Исключительно хлопотами матери ее 11-летний Михаил был определен на учебу в Преображенское сиротское учили-

* Некоторые исследователи указывают другую дату дня и года рождения Каткова – 6.XI.1817 г. См.: *Ванеян С. С. Катков М. Н. // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь.* – Т. 2. – М., 1992.

** Из Записной Книжки «Русского архива»: М. Н. Катков // *Русский Архив.* – 1912. – № 3. – С. 450.

ще, а в 1831 году принят в первоклассный пансион профессора М. Г. Павлова, где сумел подготовиться и к поступлению в Московский университет. Об этом периоде жизни напишет он в 1866 г. в одном из своих исповедальных писем к Александру II: «Обстоятельства моего развития заключили меня в сферу чисто умственных интересов. Годы моей молодости протекли почти в отшельническом уединении. Весь преданный занятиям умозрительного свойства, я не принимал участия ни в каких делах, ни в каких практических интересах и был чужд всему окружавшему»*. Время учебы Каткова в университете (1834–1838) совпало с особым этапом в развитии русского образованного общества, когда увлечение науками и искусством стало всеобщим, глубоким и искренним, а изучение различных философских систем превратилось в подлинный культ. В жизни же Московского университета это было «строгановским временем» – блестящей страницей в истории этого учебного заведения. После назначения в апреле 1834 года министром народного просвещения графа Сергея Семеновича Уварова и в июле 1835 года новым попечителем Московского университета – графа Сергея Григорьевича Строганова – сразу же усилилось финансирование университета. Были значительно обновлены учебные пособия и улучшено качество преподавания. Известный благотворитель граф Строганов вообще близко к сердцу принимал все, что касалось нужд вверенного ему учебного заведения. Совершенно особая атмосфера воцарилась тогда и в студенческой среде. «От этого периода веяло молодостью, свежестью и бесконечной привлекательностью идейных увлечений. Что-то сердечное вносилось в умственную жизнь. Тогдашняя интеллигентная молодежь с презрением относилась и к практическим идеалам личного блага, которые, когда появляются слишком рано, наполняют душу эгоизмом и личным расчетом. Это была, с ее точки зрения, жалкая проза, которой не стоило заниматься. Наука, по выражению одного из современников, не приобрела еще в глазах учащихся характера скучного и утомительного проселка,

* РГАЛИ. – Фонд № 262. – Ед. хр. № 1. – Лл. 2–3.

полезного только для того, чтобы поскорее выехать в надлежащий чин служебной иерархии», – напишет позже один из первых биографов Каткова Семен Григорьевич Щегловитов*. Немало знаменитых общественных деятелей, ученых и литераторов дала та студенческая среда России. В 1837 г. Катков сближается с В. Г. Белинским. Их знакомство быстро перешло в большую личную дружбу. «Он полон дивных и диких сил, и ему предстоит еще много, много наделать глупостей. Я его люблю, хотя и не знаю, как и до какой степени. Я вижу в нем великую надежду науки и русской литературы. Он далеко пойдет, далеко, куда наш брат и носу не показывал и не покажет», – писал о своем младшем по возрасту друге Белинский В. П. Боткину**. «Изо всех нас только на Каткове останавливаешься с радостью и гордостью», – пишет он Боткину в другом своем письме***. Белинского, однако, очень беспокоили уже проявившиеся тогда сложности катковского характера. «Ты натура глубокая, но пока еще и дикая, и кипучая. Ты в страшном переделе, и, признаюсь, твоя нервность заставляет меня бояться за тебя... Мне понятны твои дикости, и я еще больше люблю тебя за них», – сетует он Каткову****. На первый взгляд может показаться, что для их взаимоотношений было характерно влияние более старшего и опытного Белинского. На самом деле влияние было обоюдным, что подтверждает все та же переписка Белинского: «Катков передал мне, как умел, а я принял в себя, как мог, несколько результатов «Эстетики»*****. Боже мой! Какой новый, светлый, бесконечный мир!»*****. Уже позже будет ссора, взаимное охлаждение, а потом и разрыв...

У Белинского Катков знакомится с поэтом Алексеем Кольцовым, тепло принимают его в семействе актера М. С. Щепки-

* *Неведенский С.* Катков и его время. – СПб., 1888. – С. 3.

** *Белинский В. Г.* Полное собрание сочинений: В 13 томах. – Т. 11. – М., 1956. – С. 509.

*** Там же. – С. 522.

**** Там же. – С. 436–437.

***** Речь идет о работе Г. Гегеля.

***** *Белинский В. Г.* Полное собрание сочинений... – Т. 11. – С. 387.

на. Произошло и близкое знакомство Каткова с А. И. Герценом и М. А. Бакуниним. И кто знал тогда, что пути-дороги этих трех даровитых молодых людей затем также разойдутся, более того, они станут злейшими врагами!

Белинский, Катков, Бакунин, К. С. Аксаков, Боткин, С. М. Строев, Т. Н. Грановский, Я. М. Неверов, И. П. Клюшников и др. являлись в то время активными участниками знаменитого кружка Н. В. Станкевича. Николай Владимирович Станкевич! Русский мыслитель, общественный деятель, поэт. Одна из интереснейших фигур в истории русской культуры. Человек огромного личного обаяния и бескорыстия. «Он был нашим благодетелем, нашим учителем, братом нам всем, каждый ему чем-нибудь обязан», – позднее вспомнит историк Грановский*. Участников кружка объединил интерес к философии, истории и литературе и отвращение к крепостничеству. После отъезда в 1837 г. Станкевича за границу главным лицом в кружке становится Белинский. Белинский старался привить своим друзьям идею необходимости саморазвития и независимости мышления, что особенно нравилось Каткову. Изучали труды Ф. Шеллинга, И. Канта, Г. Гегеля, строго разбирали произведения Пушкина, Лермонтова и других современных поэтов. Разговор был всегда заинтересованный, горячий. Расходились далеко за полночь... Между участниками кружка однако вскоре начались взаимные трения и недоразумения. В июне 1840 г. на квартире Белинского произошла дикая сцена: ссора Каткова с Бакуниным, перешедшая в потасовку, в ходе которой Катков дал Бакунину две оплеухи. Причина – сплетня, которую Бакунин распустил об отношениях Каткова с первой женой Огарева – М. Л. Огаревой. Была уже назначена дуэль. Лишь дружными усилиями Белинского, Боткина, Панаева и др. конфликт был улажен.

Окончив с отличием словесное отделение философского факультета Московского университета, Катков начинает активно сотрудничать в петербургских и московских журналах, где появляются его первые рецензии, литературно-

* Цит. по кн.: *Станкевич Н. В. Избранное.* – М., 1982. – С. 4.

критические статьи и переводы. Еще на студенческой скамье он вместе с другими сокурсниками перевел с французского языка сочинение О. Демишеля «История средних веков», изданное М. П. Погодиным (М., 1836) и принял участие в составлении и редактировании сборника лекций профессора И. И. Давыдова. Книга вышла в свет под заглавием – «Чтение о словесности» (М., 1837). Катков переводит с английского отдельные акты трагедии Шекспира «Ромео и Юлия», появившиеся в «Московском Наблюдателе» (1838., № 1; 1839., № 1). Позднее уже полный перевод шекспировского творения помещен в «Пантеоне русских и европейских театров» (1841. Кн. 1). Эта шекспировская трагедия в переводе Каткова шла на сценах московских и петербургских театров в 1841–1842 гг. Особенно много в период 1837–1840 гг. он потрудился над переводом на русский язык художественных произведений И. Гёте, Ф. Рюккерта, Г. Гейне, Ф. Купера. Можно привести немало авторитетных свидетельств высокого качества этих переводов. Но вот только один факт: стихотворение Генриха Гейне «Гренадеры». В переводе Каткова это произведение в дореволюционной России сделалось наиболее известным и перешло затем в хрестоматию. В 1838 г. в майских и июньских книгах редактируемого Белинским журнала «Московский Наблюдатель»^{*} Катков поместил перевод статьи Г. Т. Рётшера «О философской критике художественного произведения» с собственной вступительной статьей о значении философских взглядов на произведения искусства. Эта публикация, посвященная эстетике Гегеля, впервые познакомила русскую публику с творчеством великого немецкого философа. Михаил Никифорович также предполагал тогда написать и издать большую биографию Г. Гегеля, но по какой-то причине так и не осуществил свой замысел.

В 1839 г. Катков переезжает в Петербург и становится постоянным сотрудником журнала «Отечественные записки». С сентября 1839-го по май 1840 года он ведет здесь библио-

^{*} В издании журнала принимали участие А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Е. А. Баратынский и др.

графический отдел. Помимо регулярно появлявшихся библиографических заметок и рецензий на новые книги здесь опубликованы и его первые крупные литературно-критические работы. Наибольший интерес у современников вызвали следующие статьи: «Песни русского народа, изданные И. Сахаровым» (1839., № 6), «Разбор книги А. Зиновьева «Основания русской стилистики по новой и простой системе» (1839., № 11), «История древней русской словесности. Сочинение Михаила Максимовича» (1840., № 4), «Сочинения в стихах и прозе графини С. Ф. Толстой» (1840., № 10) и др. Они сразу же обратили на себя внимание читателей глубиной мысли и красотой и великолепием литературного слога. «Преобладание мысли в определенном и ярком слове есть отличительный характер статей Каткова и высокое их достоинство. Я читаю его статьи с особенным уважением, наслаждаюсь ими и учусь мыслить», – писал тогда Белинский*. В статьях видно сильное влияние в то время на Каткова философии Гегеля. По мысли автора, например, в песнях русского народа раскрывается таинственная сущность русского духа, а литература отражает различные направления развивающегося духа и т.д. В этих ранних статьях уже ярко проявилась и другая черта Каткова-автора: горячий патриотизм, глубокая вера в творческие силы русского народа и искренняя религиозность.

Все эти годы, однако, Михаил Никифорович постоянно находился в стесненном материальном положении: работать приходилось до изнеможения, а гонорары от статей почти полностью уходили на помощь пожилой и прибалывавшей матери и младшему брату, готовившемуся к поступлению в Московский университет. Один из его товарищей много лет спустя будет вспоминать, как, долго живя на одной квартире с Катковым, чуть не каждую ночь уговаривал его не засиживаться за работой до истощения сил, а однажды буквально спас, застав заснувшим за письменным столом над догоравшей свечой, от которой уже тлел рукав его одежды**.

* *Белинский В. Г.* Полное собрание сочинений... – Т. 11. – С. 509.

** См. журнал: *Нива*. – 1887. – № 31. – С. 775.

В 1840 году Михаилу Никифоровичу удается выехать для продолжения образования за границу. Он побывал в Бельгии, Франции, полтора года слушал лекции в Берлинском университете. Его очень гостеприимно приняли в доме почитаемого им немецкого философа Шеллинга, где он стал почти своим человеком. Будучи за границей, Катков опубликовал в «Отечественных записках» еще две большие работы: «Германская литература» (1841., № 3, 5 и 6) и «Первая лекция Шеллинга в Берлине» (1842., № 2).

Вернувшись в начале 1843 года в Россию, Михаил Никифорович особенно почувствовал свое одиночество. Прежние друзья из окружения Белинского отвернулись от него. Причина – постепенное увлечение Белинского революционно-демократическими идеями. Правда, произошло некоторое сближение Каткова со славянофилами. Он посещает салон А. П. Елагиной. Но и славянофильство не нашло отклика в его душе. «Я здесь молчу и только слушаю. Там слышишь, что Россия гниет; здесь, что Запад околевает, как собака на живодерне; там, что философия цветет теперь в России и надо бы держать ее как можно далее от жизни, заключить ее в формулы, чтобы толпа не смела в нее вмешиваться; здесь, что философия есть не более как выражение немецкого филистерства*». Собственно говоря, человек этот в общественном плане всегда был очень одинок, никогда не причисляя себя ни к одной из партий или политических группировок...

Чтобы добыть средства к существованию, Катков стал давать уроки русского языка, литературы и истории детям князя М. А. Голицына, владельца села Никольское близ Москвы. Одновременно он хлопочет о поступлении на государственную службу, решив испытать себя на чиновничьем поприще. Планы Каткова изменила его личная беседа с графом Строгановым, убедившим молодого человека целиком отдаться научной и педагогической деятельности. В 1845 году Катков блестяще защитил магистерскую диссертацию «Об элементах и формах славяно-русского языка» – один из пер-

* Катков М.Н. Письмо к А.Н. Попову // Русский Архив. – 1888. – № 8. – С. 482.

вых в России трудов, положивших начало филологическим исследованиям по истории нашего отечественного языка. В московской университетской типографии работа была издана в виде отдельной книги. Цель труда, как сказал сам автор в предисловии, «уяснить элементы, из коих сложились речения и развились формы языка русского»*. В том же 1845 г. Катков получил место адъюнкта в Московском университете на кафедре философии. Молодой ученый преподает логику и психологию – предметы эти были совершенно новыми в университете, и студенты с интересом принимали его лекции. «Через минуту показался на кафедре высокий блондин, лет около тридцати, худощавый, бледный, со спокойным выражением в умных светло-серых глазах. Многим было известно, что, оставшись в детстве бедным, круглым сиротой, этот даровитый молодой человек обязан был во всем лишь своей энергией. Многие знали его как автора талантливых критических статей в «Отечественных записках», как переводчика прекрасных стихов «Ромео и Юлии» Шекспира; стиль его и тогда уже выдавался своей оригинальностью и выразительностью, а в кружках Станкевича, Грановского, Герцена, Хомякова, Аксаковых – на Каткова смотрели как на серьезную молодую силу. Катков начал свою речь без малейшего смущения, спокойным, твердым и настолько громким голосом, что все отчетливо слышалось в аудитории... Образное вступление возбудило живейшее внимание в слушателях; лекция, полная интереса, прослушивалась сочувственно и закончилась рукоплесканиями, прекратить которые бессильными оказались все старания добрейшего инспектора», – так описывает первую лекцию молодого преподавателя один из очевидцев**. В 1847 г. в Московском университете появился новый преподаватель – Павел Михайлович Леонтьев, недавно вернувшийся из Берлина, где прослушал курс лекций Шеллинга. Павел Михайлович станет для Каткова самым близким и преданным другом. Почти двадцать лет их неразрывно будет соединять совместная дея-

* Цитируется по: Отечественные Записки. – 1845. – № 8. – С. 61.

** *Бороздин К.* Памяти М. Н. Каткова // Новое Время. – 1887. – 27 июля. – С. 1.

тельность. Примечательно, что дружба их началась с беседы о христианстве. Христианство было и последнею их беседой, когда Михаил Никифорович в марте 1875 года читал у изголовьившего друга Евангелие от Иоанна.

Казалось бы, Михаила Никифоровича Каткова ждала размеренная научная карьера университетского профессора, но судьба распорядилась иначе. В 1850 году в Московском университете была упразднена кафедра философии, и он опять оказался без средств к существованию. По совету графа Строганова он хлопочет о месте цензора в Москве, но в начале 1851 г. открылась вакансия редактора «Московских ведомостей», и в марте 1851 г. это место было предоставлено Каткову. Его материальное положение несколько улучшилось, ведь редактору издававшейся при университете газеты полагалось несколько сотен рублей содержания с прибавкой по 25 коп. с подписчика и казенная квартира. Газета быстро оживилась. Новым редактором был введен в ней постоянный литературный отдел. Значительно активизировалось сотрудничество в качестве авторов известных московских профессоров и писателей. В результате число подписчиков на газету заметно увеличилось. Начинаящего редактора чрезвычайно радовало то обстоятельство, что деятельность его оценивается обществом по достоинству. В 1851 году произошла и большая перемена в его личной жизни. Катков женился на княжне Софье Петровне Шаликовой, дочери писателя П. И. Шаликова. Продолжали появляться и его весьма заметные научные труды. В 1851 и 1853 гг. в издававшемся в Москве периодическом научном сборнике «ПроPILEИ» опубликованы «Очерки древнейшего периода греческой философии», задуманные Катковым как докторская диссертация. В 1853 году «Очерки» вышли в Москве и отдельной книгой. На большом историческом и философском материале автор попытался здесь реконструировать и истолковать в шеллингианском духе весь досократовский период развития древней философии. Труд этот сразу же был замечен в периодической печати, вызвав самые разнообразные отклики ученых коллег. Но Катков все больше

начинает осознавать, что его главное общественное служение в жизни все-таки публицистика.

Крымская война и полная драматизма смерть Николая I превратили наше общество, по меткому выражению А. Ф. Писемского, во «взбаламученное море». Парижский мирный трактат 1856 года никого не удовлетворял. Враждебные России западные державы рассматривали его лишь как первый шаг к окончательному разгрому русского государства. Уже вынашивались планы замены государственного устройства России и дальнейшего ее расчленения на мелкие государственные образования. В те годы в Европе стали называть нашу страну «колосс на глиняных ногах». Но страшнее внешней опасности была нарождавшаяся внутренняя смута.

Именно в 50-е годы наиболее отчетливо выявляется основная беда русской жизни – глубокая рознь между властью и значительной частью образованного общества. Александр II знал: нужны основательные реформы, чтобы обновить страну. А времени для проволочек история уже не оставила. В эту тревожную пору во всю силу раскрывается ярчайший публицистический дар Михаила Никифоровича Каткова. В мае и июне 1855 года он подает министру народного просвещения две докладные записки. Катков просил исходатайствовать ему высочайшее разрешение на издание журнала под заглавием «Русский летописец». «Должно желать, чтобы образование наше укреплялось, чтобы все более и более прояснялся собственно русский взгляд на вещи; чтобы русский ум также сверг с себя иго чуждой мысли, как уже сверг иго чужого слова; чтобы наша литература, созревая и обогащаясь, могла доставлять удовлетворение всем умственным потребностям русского человека», – писал он в одной из записок. Говоря о программе предполагаемого издания, он написал: «В настоящих обстоятельствах, напоминающих великую эпоху двенадцатого года, мы не имеем ни одного издания в роде «Вестника Европы» и «Сына Отечества», с которыми связано столько патриотических воспоминаний. Умы всех заняты теперь великой борьбой, из которой Бог поможет нашему Отечеству выйти с такой же

славой, как и в ту вечнопамятную эпоху. Было бы желательно, чтобы благородное одушевление, ныне господствующее в нашем обществе, нашло особый орган и в литературе. Вследствие сего издание, предполагаемое в Москве, состояло бы из двух существенных отделов, политического и литературного»*. После различных проволочек и рогаток, в том числе и со стороны руководства Московского университета, опасавшегося, что новый орган печати повредит «Московским ведомостям», разрешение на издание журнала наконец было получено. Правда, первоначальное название его было изменено на «Русский вестник». От редактирования «Московских ведомостей» Катков вынужден был отказаться.

«Русский вестник» стал выходить с начала 1856 года. Среди ближайших сотрудников издателя-редактора были объявлены П. М. Леонтьев, Е. Ф. Корш и П. Н. Кудрявцев. Журнал быстро становится центральным органом, объединившим весь цвет тогдашней российской интеллигенции, включая корифеев как славянофильства, так и либерального западничества. Активными авторами журнала стали такие, казалось бы, несоединимые публицисты, писатели и ученые, как Д. А. Милютин, Б. Н. Чичерин, К. П. Победоносцев, К. Д. Кавелин, И. К. Бабст, Н. Х. Бунге, И. В. Вернадский, А. Н. Пыпин, С. Т. Аксаков, С. М. Соловьев, Н. С. Тихонравов, И. Е. Забелин, Н. А. Любимов, М. Е. Салтыков-Щедрин, Марко Вовчок, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, В. С. Курочкин, Ф. И. Буслаев и многие другие. Главный редактор Катков выступает в поддержку начавшихся в стране преобразований, организует широкое обсуждение самых злободневных вопросов российской жизни. Вскоре начались и очень острые столкновения журнала с цензурным ведомством. Благодаря умелому подбору сотрудников и хорошей постановке беллетристического отдела «Русский вестник» становится самым популярным журналом в читательской среде. К 1862 году тираж его достигает

* М. Н. Катков как редактор «Московских ведомостей» и возобновитель «Русского вестника» (Письма его к Никитенко) // Русская Старина. – 1897. – № 12. – С. 573–574.

5700 экземпляров*. Здесь были напечатаны лучшие произведения того времени: «Казачи», «Поликушка», «Война и мир» («Тысяча восемьсот пятый год»), «Анна Каренина» Толстого; «Накануне», «Отцы и дети», «Дым» Тургенева; «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина; «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы» Достоевского. Также активно сотрудничали с журналом и Островский, Лесков, Писемский, А. К. Толстой, Мельников-Печерский, Фет, Майков и многие другие выдающиеся мастера слова.

В «Русском вестнике» появляется и первая программная статья Каткова о роли искусства в жизни общества – большое исследование «Пушкин», опубликованное в нескольких номерах за 1856 год (№ 1–3). Сознательное и бессознательное в творчестве, прекрасное в искусстве, знание и поэзия, наука и искусство, художник и общество – вот далеко не все вопросы, затронутые в этой статье, так и оставшейся, к сожалению, не завершённой. Она появилась в самый разгар острой полемики между Н. Г. Чернышевским и А. В. Дружининым о целях искусства, наследии Пушкина, о так называемом «пушкинском» и «гоголевском» направлениях и развитии отечественной литературы. Михаил Никифорович занял в этой полемике особую позицию, заявив, что известный лозунг «искусство для искусства» в литературной критике пытаются толковать слишком упрощенно и превратно. «Требуйте от искусства прежде всего истины... Каждый в мире стоит за своим делом, и каждый при том служит орудием одного великого общего дела. Не заставляйте художника браться за «метлу», как выразился Пушкин в стихотворении «Чернь». Поверьте, тут-то и мало будет пользы от него. Пусть, напротив, он делает свое дело; оставьте ему его «вдохновение», «его сладкие звуки», его «молитвы». Если только вдохновение это будет истинно, он, не заботьтесь, будет полезен», – таково было кредо Каткова**. Анализируя пушкинское творчество, Катков, в частности, отметил, что «в поэти-

* Цифра дана по изданию: Русская периодическая печать (1702–1894). Справочник. – М., 1959. – С. 341.

** Русский вестник. – 1856. – № 2. – С. 313.

ческом слове Пушкина пришли к окончательному равновесию все стихии русской речи»*.

В огромном наследии Каткова пушкинской теме принадлежит особое место: Александр Сергеевич всегда оставался его любимым поэтом, о котором он увлеченно писал и говорил в самые различные периоды своей жизни. Не случайно первым его трудом, напечатанным в 1839 г. в «Отечественных записках», стал перевод статьи К. А. Фарнхагена фон Энзе «Сочинения А. Пушкина». В предисловии «От переводчика» Катков одним из первых в нашей литературе высказывает мысль, что Пушкин – «поэт не одной какой-нибудь эпохи, а поэт целого человечества»**. Большой общественный резонанс вызовет речь Каткова на торжествах по случаю открытия памятника Пушкину в Москве, в которой он призвал всех русских писателей забыть старые распри и соединиться под «Пушкинским знаменем». Закончил свою речь он словами знаменитой застольной песни Пушкина: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» Вспомним, что именно Катков опубликовал известную «Пушкинскую речь» Достоевского... Ряд интересных работ посвятил Катков и творчеству Кольцова, Тургенева, Достоевского.

В конце 50-х годов XIX столетия в связи с подготовкой крестьянской реформы в печати активно обсуждался вопрос о возможности упразднения или сохранения русской крестьянской общины. Проблема эта в глазах представителей различных политических течений России была очень принципиальной. Западники связывали существование сельской общины с определенными историческими обстоятельствами, преимущественно с развитием крепостного права, и приводили доводы об экономической несостоятельности общинного владения. Славянофилы же, как и революционные демократы, видели в сельской общине будущее России. В 1858 г. в «Русском вестнике» появится большая статья Каткова «Русская сельская община». Признавая нелепость и вредность общинного владения, Михаил Никифорович в то же время высказался против

* Там же. – С. 320.

** Отечественные записки. – 1839. – № 5. – С. 4.

насильственной ломки многовекового сельского уклада. «Мы полагаем, что каковы бы ни были обстоятельства, выработанные историей и образующие собою какое-либо общественное положение, задача состоит не в том, чтобы сломать и разбросать их, а чтоб уметь ими воспользоваться для лучшего духа и открыть в них намеки на лучший смысл. Истинное развитие совершается не ломкой и уничтожением, а преобразованием, которое пользуется бережно всеми элементами, необходимыми в действительности»*. По мысли автора, разумным было бы сочетание различных форм собственности в сельской экономической жизни.

В 1862 г. Катков вместе с Леонтьевым приобретают в аренду газету «Московские ведомости». Очень скоро усилиями Михаила Никифоровича слабенькая университетская газета становится заметным явлением в отечественной журналистике. С 1861 года Катковым стала издаваться и газета «Современная летопись», сначала как приложение к «Русскому вестнику», а с 1863 г. – к «Московским ведомостям». Здесь дается анализ современных событий как российской, так и международной жизни, будь то политическая, экономическая или культурная жизнь. Издание «Русского вестника» сделало имя Каткова известным всей России, а после страстных выступлений «Московских ведомостей» в защиту русских государственных интересов во время польского восстания 1863–1864 гг. и вызванных этим событием серьезных для России международных осложнений имя главного редактора и издателя «Московских ведомостей» приобрело европейскую известность. В газете были раскрыты тогда истинные причины разразившегося польского кризиса. «Польша постоянно была средством, а не целью для других государств. По удачному выражению Гизо, Польша постоянно служила средством для других государств, но не была целью; все заботились о том, чтобы Польша не исчезла совершенно, но никто серьезно не думал об ее восстановлении», – писал он в «Московских ведомостях» 12 марта 1863 г. (с. 1). В другой статье он отмечал: «Польское восстание

* Русский вестник. – 1858. – Т. 17. – Кн. 1. – С. 189.

вовсе не народное восстание: восстал не народ, а шляхта и духовенство. Это не борьба за свободу, а борьба за власть, – желание слабого покорить себе сильного. Вот почему средством польского восстания не может быть открытая честная борьба. Как в семенах своих, так и в своем развитии оно было и есть интрига и ничего более. Если эта интрига имела значительный успех, то лишь потому, что она нашла у нас благоприятную для себя почву»*. В те дни газета расхищалась нарасхват, и каждый ее номер с очередной катковской «громовой передовицей» зачитывался буквально до дыр. Политическая ситуация становилась все напряженней. Коалиция европейских государств предъявила России ультиматум – ей вновь угрожали войной! И то, что подавляющая часть общественности с полным пониманием отнеслась к предпринятым Императором Александром II во время польского кризиса решительным мерам, – одна из несомненных заслуг Каткова. К его словам уже не могли не прислушиваться даже в европейских кругах.

Во многом рост популярности Каткова был связан с его недюжинным публицистическим даром. Он мастерски владел словом. «Как публицист или собственно как стилист, он не имел себе равного между своими современниками, может быть, в целой Европе», – пишет историк Д. И. Иловайский**. Некоторые выражения Каткова, такие, например, как «разбойники пера и мошенники печати», становились поговорками. Классическое воспитание и образование помогли ему выработать умение мыслить логически и последовательно, ясно и полно излагать свои идеи. О своеобразии мастерства Каткова-публициста писало «Новое Время»: «Катков удивительно искусно владел еще одним качеством, неоценимым в публицисте, особенно русском. Он умел сто раз возвращаться к одному и тому же вопросу, никогда не повторяясь, каждый раз умел сказать что-то новое»***. Проблемы административно-

* Московские ведомости. – 1863. – 15 июня. – С. 1.

** *Иловайский Д. М. Н. Катков. Историческая поминка // Русский архив. – 1897. – № 1. – С. 140–141.*

*** Новое время. – 1887. – 28 июля. – С. 2.

го устройства, бюрократизма, чиновничьи злоупотребления, крестьянский вопрос, литература, искусство, наука, печать, религия, самоуправление, судебное дело, торговля, промышленность, учебное дело, финансовые вопросы, внешняя политика... – трудно назвать темы, к которым бы не обращалось острое перо этого мыслителя. Все, чего бы Катков ни касался, он пытался решать с позиций национально-государственных интересов России.

В 1862 году на страницах «Русского вестника» напечатана его статья «К какой принадлежим мы партии?», где впервые достаточно четко формулируется концепция государственного патриотизма, которой Катков будет придерживаться в течение всей своей публицистической деятельности. «Мы никогда не искали чести принадлежать к какой-нибудь из наших партий, мы никогда не соглашались быть органом какого-нибудь кружка. Ни звание прогрессиста, ни звание консерватора не заключало в себе ничего для нас пленительного...»*. «В чем состоит истинное назначение охранительного начала? В чем заключается сущность и цель прогресса? Истинно прогрессивное направление должно быть в сущности консервативным, если только оно понимает свое назначение и действительно стремится к своей цели. Чем глубже преобразование, чем решительнее движение, тем крепче должно держаться общество тех начал, на которых оно основано и без которых прогресс обратится в воздушную игру теней. Все, что будет клониться к искоренению какого-нибудь существенного элемента жизни, должно быть противно прогрессивному направлению, если только оно понимает себя. Всякое улучшение происходит на основании существующего; этому учит нас природа, во всех своих явлениях и формациях...»** «Чуткий, понимающий себя консерватизм, не враг прогресса, нововведений и реформ; напротив, он сам вызывает их в интересе своего дела, в интересе хранения, в пользу тех начал, которых существование для него дорого; но он с инстинктивной заботливостью следит за про-

* Русский вестник. – 1862. – Т. 37. – № 2. – С. 835.

** Там же. – С. 839.

цессом переработки, опасаясь, чтобы в ней не утратилось чего-либо существенного. Истинно-охранительное направление, в сущности, действует заодно с истинно-прогрессивным»*. Постепенно освобождаясь от либеральных увлечений, Михаил Никифорович приходит к выводу о полной бессмысленности копирования Россией западной общественно-политической модели развития. Именно этот его открытый отказ исповедовать идеологию либерализма и будет расценен людьми из окружения Герцена и Чернышевского, а также бывшими друзьями-западниками как «ренегатство» и «карьеризм». Он беспощадно раскрывал всю ложь и грязь «подражательных» преобразований, всегда придерживаясь принципа: открыто говорить о нелицеприятных вещах. Рост популярности публициста увеличивал и число его врагов, причем не только в кругах либеральной интеллигенции, но и в самых высоких правительственных сферах. Его смелая критика «государственных воров» и высокопоставленных царских сановников нередко приводила к тому, что спасти публициста от мести сильных мира сего приходилось уже самому царю. Так случилось, например, в 1866 г., когда во время острой и непримиримой конфронтации Каткова с министром внутренних дел П. А. Валуевым, после трех строгих цензурных предупреждений газете и отстранения Михаила Никифоровича от редакторства, потребовалось личное вмешательство Александра II. Подобных случаев было немало. И здесь можно согласиться с одним из авторов суворинской газеты «Новое Время», К. Бороздиным, который в 1887 г. написал: «Катков оставался до конца недремлющим стражем двух принципов: целостности и единства нашего Отечества и незыблемости государственного, самодержавного строя, выработанного самим народом русским. В деятельности своей проявлял поразительную отзывчивость на все совершающееся в каждом, даже самом захолустном и отдаленном уголке нашей территории; глаз его всюду заглядывал. Именем его пугали все темное, нечистое, к нему приносились отовсюду апелляции на всякую кривду, как бы высоко она ни совершалась, и знали, что

* Там же. – С. 843.

его ничто не заставит молчать и утаивать истину»*. С Михаилом Никифоровичем Катковым в русскую жизнь пришло такое совершенно новое понятие, как политическая печать. Иловайский отмечает: «Первейшая и важнейшая заслуга Каткова заключалась в том, что он, можно сказать, создал политическую печать в России и поднял ее на степень общественной силы, с которой должны были считаться не только наши собственные, но также и иностранные официальные сферы. Помощью своего искусного пера и постоянно возраставшего авторитета он делал доступным для русской печати обсуждение таких явлений и сторон нашей жизни, которых помимо его печать прежде едва дерзала касаться. В этом отношении он долгое время служил как бы регулятором для русской печати, и многими сделанными ею завоеваниями она обязана именно Каткову»**.

Справедливости ради, упомянем, однако, и следующее. Увеличению числа недугов публициста способствовали и некоторые черты характера Каткова: он очень трудно сходилась с людьми. А страстность, которую он вносил в обсуждение политических коллизий и ситуаций, переносилась и на все другие вопросы – будь то экономика или вопросы литературы и искусства. Допускались и чрезмерная резкость, и крайне искусственные обобщения фактов, а порой и предвзятость. Как редактор «Русского вестника» Катков отличался непреклонностью в спорах с авторами, редко шел на компромисс. Известно, что по его требованию Тургенев был вынужден внести изменения в роман «Отцы и дети», а Достоевский – переработать некоторые главы «Преступления и наказания». Именно такая чрезвычайная жесткость и привела руководителя журнала к конфликту с Л. Н. Толстым и Н. С. Лесковым, которые позднее прекратили с ним всякие отношения. Французский литератор Шарль де Мазад, видевший Каткова во время своего приезда в Россию, составил весьма любопытный словесный портрет публициста: «Это бурный темперамент в мягкой оболочке. С

* Бороздин К. Памяти М. Н. Каткова // Новое время. – 1887. – 27 июля. – С. 1.

** Иловайский Д. М. Н. Катков. Историческая поминка // Русский архив. – 1897. – № 1. – С. 140.

поблекшим лицом, со светло-русыми волосами, с голубыми, почти светлыми глазами, с внешностью вообще скромной и задумчивой, Катков соединяет неукротимые страсти, страшно нетерпимый и подозрительный дух, упрямство, повергающее его в раздражение и гнев при противоречии, антипатии, не останавливающиеся ни перед чем^{*}. Но многие действительно разумные и полезные для русского государства и общества предложения Каткова в эпоху Александра II, к сожалению, так и остались гласом вопиющего в пустыне.

В самом начале своего царствования Император Александр II заявил о намерении обратить все народные силы на мирное внутреннее развитие. Но жизнь привела к другому исходу. В кругах русской интеллигенции возобладало нигилистическое направление как начальная ступень в развитии крайних социалистических идей. С конца 50-х годов в Россию при явном попустительстве чиновничьих сфер самыми различными «подпольными» путями в изрядном изобилии стали доставляться экземпляры герценовского «Колокола», сеявшего самые разрушительные антимонархические идеи. Несмотря на видимый «запрет» герценовской пропаганды, только ленивый мог не приобрести тогда эту газету. Вскоре она стала пользоваться непомерно большим влиянием во всех сферах российского общества. Ее читали студенты, офицеры, чиновники, гимназисты, министры... Читали даже в царском окружении. Под видом критики злоупотреблений и недостатков умело внедрялись в массовое сознание антипатриотические космополитические доктрины. Герцен, по выражению современников, «царил в России». Среди творческой интеллигенции даже стало модой паломничество к Герцену в Лондон. «Окруженный другими эмигрантами и поклонниками из России, кадившими ему, превозносившими его ум и значение, он вскоре признал себя, – весьма серьезно, – способным руководить судьбами России и судить обо всем безапелляционно. К нему стекались жалобы, брань, клевета, интрига, подчас случайная

^{*} Цитируется по: *Неведенский С.* Катков и его время. – СПб., 1888. – С. 243–244.

правда, но зауряд обильная неправда, которую так широко плодит сознание безответственности и бесконтрольности», – будет вспоминать то смутное время князь Николай Петрович Мещерский*. Но по какому-то сановному недомыслию упоминать имя Герцена в официальной печати и отвечать на его обвинения строго запрещалось...

Лето 1862 года... В Петербурге начались какие-то подозрительные поджоги. Пожары планомерно возникали то тут, то там, грозя опустошить всю столицу. Началась паника. Все искали злоумышленников. Полиция лишь разводила руками. Но в народном сознании эти «таинственные явления» прочно связывали с деятельностью нигилистически настроенной молодежи. В 23-м июньском номере «Современной летописи» появляется статья Каткова, содержащая прямой намек, что охватившие весь Петербург поджоги – одно из логических следствий разрушительной герценовской пропаганды. Михаил Никифорович тогда еще не решился назвать имя и фамилию лондонского сидельца. «Они пишут и доказывают, что «Россия есть обетованная страна коммунизма, что она позволит делать с собой что угодно, что она стерпит все, что оказалось нестерпимым для всех человеческих цивилизаций. Они уверены, что на нее можно излить полный фиал всех безумств и всех глупостей, всей мертвечины и всех отседов, которые скопятся в разных местах и отовсюду выброшены, что для такой операции время теперь благоприятно и что не надобно только затрудняться в выборе средств»**. Вскоре в «Русском вестнике» Михаил Никифорович публикует обстоятельную антигерценовскую статью, где фамилия издателя «Колокола» упоминалась уже открыто***. Эти две статьи Катков напечатал на свой страх и риск, не посчитавшись с цензурными запретами! Они произвели в российском обществе впечатление разорвавшейся

* Мещерский Н. П. Воспоминания о М. Н. Каткове // Русский вестник. – 1897. – № 8. – С. 4.

** Современная летопись. – 1862. – № 23. – С. 12.

*** Заметка для издателя «Колокола» // Русский вестник. – 1862. – № 6. – С. 834.

бомбы. Н. П. Мещерский вспоминал: «Вдруг грянул гром. Среди раболопного безмолвия послышалась речь Каткова, твердая, мудрая, властная... Камень, брошенный мощной рукой, попал прямо в цель. Скудельный божок дал трещину с самой макушки до подножия. Вскоре новый удар – и божок рухнул в прах. Остались одни черепки. Как ни старались потом ему близкие склеить черепки, божка уже не удалось воскресить: черепки остались черепками. Лондонский кошмар исчез. Оставался тот же Герцен, печатался тот же Колокол, но значение его было утрачено – его не читали»*.

В 1854 году постоянным сотрудником журнала «Современник» становится Чернышевский. Осенью 1856 г. туда приходит Н. А. Добролюбов. Из журнала были выжиты Анненков, Боткин, Дружинин и др. Их место заняли Антонович, Елисеев, Михайлов. Сначала исподволь, а потом все более откровенно «Современник» начал пропаганду революционно-демократических и материалистических идей. В ответ на страницах «Русского вестника» Михаил Никифорович выступает целым последовательным рядом статей, направленных против литературно-общественной деятельности Чернышевского и его последователей, обвиняя их, в частности, в элементарном невежестве: «Старые боги и новые боги» (1861., № 2), «По поводу «полемических красот» в «Современнике» (1861., № 6), «Виды на entente cordiale** с «Современником» (1861., № 7) и др. «Свистуны» – так презрительно называл деятелей нового «Современника» Катков. А в 1862 г. Михаил Никифорович дал наиболее точную в нашей общественной мысли характеристику нигилизма и других революционных течений: «Отрицательное направление есть своего рода религия – религия опрокинутая, исполненная внутреннего противоречия и бессмыслицы, но тем не менее религия, которая может иметь своих учителей и фанатиков. В этом отрицательном догматизме прекращается всякая умственная производительность, исчеза-

* Мещерский Н. П. Воспоминания о М. Н. Каткове // Русский вестник. – 1897. – № 8. – С. 5–6.

** Сердечное согласие (фр.). Здесь и далее перевод ред.

ют все влечения истины и знания. Добиваться нечего: все решено, и все вздор. Религия отрицания направлена против всех авторитетов, а сама основана на грубейшем поклонении авторитету. У нее есть свои беспощадные идола»*.

Идеи Каткова послужили началом традиции критики русского нигилизма. Дело осложнилось тем, что с начала 1860-х гг. либеральную и революционную интеллектуальную среду стал активно заполнять так называемый третий элемент – недоучившиеся студенты, девушки-курсистки, мелкие земские служащие, статистики, газетные литераторы, начинающие адвокаты, учителя, бывшие семинаристы и т.п. – довольно многочисленный слой интеллигенции, «разночинной по происхождению, отщепенской по душевному складу, радикальной по направлению»**. Это были люди в большинстве своем полуобразованные. Непомерное всезнайство при отсутствии фундаментальных познаний, нетерпимость к противоположным убеждениям, озлобленность, неприятие никаких аргументов здравого смысла, экзальтированность – вот характерные их черты. Религиозные, политические, семейные традиции – ими все подвергалось жестокому глумлению, но слепо принималось на веру любое новомодное западное политическое учение, а на всякий сложный вопрос русской жизни находился готовый ответ из набора цитат-штампов по новейшим учениям. Распространению новых радикальных учений, к сожалению, очень способствовало то, что многие из реформ Александра II, проведенные под влиянием либеральных советников, не достигли задуманных результатов. Все это и привело в итоге к трагедии марта 1881 г. – гибели Императора. Главную вину за нее Михаил Никифорович возложил на антипатриотическую интеллигенцию в целом, по недомыслию которой случилось то, что должно было произойти: «Кроме сословий русского народа, в которых он весь, у нас еще гуляет на вольных пустошах Панургово стадо, бегущее

* Катков М. Н. О нашем нигилизме. По поводу романа г. Тургенева // Русский вестник. – 1862. – № 7. – С. 408–409.

** Бердяев Н. А. Духовный кризис интеллигенции. – М., 1998. – С. 67.

на всякий свист, покорное всякому хлысту, отрицательные величины цивилизации, мыслители без смысла, ученые без науки, политики без национальности, жрецы и поклонники всякого обмана. Оно нарождается и исчезает со всякой переменной погоды. Падает народный дух, оно нарождается; пробуждается он, это стадо исчезает»*.

С середины 1860-х гг. Катков активно ратует за утверждение в России системы классического гуманитарного образования. Поддержку идеи он находит у графа Д. А. Толстого, ставшего министром народного просвещения. Биограф последнего, историк В. Л. Степанов, пишет: «16 апреля 1866 г. «Московские ведомости» расценили назначение Толстого как подающее «много ободряющих надежд», а уже на следующий день министр обратился к Каткову за содействием. Катков немедленно откликнулся. Он был одержим проблемами образования, считал правильную постановку учебного процесса и идеологического воспитания юношества самым надежным средством для противостояния материализму и революционным теориям. Катков выступал за классическую систему обучения с ее концентрацией на «дисциплинирующих ум» древних языках при ограниченном преподавании естественных наук, которые, по его мнению, являлись питательной почвой для нигилизма. Катков сумел обратить в свою веру нового министра народного просвещения, он увидел в нем подходящего человека для осуществления собственных идей. Сотрудничество Каткова и Толстого оказалось весьма плодотворным. Они великолепно дополняли друг друга. Редакция «Московских ведомостей» превратилась в настоящий штаб по подготовке учебной реформы»**. В результате все преобразования в области просвещения в России 1860–1890-х гг. были проведены под идейным влиянием Каткова. 30 июля 1871 г. был утвержден новый устав гимназии, признававший только классические гимназии (с двумя древними языками) и прогимназии; реаль-

* Московские ведомости. – 1881. – 20 мая. – С. 2.

** Степанов В. Л. Дмитрий Андреевич Толстой // Российские консерваторы. – М., 1997. – С. 250–251.

ные гимназии были переименованы в реальные училища, поступление из них в университет было закрыто.

Однако внедряемая Катковым система образования вызвала резкое противодействие не только в либеральных кругах русского общества, но и в консервативно-монархической среде. Ожесточение против Каткова и проповедовавшейся им «строгой дисциплины классического образования», с обязательным изучением древних языков и логики, ощущалось в те годы даже в высших государственных сферах. Если разобраться, в самой системе был заложен глубокий гуманистический смысл. Знакомство с героями древнегреческой и древнеримской литературы закладывало в души учеников сознание собственного достоинства, уважение к другой личности и чувство гражданского долга перед государством. А взаимно дополнявшее друг друга и составлявшее единое педагогическое целое углубленное изучение вместе с логикой и математикой древнегреческого, латинского, церковно-славянского, немецкого и французского языков приучало гимназистов к собранности, способствовало приобретению уже со школьных лет навыков правильного научного мышления. Ведь именно классическая система образования создала в XIX веке такую громкую славу университетам Германии! Но в России почему-то проявившиеся недостатки классических гимназий сразу же приписывались всей системе в целом. Сказались и ошибки, допущенные организаторами учебной реформы. Катков чрезмерно связал вопрос о классической школе с политикой, а вместо разумной осторожности и постепенности при внедрении классических принципов в русскую учебную жизнь – реформу стали осуществлять слишком скорыми темпами. В результате на практике, при нехватке талантливых педагогов в российских гимназиях, изучение древних языков нередко оборачивалось все той же мучительной и занудной зубрежкой. Были даже случаи переутомлений и самоубийств гимназистов. Родители, отдававшие своих чад в гимназии, вполне искренне недоумевали: зачем заставляют их детей заучивать сложнейшие латинские склонения, спряжения и грамматические конструкции?! И

здесь достаточно справедлив упрек литературного критика и революционного демократа Писарева: «Те люди, которые не умеют выговорить имя заведения, конечно, не понимают того, какую пользу может принести их детям изучение двух мертвых языков. Дети этих людей поступают в такую гимназию, где преподаются эти языки. Ребята начинают думать, что изучение двух мертвых и очень трудных языков совершенно бесцельно и бесполезно. Они продолжают учиться, потому что так велено, но учатся неохотно, единственно для того, чтобы получить хороший балл в классе и на экзамене. При таких условиях уроки плохо идут в голову и забываются тотчас после того, как они сданы с рук»*.

Стремясь на деле доказать обществу преимущества классического образования, 13 января 1868 г. Катков основывает учебное заведение – Лицей цесаревича Николая, прозванный в народе «катковским лицеем» и ставший образцовым в России. Первым его директором был друг Каткова – профессор П. М. Леонтьев.

Неоднократно, на протяжении многих лет, выступает Катков против высокомерных притязаний немецких баронов в Балтийских провинциях, польских притязаний на Юго-Западную Русь, деятельности украинофильских сепаратистов, в защиту русской народности и православной культуры, славянского мира в целом. Но и здесь не обошлось без ошибок, допущенных русским мыслителем. И поэтому, воздавая должное заслугам и таланту публициста, историк Иловайский был вынужден все-таки отметить: «Тем ярче бросалось в глаза его отступление от строгого национального направления по отношению к вопросу Еврейскому. По-видимому, он не понимал или не желал понять всей важности для нас этого вопроса, при огромной массе еврейского населения в России и при его страшной эксплуататорской силе. Он горячо отстаивал Западную Россию от полонизма, но не хотел войти в ее безвыходное положение от экономического бича более

* Писарев Д. И. Педагогические софизмы // Полн. собр. соч.: В 6 т. – Т. 4. – СПб., 1894. – С. 463–464.

ужасного, чем полонизм, т.е. от еврейства. Он равнодушно смотрел на то, как эта туча надвигалась с Запада на центр и на Восток России, угрожая нашему Отечеству в будущем участью Речи Посполитой*.

С воцарением Александра III голос Каткова был, наконец, с полным пониманием услышан на самом верху государственной власти. Именно ему и К. П. Победоносцеву принадлежит текст известного манифеста 29 апреля 1881 г., положившего конец затянувшейся петербургской смуте.

В годы правления царя-миротворца «Московские ведомости» приобрели такое влияние, с которым вынуждены были считаться уже все. Никогда в России – ни до, ни после Каткова – консервативная газета не оказывала такого колоссального воздействия на весь ход государственных дел, как это происходило в те годы. Многие из осуществленного тогда на государственном уровне вначале появилось в виде предложений на страницах «Московских ведомостей». И с полным основанием в одном из писем Александру III Михаил Никифорович, рассказывая о своей газете, подчеркнет: «В ней не просто отражались дела, в ней многие дела делались»**. Катков стал идеологом почти всех реформ Александра III: «Положения об усиленной и чрезвычайной охране», «Положения о земских участковых начальниках», учреждения Крестьянского и Дворянского банков – для укрепления крестьянского и дворянского землевладений, разработки и принятия нового университетского Устава 1884 г. и др. Под влиянием Каткова и его сторонников Александр III отверг как славянофильские (земские соборы), так и либеральные проекты (пусть западного парламентаризма) государственного переустройства России, посчитав, что чтобы идти по пути Православия, Самодержавия и Народности, надо преобразовывать не внешние государственные учреждения, а внутренний склад духовной и нравственной жизни образованного общества и опираться-

* *Иловайский Д. И.* Катков. Историческая поминка // Русский архив. – 1897. – № 1. – С. 124.

** РГАЛИ. – Фонд № 262. – Ед. хр. № 1. – Л. 44.

ся на русский народ. Катковым был предложен также план социально-экономического переустройства пореформенной России, основными составляющими которого стали принцип «всесословности», опора на народную самобытность, бережное сохранение традиций и обычаев, ставка на государственный патриотизм и др.

Необходимым условием экономического процветания России и сохранения ею в будущем государственной самостоятельности Катков считал опору на всемерное развитие отечественного производства. «У нас есть все, чтобы средства морской и сухопутной обороны готовить дома: есть неисчерпаемые богатства железа, изготавливается сталь, есть громадные лесные полосы, залегают неистощимые пласты каменного угля. Нам ли обращаться за чужой помощью? У нас были и есть способности, есть и познания; нет только доброй воли... У нас недостает не столько познаний, сколько применения их, не столько рук, сколько дела, чтобы приложить их. Выходит так, что мы постоянно переплачиваем иностранцам большие деньги и содействуем росту их промышленности только потому, что не знаем своей и не хотим дать ей дела», – писал он в «Московских ведомостях» 17 ноября 1884 года.

Выступал Михаил Никифорович и против хищнического истребления лесов. Уже вскоре после его смерти последует издание лесоохранительного закона (1888 г.).

В другой своей статье Михаил Никифорович отмечает: «Нет страны богаче России по естественным условиям, но богатства наши остаются для нее бесплодными, только привлекая к себе алчность иностранной спекуляции, умеющей закрепить за собою и русские богатства, и русский труд. Богатства наши нейдут нам впрок*». Вновь и вновь он подчеркивал: «Мы не пользуемся нашими богатствами: вот где причина зла». Соблюдение принципа национальной экономической политики – главное в экономических предложениях Каткова. Еще задолго до сталинских большевиков человек этот выдвинул идею индустриализации России.

* Московские ведомости. – 1884. – 5 мая. – С. 2.

В области внешней политики России Катков всегда писал о необходимости самостоятельного и самосознательного направления, независимого от всяких посторонних внушений или влияний. В этом отношении очень показательна статья, появившаяся в «Московских ведомостях» 19 июля 1886 года: «Мы гораздо более можем способствовать обеспечению всеобщего мира, если мы в нашей политике будем самостоятельны, управляясь собственным чутьем и смыслом. Внося правду в наши отношения к другим державам, мы отрезвим одних и успокоим других; мы будем способны состоять не рабами, а поистине друзьями наших друзей. Только благодаря независимости, необходимой для государства как воздух для живого существа, мы можем различать врагов от друзей, и в токе событий, среди меняющихся обстоятельств, уразуметь, с кем приходится нам в данную минуту, по воле Провидения, идти вместе и против кого принимать предохранительные меры. Не отвлеченными принципами должны мы руководствоваться, а тем, что понятно говорит сердцу всякого, благом нашего Отечества. Россия, как и всякая подобная ей держава, есть живая индивидуальность, которая в самой себе имеет начала своего существования, своего разумения и своего образа действий... Руководиться в нашей политике пустой абстракцией вместо начала, действительно живущего в нашем народе, вместо духа, которым зиждется наше Отечество, есть одна из величайших ошибок, какими мы грешили в прошлое время. Тот только и может быть нам истинным союзником, кого ход событий сблизит с живыми и существенными интересами нашего Отечества, будет ли то президент Соединенных Штатов или богдыхан Китайский. Нам нет надобности справляться, в какую клетку помещают классификаторы то или другое правительство: мы должны знать только интересы нашего Отечества и руководствоваться в наших делах, в наших сближениях и разрывах только нашим долгом пред судьбами России*». Эти слова Каткова можно считать его политическим завещанием нашим соотечественникам.

* Московские ведомости. – 1886. – 19 июля. – С. 3.

При всем своем влиянии в эпоху Александра III Катков, которого называли то «раболепным царедворцем», то «орудием административно-полицейской реакции», до конца жизни, в сущности, так и остался ярким представителем оппозиции! «На моем необыкновенном посту я должен был непременно выдерживать ожесточенную борьбу. Правительственные лица мне недоброжелательствовали, я был неудобен для всех партий. У меня была одна защита – Государь, одно оружие – слово правды и разумения при личной ни в чем незаинтересованности и готовности ежеминутно отстаивать поприще. Свидетельствую Богом, что никаких назначений я не ищущу, как не искал никогда, и если мечтаю о чем-то, разве о том, чтобы на склоне дней возвратиться в уединение и тишину моей молодости, к занятиям, которых призыв никогда, даже в самые горячие минуты житейской борьбы, не умолкал в моей душе», – горько исповедуется он царю Александру III в письме от 18 февраля 1884 г.* Он всегда был тружеником-подвижником и даже самые непримиримые идейные противники Каткова признавали его искренность и бескорыстие в служении России.

8 марта 1887 г. в «Московских ведомостях» появилась передовая катковская статья, сыгравшая роковую роль в его дальнейшей судьбе. Она состояла из обвинений в адрес Министерства иностранных дел в несамостоятельности нашей внешней политики, потворстве пангерманским интересам. Излишне резкий тон публикации вызвал раздражение Александра III. И тогда влиятельная при дворе германофильская партия, желая поссорить царя с Катковым, организовала хорошо продуманную провокацию. Была пущена в свет дезинформация о якобы написанном Катковым и отправленном президенту Франции Жюлю Гриви тайном письме с указаниями, какие назначения в новое министерство будут приятны российскому правительству, а какие нет. Одновременно председателем парламентской палаты в Париже Шарлем Флоке было получено другое «письмо Каткова», где развязным и самоуверенным тоном утверждалось, что в нем – Каткове –

* РГАЛИ. – Фонд № 262. – Ед. хр. № 1. – Л. 49–50.

вся сила и влияние, и призывалось к разрыву с Германией, а Александр III, мол, «будет за Францию». Были организованы сообщения об этом в центральных французских газетах. Все это, естественно, очень умело было доведено до сведения Александра III. Измученный возведенной на него клеветой Катков попросил у царя аудиенции, желая объясниться. Но на этот раз Александр III его не принял. Тогда он поехал к министру иностранных дел Н. К. Гирсу, но и министр иностранных дел принять его отказался. Случившиеся неприятности совпали с первыми приступами смертельной болезни Каткова. Вернувшись в Москву, он окончательно слег. За публициста заступился К. П. Победоносцев. «Прежде всего оговариваюсь, что я нисколько не оправдываю Каткова и не извиняю его и не имею в виду его личного положения; но имею в виду то значение, которое приобрели вместе с лицом его «Московские ведомости»... Он стал предметом фанатической ненависти у всех врагов порядка и предметом поклонения, авторитетом у многих русских людей, стремящихся к водворению порядка... Вся сила Каткова в нерве журнальной его деятельности как русского публициста, и притом единственного, потому что все остальное – мелочь или дрянь, или торговая лавочка*». Лишь после смерти Каткова открылась правда. Проведенное расследование показало, что «письма Каткова» – фальшивка, а организатором интриги был грек К. Г. Катакази, чиновник Министерства иностранных дел.

О последних днях жизни Каткова оставил свидетельство близко знавший его Н. А. Любимов: «В последний раз я видел Михаила Никифоровича в среду, 1 июля. Тревожные известия побудили меня приехать из Петербурга навестить дорогого больного. Пробыв день в Знаменском и возвращаясь вечером в Москву, я простился с Михаилом Никифоровичем. Он полулежал в кресле у открытого окна, куда велел перенести себя, чтобы дохнуть свежим воздухом. Мы поцеловались. Он сказал несколько ласковых слов. Они были из числа последних, про-

* Письмо к Александру III // *Победоносцев К. П.* Великая ложь нашего времени. – М., 1993. – С. 490–491.

изнесенных им. Ночью в Москву тревожно приехал племянник Каткова, сообщивший, что вскоре по моем отъезде Михаил Никифорович лишился употребления языка. Речь так и не возвратилась до конца жизни. Ударил роковой час. Свеча погасла. Жизнь отлетела. 20-го июля 1887 года, в 4 часа 20 минут дня, на Руси не стало Каткова»*.

Смерть Каткова произвела сильнейшее впечатление на русское общество, эхом отозвалась в Западной Европе и во всем славянском мире. Из-за границы было прислано более тысячи телеграмм. На погребение съехалось множество зарубежных делегаций. В день похорон Каткова, 25 июля 1887 г., несмотря на проливной дождь, московские улицы и площади были заполнены народом, пожелавшим проститься с великим журналистом, литературным и общественным деятелем. «Сильное слово покойного мужа Вашего, одушевленное горячей любовью к Отечеству, возбуждало русское чувство и укрепляло здравую мысль в смутные времена», – написал С. П. Катковой Император Александр III**.

Как мыслитель, Михаил Никифорович Катков прошел большой и сложный путь – от умеренного западника-англомана до крупнейшего представителя консервативного направления русской общественной мысли. Провозглашенные славянофилами истины церковные и народные он дополнил идеей русской государственности, высшим выражением которой убежденно считал русское самодержавие – единственную, на его взгляд, надклассовую и стабилизирующую силу в обществе. Принципиальная позиция внепартийности, неприятие идеологии групповщины, стремление соизмерять каждый свой шаг с общенациональными нуждами России сделали Каткова публицистом государственного значения. Его огромное литературно-публицистическое и научное наследие не может не вызвать самых различных споров и еще ждет своих серьезных исследователей.

* Любимов Н. А. Михаил Никифорович Катков и его историческая заслуга. – СПб., 1889. – С. 356.

** Московские ведомости. – 1887. – 24 июля. – С. 1.

В настоящий сборник включены произведения Каткова, создававшиеся на протяжении всей его творческой жизни, и отдельные письма, характеризующие его как великого русского мыслителя. Материал выявлялся путем изучения и просмотра «Московских ведомостей», журнала «Русский вестник», а также других журналов, с которыми сотрудничал Катков или где позднее публиковались тексты его работ. Изучены выходившие до революции различные сборники произведений публициста. Большую помощь оказало изданное вдовой публициста – С. П. Катковой «Собрание передовых статей Московских ведомостей» (М., 1897–1898). При этом взятый за основу текст сверялся с источником первой публикации. В основу же распределения произведений в сборнике положен предметно-тематический принцип. В комментариях в конце сборника указываются первая публикация работы, источник текста, в необходимых случаях – обстоятельства создания и другие сведения.

Тексты печатаются в современной орфографии.

Климаков Ю. В.

РАЗДЕЛ I. ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА РОССИИ

Власть и общество

ВОПРОСЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ

– Все говорят, что наша государственная жизнь выработала очень мало таких учреждений, которыми можно было бы дорожить. С этим нельзя не согласиться, но, с другой, стороны из этого же следует, что тем бережнее должны мы обращаться с учреждениями, заслуживающими сохранения. Чем кто беднее, тем он должен быть бережливее, тем более должен он дорожить тем, что имеет, если не хочет в конец разориться. Мы бедны в государственной жизни: вот побуждение ценить наше небольшое политическое достояние, а не выбрасывать его за борт. Впрочем, все это относится к учреждениям, то есть к тем формам, по большей части случайным, которые придало у нас законодательство существующим элементам государственной жизни. Жаль, если хорошие из этих форм будут заменены новыми формами, которых достоинство еще сомнительно. Но главное дело заключается все-таки не в формах, а в элементах государственной жизни. Если то, что есть хорошего в учреждениях, заслуживает сохранения, если разумное преобразование должно ограничиваться устранением того, что есть недо-

статочного в учреждениях, и всячески остерегаться ненужной ломки, то относительно самых элементов государственной жизни законодательство, если бы и хотело предпринять ломку, оказалось бы бессильным исполнить свое намерение. Общественные формации не создаются предписаниями закона; они дело истории, результата продолжительного и сложного исторического развития; их нельзя переделать уставами. Они останутся как были: потерпит только устав, не принявший их в должное внимание; он будет мертвою буквой именно потому, что не воспользовался живыми элементами того общества, для которого написан. Хорошие учреждения, или то, что есть хорошего в учреждениях, надобно беречь из расчета, чтобы не тратить сил на перестройку частей здания, могущих обойтись без перестройки. А с общественными формациями надобно соображаться не только из расчета, но и по необходимости, потому что без соблюдения этого условия всякий закон будет существовать только на бумаге, и жизнь возьмет свое.

Едва ли при каком законодательном акте, не скажем только последних лет, а всего последнего столетия, имелось в виду развивать в России приказный порядок. Очень часто принимались даже меры, имевшие заявленной целью противодействовать расположению этого порядка. Но почти все эти меры остались на бумаге; они не подействовали на жизнь, не перешли в действительность и служат свидетельством лишь благих намерений законодателя. Почему это? Конечно потому, что, принимая эти меры, законодательство слишком полагалось на силу своих предписаний и недостаточно пользовалось теми действительными элементами русского общества, которые могли бы служить противовесом приказному элементу. Какие же это элементы? Пусть всякий переберет разные классы нашего общества и не только нашего, но и какого угодно общества; пусть он спросит себя, в каком классе общества могут быть найдены элементы, способные состязаться в деле управления с элементом бюрократическим, и он придет к тому заключению, что только землевладельческий класс способен вести общественные дела без чиновничьей опеки.

Как, закричат близорукие поборники равенства, вы говорите за монополию, вы хотите отдать всю власть в руки землевладельцев? Разве вы не знаете, что этим именем прикрывает себя теперь дворянство, эта каста, алчущая привилегий и помышляющая только о том, как бы восстановить крепостное право? Все это, позволим себе сказать, фразы, одни фразы. Вредная привилегия, которой пользовалось русское дворянство не вследствие какого-нибудь насильственного или коварного захвата, а вследствие государственной необходимости, привилегия, заключавшаяся в крепостном праве и под конец всего более вредившая самому дворянству, отменена государственной властью, которая установила ее в начале XVII века. Думать о восстановлении этой привилегии может только сумасшедший; дворяне, не потерявшие рассудка, думают совсем о другом; они думают об ограждении своей собственности и своих прав на законные повинности, следующие им с крестьян, и вообще об утверждении законного порядка в исполнении многочисленных сделок и договоров, которые составляют в нашем сельском быту явление совершенно новое, вызванное отменой крепостного права. Ничего другого по отношению к крестьянам не желают дворяне, не потерявшие рассудка, да если б и желали, то ничего другого не могли бы получить. Итак, о привилегиях и монополиях говорить нечего, а что дворяне желают утверждения законности, этому можно только радоваться. Одно из важнейших политических последствий законодательства 19-го февраля в том именно и состоит, что теперь дворяне принуждены желать законности, что они живо заинтересованы в деле законности и общественного благоустройства. Законодательство тем скорее может воспользоваться этим настроением дворянства, что в действительность этого настроения нельзя не верить: оно не причуда или мода, не уступка толкам о прогрессе, а следствие силы обстоятельств, дело кровной необходимости. Прежде помещик действовал произвольной властью; теперь, когда произвольная власть отнята у него, ему житья нет, если не соблюдается законность. Он стал обязательным поборником законности; он не может быть равнодушен к делу законности,

потому что в этом случае его равнодушие было бы равнодушием к собственному интересу. Всякий беспристрастный и здравомыслящий человек должен согласиться, что отмена крепостного права не уменьшила, а увеличила способность наших землевладельцев заниматься делами управления.

Итак, ссылка на крепостничество теряет теперь свое жало. Бывшие крепостники легко могут оказаться в скором будущем самыми полезными и самыми надежными членами общества в политическом отношении. Остается вопрос о равенстве, но это такой вопрос, которого с политической точки зрения почти стыдно касаться после бесчисленных опытов вредного применения этого начала в политике. Место равенства – в гражданском, а не в государственном праве. Здесь, как показывает повсеместный опыт, оно враждебно началу свободы. Не вдаваясь в теоретические рассуждения, мы обратимся к здравому смыслу читателей. Для примера возьмем не крестьян, между которыми волостные писаря пользуются только бесспорной властью; возьмем самый высший класс людей, не принадлежащих к классу землевладельческому или помещицкому. Пусть каждый купец скажет, могут ли купцы заведовать общественными делами, не подчиняясь влиянию канцелярии. Тут говорит не теория, а практика, самая осязательная. Приказный порядок господствует во всех присутственных местах, где заседают купцы. Выборные люди совершенно подчиняются секретарям, которым становится тем удобнее действовать, что они действуют за спиной присутствующих. Обвинять ли в этом наше купечество? Прогрессисты, пожалуй, припишут все это невежественности нашего купечества. Но эти невежественные люди довольно хорошо умеют заведовать своими торговыми делами, которые труднее и сложнее большей части общественных дел. Тут дело стало быть не в одной невежественности. Английские горожане не уступают в образовании английским помещикам, а между тем в Англии самоуправление идет успешно только в графствах, где оно в руках помещиков. Английские горожане, напротив, добровольно отказываются от права избирать городских чиновников и предоставляют это право короне. Они люди

практические и дорожат только теми правами, которые приносят действительную пользу. Они сами просят, чтобы должности, избирательные по закону, были замещаемы чиновниками по назначению правительства, и обязываются платить этим чиновникам хорошее жалованье, оставляя за собой только право контроля. Ту же самую неспособность торгующего люда к управлению публичными делами мы видим везде и во все времена. Везде он охотно сбывает эти дела из своих рук в руки чиновников, между тем как землевладельцы бывают обыкновенно свободны от такой склонности. Нельзя не согласиться с тем, что изо всех наших канцелярий всего менее самовластны канцелярии мировых съездов и мировых посредников.

Что же из этого следует относительно нашего уездного и губернского самоуправления? Никакие законы и никакие уставы не будут в состоянии ослабить приказный порядок управления и создать действительное самоуправление, если не воспользуются единственным общественным элементом, способным взять управление в свои руки и обойтись без канцелярской опеки, — элементом землевладельческим. Это не привилегия, даруемая землевладельческому классу; это не вознаграждение его за утраты, понесенные им вследствие освобождения крестьян; это обязанность на него возлагаемая, в его собственном интересе и в интересе всего земства. Тут нет ничего сословного; нет ничего и зависящего от произвола законодателя. Тут вопрос не о том, какой класс следует наградить или возвысить, а о том, какую следует избрать систему местного управления. Возможны только две действительные системы местного управления, и какие ни издавай уставы, одна из этих систем непременно всплывает наружу: или управление приказное, сосредоточенное в канцеляриях, или самоуправление посредством землевладельцев. Третьей системы быть не может, то есть не может быть в действительности, хотя на бумаге можно составить множество промежуточных проектов.

Многие опасаются, что передать местное управление землевладельцам значит водворить деспотизм одного класса над другими. Боже сохрани от такого ужаса! Но этого нече-

го опасаться, если только сохранить за местным управлением его настоящий характер. Становясь самоуправлением, оно не должно и не может становиться самовластием. Оно должно строго ограничиваться исполнительной частью, то есть применением законов. По применению законов круг его деятельности может быть обширен; оно может заведовать и судебными, и административными, и полицейскими делами, словом, может заведовать всем, что входит в сферу английского мирового суда или в сферу понятия о *puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit civil*^{*}, по Монтескье, но оно отнюдь не может касаться дел, имеющих законодательный характер. Предоставить дела этого рода одному из классов общества значило бы действительно водворить деспотизм этого класса. Но надобно иметь в виду, что дела этого рода не могут быть предоставлены и всеобщим местным собраниям или учреждениям, потому что это значило бы водворить деспотизм большинства, что было бы столько же нестерпимо.

Представим себе местное собрание, – все равно губернское ли или уездное, – составленное так, что все классы населения представлены в нем соразмерно своей численности и платимым ими податям. Почему бы, кажется, не предоставить такому собранию того влияния на раскладку земских повинностей, которое предоставляется земским собраниям по проекту устава земских учреждений? А между тем, если мы не ошибаемся, это было бы крайне опасно и повело бы к бесчисленным жалобам и процессам. В подтверждение этих опасений мы можем указать на официальную записку одного из наших высших сановников, вызванную этим самым проектом и излагающую неудобства раскладки повинностей, производимой земскими учреждениями не на основании точных определений закона. Основания раскладки – дело законодательное, подлежащее решению центральной законодательной власти, а не решению какого бы то ни было местного представительства, как бы равномерно оно ни было устроено. Местное собрание может производить раскладку на точном основании закона; тут

* Исполнительная власть в сферах, определяемых гражданским правом (фр.)

оно может действовать совершенно удовлетворительно, но для этого не требуется, чтоб оно равномерно представляло собой все местное население, а только требуется, чтоб оно состояло из людей наиболее способных и независимых в среде местного населения. То же самое можно сказать и обо всех других предметах, выходящих из области применения закона и входящих в область установления закона. Ни один из этих предметов не может быть предоставлен решением местного представительства, как бы оно ни было устроено. При всяком подобном деле решение зависело бы от большинства, и тут совершенно все равно, простое ли это большинство или большинство двух третей. Как в том, так и в другом случае оказалось бы меньшинство, несогласное с решением и находящее его противным своему интересу. В центральном представительстве интересы меньшинства ограждаются серьезными обеспечениями, положением центрального представительства в виду всей страны, существованием двух палат, верхней и нижней, наконец, необходимостью согласия короны как высшей представительницы справедливости и беспристрастия. Ничего подобного нет и быть не может в местном представительстве, и потому-то с государственным благоустройством несовместимо предоставление местному представительству дел, имеющих хотя отчасти законодательный характер. Если же устранить дела этого рода от влияния местных учреждений, то исчезнет всякий повод настаивать на несбыточном в политическом смысле требовании равенства всех сословий по управлению земскими делами.

НОВЫЕ РЕФОРМЫ

О нас заботятся, нас хотят устроить. Об этом узнаем мы из заметки, появившейся на днях в *Journal de St.-Petersbourg* и сообщаемой ниже. Мы узнаем, что где-то кто-то ожидал, что Россия для приобретения популярности сожжет великолепный фейерверк и воспользуется для этой цели патриотическим жаром своих народонаселений. В ответ на такие странные ожидания *Journal de St.-Petersbourg* замечает, что хотя Россия, при

всеобщем воодушевлении, собравшем все классы русского народа вокруг престола, легко могла бы поразить воображение масс и приобрести благорасположение общественного мнения в Европе какой-нибудь политической импровизацией, лишенной правды и жизни, но что ее правительство не поддастся на такие искушения, не пожертвует будущим настоящему, не пожертвует существенными интересами страны для приобретения эфемерной популярности. Мы рады, что *Journal de St.-Petersbourg* думает таким образом; но не напрасны ли эти отрицания предположений явно невозможных? Заслуживают ли всякие случайно сказанные нелепости такого серьезного и даже несколько торжественного объяснения? Стоит ли уверять, что правительство народа великого, исполненного силы и веры в свое историческое призвание, – народа еще так недавно показавшего такое беспремерное единодушие в защиту величия и целостности своего государства, такую мужественную преданность престолу, – что правительство этого народа может, хоть на минуту, употребить его в виде декорации, дать ему фальшивые учреждения, обмануть его доверие, оскорбить святое чувство его любви к Отечеству для снискания где-то популярности, для эффекта рассчитанного на воображение каких-то масс?

Правда, мы знаем, за последнее время в заграничной журналистике вдруг расплодилось проекты наилучшего устройства России. Мы читали превосходные предположения раздробить Россию на несколько государственных областей, снабдить каждую особым представительством и, таким образом, под видом прогресса произвести то, что может быть лишь последствием величайших бедствий, какие когда-либо поражали народ в полной силе и цвете жизни, – возратить могущественное, долго и трудно слагавшееся государство к скудным и жалким начаткам, когда его почти не было, или когда оно колебалось между жизнью и смертью, – наконец, говоря проще и решительнее, склонить его к самоубийству. Но все такие проекты нисколько не серьезнее разных ланд-карт Европы, проектируемых политическими аферистами для потехи публики и для уловления глупцов.

Откидывая в сторону разные нелепые и злоумышленные сочинения на пользу России, мы не можем не согласиться, что в наше время действительно есть вообще склонность к политическим сочинениям. Создавать (создавать!) учреждения, писать уставы и регламенты теперь особенно в моде. Люди всем затрудняются, над всем думают, при всем оглядываются; только по части сочинения и писания политических учреждений часто полагается достаточным иметь несколько отвлеченных мыслей, доброе желание да авторское самолюбие. Ввиду этой мании *сочинять* учреждения и проекты всякого рода реформ, заявления французской петербургской газеты имеют некоторое значение и заслуживают внимания. Нельзя не сочувствовать высказанному в ней убеждению, что наше правительство при совершении задуманных им законодательных мер будет идти путем «изучения желаний и потребностей страны». Этими словами сказано много. Лучше нельзя определить истинную задачу правительства, лучше нельзя обозначить путь, которым оно должно следовать, лучше нельзя выразить всеобщее, сильное, глубокое желание и потребности русского народа в настоящее время. Пойдите куда угодно, спросите кого хотите, везде услышите вы это желание. Нам кажется, что этими словами можно было бы и начать заметку и ими же кончить. В них вся сила, а оправдания правительства от нелепых предположений кажутся нам излишними. Точно так же не было, как нам кажется, надобности выставлять, в виде контраста, два обвинения, которым подвергалось наше правительство за границей: обвинения в социализме, демократическом направлении и революционном духе, с одной стороны, и обвинения в неумолимом сопротивлении прогрессу и свободе, с другой стороны. Мало ли каким обвинениям подвергается Россия или ее правительство? Но нам кажется, что если бы в Европе высказывались против нас вышеупомянутые обвинения, то в них нет никакой противоположности, и они могли выходить никак не с двух сторон, а только с одной. Социализм, демократизм, революционный дух, то есть дух разрушения и ломки, дух неуважения к существующему, к законным правам и интересам, дух насильственных перерывов

в развитии народа, дух грубого вмешательства в жизнь и порабощения ее сил отвлеченным формулам, – все это дух враждебный прогрессу и свободе; и, наоборот, что противно прогрессу и свободе, то непременно окажется в том или в другом виде и социализмом, и демократизмом, и революцией, – по крайней мере, неуклонно ведущим к революции. Против всех этих зол есть одно верное средство, и это средство кратко и просто, но выразительно и ясно заявлено в *Journal de St.-Petersbourg* словами, что правительство, понимающее долг свой, не иначе приступает к совершению преобразований, как с помощью тщательного «изучения желаний и потребностей страны».

В заметке очень справедливо сказано, что освобождение крестьян в России есть основное преобразование, которым неизбежно начинается целый ряд преобразований, объемлющих всю нашу государственную жизнь. Отмена крепостного права была делом самым трудным; но как трудно было приступить к этому великому делу, так трудно и остановиться на нем и не предпринять вслед за ним, как сказано, целого ряда других преобразований, не менее существенных и важных. Законодательный акт, которым совершено было освобождение крепостных, еще не перешел в область истории, а потому было бы преждевременно обсуждать и оценивать его и разбирать его достоинства и недостатки. Тем не менее, соображая значение и размеры этой реформы, ее особенности, ее характер и трудности, которые предстояли ей, мы не можем не сказать, что это трудное и великое дело совершилось благополучно. Чему же преимущественно были мы обязаны таким благоприятным исходом? Конечно, тому способу, который отчасти приняло правительство для решения этого вопроса, – тому способу, который отчасти подходит под характеристику, представленную в *Journal de St.-Petersbourg*. Вспомним, что это преобразование было первым шагом на новом пути, или, лучше сказать, им открывалась сама возможность этого нового пути, – что эта мера была задумана и приведена в исполнение еще при полном несмягченном господстве бюрократической системы, что, наконец, из всех возможных реформ отмена крепостного права, по преимуществу,

должна была иметь характер диктаторский, потому что в ней сталкивались противоположные интересы двух главных общественных элементов, двух коренных сословий государства. Как же, однако, правительство сочло себя обязанным поступить при разрешении этого вопроса? Припомним в общих чертах тот ход, который дан был этому делу. Во-первых, начинание предоставлено было не канцеляриям, а самому обществу, то есть тому общественному классу, который по преимуществу имеет характер политический, – землевладельческому дворянству. Вследствие заявлений землевладельческого дворянства были обозначены Верховной властью общие черты предполагаемой реформы. Затем разработка проекта во всех его частях и подробностях была предоставлена тому же самому политическому классу общества, и во всех губерниях составлены были дворянскими собраниями по крестьянскому делу комитеты для правильного обсуждения всех сторон предпринятого дела, а с тем вместе было допущено и обсуждение его в печати. При некотором содействии воображения можно сказать, что вся Россия, то есть вся политическая часть ее общества, превратилась тогда в громадное обсуждающее собрание, которое действовало посредством отдельных комитетов по губерниям, между тем как все остальное общество России следило за ходом работ и подавало свой голос в печати со всех концов страны, заявляя недоразумения, напоминая о том или другом забытом интересе, о том или другом упущенном обстоятельстве, возвращаясь много раз к одному и тому же пункту и доводя его до всевозможной ясности и зрелости представления. Исторические сведения, экономические расчеты, юридические вопросы, – все находило себе выражение, и все появлялось не в одиночку, не случайно, не монографически, а представляло до некоторой степени вид общих прений, в которых одно вызывается другим, одно другому отвечает, одно другим дополняется, и все вместе ведет к разъяснению дела во всех его основаниях и подробностях. Многим это было недостаточно; многие желали и в то время более обширного и плодотворного применения системы, принятой правительством при этом еще первом опыте

земской разработки законодательного вопроса. Правительство руководствовало прениями: иным казалось, что оно слишком руководствовало, что изданные для губернских комитетов программы были слишком подробны и слишком обязательны, что губернские комитеты действовали бы успешнее, если бы им предоставлена была большая свобода в действиях, – и что разнообразные интересы, соприкосновенные вопросу, высказались бы в печати откровеннее и полнее и тем содействовали бы более правильной и тщательной разработке его элементов, если бы не было недоразумений и перерывов, если бы гласное обсуждении вопроса не было слишком рано прекращено, и если бы редакционные комиссии не нашли нужным слишком плотно затворить свои двери. Многим казалось и многим еще кажется, что дело вышло бы гораздо лучше, если бы дан был полный ход принятой правительством системе, если бы дворянским депутатам, приглашенным в Петербург, дана была возможность принять более правильное и более деятельное участие в окончательном обсуждении дела. Не будем спорить с теми, которые так думали или так думают; но напомним им, что, как сказано выше, это был первый опыт общественной разработки законодательного вопроса; а главное – припомним то весьма важное обстоятельство, что политический класс нашего общества, землевладельческое дворянство, был в этом деле одною из заинтересованных сторон. Дворяне-землевладельцы были и адвокатами, и в некотором смысле судьями в своем деле. Из всех возможных вопросов, которые когда-либо возникали и когда-либо возникнут, отмена крепостного права есть вопрос исключительный в этом отношении. Правда, наше землевладельческое дворянство вполне заслуживало оказанного ему доверия. Если когда-нибудь, в чем-нибудь, то именно в этом вопросе оно обнаружило зрелость своего политического духа и полную способность составляющих его элементов послужить ядром политической жизни народа: вспомним громадность реформы, вспомним что она захватывала все интересы землевладельческого дворянства, колебала все отношения, разом изменяла все привычки, затрагивала все предубеждения, расшевеливала все страсти, возбуж-

дала всякого рода опасения, и сообразим, что землевладельческое дворянство наше тем не менее деятельно способствовало решению дела, и что оно же приводит его в исполнение, несет на себе всю тяжесть задачи мировых учреждений. Правда и то, что, несмотря на весьма естественный ропот и жалобы, главные двигатели крестьянского дела явились из среды самого же землевладельческого класса, и в прениях, которые шли по всей России по этому делу, горячие адвокаты крестьянских интересов нашлись в этой же среде. Тем не менее, однако, правительство не могло упускать из виду, что политический класс наш в этом случае представлял собой сторону тяжёлого дела, а потому нельзя и сетовать на некоторую, может быть, излишнюю мнительность и осторожность со стороны правительства при решении этого вопроса. Правительство, следуя указанию Верховной власти, действовало путем «изучения желаний и потребностей страны», но в этом вопросе оно весьма естественно считало себя обязанным поступать с крайней осторожностью и не ставило себе в грех излишнюю мнительность.

Но трудное дело совершено. Оно совершено с переходом России в новое тысячелетие. Оно легло гранью между окончившимся старым и открывшимся новым; оно заключило собой прошедшее, оно начало собой будущее. Черты прежней системы, весьма естественно, совместились в нем с чертами новой; но отныне полное развитие этой системы не может уже встречать никакого разумного препятствия. «Изучение желаний и потребностей страны» – вот эта новая система! Все заключается в этих немногих, но полновесных словах.

Теперь на очереди у нас находятся вопросы не менее, если еще не более важные, чем крестьянское дело. Укажем на то же, на что указывает и *Journal de St.-Petersbourg* в своей заметке, – на преобразование судоустройства и земских учреждений, и оставим в стороне все другие дела, в которых также нужно знать желания и потребности страны и в которых ее голос может также служить самым надежным и могущественным пособием. Судоустройство, – легко сказать! Как много заключается в этом слове! Проект хорошего судоустройства, конечно,

может быть составлен очень искусно и умно сведущими юри-
сконсультами. Судостроительство, равно как и судопроизводство,
принадлежит к самым разработанным вопросам, и проект, как
сочинение, может выйти очень удачным сочинением. Но нет
сомнения, что для страны требуется не устав судостроительства,
а самые суды. Устроить хорошо из существующих в стране
элементов хороший и удовлетворительный суд дело великое;
но для этого необходимо тщательное изучение средств желаний
и потребностей страны. Точно так же, а, может быть, еще и
более необходимо это изучение при устройстве местного само-
управления, которое имеется в виду в проекте так называемых
земских учреждений. Эта новая законодательная мера должна
проникнуть во все ячейки нашего политического тела и со-
вершенно изменить их строение. Представьте себе, что в одно
прекрасное утро мы вдруг проснемся в стране совершенно нам
неизвестной, – в России, но не в той, в которой мы уснули, а в
другой, которой мы вовсе не знаем. Один какой-нибудь неза-
метный элемент, не доложенный или переложенный разом во
всех клеточках нашего политического тела, может мгновенно
и самым коренным образом перестроить всю его конститу-
цию, – к лучшему или к худшему, Бог один знает. Как не по-
вторить, с особенным сочувствием, слова выше цитированной
заметки в *Journal de St.-Petersbourg*, что правительство при ре-
шении всех вопросов должно полагать своей главной задачей
«изучение желаний и потребностей страны»!

К нам иногда обращаются с вопросами, почему мы не до-
вольно деятельно обсуждаем разные приготавливаемые у нас за-
конодательные меры и проекты законов. Но что такое мы, и
каким образом, для чего, к чему будем мы обсуждать все эти
предметы? Газета – дело очень хорошее; в ней всегда может
быть сказано более или менее дельное слово. Но что она за
арена для обсуждения вопросов? Можно напечатать в ней раз-
бор того или другого проекта, можно напечатать в ней какой-
нибудь новый проект. Но что из этого толку? Что толку из этих
новых проектов, хотя бы их являлось по десятку в неделю? К
кому обращались бы эти проекты, или к кому обращались бы

эти замечания на проекты? С кем пришлось бы объясняться, чьи возражения выслушивать, кому отвечать? Неужели нет другого способа для обсуждения важных общественных вопросов, как только путем полемики между газетами? Неужели политическая жизнь общества, общественное мнение по законодательным и административным вопросам, должны быть исключительным уделом редакторов газет? И кто эти господа? Почему на них должна пасть забота об общественных интересах? Неужели заявление желаний и потребностей страны может быть привилегией людей, которым случайно выпал жребий издавать газету или писать в газетах? Печать становится полезной силой в обсуждении общественных вопросов не иначе, как служа непосредственным отражением мнений и желаний самого общества или его законных представителей. Только приемыкая к чему-либо, печать может нормально способствовать ходу важных дел, которыми занимается правительство в видах удовлетворения желаний и потребностей страны.

Россия не может желать каких-либо импровизаций и фабрикованных учреждений. Будет с нас этих фабрикованных учреждений! Все фабрикованное, все сочиненное, все не выработанное из желаний и потребностей самой жизни, более причиняет вред нежели приносит пользу. Для того чтобы начать изучение желаний и потребностей страны, нет надобности прибегать к сочинению каких-нибудь новых учреждений *ad hoc**. Мы можем начать с того, что есть. Если бы потребовалось общественное обсуждение вопросов, занимающих правительство с целью изучить должным образом желания и потребности страны, то нам вовсе не нужно было бы прибегать к политическим импровизациям. Нам стоило бы только воспользоваться тем, что уже есть. Прежде чем может потребоваться какое-либо изменение в нашем политическом организме, надобно взять этот организм как он есть, надобно взять те силы, которыми он живет, воспользоваться ими, и с их помощью производить перемены.

Что, например, у нас есть? У нас есть государственные люди, члены Государственного Совета, Синода, Сената, сами

* Для этой цели (*лат.*)

управлявшие или управляющие делами, обладающие политической опытностью; из них многие несомненно отличаются высокими достоинствами. Голос всякого журнального крикуна раздается на весь народ, а голос этих лиц никому не слышен; их голос, который мог бы направлять общественное мнение и политически воспитывать умы, пропадает для общества. Что еще есть у нас? У нас есть многие сотни людей выборных, уже занимавшихся делами и пользующихся доверием как правительства, так и общества. Взятые вместе, эти люди, конечно, представляют собой верную характеристику нынешнего общества, со всеми оттенками и разнообразием его мнений; они представляют собою дух страны; они всегда могут служить средой для обсуждения всякого вопроса, и из столкновения их мнений всегда выйдет что-нибудь существенно полезное. Нет сомнения, что в числе этих людей найдется не мало таких, которые могли бы сделать честь любому политическому собранию, и во всяком случае окажется много людей практических, зрелых, знающих по опыту условия разнообразных местностей нашего отечества; что же касается до большинства, то оно везде бывает массой, а в массе важен общий дух, в достоинстве же общего духа, которым проникнуто большинство выборных людей из наших политических классов, сомневаться невозможно: он всем известен.

Природа удивляет нас простотой своих способов. Великие результаты достигаются всегда простыми способами, и мудрость состоит не в том, чтобы придумывать какие-нибудь запутанные и сложные формулы, а в том чтобы понять находящееся у нас перед глазами и воспользоваться тем, что у нас под рукой.

ПОТРЕБНОСТЬ ПРОЧНОГО ЕДИНЕНИЯ

В эпоху преобразований, все охватывающих и все изменяющих, не худо иногда войти в себя и спросить, куда мы идем, что мы делаем, что мы оставляем позади, что мы берем с собой.

Мы оставляем позади государство единое, крепкое, несокрушимо-целое, могущественное, славившееся долго, славившееся трудно и носившее на себе знамение великой будущ-

ности того народа, который выстрадал его и положил на него столько жизни и сил. Каковы бы ни были преобразования, задуманные нами, к чему бы они ни клонились, что бы они нам ни обещали, они должны быть совершены не в каком-нибудь воздушном царстве, но в России, в этом нам всем известном русском государстве, где жили наши предки, где живем мы сами, – в этом государстве, так дорого купленном, в этом государстве, так дорого стоящем, что все эти миллионы людей его населяющие, как в былые времена, так и теперь, – еще более чем когда-либо прежде, – готовы стать за него как один человек, отдать за него все достояние и всю кровь свою. Когда весь народ дает такую страшную цену этому великому организму, называемому русским государством, когда все и самая жизнь так легко, с таким усердием, с таким энтузиазмом отдается каждым для сохранения его в невредимости и целости, то не следует ли нам прежде всего согласить все наши мысли и планы с этой первой, коренной, бесспорной необходимостью, необходимостью сохранить для народа невредимым и целым то, что он купил так дорого и за что он всем готов пожертвовать и все готов вытерпеть? Мы все хотим лучшего (кто не хочет лучшего?), но мы должны помнить, что лучшее должно быть лучшим не для чего-либо иного, а именно для этой великой единицы, называемой, с одной стороны, русским народом, а с другой – русским государством. Как бы ни были хороши наши планы, хороши они могут быть только в том случае, если будут удовлетворять требованиям этого политического организма и будут способствовать его крепости и здоровью.

Итак, мы оставляем позади крепкий и могущественный государственный состав, который прошел победоносно чрез все испытания. Это мы оставляем позади. Это тот суровый, строгий, но могущественный и колоссальный образ, который представляется нам сразу, как только мы оглянемся назад. Что ж? Должны ли мы и в самом деле оставить позади эту силу, в которой замкнулось все наше прошедшее? Или мы должны взять эту силу с собой, в тот новый путь, который нам открылся, – бережно и свято сохранить все сильное в этой силе, отбросив все

негодное, вредное или опасное для нее, все утратившее жизнь и преданное неуправляемому разложению? Мы хотим изменить формы нашей жизни, изменить их, разумеется, к лучшему, а не к худшему; но изменяя к лучшему формы нашей жизни, не должны ли мы сохранить то существование, для которого мы ищем новых лучших условий, – и, сохраняя его, не должны ли мы сберечь все условия его здоровья и крепости, – ибо кому же нужно хилое, бессильное существование, и к чему послужили бы все лучшие изобретаемые нами формы, если уничтожится сила для принятия и усвоения их? А если мы хотим сберечь его здоровье и крепость, то не должны ли мы обратить строжайшее внимание на производимые нами новые сочетания элементов? То ли мы делаем, что хотим? Нет ли какой неточности в тех понятиях, которыми мы руководствуемся? Не смешиваем ли мы случайного с существенным? Не откидываем ли мы то, в чем заключается наша действительная сила, выросшая веками и долженствующая служить залогом нашей будущности? Не удерживаем ли мы, напротив, того, что было и прежде элементом нашей слабости и что при дальнейшем развитии может привести нас к конечному расстройству?

В России прежней, оставшейся позади, мы видим крепкое единство двух самых коренных элементов народной и государственной жизни. Мы видим самое тесное, самое непосредственное единство между материком, на котором все стоит и все держится, – крестьянством, – и тем высшим классом народа, – землевладельческим дворянством, в котором заключалась главная действующая сила нашей государственной жизни. Вся крепость русского государства держалась на этом единстве двух коренных земских элементов. Двадцать с лишком миллионов людей находились в непосредственной зависимости у дворян-землевладельцев, под их непосредственным управлением, и составляли с ними одно политическое и хозяйственное целое. Это единство выражалось в крепостном праве; эта земская крепость русского государства была закреплением крестьянства. Мы отделились от крепостного права; оно осталось позади. Это условие нашего государственного

быта сделало свое дело и отжило свое время; долее существовать оно не могло, и день 19-го февраля 1861 года был великим днем обновления России. Миллионы получили свободу и начало гражданской полноправности. Русский народ, в своих сельских массах, стал, наконец, народом свободным. Начатое продолжается, и по прошествии недолгого времени изгладятся, Бог даст, все следы крепостной неволи в крестьянском быту и все дурные навыки крепостного права в быту помещичьем; полная гражданская свобода войдет во все части и подробности народного быта, поднимет и оживит все его силы.

Итак, крепостная неволя кончилась; крепостное право отменено. Но с тем вместе не отменена ли, пожалуй, и крепость нашего народного организма? Не сочтет ли и ее кто-нибудь негодным, отжившим свой век условием?

Крепость нашего народного организма мы не хотим оставить позади; мы хотим удержать ее. Но чем заменим мы то единство двух коренных земских элементов, на котором она основывается? Какие новые условия представляются нам на вид, для того чтобы наша государственная сила не только не была ослаблена, а, напротив, возросла согласно с новыми потребностями? Вместо потрясенного и разорванного единства не возникнет ли между сельскими классами двойство? А если тут, в нашем сельском быту, возникнет рознь, колебание и борьба, то куда же переместится центр тяжести нашего государства? Об этом стоит подумать.

Крестьянство, крепостное крестьянство, не было особой юридической единицей: оно заступалось помещиками и составляло с ними нераздельную единицу. Весь крестьянский быт, все интересы крестьян находились в руках помещиков. Теперь этого нет. Теперь крестьяне освобождены и стоят на своих ногах. В каких же отношениях свободное крестьянство должно находиться к землевладельческому дворянству, с которым все-таки оно живет двор-обо-двор, с которым все-таки соединены все его интересы, с которым все-таки оно находится в самой тесной связи? В каких отношениях должны находиться эти два главные элемента нашего земства, которые не могут

оторваться друг от друга, если б и захотели, – которых благосостояние и порознь, и вместе взятое есть дело равно им общее? Желать ли, чтобы в эти отношения проникла откуда-нибудь рознь, чтоб они запутались, или желать, напротив, чтоб они установились возможно согласнее и чище? Старого земского единства быть не может: крестьянин отныне принадлежит не кому-либо другому, а самому себе. Итак, старое единство, в котором исчезала личность и собственность крестьянина, невозможно; оно отошло навсегда, оно исчезло безвозвратно. Но вместо старого единства должно ли непременно утвердиться раздвоение, должна ли установиться рознь, как начаток нового будущего, как характеристическая черта новой ожидающей нас истории? Неужели нет другого исхода? Неужели нельзя ожидать, что вместо старого единства возникнет что-нибудь другое, а не раздвоение, не рознь? Неужели нельзя ожидать, что наш земский мир, с которым неразрывно связана крепость нашего государства, останется миром в полном значении этого слова? Нет, вместо одного единства может и должно возникнуть другое; вместо старого брошенного единства может и должно установиться новое, лучшее, во благо обеих сторон и во благо великого целого, в котором обе стороны имеют столь существенное, столь коренное значение.

Зловещие предсказания не сбылись. Злоумышленные попытки воспользоваться преобразованием крестьянского быта, чтобы поколебать русское государство, не удались. Ошибки, неизбежные во всяком деле, и односторонности канцелярского доктринерства не подсобили, слава Богу, этим злоумышленным попыткам и не порадовали наших врагов. Все обошлось благополучно. Благодаря могучему здоровью русского народа, его великому здравому смыслу это великое преобразование обошлось легко, без потрясений и, несмотря на всевозможные дурные вмешательства, которые могли возмутить его ход, приняло самое лучшее направление. История отдаст справедливость тем правительственным лицам, которые, за последнее время сумели мало-помалу, вопреки дурным противоборствующим влияниям, устранить из этого дела фальшивую примесь и ока-

зять пособие внутренней врачующей силе жизни, подвергшейся перелому и испытанию. Известия, получаемые нами изнутри России, особенно из ее черноземных губерний, свидетельствуют о возрастающем сближении обоих элементов нашего сельского быта, крестьян и помещиков. В самом деле, в последнее время в отношениях крестьян к помещикам не только не оказывается никакой вражды, но и никакой существенной розни. За исключением отдельных столкновений, происходящих там и тут, мы видим вообще дух соглашения и сближения. Благотворители из чужого кармана, чиновники-прогрессисты, всякого рода добродетельные демагоги и разные Кайи Гракхи, которых расплодилось у нас такое множество, притихли (более всего пугнул эту сволочь высокий патриотический дух, которым мы обязаны польскому делу: какова ирония! – того ли хотели поляки?). Крестьяне гонят от себя этих благодетелей своих, и иному крестьянскому адвокату было бы не совсем безопасно показаться теперь в тех селах, где он еще так недавно из любви к человечеству и справедливости натравливал крестьян на помещика. Между обеими сторонами сами собой налаживаются дружелюбные отношения, обещающие установить единство между ними, – единство несокрушимое, потому что оно основано уже не на рабстве, но на взаимности интересов. Крестьяне по-прежнему начинают видеть своих истинных доброжелателей и представителей в дворянах землевладельцах.

Так и должно быть, – и все друзья русского народа не могут не порадоваться новому миру, который водворяется на наших нивах. Будет здесь согласие и мир, – пойдет и все согласно и мирно. Но тем осторожнее должны мы поступать в дальнейших наших преобразованиях, чтобы как-нибудь не нарушился этот нововозникающий строй нашей народной и государственной жизни. Дальнейшие преобразования должны иметь пуше всего в виду потребность прочного единения между этими двумя коренными элементами нашего государственного благосостояния. Мы должны с полной ясностью представить себе эту потребность, и ничего не допускать, что может уклонить нас в противную сторону.

Теперь на очереди вопрос о новом устройстве нашего земства. Предполагаются новые учреждения, в которых примут участие все элементы земства, сельского и городского. Нет сомнения, что эти учреждения могут быть задуманы лишь с той целью, чтобы сблизить и соединить земские элементы, а не разрознить их и не подвергнуть колебанию наш земский мир. Согласно с этой целью, чего же следует желать? Того ли, чтобы между крестьянством и землевладельческим дворянством прошла черта, которая навсегда разделит их и внесет в нашу земскую жизнь элемент ей чуждый и, быть может, враждебный? Об этом стоит подумать. Следует ли желать, чтобы крестьянство отделилось и стало особой корпорацией рядом с корпорацией землевладельцев не крестьян, то есть *de facto* дворян-землевладельцев, и чтобы между ними стала еще третья (третье сословие, здравствуй!) – корпорация городская? Какую бы тонкую черту ни провели мы между крестьянством и дворянством в этом новом устройстве, несомненно последует рознь и изменится весь характер нашей земской жизни. Двойство будет расти, плодиться и выражаться во всевозможных символах, и мы ежеминутно будем в опасности утратить самую почву, на которой должно совершаться наше государственное развитие.

Нет, все усилия наши должны быть направлены к тому, чтобы устранить всякий повод к розни между двумя сословиями, предупредить всякий символ, который может разобщить их. Нашими новыми учреждениями должны мы оказать пособие собственным усилиям жизни к восстановлению потрясенного единства. Что произошло бы, если бы мы, не уважив этой потребности и увлекшись сцеплениями чуждых нашей жизни понятий, успели внести и упрочить какими-нибудь новыми учреждениями рознь между коренными элементами нашего земского быта? Смело можно сказать, что не успело бы сойти с своего поприща ныне действующее поколение, как ему пришлось бы горько раскаяться в своей непредусмотрительности. Здоровый инстинкт народной жизни, может быть, победил бы рознь, которую мы внесли бы в нее новыми учреждениями, и, как часто бывало, и жизнь быть может обошла бы их просел-

ком и в конце концов взяла бы свое; но подобные смуты, вносимые в народную жизнь, никогда не обходились без вредных последствий, а впредь, при новых условиях жизни, эти смуты будут становиться все глубже, все чувствительнее и опаснее.

Об этом стоит подумать, – стоит озаботиться изысканием способов, как бы устроить наше земство, не ослабляя его и не внося в него элементов розни и смут. И чем проще мы посмотрим на дело, тем легче найдем мы этот желанный способ устроить наше земство соответственно новым потребностям жизни и с сохранением всех элементов ее здоровья и силы.

Нет никакого сомнения, что сословная организация крестьянства (всех наименований) в новом земском устройстве может повести только к вредным последствиям, от которых чем далее, тем труднее будет избавиться. Она внесет рознь туда, где должно быть возможно полное согласие и единение: она разом обессилит те элементы, из которых состоит наше землевладельческое дворянство, которое не даром же вырабатывалось всей нашей историей и которое было главным органом нашей государственной жизни. Она не только ослабит их, она уничтожит все их значение, или поставит их в фальшивое положение. Она расшатает и расстроит все наше земство и всего хуже отзовется на крестьянстве.

УСЛОВИЯ ПЛОДОТВОРНОСТИ РЕФОРМ

От пронизательности петербургских газет не укрылось, что *Московские ведомости* стали в сравнении с ними органом консервативным. *Московские ведомости* не восторгаются от каждого проекта, долженствующего осчастливить Россию; не ясно ли, что они ударились в крайность, что они проповедуют *statu quo**? Мы сделаем петербургским газетам для нового года маленькое удовольствие: они до некоторой степени правы.

Реформа! Преобразование! Почему эти привлекательные слова за разрешением крестьянского вопроса перестали ласкать наш слух, почему мы не приходим в восторг от много-

* Существующее состояние вещей (*лат.*)

численных проектов различных ведомств и даже относимся к ним с недоверчивостью? Почему?

В преобразованиях необходимо различать две вещи: руководящее чувство и практическое исполнение. Если бы можно было ограничиться обсуждением одних руководящих побуждений, то в большей части случаев нам пришлось бы засвидетельствовать у нас истинный прогресс. Наука, гуманность, доброжелательство явственно отпечатлены в основаниях огромного множества проектов настоящего времени. Благодаря в особенности решению крестьянского вопроса направление нашего общества, даже в менее образованных слоях его, значительно изменилось в последние годы к лучшему; нечего и говорить, что это направление должно быть особенно сильно и в тех образованных лицах, которым вверено дело управления. Указывать на успех в этом отношении не значит льстить кому бы то ни было.

Но практическая политика требует более определенного содержания, чем общее и, так сказать, отвлеченное доброжелательство; она нуждается как по исполнительной, так и по законодательной части в многочисленных деятелях, которые должны стоять на твердой почве, иметь ввиду действительные потребности и средства, настолько знать и чувствовать существующий быт народа, чтобы могла быть уверенность в правильном применении общих начал и в том, что это применение подействует в желаемом смысле на жизнь. Все это истины неоспоримые, а для России в настоящую минуту они имеют тем большее значение, что находящиеся теперь в ходу проекты преобразований объемлют собой все сферы народной и государственной жизни. Ни одна из этих сфер не может и не должна обойтись без формы – это очевидно. Но именно потому-то предстоящие нам реформы в их совокупности неминуемо должны дать направление всей будущей русской истории и определить ее дальнейшее движение. Мы должны знать, что мы делаем. Наше поколение держит в своих руках историческую будущность русского народа. Наша задача так колоссальна, что поневоле становится жутко.

А между тем как легко, как формально смотрят на дело преобразования иные из наших прогрессистов! Лишь был бы прогресс, – а какой прогресс, это многих из них нисколько не интересует. Они восхищаются или забавляются самим процессом преобразования, а о содержании реформ не спрашивают. Прогресс совсем превратился бы для них в формальное канцелярское дело, в отписку, в очистку номера, если б они не были воодушевлены каким-то необыкновенно восторженным чувством благожелательства. В этом надобно отдать им справедливость. Но, увы, мы видим на опыте, как мало помогает им это поэтическое чувство.

И в проектах устройства гимназий г. Воронова видно, что составитель был исполнен наилучшими намерениями, что он желал добра и процветания гимназии, что он беспокоился о недостатках воспитания и обучения, словом, видно, что он человек благожелательный. А между тем не подлежит сомнению, что осуществление проекта, отстаиваемого г. Вороновым, нанесло бы такой чувствительный удар русскому народному просвещению, что в виду принятия его *bon grū, mal grū**, остается всеми силами отстаивать *statu quo*. Не дурен также и проект, несколько раз предлагавшийся исправлению и несколько раз предлагавшийся внимательному обсуждению журналистики, – проект о начальных училищах. Он составлен – это видно ясно – под влиянием мысли, что образование весьма необходимо и весьма полезно для государства и общества; в нем видно желание снабдить этим образованием наше крестьянское население, хотя бы насильно. Но оказалось, что этот проект даже и невозможен. Не говоря уже об отводе десятин земли и обязательной работе, он требовал безделицы, – ежегодной издержки в 12 миллионов рублей сер., – тогда как весь бюджет Министерства народного просвещения едва доходит до 6 миллионов, и эта сумма, очевидно, не может и не должна быть увеличиваема.

Таким проектам как не предпочесть настоящее положение дела? Оно, по крайней мере, исключает возможности, что в близком будущем, когда усовершенствуются способы выра-

* Волей неволей (фр.)

ботки и обсуждения законодательных проектов, произойдет поворот к лучшему с меньшим риском ошибки и с меньшей опасностью серьезных потерь.

Мы не хотим, впрочем, касаться в этой заметке, высших общественных интересов, каковы, например, вопросы о положении духовенства, о народном образовании. Что выше, то и более подлежит спору. Мы намерены указать на вопросы низшего порядка, где представляются более очевидные и бесспорные выводы.

Успешность или неуспешность исполнения особенно осязательны в вопросах хозяйственных. Потерянного рубля не воротишь. Поэтому мы несколько остановимся на некоторых из совершаемых в этой сфере реформ.

И в этой сфере, точно так же как в других, настроение прогрессивное не пугается ни многочисленности, ни колоссальности задач. Наоборот, настроение консервативное побуждает браться только за то, что необходимо нужно, не задаваясь множеством дел, а исполняя их по возможности одно за другим и притом в размерах, по возможности, скромных.

Вот, например, две задачи: упрочить ценность кредитного рубля, освободив ее от колебаний вредных для торговли, это — одна задача, скромная, ограничивающаяся необходимым; другая задача — смелая, рискованная, зависящая от множества непредвидимых обстоятельств, неизбежно сопряженная с затруднениями кризиса, — состоит в восстановлении ценности кредитного рубля. Мы полагаем, что только первая из этих задач рациональна, а во второй вовсе нет надобности. Но даже те, кто не согласен с этим мнением, должны признать наиболее правильным такой ход дела, чтобы лишь по совершенном исполнении первой задачи было приступлено к исполнению второй. Итак, можно ли не жалеть, что скромная задача показалась мало заманчивой нашим деятелям, что большинство влиятельных людей увлеклись желанием искусственно восстановить курс кредитного рубля? Если государственный банк выдал золота и векселей всего на 120 миллионов, то чистой потери на операции восстановления кредитного рубля было никак не менее 10 миллионов рублей,

которые были бы сбережены при более скромном и консервативном образе действий. Относительно ценности кредитного рубля еще подлежало вопросу, что лучше, восстанавливать ли ее или просто упрочить. Но сколько задач несомненно полезных, за которые, однако же, браться вредно? Чего лучше, например, если б удалось исполосовать всю Россию железными дорогами, и если бы каждую дорогу удалось построить не так, как строятся железные дороги в Америке, а как построена наша Николаевская? Это было бы счастье, но если бы мы начали строить разом в десяти местах России монументальные железные дороги, то, разумеется, не достроили бы ни одной. Кто не знает, что даже то увлечение, которое выразилось в учреждении Главного Общества, оказалось вредным? Это Общество не построило нам южной дороги, а между тем другие компании не могли взяться за южную дорогу, уступленную Главному Обществу, и удобное время было упущено.

Укажем еще на историю с банками.

В истории финансовых учреждений редко встречаются явления, подобные ликвидации оборотов сохранных казен опекунских советов. Банк, производивший громадные обороты в течение столетия, пользовавшийся особым уважением со стороны правительства, которое оставляло его вне зависимости от государственного казначейства, заслуживший неограниченное доверие самых низших классов народа, вдруг исчезает с лица земли. Реформа радикальная! Нет сомнения, что бессрочные вклады ставили сохрannую казну в опасное положение и что нужно было превратить их в срочные; нет сомнения, что вследствие избытка кредитных билетов в сохранных казнах накопились капиталы, остававшиеся без движения; все это так, — но по устранении замеченных недостатков заведение, теперь стертое с лица земли, было бы, наверное, сохранено, если бы в решение судьбы его более участвовал консервативный голос интересов, замешанных в деле. Этот консервативный голос стал бы, может быть, с некоторой неумеренностью настаивать на том, что внезапного разбора капиталов при доверии к банку трудно ожидать, что огромными массами кредитных билетов, скопив-

шихся в сохранных казнах, лучше было бы воспользоваться государственному казначейству для постройки железных дорог или для других, несомненно полезных и доходных назначений, чем выбрасывать их на денежный рынок и тем вызывать бесполезные и разорительные предприятия. Может быть, повторяем, оказалась бы некоторая неумеренность и теоретическая неправильность в этих указаниях, но можно, наверное, сказать, что консервативный голос никогда не указал бы на понижение процентов и на новый выпуск кредитных билетов для восполнения казенным банкам при ликвидации вкладов и что если бы консервативный голос интересов был услышан, то какой бы дальнейшей ход ни приняло это дело, все-таки, наверное, сохранные казны не были бы подорваны, вкладчики не бросались бы туда за своими капиталами и не были бы принуждены помещать их в разные рискованные акционерные предприятия, где значительная их часть погибла с явным вредом для страны. Были и тогда выгодные предприятия, вроде постройки южной железной дороги, вроде постройки Нижегородской дороги, но предприятия эти были уже уступлены, и в руках Главного Общества сделались столь же рискованными, как и любая акционерная компания из самых гнилых. Правительство несколько раз имело по контракту право конфисковать все дело Главного Общества. Оно не воспользовалось своим правом; оно принуждено было сделать ряд тяжелых единовременных и постоянных уступок, которые отзовутся на долгое время необходимости включать по несколько миллионов руб. сер. в бюджет для гарантии дохода акционерам. И в то время, когда Главное общество было готово отступить от южной железной дороги, русские акционерные компании тратили свои деньги на гнилые предприятия, невыгодные для акционеров и не имеющие государственного значения!

Вот еще одна особенность наших преобразований, побуждающая нередко стоять за *statu quo*. У нас существуют теперь десятки комиссий, разрабатывающих различные вопросы. Комиссии эти составляются разными ведомствами из чиновников, охотно допускаем это, образованных и опытных; чиновники эти

вырабатывают громадные проекты и представляют обширные тома исследований. Но какова должна быть точка зрения этих комиссий, уже по самому составу их? Это точка зрения не просто бюрократии, а бюрократии отдельного ведомства. Может ли быть с пользой допущена такая точка зрения в вопросах сложных и важных, где техническая сторона переплетается с политической до такой степени, что их разделить невозможно? Вопросы вроде судебной и земской реформы – эти вопросы не сродни, например, вопросу о банковской системе или вопросу о железных дорогах. Они требуют не только технического изучения, но и правильной широкой точки зрения на весь существующий порядок вещей и на все элементы народной жизни.

Прочтите отдельный проект земских учреждений, отдельный проект судопроизводства и судоустройства, отдельный проект городского устройства или устройства полиции. Каждый порознь может быть очень хорош; но если поставить их вместе, что выйдет? На каждой странице вы найдете самые лучшие идеи: о самоуправлении, о гласном и устном судопроизводстве, о присяжных и т. п. Идеи и цели – вне спора. Но то же ли следует сказать о средствах? Не очевидно ли, что судебная и земская реформы должны идти рука об руку, что они должны соответствовать нашим общественным данным, что в противном случае нельзя не опасаться, чтобы не наплодилась у нас куча присутственных мест с чиновниками, которым для предохранения их от грехопадения в виде взяточничества будет отпускаться широкое жалованье, не соответствующее ни их действительным услугам, ни средствам страны?

Труды и проекты отдельных комиссий поступают, правда, для совокупного рассмотрения в Государственный Совет, но кто не знает, как бывает на практике трудно перерабатывать совершенно готовые проекты и как это в особенности трудно для многолюдного собрания? Впрочем, как известно, не все проекты восходят этим путем, обеспечивающим до некоторой степени приведение их к одному знаменателю. Исключение составляют многие меры по военной части, о которой мы также позволим себе упомянуть.

В настоящую минуту преобразовывается в самых коренных основаниях наше военное устройство, и нет сомнения, что с точки зрения военного ведомства этим преобразованием устраняются многие важные недостатки прежней системы. Положим даже, что новое во всех отношениях лучше старого с специально военной точки зрения. У нас до сих пор, например, было «за исключением гвардии, гренадер и кавказской армии, *только* 72 действующих пехотных полка», тогда как Франция имеет 106 пехотных полков, а Австрия – 97. В настоящем году цифра пехотных полков у нас почти удвоена и притом таким образом, что это увеличение состава будет постоянной принадлежностью и мирного времени, с той разницей, что до половины всех людей армии будут увольняемы на время отпусков.

Вместе с тем будут установлены *правильные* рекрутские наборы, с сокращением срока службы, для образования большого запаса отпускных чинов, которым армия и будет пользоваться при переходе на военное положение. План широк! Бесспорно одно: если бы государственная задача России заключалась в непрерывных переходах войск от мирного на военное положение, то исполнение всего этого плана представляло бы капитальные выгоды в сравнении с прежней системой. Но не менее бесспорно и то, что с точки зрения мирных гражданских интересов военное преобразование должно представляться иначе, чем с военной. Бесспорно также и то, что такая коренная реформа, заходящая в самые недра народной жизни, никак не может быть вполне удовлетворительно обсуждена с исключительно военной точки зрения.

Специализация интересов отдельных ведомств ведет иногда к весьма странным явлениям. Кому не известен из официальных журналов спор, шедший между нашим горным и артиллерийским ведомствами относительно поставки металлов на оружейные заводы и чугунных орудий в артиллерию? Под влиянием этого спора мы далее заказывали в Швеции несколько сот орудий и, правду сказать, получили оттуда изделия отнюдь не превосходного качества. Кому неизвестно также, что морское ведомство после долгих прений с ведомством государственных

имущества отказалось от приема казенных лесов и стало покупать лес у частных лиц и преимущественно за границей?

Упомянем в заключение еще о бережливости, составляющей такую очевидную потребность для наших финансов. Это всеми признается, и, несмотря на все заботы о сокращении издержек, мы видим одно движение в постоянном направлении: расходы на содержание различных управлений, высших и низших, военных и гражданских, непрерывно увеличиваются и вызывают новые долги или новые налоги в такое время, когда идет громадное экономическое явление, – расчет помещиков с крестьянами, значительно увеличивающий обязательства государства. Расточительность есть всегдашняя принадлежность финансов государства, делающего значительные займы. Опыт всех стран показывает, что дабы противодействовать расточительности есть одно средство – не отступать от *statu quo* без крайней необходимости.

ЦЕЛЬНОСТЬ И ОДНОРОДНОСТЬ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Все на свете имеет своих врагов. Нет такой скромной, малой, ничтожной жизни, которой не угрожали бы смертельные опасности. И устрица имеет своих врагов: может ли не иметь их такое громадное и могущественное государство, как Россия? Мы можем допустить это a priori*; можем допустить также то, что русское государство имеет врагов тем более многочисленных, чем оно могущественнее и значительнее; мы можем допустить, что есть множество интересов всякого рода, радикально враждебных существованию России. Допустив это, мы можем спросить себя: какой путь должны были бы избрать эти враждебные русскому государству интересы, если они оказались в действительности? Мы еще не говорим, что такие интересы действительно существуют: мы только делаем предположение. В этом предположении мы спрашиваем себя: что могло бы с точки зрения этих интересов казаться наиболее желательным?

* Первоначально (лат.)

Допуская существование таких интересов, мы хотим допустить еще и то, что они здравомысленны, рассудительны, опытни, что они понимают ясно, чего хотят, и умеют согласовать средства со своими целями. Итак, что было бы желательно с точки зрения радикальной, но в то же время умной вражды относительно русского государства? Желательно ли было бы пойти на Россию войною, возбудить против нее все антипатии? Нет, умная вражда этого не пожелает, только безумие и глупость могли бы мечтать о том, чтобы одной блестящей кампанией потрясти и разрушить такое государство, как Россия. Умная вражда поймет, что такой путь ни в каком случае не может быть желателен и что он не может быть предметом здравых политических расчетов. Война стоит дорого; тяжесть войны падает на обе стороны; война сопряжена с риском. Вред, ожидаемый от войны, может быть куплен слишком дорогой ценой и в результате может еще оказаться не вредом, а пользой. Русское государство выдержало страшные войны; но они не только не разрушили его, а напротив, способствовали его усилению. Война возбуждает народные силы, вызывает народное чувство, которое теснее и крепче связывает все элементы государственного организма и все части народонаселения. Что можно представить себе громаднее той войны, которую выдержала Россия в 1812 г.? Но чем же кончился этот крестовый поход против нее всей Европы, предводимой великим завоевателем? Было ли разрушено русское государство? Была ли раздроблена его государственная область? Понесло ли оно какой-нибудь ущерб? Ослабело ли оно внутри или в своем европейском положении? Нет, этот крестовый поход, в котором соединились все силы Европы против России, кончился полным торжеством ее; никогда не была она так могущественна, как после той войны; патриотизм народной войны послужил к обновлению общества и положил начало более самостоятельному развитию его нравственных сил. В последнюю, Восточную, войну против России соединились также силы почти всей Европы; война была ведена при самых неблагоприятных для России условиях; она не имела народного характера; исход ее был очень несчастлив для России, Россия понесла значитель-

ный ущерб, она потеряла свой черноморский флот, лишилась своего лучшего морского заведения, ее значение было ослаблено, обаяние военной силы, которое давало ей такой великий вес в европейских союзах и советах, померкло; но зато каких усилий, какого напряжения, каких жертв стоило противной стороне достижение этого результата! И что же, однако? Как ни был чувствителен урон, понесенный Россией, подверг ли он опасности ее существование? Мы видим, что даже те невыгоды, которые были следствием Восточной войны, стали обращаться, мало-помалу, ей в пользу. Россия вошла внутрь себя; она предприняла целый ряд преобразований, которые при благоприятном исходе должны были бы поставить ее гораздо выше, чем стояла она когда-либо. Итак, последствия самой несчастной для России войны оказались благодетельными для нее.

Но предположим возможность такой войны, в которой русское государство совершенно изнемогло бы под ударами врагов; предположим войну, в которой удалось бы разрушить его. Падение такого громадного государства покрыло бы целый мир своими обломками, и Европа была бы потрясена в своих основаниях. Желать такой всеобъемлющей, всепотрясающей катастрофы не может ни один здравомыслящий политический человек, и только самая необузданная фантазия допустит возможность разрушения русского государства посредством войны.

Итак, предполагая, что есть интересы, которые враждуют против самого существования русского государства, предполагая с тем вместе, что эти интересы руководятся благоразумием, мы приходим к заключению, что война есть дело наименее желательное с точки зрения этих интересов. Гораздо желательнее было бы найти внутри России элементы разложения, которые могли бы привести ее к смутам и распадению. Нет сомнения, что всякое революционное движение в России встретило бы сочувствие с точки зрения неприязненных ей интересов. Нет сомнения, что эти интересы должны благоприятствовать всему, что может порождать смуты и недоразумения внутри России, всему, что может поселять раздор между началами ее общественной организации, всему, что может ослаблять в ней осно-

вы человеческого общежития, что может отклонять движение ее жизни от правильного пути, что может отнимать у народа его молодые и свежие силы, губить их и обращать их против него. Враждебные интересы, естественно, будут пользоваться всякой неясностью, всякой ошибкой, всяким дурным элементом в нашей жизни, чтобы употреблять их в дело. Однако ни политическое благоразумие, ни простой здравый смысл не могут желать продолжительного действия подобных факторов, продолжительного развития ядовитых миазмов разрушения.

Как война, так и внутренние смуты могут служить только вспомогательными средствами; но ни то, ни другое не может быть благоразумно избрано в орудие разрушения громадного и сильного государства; и то и другое угрожало бы потрясением целому миру; и то и другое было бы катастрофой, которая никак не может входить в расчеты благоразумной политики, и ни в каком случае не может быть ей приятна.

Что же могло бы быть желательно в интересах политики самой радикальной относительно русского государства, но в то же время благоразумной? Нет сомнения, что всего желательнее было бы без усилий, без жертвований, без рисков, без всяких опасностей и потрясений произвести то, что могло бы быть следствием только самой бедственной войны, или самых разрушительных внутренних смут; нет никакого сомнения, что мирное, тихое, постепенное, незаметное действие было бы предпочтительнее и разгрома, и продолжительного разложения нравственных основ общества. Торжеством политики, клонящейся к разрушению могущественного и громадного тела, политики благоразумной и здравомысленной, было бы замутить его душу и убедить ее в том, что она совершит наилучшее дело, если сама постепенно и в видах прогресса раздробит и разрушит его.

Ни война, ни революция не страшны для русского государства; никакой серьезной опасности не могут представлять для него сепаративные наклонности, которые обнаруживаются в некоторых владениях русской державы. Сами по себе все дурные элементы разложения и отложения не имеют и не мо-

гут иметь силы, но чего не может сделать война, чего не могут произвести никакие внутренние потрясения и смуты, то было бы прямым и естественным последствием систематического разъединения Верховной власти с народом.

Давно уже пущена в ход одна доктрина, нарочно сочиненная для России и принимающая разные оттенки, смотря по той среде, где она обращается. В силу этого учения, прогресс русского государства требует раздробления его области национально на многие чуждые друг другу государства, должествующие тем не менее оставаться в тесной связи между собой. Эта мысль может проникать во всевозможные труппы; она же, переменяв костюм, может занимать место в весьма благоприличном обществе, и люди самых противоположных миров, сами не замечая того, могут через нее подавать друг другу руку, она возбуждает и усиливает все элементы разложения, какие только могут оказаться в составе русского государства, и создает новые. Людям солидным она лукаво шепчет о громадности России, о разноплеменности ее народонаселения, об удобствах управления, будто бы требующего не одной администрации; людям либеральных идей она с лицемерной услужливостью объявляет, что в России невозможно политическое благоустройство иначе как в форме федерации; для молодых, неокрепших или попорченных умов она соединяется со всевозможным вздором, взятым из революционного арсенала.

Припомним, что воззвания к революции, какие появлялись у нас, прежде всего требовали разделения России на многие отдельные государственные центры. Еще в прошлом году, в мае месяце, в то самое время, когда началось в обществе патриотическое движение, появился подметный листок, в котором чья-то искусная рука сумела изложить эту программу так, что в ней нашлось место и для идеи царя, и для самого нелепого революционного сумбура. Первое место в этой программе будущего устройства России занимает, конечно, Польша, сверх того, кроме Финляндии, помнится призывались таким же образом к отдельной жизни Прибалтийский край, Украина, Кавказ. В других программах появлялась еще Сибирь.

Но достигнуть осуществления этих программ мятежом или революцией было бы трудно. Польский мятеж при всех благоприятных условиях оказался бессильным, революция оказалась фантазмагорией, которая исчезла при первом движении здоровых общественных сил. Осталась надежда воспользоваться нашими собственными недоразумениями и в наших собственных руках повернуть наш прогресс в эту сторону; остается надежда, что мы сами спокойно и под видом прогресса совершим над собой то, что могло бы быть только следствием сокрушительного удара, нанесенного нам извне, или какого-либо страшного взрыва. И вот нам представляют перспективу России, превращенной из одной могущественной нации в собрание многих наций, которые нужно еще для этой цели сделать. Перед нашим воображением развертывают картину многих совершенно отдельных и чуждых друг другу государств под сенью одной державы; нас пленяют изображением этой державы, возносящейся над целым сонмом народов и государств, как бы над особым человечеством.

О тех доводах, которые могут улыбаться умам совершенно незрелым или испорченным, говорить не стоит. Но любопытны те аргументы, которые употребляются для совращения людей солидных, с одной стороны, консервативного, а с другой – либерального образа мыслей.

Россия, – так говорят проповедники новой доктрины, нарочно сочиненной во исполнение будущих судеб нашего отечества, – Россия занимает слишком громадное пространство; она представляет собой целый мир, в котором живет не один какой-нибудь народ, а целых двадцать.

Итак, громадное протяжение Русской Империи, с одной стороны, и страшное множество народностей, населяющих ее неизмеримое пространство, с другой, – вот главные аргументы, которыми хотят уловить нашу мудрость и направить ее к предустановленной цели. Но русская территория по своим естественным условиям не может не быть громадна; она не может служить поприщем для самостоятельной и сильной государственной жизни иначе как в тех размерах, которые были

намечены с точностью при самом рождении русского государства. Попробуйте мысленно разделить то пространство, которые ныне занимает Русская Империя, так, чтобы на ее месте образовалось несколько особых государств, способных к самостоятельному и могущественному развитию, и вы сейчас же убедитесь, что это дело невозможное. Территория русского государства на всем своем протяжении запечатлена характером нераздельности и единства. До такой степени нынешние границы русского государства необходимы ему, что оно до тех пор не могло успокоиться и войти в себя, пока не приобрело или не возвратило их себе, пока не восстановило целостности своей земли, предназначенной ему Провидением. Вся энергия народа, весь разум его правительства, весь гений его государственных деятелей были направлены к этому необходимому результату, достижение которого должно было предшествовать развитию гражданственности, свободы и всех искусств мира. Только с восстановлением своих естественных границ и, стало быть, с занятием всего огромного протяжения своей территории русское государство могло успокоиться, замириться и открыть возможность для свободного развития человеческой жизни. В чем состоял смысл неугомонных движений наших князей в эпоху киевской Руси? В чем смысл той великой, почти беспримерной колонизационной силы, которую обнаружил наш Новгород? Чего добивалась, о чем с такими усилиями заботилась Москва с тех пор, как в ней сосредоточилась жизненная сила русского государства после понесенного им разгрома? Не в собирании ли русской земли заключалось все призвание Москвы? Из чего она билась и с Ливонским орденом, и с польской Речью Посполитой? На что было положено столько труда, для чего было пролито столько крови? Что придает колоссальное величие и силу образу Петра, и что мирит русский народ с жестокостью и насилием его преобразований? Не то ли, что он восстановил нашу связь с Западом, что он добился до некоторых из наших западных окраин, что он добрался до русского моря, что он положил начало восстановлению Руси в ее западных границах? Не то ли придало бессмертный блеск царствованию Екатерины

II, что она довершила начатое Петром и приблизительно восстановила первоначальную грань русской земли в ее протяженности на запад, и что она овладела другим русским морем? И вот теперь, когда это великое многотрудное дело стольких веков, стольких усилий, стольких жертв совершилось, – нам говорят, что русская земля через меру обширна, что мы обязаны отречься от нашей истории, признать ее ложью и призраком и принять все зависящие от нас меры, чтобы обратить в ничто великий результат, добытый тяжким трудом стольких поколений. Нам говорят, что именно теперь, когда первая часть нашего исторического дела совершена и когда вследствие того для нашей народности открывается новый период существования, в который нам предстоит оправдать труд наших предков и достойно воспользоваться его плодами, – нам говорят, что обширное протяжение русской территории и тягостно и неудобно и что оно должно быть снова раздроблено, – раздроблено *de gaiete de coeur**, раздроблено нашими собственными руками; нам говорят, что с нашей стороны и невеликодушно, и нелиберально занимать столь большое пространство; нам говорят, что мы должны возгнушаться громадностью нашей государственной области, что мы должны отделить от нее преимущественно ее западные окраины, возвращение которых стало так дорого, возвращение которых составляет весь смысл и московского, и петербургского периода нашей истории. Нам говорят, что мы должны, хотя и с другими видами и в другой форме, разделить Русскую землю, как разделили ее, тоже в видах удобства, старые киевские князья. Нам говорят, что русская земля по своим громадным размерам не может служить территорией одному цельному государству. Нет, этого мало: нам говорят это в ту самую пору, когда пространство и время благодаря телеграфам, железным дорогам и другим пособиям науки и гражданственности почти исчезают перед человеком. Каково это? русское государство не тяготилось громадностью своей территории в те времена, когда эта громадность действительно могла казаться тягостною, и должно изнемочь под ее бременем теперь, когда

* С легким сердцем (*фр.*)

при условиях современной цивилизации обширность сплошной территории освобождается от всех своих неудобств и становится самым несомненным элементом государственного благоустройства и народного процветания. При царе Алексее Михайловиче Русь не чувствовала тягости быть «всею Русью»; а вот теперь, когда мысль и слово почти в одно мгновение ока передаются из Петербурга на Кавказ и когда в каких-нибудь двое-трое суток можно с устьев западной Двины или с берегов Вислы очутиться на берегах Волги, теперь нам говорят, что громадность нашей территории отяготительная для нас и что мы должны как можно скорей отделаться от нее.

Заставляя нас помышлять с ужасом о громадности нашей государственной области, нас приготавливают к покушению на самоубийство еще мыслию о страшной разноплеменности народонаселения русской державы. Перед нашей смущенной мыслью воздвигают целых двадцать народов, населяющих нашу государственную область. Нам говорят, что каждая из этих двадцати наций, насильственно связанных в одно государство, требует особого для себя государства, и что Россия непременно должна удовлетворить этому требованию. Россия есть не что иное, как химера; в действительности же существуют двадцать наций, которым эта химера, называемая Россией, препятствует жить и развиваться самостоятельно. Двадцать народов! Да это более, чем сколько можно насчитать полных народов в целой Европе! Каково это! А мы и не знали, что обладаем таким богатством: под обаянием химеры мы все думали, что под русской державой есть только одна нация, называемая русской, и что мало государств в Европе, где отношения господствующей народности ко всем обитающим в ее области инородческим элементам были бы так благоприятны во всех отношениях, как в русском государстве!

Недавно одна французская газета в оскорбительной и наглой выходке против России попрекнула ее цельностью и однородностью французской нации.

«Вот город Мильгаузен, – сказано в укор нам в *Opinion Nationale*. – Мильгаузен был вольный город, принадлежал по-

том Австрии, был присоединен к Франции в 1798 г., то есть только 66 лет тому назад. Язык его обитателей так же как и всех обитателей Эльзаса еще явственно изобличает его германское происхождение; и однако ж нет города более французского, чем Мильгаузен, нет провинции, где чувство французской национальности держалось бы на такой высоте, как в Эльзасе. Франция во все время *как прежде*, так и после 1759 года, обладала дивным даром употреблять себе, сливать в своем симпатическом единстве самые разнообразные племена и делать своими по сердцу – *des enfants qu'en son sein elle n'a point portés**.

Этот драгоценный дар, которому она обязана своей однородностью, своей силой и этим могущественным единством, дозволившим ей в продолжение двадцати лет держаться со славой против целой Европы, приходит, конечно, от того, что после каждого завоевания Франция, влагая в ножны меч, открывала свои объятия для своих новых подданных и ставила их относительно своих старших детей в положение полнейшего равенства. Народонаселения Лотарингии, Эльзаса, Франш-конте, Прованса, Руссильона, все променяли свое имя на это великое дело Французов, которым они гордятся».

Но тут еще не все перечислены инородческие элементы; разных инородческих народонаселений наберется еще более и на севере, и на западе, и на юге Франции. Скажем более: весь французский народ под тем могущественным единством, которое действительно должно быть за ним признано и которое связывает его неразрывно в одном чувстве французской национальности, таит в себе множество элементов, из которых каждый мог бы стать основанием особой народности, если бы национальность Французского государства хотя несколько ослабела или где-нибудь изменила себе. Все эти элементы, резко обозначенные и крайне разнородные, действительно сливаются в одну цельную нацию, которая высится над этим миром разнородных элементов, упавших на степень провинциализмов. Действительно, французская нация может гордиться своей однородностью. Но чему же Франция обязана тем, что

* Детей, которых она не носила под сердцем (*фр.*)

бесчисленное множество разноплеменных и взаимно отталкивающих друг друга элементов сливаются в столь могущественное единство? Чему иному, как неизменному характеру своего правительства, которое сознавало себя головою и рукою единственно только французского народа, которое жило, двигалось, существовало единственно только в элементе французской национальности и которое во всей Франции признавало единственно только французскую народность? Если бы французское правительство было в Бретани бретонским, или в Эльзасе немецким, а в северо-восточном углу своей территории фламандским, в юго-восточном углу своем итальянским, в юго-западном – басским и т.д., и т.д., то где была бы тогда Франция; где было бы ее могущественное единство, где была бы ее цивилизация, где было бы ее историческое признание, где был бы тот элемент, который вносит она в общую жизнь человечества? Всякий во Франции хочет быть французом, но почему это? Потому что во Франции признаются только французы; инородческие элементы, присоединявшиеся к Франции, никогда в качестве инородцев не пользовались равенством с элементом французским. Они не только не ставились рядом с французской национальностью, – они вовсе не признавались. Франция принимала их в свое лоно, но лишь в качестве французов, и они сами собой уподоблялись общей для всех неизменно равной, всех равно принимавшей, все покрывавшей собой национальностью Французского государства.

Что касается до России, то в новейший период ее истории она, вследствие известных исторических обстоятельств, не была вполне национальной в своей политике. Напротив, часто совершенно независимо от воли и сознания лиц, стоявших во главе русского государства, правительство ее уклонялось от своего народа в силу рокового сцепления некоторых обстоятельств, неизбежно последовавших за реформой Петра. Образовавшаяся у нас система заключалась в том, чтобы правительственными мерами разобщать и, так сказать, *казировать* разнородные элементы, вошедшие в состав русского государства, развивать каждый из них правительственными способа-

ми не только по племенам, но и по религии. Мы распространяем магометанство между Киргизами, которые не хотят быть магометанами, мы воссоздаем, укрепляем и возводим в силу остатки ламайства между бурятами, мы берем на себя обязанность блюсти дисциплину и чистоту всех сект и вероисповеданий. Известно также, что мы приобрели бессознательную склонность давать не только особое положение инородческим элементам, но и сообщать им преимущества над русской народностью и тем развивать в них не только стремление к отдельности, но и чувство гордости своею отдельностью; мы приобрели инстинктивную склонность унижать свою народность. Но естественные условия, в которых находится русская народность, так благоприятны, что все эти искусственные причины, клонящиеся к тому, чтобы обессилить ее, до сих пор не могли значительно повредить ей. Почти нет другого примера, чтобы народность, объемлющая собой почти шестьдесят миллионов людей, представляла такое единство, как народность русская: так велика ее природная сила. Самые резкие противоположности языка и обычаи русской народности, какие оказывается, например, между великорусской, малороссийской и белорусской частями ее, покажутся сплошным единством в сравнении с теми бесчисленными резкими контрастами, на которые распадается народность немецкая или французская и которые сдерживаются в национальном единстве только лишь силой национального государства.

Естественные условия, в которых находится русская народность, так благоприятны, что даже и наиболее спорный, наиболее значительный своей численностью и наиболее стремящийся к отторжению инородческий элемент, с ней связанный, – элемент польский, – гораздо родственнее по своему языку, которому в вопросе национальности принадлежит первое место, нежели французские или немецкие провинциализмы в отношении друг к другу. Русский крестьянин из Ярославля или Полтавы с помощью своего языка может удобно исходить весь польский край, ни мало не затрудняясь в сношениях с его жителями; между тем как во Франции или в Германии чуть

ли не с каждым приходом меняется народный язык, и до такой степени, что люди различных местностей не могли бы понимать друг друга, если бы каждый не был более или менее знаком с языком государственным, не редко не имеющим ничего общего с местными наречиями.

Итак, при самых неблагоприятных условиях политической системы, клонящейся к тому, чтобы выделить инородческие населения, поддерживать и развивать правительственными способами чуждые русской народности элементы, встречающиеся на ее громадной территории, и, наконец, в этой искусственной отдельности возвышать их над русской народностью, – несмотря на все это, нигде, скажем мы опять, отношения господствующей народности ко всем инородческим элементам так не благоприятны, как в России. Это говорим мы, русские; но это же скажет и сведущий иностранец, скажет даже француз, который по справедливости гордится единством и цельностью своей народности. Мы приведем сейчас мнение человека вполне добросовестного, как нельзя более сведущего во всем, что касается статистики русского государства, – притом француза, носящего немецкое имя. Мы разумеем г. Шницлера. Перебрав народонаселение всего русского государства, вот что говорит он в своем последнем статистическом труде* «Преыдущее служит ответом на вопрос, однородно ли русское народонаселение. На первый взгляд, оно может, в самом деле, показаться неоднородным; но несколько мгновений размышления дадут понять, что нет на свете национальности более цельной и однородной, как эти пятьдесят шесть миллионов русских, составляющих громадное большинство населения Империи и заключающих в себе истинный центр ее тяжести. Эта национальность одарена большой расширительной силой; она захватывает и уподобляет себе мало-помалу чуждые ей элементы, из которых только польский имеет еще некоторое значение, между тем как другие представляют собой малые доли, и из них самая значительная едва превышает три мил-

* «L'Empere des Tsars au point actuel de la science». Par. M. I. H. Schnizler. – Paris, 1862. – Т. II. – Р. 280. *Здесь и далее прим. авт.*

лиона, а остальные, следуя в нисходящем порядке, теряются в самых ничтожных цифрах».

Инородческого народонаселения, взятого в совокупности, насчитывается в России от четырнадцати до девятнадцати миллионов, – с Сибирью, с Кавказом и Закавказьем, с Киргизскими степями, с Финляндией, с Прибалтийскими губерниями, наконец, с Царством Польским. Девятнадцать миллионов, правда, это почтенная цифра. Численность народонаселения всего Прусского королевства почти не превышает этой цифры. С ней было бы можно поспорить, если бы она представляла собой что-нибудь действительное; но она при малейшем внимании разлетится как призрак, и перед нами окажется множество элементов до такой степени ничтожных, что их ни в какой счет ставить невозможно, или же окажутся такие элементы, которых ни в какое соображение нельзя взять при вопросе о политических национальностях. Г. Шницлер замечает, что кроме польского элемента из остальных самый значительный едва простирается свыше трех миллионов. Он считает эту цифру неважной; мы сочли бы ее довольно значительной, если бы таковая оказалась в действительности; но такой не окажется. Вот, например, почтенная цифра 3 700 000, полагаемая на так называемую чудскую, или финскую национальность. Но что представляет она собой? Она представляет собой не что-либо действительное, а этнографическую отвлеченность. Предмет, который ею обозначается, существует только в понятии ученого, логическим путем группирующего элементы, разрозненные и чуждые друг другу в действительности. Под эту цифру подходят народонаселения более чуждые друг другу, чем многие из них относительно русской народности; под эту цифру подходят народонаселения разрозненные между собою огромными пространствами, чуждые друг другу и бытом, и религией, и языком. Сюда относятся и собственно так называемые финны в Финляндии, и эсты в Лифляндии и Эстляндии, и пермяки и чуваша, черемисы и мордва по Волге, и вогулы и остяки в Сибири. Не только черемис совершенно не поймет обитателя Суоми, или Финляндии, но эстонец, который ближе к этому последнему, не в состоянии

понимать его. Это разбросанные обломки после взрыва. Точно так же взорвано, разбросано и лишено всякой связи племя татарское. Племя литовское, очень близкое к славянскому, представляет собой до такой степени разнородные группы, что они лишь в этнографической росписи могут быть собраны воедино: сюда относится Литва в теснейшем смысле, жмудь и латыши, чуждые друг другу, как и финские племена, и по образу жизни, и по религии, и по языку, распавшемуся на взаимно непонятные наречия. Не взять ли племя европейское, которого в пределах Империи числится почти до двух миллионов? Не для него ли требуется особая политическая организация – племя разбросанное по целому миру, живущее отдельными группами среди христианских народонаселений? Не взять ли для соображения Кавказ с Закавказьем, где этнолог и лингвист теряется в бездне мелких племен и языков, совершенно разнородных и где самая значительная группа, грузинская, нам единоверная, своей численностью едва достигает девяти сотен тысяч и притом сама распадается на особые группы? Не немецкая ли национальность есть одна из тех двадцати наций, живущих в России, которые должны послужить основанием для отдельных государств? В Российской Империи всего на все числится до трехсот семидесяти тысяч немцев, с колониями по Волге, в Новороссии и на Кавказе и с Прибалтийскими губерниями, где немецкого элемента считается до ста семидесяти тысяч. Сто семьдесят тысяч и притом не народа, который должен представлять собой полную организацию общественных классов, – а лишь землевладельцев и горожан! Вот особая нация и особое государство! Или взять шведов, которые играют господствующую роль в Финляндии и которых числится до двухсот тысяч? Или румынов, которых считается до пятисот тысяч? Или армян, которых наберется до трехсот тысяч, или греков, которых числится до пятидесяти тысяч? Или цыган, которых считается столько же? Или алеутов, которых считается до двух тысяч? Вот нации, таящиеся в недрах России! Вот тот мир народов и государств, на которые она должна распасться, дабы превратиться в *гуманитарную* державу!

Но для чего же, в каких видах Россия должна раздробить свою государственную область, которая так дорого ей стоила, и за неимением наций, между которыми бы должна поделить ее, нарочно сделать из себя множество отдельных наций, – нарочно сделать немцев из латышей и эстонцев в Прибалтийских губерниях, чтобы там была компактная немецкая национальность, нарочно сделать русских, живущих в Финляндии, финнами, или финнов шведами, нарочно дать сделать миллионы русских в западной России – поляками, а польские, так родственные нам народонаселения, в конгрессовке окончательно разобщить с русским народом и подготовить их к той судьбе, которая уже постигла всю остальную часть когда-то многочисленной польской нации, то есть сделать ее легкой добычей германизации? В каких видах должна Россия устраивать новую Биармию, или Царства Казанское и Астраханское? В каких видах Россия должна нарочно сделать Кавказ, которого почти каждый утес облит русской кровью, чуждым для русского народа с государством? В каких видах должна она расторгнуть и сделать чуждыми и, стало быть, враждебными друг другу части своей собственной природной национальности? Чем хотят подействовать на наше воображение, чем хотят заманить нас к совершению подобных неслыханных операций? Об этом стоит поговорить особо.

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ РУССКОГО НАРОДА С ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТЬЮ

В России, к несчастью, держатся и по сие время группы людей, ничтожные по своей численности, но чувствующие себя настолько значительными и сильными, что считают возможным противопоставлять себя русскому народу и даже оспаривать у него государственные права. Из этих групп выходят те фальшивые и лукавые учения, которые выставляют русский народ не только неспособным к высшей цивилизации и обреченным служить лишь материалом и орудием для чуждых ему целей, но исполненным противогосударственных и мятежных

стремлений. Наглость этих учений доходит до того, что они полагают возможным привести к разрыву или, по крайней мере, возбудить прискорбные недоразумения между русским народом и Верховной властью, которая вышла из его истории и есть его единственное благо, упроченное и возвеличенное им ценой тяжких страданий и жертвований. Нет порицания, которому не подвергался бы бедный русский народ с разных сторон. Ему отказывают во всем; у него отнимают даже его историю и происхождение; все в его жизни и свойствах предается поруганию; ему приписываются несовместимые отрицательные свойства, смотря по тому, с какой стороны требуется клеветать на него. Пусть же клеветают на русский народ, пусть отрицают у него все что угодно, пусть соревнующие ему возвышают себя над ним в каких угодно качествах; но пусть, по крайней мере, не оскорбляют простого здравого смысла, пусть, по крайней мере не посягают на очевидность...

Кто сколько-нибудь знает русскую историю, кто не вовсе лишен смысла для разумения окружающих явлений, тот не может сомневаться в свойствах русской народности, по крайней мере, по отношению к государственному порядку и к Верховной власти, которой он держится, — тот не может думать, что в интересе этого порядка надобно стеснять и подавлять русскую народность. Если б она действительно соответствовала тем учениям, которые о ней разглашаются, русское государство не могло бы существовать, оно неминуемо должно было бы распасться, и действительно — все искусство наших политических противников состоит в том, чтобы вооружать нас самих против нашей народности. Взаимное недоверие и разъединение между русским народным чувством и русской Верховной властью, вот цель этих стремлений, и если бы цель эта могла быть прочным образом достигнута, то дело их было бы сделано.

Напрасно хотят уверить нас, что можно быть честным гражданином, отвергая и отрицая национальность государства, что можно быть верным подданным, не будучи честным гражданином; напрасно хотят уверить нас, что можно служить Государю, не служа его государству. Где же могут быть права

и интересы Государя как не в его государстве? Россия сильна именно тем, что народ ее не отделяет себя от своего Государя. Не в этом ли единственно заключается то священное значение, которое Русский Царь имеет для русского народа? Не в этом ли душа и смысл всех проявлений народного чувства, обращенного к царскому престолу?

Кто в России по истине, а не для виду только изъясляет верность и преданность Русскому Государю, тому остается только слиться с русским народом. Притязание отличиться пред ним в этом отношении может свидетельствовать только о неискренности побуждений, о фальшивости чувства. Дело не в видимости, а в сущности. О смысле и свойстве русского народного чувства говорит убедительно вся русская история. Это не есть чувство наемника, который соблюдает свои обязательства, пока ему это выгодно; это сила природная, семейная, созданная историей, воспитанная Церковью, — сила, от которой народ наш не может отложиться, не отрекаясь от собственного бытия. В России не могло бы возникнуть никаких внутренних недоразумений и опасностей, если бы все, что живет в ней, было одушевлено русским гражданским чувством и если б ее политика постоянно следовала только тем побуждениям и идеям, которые из этого чувства почерпаются. Указывают на некоторые печальные явления, возникающие в нашей общественной жизни: но стоить только присмотреться к ним, чтоб убедиться, как мало общего между ними и русским народом; стоит только немного отдать себе отчет в этих явлениях, чтоб удостовериться в свойстве тех чуждых и враждебных русскому народу влияний, которые создают и поддерживают их. Дабы противодействовать этим влияниям, нет другого средства, как бодрое и полное развитие русской народности, которая только и может поддерживать здоровье и жизнь в нашем государственном организме.

Ничто так выразительно и сильно не свидетельствует о той нравственной неразрывной связи, которая соединяет русский народ с главой его государственной жизни, как выражения народного чувства во дни подобные, переживаемым

теперь нашей Москвой. В искренности этих выражений невозможно сомневаться, невозможно в них ошибиться. В этих восторженных кликах, которыми Москва встретила своих Августейших Посетителей, действительно слышалась вся история русского народа.

ЧТО ЗНАЧИТ СЛОВО «РЕАКЦИЯ»?

У нас теперь в большом ходу слово *реакция*. Этим словом перекидываются как самым ругательным. Им запугивают наш слабоумный либерализм. Но скажите ради Бога, не есть ли отсутствие реакции первый признак мертвого тела? Жизненный процесс не есть ли непрерывная реакция, тем более сильная, чем сильнее организм? Наши либералы, или вернее их руководители, которые их дурачат, хотят, чтобы Россия оставалась мертвым телом, неспособным реагировать, какие бы дела над ней ни творились. Совершаются страшные события, и что же! — хотят, чтоб они не произвели никакой перемены ни в настроении общества, ни в правительстве. Хотят, чтобы мы продолжали следовать как ни в чем не бывало путем обмана, чтобы посредством реакции живого и сильного организма мы не выбросили из себя болезнетворное начало, которое отравляет его. Горе нам, если мы не способны даже теперь оказать спасительную реакцию, которая состоит не в том, как думают наши гнилые либералы и политические плуты, держащие их на поводьях, чтоб ухудшить наши дела, — а напротив, чтоб их улучшить, чтобы вывести их на прямой путь, чтоб оздоровить их.

Что требуется в настоящее время? Более всего требуется, чтобы показала себя государственная власть России во всей непоколебленной силе своей, ничем не смущенная, не расстроенная, вполне в себе уверенная. Боже сохрани нас от всяких ухищрений, изворотов, заискиваний, от всякой тени зависимости государства от каких-либо мнений. Власть государства не на мнениях основана; или ее нет на деле, или она держится сама собой, независимо от мнений. И вот это-то прежде всего должно обнаружиться в критические минуты. Слышанное

ли дело, чтобы полководец обращался не к мужеству и твердости своих войск, а старался бы вызвать в них мнения и показывал бы вид, что мнениям угождает и в своих действиях на них опирается? А разве государство, вынуждаемое принимать меры общественной безопасности, не то же, что и воинство, которое, в свою очередь, не то же что и государство в сокращенном виде? Государство предоставляет мнениям развиваться и высказываться на свободе, которую оно же ограждает и обеспечивает; но в деле государственной необходимости и общественной безопасности требуется прежде всего честное и твердое исполнение каждым своего долга. Россия выросла и окрепла не мнениями, не большинством голосов, не интригой партий, вырывающих друг у друга власть, а исполнением священного долга, связующим воедино все сословия народа. Оживить это чувство долга, вот что требуется в обстоятельствах, подобных настоящим.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ЦАРСКИЙ ПУТЬ

Предлагают много планов... Но есть один царский путь.

Это – не путь либерализма или консерватизма, новизны или старины, прогресса или регресса. Это и не путь золотой середины между двумя крайностями. С высоты царского трона открывается стомиллионное царство. Благо этих ста миллионов и есть тот идеал и вместе тот компас, которым определяется и управляется истинный царский путь.

В прежние века имели в виду интересы отдельных сословий. Но это не царский путь. Трон затем возвышен, чтобы пред ним уравнивалось различие сословий, цехов, разрядов и классов. Бароны и простолюдины, богатые и бедные при всем различии между собой равны пред Царем. Единая власть и никакой иной власти в стране, и стомиллионный, только ей покорный народ, вот истинное царство.

В лице Монарха оно владеет самой сильной центральной властью для подавления всякой крамолы и устранения всех препятствий к народному благу. Оно же, упраздняя всякую другую

власть, дает место и самому широкому самоуправлению, какого может требовать благо самого народа, – *народа*, а не партий.

Только по недоразумению думают, что монархия и самодержавие исключают «народную свободу»; на самом же деле она обеспечивает ее более, чем всякий шаблонный конституционализм. Только Самодержавный Царь мог, без всякой революции, одним своим манифестом освободить 20 миллионов рабов, и не только освободить лично, но и наделить их землей. Дело не в словах и букве, а в духе, все оживляющем.

Да положит Господь, Царь Царствующих, на сердце Государя нашего шествовать именно этим воистину царским путем, иметь в виду ни прогресс или регресс, ни либеральные или реакционные цели, а единственно благо своего *стоимиллионного народа*.

СВОБОДА И ВЛАСТЬ

I

Всякая вещь познается из ее происхождения. В чем состоит ход образования государства? Ни в чем ином, как в собирании и сосредоточении власти. Покоряются независимые владения, отбирается власть у сильных, и все, что имеет характер принудительный, подчиняется одному Верховному над государством началу; дело не успокаивается, пока не водворяется в стране единовластие, покрывающее собою весь народ. Государство вооружено, но не против свободы, которая только в ограде его и возможна; оно вооружено против других государств как вне, так и внутри его. Власть по природе своей не может терпеть государств в государстве, и ее прямое назначение пресекать и возбранять все, что имеет такой характер. Собирая и сосредоточивая власть, государство тем самым создает свободное общество. Власть над властями, Верховная власть над всякой властью, вот начало свободы. Что прямо или косвенно нарушает свободу, то противно государственному началу; что может принять характер насилия, то должно быть на

зоркой примете, и правительство обязано предотвращать или пресекать всякое вынуждение, не на законном праве основанное. При сбивчивости понятий и неспособности правительств возникают роковые и гибельные ошибки: смешивается свобода с тем, что противно ей, с вынуждением и насилием, и правительство, думая угодить свободе, организует и узаконивает то, что ее подавляет, а с тем вместе вносит смуту в государство.

Толкуют о свободе печати, но не все отдают себе ясный отчет в том, что разуметь под этой свободой. Люди на общественных дорогах свободно ходят и ездят, и чем свободнее, тем лучше, но никому нельзя предоставить свободу бесчинствовать на улице и нападать на встречных. Охраняя общественные пути от физического насилия, не обязано ли то же правительство охранять общество и от насилий нравственных? Систематический обман не есть ли нравственное насилие? Может ли быть терпимо тенденциозное обращение к дурным страстям, к невежеству, к людской глупости, все, что клонится к тому, чтобы сбить с толку темные массы и овладеть незрелыми умами? Книга, по содержанию и характеру своему назначаемая для круга людей, способных критически отнестись к ней, имеет иное значение, чем листок газеты, который обращается ко всем без различия, всюду вторгается и всеми читается. Может ли правительство оставлять уличное слово без контроля и отдавать малых, слабых и темных людей во власть всякому речистому шарлатану?

Правительство Самодержавного Государя во внутренних делах не может видеть в себе как бы одну из партий и действовать в растлевающем духе какого бы то ни было частного интереса. Умное и честное правительство, не выпустившее власти из своих рук, не будет потворствовать под фальшивым видом либерализма общественному обману, не будет терпеть тенденций, враждебных государству, ничего, что подкапывается под его основы, что злоумышляет против охраняемого им нравственного порядка.

Но что сказать о таком правительстве, которое само стало бы участвовать в обмане и под предлогом либерализма стало

бы дружить врагам своего Государя и своей страны, не только не мешая, но помогая им деморализовать общество и вербовать себе партии? Что сказать о подобном правительстве, если бы таковое было возможно? Увы, в смуте дел человеческих и невозможное бывает возможным.

С точки зрения понимающей свое призвание власти ничто не может быть так желательно, как самоуправление общественных групп. Но всегда ли под этим словом разумеется то, что им знаменуется? Пусть каждый, уплативший свой долг кесареви, управляется сам собой и без помехи распоряжается своими делами: это относится к сфере свободы, и чем шире эта сфера, тем лучше. Свобода и независимость – это одно и то же, но все, что имеет характер общественной власти, не должно считаться независимым. Отношения между людьми не могут оставаться вне государственного надзора, коль скоро принимают более или менее обязательный характер; но не может быть грубее ошибки, как под именем самоуправления и автономии подчинять одних произволу других. Если путь восхождения государства есть путь отбирания власти, то появление в нем независимых властей, возникновение государств в государстве есть путь его падения и расстройства. Не странно ли под видом самоуправления узаконять корпорации и коллегии, самоуправно распоряжающиеся не своими, но чужими делами? Сообразно ли с чем-нибудь отдавать, например, высшее образование страны, а с тем вместе и судьбы ее отборного юношества на произвол замкнутых в себе и самопополняющихся коллегий? Говорят о независимости судебной власти. Но судебная власть должна быть независима лишь от произвола соподчиненных ей властей, что, однако, не значит быть в раздоре или не согласии с ними, так как все власти равно подчинены общему Верховному началу, от которого ни одна не должна мнить себя независимою.

Подобные аномалии равно противны как государственному началу, так и делу свободы, и мы не выздоровеем, пока не исправим этих печальных ошибок, которых последствия уже также тяжело нами испытаны.

II

Великую славу наследовал Государь наш, но и тяжкое бремя. Никогда Россия не была так могущественна, так полна жизни, и никогда не носилось над ней столько пагубных недоразумений, как в настоящее время.

Все мы, русские люди, присягнувшие верой и правдой служить Государю и в его лице Отечеству, все мы должны глубже проверить себя. Наши недоразумения и ошибки случаются от того, что мы незаметно для себя переходим с одной почвы на другую, меняя предмет своих суждений и забот. В вопросах государственного свойства все должно оцениваться с точки зрения государства, и притом не какого-нибудь, не отвлеченного, но действительного, живого, одного из всех, того, которому мы служим, во всей совокупности связанных с ним интересов. Мы ничего не утратим, не причиним ущерба никакому ценному для человека интересу, когда будем последовательны и тверды в вопросах государственной важности, когда в этих вопросах будем руководствоваться только истинной пользой государства, только действительными потребностями нашего Отечества, – когда мы будем вполне и безусловно национальны в наших суждениях и действиях. Напротив, непоследовательность и полумеры в государственном деле всегда сопровождаются вредом и пагубой для всех охраняемых государством интересов. Результат всегда оказывается противоположный тому, чего мы искали, меняя точку зрения и вовлекаясь в область иных соображений. Церковь, например, есть величайший для человека интерес; но она находит себе верное обеспечение только в государстве, которое, охраняя ее, знает себя и умеет отличать желательное от обязательного.

Интерес экономический имеет бесспорную важность, но исключительно им нельзя руководствоваться в государственном деле. Рядом с системой экономических интересов есть порядок нравственный, есть порядок юридический, и с точки зрения государственной каждому порядку дается свое место, каждый принимается в уважение и при правильном ходе дел

каждый выигрывает, приходя в соглашение с другими. Филантропия есть прекрасное чувство, но никаким побуждением, хотя бы и прекраснейшего свойства, нельзя оправдывать уклонение от государственного долга. История свидетельствует, что дело, происходящее из наилучшего источника, но уклоняющее нас от долга нашего служения, ведет роковым образом к нежеланным и ненавистным для нас самих последствиям. Тысячи жертв могут поплатиться за доброе чувство, которое ошиблось в пути. Милосердие к людям требует не поблажки, а решительного противодействия тому, что их губит. Великая ошибка – вступать в сделку с направлениями, существенно враждебными государству, и надеяться замирить их уступками.

Государство не находится в антагонизме со свободой, напротив, свобода возможна только в его ограде, но при условии сильной власти, способной защитить личную свободу людей от всякого насилия и вынуждения.

Единая, безусловно свободная и бесспорная Верховная власть есть великое благо русского народа, завещанное ему предками и добытое их трудом и кровью. Никакое человеческое дело не изъято от ошибок и злоупотреблений, и никакие учреждения не могут обеспечить от них. Но прискорбные случайности – дело проходящее, лишь бы основания не колебались, лишь бы самое начало власти оставалось цело и невредимо. С самодержавной властью Русского Государя неразрывно соединено самое существование России. Незыблемая и свободная Верховная власть, какая Богом дарована Русскому Государю, всего вернее обеспечивает народное благо и всего лучше может способствовать ему. За то все, что есть в России русского, и здоровомыслящего, и честного, все должно стоять на страже этого великого начала. Вот правильное и истинно русское отношение между царем и народом: царь за весь народ, весь народ за царя.

ПАНУРГОВО СТАДО

Тяжкое наследие досталось нынешнему правительству. Только что совершилось цареубийство при ужасающих, не-

слыханных в России обстоятельствах. Изменническая крамола в полном разгаре. Работают не один, а несколько заговоров, которые взаимно друг друга обманывают, исполняя в совокупности план им самим неведомой главной крамолы. Ежедневно в Петербурге, благодаря неутомимой деятельности нынешнего градоначальника, обнаруживаются разветвления крамолы, открыты громадные склады разрушительных снарядов. В Петербурге многие местности оказались минированными. Злоумышленники, пользуясь полным простором, нашли способ возмутить народные толпы, направив их одновременно в разных местах (чего никогда прежде не бывало) на евреев, с явным умыслом расшевелить в массах инстинкты грабежа и насилия, и в надежде при дальнейшем колоссальном бездействии государственной власти увлечь народные массы в общую темную смуту. Революционная партия сбросила личину, подняла голову и вышла совсем наружу. Различие между *легальными* и *нелегальными* исчезло. Над школами, особенно над университетами, прошел неслыханный смерч, который все в них взбудоражил. Студентам сверху предписывалось собираться на учредительные сходки, составлять петиции, сочинять себе конституцию, просто бунтовать. Никогда наглый обман так не господствовал в печати, как в это последнее время. В Германии, после покушения на жизнь императора, было закрыто до сотни газет, разносивших отраву. У нас же после динамитного взрыва во дворце открылось много новых органов на фальшивые средства. В провинции разрешено чуть не до сотни крупных и мелких газет, которые неутомимо пропагандируют обманы столичных, перепечатывая их статьи и под покровительством цензуры дополняя их своими, которые еще почище. Все политически честное и здравомыслящее упало духом. То регулирующее действие, которое твердый государственный порядок оказывает на умы, дисциплинируя их, нигде не чувствуется. Люди в разброде и обращаются в стадо (посмотрите хоть на Петербургскую Думу), которое готово бессмысленно побежать куда бы ни погнало его. Нас предостерегают от революции, но, — надобно же сказать правду, — мы уже в рево-

люции, конечно, искусственной и поддельной, – но тем не менее в революции. Еще несколько месяцев, быть может, недель прежнего режима, и крушение было бы неизбежно... Вот какое наследие досталось нынешним министрам, на которых пал выбор Государя для того, чтобы восстановить правительство, возобновить действие государственного порядка и вывести наши дела из обмана и кризиса.

Хороша же была диктатура с громадными полномочиями для подавления крамолы! Попомнит Россия год этой «диктатуры сердца», как назвал ее, еще в начале, один из ее чувствительных петербургских органов...

В одном общественном собрании в Петербурге на этих днях осмелились сказать, что эта диктатура спасала Русский Престол. Пусть бы говорили о спасении города Петербурга, в лице Наума Прокофьева, от Ветлянской заразы, – но сказать, что кто-то спасал Русский Престол! Сметь сказать это в лицо России! Нет, не престол требовалось спасать, – он незыблем, пока стоит Россия и жив ее народ. Увы, требовалось только охранить доброго Царя от убийц, подсылаемых изменой!

И осмеливаются еще говорить, будто кто-то был призван примирить Царя с обществом. С каким обществом? Разве Император Александр II был в ссоре со своим народом? русский народ во всех сословиях своих всегда отличался безусловной преданностью своему законному Государю, в котором видит *свою* собственную, Богом дарованную ему власть, оплот и силу своего государственного бытия, свое олицетворение. Преданность русского народа престолу выдерживала все испытания. Она не колебалась ни при каких невзгодах. Или уж царствование Александра II было так сурово и круто, что терпение русского народа лопнуло, как пишут русские изменники в своих брошюрах за границей? Нет, никогда царская власть в России не действовала так освободительно, так либерально, как в минувшее царствование. Кому же и за что было с ней ссориться? В котором из сословий русского народа могло бы развиваться недовольство такое, что потребовались чрезвычайные меры для его успокоения. В крестьянском ли? Кажется, нет. В городских

ли сословиях? Кажется, тоже нет. В дворянстве ли? Тоже нет. Дворянство особенно гордится своей преданностью престолу, своей стародавней службой государству, для которой оно и было создано, и оно не может не сознавать, что самое бытие его зависит от незыблемости и целостности самодержавной власти!

С кем же мириться? Кого же ублажать?

Кроме сословий русского народа, в которых он весь, у нас еще гуляет на вольных пустошах Панургово стадо, бегущее на всякий свист, покорное всякому хлысту, отрицательные величины цивилизации, мыслители без смысла, ученые без науки, политики без национальности, жрецы и поклонники всякого обмана. Оно нарождается и исчезает со всякой переменной погоды. Падает народный дух, оно нарождается; пробуждается он, это стадо исчезает. Его ли ублажать? Но это значило бы не подавлять крамолу, а пособлять ей и действовать с ней заодно.

Если есть в русских сословиях недовольство, то оно возбуждено только тем, что законная власть перестала действовать. Русские сословия стали бояться как бы вместо правительства своего Государя не очутиться под правительством крамолы...

Можно иметь уверенность, что новое правительство не будет ухаживать за Панурговым стадом, что оно не будет искать популярности себе в паразитах, создаваемых его бездействием, – той популярности, которая кончается обыкновенно затрешиной, – а будет искать мира в самом народе, о котором оно призвано заботиться, и прежде всего постарается освободить его от вибрионов и бактерий... Дай Бог ему только ни в чем не сбиваться со своего пути, быть последовательным в своих планах и действиях и, твердо помня свой долг, не смущаться ни от каких возгласов и ни минуты не колебаться в решении, когда потребуется действие сильной власти в видах государственной пользы и народного блага, ни в чем не разделяя их и во всем проверяя одно другим.

Всякая отвлеченность в государственном деле ведет к печальным ошибкам. Правительственные действия должны точно сообразоваться с живой, исторически сложившейся действительностью. Затем, правительство Самодержавного Госу-

даря не должно быть партией, – но это не значит быть беспристрастным между правдой и ложью и соблюдать нейтралитет между долгом и изменой, между Богом и чертом.

ЗЕМЛЯ И ГОСУДАРСТВО

У нас часто говорят о земле в политическом смысле и землю противопоставляют государству. Но противоположность между землей и государством не выдерживает критики. Русская земля есть русское государство, и русское государство есть русская земля. Это одно и то же, только с двух сторон взятое. И нельзя понимать так, что земля имеет свои интересы, отдельные от государства, а государство свои. Если б у земли или народа были свои интересы, а у государства свои, то они стояли бы друг против друга, как два лагеря; между ними пришлось бы проводить демаркационную линию; между ними даже при самых мирных отношениях неизбежно возникла бы рознь и борьба; они стали бы вести между собой если не войну, то политику, это было бы не то что земля и государство, а как бы два государства, на которые разломилась бы страна. Такое положение было бы величайшей несообразностью, на которой не возможно остановиться мыслью. Правда, нечто подобное было в зачаточную эпоху России, когда русская земля еще не была собрана воедино, когда еще не было русского государства, а были на пустыре русской земли разрозненные населения и разбросанные города, жившие каждый своей отдельной жизнью и призывавшие к себе, когда приходилось туго, то ту, то другую бродячую дружину с князем во главе для обороны от врагов или для подавления внутренней смуты. Но это первобытное состояние нашего Отечества, когда оно еще не сложилось, когда еще не было ни России, ни русского народа, может ли служить для нас образцом? Можем ли мы считать ни во что тысячелетнюю историю России и возвратиться ко временам Рюрика?

Нет, народ организованный, имеющий одно Отечество и одну Верховную власть, которой всякая власть в народе подчинена, есть един с государством и его главою. Не только ни-

какого антагонизма, но ни малейшей розни не должно быть между интересами народа и интересами государства. Каждая местность в государстве есть живая часть его. Целое состоит в своих частях и части в целом. Государство не может быть равнодушно к тому, как идут дела в бесчисленных местностях, его составляющих, как живет ячеек его организма.

Всякое управление имеет прежде всего своей целью обеспечение мира в стране. Судьи мира в Англии – justices of the peace – то есть землевладельцы-вотчинники в каждом графстве, и называются так потому, что охраняют мир в своей местности. У нас условия иные, у нас нет безземельного народа, как в Англии; у нас земля не находится вся в руках лишь одного класса, у нас каждое сельское общество может считать себя вотчинником и хозяином. У нас весь народ заинтересован в общественной безопасности. Мы имеем исторически сложившиеся сословия, у нас есть сословные общества в городах и селах, которые могут всего лучше способствовать этому главному государственному делу, которое в то же время есть первый интерес всякой местности и всякого обывателя в ней. Не говорильни нам нужны, не словоизвержения об общих принципах и вопросах. Нам нужно действительное участие действительных народных сил в охране общественного спокойствия. Теперь особенно, когда по нашей оплошности закралась к нам вражеская смута, необходима организованная помощь наших народных сил, то есть наших бесчисленных сословных обществ. Эти общества не фантазии, а факт, которого нельзя не признать, и нельзя им не воспользоваться. Надобно только воспользоваться им должным образом. Никакая полиция не может у нас так успешно и так надежно действовать, как организованные для государственной цели наши сословные общества. В духе, который живет в них, не может быть сомнения. Расторгните эти общества, пустите этих людей вразброд, – вы не узнаете их. Поставьте людей в другие сочетания, вы также не узнаете их. Русский народ есть то, что он есть в своих сословных обществах. Ничто не заменит того непреборимого государственного духа, который могущественно властвует над миллионами людей в наших сословиях.

Призовите эти силы к действию, только не фиктивно, но в правду, и всякой крамоле конец.

ГОДОВЩИНА СОБЫТИЯ 1-ГО МАРТА

Сегодня, 1 марта, во всех храмах русской земли вознесена нелицемерная молитва о упокоении души Царя-Освободителя, изменнически умерщвленного в своей столице.

За год пред сим совершилось это страшное событие при неслыханных обстоятельствах.

Горсть людей, наполовину несовершеннолетних, ничтожных, навербованных большей частью из университетских недоучек, рабски повинующихся неизвестной им команде, ожесточенно, неумоимо преследовали Русского Императора на всех путях его, среди верного и преданного ему народа, свято его чтившего по сану, беспредельно любившего за его благодеяния. Покушение следовало за покушением с возраставшей дерзостью; делались подкопы под железными дорогами и городскими улицами, мины в самом дворце. Наконец, злодеяние совершилось с беспримерным ожесточением на публичном проезде, среди дня, в средоточии всех властей.

Что же? Так при этом и остаться? Так просто и занести в наши летописи, что 1 марта 1881 года злоумышленникам удалось с помощью динамита достигнуть своей цели? Так и остаться при факте, что горсть порченных полулюдей, всеми отвергаемых и действующих по чьей-то команде, могут таким образом располагать судьбами великой страны?

Порченные люди везде и всегда были, везде и всегда будут. Политические процессы показали, как легко сбивать с толку и уловлять молодых, не достаточно окрепших людей, брошенных на произвол случая. Вопрос в том, как могло устроиться преступное общее дело, крепко связавшее их? Почему они так покорно и самоотверженно повинуются какой-то неизвестной власти? Что придает им дух и отвагу? Что заставляет их упорно работать в преступных видах, подвергаясь и лишениям, и опасностям? Прежде всего, упадок духа в обществе, а дух в

обществе падает, когда государственная власть слабо действует, не веря в себя и от себя отрекаясь. С ослаблением власти законной неизбежно возникают преступные власти,

Как могла окрепнуть и развиваться преступная организация в России, среди народа, ее проклинающего, в государстве могущественном, на виду у правительства сильного, неограниченного ничем, кроме требований государственной необходимости и пользы?

Дело в том, что правительства не было. Были правительственные лица, но правительства не было. Лица во власти мыслили взброд, каждый по-своему, часто действуя в подрыв правительственному началу, ими представляемому. Политика заменялась личной интригой. Никто не боялся ответственности за образ действий, противный долгу присяги и интересам государства.

Дело в том, что кесарево не воздавалось в должной мере *кесарю*. Минувшее царствование было естественной реакцией тому, которое ему предшествовало, когда сурово и грозно, до подавления жизни, господствовало начало государственное. А истина требует, чтобы кесарево воздавалось кесарю как Божие Богу. Где первое не достаточно воздается, там не воздается и второе, там падает чувство всякого долга, мутятся умы и возникают нравственные эпидемии.

Есть еще завет: *не сотвори себе кумира*. Бывают ошибки в законодательстве, роковые, очевидные, причиняющие глубокое зло: следует ли останавливаться в суеверном благоговении пред делом рук своих? Обязательны ли ошибочные законы для живой, самодержавной, лишь Богу ответственной, пред Богом ходящей власти? Не требуется ли немедленно, дня не пропуская, не стесняясь никакими соображениями, исправить зло, как только оно оказалось?

Царствование в Бозе почившего Императора было исполнено великих и благих дел; это по истине славная страница в русской истории. Он освободил свой народ и положил начало его обновлению. Бог помогал ему во всем, Бог не допустил его и пережить самого себя. Он был взят в полноте силы и славы.

Злодеяние, пресекшее его дни, падает своим позором на нас, но не бросает тени на его славу; его мученическая кончина, напротив, возвеличит его образ в благоговейной памяти народа. Своей кровью запечатлел он свой царственный подвиг. Не было на троне человека человеколюбивее, мягкосердечнее, снисходительнее, добрее почившего Императора. Но в делах человеческих все относительно. Доброта и мягкосердечие могут быть причиной слабости правительственной, скажем более, анархии в правительстве, как ни странно сочетание этих понятий. Нередко Государь, видя зло, настоятельно требовал его исправления, но приставленные к делам лица не исполняли требований Самодержца или обходили их. Возникла, например, фикция, будто судебные учреждения, долженствующие служить органом государства и от него получающие свою силу, независимы от его Верховной власти, – и вот находились советники, утверждавшие, будто Самодержавный Законодатель, стоящий во главе всех властей, создав независимый от администрации суд, и самого себя лишил власти сменить недостойного или неспособного судью. Государь ясно видел зло в наших университетских порядках и настойчиво требовал их исправления; еще в 1872 году был поднят этот вопрос, но вопреки настояниям Государя решение под разными предлогами отлагалось, и зло, обильное пагубными последствиями, до сих пор остается во всей силе.

Годовой оборот совершился. 1 марта возвратилось. Что же сделано для того, чтобы положить предел между временами? Что делается для того, чтобы освободить Россию от революционного призрака? Слышно, ловят злоумышленников: когда же будет изловлен последний?.. Завтра Россия будет праздновать день восшествия на престол ныне царствующего Государя Императора. Все, что только есть в нашем народе честного и благомыслящего, соединится в усердной и горячей молитве, да благословит Его Господь на великий подвиг царствования, да укрепит в Нем веру в Свою священную власть, драгоценнейшее благо русского народа, наследие всей русской истории, собранное трудом и кровью стольких поколений. Россия ждет, как благодати, живых проявлений этой власти. Все оживет,

как только почувствуется истинно сильное правительство, которое не руководится ничем, кроме пользы государства, не боится решительных действий, не связывает себя пустыми церемониями, не останавливается перед самодельными кумирами и не обманывает себя политикой мелких уловок.

Государственный патриотизм

К КАКОЙ ПРИНАДЛЕЖИМ МЫ ПАРТИИ?

Хорошо то слово, которое раздается вместе с делом и служит ему завершением; оно хорошо, потому что произнесено самую жизнью, развилось из тех же источников, из каких происходит дело, и содержит его в себе. Потому оно полно, весомо, знаменательно, исполнено жизненной силы. Такое слово есть свет, оно сознание, оно душа живого дела, с которым оно связано неразрывно. У всякого человека и во всяком обществе есть больший или меньший запас таких жизненных слов, и их легко отличить от слов другого рода, которых, к сожалению, бывает у людей великое множество. Особенно у нас люди образованные изнемогают под страшным обилием таких слов, которые в устах произносящих не имеют никакого жизненного значения, — слов пустых, звонко стекающихся в калейдоскоп фраз и заглушающих всякое проявление мысли.

Человек хорошо понимает только то, что действительно изведal, что было им испытано, что, наконец, было им сделано или что сделалось в нем. Как хорошо чувствуется такое слово, кто бы ни произносил его и к чему бы оно ни относилось! В нем вся сила поэзии, все очарование жизни, в нем неотразимое могущество убеждения. Но где найти человека, у которого все понятия были бы такими живыми силами? Большею частью люди без греха пробаваются понятиями, составленными из элементов общих, представляющими лишь смутные очерки, ни мало не воспроизводящими действительного, внутреннего собствен-

ного значения вещи. Иначе и не возможно: никакой человек не может собственным опытом изведать все положения жизни, и во многом по необходимости он должен довольствоваться опытами других, суррогатами воображения, отвлеченными схемами. Кто не испытал известной привязанности, кто не изведал известного лишения, тот никогда не поймет их отличительной сущности, тому никак не растолкуете, в чем состоит их живая особенность, и тому приходится довольствоваться понятиями, которые выработались из других, более или менее близких, или более или менее отдаленных источников; остается только желать, чтоб эти источники были по возможности близки, чтоб эти понятия не были вовсе пустыми словами, которые вносят в жизнь приторную аффектацию, изнуряющую ложь, обилие фраз и общих мест, тяжелым хламом ложатся на способности людей, на общественные силы и делают их негодными к плодотворной деятельности. В этом отношении общество и отдельные люди подлежат одному и тому же закону: что бывает с лицами, то бывает и с общественной средой. Общественные понятия бывают или живыми силами, или пустыми словами.

В нашей литературе есть всевозможные слова, какие только есть во всех литературах в мире; вам знакомы все термины; мы всего касаемся, обо всем говорим; мы нисколько не затрудняемся в характеристике всевозможных явлений. Мы сыплем терминами, сортируем, классифицируем. На все готово у нас соответственное прозвище. У нас есть философы всех разрядов: и материалисты, и идеалисты, и всевозможные исты, хотя философии у нас еще не бывало. У нас есть политические партии всех оттенков: консерваторы, умеренные либералы, прогрессисты, конституционалисты (даже не выговоришь этого ужасного термина!), и демократы, и демагоги, и социалисты, и коммунисты; но у нас нет ничего похожего на политическую жизнь. У нас есть слова и нет дела, и все наши *исты* – существа воображаемые, призраки, слова и слова, которым ничто в действительности не соответствует, а если что и соответствует, то совсем другое, ни мало не похожее на смысл этих рассыпаемых нами терминов. Наши кружки, наши партии, их

борьба и их сделки, их статьи и их журналы, – все это явления воздушные, которые, конечно, имеют свои причины и принадлежат к области действительного, но действительный смысл их совсем не то, чем они кажутся или чем хотят казаться. И степное марево происходит от действительных причин; но эти колокольни, эти города, эти пейзажи, эти озера, которые кажет оно путнику, все это чистейший обман, призрак, пустота.

Нельзя без смеха слышать, как распределяют себя по различным политическим партиям наши общественные деятели. Всего почетнее было прослыть прогрессистом; всего позорнее было попасть в разряд консерваторов. Было время (оно еще не миновало), когда слово *консерватор* употреблялось вместо брани, и несчастный, в которого бросалось это карательное прозвище, трепетал и бледнел и готов был пройти колесом по городским улицам, чтобы искупить свой грех и перечислиться в ряды прогрессистов. Консерватор – это обскурант, крепостник, ненавистник человеческого рода, враг меньших братий, подлец и собачий сын. Прогрессист – это друг человечества, готовый на великие подвиги, на всяческие жертвы в интересе просвещения, свободы, благоденствия всех и каждого. То – скарденное сердце, а это – широкая, прекрасная, благородная душа, исполненная гражданской скорби, как же было тут колебаться в выборе? Можно ли было позволить себя назвать консерватором? – и вот все изо всей мочи пускались предъявлять свои права на почетное звание прогрессиста. Так как прозвище прогрессиста означало все самое лучшее и самое приятное на свете, то, стало быть, чем более прогрессист казался прогрессистом, тем было лучше. Все по широкому пути спешили вперед, обличая, отрицая, плюясь, ругаясь и кувыркаясь на все манеры; естественно, разжигалось желание обогнать друг друга, опередить всех и прослыть прогрессистом из прогрессистов. Так как дело происходило на воздухе, то разрушать и созидать было дело самое легкое. Неделями переживались целые эпохи, и что третьего дня казалось отважнейшей мыслью, дающей почетнейшее место в рядах прогрессистов, становилось пошлостью, отсталостью, ограниченностью, достойной смеха. Судоустройство, админи-

страция, политические учреждения, свобода во всех ее видах, наука, все одно за другим выбрасывалось за борт в этой воздушной гонке. Прогрессисту было уже совестно заниматься всем этим вздором, и всякий, еще занимавшийся им, отбрасывался с громким воплем в мрачные ряды консерваторов, становился человеком узколобым, «тупоумным дураком» (sic). И в самом деле, можно ли было толковать о таких мизерных вещах, как, например, административные или судебные преобразования, экономическая свобода или формы государственного устройства, когда можно было заняться разрушением целого мира с тем, чтобы воссоздать из ничего? Наконец, не замедлило стать постыдным всякое определенное направление, всякая мысль, в которой оставался какой-нибудь вкус, какой-нибудь цвет. Наши прогрессисты размахались до того, что все исчезло перед ними, и им осталось только придти в себя и догадаться, что они до одурения кружились на одном месте. Теперь нашим прогрессистам более не предстоит ничего делать; все их эволюции окончены; им остается только, отдохнув и протерев глаза, догонять отсталых из консерваторов, которые понемножку подобрали себе то, что побросали эти дервиши. Прозвище консерваторов мало помалу утратило бранное значение, оно начинает входить в честь, и очень немудрено, что в одно прекрасное утро все проснутя отъявленными консерваторами, и звание прогрессиста, некогда так славное, станет, в свою очередь, бранным словом, обидным и позорным. Нет основания отчаиваться, чтобы скоро потом не совершился новый оборот, чтобы не наступила новая очередь, чтобы снова не вошли в честь прогрессисты и чтобы снова не подверглись поруганию консерваторы, и чтобы в сущности все это не было одно и то же. Эти победы и поражения, эта слава и позор, эти великие партии, эти консерваторы и прогрессисты, эти знамена и значки, – все это одна фантазмагория, которая совсем не то значит, что ею представляется.

Что приятнее нашей жизни? Постоянная, вечная игра! Прежде наши *beaux esprits** играли в философские школы, теперь играют в политические партии.

* Великие умы (фр.)

Мы никогда не искали чести принадлежать к какой-нибудь из наших партий, мы никогда не соглашались быть органом какого-нибудь кружка. Ни звание прогрессиста, ни звание консерватора не заключало в себе ничего для нас пленительного. Но если мы сами не причисляли себя ни к какому разряду, зато другие заботились о нашем цвете. Нас бранили и чествовали то консерваторами, то либералами, то прогрессистами, то отсталыми. Но мы смеем уверить наших классификаторов, что нисколько не тщимся принадлежать к тому или другому разряду; мы не видим ни малейшей для себя чести слыть прогрессистами или консерваторами, крайними или умеренными, передовыми или отсталыми. Признаемся, мы даже не видим существенной разницы между всеми этими оттенками в нашей литературе, и, как сказано выше, не видим в них никакого серьезного смысла. Пусть называют нас, как кому угодно: ни чести, ни стыда мы в этом для себя не видим.

Не только к этим шутовским партиям, но и к партиям серьезным, если б они когда-нибудь образовались у нас, мы не могли бы примкнуть. Мы понимаем всю важность политических партий, там где они являются делом серьезным; мы готовы отдать должную честь органам политических партий там, где они существуют, и однако сами не согласились бы принять на себя обязанность служить органом какой бы то ни было партии. У всякого своя натура и свое призвание, как у человека, так и у журнала. Всякий может быть полезен только в пределах своей природы и по своим средствам. Претензия стать чем-нибудь вопреки коренным основам своего существования ни к чему не ведет и портит всякое дело.

Мы понимаем, что всякий общественный интерес может и должен собирать вокруг себя людей и связывать их в одно дело. Чем могущественнее и богаче жизнь, тем сильнее заявляет в ней себя каждое начало, тем упорнее держится всякий интерес, тем более чувствует и знает себя всякое возникшее в ней право. В этом его жизнь и состоит; где, напротив, все расплывается, ничто не заявляет и не чувствует себя, ничто не выступает и не действует, там нет и жизни, — там призраки

и тени, но сил живых там нет. Все, что в жизни образовалось, все существующее, естественно, должно заботиться и о сохранении, и об улучшении своего существования. Людям весьма естественно чувствовать с особенной силой тот интерес, которому они служат, и действовать с особенной энергией в пользу того начала, которое создает и держит их. Очень естественно, что всякий другой интерес чувствуется ими с меньшей силой, а в случае столкновения чувствуется даже враждебным образом. Когда разыгрывается жизнь и различные общественные интересы между собой сталкиваются, непременно возникают противоположные направления, которые между собой борются и оспаривают друг у друга и силу, и самое существование. Органы противоположных направлений и по влечению и по долгу прежде всего заботятся о том, чему служат. В разгар борьбы им трудно, а иногда и вовсе невозможно сохранить беспристрастие и свободу суждения. Они склонны смотреть на все с особой точки зрения и все оценивать по отношению к тому началу, которое сознательно или бессознательно, корыстно или бескорыстно владеет их сердцем и господствует над их умами; им бывает трудно и почти невозможно ставить себя на другие точки зрения и входить в другие положения: цель их – непосредственное действие в известном смысле, тот или другой результат в том или другом направлении. Понятия их принимают один привычный оборот. Первая, основная, инстинктивная забота их не в том, чтобы система их воззрений соответствовала целой истине, а в том, чтобы достигнуть ближайшей цели, которая у них перед глазами и которая овладевает их деятельностью. Понятия служат для них только средством; они располагаются в их мысли так, как требуется положением дел в данную минуту и соответственно их точке зрения. Они не имеют ни побуждения, ни досуга заботиться о критике своих воззрений; им некогда приводить свои понятия в их естественные соотношения, ставить их в полной независимости от случайных влияний, от настроений минуты, от ближайшей практической цели. Им более или менее чужд интерес всесторон-

ней оценки, главный интерес разума и знаний. Но целое общество не может быть равнодушно к этому последнему интересу; человеческая жизнь не может без него обходиться. Между множеством разнородных интересов, разделяющих общественную деятельность, должен действовать и этот интерес, как особая сила. Люди, призванные служить ему, не могут быть органами партий, которые между собой борются, оспаривая друг у друга успех, влияние и власть. Эти люди заботятся не о том, чтобы повернуть по-своему ход дел, но чтобы в каждом положении, в каждую минуту служить органом независимой и всесторонней оценки. Это не значит, что они должны были оставаться равнодушными к текущим интересам жизни; напротив, все достоинство таких органов зависит от того участия, которое они принимают во всем, на все отзываясь. Но их призвание – искать решения вопросов не в интересе какого-либо особого направления, не в видах какой-либо отдельной партии, а в общем интересе дела, согласно с его сущностью и его естественным положением в системе того целого, к которому они принадлежат. Они не могут служить органом тому или другому из противоположных направлений, как бы ни были они почтенны; они не могут отдавать себя на службу тому или другому из спорящих между собой стремлений, прав или даже истин; но они должны иметь в виду то, что каждому особому праву дает характер и силу права, то, что каждой особой истине сообщает значение истины, то, что в каждом направлении составляет его действительную основу, часто не сознаваемую, его истинный интерес, часто затемняемый недоразумениями, страстями и обстоятельствами. Если это партия, то это партия вне всяких партий. Такое призвание нисколько не предопределяет достоинства его органов; оно только обозначает их относительное положение, характер и задачу их деятельности. Они могут быть хороши и дурны, способны и неспособны, удовлетворять и не удовлетворять своему призванию; но такое призвание непременно должно заявлять себя посреди общества, в котором пробудилась жизнь и деятельность.

Такого рода направление по своей натуре не может замыкаться в какую-нибудь отдельную организацию. Органы этого направления не могут и не должны быть ни присяжными консерваторами, ни присяжными либералами. Они должны заботиться только о том, чтобы сохранять независимость суждения и держаться ко всему в отношениях совершенно свободных. Для них мир не должен разделяться на две разные полосы: черную и белую, дурную и хорошую, злую и добрую. Не будучи ни формальными консерваторами, ни формальными прогрессистами, они могут быть и тем и другим вместе, при известных условиях и в известном смысле.

В чем состоит истинное назначение охранительного начала? В чем заключается сущность и цель прогресса? У вас эти вопросы давно уже решены; тем не менее посмотрим в чем состоит сущность того и другого направления. Истинно прогрессивное направление должно быть, в сущности, консервативным, если только оно понимает свое назначение и действительно стремится к своей цели. Чем глубже преобразование, чем решительнее движение, тем крепче должно держаться общество тех начал, на которых оно основано и без которых прогресс обратится в воздушную игру теней. Все, что будет клониться к искоренению какого-нибудь существенного элемента жизни, должно быть противно прогрессивному направлению, если только оно понимает себя. Всякое улучшение происходит на основании существующего; этому учит нас природа во всех своих явлениях и формациях. Тот же закон господствует и в истории: всякое преобразование, всякое усовершенствование может происходить только на основании существующего с сохранением всех его сил, всех его значительных элементов. Общественное устройство не может по произволу отказываться от того или другого начала, которое требуется его нормой. Как во всяком развитии природы, так и во всяком историческом развитии есть известная сумма элементов, из которых оно складывается, так что при отсутствии того или другого из них оно вовсе невозможно, или невозможно в своем нормальном виде. Исключить какие-либо существенные начала из данного

развития значит изменить сущность вещей, перепрыгнуть, как говорится в логике, из одного рода в другой; значит иметь в виду что-нибудь другое, а не то, о чем идет речь. Исключить из общественного развития какое-нибудь начало, которое служит одним из необходимых условий человеческого общества, значит обессилить общество, изуродовать его, подвергнуть его болезням тяжелым и опасным, от которых придется лечиться. Часто такие катастрофы бывают неизбежны. Слишком часто случаются они в истории народов; но надобно знать, что они случаются вовсе не в интересе прогресса, а вопреки его видам. Жизнь пользуется всем; она пользуется и разрушением, и смертью: но разрушение и смерть не может быть целью жизни; не того она хочет. Общественное развитие может из всякого падения подниматься с новыми силами; но падения не могут быть его целью, оно не может сознательно готовить их под видом прогресса. Интерес прогресса состоит не в том, чтоб изгнать из общества то или другое начало: изгнанное в дверь, оно воротится в окно; напротив, задача состоит в том, чтобы каждому началу, без которого не может обойтись нормальное развитие общества, дать соответственное положение и силу, отвести его в должные пределы. Зло и вред заключаются не в том или другом элементе, а в неправильном положении, которое он занимает: надобно изменить его положение, поставить его в другие отношения, и он получит совершенно новый характер. В этом и состоит вся цель прогресса, – прогресса по отвлечению взятого и неизвестно что означающего, – но прогресса в чем-нибудь действительно существующем, в том или другом народе, в том или другом обществе. Напрасно мы будем думать, что, подвергнув остракизму какое-нибудь общественное начало, неправильно действующее, мы освободим от него общество. Оно не исчезнет, оно не уничтожится: исчезнет только доля добра, а яд останется; оно явится в другом виде, под другим именем. Потеряв одно из существенных условий своего развития, общество получит его обратно, но как начало ему чуждое и враждебное, которое до тех пор будет его язвой и задержкой на всех путях, пока не будет признано, не будет

замирено и не найдет себе надлежащего места. Возьмем пример. Часто государство находится в неправильном отношении к жизни; централизация и вмешательство, стесняющие и убивающие жизнь, вызывают справедливые жалобы и реакцию, и нередко возникает вопрос, не есть ли государство со всеми своими принадлежностями и отправлениями только помеха для общественной жизни? И не в том ли должен состоять прогресс, чтоб общество наконец освободилось от государства? Жалкое заблуждение! Лишь только мы представим себе, что государственное начало будет исключено, лишь только мы вообразим себе, что самостоятельная и отдельная организация государственных властей исчезнет, как в тот же самый миг общество, по-видимому освобожденное от государства, утратит, напротив, значение свободного общества и во всем составе своем превратится в то самое начало, от которого думало освободиться; оно само будет государством, и государством тем худшим, что государство будет в нем все во всем, не давая ничему свободного существования и на все налагая свою печать. Что это не есть только теоретическое соображение, что действительно так бывает, в том удостоверяет нас история многими примерами. Возьмите древние республики, возьмите Соединенные Штаты. Если нет самостоятельной организации государственного начала, все общество принимает более или менее его характер; если не будет определенной государственной функции, то вся общественная жизнь по необходимости превратится в функцию; если не будет правильного суда и расправы, то явится закон Линча. Вырвите с корнем монархическое начало, оно возвратится в деспотизм диктатуры; уничтожьте естественный аристократический элемент в обществе, место его не останется пусто, оно будет занято или бюрократами, или демагогами, олигархами самого дурного свойства. Негодуя и жалуясь на злоупотребления и излишества централизации, попробуйте коснуться самого начала, уничтожьте централизацию не в ее злоупотреблениях, а в самом ее корне, — вы убьете целую национальность, вы разрушите труд веков, подорвете основу дальнейшего развития, но зла не уни-

чтожите, напротив, еще усилите: вместо одного органического центра явится несколько фальшивых, несколько мелких деспотий, где еще ревнивее и придирчивее разовьется дух вмешательства и опеки и где для личной свободы будет еще менее благоприятных условий. Что такое рабство во всех видах личного, семейного и общинного деспотизма? Не есть ли это тот же принцип власти только в своем грубом виде, не есть ли это то же государственное начало только в диком состоянии? История, полагая общий центр народной жизни, собирает мало помалу все элементы власти из всех закоулков, в которых она внедряется, дико разливаясь по всему простору народной жизни. Сосредоточивая власть в один общий для целой страны орган, образуя правильное государство, историческое развитие дает возможность человеку существовать по-человечески. По мере развития правильного и благоустроенного государства развивается и укрепляется в своих основах свободное общество и государственное начало, преобразуясь, согласно своему истинному назначению, определяя все яснее свойственную ему функцию, становится источником великих благодеяний, крепкой основой свободы и соединяется с ней в общем интересе. Даже принцип неволи, убивавший человека или ставивший его в неестественное положение, не исчезает, не уничтожается. Исчезает только его противоестественное, грубое, дикое действие. Исчезает невольничество, – но в образованном обществе каждый человек жертвует частью своей воли. Исчезает рабство, которое убивает одного человека и уродует другого, но возникают взаимные обязательства, связывающие людей во всяком благоустроенном общезитии. Чем глубже и шире развивается общественная свобода, тем яснее и определеннее становятся обязанности людей друг перед другом и перед целым обществом, и тем охотнее люди подчиняются принципу *неволи* в высшем, благородном, священном значении долга.

Что может быть предметом сознательного и разумного хранения? Никак не отживающие формы, которые рушатся сами собой. Истинным предметом хранения должны быть не формы, а начала, которые в них живут и дают им смысл. Вся-

кая опасность, которой подвергается какое-либо начало, живущее в обществе, вызывает в чуткой среде проявление охранительных сил. Интерес охранительный состоит не в том, чтобы помешать дальнейшему развитию начала, которое ему дорого, но чтоб обеспечить и оградить самое его существование. Консерватизм есть живая, великая сила, когда он чувствуется в глубоких корнях жизни, а не в поверхностных явлениях, когда он относится к существованию зиждательных начал человеческой жизни, а не к формам, в которых они являются. Формы дороги для него только в той мере, в какой еще чувствуется в них жизненное присутствие начала; они дороги для него, пока с ними тесно связано существование живущего в них начала. Вот проба истинного консерватизма: почувствует ли он, где и в какой мере погасло жизненное действие хранимого начала и где мертвые остатки обращаются во вред ему, удерживая его в ложном и опасном положении? Узнает ли он то же начало в новой принятой им форме, в новом положении, в новом образе действия? Понятны разные посторонние побуждения – привычка или корысть, – которые могут привязывать людей к отжившим условиям быта, но дело не в отдельных людях, а в сущности направления. Чуткий, понимающий себя консерватизм не враг прогресса, нововведений и реформ; напротив, он сам вызывает их в интересе своего дела, в интересе хранения, в пользу тех начал, которых существование для него дорого; но он с инстинктивной заботливостью следит за процессом переработки, опасаясь, чтобы в ней не утратилось чего-либо существенного. Его, очень естественно, более заботит сохранение этих существенных начал, нежели конечный результат процесса. Истинно-охранительное направление, в сущности, действует заодно с истинно-прогрессивным; но у каждого есть своя определенная функция в одном общем деле, и в своих частных проявлениях они непрерывно могут расходиться и сталкиваться.

Плохие те консерваторы, которые имеют своим лозунгом *statu quo*, как бы ни было оно гнило, которые держатся господствующих форм и очень охотно меняют начала. Для таких все

равно, какое бы ни образовалось положение дел, для них все равно, какая бы комбинация ни вступила в силу; им важно только знать, на которой стороне власть. Они презрительно относятся к прошедшему и цинически смотрят на будущее. Нынче они посвящают свои охранительные услуги монархии, завтра они явятся такими же ревностными хранителями власти в республике и вслед затем поступят на службу к диктатору. Они следят только за переходами власти. Им все равно, утратится или не утратится то или другое начало в организации общественной жизни; им нужно только, чтобы где-нибудь и как-нибудь образовалась власть, вокруг которой они всегда с поспешностью сгруппируются, не спрашивая более ни о чем. Они равнодушны к интересу свободы, который составляет душу доброго консерватизма; они готовые поклонники всякого успеха, всякой торжествующей формы. Их инстинктивный порыв влечет их не туда, где чувствуется нарушение равновесия, где действующее начало подвергается опасности и теряет силу; напротив, их тянет в ту сторону, где оказывается преобладание. Они всегда рады оказать помощь торжествующей силе, которая в помощи не нуждается. Если они иногда колеблются, не решаясь пойти в ту или другую сторону, то это значит, что они сомневаются в победе и не уверены, на которой стороне окажется перевес. Такие консерваторы сознательно или бессознательно действуют заодно со лже-прогрессистами и, как говорят немцы, работают друг другу в руки. Если со временем разовьется у нас политическая жизнь и образуются партии, то да избавит Бог наше Отечество от таких консерваторов!

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА

26 декабря, послезавтра, на другой день праздника, совершится столетняя годовщина дня рождения великого святителя нашей Церкви митрополита Филарета, скончавшегося восьмидесяти пяти лет от рождения в 1867 году. Московская Церковь готовится почтить его память. С благословения Св. Синода будет совершено в соборах Кремлевских и во всех мо-

сковских храмах поминаение святителя, незабвенного для Православной Церкви и для нашего Отечества. Общество Любителей Духовного Просвещения соберется в Мироварной Палате для чествования его великой памяти, торжество это отзовется повсюду в России и за ее пределами.

Чествование памяти митрополита Филарета дело не только достойное, но и особенно полезное в наши дни. Нам полезно оживить теперь его память, и еще полезнее снова услышать его замолкнувшее слово. Он учил в те времена, еще не далекие, но как бы отделенные от нас целым столетием, когда в жизни нашего Отечества не поднималось никаких вопросов и до нашего слуха лишь из чужих стран доносился гул смятений. Слово великого учителя, исполненное мудрости, внималось благоговейно; но оно раздавалось на высоте, оно обращалось к духовному созерцанию. В проповедях святителя Филарета таится учение государственной мудрости, которое в те времена могло казаться отвлеченностью, хотя поучительной, но невызываемой требованиями жизни. Все внимали этим назиданиям, удивлялись их глубине, зоркости мысли, силе слова; но не находили применимости к жизни в его указаниях, наставлениях, советах, относящихся к государственным вопросам, потому что вопросов этих не было, их жизнь не задавала. Уже при конце жизни знаменитого архипастыря начались в России движения и последовали нововведения, которые должны были изменить весь общественный быт наш; но начавшиеся реформы еще не выразились в своих последствиях, еще жизнь не заговорила, вопросы имели более теоретический характер, когда угас светильник, в продолжение пятидесяти лет горевший в Русской Церкви. Протекло пятнадцать лет со дня кончины Филарета, и сколько событий совершилось, как изменилось все вокруг! Отечество наше стоит незыблемо на своих основах, но какое смятение в умах, какие колебания в самом правительстве! Если бы Бог продлил до сего дня жизнь митрополита Филарета, если бы он и доселе мог сохранить силу своего слова, как практически поучительно раздавалось бы оно теперь, с какой жаждою внимали бы поучениям государственной му-

дрости умы, не оторвавшиеся от Церкви; как тепло, при силе и глубине своей, отзывалось бы его слово в сердцах! Назидания Филарета, обращенные к гражданскому смыслу, не казались бы теперь только умозрением, а были бы прямым ответом на горячие вопросы жизни. Но, уходя от нас, митрополит Филарет оставил нам в наследие свои поучения, которые в наши дни не только не утратили своего значения, но приобрели большее, чем имели в те отдаленные времена, когда сам владыка проносил их с церковного амвона. Теперь станут они понятны не умозрительно только, но и опытно; теперь могут они стать действенной в нашей жизни силой.

Совершившаяся столетняя годовщина митрополита Филарета побудит собрать и обнародовать все, что он оставил нам в наследие, во славу Церкви и на пользу нашего Отечества. Кроме творений, изданных при его жизни, кроме проповедей его, известных не в одной России, сохранилось еще множество писем его к разным лицам, писем, которые возвращают нам его нравственный образ в большей жизненности, чем знали его люди, не знавшие его близко. Много уже обнародовано, но многое еще ожидается, а между тем, чувствуя память великого святителя, мы сделаем и достойное его памяти, и полезное для себя дело, если изберем из его проповедей то, что относится к вопросам государственного порядка, которые теперь в большом ходу, смущая и волнуя умы. Много в этих поучениях покажется нам сказанным по возбуждению текущих событий и вопросов. Владыка говорил как бы в предвидении этих вопросов, которые нас волнуют; он говорил как бы в поучение именно нашему времени. Читая его, мы как бы внимаем его голосу, как будто он сам восходит снова на свою святительскую кафедру для вразумления мятущихся, для укрепления колеблющихся, для утверждения самой власти в сознании своей незыблемости и святости. Мы выбрали некоторые места из проповедей Филарета, относящиеся к политическим вопросам, и предлагаем их читателям в некотором последовательном порядке, предоставляя себе впоследствии пополнить этот выбор. Теперь же нам лучше умолкнуть и предоставить слово вели-

кому иерарху, слово, которое всего вернее и лучше оживит в обществе память о нем в его юбилейный день.

«Откуда сие множество людей, соединенных языком и обычаями, которое называют *народом*? Очевидно, что сие множество народилось от меньшего племени, а сие произошло из семейства. Итак, в семействе лежат семена всего, что потом раскрылось и возросло в великом семействе, которое называют государством. Там нужно искать и первого образа власти и подчинения видимых ныне в обществе. Отец, который естественно имеет власть дать жизнь сыну и образовать его способности, есть первый властитель; сын, который ни способностей своих образовать, ни самой жизни сохранить не может без повиновения родителям и воспитателям, есть природно подвластный. Но как власть отца не сотворена самим отцом и не дарована ему сыном, а произошла вместе с человеком от Того, Кто сотворил человека, то открывается, что глубочайший источник и высочайшее начало первой, а, следовательно, всякой последующей между людьми власти в Боге»*.

«Что повиноваться должно, надобно ли Сие доказывать? Где есть общество человеческое, там необходимо есть власть, соединяющая людей в состав общества: ибо без власти можно вообразить только неустроенное множество людей, а не общество. Но власть действует в обществе и сохраняет оное посредством повиновения. Следственно повиновение необходимо соединено с существованием общества. Кто стал бы колебать или ослаблять повиновение, тот колебал бы или ослаблял бы основание общества.

Допуская повиновение из страха наказания для достижения выгод и почестей и из теоретических соображений о благе общественном, нельзя сказать, что умозрение сие справедливо. Много ли в обществе людей, способных к такому повиновению по идеям и умозрениям? Когда смотрю на опыты, как на подобных умозрениях хотят в наше время основать повиновение некоторые народы и государства, как там ничто не стоит твердо, зыблются и престолы, и алтари, бразды правления рвутся,

* Слова и Речи. – Изд. 1848 года. – Т. II. С. 135.

мятежи роятся, пороки бесстыдствуют, преступления ругаются над правосудием, нет ни единодушия, ни доверенности, ни безопасности, каждый наступающий день угрожает, – видя все сие, не могу не заключить: видно, не на человеческих умозрениях основывать должно государственное благоустройство»*.

«Правительство, не огражденное свято почитаемою ото всего народа неприкосновенностью, не может действовать ни всею полнотою силы, ни всей свободой равенности, потребной для устройства и охранения общественного блага и безопасности. Как может оно развить всю силу свою в самом благодетельном ее направлении, когда его сила непрестанно находится в ненадежной борьбе с другими силами, пресекающими ее действия в столь многообразных направлениях, сколько есть мнений, предубеждений и страстей, более или менее господствующих в обществе? Как может оно предаться всей своей ревности, когда оно по необходимости должно делить свое внимание между попечением о благосостоянии общества и между заботой о собственной своей безопасности. Но если так не твердо правительство, не твердо также и государство. Такое государство подобно городу, построенному на огнедышащей горе: что значат его твердины, когда под ним кроется сила, которая может каждую минуту все превратить в развалины? Подвластные, которые не признают священной неприкосновенности владычествующих, надеждой своеволия побуждаются домогаться своеволия; власть, которая не уверена в своей неприкосновенности, заботой о своей безопасности побуждается домогаться преобладания: в таком положении государство колеблется между крайностями своеволия и преобладания, между ужасами безначалия и угнетения и не может утвердить в себе послушной свободы, которая есть средоточие и душа жизни общественной».

«Нельзя не обратить внимания... на печальный образ народа и общества, разделенного на толки и соумышления. Разделяя народ и общество на отдельные соединения, они повреждают единство целого – первое условие общественной жизни;

* Там же. – С. 181.

уменьшают общую силу, рассекая ее на частные, взаимно противоборные силы; ослабляют общественное доверие; волнуют тысячи народа вместо того, чтоб устроить его благо правильной деятельностью в спокойном послушании власти; колеблют здание общества, обращая в вопросы и споры то, что признано при учреждении обществ, положено в их основание и утверждено необходимостью; ведут в обществе внутреннюю войну, конечно, не к спокойствию его и не к безопасности, а иногда еще бедственнее заключают между собой притворное перемирие для сильнейшего восстания против истины и правды. Благо народу и государству, в котором единым, всеобщим, светлым, сильным, всепроникающим, вседвижущим средоточием, как солнце во вселенной, стоит Царь, свободно ограничивавший свое самодержавие волей Царя Небесного, мудростью, великодушием, любовью к народу, желанием общего блага, вниманием к благому совету, уважением к законам предшественников и к своим собственным, и в котором отношения подданных к Верховной власти утверждаются не на вопросах, ежедневно возрождающихся, и не на спорах, никогда не кончаемых, но на хранимом свято предании праотеческом, на наследственной и благоприобретенной любви к Царю и Отечеству и еще глубже на благоговении к Царю царствующим и Господу господствующим. Господи, Ты даровал нам сие благо!»

«Когда темнеет на дворе, усиливают свет в доме. Береги Россия и возжигай сильнее твой домашний свет: потому что за пределами твоими, по слову пророческому, *тьма покрывает землю и мрак на языки. Шаташася языцы и люди поучишася тщетным.* Перестав утверждать государственные постановления на слове и власти Того, *Кем царие царствуют*, они уже не умели ни чтить, ни хранить царей. Престолы там стали нетверды; народы обьюродели. Не то чтоб уже совсем не стало понимающих; но дерзновенное безумие взяло верх и попирает малодушную мудрость, не укрепившую себя премудростию Вождей. Из мысли о народе выработали идол: и не хотят понять даже той очевидности, что для столь огромного идола не достанет никаких жертв. Мечтают пожать мир, когда

сеют мятеж, не возлюбив свободно повиноваться законной и благотворной власти Царя, принуждены раболепствовать пред дикою силой своевольных скопищ. Так твердая земля превращается там в волнуемое море народов, которое частью поглощает уже, частью грозит поглотить учреждения, законы, порядок, общественное доверие, довольство, безопасность».

«Но благословен *Запрещающей морю!* Для нас еще слышен в событиях Его глас: *до сего дойдешь и не преjdeшь.* Крепкая благочестием и самодержавием Россия стоит еще твердо...»

«Царь, по истинному о нем понятию, есть глава и душа царства. Но вы возразите мне, что душой государства должен быть закон. Закон необходим, досточтим, благотворен; но закон в хартиях и книгах есть мертвая буква: ибо сколько раз можно наблюдать в царствах, что закон в книге осуждает и наказывает преступление, а между тем преступление совершается и остается ненаказанным; закон в книге благоустраивает общественные звания и дела, а между тем они расстраиваются. Закон, мертвый в книге, оживает в деяниях; а верховный государственный деятель и возбудитель и одушевителъ подчиненных деятелей есть Царь»*.

«Некоторые люди, не знаю, более ли других обладающие мудростью, но, конечно, более других доверяющие своей мудрости, работают над изобретением и постановлением лучших, по их мнению, начал для образования и преобразования человеческих обществ. Уже более полувека образованнейшая часть рода человеческого видит их преобразовательные усилия в самом действии, но еще нигде и никогда не создавали они тихого и безмятежного жития. Они умеют потрясать древние здания государств; но не умеют создать ничего твердого. Внезапно по их чертежам строятся новые правительства и также внезапно рушатся. Они тяготеют отеческой и разумной властью царя и вводят слепую и жестокую власть народной толпы в бесконечные распри искателей власти. Они прельщают людей, уверяя, что ведут их к свободе, а в самом

* Там же. – Т. III. – С. 302.

деле ведут их от законной свободы к своеволию, чтобы потом низвергнуть их в угнетение»*...

«Свобода есть способность и невозбранность разумно избирать и делать лучшее. Она есть достояние каждого... Но в неисчислимости рода человеческого многие ли имеют так открытый и образованный ум, чтобы верно усматривать и отличать лучшее? И те, которые видят лучшее, имеют ли довольно силы решительно избрать оное и привести в действие? Что сказать о свободе людей, которые хотя не в рабстве ни у кого, но покорены чувственности, обладаемы страстью, одержимы злой привычкой... Наблюдение над людьми и над обществами показывает, что люди, более попустившие себя в это внутреннее рабство, – в рабство грехам, страстям, порокам, – чаще других являются ревнителями внешней свободы, – сколь возможно расширенной свободы в обществе человеческом пред законом и властью. Но расширение внешней свободы будет ли способствовать им к освобождению от рабства внутреннего? Нет причины так думать. В ком чувственность, страсть, порок уже получили преобладание, тот, по отдалении преград противопоставляемых порочным действиям законом и властью, конечно, не удержишь прежнего предастся удовлетворению страстей и внешней свободой воспользуется только для того, чтобы глубже погружаться во внутреннее рабство»**...

«Какой борьбы предметом бывает у иных народов избрание в общественные должности! С какой борьбой, а иногда и с тревогами достигают того, чтоб узаконить право избрания общественного! Потом начинается и то утихает, то возобновляется борьба то за расширение, то за ограничение сего права. За неправильным расширением права общественного избрания следует неправильное употребление оногo. Трудно было бы представить себе вероятным, если бы мы не читали в иностранных известиях, что избирательные голоса продаются; что ищущим избрания сочувствие или несочувствие выражают не только утвердительными или отрицательными голосами, но и

* Там же. С. 291.

** Там же. – С. 253, 254.

камнями и дреколием, как будто может родиться от зверя человек, от неистовства страстей разумное дело; что невежды делают разбор между людьми, в которых должно усмотреть государственную мудрость, беззаконники участвуют в избрании будущих участников законодательства, поселяне и ремесленники рассуждают и подают голоса не о том, кто мог бы хорошо смотреть за порядком в деревне или в обществе ремесленников, но о том, кто способен управлять государством».

«Богу благодарение! Не то в Отечестве нашем. Самодержавная власть, утвержденная на вековом законе наследственности некогда в годину оскудевшей наследственности, обновленная и подкрепленная на прежнем основании чистым и разумным избранием, стоит в неприкосновенной непоколебимости и действует в спокойном величии. Подвластные не думают домогаться права избирать в общественные должности по уверенности, что власть радеет о благе общем и разумеет чрез кого и как устроить оное. Власть, по свободному изволению и доверию к подвластным, дает им право избрания общественного, назначая оному разумные пределы»*.

«Изменить царю и Отечеству на войне, расхитить государственное сокровище, осудить невинного на тяжкое наказание, эти вопиющие неверности против царя, Отечества и закона поражают всякого, и тяжесть преступления входит в число средств, предохраняющих от покушения на оное. Но не исполнять царской службы и пользоваться воздаянием или наградой за службу, ввести виды личной корысти в распоряжение делами и средствами общественными, принять в суде ходатайство вместо доказательств и оправдать неправого: это, говорят, небольшие неточности, извиняемые иногда обстоятельствами и не препятствующие верности в делах важнейших. Не обольщайте себя. Эти небольшие неточности не очень малы, особенно же потому, что беременны большими неверностями. Эта неопасная, по-видимому, неправда *вмале* ведет за собою неверность во многом»**.

* Там же. – С. 322, 323.

** Там же. – С. 220.

«Защитение Отечества против воющего врага, очевидно, невозможно без самоотвержения, без готовности пожертвовать даже жизнью. Но и в мирных отношениях среди дел государственных верность не обеспечена, если не готова к самопожертвованию. Надобно ли, например, в суде или в начальствовании правого, но немощного защитить от неправого, но сильного соперника или преследователя? Кто может сие сделать? Без сомнения, только тот, кто готов подвергнуться гонению скорее, чем предать гонимую невинность. Надобно ли пред лицом сильных земли высказать несогласную с их мыслями и желаниями, но спасительную для общества истину? Кто может сделать сие? Без сомнения, тот, кто готов пострадать за истину, лишь бы общее благо не потерпело ущерба»*.

«Вода, хотя и есть в ней ил, является чистой, когда он лежит на дне; но когда каким-нибудь неправильным движением ил поднимается вверх, вся чистая дотоле вода теряет вид чистоты, становится мутной. Подобно сему общество человеческое, хотя есть в нем часть людей недобрых, является чистым и благополучным, когда сия несчастная стихия лежит на дне, когда люди недобрые, по справедливости униженные в общем мнении, не достигают власти, почета и влияния на других; но когда недобрая стихия поднимается вверх, когда люди недобрые достигают власти, почета и влияния на других, тогда они мутят и чистую воду и добрых людей или своим влиянием вводят в соблазн, или своей силой подвергают затруднениям и скорбям и, возрастая в силе, вредят целому обществу»**.

«Семейство древнее государства. Человек, супруг, супруга, отец, сын, мать, дочь и свойственные этим наименованиям обязанности и добродетели существовали прежде, чем семейство разрослось в народ и образовалось государство. Посему жизнь семейная в отношении к жизни государственной есть некоторым образом корень дерева. Чтобы дерево зеленело, цело и приносило плод, надобно чтобы корень был крепок и приносил дереву чистый сок. Так, чтобы жизнь государствен-

* Там же. – С. 221.

** Там же. – С. 221.

ная сильно и правильно развивалась, процветала образованностью, приносила плод общественного благоденствия, – для сего надобно, чтобы жизнь семейная была крепка благословенной любовью супружеской, священной властью родительской, детской почтительностью и послушанием и чтобы вследствие того из чистых стихий жизни семейной естественно возникали столь же чистые начала жизни государственной, чтобы с почетом к родителю родилось и росло благоговение к царю, чтобы любовь дитяти к матери была приготовлением любви к Отечеству, чтобы простодушное послушание домашнее приготавливало и руководило к самоотвержению и самозабвению в повиновении законам и священной власти самодержца*.

«В нынешние времена о предметах, правилах и способах воспитания так много рассуждают, пишут, спорят, что это едва ли не уменьшает доверия воспитателя от воспитываемых, которые слышат их препирающимися между собой и видят недавно одобренное осужденным. Может быть, это и неизбежно по причине умножившихся и оразнообразившихся требований жизни общественной и частной, которым воспитание должно удовлетворять. Притом гласность некоторые почитают всеобщим врачевством против общественных зол, хотя она иногда и бывает источником общественных болезней, если слишком неудержимо расширяет уста свои не только для правды, но и для неправды**».

«В наше время и близ нас не умножаются ли уста, глаголющие суету в забвение Бога и Его заповедей? Не глаголют ли они часто, свободно и обаятельно в беседах, на зрелищах, в книгах?...»

«Дело суеты начинается тем, что заглушается вкус к духовному и усиливается склонность к чувственному: пленяются изящным, ищут приятного с охлаждением к истинному и доброму; более занимаются игрой, чем слушают рассудка и нравственного чувства. Но только истинное и доброе, как бессмертное, доставляет душе постоянное услаждение; а чув-

* Там же. – Т. II. – С. 169.

** Там же. Т. III. С. 309.

ственное, как тленное, не может удовлетворять ее; приятное, не упроченное истинным и добрым, мгновенно и перестает быть приятным при повторении и пресыщении; отсюда рождается непрестанная жажда нового; страсти при ослаблении вожей рассудка и нравственного чувства легко превращаются в бешеных коней. Дело суеты, получив силу, не может остановиться на одних забавах, но, смотря по обстоятельствам, больше или меньше, скорее или медленнее подается *вперед*. Куда? Это слишком очевидно в наше время. Многочисленные уста, глаголющие суету, сперва говорили суету приятную, потом нескромную, потом соблазнительную, потом явно порочную, наконец, возмутительную и разрушительную. Взволновали умы: вызвали, поощрили, *даже вновь образовали людей*, их же десница – десница неправды, и, таким образом, произошли воды многие, потоп зла, который подмывает основание всякого общественного благоустройства и благосостояния общественного и частного... Довольно ли мы осторожны?»*

«Земледельцы на деревенских полях, вдали от столиц, сеют семена свои, чтобы собрать от них насыщенный хлеб; но Бог дает избыток плода от их семян, и сей избыток плода проходит селения, питает города и восходит на трапезу цареву. Подобно сему сейте слово истины и правды, кто может на большом, а другие на малом поле; поощряйте к сему друг друга; посев может сделаться обширным и общественным. От ревностного распространения в обществе слов истины и правды должен произойти плод общественного здравомыслия и правдолюбия, а от сего обилие общественного мира и благоустройства, и это будет добрый дар подданных царю, пекущемуся о благе их, содействие его подвигу в благоустройении царства...»

«Привычка легкомысленно метать слово на ветер, к сожалению, очень обыкновенная, не дает нам приметить, какое сокровище часто расточаем без пользы или с вредом для себя и для ближних... Какое сокровище расточает человек, какой высокий дар повергает и попирает, какую могущественную, животворную и благотворную силу делает бездейственной и

* Там же. – Т. III. – С. 230.

мертвой, или, напротив, злотворной, когда употребляет слово не для истины, правды и благодати, но на празднословие, на срамословие, на ложь, на обман, на клевету, на злоупотребление клятвы, на распространение зломудрия. Не будьте к сему невнимательны или равнодушны, чтущие достоинство слова; ревнуйте о нем; одушевляйте и вооружайте ваше слово истинной и правдой, и, действуя им верно и твердо, не допускайте разлития глаголов потопных (Псал. 51, 6)».

«Близ пути слова правды особенно приметны два распутия: на одной стороне – лесь, на другой – злоречие. Один говорит: «Надобно с ближними обращаться приятным для них образом, особенно с высшими», и вследствие сего льстить. Другой говорит: «Надобно черное называть черным» и под этим предлогом предается злоречию. Ни тот, ни другой не на правом пути: оба на распутиях, которые не ведут к добру...»

«Злоречие, которым некоторые думают исправлять зло – неверное для этого врачевство. Зло не исправляется злом, а добром. Как загрязненную одежду нельзя чисто вымыть грязной водой, так описаниями порока, столь же нечистыми и смрадными, как он сам, нельзя очистить людей от порока. Умножение пред глазами народа изображений порока и преступлений уменьшает ужас преступления и отвращения от порока, и порочный при виде таких изображений говорит: «Не я один, таких много; не очень стыдно». Укажите на темный образ порока, не терзая чувства и не оскорбляя вкуса чрезмерным обнажением его гнусностей; а с другой стороны, изобразите добродетель в ее неподдельной истине, в ее чистом свете, в ее непоколебимой твердости, в ее чудной красоте...»

РАЗДЕЛ II. ЗАДАЧИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Россия и Европа

ИСТИННЫЙ И РАЗУМНЫЙ ПАТРИОТИЗМ

Что лучше, открытая и честная война, или другого рода война, которая ведется подземными кознями, революциями и мятежом, а сверху имеет благовидную наружность дипломатических переговоров и международных конференций? Мы не решаем, что лучше; но едва ли народное чувство не отдаст предпочтение первого рода войне перед второй, исполненной всякой нечистоты и гораздо более изнурительной и опасной.

Чувство постоянного унижения, в котором мы теперь находимся, состоя под судом и следствием, нестерпимо для народа, не лишенного чувства чести и уважения к себе, и совершенно невозможно для великой державы. С чем можно сравнить, например, эти наглые требования, которые заявляются иностранной печатью, чтобы наше правительство заключило перемирие с революцией на время конференций или даже на целый год? Да и вообще самый факт дипломатических объяснений по возникшим у нас затруднениям, – независимо даже от того презрительного тона, с каким ведутся эти объяснения, независимо от придинок, грубости и недобросовестности, с которыми к нам обращаются, не затрудняясь даже приисканием

благовидных предлогов, – самый факт этих объяснений есть для России невыносимая обида, особенно когда он как бы узаконяется и длится неопределенное время. Весь этот факт есть надругательство над нами, есть оскорбительное изобличение нас в несостоятельности; этим фактом вынуждаемся и сами мы чувствовать себя бессильным и униженным народом. Такое чувство б *la longue** либо подрвет силу народного духа, либо доведет его до крайнего раздражения.

В самом деле, только к слабому и презрительному можно обращаться так, как обращаются к нам теперь европейские державы. В начале Европа, может быть, и действительно была уверена, что мы лишены всякой силы отпора, что мы оторопеем и будем согласны на всякие ее требования. Теперь Европа этого не думает; она уверилась, что русский народ не есть бездушная масса, с которой можно поступить как угодно; она уверилась, что русская земля есть цельное живое единство, которое сильно отзовется во всех своих частях при всяком на него покушении. Однако переговоры продолжаются; факт, оскорбляющий наше народное чувство, остается во всей силе; нам грозят еще конференциями; нас хотят совсем взять в опеку. Значит, для заявления силы недостаточно одних слов, как бы они ни были искренни и как бы ни мало было сомнения в их способности и готовности перейти в дело. Слова все-таки не более как слова; они разносятся ветром и забываются. Слов недостаточно для того, чтобы заявить серьезную готовность народа отстаивать свою честь и свое достоинство. Верное и несомненное правило: для того чтобы предупредить войну, надобно показать серьезную к ней готовность, *para bellum si vis pacem***.

Вооруженный и готовый к защите менее подвергается опасности нападения нежели не вооруженный и беззащитный. Придираются только к слабым, а не к сильным. Между Англией и Францией давно бы вспыхнула война, если б обе державы давно не вели ее между собой непрерывными вооружениями: на каждый новый французский корабль Англия отвечала двумя или тремя; на каждое новое усиление

* *Здесь*: в долгой перспективе (фр.)

** Если хочешь мира, готовься к войне (лат.)

наступательных средств одной державы другая держава отвечала еще большим развитием своих оборонительных средств, сооружением береговых укреплений, двумя сотнями тысяч волонтеров. В Англии начали составляться дружины волонтеров, когда еще никакой серьезной опасности вторжения не было, но когда тем не менее и в палатах, и на митингах, и в журналах все то и дело толковали о грозящей опасности вторжения и о необходимости неотлагательно принимать самые решительные меры для защиты. Напрасно с другого берега Канала упрекали английских патриотов в излишней пугливости, смеялись над их опасениями и представляли факты против их основательности, – в Англии набатный колокол не умолкал, и, бывало, сэръ Чарльз Непир при всяком удобном и неудобном случае вставал и плакался на бедственное положение Англии, на ее беспомощность; по-видимому, все вопросы, все другие интересы были подчинены и пожертвованы одной господствующей всепоглощающей потребности усилить оборонительные средства, хотя они и без того были достаточно сильны. Теперь ни о вторжении, ни о необходимости вооружаться нет более речи; давным-давно прекратилась эта агитация, которую в Англии называли в шутку *the invasion panic**: теперь Англия не только обеспечила себя от всякого вторжения (она и прежде была достаточно обеспечена в этом отношении), но даже всякую мысль о вторжении она превратила в нелепость и сумасбродство. Собственно говоря, Англия нуждалась в усилении своих оборонительных средств не с той целью, чтоб охранить свои берега от завоевательных покушений, но чтоб этим развитием своей национальной обороны получить новую силу в Европе и превозмочь возростающую силу Франции. Энергическим развитием системы национальной обороны Англия не только сделала невозможным оскорбить или унижить ее даже мыслью о каком-нибудь покушении на ее берега, но и приобрела новое громадное влияние в решении европейских дел, чего собственно ей и требовалось.

Возможно ли было бы обращаться к Англии по поводу Ионических островов, которые постоянно были недовольны

* Страх вторжения (англ.)

своим положением, – возможно ли было бы обращаться к Англии даже с самыми вежливыми запросами об этих островах, даже с самыми учтивыми советами как устроить их, хотя Венский трактат давал другим державам большее право на это, чем на вмешательство в польские дела? Наконец, принимали ли относительно нас западные державы в 1830 году этот оскорбительный и настойчивый тон, который сочли они возможным принять теперь?

Вся беда в том, что европейские державы находят нас недостаточно склонными или способными к поддержанию нашей чести и наших прав. Они знают, что в случае крайней необходимости русский народ будет готов на всевозможные жертвы. Но в том-то и беда, что нашим недругам представляется возможность привести нас в несчастное и отчаянное положение жертвы; в том-то и беда, что мы должны всем животом нашим обеспечивать свое достоинство, тогда как наши противники обращаются к нам как люди, которым ничего не стоит поступить так или иначе, которые могут свободно располагать своими средствами, которые могут говорить и действовать из полноты сил без напряжения, без усилий, без всякой мысли о каких-нибудь тяжких и крайних жертвах. Европа знает, что мы способны оказать крайнее сопротивление, когда придут к нам непрошенные гости; но в том-то и беда что она не считает нас достаточно сильными для того, чтобы предупредить возможность подобной крайности. Нехорошо то, что мы позволяем нашим врагам поднимать, вопрос о нашей жизни и смерти; нехорошо то, что мы на каждом шагу должны напоминать им о нашей готовности пролить всю нашу кровь и лечь всеми нашими костями за свое политическое существование. Нельзя назвать хорошо обеспеченным положение того человека, который должен ежеминутно заявлять свою готовность жертвовать жизнью в защиту каждого из своих прав и каждого из своих интересов. Достоинство европейской нации не может считаться обеспеченным, если она не кажется достаточно могущественной для того, чтобы без особенных напряжений и усилий отразить все покушения на ее права. Нация могущественна только тогда,

когда никому не представляется возможность серьезно поставить вопрос о ее жизни и смерти. Всякому известно, что все живущее одарено инстинктом самосохранения; всякому известно, что все живущее будет до упаду сил отбиваться от смертной опасности. Но почетно ли, выгодно ли для народа такое положение, в котором он должен беспрерывно прибегать к последнему аргументу всего живущего, к чувству и силе самосохранения?

Итак, в том нет еще признаков уважительного европейского могущества, что мы готовы до последней капли крови и до последнего издыхания биться *pro aris et focis**. Того-то, может быть, и хотят наши недруги, чтоб унизив, оскорбив и оборвав нас, потом толкнуть нас в ту последнюю борьбу, где дело будет идти не о чести или достоинстве нашем, а о самом нашем существовании.

Русский человек не пуглив и не нервен: это его хорошее качество. Он не любит хвастаться ни прежде, ни после дела; эффектных демонстраций он не любит; он не будет обещать того, чего не исполнит, и в деле он всегда будет благонадежен. Это знают и наши недруги, знают все те, которые видали, с каким спокойствием и хладнокровием умеют солдаты наши стоять и падать рядами под ожесточенным огнем батарей. Бесстрашие и стойкость русского простого человека вошла в пословицу, и Фридрих Великий говаривал, что легче убить русского солдата, чем свалить его с ног. Но есть и другие пословицы, представляющие то же свойство нашего народа в свете менее выгодном. «Гром не грянет, мужик не перекрестится», говорит пословица. «Русак задним умом крепок», говорит другая. Не надобно ждать опасности для того, чтобы готовиться встретить ее; надо поставить себя так, чтобы дело по возможности и не доходило до опасности. Всякий, кто наблюдает теперь настроение духа во всех слоях нашего народа, знает, каким сильным патриотизмом оживлены у нас все сословия и как дружно сливаются они в этом чувстве. В патриотических заявлениях, которые от всех сословий и со всех концов России раздаются теперь перед престолом, везде говорится и, конечно, не для украшения слога, о

* За алтари и очаги (*лат.*)

полной готовности жертвовать всем для спасения Отечества. Но обещания жертвовать всем недостаточны для того, чтобы поправить наши дела и восстановить наше национальное достоинство; они недостаточны именно по своей крайности и чрезмерности. Общество проснулось, подняло голову и громогласно, тысячами голосов, провозгласило, что оно встанет и будет крепко защищаться, когда придут грабить его дом и резать его детей. Достаточно ли это? Может ли это внушить к нам уважение? Может ли это восстановить нашу честь, особенно когда после этих провозглашений мы снова завернемся и заснем? Наконец, согласно ли с достоинством великой державы допускать мысль о такой опасности, которая потребует от нас крайних жертв, особенно в деле, где мы совершенно правы и где должны быть несомненно могущественны? К сожалению, наше общество не привыкло к самодеятельности, и русские люди не вдруг обнаруживают энергию и находчивость в общественном деле. Однако и нам пора уже выходить из нашей обычной апатии; пора и нам между изъявлениями нашей готовности к крайним жертвам и действительным принесением этих жертв поставить что-нибудь на полпути, что-нибудь посередине, что было бы посильнее слова и еще было бы далеко от кровавых и тяжких жертв, и что, напротив, могло бы избавить наш народ от необходимости приносить их. Мы должны теперь же принимать меры для обороны, теперь, когда еще опасность не висит на носу. Только энергичским принятием таких предупредительных мер можем мы сохранить нетронутым наш резерв тяжких и кровавых жертв, которые мы готовы принести. Мудрость и сила человеческих дел заключается в предусмотрительности. Это пуще всего должны зарубить себе на ум наши патриоты.

Теперь, когда у всех на языке вопрос о войне, вы беспрерывно будете слышать проекты о том, как будем мы формировать народное ополчение для того, чтобы встретить врагов, сколько, например, батальонов выставит Москва, и как в две недели мы обучим их стрельбе и всякой военной хитрости. Мы слышали подобные речи от людей серьезных и патриотов и, признаемся, слышали не без грусти. Вот так-то мы всегда действуем, а по-

том жалуемся на нашу горькую участь! Успокоившись чувством своего патриотизма и своей готовностью на всякие жертвы в минуту опасности, мы ничего и не делаем для ее предотвращения, между тем как истинный и разумный патриотизм состоит в том, чтобы заблаговременно ограждать Отечество от опасности и тем всего вернее предотвращать ее. Какая радость жертвовать всеми нашими средствами, благосостоянием целых классов общества и вести на бойню дружины наших мужичков, которые, конечно, не задумаются, как Курская дружина в Крыму, броситься с топорами на огнедышащие батареи? Чувствуют ли эти патриоты, как расточителен их патриотизм, сколько в нем апатии и как он мало согласуется с истинным гражданским мужеством, с истинной любовью к Отечеству, с истинной преданностью к своему народу? Нет, истинный патриотизм постарается сделать ненужными подобные крайние и часто такие бесплодные жертвы. Нет, истинный патриотизм состоит в решимости подвергнуть себя заблаговременно некоторым тягостям и лишениям, чтобы поддержать честь и права своего народа и тем избавить его от страшного расточения крови и сил. Из 230 000 английских волонтеров ни одному не пришлось пролить в битве свою кровь, а между тем благодаря им Англия одержала много блистательных побед, которые при других обстоятельствах пришлось бы покупать тяжкими и кровавыми усилиями.

Но, скажут, мы находимся в иных обстоятельствах; что легко в Англии, то у нас трудно и даже невозможно. Начать с того, что мы не так богаты, что мы не можем тратить таких громадных сумм в предупреждение еще не наступившей опасности (как будто, впрочем, приятнее и выгоднее тратить громадные суммы перед лицом уже наступившей опасности!). Но отнюдь и не требуется делать то, что делала у себя Англия. У нас есть свои условия, свои обстоятельства, свои потребности, свои удобства; но мы не имеем ни малейшего основания уступать другим народам привилегию на предусмотрительность, благоразумие и просвещенный патриотизм, который держит в резерве крайние жертвы, а не выдвигает их вперед, и старается действовать так, чтобы на них не рассчитывать.

Дело известное: в регулярных битвах лучше всего регулярные войска. Каким бы отличным духом ни были исполнены дружины народного ополчения, как бы успешно ни удалось нам дисциплинировать и обучить их военному делу в самое короткое время, как бы ни были хорошо они вооружены, все-таки для войны гораздо пригоднее настоящие войска и гораздо лучше обойтись ими одними, без пролития лишней крови. Армия наша очень велика и находится в лучшем состоянии, чем когда-либо прежде. Мы можем выставить достаточное число штыков, чтобы достойно встретить какую угодно грозную армию, которая вторглась бы в наши пределы. Мы слишком привыкли считать себя слабыми и сами не ценим наших сил по достоинству, точно так же как в прежнее время мы страдали другой крайностью, считая себя непомерно сильными и находя излишним заботиться даже об улучшении нашего оружия или о заведении более рациональных порядков в нашем военном устройстве. Итак, армии у нас достаточно; она лучше вооружена, чем когда-либо прежде, и стоит только взглянуть на лица наших солдат, когда они строем проходят мимо вас, чтоб успокоиться духом и убедиться, как благотворно прошли для них годы нынешнего царствования, несмотря на то, что оно началось после тяжелой и неудачной войны. Но наши войска разбросаны на громадном пространстве; на них падает не только охранение границ, а также охранение внутренней безопасности. Ни одно государство не может обходиться без вооруженной силы для охранения спокойствия и порядка внутри своих владений. Но если бы наше правительство теперь же имело в своих руках очевидную для всех возможность употребить всю массу своих наличных военных сил на отражение внешних врагов, если бы Европа теперь же видела и осязала эту возможность, то наше европейское положение немедленно изменилось бы к лучшему. Семьсот тысяч штыков, которые могли бы быть употреблены при первой надобности против неприятеля, – семьсоттысячная армия, состоящая из опытных солдат, готовая и даже не нуждающаяся в укомплектовании посредством нового рекрутского набора, сила очень уважительная, сила очень почтенная, кото-

рая сразу заставила бы Европу говорить с нами иным языком. Но как бы мы ни уверяли Европу, что легко можем выставить огромную военную силу против неприятельского нашествия, мы не убедим ее. Люди убеждаются только в том, что является перед ними с грубым красноречием факта. Европа очень хорошо знает численность наших военных сил, но она также знает, что такая громадная страна, как Россия, не может оставаться внутри без достаточной вооруженной силы. Кроме того, Европа имеет некоторое основание думать, что внутри Россия теперь менее безопасна, чем в другое время; она знает, что кроме великих держав, с которыми нам приходится теперь иметь дело, мы имеем дело еще с особой державой, у которой нет территории, но которая как воронья является везде, где только есть или где только готовится падаль. Государственные люди в Европе знают, что против России напрягает теперь свои усилия вся организованная европейская революция, – да и как им не знать этого, когда они сами не прочь подсобить ей и направить ее, куда им нужно? Она уже разыгралась в Польше, она уже разбрасывается по всему пространству наших западных губерний, и она, конечно, воспользуется всяким удобным случаем, чтобы прорваться там или тут на громадном протяжении России, пользуясь организацией польских революционных комитетов и теми пороховыми дорожками, которые они не затруднятся проложить в разных направлениях между центральными пунктами России. Россия есть страна самая антиреволюционная в целом мире: Европа все более и более убеждается в этом; в этом же все более и более убеждается и организованная европейская революция, которую она насылает на нас. В твердыне нашего народа, в сословиях русской земли нет и тени того, что называется революционным элементом. Расчет поднять наши народонаселения какими-нибудь революционными призывами оказался невозможным, и расчет этот брошен. Но если оказалось невозможным произвести в России настоящую революцию, то может быть еще не потеряна надежда произвести революцию фальшивую, к которой представляет все удобства организованное восстание в Польше. Для целей революции, равно как

и в интересе враждебных нам держав, достаточно произвести у нас всякого рода замешательства и смуты в каком бы то ни было направлении и смысле. На это несомненно рассчитывают наши враги; это положительно имеется в виду европейскими правительствами. Вот почему преимущественно считают они нас теперь слабыми; вот почему, несмотря на все симпатическое признаки новой жизни, открывающейся для России, несмотря на все реформы, которым еще так недавно рукоплескала вся Европа, она обращается с нами так дурно и так презрительно, как никогда прежде. Если мы хотим выйти из этого тягостного и оскорбительного положения, то мы должны немедленно доказать всю ошибочность расчета на поживу для иноземной революции в нашем Отечестве и на слабость нашего сопротивления для отпора внешних врагов. Всякая комбинация, которая представит в совершенной очевидности способность страны в одно и то же время и встретить внешних врагов, и предупредить всякие замешательства внутри, подавить легко какое бы то ни было покушение на общественную безопасность, — всякая такая комбинация тотчас же даст нам возможность говорить с Европой языком великой державы. Нечего заявлять, что мы сделаем то-то и то-то в будущем; надобно немедленно сделать что-нибудь в настоящем. Мы должны теперь же показать, что можем вполне удовлетворительно организовать и нашу внешнюю, и нашу внутреннюю защиту; мы должны теперь же на деле показать, что для охранения внутренней безопасности потребуются лишь незначительное количество военных команд и что вся сила нашей армии может двинуться наступательно и оборонительно против внешних врагов. Словами и обещаниями никого мы в этом не уверим, но мы заставим серьезно об этом подумать всякого, если покажем на деле хотя какие-нибудь начатки подобной организации в нашем обществе.

Вот почему мы с особым сочувствием встречаем мысль, которая возникла в разных слоях московского городского общества и которую намерены поднять многие из членов нашей Общей Городской Думы в первое же за сим заседание ее, — мысль об организации местной стражи, которая в случае надобности

могла бы заменить или усилить военный гарнизон города. Стража эта должна состоять из местных обывателей и вообще городских собственников, находиться под контролем Думы, но под управлением военного начальника, при некотором небольшом количестве военной команды, которая послужила бы для нее кадрами, между тем как остальные войска были бы в готовности двинуться при первой надобности. Все практическое значение этой мысли состоит в том, чтобы немедленно же приступить к ее исполнению, а не откладывать ее до тех пор, пока войска действительно куда-нибудь потребуются. Главная цель этой организации и состоит именно в том, чтобы войска никуда не требовались, а между тем ежеминутно готовы были бы двинуться без всякого замешательства, затруднений и лишних жертв.

Желаем полного успеха этому предположению, которое свидетельствует, как серьезно нашим обществом принимается современное положение дел и как мало походит пробудившийся в нем патриотический дух на ту гнилую апатию, которая не хочет шевельнуть пальцем, пока не грянет гром и которая только в том и полагает патриотизм, что с варварской расточительностью обещает страшные жертвы, которых можно было бы избежать благовременной энергией и которые действительно придется приносить благодаря этой апатии, неспособной ничего предусмотреть, ничего сообразить и ничего сделать без тукманки по лбу.

Предполагаемая организация местной городской стражи, предпринятая вовремя, обойдется без отягощения и без жертвований для жителей. Войска наши еще, слава Богу, на месте, и нет надобности обременять местную стражу всеми теми обязанностями, которые лежат на войсках. В настоящее время достаточно было бы только самого факта организации, а служебные тягости были бы еще впереди, в возможности еще довольно отдаленной. Достаточно было бы этим стражам только приучаться к отправлению обязанностей, которые теперь лежат на военном гарнизоне, достаточно было бы собираться в определенные дни и часы для выправки, привыкать к точности и дисциплине, по очереди ходить патрулями и т. п. Всякий без

отягощения, весело и бодро нес бы эту повинность, которая сверх своей важной практической цели внесла бы некоторое разнообразие в нашу монотонную городскую жизнь и связала бы обывателей новым общим интересом. Эта организация послужила бы поддержкой и добрым употреблением для возбужденного народного чувства. Пробудившийся патриотизм есть чистое золото, и грешно было бы не воспользоваться им. Такими минутами возбужденного народного чувства надобно дорожить, не давать ему испаряться, а постараться кристаллизировать его в каком-нибудь положительном деле. Возбужденное чувство не может долгое время оставаться без пищи, без занятия, без дела. Предполагаемая организация может дать ему эту пищу, может дать ему это дело. Она сосредоточит его, она даст ему простую, но выразительную формулу, простой, но прекрасный символ. Пример Москвы заразителен и обязателен. Он отзовется в целой России, и это новое выражение народного патриотизма более чем что-либо в настоящее время может улучшить наше положение в Европе, которая увидит пред собой великую страну, не только спокойную, но и вполне обеспеченную от всяких сюрпризов, свободную в распоряжении своими силами и вполне готовую к энергической обороне.

МНИМОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

Нет сомнения, что Англия не хочет европейской войны из-за польского дела, что она никогда не думала и не думает о восстановлении Польши, что она вовсе не заботится о ее административной автономии, что она вовсе не верит в действительность шести пунктов своей программы и вовсе не заинтересована ее исполнением, что, напротив, она крайне удивилась бы, если бы в самом деле мы вздумали усвоить себе ее программу. Можно с полным убеждением сказать, что если мы сами не вздумаем начать европейскую войну по случаю польских дел, то никто против нас не начнет ее. Тревога, поднимаемая против нас в Европе, есть, в сущности, мистификация, хотя нам и не легче от того; ловкий противник так рассчитал

обстоятельства и поставил нас в такое положение, что мы по поводу самого безнадежного дела, в котором Европа серьезно участия не принимала и не принимает, должны помышлять об европейской войне, которая потребует от нас всех наших средств и сил. Лорд Пальмерстон сумел это сделать, и благодаря его ловкой политике ничтожнейший из всех возможных европейских вопросов принял громадные размеры, всколыхнул целый великий народ и привел на память великие и грозные эпохи народных войн. Англия не издергала до сих пор ни одного шиллинга на вооружение против России; по всему вероятно, она и не намерена издергать ни одного шиллинга на войну с Россией. А мы должны тратить громадные суммы на наши укрепления и вооружения, отрывать народные силы от производительного труда в тяжелую эпоху наших общественных преобразований. Цель нашего противника именно и состоит в том, чтобы, ничего не теряя и ничем ни рискуя, истощать, разорять нас и вредить нам, может быть, гораздо глубже и действительнее, чем целым рядом кровопролитных сражений. В самом деле, в чем должно состоять торжество всякой войны? Не в том ли, чтобы с наименьшим ущербом для себя причинить как можно больший ущерб противнику? И не верх ли торжества в том, чтобы без малейшей потери, без всякого риска нанести противнику самые ощутительные удары? Во всякой войне есть две стороны. Без двух противных сторон, казалось бы, война невозможна. Так говорит простой здравый смысл, так до сих пор и бывало на деле. Но в наше хитрое время открылась возможность вести войну так, чтоб одна сторона вовсе не принимала в ней участия, а другая несла на себе всю ее тяжесть. Представьте себе эту странность и подивитесь хитрости нашего времени! Впрочем, тот век, который умудрился из солнца сделать живописца и заставил железную проволоку передавать с быстротой молнии за тысячи верст слово человеческое, тот самый век мог изобрести и войну, в которой вместо двух противных воюющих сторон есть только одна воюющая сторона.

Но как могло случиться, что Россия, великое, могущественное государство, в котором все классы народонаселения

образуют неразрывное единство и в котором так непоколебима Верховная власть, вдруг, ни с того ни с сего, подверглась опасению чуть-чуть не за свое существование? Как могло случиться, что к России стали относиться не только как к державе второстепенной, но как к такому государству, которое не в состоянии дать ни малейшего отпора и может стать предметом всякой интриги и мистификации?

Расчет наших противников основан на соображении разных элементов, личных и политических, на соображении отчасти ошибочном, а отчасти, может быть, и верном. Зоркие, опытные и искусные, они присматривались к нам, следили за ходом наших дел, входили во все подробности, тщательно принимали к сведению все признаки.

Начнем с того, что Россия выдержала войну, исход которой был неблагоприятен для нее. Россия с тех пор, как стала могущественным государством, вела большей частью счастливые войны; последняя война была не такова. Но отнюдь нельзя сказать, чтоб эта война могла значительно ослабить Россию. Она обнаружила недостатки господствовавшей у нас системы; она показала, что наши громадные военные силы не делали нас совершенно непобедимыми и неуязвимыми, как думали мы сами и как более или менее чувствовалось остальной Европе. Обнаружилось, что необходимы еще многие другие условия, чтобы военные силы могли приносить пользу, соответственную своему назначению и тем жертвам, которых они стоят государству. Но при всех неудачах Крымской войны она была ведена нами с честью, ведена против соединенных сил почти целой Европы, и если она обнаружила слабые стороны России, то в то же время обнаружила и громадные силы, которыми она может располагать и которые, при других лучших условиях, действительно могут стать непобедимыми. Результат последней войны был, конечно, одной из причин, содействовавших ослаблению европейского положения России, но далеко не главной; по крайней мере, та степень ослабления, которая была прямым последствием этой войны, не объясняет и сотой доли тех странных отношений, в которых наше Отечество находится теперь к другим

европейским державам. Мы видим, что непосредственно после Крымской кампании, еще под свежим впечатлением понесенных Россией ударов, она пользовалась в Европе несравненно большим авторитетом, и назад тому года три—четыре было бы трудно поверить, чтоб она когда-нибудь могла стать предметом такой мистификации и подвергнуться такому неуважительному обращению как теперь. В самом деле, можно ли было представить себе года три-четыре тому назад, чтобы иностранные державы решились давать нашему правительству наставления по делам внутреннего свойства, возбуждать против России неслыханную дипломатическую демонстрацию, к участию в которой призвана была на смех даже Турция, явно издеваться над Россией, надеяться запугать ее и склонить ее к действиям заведомо невозможным, наконец, поднять вопрос о самом ее существовании. Все это не могло придти в голову и самому дальновидному человеку в 1856 году. Мы знаем, напротив, что в этот промежуток времени Россия, хотя и с ослабевшим значением в Европе, все еще имела вес в ее советах, и ее дружбы искали другие державы. Австрия старалась всеми способами сблизиться со своею прежней союзницей, которой она изменила и за свою измену получила достойное возмездие в Италии. Франция домогалась союза с Россией. Вспомним штутгартское свидание, вспомним варшавские свидания. Таково ли тогда было положение России, как теперь? Мы сейчас упомянули об Австрии и о возмездии, которое постигло ее в Италии: Австрия вынесла несравненно более тяжкую войну, чем Россия, несравненно более была ослаблена и унижена после итальянской кампании, и однако, как мы видим теперь, положение ее в Европе не только не умалилось, а, напротив, едва ли еще не усилилось, несмотря на то, что в ее внутренних делах остается еще так много нерешенного и спорного. После понесенного ею поражения Австрия не только успела сладить с могущественными элементами внутреннего расстройств, но и поправить свое европейское положение и открыть себе виды на дальнейшие успехи. Итак, мы все более и более убеждаемся, что неблагоприятными результатами Крымской кампании отнюдь нельзя объяснять того странного

положения, в каком видит себя Россия по отношению к другим великим державам. Наконец, обнаруженные последней войной недостатки господствовавшей у нас системы побудили Россию сосредоточить все свое внимание на внутренних преобразованиях. Наше правительство устами своего вице-канцлера сказало тогда очень характеристическое слово: «Россия не сердится, она входит в себя». Начались преобразования, направленные, конечно, не к худшему, а к лучшему. Все сознавали это, и Европа рукоплескала им. Эти преобразования, по-видимому, должны были усилить Россию, крепче связать ее части, крепче соединить народ с его Верховной властью. Россия, по-видимому, должна бы стать несравненно могущественнее, чем была она прежде, чем была она когда-нибудь. Ожидание общества, развитие внутренних сил народа, свобода и гражданские права, распространенные на целые массы народонаселения, – все это, по-видимому, должно было бы возвысить и усилить Россию. Неблагоприятные последствия Крымской войны должны были бы исчезнуть пред этими новыми условиями могущества и силы, которые приобретала освобождаемая и преобразуемая Россия.

И нет сомнения, что в *действительности* Россия за последнее время не только не стала слабее, но стала гораздо могущественнее, чем прежде. В *действительности* не убавились, а разве прибавились элементы ее силы. Всякий, кто пристальнее взглянется в положение дел у нас, не может не согласиться, что в России значительно прибыли действительные силы. Но, к сожалению, дела человеческие подвержены особому рода условиям. В делах человеческих не только то действительно, что действительно, а также и мнения, которые неразлучно сопровождают их и входят в них как составной элемент. Хотя мы и отличаем от действительного мнимое, но и мнимое действует, и мнимое в известном смысле есть также нечто действительное; какая польза человеку от того, что он находится в обладании несметными богатствами, если он сам не сознает этого или принимает деньги за щепки? Точно так же какая польза от того, что реальные условия могущества не убавились, а прибавились в нашем Отечестве, если наши понятия так настроены, что мы этого не

видим или видим противное? Мы, кажется, не ошибемся, если скажем, что если Россия усилилась в действительности, то в мнении о самой себе она стала несравненно слабее. А так как элемент мнения входит всюду, во все дела, во все отношения, интересы и учреждения, то Россия благодаря этому входящему всюду элементу повсюду ослабела в страшной пропорции. А потому, если бы мы пожелали излечить себя от этой слабости, то наши врачующие средства должны исключительно направиться не на что-либо другое, а на тот самый элемент, в котором гнездится болезнь. Всякое другое лечение будет только пуще расстраивать нас и может сделать недуг неизлечимым: в этом может удостоверить нас любой медик, знающий дело. Если мы хотим поправиться и окрепнуть, то мы должны поправиться и окрепнуть собственно только в нашем мнении о себе и вообще в наших мнениях. Мы всегда страдали по этой части. Все зло, которое мы чувствовали и чувствуем в нашей жизни, коренится не в реальных условиях нашего существования, а единственно в наших понятиях, воззрениях и мнениях.

В прежнее время недуг наш был скрытый недуг, а Россия являлась пред Европой, может быть, гораздо могущественнее, чем она была на самом деле. Зло недоразумений было скрыто внутри, а снаружи являлась цельная великая сила, в которой не оказывалось никакого сомнения и в которой никто, судя по наружности, не мог сомневаться. Система, господствовавшая в России назад тому несколько лет, до последней войны, была система определенная, явственная, во всем последовательная. Европа не имела понятия о русском общественном мнении, потому что общественного мнения в России тогда не существовало; она не справлялась о русском народе и знала об его существовании только в лице великой, громадной державы, которая могла располагать средствами и силами семидесяти миллионов людей. Россия была, по мнению Европы, громадной паровой машиной в шестьдесят или семьдесят миллионов сил. Европа видела пред собой страшное единство, в котором совершенно и исчезало все это бесчисленное множество единиц, составляющих русский народ. Теперь отношение изменилось. Россия

как для самой себя, так и для постороннего наблюдателя представляет целый мир колебаний, шатаний и недоразумений, господствующих над всем, – недоразумений, которые на каждом шагу сбивают людей с толку, заставляют их принимать одну вещь за другую, искать пользу во вреде и видеть вред в пользе, бояться того, в чем спасение, и опрометью бросаться в явную опасность. Этим брожением, этой смутой мнений повернулась теперь Россия на свет, – и вот причина того уничтожения, которое мы испытываем в Европе!

Наши противники, хорошо постигающие все тонкости правительственных систем, заключают, что старая господствовавшая в России система стала невозможна при новых образовавшихся в России условиях, что время этой системы прошло невозвратно вместе со старыми условиями гражданского быта. Они заключают, что остающиеся формы прежней системы лишены всякой силы и духа. Они рассчитывают на разъединение между правительством и народом, и вследствие того они уверены, что правительство, отказавшееся от духа прежней системы и не утвердившееся в новой, которая еще не успела сложиться, не уверенное в себе и не уверенное в народе, окажется зыбким и слабым, может быть, вопреки своей действительной силе. Они и сами не столько рассчитывали на действительное разъединение между народом и правительством, сколько на то, что правительство и народ будут вопреки истине считать себя разъединенными. Иностранцы государственные люди (и не одни иностранные) были уверены, что начавшиеся великие преобразования в России будут сопровождаться потрясениями и смутами, которые подвергнут опасности самое существование государства. Уверенность эта не оправдалась на деле, – и так велика в действительности сила и прочность нашего государства, что, несмотря на беспримерное величие события, которое затрагивало самые существенные интересы и права, несмотря на тот всеобъемлющий элемент недоразумений, который господствует у нас и всюду проникает, дело это обошлось самым мирным образом. Но положение наше не поправилось. С крепостным правом рушилась главная основа нашей прежней

общественной организации, а новая организация еще не успела образоваться. Дворянство, затронутое преобразованием в своих правах и интересах, осталось в положении неопределенном, недоумеая, чем оно стало и какая ждет его участь. В общественном мнении возникала тьма недоразумений, и положение дел казалось очень смутным. Наши европейские противники не могли не замечать этого, не могли не принимать всего этого к сведению. Они сообразили, что в такое время должна раскрыться в умах бездна всяких ожиданий, что все должно зашататься в них, все должно представиться спорным, все сбыточным.

События в Польше в продолжение двух последних лет особенно должны были убедить иностранных политиков в нашей непрочности и слабости. Беспрерывная смена наместников после смерти фельдмаршала, колебания и противоречия, потемки, в которых все происходило, интрига, которая всем овладевала, сила и значение, предоставленные самым дурным и сумасбродным элементам в обществе, с которыми ни одно правительство в мире не может вступать ни в какую сделку, – все служило для них признаком общего состояния России, и вот почему революционеры целого света сочли наше Отечество самым удобным местом для исполнения своих замыслов, вот почему и правительства сочли возможным трактовать Россию как несчастную страну, неспособную дать никакого отпора. Вот почему все считают возможным безнаказанно издаваться над Россией и надеются на успех самой наглой мистификации.

Но истинная сила и крепость русской земли, русского государства, русского народа начинает давать себя чувствовать, пробившись сквозь тучу недоразумений, порождаемых фальшивым, расстроеным, болезненным мнением. Не только мы сами чувствуем теперь эту истинную силу, – ее не может не чувствовать и весь европейский мир. Но нам от этого не легче, и враги наши от этого не унывают. Чувствуя нашу силу, враги наши остаются тем не менее в убеждении, что наша *истинная* сила все-таки не преодолет нашего *мнимого* бессилия. Они не слепы, они не могли не увериться в *действительном* единении всех частей русского народа между собой и с Верховной вла-

стью, но они рассчитывают на силу *воображаемого, мнимого* разъединения. Они должны очень хорошо понимать, что если бы мы сами сознавали себя такими, каковы мы на самом деле, что если бы наше мнение о себе совершенно совпадало с действительными условиями нашего быта, то мы разом приняли бы свойственное нам положение в Европе и стали бы вне всяких покушений и оскорбительных расчетов на нашу слабость и бессмыслие. Но они полагают, что такого рода совпадений нет, они уверены, что элемент мнения окажется сильнее действительного элемента, и смело рассчитывают на наши недоразумения. Для врагов наших выгодно, чтобы мы, бродя в потемках и не узнавая друг друга, не пользовались нашими истинными силами, изнуряли, истощали и расстраивали себя бесплодными усилиями и жертвами, чтобы мы ввязались в войну, в которой противной стороны может не оказаться, или окажется только тогда, когда мы успеем основательно запутать и расстроить себя. А если это выгодно нашим врагам, то тем, которые не имеют против вас пагубных замыслов, было бы напротив желательнее, чтобы чувство нашей истинной силы взяло верх над нашим мнением о своем бессилии, чтобы мы поняли смысл мистификации и освободились от недоразумений, которые препятствуют нам пользоваться нашими истинными силами. Поправить свое положение в Европе, внушить к себе уважение, заставить умолкнуть наших врагов и прекратить мистификацию, которой стали мы предметом, можем мы не столько приготовлениями к европейской войне, — приготовлениями, которых только и домогаются наши желающие изнурить нас, враги, — а, напротив, доказательствами, что мы начинаем понимать наше истинное состояние, что мы освобождаемся от недоразумений, что мы выходим из потемок, что нет *мнимой* розни в существенных интересах государства и общества, как нет в них *действительной* розни, что между основными стихиями нашей жизни нет и тени недоверия и несогласия, как нет ни малейшего основания к недоверию и несогласию между ними. Всякий акт, который показывал бы, что власть и народ, правительство и общество, свобода и порядок состоят у нас не из противоположных стихий, но

есть одно и то же, неразрывно-единое в действительности и в то же время понимающее эту неразрывную внутреннюю связь свою, пользующееся ею и полагающее в ней свое могущество и силу, – всякий такой акт подействует несравненно успешнее, чем самое громадное развитие военной силы.

Слава Богу, мы видим, как *истинное* более и более торжествует над *мнимым*. Недоразумения начинают мало-помалу терять свою силу. Между правительством и обществом утверждается сознание полного согласия в интересах и целях, а единство Верховной власти с народом становится выше всякого сомнения. Уже все сознают, что правительство может спокойно опираться на общественные силы и действовать с ними заодно. Мы видели, с каким единодушием и искренностью выразилась вся русская земля при первой тревоге в верноподданных адресах, мы видели, с каким сочувствием встречена была в обществе мысль о содействии правительству ополчениями, организацией волонтеров, местную стражею. Солидарность и взаимное доверие между правительством и обществом, которое выразится в этих и подобных мерах, внушит к нам уважение несравненно действительнее и вернее, чем громадные вооружения, и избавит нас от необходимости прибегать к ним.

Чем яснее, полнее и осязательнее будет высказываться этот дух взаимного доверия между Верховной властью и живыми силами общества, тем будем мы истиннее и тем вернее выйдем мы из всех затруднений, тем могущественнее будет наше положение в Европе. При плодотворном развитии этого взаимного доверия, которым только и может быть сильна русская земля, прекратятся недоразумения, и мы выберемся из потемок, в которых мы не узнаем своих, не узнаем себя и так легко становимся игрушкой всякой интриги.

РУССКИЙ ВОПРОС В ЕВРОПЕ

В Европе много вопросов, имеющих большее или меньшее значение, возникших из хода событий или поднятых искусственно. Есть вопрос римский, есть вопрос шлезвиг-гольштейнский,

есть вопрос восточный; можно набрать еще много других вопросов, о которых трактовали и трактуют в дипломатическом мире и в политических кругах. Но есть вопрос, который еще не был ясно высказан и который, однако, серьезнее всего, что только может иметь в Европе значение вопроса. Этот скрытный, не высказанный вопрос господствует над всем; он более или менее присутствует во всех политических соображениях; он у всех на уме. Поднять его в собственном его смысле и во всей его силе трудно, невозможно; но он поднимается по частям и под другими формами. В прошлом году он был скрытным образом поднят под именем вопроса польского. Этот таинственный вопрос – мы должны наконец назвать его прямо – есть вопрос *русский*. Давно уже висит он над Европой – с тех самых пор, как Россия стала первоклассной европейской державой. Ее громадные размеры, ее могущественный рост, ее крепкое государственное единство, с одной стороны; мрак, господствовавший внутри ее, совершенное отсутствие всяких признаков, которые могли бы свидетельствовать о характере и значении той народности, которой имя носит это государство, давно уже занимают и пугают всех. Вот держава, входящая в состав европейских государств, оказывающая одним своим присутствием громадное влияние на ход европейских дел, и в то же время вот народ, Бог знает что заключающий в себе и Бог знает к чему предназначенный. Вследствие особых обстоятельств своей истории русская народность была менее знакома образованному миру, чем китайская или японская; все, относящееся к русскому народу, было долгое время предметом не меньшего баснословия, чем для древних географов занимаемые ими ныне гиперборейские страны. Но с другой стороны, этот неизвестный, этот таинственный народ, в котором все казалось так бестолково, так непонятно, в котором все было так темно, действовал в лице своего правительства и могущественно отзывался в ходе всемирных дел. Почти совершенное отсутствие всяких видимых проявлений общественной и нравственной энергии, кроме государственной службы, которую нес с тяжкими усилиями весь народ, не могло быть причиной приязни и доверия к нему. Если в лице своего правитель-

ства русский народ находился в постоянном взаимодействии с европейскими государствами и был одним из значительнейших звеньев в системе общего равновесия, то во всех других отношениях он почти не находился ни в каком общении с Европой. Между Россией и остальным миром кроме отношений правительственного порядка не было, или почти не было, никаких живых связей ни экономического, ни нравственного свойства. Вот почему Россия была в одно и то же время и так близка к Европе, и так далека от нее, так чужда ей; вот почему она должна была обращать на себя усиленное внимание и в то же время возбуждать против себя глубокую неприязнь и недоверие, вот почему к тем элементам розни и антагонизма, которые могут возникать между всякими государствами, присоединяются по отношению к России причины недоброжелательства, в которых все другие государства солидарны. Есть политика Франции относительно Англии, есть политика Англии относительно Франции, и есть также политика каждого европейского государства по отношению к этой последней державе, есть общая политика всех европейских государств.

Все политическое искусство европейских правительств по отношению к России состояло в том, чтобы вовлекать ее правительство в такие положения и сочетания, которые наименее соответствовали бы ее собственным интересам и в которых она служила бы посторонним для нее целям, сколь можно более в ущерб себе. Такая политика, по-видимому, обеспечивала Европу до той поры, пока вопрос о дальнейшем значении России еще невозможно было считать вполне созревшим; такая политика служила как бы паллиативным средством, останавливая развитие того, что казалось злом, и, по возможности, употребляя это зло в пользу. Там, где хоть сколько-нибудь выступал наружу русский интерес в европейских делах, можно было с уверенностью ожидать, что все правительства станут против нас за одно. Не могла быть допущена никакая комбинация, выгодная для России, не мог быть поднят никакой вопрос, который хотя бы отдаленным образом обещал разрешиться в русском смысле. Русская политика в Европе могла что-нибудь значить только в

той мере, в какой она отеклась от своего национального характера; она казалась, например, сильной в то время, когда Россия была членом Священного Союза и когда она, по собственному сознанию, жертвовала всеми своими интересами в пользу германских правительств, усиливая тем ненависть к ней народов. Таким образом, постоянной политикой относительно России было по возможности изолировать русское правительство от его страны, от его народа, поддерживать и далее усиливать его действие в интересах чуждых и тем существенно ослаблять его. Но такое положение вещей не может же продолжаться вечно. С течением времени, при большем знакомстве с положением дел в России русский вопрос созрел и становился яснее; он освобождался от тех мифических элементов, которые соединялись с ним прежде. Россия перестала пугать воображение ордами дикарей, ожидающих только сигнала, чтобы вторгнуться в Европу и покрыть ее развалинами. Но недоброжелательство к России не утратило своей силы, – напротив, оно стало определеннее и потому опаснее. Более отчетливое знакомство с положением дел внутри России указало ее слабые стороны, ее уязвимые места, указало пути для политической интриги.

Русский вопрос, – говорим это не без тяжелого чувства, потому что вопросу подвергается только сомнительное, как, например, светская власть папы в римском вопросе, или как существование Турции в восточном, – русский вопрос в настоящую пору считается созревшим.

Восточная война, несмотря на ее несчастливый для России исход, не потрясла ее основание, но она значительно изменила ее европейское положение. Размеры ее иностранной политики сократились; Россия стала устраняться от деятельного участия в европейских вопросах, и потому прежние приемы обращения с нею оказываются недостаточными. Все внимание европейской политики перенеслось на наши внутренние дела, и никогда еще не были они предметом столь тщательного и заботливого изучения, входящего во все подробности действующего у нас правительственного механизма, общественных настроений и личных элементов. Теперь или никогда: политика, имеющая

долю внести смуту в наши дела, поколебать и расстроить их, обставлена очень выгодно и находится в обладании самыми разнообразными способами действия, заговором, интригой, революцией, искусственным возбуждением общественного мнения; а с другой стороны, переходное время, которое переживает теперь Россия и которое уже никогда не повторится, представляет самые благоприятные условия для действия...

Русскому народу предстоит в наши дни выдержать последний и, может быть, самый трудный искуc в своей истории; но мы не колеблемся в вере, что русский народ выйдет с торжеством из своего последнего испытания. Как ни тщательно изучают нас, как ни тонко ведут свои расчеты политические мудрецы нашего времени, они все-таки обочтутся, от них все-таки ускользнут те самые элементы, в которых вся сила.

В ЧЕМ СОСТОИТ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

Что такое национальная политика, этот жизненный закон всякого благоустроенного государства? Политика ли это эгоизма, властолюбия и завоеваний? Преобладание ли это материальных интересов? Нет, национальная политика состоит только в том, чтобы правительство было правительством своей страны, чтоб оно было силой только своего народа: иерархия интересов остается в своей силе; напротив, только при условии истинно национальной политики возможно соблюдение всех интересов страны в их правильной постепенности. Свойство национальности определяет характер ее политики, и нет страны, интересы которой, правильно понятые, были бы так безопасны для сохранения мира, так мало соединялись бы с ущербом чьих-либо иных уважительных интересов, так мало требовали бы насилия и нарушения справедливости, как Россия. Ее естественное положение есть чисто оборонительное, и никогда по собственному побуждению, в чувстве своих действительных интересов не может она перейти в положение наступательное. Каждая из остальных великих держав Европы

имеет какие-либо виды далее своих пределов или нуждается в каком-нибудь стеснении чужих интересов. Англия была постоянно заинтересована поддержанием порядка вещей на Востоке, противного всем интересам цивилизации, справедливости, человечества. Франция доселе ищет своих естественных границ, и династии, падая одна за другой на ее зыбкой почве и стараясь поддержать себя возбуждением народного тщеславия, развили в ней дух завоевания, который причиняет столько бурь в Европе. Недавно видели мы, к каким действиям насилия была увлечена Пруссия. Было ли что-нибудь подобное с Россией? В таком ли положении она находится? Требуется ли ее годами какое-либо расширение ее границ? Может ли она нуждаться в захватах или присвоении чужого? В ее национальных инстинктах нет и тени тщеславия, которого никто и не возбуждал в ней; она не имеет ни малейших выгод в поддержании где бы то ни было насильственного или фальшивого порядка вещей. Если она в былое время заботилась о поддержании такого гнилого политического существования, каким всегда была Австрия, то, как всем известно, она поступала таким образом не в пользу, а во вред себе, и следовала политике, которая менее всего может быть названа национальной. Так называемый Священный Союз, в который посажена была тогда Россия, держал ее в сфере совершенно чуждых ей интересов, разобщал ее правительство со страной и делал его орудием других правительств, которым оно приносило в жертву и вещественные, и нравственные силы своего народа. Ничего не может быть забавнее возгласов о завоевательности России, которые так часто слышатся и во Франции, и в Германии. Вот что по-русски называется: «С больной головы на здоровую!» Наконец, имеет ли Россия какую-нибудь надобность препятствовать или недоброхотствовать прогрессу, материальному или нравственному, какой бы то ни было страны, подобно тому, как постоянно оказывалось недоброхотство делу русского просвещения и гражданственности со стороны других национальностей, которые в этом отношении доходили до возмутительной безнравственности, начиная с тех давних еще допетровских времен, когда в

Риге перехватывались и не пропускались и художники, и ремесленники, направлявшиеся с запада в Москву?

Только благодаря капитальной политике, которую усвоила себе Россия в последнее время, она становится разумной силой и приобретает нравственное значение; только благодаря этой политике она начинает привлекать к себе искренние сочувствия и уже собирает вокруг себя соплеменной ей, пробуждающийся к политической жизни славянский мир.

Чем более будут раскрываться ее национальные интересы и действительные потребности, чем более будет она становиться собой, чем яснее будет она и для себя, и для других, тем живее и глубже будут сочувствия, которых она становится теперь предметом, тем менее будет причин не доверять ей. Интересы России не только не могут угрожать самостоятельному существованию соплеменных ей славянских народностей, но, напротив, ей было бы тем выгоднее, чем самостоятельнее была бы каждая из них в политическом отношении. А поляки?.. Но между Польшей и Русью издавна поставлен был вопрос на жизнь и смерть, и поставлен не русским. Судьбы истории так решили, что Польское и Русское государства не могли стоять рядом. Да и теперь не на своей ли стародавней, вплоть до Вислы и Сана идущей земле еще отбивается Русь от своих исконных врагов, — не от народа польского, а от его злого гения, польской шляхты, этих вечных изменников не только славянству, но и собственному Отечеству, покидавших на поле битвы королей своих и нещадно губивших свой добрый славянский народ?

Русский народ ничего не выиграл бы от того, если бы какими-нибудь судьбами вошли в его государство те славянские народности, которые изнывают теперь под османским владычеством, или мечутся в разлагающейся Австрии; напротив, Россия только ослабила бы свой государственный состав введением в него элементов, хотя близких и родственных ей, но еще в доисторическую пору выступивших из племенного единства; она утратила бы всякую меру и стала бы в тягость себе; наконец, она очутилась бы еще более одинокой в мире, чем была до сих пор. Несравненно выгоднее для нее находиться в кругу

дружелюбных ей независимых политических существований, которые естественно тяготели бы к ней и находили бы в ее могуществе вернейшее обеспечение своей независимости. России нужно не расширение своей территории, которая и без того безмерно громадна, и даже не приращение своего населения, которое и без того растет с пугающей всех быстротой; ей нужно, напротив, взаимодействие, которое возможно только между силами, существующими самостоятельно и отдельно, но на одной почве. Племенная связь еще жива и сильна между славянскими народами, и они отзываются друг другу будто части одного народа; однако ж они явственно различаются между собой, и каждый знает себя как особую народность. Что же это значит? Не то ли, что каждый из них может и должен жить своим двором и иметь свое хозяйство в полной независимости друг от друга, но составляя нечто целое, нечто единое, как родственные семьи? Не то ли, что единство между ними не должно быть государственное, а являться выражением только их племенной связи, еще сохранившей всю свою жизненность? То, чего Россия могла бы желать и в собственном своем интересе, и в интересе родственных ей славянских национальностей, и в общем интересе цивилизации, ограничивается только общением умственным, которое главным органом своим имеет язык. Если бы между славянскими народностями начало мало-помалу устанавливаться непосредственное понимание друг друга, один понятный для всех язык, или если бы славянские наречия могли возвратиться на столь близкое друг к другу расстояние, в каком находились между собой диалекты древних эллинов, при всей политической разрозненности своей никогда не перестававших живо чувствовать свое племенное единство, то совершилось бы дело великое и плодотворное в истории всемирной цивилизации...

ВАЖНОСТЬ ДЛЯ РОССИИ ИСТИННО- НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Телеграф передавал нам отзывы официозных газет Берлина и Вены по поводу утверждения статс-секретаря Н. К. Гирса

министром иностранных дел. Нам приятно, что чему-нибудь и в наших делах радуются наши друзья и соседи. Впрочем, никакой существенной перемены в ходе дел вследствие выше-сказанного назначения не произошло и не предвидится: министром назначено лицо, которое *de facto* уже было министром. Наши соседи видят в этом залог политики миролюбивой. Но может ли быть сомнение в миролюбивом направлении русской политики? Было ли серьезное основание опасаться, что Россия имеет завоевательные планы? Если даже в войне русская политика не рассчитывала на завоевания, то откуда и зачем могли бы родиться у нее в мирное время любостыжательные стремления, опасные для спокойствия Европы? Нам кажется, что никто серьезно не опасается воинственных со стороны России начинаний, и в этом отношении никому не требуется новых залогов ее миролюбия. Но если Россия нисколько не расположена действовать наступательно и никому не может внушать никаких в этом отношении опасений, то она тем не менее должна быть готова к обороне не только территории своей, но и вообще своих интересов и чести. Никто, конечно, не имеет права рассчитывать, что Россия якобы из миролюбия будет равнодушна к тому, что касается ее чести, что задевает ее интересы, что угрожает ей ущербом, что ослабляет ее или умаляет ее достоинство. Никто, конечно, не ожидает, что Россия откажется от своего участия в делах всемирного значения и предоставит другим направлять дела, с которыми связаны ее существенные интересы. Это не было бы политикой миролюбия; это было бы политикой самоубийства. Правительство, выпускающее власть из рук своих, губит себя; великая держава, забывающая среди других держав о своем достоинстве и своих интересах, губит себя. Всякий ущерб в достоинстве и во всемирном положении государства отзывается и на его внутренних делах, и наоборот. Ошибаются те политики, которые думают, будто государство может спокойно процветать в бесславии и бессилии. Правительство, неспособное поддержать интересы своей страны в международных вопросах, теряет кредит и внутри и окажется неспособным управлять страной,

а также и наоборот. Государство должно хорошо знать и границы своей территории, и свой интерес во всяком вопросе. Оно должно быть сильно в меру своей безопасности и своего достоинства. Если оно не в силах отстоять себя и свое, то оно не заслуживает существования, и его следует убрать. Такое государство было бы скандалом в мире.

Малодушные или легкомысленные политики воображают, что правительство может купить мир изменой своим обязанностям внутри и интересам своей страны в международных делах. Такая политика всегда сопровождается обратным результатом. Она идет не к миру, а, напротив, к войне и катастрофам. Ничем правительство не может так компрометировать себя, затруднить свое положение и навлечь на себя всякую вражду, как, напротив, прикинувшись жалким и слабым. Мотив жалости имеет место и смысл только между людьми, отнюдь не между государствами. Слабое государство, не способное ни обороняться, ни управляться, не жалеют, а презирают и – добивают.

Недавно в одной петербургской газете по поводу назначения нового министра иностранных дел было сказано, будто покойный Император был вовлечен в войну вопреки политики своего министра, который войны не хотел. Верим, что не хотел, но управление иностранными делами России тем не менее шло верным путем к войне. Начались смуты в Боснии и Герцеговине, возбужденные, конечно, не Россией, как уже и признано всеми и как доказано самым фактом присоединения этих провинций к Австрии. Что же нам следовало бы сделать, если мы не хотели войны? Пользуясь нашим влиянием в Константинополе и еще большим влиянием на соплеменные населения этих провинций, мы могли бы взять дело в свои руки и в самом начале потушить брошенную искру. А что сделали мы? Мы поспешили отдать в руки враждебной нам политической интриги ничтожный, обычный на Востоке случай столкновения, который эта интрига старалась раздуть. Ничтожное дело мы возвели в европейский вопрос; в исполнение чужой программы мы, не приготовившись, возбудили так называемый Восточный вопрос, который никогда без крови не обходился;

мы вызвали дипломатическое вмешательство, международное следствие, и пожар разгорелся. Дошло до того, что нам нельзя уже было отступить. Если бы затем, в то время когда Турция изнемогала в борьбе с Черногорией и Сербией, мы решительно потребовали от нее, опираясь уже на мобилизованные войска наши, тех мер, которые считали необходимыми, то они были бы исполнены без войны, как доказал наш ультиматум, который спас Сербию в роковую минуту. Но мы шли к войне, и наша дипломатия продолжала истощаться в усилиях и уступках, чтобы доказать свое миролюбие, давая туркам время изготавиться к серьезной войне и основательно утвердиться в презрении к нам, за которое они потом и заплатились войной. На пресловутой Константинопольской конференции мы торжественно выбросили за борт одно за другим все наши требования. Мы отказались и от военного занятия болгар, и от жандармерии швейцарской и бельгийской, и от жандармерии турецкой с иностранными офицерами, и от требования каких бы то ни было реформ в пользу христианских населений. Пока мы доказывали наше миролюбие, Порта вооружалась и, наконец, бросила нам в лицо наш почтительный протокол, которым мы хотели миролюбиво заключить столь продолжительный и уже стоивший столько крови инцидент, – протокол, не заключающий в себе никаких требований, все предоставлявший мудрости Порты и милости султана, и, в сущности, походивший на те депеши, которые в 1863 году западные державы препроводили к нам в заключение дипломатической кампании. Мы принуждены были начать войну за «оскорбление действием».

Итак, задача иностранной политики требует, прежде всего, чтобы мы знали, чего мы хотим, чтоб у нас была определенная программа действий, чтобы мы были чутки к интересам нашего государства и правильно ценили их, давая предпочтение главному и существенному, и чтобы во всем существенном мы были незыблемо тверды и отнюдь не давали бы повода рассчитывать на нашу уступчивость. Уступками в существенном мы готовили бы себе впереди тяжкие затруднения, которые редко разрешаются миром. Как внутри, так и вне, политика до-

стигает своей цели, когда внушает должное уважение к стране и ее правительству, чего, конечно, мы вправе ожидать от нового министра иностранных дел.

Впрочем, не министр решает вопрос о войне и мире. Вопрос этот есть исключительная прерогатива Верховной власти, дело же министра состоит только в том, чтобы не скрывать от Государя правды и представлять ему дела в верном освещении и в правильной градации.

Не только Берлин и Вена, но и Париж отзывается на новое назначение в нашем правительстве. Сейчас прочли мы в *Journal des Debats* передовую статью, словно взятую из *Pegumского Ллойда* или берлинской *National-Zeitung*. Со свойственной французским газетам неподкупностью суждений и мудростью *Journal des Debats* также горячо, как и немецкие, ратует против русского панславизма и в назначении нового министра видит противовес этому опасному (для Франции?) панславизму. Парижская газета полагает, что в нашем правительстве господствует теперь дуализм: европейское направление представляется де новым министром иностранных дел, а панславизм, состоящий де в мистическом единении Царя с народом, представляется якобы министром внутренних дел. Спешим успокоить парижских радетелей о наших делах: никакого панславизма и ничего мистического в наших внутренних делах не обретается, никакого дуализма в нашей политике нет, и трудно сказать, в каком у нас департаменте преобладает русская национальная политика. Россия не несет никаких мудреных замыслов; она нуждается только в твердой и просвещенной истинно-национальной политике и ничего так не опасается как Фаэтоновских полетов и во внутренних, и в иностранных делах.

ЗАДАЧИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Была речь о съезде трех министров в Киссингене. До сих пор в Киссингене было свидание только двух министров. В точности не знаем, сочтет ли нужным российский министр иностранных дел ехать в Киссинген на совещание, – мы чуть

было не сказали: на поклонение сердитому Канцлеру Германской империи (и в самом деле, эти наши поездки к князю Бисмарку немного походят на стародавние поездки в Золотую Орду) – но знаем также, какие переговоры ведутся или предполагаются к ведению.

Германский канцлер приобрел вместе с заслуженной славой некоторое мистическое значение. Его рука подозревается во всех событиях нашего времени; он считается обладателем талисмана, перед которым рушатся все преграды и расpiresаются все замки. Без его соизволения нельзя ни лечь, ни встать; он ворочает всем миром... Но так ли? Не вера ли наша творит эти чудеса? Или, точнее, не суеверием ли нашим так сильна эта сила? И коль скоро речь идет о дружбе между Россией и Германией, то дружба эта есть ли необходимость для России, и не есть ли она все для Германии?

Если бы состоялось свидание трех министров, то глава нашего посольского приказа мог бы убедительно доказать графу Кальноки ту выгоду, которую приобрела Германия от своей дружбы с Россией и те крушения, какие потерпела Австрия, потому что не умела воспользоваться русской дружбой. Разве, в самом деле, Пруссия только силам своим обязана тем успехам, какие она стяжала в последнюю четверть века и прежде? Разве, наконец, самое создание Германской Империи произошло само собой, и разве нынешнее первенствующее в Европе положение этой империи, ее кажущееся всемогущество и дела, которые творит чудодей, стоящий во главе ее правительства, разве все это не есть в сущности дружба России, *qui se fait litiere*^{*}, не есть добровольная кабала России? Если Германия стоит высоко, то не потому ли, что она стоит на России? А если б этот добродушный Бриарей пошевелился, то оказалась ли бы Германия так неизбежно могущественной как представляется теперь и мановение бровей ея Юпитера было ли бы так потрясательно?

Графу Кальноки ближе всего было бы знать, почему в 1870 году была так сокрушительно разгромлена Франция. В самом ли деле Германия была обязана страшным успехам в этой войне

^{*} Здесь: помощь (фр.)

превосходству своих сил над Францией? Император Наполеон III ошибся в своих расчетах, – ошибся потому, что упустил из виду Россию. Он начинал войну в уверенности, что с ним заодно будет Австрия, а за Австрией и вся южная Германия, был так твердо уверен в этом, что не считал нужным делать серьезные приготовления. Он даже не сосредоточил должным образом наличных войск своих, открывая кампанию. Государственные люди Австрии должны хорошо знать, что вышесказанная уверенность императора Наполеона не была лишена основания. Если она обманула его, то лишь потому, что он забыл о добродушном гиганте, на которого Германия опиралась. Он готовился совершить военную прогулку в Берлин и предпринять войну без должных приготовлений; между тем как Пруссия, обеспеченная Россией против Австрии, изготавилась к борьбе не на живот, а на смерть, и бросила на беспечного противника все силы Германии, все ее резервы и задавила его прежде, чем он мог опомниться. Что князь Бисмарк действовал ловко и что граф Мольтке искусный стратег, в этом нет сомнения; что благодаря им все было заранее хорошо рассчитано и подготовлено, этого нельзя не признать. Что эти расчеты оправдались, что они были возможны, этим Пруссия и князь Бисмарк и граф Мольтке были обязаны русской дружбе, которая не позволила Австрии шевельнуться и через то удержала остальную Германию под знаменами Пруссии. Что произошло бы, если б этого не было? Да и теперь стоит только России возвратить свободу своих действий, то есть перестать быть подстилкой, и призрак всемогущества Германии мгновенно исчезнет, и она займет свое место в ряду других государств. Мы говорим «стоит только России возвратить свободу своим действиям», отнюдь не хотим этим сказать, что она должна была стать во враждебные к соседней державе отношения. Напротив, желательно, чтобы наши дружжелюбные отношения к соседней державе упрочились, а упрочиться они могут не иначе, как при полной ясности их и при взаимной свободе и взаимном уважении обеих сторон. Неестественно, чтобы великая держава, как Россия, навсегда или даже надолго оставалась под видом дружбы и союза в слепом подчи-

нении чужой воле, будто в гипнотизме. Такие неестественные отношения непременно породят тьму недоразумений, и под наружным видом дружбы скопят тем более глубокую внутреннюю вражду, которая непременно разразится так или иначе, рано или поздно.

Зачем нам эти союзы, эти концерты? Были между Россией и Германией печальные недоразумения, порожденные именно неправильными отношениями, в каких обе державы прежде находились. Требовалось устранить эти недоразумения, объясниться и стать друг к другу в правильные, то есть свободно-дружеские отношения. Мы радовались начинавшемуся разъяснению взаимных между двумя соседними империями недоразумений, – радовались в надежде, что взаимные опасения между ними прекратятся. Этого и было бы достаточно; это возвращало и той, и другой стороне желательное спокойствие. Если мы ничем не угрожаем нашему соседу и если он, в свою очередь, не злоумышляет против наших интересов, то мы можем находиться в наилучших к нему отношениях, – в доброй и истинной дружбе. Вот результат, которого желательно было достигнуть посредством ближайших и прямодушных объяснений между обоими правительствами. Зачем же еще какие-то союзы, какие-то соглашения?

Если имелось в виду общее действие, какое-либо обширное и опасное предприятие, требуемое интересам той и другой стороны, то соглашение ввиду общей цели имело бы смысл. *Do ut des**. Но никакого общего предприятия, сколько известно, не предполагалось. Была речь о соглашении нашем с Германией и через нее (непременно через нее) с Австро-Венгрией для обеспечения якобы европейского мира. Но какая нам надобность обеспечивать европейский мир? Что мы за жандармы европейского мира? Да и что такое европейский мир? Довольно было бы с нас обеспечивать мир России в сфере ее интересов. Еще прежде, когда между нами и Германией были недоразумения, шла речь о какой-то лиге мира, и великий чудодей германской

* Передаю тебе, чтоб ты мне дал (*лат.*) (один из видов безымянных договоров в римском праве).

политики в продолжение некоторого времени все набирал охотников в эту священную лигу и через свои органы оповещал свету о присоединении к ней то той, то другой из европейских держав, чуть ли даже не Франции, так что вся Европа превращалась в великую лигу мира, вне которой оставалась только Россия, – а ее-то собственно и требовалось уловить. Как только она после дружелюбных объяснений министров вступила в соглашение с Германией для обеспечения воображаемого европейского мира, разом исчез призрак всеобщей лиги мира, в которую входили Италия, Испания, Турция и пр. и пр. Великая лига исчезла, осталась только Россия, закабаленная и взятая на буксир. Во имя сохранения европейского мира она должна была возвратиться к своей обязанности обеспечивать безопасность, мир и величие Германии; под видом соблюдения европейского концерта, она должна была отдать себя в полное распоряжение берлинской политики. Взяв нас в руки, Германия снова очутилась всерешающей державой. Князь Бисмарк посредством концерта успел уладить одно за другим интересовавшие его дела, а нас между тем благополучно вытеснили с Балканского полуострова. Заручившись Россией, он легко мог пугнуть всякого, кто вздумал бы противиться его политике; с другой стороны, Россию можно было пугать то столкновением с Англией, то европейской коалицией, в случае если бы русская политика позволила себе действовать вне концерта, то есть не по берлинской команде...

Мало того, нас именем дружбы обязывают даже в нашем народном хозяйстве согласоваться с надобностями не своими, а чужой страны...

Возможно ли России оставаться в таком положении? Великая держава, каковой Россия не может не считаться уже по своей громаде, весящей в судьбах мира гораздо более, чем можем мы расчесть, неспособна жить при таких условиях. Ее правительство и ее народ не могут при таких условиях обладать тем мощным духом, какой требуется ей для управления своими делами и для охраны своих интересов и своего достоинства. Так как Россия, находясь в несвойственном ей положе-

нии, все-таки остается по существу сама собой, то рано или поздно ей придется поплатиться тяжким напряжением сил, как это нередко с нею бывало и прежде, для того чтобы восстановить свое достоинство, возвратить свою независимость. Пребывая в несвойственном себе положении, Россия может только вредить и себе, и другим. Всякое ложное положение сопровождается последствиями непременно вредными. Мы гораздо более можем способствовать обеспечению всеобщего пира, если мы в нашей политике будем самостоятельно управляться собственным чутьем и смыслом. Внося правду в наши отношения с другими державами, мы отрезвим одних и успокоим других; мы будем способны состоять не рабами, а поистине друзьями наших друзей. Только благодаря независимости, необходимой для государства, как воздух для живого существа, мы можем различать врагов от друзей и в токе событий среди меняющихся обстоятельств уразуметь, с кем приходится нам в данную минуту по воле Провидения идти вместе и против кого принимать предохранительные меры.

Не отвлеченными принципами должны мы руководиться, а тем, что понятно говорит сердцу всякого, благом нашего Отечества. Россия, как и всякая подобная ей держава, есть живая индивидуальность, которая в самой себе имеет начала своего существования, своего разума и своего образа действий. Если нельзя признать правильным международное соглашение, например, сословий во имя отвлеченного сословного принципа, то не может точно так же и правительство действовать помимо интересов своей страны, во имя отвлеченных принципов. Было ли бы дозволительно русскому дворянину, например, мыслить не в духе своего Отечества и действовать не в единстве со своим народом, а в солидарности с классами других стран, по внешним признакам соответствующими, хотя существенно и по исторической формации чуждыми русскому дворянству. Тем паче русская монархическая идея есть нечто *sui generis**. Она существенно разнится ото всякой другой монархии в целом мире. Некоторые общие классификационные

* Своеобразное (*лат.*)

признаки нисколько не роднят русскую монархию с другими, не касаются ее индивидуальности, ее живой сущности, которую русская монархия вынесла из истории. Руководиться в нашей политике пустой абстракцией вместо начала действительного живущего в нашем народе, вместо духа, которым зиждется наше Отечество, есть одна из величайших ошибок, какими мы грешили в прошлое время. Тот только и может быть нам истинным союзником, кого ход событий сблизит с живыми и существенными интересами нашего Отечества, будет ли то президент Соединенных Штатов или богдыхан Китайский. Нам нет надобности справляться, в какую клетку помещают классификаторы то или другое правительство, мы должны знать только интересы нашего Отечества и руководствоваться в наших делах, в наших сближениях и разрывах только нашим долгом перед судьбами России.

Мы уверены, что в наших словах захотят видеть намек на франко-русский союз, но мы решительно протестуем против такого толкования. Мы желаем, чтобы Россия находилась в свободных, хотя и дружеских отношениях с Германией, но чтобы такие отношения были у нас и с другими державами, а равно и с Францией, которая, что бы там ни говорили, принимает все более и более подобающее ей положение в Европе. Зачем же в самом деле станем мы ссориться с ней и какая нам надобность до ее внутренних дел? Каждая страна, особенно столь значительная, как Франция, имеет свои судьбы, и нам незачем впутываться в них и хотеть переделывать их по своему. Но мы равномерно не имеем никакой надобности помышлять о сепаратном союзе с ней. Ради чего мог бы потребоваться такой союз? Если бы в самом деле произошло столкновение между Германией и Францией, то самое приличное, самое достойное и наиболее соответствующее интересам России положение был бы строгий нейтралитет. Нет ничего хуже, как вмешиваться в чужую ссору, и в подобных обстоятельствах нам следовало бы только принять должные меры к обеспечению нашего нейтралитета и к охране наших интересов, зорко следя за событиями. Сама Россия не затевает никаких предприятий; все это знают,

все в этом убеждены, хотя все в то же время, хватая все, что плохо лежит, лукаво обвиняют Россию в страсти к захватам. Ничего не затевая, мы не нуждаемся в союзниках; но было бы странно не желать, чтоб у наших противников были и кроме нас противники. Мы считаем совершенно невероятным, чтобы Германия когда-нибудь захотела искать с нами ссоры. Но если бы Англия, что возможно, столкнулась с нами на ближнем или дальнем Востоке, то нынешняя Франция, которая находится с ней почти в не меньшем, чем с Германией, антагонизме, вероятно, не осталась бы праздною зрительницей борьбы, а на это нам сетовать, право, нет причины...

ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА ТРОЙСТВЕННОГО СОЮЗА И СТРАХ ЕВРОПЫ ПЕРЕД СВОБОДНОЙ РОССИЕЙ

Чтобы все было понятно в нынешнем положении дел, надо знать, что именно в марте месяце истекает срок злополучного для России «тройственного союза», выманенного у нее на три года в эпоху ее уничтожения и секретно возобновленного также на трехлетие в 1884 году. Договор этот хранился в строжайшем секрете. В точности не было известно даже самое существование писанного договора, и лишь в недавнее время проведальось его содержание и стало ясно, почему Россия падала в своем значении, все более и более теряя характер самостоятельной державы, и почему шаг за шагом она была вытеснена с Востока. Между тем показались признаки решимости России выйти из положения столь ей несвойственного, столь недостойного и столь пагубного для ее жизненных интересов. Показались признаки, что Россия намерена возвратить себе свободу, стать ко всем европейским державам в равномерно-добрые отношения, не вступать ни в какие секретные *заговоры*. Что может быть естественнее, проще и безобиднее подобного решения? Не так ли должен вести себя каждый из членов европейского союза, не имеющий затаенных умыслов? Для России же такое правдивое положение стало необходимостью, доказанное опытом. И вот наши союзники встrepенулись. Все было употреблено в

дело, толчки и прельщения, обман и софизмы, игра принципами, психологические мотивы, космополитизм нашей дипломатии, безграмотность нашей политики, угрозы коалициями. Чем ближе к сроку, тем лихорадочнее заметалась политика, ищущая снова захватить нас в свои сети. В Берлине уже дисконтируют психологический момент, выдвигая призрак революции, якобы угрожающей России со стороны декабристов и панславистов, в надежде, что она поспешит искать убежища и успокоения под рукой германского канцлера. Чтобы не могло установиться добрых взаимных отношений между Россией и Францией, делается все возможное для возбуждения недоразумений между ними. Французам показывается вид, что Россия все-таки остается во власти князя Бисмарка и что между управляемыми им прямо Германией и косвенно Россией не только не ослабевают, но усиливаются интимные, грозные для Франции отношения; в этих видах сообщается по телеграфу во все концы мира даже о том что германский канцлер сделал визит супруге русского посла, полчаса беседовал с дамами, а пред тем совещался с русским послом, притом, быть может, подписывал прелиминарии договора, гарантирующего Германии неприкосновенность Франкфуртского трактата. Говорят, в Петербург прибудет депутация от германской гвардии и откроет там выставку своей новой амуниции, из чего Франция, конечно, лучше всего может понять, что между Россией и Германией утвердились не только интимные отношения, но и военная солидарность. России же между тем дается чувствовать, что Франция при всем задоре своего патриотизма ищет войти тоже в интимные отношения и союз с Германией. Пускаются в ход слухи о разных уступках, которые Германия готова сделать для снискания союза с Францией, о вознаграждении ее за Эльзас и Лотарингию, о нейтрализации этих областей, о переделке европейской карты. Принимают в Берлине с великими почестями «великого Француза», старого Лессепса, якобы прибывшего с тайными предложениями. Нам дается еще понять, что германский канцлер позволит нам подраться с Австро-Венгрией, которая, со своей стороны, вдруг изменяет тон по отношению к России. Тот са-

мый граф Кальноки, который еще так недавно старался перещегоолять лорда Солсбери в дерзостях по адресу России, вдруг заговорил минорным тоном. Официозные газеты венские, далее пештские, стараются быть не только вежливыми, но почти нежными к России. Пущены слухи, что наш посол при венском дворе затем и прибыл в Петербург, чтоб устроить сепаратный договор с Австро-Венгрией по делам Востока. Но в то же время стало известно, что Австро-Венгрия уже возобновила свой договор, или, точнее, заговор с Германией. Германские газеты сначала выражали как бы неудовольствие за тон, какой приняла Австро-Венгрия с Россией, а теперь уже ликуют, по-видимому, уверенные, что Россия вступила или вступит в упомянутое соглашение с Австро-Венгрией, и со смехом объявляют это соглашение ничем иным, как обманным возобновлением «тройственного союза». В самом деле, Австро-Венгрия возобновила свой договор с Германией, а если б оказалось правдой, что Россия вступила с Австро-Венгрией в договорные отношения по делам Востока, то это почти и значило бы то, чего добивался всеми изворотами руководитель берлинской политики.

Наше мнение никакой силы не имеет. Но на мнение наше в этом вопросе почему-то ссылаются как в Вене и Пеште, так и в Берлине. Мнение же наше таково: для России нет надобности вступать в договорные условия с какой бы то ни было державой, так как Россия не имеет теперь намерения предпринимать активную политику. Мы полагаем, что достоинство России и ее интересы при настоящих обстоятельствах, при удержании полной свободы, будут более обеспечены, или, вернее, ее достоинство и интересы только при этом условии и могут быть обеспечены должным образом. С прискорбием видим мы, что благодаря «тройственному союзу» авторитет России поколебался, что враждебная ей политика, которой Россия сама способствовала, оторвала от нее те страны, за независимость которых она пролила столько своей крови, независимость которых дорога для нее, – конечно, не в отчуждении от нее, но в согласии с ней, так как единоверные ей народы Востока принадлежат к одной с ней системе и могут сохранять самые основы своего

национального существования только в тесном союзе с ней. Но восстановить свое значение на Востоке она может не иначе, как сама собой. Посobie Германии или Австро-Венгрии не только не восстановит ее авторитета, но уронит его еще более. Это не поправит ее дел на Востоке, это будет только дальнейшей ступенью упадка, это будет паллиативом, который только усилит зло. Мы держимся мнения, которое, по-видимому, соответствует видам нашего правительства, судя по официозным заявлениям *Politische Correspondenz, Le Nord*: как ни прискорбно нам видеть смуту на Востоке, лучше воздержаться от всякого вмешательства, если мы почему-либо не считаем удобным теперь же действовать самостоятельно, не прибегая к компромиссам с чуждыми Востоку державами, которые направляются туда лишь с целью хищений и которых каждый шаг там есть урон достоинству России и ущерб ее интересам. Все инсинуации о дележе Балканского полуострова – дело лукавое и к добру не ведущее. Россия не помышляет о территориальных приобретениях на Востоке. Если б она вздумала поглотить эти народности, она расстроила бы только свой организм и осталась бы опять одинокой в мире. Ей нужны, напротив, самостоятельные, крепкие политические организмы на Востоке, лишь бы родные ей, соединенные с нею основным для всякого народа началом, верою. Восточная Церковь, вот та глубокая внутренняя связь, которая соединяет эти народы с Россией, – связь, которую не ценят должным образом верхоглядные наблюдатели. Она остается в глубине своей действенной, несмотря на политические неурядицы, на незрелость и сумбур интеллигенции. Да разве и в самой России поверхность ее народа соответствует глубине? Разве мы сами не страдаем от чуждых нам доктрин и понятий, которые делают нас слепыми и вносят смуту в наши дела? Лишь бы только мы сами пришли в себя и стали бы мыслить и действовать самостоятельно, с сознанием своих истинных сил, – дела на Востоке исправятся и наши отношения к этим народностям определятся должным образом...

Что касается Австро-Венгрии, то мы безо всяких договорных условий можем находиться в наилучших к ней отно-

шениях, если она откажется от притязания быть Балканским государством и отвергнет политику захватов и хищений на Востоке. Иначе между ней и Россией искреннего лада быть не может, и столкновение между ними рано или поздно последует неизбежно, последует независимо от чьей бы то ни было воли, последует роковым образом. Это не мнение наше, это сила вещей. Австрия, мы полагаем, могла бы опереться на Россию лишь в том случае, если б захотела возвратиться восвоюси. В искреннем сближении с Россией она при таком направлении могла бы вернуть себе утраченное ею положение самостоятельной державы в европейской системе.

Россия и славянство

СЛАВЯНСТВО И РУССКИЙ ЯЗЫК

Читатели, вероятно, уже обратили внимание на замечательную статью чешской газеты *Народные Новины*, напечатанную во вчерашней *Современной летописи*. Мы приветствуем эту статью, как признак того, что скоро минует, наконец, то роковое предубеждение, которое отвращало чешскую печать от столь естественного сочувствия русскому народу и через то ослабляло силу славянского дела, как в России, так и вне ее пределов. Превратность этого направления была замечаема самими чехами: в 1863 г. гг. Палацкий и Ригер сочли даже нужным лишить своей поддержки наиболее распространенную чешскую газету *Народные Листы* и основать новую – *Народ*, чтобы противодействовать столь ошибочному увлечению, но их газета не имела достаточного числа подписчиков и вскоре принуждена была опять уступить поле *Народным Листам*. С тех пор разумный и справедливый голос о России вовсе не мог доходить до чешской публики. Это было тем более прискорбно, что чешская печать имеет значительное влияние на славянские племена в Австрии. Относясь к нам враждебно, она

если и не охлаждала нашей симпатии к австрийским славянам, то не позволяла нам выражать ее явно, а с другой стороны — внося в славянский мир рознь, ни на чем не основанную, она внушала австрийским немцам и мадьярам презрительное о славянах мнение, выражавшееся на практике возрастанием их притязаний на господство над славянами. Интерес этого господства требует, чтоб австрийские славяне были по возможности разъединены, согласно правилу: *divide et impera**. До сих пор, надобно сознаться, эта политика находила себе в самих славянах сильное орудие. В особенности чехи, так много говорившие о славянстве, усердно содействовали тому, что единство славянского племени было изгоняемо из мира действительности в мир мечтаний. Казалось, что чем более шло речи о славянском единстве, тем дальше суждено было ему отходить от своего осуществления в тех сферах, где оно могло бы оказать австрийским славянам серьезную пользу. Панславизм в теории и разобщенность славян на практике, это было явление смешное и жалкое. Над ним смеялись и в то же время, видя его упорство, над ним недоумевали. В области языка он не обнаруживал никакого действия: естественно было предполагать, что сфера его действий должна быть иная, что он имеет в виду не племенное единство, которое выражается только в языке, а единство государственное. Едва ли не это мечтательное направление стремлений к славянскому единству было причиной того, что при всей их практической слабости им приписывали преувеличенное политическое значение и в них подозревали затаенную мысль, которая всех пугала, и прибавим, не могла не пугать. В политическом мире нет ничего хуже праздных мечтаний: они изнуряют мечтателей и вместе с тем делают их предметом совершенно законных опасений.

Мы приветствуем упомянутую статью *Народных Новин* не только потому, что она свидетельствует о свободе от предубеждений против русского народа. Не менее важно то, что она выводит стремления к славянскому единству из этого мира мечтаний и указывает им определенную и понятную

* Разделяй и властвуй (лат.)

практическую цель. Панславизм как мечта естественно представляется стремлением к неосуществимому в действительности всеславянскому государству; как против всего неосуществимого, против панславизма в этом смысле должна была восстать действительная государственная жизнь повсюду, не только в Австрии, но и в России, что и было на деле и должно было быть. Напротив, панславизм как племенное единство есть факт, против которого никто восставать не может, как не восстают против явления природы. Но племенное единство есть единство языка и никакого другого значения не имеет. Надобно было выставить на первый план вопрос о языке и отвести в его область стремления к славянскому единству, чтоб эти стремления, не могущие иметь государственного значения, нашли естественную почву для своего развития. Только при этом условии панславизм перестает быть пугалом для окрестных народов, и только при этом условии он получает право жить и действовать. У австрийских славян обособление и дробление наречия доведено до крайности. Народный говор там разнится гораздо менее, чем литературные языки, разошедшиеся между собой преимущественно тем, что в них есть книжного, и пользовавшиеся даже оттенками народного говора лишь для своего дальнейшего обособления. Пора положить конец такому ходу дел, который вел не к единству и силе, а к розни и слабости: если б он продержался еще одно столетие, то славянские племена Австрии на столько же разошлись бы между собой, на сколько разошлись французы, итальянцы и испанцы, причем была бы только та разница, что это были бы малые народы, не имеющие средств даже поддерживать своих писателей покупкой их книг. Не подлежит сомнению, что сближению славянских наречий может быть положено прочное основание изучением русского языка, которое *Народные Новины* рекомендуют австрийским славянам. Чтобы литературные языки не расходились, а сближались, для этого нужна сближающая сила, и эта сила может быть найдена только в языке, – в таком языке, которой мог бы служить средоточием для других славянских языков. Этой цели не соответствует ни один из славянских языков, кроме языка

русского, и *Народные Новины* поступают совершенно правильно, советуя славянам употреблять русский язык как средство для своих взаимных сношений. Это предложение, мы твердо убеждены в том, есть ключ к национальной самостоятельности австрийских славян. Пока оно не осуществится, до тех пор племенное единство славянское останется пустым словом, на которое никто не будет обращать внимания. Говоря это, мы отнюдь не увлекаемся русским патриотизмом. Мы не можем, конечно, не желать, чтобы значение русского языка ширилось и возвышалось. Распространение круга русских читателей за пределы русского народа и государства не может не оказать пользы русской литературе. И русская литература, и русский язык не могут не выиграть, если в их разработке примут участие все славянские племена: большие богатства мысли и слова были бы, таким образом, внесены в общую сокровищницу. Мы не имеем причины скрывать, что смотрим радостными глазами на такое будущее, открывающееся для русской словесности и для русской цивилизации, с ней тождественной. Но все это еще в большей мере требуется в интересе австрийских славян. Если им суждена будущность, чему мы не можем не верить, то они должны усвоить себе один общий язык, который служил бы выражением их племенного единства и освободил бы их от необходимости искать объединяющий элемент в языке немецком, как было доселе и как всегда будет, пока останется в силе теперешнее разъединение австрийских славян. Усвоение русского языка для общих сношений, как сказано в *Народных Новинах*, отнюдь не стеснит развития отдельных славянских наречий. Они будут развиваться еще плодотворнее теперешнего уже потому, что под объединяющим влиянием языка русского перестанут расходиться. Теперь многие славянские ученые издают свои книги на двух языках, на своем, славянском, и сверх того на немецком, как более распространенном. При знакомстве с русским языком он мог бы в этих случаях заменить собою немецкий к выгоде для всего славянского мира. А сколько частных удобств возникло бы вследствие того, что знакомство с русским языком открывает в России широкое поприще для дея-

тельности всем тем австрийским славянам, которые не находят прибыльных или почетных занятий у себя дома!

Говорить ли, что такой успех в деле славянской взаимности не заключает в себе ни для кого никакой политической опасности? *Народные Новины* игриво предполагают, что русский язык уже усвоен образованными классами у австрийских славян и получил у них значение языка дипломатического. Труня над изумленными такой новостью и готовыми кричать о государственной измене немцами, *Народные Новины* замечают, что если говорить в австрийской имперской думе по-немецки не значит выдавать Австрию Пруссии, то точно так же и говорить в ней по-русски не может значить выдавать Австрию России. Но этого мало. Мы должны усилить эти неопровержимые слова *Народных Новин* и можем говорить на этот раз весьма серьезно. В немецких газетах, издающихся на север от Австрии, мы встречали мнение, что Австрия обязана немечить Богемию, если не хочет, чтобы за это дело взялась северная Германия. Мы спрашиваем, дружеским ли или враждебным Австрии расчетом продиктовано это требование? Не заключается ли в нем признание видов северной Германии на захват Богемии, этой естественной крепости в сердце Европы? Пусть всякий политический человек, заслуживающий этого имени, скажет, было ли бы в такой же мере противно интересам северной Германии присоединение к ней Богемии и некоторых других частей Австрии, в какой мере противно интересам России расширение ее политических притязаний за пределы собственно русского народа. Россия, конечно, не может желать онемечивания австрийских славян, но если бы предстоял выбор между их онемечением и их присоединением к России, то всякий русский патриот, скрепя свое славянское сердце, предпочел им первое. Австрийские политики это очень хорошо знают: они лицемерят, когда утверждают противное. Но если б они и не имели доверия к здравому смыслу русской политики, если б они опасались, чтобы Россия не увлеклась как-нибудь, в противность своим очевидным интересам, слепой страстью присоединения и завоевания, то неужели они не уверены, что

тогда Россия имела бы против себя весь цивилизованный мир? А будет ли весь цивилизованный мир защищать Богемию от захвата со стороны Германии?

Истинные отношения русской национальной политики к Австрии ясны, как день, и их можно высказывать с полной откровенностью.

После той черной неблагодарности, которой Австрия собиралась удивить весь мир и которая повела к злключениям, удивившим австрийское правительство, не позволительно ли нам, русским, желать, чтобы положен был когда-нибудь конец этим незаслуженным с нашей стороны отношениям? Мы желаем этого в своих интересах, которые в известной степени страдают от австрийского недоброжелательства к нам, но поистине мы в этом деле гораздо менее заинтересованы, чем сама Австрия и как государство, и как совокупность народов, состоящих под австрийским скипетром. Эти народы, уж конечно, не радуются тому, что взыскиваемые с них налоги непрерывно возрастают и что, несмотря на то, австрийские финансы грозят катастрофой всем подданным монархии Габсбургов. Всего менее может теперь радоваться Богемия, которая кроме налогов понесла на себе все последствия несчастной войны и всю тяготу прусских реквизиций. Что ж может избавить австрийские народы от продолжения этих бедствий, как не добрые отношения к их восточному соседу, равнодушные которого к судьбам Австрийской империи, ею самой ему навязанное, есть главный источник того мрака, который делает столь страшной для австрийских народов перспективу австрийского будущего? Между нашими интересами и интересами австрийских народов нет противоречия. Мы ничего более не желаем, как такой политической комбинации на Дунае, которая дозволила бы нам жить в дружбе с тамошними населенными; мы желаем там торжества тем интересам, которым невыгодно удивлять мир неблагодарностью к России. На осуществление этого желания мы надеемся, потому что истинный интерес австрийских народов гораздо настоятельнее требует того же, чем наш собственный интерес. Мы не хотим навязывать им политику для нас выгодную, а для

них в каком-либо отношении опасную. В политике, для нас только желательной, заключается для них единственное спасение. Опыт показал, что мы можем жить и без этой политики, сами выпутываясь из затруднений и сохраняя свое положение в Европе: та политическая комбинация, которая возникла вследствие прошлогодней австро-прусской войны и на днях выразилась в парижских свиданиях государей Европы, возвысила цену существующего в Европе политического равновесия, которое, очевидно, рушилось бы, если бы Россия потерпела в своем европейском положении ущерб, хотя издалека похожий на то, что в последнее десятилетие выпало на долю Австрии. Будет ли или нет держаться в силе австрийская враждебность к нам, ни на чем, кроме недоразумений, не основанная, это для нас отнюдь не вопрос жизни и смерти, но это несомненно вопрос жизни и смерти для австрийских славян. Как же нам не надеяться, что эти недоразумения должны, наконец, рассеяться? Как нам не надеяться на это ввиду повсеместного торжества начала национальности, которое признано в Австрии на бумаге и должно быть признано в действительности, чтобы преобразованная Австрия могла протянуть нам руку на вечную дружбу, основанную не на случайных комбинациях дипломатии, а на силе вещей столь же неизменных и неискоренимых, как неизменны и неискоренимы физические данные, определяющие собой границы государств и их тяготения? Недоразумения, влекущие Австрию к явной гибели, основаны на недостатке веры в историческое призвание славянского племени. Мы далеки от того, чтобы винить в этом недостатки веры австрийских правителей, тем более, что многие из австрийских славян сами подавали к тому сильный повод, выступая слишком робко в своем качестве славян и как бы конфузясь своего славянства. В этой застенчивости, препятствовавшей австрийским славянам смотреть на русских открыто и честно, как на своих единоплеменников и естественных доброжелателей, другие народы Австрии не могли не видеть раболепства и не могли не приходиться к заключению, что славяне не имеют будущности, когда сами от себя отрекаются. Кто, в самом деле, уважает раболепных,

кто принимает в расчет разъединенных, кто делает уступки, когда требующие их сами тщательно утаивают свою силу? Австрийские славяне, разбитые на отдельные, все более и более дробящиеся племена и наречия, – песок, из которого можно сделать что угодно, *arena sine calce**. Они могут пользоваться уважением и получить голос только в соединении. Песок должен быть связан известью, а эта известь для австрийских славян – их славянство, та самая известь, которая связывает их и с нами. Пока они чуждались связей с нами, не могло быть у них связей и между собой. Их племенная близость с нами есть истина очевидная. Пока они отрекались от этой истины в угоду господам своим, можно ли было удивляться, можно ли было сетовать, что господа их господствовали над ними? Но другое дело не сетовать, не упрекать, не обвинять, и другое дело сочувствовать или помогать. Мы, русские, не могли сочувствовать австрийской политике, не верившей в славянское будущее, в которое мы твердо верили, и тем менее могли мы помогать этой политике своей дружбой, когда наша дружба содействовала бы угнетению того, что нам родственно и сочувственно, и что, по нашим понятиям, способно к богатому, для всего человечества плодотворному развитию в будущем. Стомиллионное племя не могло быть помещено в Европе только для того, чтобы быть предметом онемечения, и если этот аргумент не имел убедительной силы для политиков немецко-жидовской, как выражаются *Народные Новины*, национальности, то из этого не следовало, чтобы и мы, русские, были расположены отрицать его. Но чем менее могли мы сочувствовать австрийской политике, тем более должны были мы сетовать на австрийских славян, ее подерживавших своим отчуждением от нас, и тем с большим восторгом должны мы были встретить тот шаг их, который свидетельствовал, что, наконец, истина пробивается и в Австрии на свет Божий. Вот причина тех оваций, которых предметом были наши славянские гости и которые были для них самих столь неожиданны. Это были овации народные. Русское правительство не принимало в них ни малейшего участия. Достаточно

* Бесплодная пустыня (*лат.*)

было их видеть, чтоб убедиться, что никакое правительство в мире не может искусственно вызвать нечто подобное.

СЛАВЯНСКИЕ ПЕРВОУЧИТЕЛИ

На солунских братьях мы видим, как духовный подвиг, совершаемый в тишине и уединении, становится могущественной силой, изменяющей лицо мира. Мефодий был, по сказанию, воином, военачальником, наместником царским, управлял славянскими населенными, покрывавшими его родину Македонию, и в этом качестве именовался, как говорит сказание, «князем словенским». Но не здесь его мировое значение; о Мефодии не было бы и помину, если бы его деятельность ограничилась этим поприщем. Он стал великим деятелем, когда, отказавшись от мира, ушел в монастырь, где и соединился с младшим братом своим Константином, в монашестве Кириллом, который с самого детства был влеком духовной жаждой, с детства посвятил себя науке и, достигнув высоты ее, изведав глубины эллинской мудрости, изучив языки латинский и еврейский, в юном возрасте стяжал себе почетное именование «философа» и, отказавшись от блистательного поприща при царском дворе, укрылся в монастырь. Здесь положено было начало апостольскому служению обоим братьев. Они были потом призваны проповедовать Евангелие славянским племенам на Мораве, уже внешним образом причисленным римскими миссионерами к Христовой Церкви, но остававшимся внутренне чуждыми ей. Какого бы ни были солунские братья племенного происхождения, греческого или славянского, язык славянский был им как свой родной. В Солуни они были окружены славянским морем. Македонию оспаривают выродившиеся потомки греков, но сами они и тогда, как теперь, терялись малыми островками в этом море нового племени, еще не выступавшего тогда на свет истории.

На каком славянском наречии писали и благовествовали первоучители славянские? Вопрос праздный. Мы не сомневаемся, что язык этот был первоначальный славянский, еще не разделившийся на диалекты, хотя заключающий в себе все семе-

на их, как язык гомерический слитно заключал в себе элементы еще не обособившихся диалектов греческих. Все столь разрозненные славянские языки могут распознать в слитном единстве церковного языка свои исключительные особенности – и русский, и чешский, и польский. Чем дальше восходим мы в славянскую древность, тем более сближаются между собой ныне совершенно разрозненные наречия и, наконец, сливаются в том первобытном языке, который солунскими братьями был право-написан, благоустроен по образцу греческого словосочетания и посвящен Христовой Церкви. Слава братьям солунским! Слава нашим первоучителям! Это было истинно творческим деянием. Они положили начало новому миру великих созиданий и, руководимые Промыслом, в момент расторжения Апостольской Церкви обеспечили верным залогом бытие Восточного Православия. Недаром встретили они лютое сопротивление в местах их проповеди у западных славян, которые находились в черте ведения римского владыки. Их обвиняли в ереси и, искажая истину, в укор им учили, что Бога не достоин хвалить иными языками, кроме еврейского, греческого и римского, по писанию Пилатову на Кресте Господнем. Написание на Кресте Господнем знаменательно, – но в каком смысле? Учители Церкви, проповедники веры, богословы должны восходить к этим трем языкам, хранящим в себе первоисточники веры. Если церковная жизнь народа не будет посредством его учителей в неразрывной связи с первоисточниками вероучения, то она оцепенеет, омертвеет и ее учителя утратят подобающий им авторитет. Но путь к первоисточникам есть путь науки, и только посвятившие себя ей люди должны восходить к ней, о чем и следует усердно заботиться радеющим о благе Церкви властям. Не позолотой храмов, не блеском облачений можем мы достойно прославить нашу Церковь; не это одно должны мы приносить ей за благодать ее действия среди нас, но и лучшее, что дано человеку, нравственные силы наши, наш умственный труд. Горе нам, если мы будем небрежы о должном воспитании юношества, особенно обрекающего себя ближайшему служению Церкви и государству, и оставлять своих священников в

раскольническом разобщении с первоисточниками богословского ведения! Но если учителям Церкви и руководителям народа предложить высокий путь науки, то сами народы остаются на местах, и чтобы просветить их, надо снизойти к ним. Народ и язык по-славянски есть одно понятие и одно слово. Богословы должны изучать языки написания Креста Господня; но новые призываемые к жизни народы не могут превратиться в исчезнувших греков и римлян и перестать быть собой.

Государственным языком Римской Империи был язык римский, и Западная Церковь, которая заступила место павшей Империи, став сама государством, усвоила себе и язык государственный, отрицая у всех подчиненных ей народностей право славить Бога на своих языках.

Что же сделали наши первоучители? Они призвали наш первобытный язык к божественному славословию, они освятили его, они внесли в него начало бессмертной жизни. Но язык есть народ: они возвели новый пришедший в мир народ к исторической жизни; они создали новую в мире силу, которой суждено свое назначение в домостроительстве Промысла, силу, которой при возникшем разделении Церкви суждено пребыть на Востоке в противоположность возникшему на Западе движению. Если бы Кирилл и Мефодий не освятили наш первобытный язык, не возвели бы наше слово в Богослужбный орган, не осталось бы места и не было бы сосуда для Восточно-Православной Церкви, некому было бы исполнять дело ее судеб.

А наши давние предки, те славянские роды, которые жили рассеянно на безмерном пространстве нашего нынешнего Отечества, где бы нашли они то объединяющее и зиждительное начало, которое собрало их в одно великое целое? Где была бы наша святая Русь, наше Отечество? Те ли события управляли бы миром, та ли бы история слагалась в течение тысячелетия? Мысль останавливается пред величием судеб, бывших последствием столь, казалось бы, малозаметного, столь негромкого начала, как предложение Священного Писания и православного богослужения на славянский язык...

Язык Кирилла и Мефодия стал основой нашего народного образования, основой русского языка. В нем первоначальная стихия нашего нынешнего слова. Мы должны свято блюсти этот первоначальный источник, возобновлять и поддерживать внутреннюю связь с ним нашей нынешней литературной речи, как должны поддерживать связь нашей церковной науки с первоисточниками богословского ведения. В нем таится крепительная и освещающая сила. Но чтобы сила эта могла действовать, чтоб она была плодотворна, мы должны не внешним образом относиться к ней, но сколько возможно очищать ее от грубой примеси невежества и омертвения. Восстановить фонетику древнеславянского языка было бы напрасным усилием; но исправить явные искажения возможно и легко при усердии достаточно просвещенном. Мы должны, по крайней мере, очистить его от чудовищных форм, глубоко противных ему, внесенных в него западно-русскими, полупольскими друкарнями, каковы *бывшим, соревнующим, прочим, также сславима, ссущих* и т. п. Как возмутили бы эти искажения наших первоучителей, которые от такой мудрости, с таким глубоким чувством языка правописали его и с такой тонкостью различали смысл его речений, употребляя каждое по его внутренней силе, точно так же как уловляли законы его словосочетания в соответствие с эллинским.

Первобытный славянский язык, священный язык Кирилла и Мефодия, перестал быть говором вседневной жизни и многое в нем для народа не вразумительно, – и вот мы предлагаем священные книги, как говорится, со славянского языка на русский. Но славянский язык есть также русский, только в его древнейшем состоянии. Все древние памятники нашей письменности писаны на этом языке; славянский язык есть славяно-русский и, желая делать его вразумительным для народа, мы должны, сохраняя его склад, только заменять неудобопонятное понятным. Неужели *Отец наш* будет понятнее для нашего народа, чем *Отче наш*, и разве эта звательная форма не есть форма нашего же языка, только в его молитвенном, церковном употреблении? Передавать в форме вседневного говора

то, что для народа неразрывно связано с предметами священными, не значит приближать слово к разумению народа, а напротив, удалять от него. Скажите, например, *господин* вместо *Господи*. Как во всем, так и в этом, и особенно в этом, требуется не казенная, что называется, работа, а талант: знание, тонкость такта и усердие труда.

Польский вопрос

ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС

В политическом мире нет ничего обманчивее общих правил и отвлеченных формул. Сами по себе они мертвы и двусмысленны; в своей отвлеченности они могут безразлично относиться к случаям противоположным, и две враждебные стороны могут весьма часто, с одинаковым правом, ставить один и тот же девиз на своем знамени. А потому-то и нельзя судить о явлениях жизни на основании каких-нибудь отвлеченных сентенций. В действительности все до бесконечности определено и индивидуально; все в ней требует особой точки зрения и особой оценки, и наши понятия будут годны для такой оценки лишь по мере своей способности приблизиться к факту и освоиться со всеми его особенностями. Без этой способности наши понятия будут все то же, что открытые, но не зрячие глаза.

В Европе за последнее время особенно часто и громко говорилось о правах народности и принципе невмешательства. И права народности, и принцип невмешательства – очень хорошие понятия, заслуживающие почетного места в мире идей. Ничего нельзя возразить против них, и остается только пожелать, чтоб они приобретали все большую силу и ясность в умах. Но иное дело признавать какое-либо правило, и иное дело употреблять его для оценки данных явлений. Иное дело понятие, и иное дело суждение. Понятия у нас могут быть прекрасные, но суждения у нас могут выходить никуда не годные;

а чтобы наши суждения были годны, для этого мало иметь прекрасные понятия, для этого необходимо, чтобы наши прекрасные понятия соответствовали факту. Дважды два, без всякого сомнения, дают четыре; но если в том счете, который подают нам события, окажутся другие цифры, то сколько бы мы ни твердили несомненную истину: дважды два четыре, никакого толку не выйдет, а чтобы вышел толк, надобно исчислить данные цифры и в них что сложить, а что вычесть.

Вопрос о правах народности был возбужден и поднят в последнее время преимущественно итальянским делом. Кому не известны обстоятельства, среди которых разыгрывалось это дело? Кому не известно что способствовало его успеху и чему оно было обязано всеобщим сочувствием? По поводу этого дела с особой энергией повторялось еще учение о невмешательстве во внутренние дела независимого государства. Так как эти учения сами по себе очень основательны и так как общественное мнение везде симпатически относилось к итальянскому делу, то все заявления этих принципов по поводу итальянского дела были встречаемы живейшим одобрением. Император ли Наполеон III или министр ее британского величества ссылался по этому делу на права народностей или на теорию невмешательства, эффект всегда был очень хороший, хотя весьма нередко одно и то же мудрое правило провозглашалось с противоположных сторон и в противоположном смысле.

Но теория невмешательства не препятствовала западным державам вмешиваться очень деятельно в ход итальянского дела; принцип народности не помешал Франции присоединить к себе Ниццу, которая, по этому принципу, точно так же принадлежит Италии, как принадлежит ей Венеция. Права народностей и принцип невмешательства напрасно стучатся теперь в ворота Рима: французские войска не очищают вечного города. Теория невмешательства не препятствует Англии управлять турецкими делами и забирать в свои руки греческую революцию; права народностей не помешали ей пристукнуть турецких славян, когда они подняли было голову – не только во имя народности, но с жалобами на всевозможные угнетения. Черногорцы

не были ни подданными, ни даже данниками султана, а тот же самый британский министр, который накануне торжественно провозглашал принцип народностей, трактовал черногорцев как мятежников. Корабли с волонтерами и боевыми припасами отправлялись из английских портов в Италию, когда там кипела борьба, и никто не придавал этому важности; а вот теперь идут горячие толки о том, по какому праву попали в Сербию ружья с тульским клеймом. Значит, сила не в общих учениях, а в их применении. Значит, сила заключается в индивидуальности каждого факта, в его обстоятельствах, в его особенностях. Английское правительство находило уместным припомнить теорию невмешательства и права народностей по отношению к итальянскому делу; оно находит неуместным припоминать эти теории в турецком вопросе, точно так же, как и Франция считает это неуместным по отношению к римскому делу. В какой мере уместно одно, а неуместно другое, об этом можно судить так или иначе; очевидно только то, что сила состоит не в общих аксиомах, а в оценке факта и в интересах и побуждениях, руководящих этой оценкой. Уважительны или неуважительны эти интересы и побуждения, но их непременно нужно принять к сведению, с ними непременно нужно счесться, потому что в них заключается жизненная сила оценки; а общие сентенции ничего не значат и пленяют только глупцов, которые смотрят на вещи выпученными, но не зрячими глазами.

Не говорите англичанину о правах народностей в Индии: он сочтет вас сумасшедшим, точно так же как француз сочтет вас таковым же, если вы заговорите ему о правах народностей в Алжире. Они не станут и возражать вам. Но вы немного выиграете, если вздумаете повести с англичанином речь о восстановлении кельтической народности в Ирландии, или с французом о возможности независимого политического существования того же племени в Бретани. Напрасно стали бы вы развивать теорию прав, принадлежащих каждой народности на самостоятельное существование: никто не стал бы вас слушать и вам бы заметили, что вы говорите вещи совершенно невозможные. Вам скажут, что вы применяете свою теорию бестолково, что теория

эта хороша сама по себе, но никак не может быть применяема к случаям, вами взятым, что не всякая народность может претендовать на самостоятельное политическое существование и что произошел бы самый бессмысленный хаос, если бы вдруг заявили на деле такие притязания. Вам скажут, что права имеет только та народность, которая доказала их своей историей и умеет хранить и поддерживать их; вам скажут, что права заключаются не в букве, не в слове, не в фразе, а в действительности, в существующих условиях и отношениях, в данном сочетании жизненных сил. Вам скажут, что действительность служит не только самой лучшей, но и единственной проверкой действительных прав; что же касается до посторонних сочувствий и приговоров, то они ничего не решают, пока эта проверка не состоялась. Общественное мнение будет принимать ту или другую сторону по разным побуждениям и интересам, нередко не имеющим никакого отношения к вопросу о правах народностей. Если у человека, которого мы не любим, возникнет спор с другим, и если основания спора нам еще мало известны, то мы невольно будем принимать сторону его противника. Как отдельные люди, так народы и государства могут быть предметом симпатий и антипатий, и точно так же в случае спора между двумя народностями общественное мнение может принимать сторону той или другой, смотря по своему настроению, независимо от сущности возникающего спора. Иногда причиной предубеждения бывает самое могущество торжествующей народности, и общественное мнение склонится своим сочувствием к стороне слабейшей, даже к самому несбыточному и отчаянному делу. В то время, как Англия боролась с кровавым возмущением сипаев в Индии, разве европейская журналистика не вопияла о правах народностей, не оглашалась криками сочувствия к этим жертвам коварного и могущественного Альбиона? Разве общественное мнение, например во Франции, не готово было рукоплескать всякому успеху индийских мятежников, даже неистовству их возмездий? Если бы можно было вообразить себе какую-нибудь серьезную попытку в Ирландии отделиться от Великобритании, разве во Франции не стали бы

радоваться всякому, хотя бы мнимому успеху такого отчаянного дела, не стали бы оглашать землю и небо воплями негодования при несомненном торжестве Великобритании, не стали бы барабанить на все лады учение о правах народностей? Но этот шум не произвел бы никакого впечатления в самой Англии; дело шло бы своим ходом, и ни один англичанин не дал бы никакого значения всем этим крикам и воплям, точно так же как теперь янки в Северной Америке нимало не смущаются мнениями англичан о его кровопролитной расправе с отделившимися штатами; он не конфузится, слыша из-за моря неблагоприятные суждения; он огрызается на своих порицателей и на каждое жесткое слово шлет десять, двадцать еще более жестких, а между тем продолжает свое дело и бьется до истощения сил, чтобы возвратить отпавшие части своего государства.

Всякий знает, что на всякое дело можно смотреть с разных точек зрения и что противоположные интересы будут относиться противоположным образом к одному и тому же делу. Англичанин и не рассчитывает на сочувствие француза, и француз, в свою очередь, не рассчитывает на сочувствие англичанина в своих успехах или неудачах. И тот, и другой сумеют вычестить из посторонних сочувствий или несочувствий именно то, что есть в них постороннего; и тот, и другой постараются прежде понять свое дело собственным умом, оценить и взвесить его собственным чувством; ни тот, ни другой не станут конфузливо прислушиваться к чужим мнениям, для того чтоб определить по ним образ своих действий; и тот, и другой будут действовать из полноты собственных сил, интересов и побуждений. Возможное ли дело, чтобы в случае борьбы или кризиса тот или другой стал мерить себя чужим аршином или, помилуй Бог, аршином своего противника?

В этой непрерывной борьбе за существование, которую мы называем жизнью, называем также историей, всякое дело имеет и защитников, и противников. Если бы не было защитников, то не было бы и дела; если бы не было противников, то оно не могло бы заявить себя и показать свою силу, свои права на существование и развитие. Посреди этой борьбы, называемой

жизнью и историей, все права относимы и все интересы односторонни. Если есть защитники, то есть и противники; если есть противники, то должны быть и защитники. И у противников, и у защитников есть свои более или менее уважительные интересы, свои более или менее уважительные права; жизнь и история покажут, чья сила сильнее, чьи права правее. Но среди борьбы никто не может стоять за обе стороны или не стоять ни за одну. Кто не хочет участвовать в борьбе, тот уходи с поля, – а на поле битвы всякий должен быть или защитником, или противником.

Какая надобность англичанину или французу доискиваться истины в споре между русскими и поляками? Посторонний наблюдатель будет судить дело, руководимый не мотивами дела, а своими личными сочувствиями или своими интересами, если они как-нибудь замешаны в чужом споре. Очень естественно, что ни англичанин, ни француз не пламенеют усердием к интересам России и не были бы огорчены, если бы русское дело в чем-нибудь потерпело ущерб. Еще недавно Европа с недоверием и страхом оглядывалась на северный колосс; еще недавно опасалась она его военного деспотизма. Теперь эти опасения приутихли, Россия перестала быть пугалом; но пока никому еще особенно не нужно ее могущество, никто особенно не стал бы скорбеть от невзгод, которые приключились бы ей извне или внутри. Никто со стороны не задает себе серьезного вопроса: эта сила, так тяжело и так медленно слагающаяся в северо-восточных пустынях Европы, – истинная ли это сила, или метеор, возникший случайно, призрак, который должен исчезнуть? Никто не обязан и никто не может принимать к сердцу русское дело, страдать за него, надеяться за него, умирать за него, – никто, кроме русского человека. Нигде наше историческое призвание, наша народность, наши судьбы, наши страдания и торжества не могут быть почувствованы со всей энергией жизни, как здесь, в самой России, в нас самих. У всякого дела два конца, всякое дело имеет и защитников, и противников, и ни в ком русское дело не может иметь себе защитников, как в самих русских, хотя противников оно может иметь в изобилии повсюду.

Вопрос о Польше есть столько же русское, как и польское дело. Вопрос о Польше был всегда и вопросом о России. Между этими двумя соплеменными народностями история издавна поставила роковой вопрос о жизни и смерти. Оба государства были не просто соперниками, но врагами, которые не могли существовать рядом, врагами до конца. Между ними вопрос был уже не о том, кому первенствовать или кому быть могущественнее: вопрос между ними был о том, кому из них существовать. Независимая Польша не могла ужиться рядом с самостоятельной Россией. Сделки были невозможны: или та, или другая должна была отказаться от политической самостоятельности, от притязания на могущество самостоятельной державы. И не Россия, а прежде Польша почувствовала силу этого рокового вопроса; она первая начала эту историческую борьбу, и было время, когда исчезала Россия, и наступило другое, когда исчезла Польша. Навсегда ли удержит силу этот роковой вопрос, или наступит время, когда при могущественной и крепкой России может жить и процветать самостоятельная Польша? Об этом можно размышлять на досуге, но в минуту кризиса, посреди борьбы, поляку естественно отстаивать польское дело, а русскому естественно отстаивать русское дело. Польша утратила свою самостоятельность, но она не примирилась со своей судьбой; польское чувство протестует против этого решения, чувство своей народности еще живо и крепко в Польше; оно всасывается с молоком; оно ревниво охраняется и поддерживается; оно питается и усиливается страданиями. Утратив политическую самостоятельность, поляк не отказался от своей народности, и он рвется из своего плена и не хочет мириться ни с какой будущностью, если она не обещает ему восстановления старой Польши со всеми ее притязаниями. Ему недостаточно простой независимости, он хочет преобладания; ему недостаточно освободиться от чужого господства, он хочет уничтожения своего восторжествовавшего противника. Ему недостаточно быть поляком; он хочет, чтоб и русский стал поляком, или убрался за Уральский хребет. Он отрекается от соплеменности с нами, превращает в призрак историю и на месте нынешней России

не хочет видеть никого, кроме поляков и вырожденцев чуди или татар. Что не Польша, то татарство, то должно быть сослано в Сибирь, и на месте нынешней могущественной России должна стать могущественная Польша по Киеву, по Смоленску, от Балтийского до Черного моря. Винить ли, осуждать ли польского патриота за такие притязания? Что толку винить и осуждать! Логические аргументы ни к чему не ведут в подобном споре; никакое красноречие не может помочь его разрешению; в подобном споре могут говорить только события, только они обладают убедительным красноречием и неотразимой логикой. В подобном споре решают не слова, а факты, и факты решили. Но как бы то ни было, разумны или неразумны польские притязания, они понятны и естественны в поляке. Осуждайте и оспаривайте их, оспаривайте и словом и делом; но согласитесь, что даже в крайностях, даже в безумии своем польский патриотизм все-таки есть дело естественное в поляке. События решили, но поляк подает на апелляцию, он не теряет надежды и утешает себя сочувствиями посторонних, не разбирая, много ли толку в этих сочувствиях и точно ли в них есть сочувствие к нему или только неприязнь к его противнику. Ему рукоплещут, о нем скорбят, но в самом-то деле только он один в целом мире может чувствовать призыв своей народности. Ему нечего прибегать к разным теориям, ему нечего толковать о правах народностей и о разных других истинах: ему достаточно назваться поляком, чтобы всякий мог понять, чего он хочет или чего бы должен хотеть. Благоразумие и опыт могут научить его лучше и вернее понимать интерес своей народности и действовать с большим смыслом и с большей для нее пользой. Но на истинных или ложных путях поляк – естественный защитник своего дела. За отсутствием поляка, кто же возьмется быть поляком.

Так бы казалось. Но рок не до конца прогневался на Польшу. Он поразил ее, но он же и судил ей редкое счастье: на противной стороне в самом разгаре битвы поляк находит себе союзников, которые готовы подписать, не разбирая, все его условия. На русской стороне находит он людей, которые с трогательным великодушием готовы принести ему в жерт-

ву интерес своей родины, целость и политическое значение своего народа, находит людей, готовых из чести послужить ему послушными орудиями, – людей готовых с энтузиазмом повторить все, что скажут недруги русского имени, все, что может обесславить и опозорить русское дело, все что может возвеличить и украсить противную сторону, – людей, готовых быть поляками не менее, если не более, чем сами поляки.

19 февраля, в самый день восшествия на престол ныне царствующего Императора и вместе в годовщину освобождения стольких миллионов народа от крепостной зависимости, разбрасывалось в Москве новое изделие нашей подземной печати. Мы было думали, что эта забава уже надоела нашим прогрессистам, но вот перед вами новая прокламация со штемпелем *Земля и Воля*. Авторы этого подметного листка, говоря от лица русского народа, призывают к нашим офицерам и солдатам в Польше, убеждая их покинуть свои знамена и обратить свое оружие против своего Отечества. Такого поступка нельзя было бы ожидать даже от наших прогрессистов. Это еще хуже пожаров. Но надобно думать, что прокламация эта, как и многое другое, есть дело эмиссаров польской революции, хотя нашему народному чувству оскорбительно и больно, что наши враги так низко думают о нас, рассчитывая на успех подобной проделки. Неужели в самом деле русский народ подал повод к такому презрительному мнению о себе? Как бы то ни было, факт перед глазами: значит есть что-нибудь у нас оправдывающее такую тактику наших врагов; есть, стало быть, к стыду нашему, такие элементы у нас, на которые могут они рассчитывать и которые своим существованием клеветают на свою родину. Польские агитаторы образовали у нас домашних революционеров и, презирая их в душе, умеют ими пользоваться, а эти пророки и герои русской земли (как польские агитаторы чествуют их, льстя их глупостям) сами не подозревают, чьих рук они создание. В самом деле, подумайте, откуда бы они могли выйти у нас, к чему могли бы они примкнуть, в чем бы они могли держаться? Что глупости у нас довольно, в том, конечно, нет сомнения. Но одного этого качества было бы недостаточно, чтобы сгруппи-

ровать людей, возбудить их к действию, поселить в них убеждение, будто они ни с того ни с сего действуют во благо своего народа и от его имени, в том, как они позорят его и посягают на все основы его исторического существования. Почему все эти нелепости высказывались у нас тоном некоторого убеждения и энтузиазма в то самое время, когда русский народ возрождался к новой жизни, когда каждый русский должен был стоять на своем посту, честно исполняя свой долг? Нет, для этого одной глупости мало! Нужно было, чтобы к туземной глупости присоединилось какое-нибудь чужое влияние, чтобы какая-нибудь ловкая рука поддержала это обольщение, дала этим нелепостям опору, гальванизировала эту гниль. Рука эта нашлась; она действовала искусно, она действует и теперь; но результаты обманули ее. Наши враги перехитрили; они слишком увлеклись своим презрением к русскому народу. Они действовали обманом на слабые головы, но за то и сами жестоко обманулись. Считая Россию не только «больным, расслабленным колоссом», но разлагающимся трупом, они затеяли свою кровавую шутку. Они в самом деле вообразили, что наши войска разбегутся, или станут под их знамена, как им сказали их друзья. Они понадеялись на разные прокламации и адреса, будто бы от русской армии, и, понадеявшись, подали сигнал к восстанию. Кто же виной этих прискорбных событий, которых театром стала теперь Польша?

Авторы упомянутого выше подметного листка упрекают правительство той кровью, которая там теперь льется. Но кто бы они ни были, поляки или русские, пусть они подумают: ближайшей виной этой крови были они сами. Если, к стыду нашему, они действительно русские, то своим презрительным ничтожеством они вовлекли польских агитаторов в гибельное для них заблуждение относительно истинных сил и чувств русского народа. Если они поляки, то сами же они поставили это ничтожество на ноги и сами обманули себя своим собственным произведением. Авторы этой прокламации не соглашаются на то, чтобы Польша оставалась в соединении с Россией. Какое право имеем мы, восклицают они, хозяйничать в Польше, когда она сама этого не желает? Какое право! Вот

до какой метафизики восходят наши патриоты! Все зло мира сего хотят они взыскать со своего народа. Они не спрашивают, по какому праву делается что-нибудь в других местах. Они не спрашивают, по какому праву поляки владели и теперь хотят владеть областями, исконно заселенными русским народом, не спрашивают, в каком уложении написано это право или какой potentant даровал его полякам. Этого они не спрашивают, но зато они спрашивают с великодушным негодованием: зачем русские владеют Польшей?

Они требуют, чтобы Россия возвратила Польше ее независимость? Возвратить независимость Польше! Но что такое Польша, где она начинается, где оканчивается? Знают ли это сами поляки? Спросили ли у них об этом наши патриоты? Сообразили ли эти жалкие жертвы своей глупости и чужого обмана, что обладание Царством Польским совсем не радость для России, что оно была злой необходимостью, такой же, как и все те жертвования, которые налагал на себя русский народ для совершения своего исторического дела. Но кто же сказал, что польские притязания ограничиваются нынешним Царством Польским? Всякий здравомыслящий польский патриот, понимающий истинные интересы своей народности, знает, что для Царства Польского в его теперешних размерах несравненно лучше оставаться в связи с Россией, нежели оторваться от нее и быть особым государством, ничтожным по объему, окруженным со всех сторон могущественными державами и лишенным всякой возможности приобрести европейское значение. Отделение Польши никогда не значило для поляка только отделения нынешнего Царства Польского. Нет, при одной мысли об отделении воскресают притязания переделать историю и поставить Польшу на место России. Вот источник всех страданий, понесенных польской народностью, вот корень всех ее зол! Если б она могла освободиться от этих притязаний, судьбы ее были бы совсем иные, и Россия не имела бы надобности держать Польшу вооруженной рукой. Но в том-то и беда, что польский патриотизм не отказывается от своих притязаний: он считает Польшей все те исконно-русские области, где в преж-

нее время огнем и мечом и католической пропагандой распространялось польское владычество.

Если бы вопрос состоял в том, чтобы дать Польше лучшие учреждения, чтобы предоставить ей полное самоуправление и национальную администрацию, тогда объясняться было бы легко; тогда всякому русскому можно было бы от души сочувствовать полякам, не становясь изменником своему Отечеству. Но вопрос не в этом. Нам известны желания лучших из польских патриотов; мы знаем, какой адрес подан был от имени польских землевладельцев графом Замойским; нам известно также, о чем просили польские дворяне в одной из русских губерний, смежных с Польшей. Пусть иностранные политики изъявляют громкое сочувствие к польскому делу и осыпают укоризнами Россию. Мы без них знаем свои недуги и чего не достаёт нам; но мы знаем также, что с каждым годом и с каждым днем наше положение уясняется, что на нашем горизонте показались несомненные признаки лучшего будущего. Нет, борьба наша с Польшей не есть борьба за политические начала, это борьба двух народностей, и уступить польскому патриотизму в его притязаниях значит подписать смертный приговор русскому народу. Пусть же наши недруги изрекают этот приговор: русский народ еще жив и сумеет постоять за себя. Если борьба примет те размеры, какие желал бы придать ей польский патриотизм и наши заграничные порицатели, то не найдется ни одного русского, который бы не поспешил отдать свою жизнь в этой борьбе. Пусть же наши недруги не обольщают себя призраками и не расшевеливают дремлющих народных сил: им не послужит это к лучшему, а для нас эта борьба будет последним испытанием истории, последним освящением наших народных судеб. Легко понять, что, собственно, значат неприязненные нам манифестации вожаков общественного мнения в Европе, что значит это единогласное осуждение России и единогласные приветствия полякам, раздающиеся теперь в Британской палате общин. Как не понять этого? Как Англии не сочувствовать теперь польскому делу, когда есть надежда, что оно может запутать нас своими затруднениями и отдать ей в руки весь

Восточный вопрос, в котором мы с ней сталкиваемся? Что же касается до искренних желаний лучшей участи польскому народу, то мы разделяем их с не меньшей искренностью. Мы от всей души желаем лучшей участи польскому народу. Но чтобы эти желания сбылись, должно не распалая притязаний поляков, а, напротив, успокаивать и умирять их. От самих поляков зависит выбор между благотворным для обоих народов соглашением и беспощадной борьбой, в которой они встретятся уже не с одним правительством, но с целым великим народом.

ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ НЕ ЕСТЬ ВОССТАНИЕ НАРОДА, А ВОССТАНИЕ ШЛЯХТЫ И ДУХОВЕНСТВА

Польское восстание вовсе не народное восстание: восстал не народ, а шляхта и духовенство. Это не борьба за свободу, а борьба за власть, —желание слабого покорить себе сильного. Вот почему средством польского восстания не может быть открытая честная борьба. Как в семенах своих, так и своем развитии оно было и есть интрига и ничего более. Если эта интрига имела значительный успех, то лишь потому, что она нашла у нас благоприятную для себя почву. Средства интриги, правда, велики. Властолюбивой шляхте, желающей властвовать над русским народом, подало руку властолюбивое римско-католическое духовенство, желающее поработить Православную Церковь. Два властолюбия вступили в союз, два властолюбия одно другого ненасытнее. Но как ни велики средства интриги, она все-таки не могла бы иметь успеха, если бы мы не содействовали ей своим поведением. Должны же мы теперь бороться с ней: так зачем же было бездействовать, замечая успехи ее, и, наконец, если мы не замечали ее успехов, то зачем мы не замечали их? Увы! Мы всегда доведем дело до последней крайности и только тогда встрепенемся. Встрепенувшись, мы действуем безукоризненно и бываем непобедимы. Это не подлежит сомнению, и в этом наша сила, верный залог того, что наш народ имеет будущность. Но было бы лучше, повторим в сотый раз, если бы мы не дожидались необходимости приносить крайние жертвы.

Теперь особенно пора нам вникнуть в причины этого недостатка нашего, ставящего нас в будничные времена нашей истории так низко в ряду других народов. Если мы взглянем на дело пристально, то легко усмотрим, что эта шляхетско-иезуитская интрига имела у нас успех благодаря тем же нашим свойствам, которым и вообще интрига обязана своим всемогуществом в нашей среде. Спросим же себя, на чем основано, что интрига имеет у нас вообще более хода, чем верность долгу? Отчего люди, действующие в общественном интересе, бывают у нас очень часто не в силах бороться даже с такими интриганами, которых все знают за интриганов? Не оттого ли, что в нашей будничной жизни общее дело стоит у нас на десятом плане, что всякий из нас равнодушен к нему и как бы не считает себя призванным стоять за него и заботиться о нем? Отдельные лица тут не виновны. Они могут извинять себя тем, что никому не хочется быть выскочкой, особенно если этого выскочку, пожалуй, никто не поддержит. Тут виноват общий строй нашей жизни, потворствующий равнодушно к общественным интересам. Вследствие этого строя нашей жизни общее дело не находит ни достаточной поддержки, ни достаточной защиты в нашем обществе... Каждый искатель приключений может надеяться на успех в этой пассивной среде, если только направляет свои удары на общее дело, минуя частные интересы отдельных лиц или даже лъстя этим лицам. Нападающий действует энергически; он рискует всем или многим, имея в виду важные выгоды; ему должен бы быть противопоставлен энергический отпор, а в обществе вокруг него все вежливо уклоняются и сторонятся перед ним, никто не хочет обидеть его, всякий даже спешит показать, что считает неблагоприятным вмешиваться *не в свое дело*. Когда наше общество так смиренно преклоняется перед одним каким-нибудь интриганом, то во сколько раз успешнее должна была действовать интрига, в которой были заинтересованы тысячи и даже десятки тысяч людей? Мы пасовали и упражнялись в уклончивости, а польская интрига действовала систематически, шаг за шагом завоевывая себе почву и забирая нас в свои руки. Только бессилием нашего общества можно объяснить

себе, что польской интриге удалось убедить не одного русско-го, будто отступить от родных интересов значит действовать рыцарски, а защищать их значит шпионствовать. Для интриги нравственные понятия не существуют, но чем, как не бессилием общества, должно объяснять, что в той самой среде, против которой была направлена интрига, понятия о нравственности едва не перевернулись вверх дном и притом в угоду враждебной интриге? Только выродившиеся нации представляют пример такой общественной немощи, и польские заговорщики, видя нашу пассивность, нашу готовность отступить от всего своего, могли возыметь надежду на успех самых несбыточных замыслов. Теперь несбыточность польских притязаний доказывается кровью. Вина в этой крови падает, конечно, на безрассудство руководителей мятежа, но отчасти падает она и на пассивность нашего общества, лелеявшую в поляках фантастические планы.

Никакая сила в мире не может доставить успеха польскому восстанию. Какое-нибудь маленькое племя кавказских горцев гораздо более может рассчитывать на свои силы, чем польская революция: там действует племя, там идет национальная борьба, между тем как в Польше мы имеем против себя не польскую национальность, отстаивающую свое право на жизнь, а польское государство, уже давно разрушившееся и тем не менее не могущее отказаться от завоевательных планов. Завоевательная политика не всегда удается и сильным государствам: статочное ли дело, чтоб она удалась государству, которое не принадлежит даже к числу государств существующих? Поляки не хотят своего чисто польского государства; они пытаются восстановить его, но с тем непременно условием, чтоб оно тотчас же завоевало себе и Литву, и Русь. Для нас польский вопрос имеет национальный характер; для польских властолюбцев это – вопрос о подчинении русской национальности своему польскому государству, еще ожидающему восстановления. В такой уродливой форме еще никогда не проявлялся дух завоевания, и вот почему этот дух обречен действовать здесь безнравственными путями интриги.

Польско-иезуитская интрига замышляет конечную пагубу для русского государства, для русского народа и вместе для Русской Православной Церкви. Ловкость интриги успела на время отвести нам глаза. Но за нашей будничной апатией, которой воспользовалась эта интрига, последовал взрыв русского народного чувства, тем более сильный, чем глубже была апатия. Теперь, когда мы поняли и почувствовали в чем дело, исход борьбы не может подлежать сомнению. Мятежники ошибаются, если надеются на поддержку западных держав, и западные державы будут раскаиваться, если думают, что их поддержка полезна полякам. Россия помнит 1831 год, когда ее войскам тоже приходилось подавлять польское восстание. Так ли тогда волновалась вся Россия, как волнуется она теперь на всем своем пространстве от своих вершин до недостижимой глубины? Было ли тогда хоть что-нибудь подобное теперешней энергии русского патриотического чувства? Правда, что мы окрепли за эти тридцать лет. Наша общественная жизнь сделала важные успехи в этот промежуток времени. Но этими успехами, все-таки сравнительно незначительными, нельзя объяснить то резкое различие, которое замечается между настроением России в 1831 и 1863 годах. Где же разгадка этого различия как не в том, что тогда европейские державы воздерживались от вмешательства в польские дела, а теперь они раздражили русское народное чувство своими притязаниями? Если теперь польское дело не имеет ни малейшей надежды на успех, то этим оно обязано преимущественно той поддержке, которую вздумала оказать ему европейская дипломатия. Чем деятельнее будет иностранное вмешательство, тем более будет крепнуть, а, может быть, тем более будет ожесточаться русское народное чувство.

Западный край, Литва и Белоруссия представляют для всякого человека, уважающего чужую свободу и национальность, не говорим уже для всякого русского, самое возмутительное зрелище. В огромных размерах совершается там лишение русского народа его народности. Главными руководителями этого постыдного дела, переходящего в промысел, служат римско-католические ксендзы. Им недостаточно того, что

они заставляют людей менять свою религию. Всяческими ругательствами и недостойными выходками они стараются унижить в глазах крестьянина его язык и его национальность и потом тешатся, что русский человек начинает называть себя поляком. Для русского чувства особенно обидно то, что русская национальность была почти совсем лишена средств защиты. Всякая попытка в этом смысле вызывала вопль негодования и целую тучу доносов. Завзятые поляки, так ловко обделавшие русских, что малейший отпор польским притязаниям считался шпионством, завзятые поляки не останавливались перед настоящим и нередко лживым доносом, чтобы только запечатлеть уста того или другого русского патриота. Тут были пускаемы в ход и социализм, и коммунизм, и еще Бог знает что. А ксендзы между тем действовали свободно, под эгидой чиновников и помещиков, усердствовавших польскому делу. Иные предводители дворянства открыто говорили о необходимости ополячивать край, даже иезуитскими мерами. С удивительной настойчивостью изгонялись из края русские помещики. В несколько лет из тринадцати православных помещиков Дисненского уезда остался только один. И все это происходило в стране, где большинство населения говорит по-русски, где польский язык употребляется простым народом только по принуждению, в разговоре с чиновниками, помещиками и ксендзами.

Православное духовенство и небольшой кружок русских чиновников, вот те препятствия, которые встречали колонизаторы Западного края. Мы уже говорили однажды о том, какое влияние на ополячивание чиновничества имели пятиклассные дворянские уездные училища, учреждение которых так нравилось местному польскому дворянству. Число русских чиновников с каждым годом уменьшалось. Что же касается до православного духовенства, которое в помещаемой ниже прокламации к нему польского революционного комитета подвергается упреку в любостыжании и в подкупе со стороны «московского правительства», то оно живет со своими семействами на жалование в несколько раз меньше того, которое дается от правительства же безбрачным католическим ксендзам. Нера-

венство положения усиливается еще тем, что ксендзы опираются, сверх жалования, на поддержку своих богатых прихожан помещиков, а православные священники получают лишь небольшие крохи от крестьян, разоренных и изморенных панами. Единственная серьезная поддержка православному духовенству заключалась в устройстве и улучшении около двухсот народных школ пособиями со стороны Министерства народного просвещения. В Виленском учебном округе это пособие было употреблено гораздо справедливее, чем в Киевском округе, где оно превратилось в средство конкуренции (на казенный счет) с приходскими школами, заведенными духовенством. Такого странного и прискорбного антагонизма, к счастью, не было в Виленском учебном округе, и казенное пособие не воспрепятствовало, а помогло духовенству в трудах его по обучению народа. Сверх того, возникла мысль об учреждении приходских братств, или лучше сказать, о восстановлении этого древнего учреждения православия, боровшегося с латинством; проект устройства братств представлен в Петербург несколько месяцев тому назад.

Доверенные лица, сообщающие нам теперь из Вильна сведения о состоянии Западного края, доставили нам перевод двух прокламаций, в которых обращалось польское революционное правительство к православному духовенству. Одна из этих прокламаций издана в Вильне 18-го апреля виленским революционным комитетом; на другой не означено, где она издана, но она была распространена в Западном крае несколькими неделями после первой и, по-видимому, идет от варшавского центрального комитета. Читатели найдут ниже доставленный нам перевод этих двух документов, получающих особенный интерес от сопоставления их. Какие-нибудь две или три недели разделяют эти документы один от другого, а как изменился тон во второй прокламации! Первая прокламация гарантировала свободу вероисповеданий и уверяла православное духовенство, будто «свобода совести была исконно свойственна польскому правительству (!!!) и сроднилась в Польше с народными нравами». Эта прокламация огра-

ничивалась угрозами за верность русскому правительству, то есть за политический образ действий. «Борьба с нашествием, говорила эта прокламация, не есть борьба религиозная, это – борьба за свободу, война народная». Это была личина, взятая довольно ловко: но как скоро сорвала с себя эту личину польская революция! Не прошло двух-трех недель, как властолюбие ксендзов прорвалось наружу. В начале мая появилась вторая прокламация, которая носит на себе все признаки акта, прошедшего через руки католического духовенства. Она начинается призывом Св. Троицы, она оканчивается словом «Аминь». Что же возвещает православному духовенству эта вторая прокламация, так нетерпеливо вырвавшаяся на свет Божий? Она возвещает восстановление Унии, она возвещает православным священникам, что настала минута мести за их преступления и казни за их грехи. В оправдание этих угроз она ссылается на царский гнев и царские казни, которыми будто бы было вынуждено восприсоединение униатов к православию, и упоминает о странствующей монахини Макрине, которой рассказы были избличены в неправде уже почти двадцать лет тому назад, когда она только что прибыла в Рим. Но лживы или нет были показания этой странницы, несомненно то, что вторая прокламация самым ясным образом уличает первую прокламацию в лживости или по крайней мере удостоверяет, что польским революционным прокламациям никто ни в чем не должен верить. Спрашиваем, можно ли надеяться на успех при таком образе действий?

Как польские революционеры обманывали православное духовенство обещанием свободы исповеданий, так точно обманывали они крестьян обещанием дарового надела земли и освобождения от повинностей в пользу помещика. Из всего Западного края восстание имело наиболее успеха в Ковенской губернии, на которую революционеры обратили особенное внимание, конечно, потому, что она ближе к морю. В Ковенской губернии гораздо меньше поляков не только, чем в губернии Гродненской и Виленской, но даже меньше чем в Могилевской и Киевской. Вот цифры из статистической

книжки г. Бушена, вышедшей в прошлом году. Поляков приходится:

В Гродненской губернии . . .	24,0 %
„ Виленской „ . . .	18,4 „
„ Подольской „ . . .	12,9 „
„ Волынской „ . . .	12,2 „
„ Минской „ . . .	11,5 „
„ Витебской „ . . .	9,2 „
„ Киевской „ . . .	4,6 „
„ Могилевской „ . . .	3,2 „
„ Ковенской „ . . .	2,7 „

Чем же объясняется, что в Ковенской губернии получил такое развитие польский патриотизм? Объяснение в том, что тут работали ксендзы. Вся Жмудь принадлежит к католическому вероисповеданию. Ксендзы работали над Жмудью деятельно в продолжение многих лет и успели распространить в безразличном жмудском населении слепую ненависть к России. Тут польская революция нашла для себя почву издавна приготовленную. Вся Жмудь, или Самогития, фактически повинуется революционному правительству. Тут власть его признается более, чем даже в Царстве Польском. Если где-нибудь его декреты могут быть приводимы в исполнение, то именно тут. Если бы декрет революционного правительства об освобождении крестьян от помещичьих повинностей был серьезным обещанием, то нигде нельзя было так легко привести его в действие как в Самогитии. А между тем именно в Самогитии и только в Самогитии крестьяне до сих пор продолжают работать на польских панов по-прежнему, как будто бы не было не только декрета революционного правительства, но и высочайшего указа 1 марта. Ксендзы тщательно скрывают этот указ от народа, и войско наше является в Самогитии освободителем крестьян от барщинной работы. Если только удастся нам побороть влияние жмудских ксендзов, то польское дело навсегда будет убито в Жмуди. Этим мы будем обязаны лживому образу действий польской революции. Лживость революционеров

сослужит нам в Жмуди важную службу. Еще раз спрашиваем, что такое польская революция, как не новая интрига, и может ли она надеяться на успех при таком образе действий?

Не польский народ – враг наш. Не польскую национальность поражаем мы, подавляя восстание. Мы боремся с интригой, которую затеяло властолюбие шляхты и ксендзов. Первую еще можно как-нибудь извинить: в ней живы воспоминания о господстве. Но где найти слово извинений для этих ксендзов, которые из служителей религии мира превратились в предводителей шаек, в заговорщиков и душегубцев? Наиболее точные сведения убеждают в том, что восстание преимущественно держится ксендзами. Еще в декабре прошлого года польское духовенство открыто собиралось в полном составе по деканатам для обсуждения средств «самоскорейшего освобождения Отечества». Сандомирское и Подляское духовенство подало первый пример, которому тотчас же последовало духовенство Августовской епархии. Оно определило, что дирекция партии умеренных должна прекратить свое существование и слиться с народным комитетом, организованным партией восстания. Оно прежде шляхты признало центральный комитет за законное временное правительство Польши, с тем только условием, чтобы были признаны права и независимость католической Церкви и главы ее, а равно, чтобы комитет принял в свой состав ксендза, избранного всем духовенством. Нельзя не догадываться, что именно этот ксендз, член революционного комитета, и сочинил вторую из прокламаций, отличающуюся от первой и духом нетерпимости, и церковной формой.

Суд истории будет строг к этому духовенству, поднимающему против нас меч братоубийства, посылающему повстанцев на верную смерть, проповедывающему фанатизм и ненависть своей пастве. Что касается до нас, то мы можем указать на эти дела его в опровержение его жалоб на те гонения, которым оно будто бы подвергалось и еще теперь подвергается, под русской державой. Сам святейший отец принужден будет сознаться, что оно пользовалось чрезмерным простором и что спокойствие края и интересы самой паствы требуют не расширения

прав латинского духовенства, а более энергического отпора его притязаниям. Этот отпор должен быть, впрочем, дан не столько мерами строгости, сколько развитием бдительности и энергии с нашей стороны. Задача состоит не только в усмирении края, но и в постановке его в такое положение, при котором прежние крамолы были бы невозможны. Нельзя не пожалеть, что дело зашло слишком далеко и требует для своего исправления весьма сильных мер. Принятие их должно послужить укором для лиц, приведших край в это положение, а русскому человеку прилично пожелать, чтоб эти меры как можно скорее достигли своей цели, но не ограничиваться этим добрым желанием, а усиленно трудиться над устранением тех недостатков русского общества, которые ободряли враждебную нам интригу и дали, наконец, подняться на нас ее стоглавой гидре.

Защита русской народности за рубежом

РУССКИЕ ГАЛИЧАНЕ И «ПОЛЬСКАЯ СПРАВА»

14-го сего месяца, на торжественном заседании Славянского Комитета в Петербурге, в председательстве митрополита Московского высокопреосвященного Иоанникия, по его начинанию открыта подписка в пользу угнетенных и гонимых «польскою справой» русских галичан, которые переживают теперь критическое время. Лица во всех отношениях достойные, виновные единственно в том, что родились русскими и чувствуют себя таковыми, были, как известно, судимы польским судом за государственную измену. Польский суд над государственной изменой! Какая грубая ирония в этом сопоставлении! С точки зрения этого суда, государственная измена состоит в том, что русские люди хотят быть русскими, а не поляками. Всем народностям, населяющим Австрию, предоставляется право быть самими собой: немцам немцами, мадьярам мадьярами, чехам чехами, полякам

поляками, а русским быть русскими это значит государственная измена! Все помнят этот возмутительный суд, это наглое попрание всякой справедливости и всякого смысла. Дело это тем возмутительнее, что изо всех народностей Австрии самой в политическом отношении честной и твердой, самой преданной династии, никогда не подававшей повода ни к каким опасениям с точки зрения государственной, всегда была русская народность, живущая в Галиции, Буковине, Венгрии. Если б Австрия была цельной национальностью, которая ассимилировала бы себе все застрявшие в ее государственной области племенные элементы, то выделение той или другой народности из общего состава могло бы казаться опасным и было бы изменой если б имело тот характер, каким отличается, например, «польская справа» в России; но австрийской национальности нет, и Австрия по самому существу своему есть конгломерат разных народностей, соединяемых, в сущности, только династическим началом. Это предание русской народности на пожирание «польской справой» не может не возмущать нас, не может не оскорблять русского чувства при всех добрых отношениях России к Габсбургской империи. За что же делается только для русской народности столь оскорбительное исключение, за что она не только оскорбляется в своих народных и церковных симпатиях, но и прямо отдается во власть искони враждебному ей началу? Дозволительно ли нам, русским, в России оставаться равнодушными при таком обидном исключении, постигающем нашу народность, можем ли мы не сочувствовать нашим гонимым братьям, особенно в лице столь достойных представителей нашей народности, как отец Наумович, гг. Добрянский, Площанский и другие, и должны ли мы скрывать это сочувствие и не давать ему хода? Благодарность Московскому владыке, который, поминая свв. Кирилла и Мефодия, дал выражение этому столь справедливому и столь естественному сочувствию гонимым братьям!

Сбор пожертвований в пользу пострадавших от польского гонения галичан продолжается, и дай Бог, чтоб он дал сколько-нибудь ощутительные для пострадавших результаты!

Мы не преминем познакомить наших читателей с содержанием апелляции, поданной священником Наумовичем в качестве униата папе Льву XIII. Теперь же считаем не лишним по поводу открывшейся подписки в пользу подвергшихся от поляков гонений галичан обратить внимание публики на польскую политику в том крае.

Польская печать и даже польская наука (хороша наука!) старается доказать что *русский народ* это значит польский народ и не имеет ничего общего с *российским* народом, то есть вся западная часть русского народа должна превратиться в поляков. Извращая и перетолковывая факты истории, предавая проклятию Богдана Хмельницкого, «справа» внимательно следит за тем, что творится в Малороссии и Белоруссии. Под рубрикой: «Из земель Польских» постоянно встречаются в газетах известия из русских городов, из Киева и Гродна, из Чернигова и Смоленска как городов польских.

Польские газеты ликуют при всяком удобном случае, когда какой-нибудь сумасбродный украинофил где-нибудь торжественно заявит свое исповедание веры, и о всех таких случаях, преувеличивая их значение и придавая им характер необычайной политической важности, сообщают читателям, иногда даже на первом месте. Эта польская радость по глупости, содеянной каким-нибудь русским крикуном, обыкновенно сопровождается поучением к «братиям русским» и воззванием соединиться с поляками против России. Но забывают при этом польские газеты проповедывать заведомую ложь о тех «благах», какими пользуются русские под господством поляков в Галиции, о свободе «русинского» языка, об уважении поляков к «русинской» церкви и т. д.

О том, какой свободой пользуется этот «русинский» язык, свидетельствует хотя бы тот факт, что всякое очищение «русинскаго» языка от польской чуждой ему примеси и сближение с литературным русским объявляются в Галиции признаком государственной измены и что за подобные попытки сидят в польских тюрьмах русские люди. Всем памятно, как недавно во Львовском университете приказано было читать

лекции по-польски профессору педагогики, несмотря на протесты и просьбы русских студентов богословского факультета. Самый кирилловский шрифт считается в Галиции чем-то опасным, и Польская Матица издает книги для русского народа польской латиницей, ломая этим несчастный «русинский» язык на польский лад.

В начале текущего года *Dziennik Poznanski* (№ 17 от 20 января) напечатал статью под заглавием: «Русины под Русским правительством». После общих жалоб на русское правительство автор статьи передает несколько интересных фактов. Он рассказывает, что в 1881 году член земского собрания Киевского уезда «русин» Гольштейн из Бердичева заявил требование ввести «язык русьский» (разумей: *українофильський*) в элементарной школе. Но «*русская* молодежь осуждена тут на принудительное изучение *российского* языка!», патетически восклицает автор статьи, проливая польские слезы над участью малороссов в России. Наконец, сообщается факт, что в Золотоноше один из земских деятелей, некто г. Коссюра, в заседании земства предложил назначить на земские деньги премию за учебники «на русьском», а не «российском» языке для народных училищ, и что земство не только приняло это предложение г. Коссюры, заявив при этом, что «литература *русьская*» (малороссийская) без этого гибнет, но и решило основать периодическое издание на том же, *ad hoc* фабрикуемом, *українофильском* языке. *Dziennik Poznanski* и тут имел случай пролить горькие слезы по поводу протеста губернатора против таких решений Золотоношского земства.

Такие ничтожные факты, как речи какого-то специально малорусского патриота, г. Гольштейна из Бердичева, или г. Коссюры, наводят польскую газету на серьезные размышления об «искрах, воспламеняющихся в пожар» и о роли Польши в славянском мире. Польская лига готова была бы употребить все средства, чтоб *українофильство* сослужило ей добрую службу. Но неужели *польская справа* так недаленовидна и так мало ценит этот «русинский» народ, что считает его неспособным понять, что значат ее сладкие речи об его правах на отчуждение от своего народа, на измену своему Отечеству?

Что касается отношения поляков к свободе «русской веры» и уважения их к «русской» униатской Церкви, то вот свежий факт. Поляки распинаются за унию и униатов в Холмской Руси, сообщая множество нелепостей о положении их в России. Они в заграничных органах клянутся, что заступаются за униатскую Церковь и питают чувство любви к жителям Холмской Руси. Но вот именно теперь в Галиции затевается новое насилие над униатами с целью совратить их в латинство. Два с половиной года тому назад монастырь униатов Базелианского ордена в Добромиле был насильно передан иезуитам, которые взяли в свои руки и школу при этом монастыре и теперь усердно полячат русский народ этой местности. Дело было сделано тогда чрезвычайно искусно, и патеры иезуитского ордена служат там в церкви по-славянски, лишь бы понравиться народу. Но народ их не терпит. Теперь русские галицкие газеты сообщают, что поляки задумали проделать и с Базелианским монастырем в Лаврове, в Самборском уезде, то же, что с Добромильским. Весть эта произвела угнетающее впечатление на русских в Галиции. Даже польские газеты начинают бояться подвигов иезуитов: так *Gazeta Narodowa* (№ 49 от 28 февраля), известная своими выходками против всего русского, и та вознегодовала. «Нужно желать, говорит она, чтоб из сфер компетентных решительно было опровергнуто подобное известие, потому что нет сомнения, что иезуиты не помирят русинов с поляками. Объединение русинов с поляками при помощи иезуитов содействовало бы в тысячу раз скорее распространению среди нас москалефильства, нежели вся агитация русской Рады». Если даже *Gazeta Narodowa* принуждена признаться, что иезуиты совершают насилие над унией, то что же в самом деле делается в несчастной Галицкой Руси?

РАЗДЕЛ III. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Отечественная промышленность

МНИМАЯ БЕДНОСТЬ РОССИИ

I

Нам не раз приходилось высказываться об искусственных мероприятиях и биржевых операциях, которыми наше финансовое управление надеется благоустроить финансы наши и поднять упавший курс кредитного рубля. *Русские ведомости*, поставившие было себе задачей оправдывать эти мероприятия и еще недавно заявившие (№ 110) по поводу нового займа, что «такого успеха на биржах наши государственные займы давно не имели и справедливость требует отнести хоть некоторую долю заслуги по восстановлению государственного кредита на счет финансового управления», теперь пишут (№ 118), что «доверие к финансам зависит от многих условий, но всего менее от банкирских фокусов; во всяком случае, оно не поднимется от того, что подобные фокусы будут оплачиваться четырьмя процентами», так как «новый заем помещен с уступкой около 4 S % против биржевой цены однородных бумаг». Петербургские газеты соглашаются с нами, что пора бросить искусственные меры, когда надлежит действовать поднятием производитель-

ных сил страны и установлением государственного хозяйства на прочных началах, чтобы народный труд получил надлежащую охрану и чтобы приняты были меры к развитию у нас всех отраслей промышленности, как добывающей, так и обрабатывающей. Соглашаясь с нашим мнением о необходимости поднятия производительных сил страны, *Новое Время* делает оговорку, что «того нельзя сделать в день, для чего требуются годы упорного труда».

Никто, конечно, и не будет настаивать на возможности «в день» поднять производительные силы России. Весь вопрос заключается в том, чтобы мы обнаружили готовность содействовать поднятию, а не следовали внушениям оракулов, издающих таинственные книги, клонящиеся к тому, чтобы расшатать основы нашей государственной жизни.

Нет страны богаче России по естественным условиям, но богатства наши остаются для нее бесплодны, только привлекая к себе алчность иностранной спекуляции, умеющей закрепостить за собой и русские богатства, и русский труд. За примерами ходить не далеко. Вот нефть, продукт, который мог бы стать нашей монополией и много содействовал бы подъему производительных сил страны, если бы правительственные сферы, от которых это зависит, позаботились о нефтяном деле. До шестидесятых годов добывание нефти ограничивалось ничтожным количеством, которое сбывалось почти исключительно в Персию в сыром виде. В 1859 году устроен был в Сураханах Закаспийским Торговым Товариществом первый фотогеновый завод. Но в первое десятилетие дело медленно подвигалось благодаря действовавшей тогда откупной системе. С 1853 по 1872 включительно добыто нефти только 10 159 980 пудов. В 1872 откуп был заменен акцизом на фотоген, и последствия этой меры не замедлили обнаружиться. Добыча нефти развивается в следующей прогрессии:

В 1873 году	3 951 575 пуд
„ 1874 „	4 862 643 „
„ 1875 „	5 809 043 „

„ 1876 „	11 000 000 „
„ 1877 „	15 000 000 „
„ 1878 „	20 000 000 „
„ 1879 „	24 000 000 „

В семилетний период времени, с 1873 по 1879 год включительно, добыто на Кавказе (на Апшеронском полуострове) нефти 84 623 261 пуд. В 1882 году, по данным железной дороги, нефтяного участка и нефтепроводных обществ, известно, что в Черный Городок было доставлено из Балахан 52 979 954 пудов; кроме того, на Биби-Эйбат, у братьев Саркисовых и Зубалова добыто около 2 1/2 миллионов пудов, так что количество производительно добытой нефти на всей Бакинской площади было около 55 1/2 миллионов пудов. При этом надо заметить, что владельцы фонтанов и буровых скважин могут в случае спроса удовлетворить требования вчетверо большие.

Но пользуемся ли мы должным образом этими богатствами? Было время, когда нефть употреблялась исключительно для добывания керосина или петролия, а получающиеся при этом нефтяные остатки уничтожались. Тогда была в ходу американская нефть, которая дает около 75% керосина и лишь от 8% до 10% нефтяных остатков весьма плохого качества. Теперь дело меняется: главную роль в промышленности получает не сама нефть, или добываемый из нее керосин, а нефтяные остатки, из коих добываются смазочные масла, вытесняющие из употребления масла растительные. Русская нефть имеет в этом отношении громадное преимущество перед американской, так как дает около 40% смазочных масел, вполне заменяющих сало и растительные масла, а в некоторых случаях имеющих даже преимущество пред ними. Русские минеральные масла, олеонафты, приобрели теперь всеобщую известность. Французский военный флот не употребляет другой смазки, кроме минеральной, и русские военные суда покупают дома заграничное деревянное масло, а во французских портах – русской олеонафт. Английские железные дороги в кондициях на поставку масла объявляют: «олеонафты или им подобные

масла». Американские минеральные масла, продававшиеся прежде по 15 ф. ст. за тонну, теперь упали до 8 ф., а за русское масло в то же время платят 25–30 ф. Если в Москве нередко русский керосин продается под названием американского, то американцы ставят на своих марках: like Russian oil*.

Кажется, мы занимаем первенствующее положение в нефтяном деле. Развивая это дело, мы более способствовали бы поднятию упавшего в цене кредитного рубля, нежели внешними займами и иными биржевыми операциями. Но богатства наши нейдут нам в прок. Иностранная предприимчивость поняла, что ей гораздо выгоднее получать от нас за бесценок сырую нефть и перерабатывать ее на своих заводах, нежели получать из России уже в обработанном виде. Русские нефтепромышленники сперва обрадовались усилению спроса на сырую нефть за границу, но потом, сообразив все невыгоды такой торговли, пришли к обратному заключению, как гласит помещенная в № 118 *Московских ведомостей* телеграмма из Батума: «Комиссия, образованная в Тифлисе с участием нефтепромышленников для рассмотрения проекта нефтепровода Тведла, 27 апреля постановила проект Тведла отвергнуть и ходатайствовать, чтобы всякие проекты нефтепроводов были отвергаемы, пока не разрешен будет вопрос о запрещении вывоза нефтеостатков и дистиллятов».

Цена сырой нефти на местах добывания 2 коп. пуд; в Баку 5 коп.; олеонафты стоят в Москве 2 р. 50 к. и 3 р., за границей от 3 р. 50 к. до 4р. 50 к. Отпуская за границу нефть в переработанном виде, олеонафты и керосин, мы всю плату за переработку этих продуктов оставим в России, в пользу русского рабочего, что при громадном спросе на смазочные масла имело бы немалое значение. Сколько у нас радетелей, заботящихся на словах об улучшении быта нашего сельского населения, сколько проектов о доставлении заработков неимущему населению. А чуть поднимется вопрос, обещающий поднятие народного благосостояния, у этих радетелей всегда найдутся особого рода соображения в подрыв русскому народному труду. Мы опасаемся

* Аналогично русскому керосину (англ.)

емя, чтобы по вопросу об обложении пошлиной вывоза русской нефти не был приглашен в качестве эксперта всезнающий г. Блюх, который не преминет, конечно, отстаивать интересы иностранных предпринимателей.

Неизвестно, сколько времени потребуется на обсуждение вопроса об обложении пошлиной вывозимой нефти, а между тем настоятельно требуется скорейшее разрешение этого вопроса.

Следовало бы немедленно установить эту отрасль промышленности на более рациональных основаниях, прежде всего прекратив «нефтяные наводнения» и вообще непроизводительную растрату столь важного в промышленности вещества, и обложить пошлиной вывоз сырой нефти, покупаемой теперь за бесценок, с тем, чтобы отпустить ее в виде переработанном.

II

Мы бедны и нуждаемся в чужой помощи, постоянно твердят нам иные органы нашей печати, старающиеся поселить в обществе недоверие и к производительным силам страны, и к трудовым способностям народа. Агитация эта началась уже давно, но никогда еще не принимала она таких резких и определенных форм, как теперь, когда издаются многотомные квартанты, имеющие предметом доказать, что для поправления наших финансов необходимо изменение государственного устройства, так как «будущность принадлежит развитию *самоуправления*: средство, давшее хороший результат во всем мире, произведет его и у нас, лишь бы оно явилось путем правильным, мирным и не слишком поздно»*. В случае же нежелания правительства привести в исполнение мудрые советы, изложенные в *Финансах России XIX столетия*, автор этого сочинения указывает на возможность и «насильственных народных движений»**. Какая, однако, странность. В *Финансах России* г. Блюх ратует за «мирное удовлетворение народных нужд», и он же в тарифной

* Блюх. Финансы России XIX столетия. – Т. II. – С. 295.

** Там же. – С. 79.

комиссии с наименьшим жаром отстаивает интересы переделочных заводов в ущерб русскому народному труду.

Нас хотят уверить в нашей мнимой бедности и в то же время стараются довести нас до действительной бедности; нам рекомендуют медикаменты для излечения болезней, каких еще нет, но какие не замедлят от медикаментов появиться. Твердят, что мы бедны, но где можно найти такое разнообразие естественных богатств, щедро рассыпанных по всей стране, как в России? Мы не пользуемся нашими богатствами, вот где причина зла. Со времени Тенгоборскаго мы стоим твердо на том, что Россия самой природой предназначена исключительно для культуры хлебных растений, почему и обязана производить только хлеб и выменивать его у иностранцев на предметы заводской и фабричной промышленности. Но на беду в настоящее время Россия уже перестала быть житницей Европы, мы уже далеко не исключительные поставщики хлебных продуктов в Европу и начинаем уступать свое место на иностранных хлебных рынках не только далеко опередившей нас Америке, но и новому конкуренту Индии. Вследствие обилия предложений цены на хлеб на западноевропейских рынках понижаются, и если в 1860 году за русскую пшеницу в Лондоне давали до 58 шиллингов за квартал, то в 1884 году дают не дороже 40 шиллингов (12 марта); а мы между тем отказываемся от развития у себя даже таких производств, как каменноугольное и железное, продолжая при громадном развитии у нас железнодорожного и механического дела работать на иностранном чугуна и угле. Громадные залежи железа и каменного угля остаются почти не тронуты, каменноугольная и железная промышленность подавляются страшной иностранной конкуренцией, и если в первые годы нынешнего столетия Россия занимала одно из первых мест по производству железа, то теперь она уступает маленькой Бельгии, вырабатывающей железа в 1 1/2 раза более, нежели Россия. Вместо покровительства отечественной промышленности и народному труду является покровительство иностранной промышленности: при помощи правительственных субсидий вдоль нашей западной границы возникает

множество переделочных заводов, работающих из чужого материала и весьма часто чужими руками. Питая эти чужеродные организмы, мы в то же время жалуемся на нашу бедность и на недостаток заработков у массы населения.

Россия кормит хлебом Европу, и в той же России население часто страдает от голода, когда рядом с голодающими местностями находятся громадные хлебные запасы. Хлеб у нас недорог, но у населения часто не имеется средств купить себе и дешевого хлеба, так как не оказывается спроса на рабочие руки: заработная плата за обработку массы продуктов, потребных для столь обширного государства, как Россия, идет в чужие руки, а не к своему рабочему люду. Чуть поднимется какой-нибудь вопрос об охране и поддержании отечественной промышленности, о доставлении работы неимущим классам населения, тотчас же «общественные деятели» и всезнающие специалисты, вызываемые в качестве экспертов, спешат затормозить вопрос и решить его в противоположном смысле. Г. Блюх, часто фигурировавший в качестве подобного специалиста, лучше чем кто другой может оценить удельный вес мнений подобных экспертов, и потому нельзя не согласиться с ним, что «если изредка правительство и обращалось за советами к общественным деятелям и специалистам, то еще реже мнения этих лиц, не облеченных никаким авторитетом и не подготовленных к задаче предварительным изучением всего положения, оказывались с точки зрения общего управления государством удобными к выполнению»*. Автор не досказал, к редким или частым случаям относится он сам.

В настоящем году был поднят вопрос об увеличении пошлины на привозный чугун и об обложении пошлиной иностранного каменного угля. Поборники иностранных интересов не преминули поднять агитацию против этих пошлин, прикрываясь тем, что и они де отстаивают русские интересы, так как обложение пошлиной чугуна и угля повлечет де за собой вздорожание этих товаров, что стеснит потребителей, будет косвенным налогом на них, и, конечно, не преминули при

* Там же. – С. 257.

этом распространиться и о нуждах народных, которые требуют де беспошлинного ввоза к нам каменного угля и низкой пошлины на чугун. Мы имели уже случай оценить значение подобных заявлений со стороны ревнителей процветания иностранной промышленности на русские средства; нас занимает только, какие нужды русского народа эти господа выставят в противодействие обложению пошлиной вывозимой из России сырой нефти и нефтяных остатков. Если эти господа прикроются интересами нефтепромышленников и будут утверждать, что для владельцев нефтяных фонтанов и буровых скважин невыгодно сокращать отпуск своих продуктов за границу, то против этого мы имеем заявление самих нефтепромышленников, ходатайствующих не только об обложении пошлиной, но о запрещении вывоза из России сырой нефти и нефтяных остатков. С другой стороны, очевидно, что с сокращением вывоза нефти цены на нее не повысятся у нас, а понизятся. Точно так же трудно заранее определить, в чем будет заключаться ущерб русского народа, если расширится выработка продуктов из нефти, и десятки тысяч рабочих получат хорошие заработки. Вообще вперед трудно сказать, какие хитрые комбинации могут быть придуманы изобретательными экспертами для поправления финансов в ущерб русским народнохозяйственным интересам, а что будут сделаны попытки в этом направлении, в том и сомнения быть не может.

А между тем этот вопрос стоит на очереди и требует скорейшего разрешения. Иностранцы строят уже заводы для переработки русской нефти и, судя по вычислениям профессора Марковникова, переработка 610 пудов русской нефти на иностранных заводах (в Марселе) с перевозкой из Баку при равенстве курса будет стоить только 459 рублей, а переработка в Баку с доставкой товара в Марсель 538 руб., или на 129 руб. дороже. Если мы не догадаемся вовремя захватить в свои руки монополию в нефтяном производстве и в переработке имеющих обширную будущность продуктов нефти, то, быть может, в непродолжительном времени нам придется облагать пошлиной ввозимые к нам масла, выработанные из нашей же нефти.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ БОГАТСТВА РОССИИ

Нигде естественные богатства страны не эксплуатируются столь непроизводительно, как в России. На нашей памяти громадные лесные богатства нашего севера приобретались за бесценок иностранными предпринимателями и истреблялись самым хищническим способом, обогащая лишь эксплуатировавшие их компании и отнимая последние средства у местного населения. От громадных непроходимых Двинских и Онежских лесов во многих местностях осталось теперь лишь воспоминание, и на месте вековых деревьев теперь прозябает молодая поросль. Связанное с истреблением лесов обмеление рек и изменение климатических условий страны побудило отнестись серьезно к беспощадному повальному истреблению лесов и принять против этого зла надлежащие правительственные мероприятия. Министерство государственных имуществ, заботившееся в последнее время о прекращении хищнического истребления лесов и о введении правильного лесного хозяйства, издало весной нынешнего года так называемую лесоустроительную инструкцию. Инструкция эта введена весьма недавно в виде опыта в некоторых казенных лесных дачах Петербургской губернии. В общем она сложнее существовавших до настоящего времени правил, но по отзывам специалистов, как утверждают газеты, повсеместное ее применение не только повлечет за собой значительное сбережение лесов, но обеспечит в будущем правильное развитие лесоводства, весьма важной отрасли государственного хозяйства. Нельзя не пожелать успеха столь полезным для народного хозяйства мерам, которыми мы обязаны нынешнему управлению государственными имуществами, но нельзя при этом не пожалеть, что вообще меры у нас принимаются не для предотвращения зла или не для пресечения его в самом начале, а лишь когда зло успело оказать свое действие и когда страна успела уже дорого поплатиться за небрежное отношение к нуждам народным. Давно уже поднят вопрос о прекращении хищнического истребления наших нефтяных богатств. Как частные

лица, так и правительственные учреждения, как Министерство государственных имуществ, предлагали ряд мер, которые необходимы для развития этой отрасли народного богатства, находящейся у нас в настоящее время в весьма неудовлетворительном положении сравнительно с Северной Америкой, где нефтяные месторождения по своей производительности значительно уступают кавказским нефтяным источникам. Но пока все эти заявления оказываются бесплодными, наши нефтяные богатства служат лишь для обогащения иностранных предпринимателей, успевших уже построить заводы для переработки русской нефти, приобретаемой за бесценок.

Наша нефтяная промышленность со времени освобождения от откупной системы, а затем и от обременительного акциза на керосин (в 1877 году), в последние семь лет сделала большие успехи. Возрастающее с каждым годом число буровых скважин, доказавших, что производительность Сураханских и Балаханских нефтяных месторождений далеко превосходит производительность американских источников нефти, быстрое распространение заводов и введение на них усовершенствованных аппаратов для приготовления светильного и смазочного масла, удешевление перевозочных средств для доставки продуктов на внутренние рынки России, наконец, дешевизна керосина как главного продукта обработки, все это вместе взятое указывает, по-видимому, что условия, в которые поставлена наша нефтяная промышленность, вполне благоприятны для ее развития. Но, с другой стороны, если вникнуть в экономическую сторону нефтяного дела, говорит официальная записка *Меры, предлагаемые Министерством государственных имуществ для развития нефтяной промышленности* (откуда мы заимствуем наши сведения по этому делу), и сделать оценку его относительно выгоды получаемой как владельцами буровых скважин, затратившими значительные капиталы, так и заводчиками, обрабатывающими сырой продукт, то нельзя не признать что нефтяная промышленность переживает в настоящее время кризис, обусловливаемый, с одной стороны, обилием сырого материала, с другой – недостатком рынков сбыта

для готовых продуктов. Обилие сырого материала, доставляемого источниками, громадно. Сырая нефть поэтому почти не имеет цены; общая производительность керосиновых заводов в Баку настолько увеличилась в последнее время, что предложение превосходит спрос и потребление. Нефтяные фабрикатy скопляются на рынках в таком количестве, что производители, встречая сильную конкуренцию, принуждены сбывать свои продукты, не пользуясь выгодой. Наступивший кризис нефтяного дела заставил уже многих владельцев буровых скважин прекратить выкачивание нефти, а заводчиков значительно уменьшить размеры производства керосина. Таким образом, ни затраты капиталов, ни труд многих лиц, заинтересованных в деле, не в состоянии преодолеть препятствий, с которыми пришлось встретиться нефтяной промышленности.

Во всеподданнейшем докладе по горной части на Кавказе министр государственных имуществ, указывая на причины переживаемого нефтяной промышленностью кризиса, выразил между прочим следующее мнение: «Причина его (кризиса) есть чрезвычайное обилие сырого материала и отсутствие у большей части промышленников свободных денежных средств, необходимых для усиленной разработки этого материала и сбыта нефтяных продуктов на внутренние и внешние рынки». При таком положении дела, по мнению министра государственных имуществ, надобно с крайней осторожностью относиться к тем предположениям, которые имеют в виду облегчение сбыта сырой нефти за границу, ибо «можно опасаться, что владельцы источников нефти, найдя сбыт для сырого материала, доведут до maximum выработку нефти из своих колодцев, причем не только будут удовлетворены требования спроса на зарубежных рынках, но и большое количество материала останется на месте». «Весь интерес дела, по мнению министра государственных имуществ, заключается в сбыте не сырой нефти, а продуктов, из нее получаемых. В этом отношении бакинская нефть имеет особенности, резко отличающие ее от американской и благодаря которым она должна составить особую отрасль промышленности и дать обильный заработок рабоче-

му населению. Сбывая же в значительном количестве сырую нефть, мы навсегда лишились бы рынка в Западной Европе для собственных нефтяных продуктов, и наши керосиновые заводы принуждены были бы ограничить свое производство лишь потребностями внутренним рынка».

Таким образом, по существу дела, меры, направленные к развитию нашей нефтяной промышленности, должны быть, с одной стороны, поощрительные, с другой – запретительные. Поощрить всеми возможными средствами устройство заводов для выделки керосина и других осветительных и смазочных масел, «увеличить процент получения лампового масла с целью большей утилизации сырой нефти, способствовать введению среди народонаселения и особенно в правительственных и общественных зданиях освещения безопасными соларовыми маслами, установить температуру воспламеняемости керосина, без чего он не может соперничать с американским на заграничных рынках, – вот первая в указанном смысле задача правительства. Второй задачей будет обложение сырой нефти значительной вывозной пошлиной, подобно тому, как правительство признавало необходимым в 1857, 1868 и 1882 годах обложить отпускной пошлиной кость, костяной уголь, тряпье и другие сырые продукты. Тарифная комиссия 1867 года, рассмотрев ходатайство писчебумажных фабрикантов относительно обложения пошлиной вывозимого от нас тряпья, пришла к следующему заключению: «Требование на тряпье внутри государства постоянно усиливается. Усиленный вывоз тряпья имел бы неизбежным последствием вздорожание его на внутренних рынках в ущерб русским фабрикам, которые успешно соперничают с заграничными только по дешевизне тряпья и во всех других отношениях находятся в менее выгодном положении». Очевидно, эти же самые соображения применяются и к сырой нефти.

Поощрительные меры к возможно большему распространению на внутренних рынках выработанных из нефти продуктов требуют значительного времени и больших денежных затрат на приведение их в исполнение. Устройство новых заво-

дов для обработки нефтяных продуктов и введение освещения соларовыми безопасными маслами может быть исполнено в более или менее продолжительное время. Между тем наши нефтяные богатства продолжают расходоваться самым непроизводительным образом. В ущерб себе сбываются на иностранные заводы нефтяные остатки, из коих вырабатываются там смазочные и осветительные масла, чем подрывается развитие у нас обрабатывающей нефтяной промышленности, так как с развитием заводской обработки нефти на иностранных заводах сбыт наших нефтяных продуктов за границу неминуемо уменьшится, а, быть может, и вовсе прекратится. Вместо открытия новых заводов, быть может, некоторым из существующих придется ликвидировать свои дела.

Требование на сырую нефть из-за границы с каждым днем увеличивается. Так, на днях мы получили известие, что управлению заводами Шибаева сделано предложение продать в Англии 200 000 пудов дистиллята, то есть легкого нефтяного перегона, и 2 000 000 пудов нефтяных остатков. Обе эти партии дадут более 700 000 пудов ценных светильных и смазочных масел и почти такое же количество остатков, потребление коих с каждым годом также увеличивается. Таким образом, отдавая за бесценок иностранцам два миллиона двести тысяч пудов сырых нефтяных продуктов, мы на 700 000 пудов уменьшаем вывоз от нас дорогостоящих смазочных масел.

Вот уже четвертый год как возбужден вопрос об обложении вывозной пошлиной сырой нефти и нефтяных остатков, а Министерство финансов все не собирается приступить к разрешению его в смысле ограждения экономических интересов страны. Не пора ли заняться теперь разрешением этого вопроса, когда положение нашей нефтяной промышленности вполне выяснено и когда стало понятным также, что свободный отпуск как сырой нефти, так и нефтяных остатков поведет только к разорению образовавшихся у нас в Баку и на Волге заводов для утилизации нефтяных отбросов и водворит за границей нового рода заводскую промышленность, которая в ущерб нам будет питаться богатствами нашего Апшеронского полуострова.

ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ МОГЛА БЫ У НАС РАЗВИТЬСЯ ТЕХНИКА?

Недавно праздновалось возрождение нашего Черноморского флота. Несколько позднее, в конце октября, прошел слух, что кораблестроительное отделение Морского Технического Комитета предполагает командировать несколько корабельных инженеров и механиков «внутрь России» для собирания данных, по которым можно было бы судить о том, на какие заводские средства в случае надобности Морское министерство может рассчитывать для постройки судов и механизмов для военного флота. Нельзя не порадоваться, что морское ведомство намерено отказаться от системы заграничных заказов. В этом отношении пред ним богатый опыт нашего соседа Германии. В 1866 году, когда началась постройка Северо-Германского флота, немецкие казенные верфи, можно сказать, не существовали, а частные были на степени далеко не высокой; приходилось многое выписывать из Англии. Некоторых сортов кораблестроительного железа в Германии вовсе не было. Но Германское правительство твердо решилось обходиться своими средствами, прибегая к заграничному заказу только временно и лишь в крайнем случае. Еще настойчивее проводилась эта система со времени восстановления империи, и вот в каких-нибудь пятнадцать лет германские судостроительные средства достигли высокой степени совершенства; все прежние дефекты пополнены, и Германия не только не имеет надобности заказывать что-либо для своего флота за границей, но сама начинает строить суда для иноземных правительств да еще и по ценам далеко более дешевым, чем Англия. Этого мало. С небольшим четырнадцать лет Германия создала у себя военный флот, как утверждают специалисты, по силе занимающий теперь третье место в Европе. Германия обогнала нас и в силе флота, и в развитии кораблестроительных средств. Она с гордостью смотрит на свои частные заводы и верфи, многие изделия коих стоят теперь даже выше английских, а нам приходится снаряжать «внутрь России», точно в страны неведомые,

ученую экспедицию, чтобы выяснить, наконец, средства, какими мы располагаем. Могла ли при таких условиях развиваться у нас промышленность? Говорят, что заграничные заводы работают лучше наших, что у нас многого будто бы даже и сделать не сумеют. Но разве иностранные заводы так таки и родились, как Минерва из головы Юпитера? И у них был период начинаний, и их изделия оставляли желать многого. Но иностранцы этого не пугались и не бегали в люди. Правда, им и бегать было некуда. У нас есть все, чтобы средства морской и сухопутной обороны готовить дома: есть неисчерпаемые богатства железа, изготавливается сталь, есть громадные лесные полосы, залегают неистощимые пласты каменного угля. Нам ли обращаться за чужой помощью? У нас были и есть способности, есть и познания; нет только доброй воли отказаться от иностранной помощи. Завод Круппа в Эссене пользуется теперь всемирной славой, но может быть никто не содействовал в такой мере его развитию, как мы, и не только большими заказами, но и умственной помощью. Вот, например, что писал в *Военном Сборнике* в 1870 году г. Каминский, признанный специалист в этом деле: «У нас называют пушками Круппа те стальные нарезные береговые орудия, которые завод стал готовить в последнее время по чертежам русского артиллериста, составленным на основании теоретических изысканий также русского артиллериста. Крупп признает, да и не может не признать, что он вполне обязан нашим артиллеристам *стойкостью* изготавливаемых им нарезных береговых орудий большого калибра; но это не мешает пушкам, изготавливаемым *по нашим чертежам* для Пруссии, Бельгии и других государств, называться пушками Круппа безо всякого прилагательного, могущего намекнуть на заслуги других». (*Военн. Сборн.* 1870 года, № 12, стр. 375). То же самое можно сказать и по отношению к Бердану и Гатлингу. Ружье первого и картечница второго своим совершенством, давшим им ход, обязаны трудам наших специалистов.

Почему эти силы и сведения не могли быть употреблены в дело у себя дома и дать толчок не чужим, а своим заводам? Если наши фабрики, заводы и мастерские отстают от ино-

странных, то причина тому заключается в недостатке не способностей и познаний, а навыка и опытности, которых сидя без дела приобрести нельзя. У нас часто говорят о необходимости «развития технических знаний, об умножении числа разного рода технических школ. Но нужно, чтобы техника находилась и место, и дело. Если бы все наши средства военной и морской обороны готовились дома, техническое наше усовершенствование двигалось бы гораздо быстрее, нежели теперь. Потребности армии и флота широки: та или другая система их удовлетворения несомненно оказывают действие на все отрасли промышленности, от изготовления стальных вещей до шелковой ткани и самых тонких химических препаратов.

Говорят, что наш коммерческий флот слаб, что он находится в младенческом состоянии. Но так все и будет, пока мы не дадим серьезного толчка нашему судостроению; а для этого требуется, чтоб и военный флот обходился домашними средствами. Пока для надобностей военного флота мы будем обращаться к иноземной помощи, у нас не может развиваться и частное судостроение. Лишенное крупных заказов, оно будет плестись точно так же в хвосте технического развития, как прежде до военного флота плелось и германское судостроение, хотя Германия уже давно располагала значительным торговым флотом.

Года полтора или два назад, когда шла речь о новом заказе Круппу стальных бронепробивающих снарядов, вполне выяснилось, что снаряды эти могли бы изготовляться и на наших заводах, если бы им дали возможность наладить это дело. Сторонники заграничного заказа возражали, что налаживание требует времени и денежных затрат, так что «заграничный заказ обойдется дешевле». Забывалось при этом, что за иноземное изделие придется, во-первых, платить золотом, а во-вторых, за временную услугу пожертвовать усовершенствованием своих заводов. Забывалось, что своя промышленность только в начале потребовала бы жертвований, которые впоследствии, и очень скоро, окупилась бы сторицей. Нам необходимо во что бы то ни стало раз-навсегда отказаться от иностранных заказов: наши добывающая и обрабатывающая промышленности уже

достаточно развиты, чтоб удовлетворить всем нашим нуждам. У нас, повторяем, недостает не столько познаний, сколько применения их, не столько рук, сколько дела, чтобы приложить их. Выходит так, что мы постоянно переплачиваем иностранцам большие деньги и содействуем росту их промышленности только потому, что не знаем своей и не хотим дать ей дела. Не будет конца так называемой «отсталости» наших заводов, если систематически продолжать ту же систему держать их не у дел и не замечать того вреда, который чрез это причиняется нашим финансам, промышленности, мореходству, государственной обороне. Пора положить конец системе, несовместной с национальными интересами и достоинством.

Самая лучшая школа это практика. Собственно, школа служит только подготовкой к практике и не может давать обильных, вполне удовлетворительных результатов, если не выходить в широкую и мощную практику. Только делая дело, мы можем овладеть им. Надо, чтобы таланты и познания находили себе плодотворное применение; надо, чтоб эти тысячи молодых людей, которые вяло учатся в школах, оживились, увидев пред собою перспективу плодотворной деятельности. Что, если бы действительно в нашем великом Отечестве с его неисчерпаемыми и разнообразными богатствами закипел везде полезный труд, требующий умственных сил и познаний. Как изменилось бы лицо нашей земли, сколько прибыло бы нам сил, как поднялось бы и наше благосостояние и наше образование, и как мало осталось бы места для нигилизма и анархизма, которые овладевают умами от нечего делать.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА НАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Космополиты-доктринеры протестуют против национальной экономической политики. Если отменить пошлины на ввозимые товары, сказано было в нашей газете, то в первое время будем мы приобретать иностранные товары по более дешевым ценам, но потом цена этих товаров будет возрастать

вследствие упадка ценности наших денежных знаков, и дешевые, по-видимому, товары обратятся для нас в весьма дорогие. *Новости* возражают на наши слова, что если де иностранные продукты будут обходиться не в пример дороже отечественных, то их, конечно, никто покупать не станет. Еще задолго де до повышения цен в указанных *Московскими ведомостями* размерах ни один иностранный товар не будет покупаться в России, и отечественная промышленность разовьется де безо всякого покровительства. Вот основной довод *Новостей* против покровительственного таможенного тарифа, и можно только подивиться отваге, с какой высказывается очевидная несообразность. Если мы с помощью беспошлинного привоза иностранных товаров уьем внутреннее производство в стране, то можно ли рассчитывать, что оно вдруг возродится при сильном падении кредитного рубля? А по словам упомянутой газеты выходит так. Значит, для развития промышленности в стране нужно лишь уничтожить таможенный тариф и уронить ценность денежных знаков!

Если производительность в стране будет убита, то для возрождения каждого производства необходимо будет материалы и машины выписывать из-за границы, что при падении ценности кредитного рубля обойдется крайне дорого. С другой стороны, не найдется и предпринимателей, которые пожелали бы затрачивать в производство капиталы без уверенности в успехе. А где будет достать опытных рабочих? Да и может ли быть сомнение, что раз убив производство, мы не можем рассчитывать, что оно вдруг возродится при самых невыгодных условиях?

Но *Новости* не останавливаются на одном софизме. Мы указали на пример Америки, которая улучшила свои финансы с помощью выгодного для страны торгового баланса. Космополитическая газета пытается умалить значение этого примера. «Если Соединенные Штаты, говорит она, покрыли свои долги при значительном перевесе вывоза над привозом, то Англия не менее успешно покрывает свои долги при несравненно более значительном перевесе привоза над вывозом, составляющим в течение такого же периода, то есть шести лет, до 6 миллиардов

рублей! Очевидно, заключает газета, дело заключается вовсе не в торговом балансе, а в богатстве обеих стран».

Но, во-первых, Англия ввозит к себе богатства своих же промышленных классов, которые эксплуатируют все страны мира и все части света. Что привозят они из одной Индии, выжимая из ней все соки? Само собой разумеется, что Англия ввозит к себе своих богатств более, чем сколько успевают от себя вывезти. Во-вторых, собственно Англия с Шотландией и Ирландией не может пропитывать массы своего населения продуктами своей земли и вынуждена по естественным, а отчасти и политическим условиям прокармливать его чужим хлебом. Кто слышал, чтоб Англия ввозила к себе в значительном количестве мануфактурные или заводские товары? Но продуктов сельского хозяйства она не может не ввозить, иначе голодающие массы ее населения давно бы вымерли.

Внешняя торговля Англии дает следующие результаты в фунтах стерлингов:

	1883	1882
Ввоз	361 561 932	346 808 131
Вывоз	239 829 744	211 467 162
Перевес ввоза над вывозом	121 732 188	105 340 969

Из приведенных цифр, по-видимому, выходит, что торговый баланс Англии клонится не в ее пользу. Но мало ли что кажется? Так ли это в действительности? В общей сумме ввезенных товаров значатся и товары, привезенные в Англию из ее колоний. Так, например, в 1883 году было ввезено в Англию съестных припасов «животного царства» на 51 209 000 ф. ст., и большинство этих продуктов были ввезены из английских же колоний, то есть хотя и были отнесены по официальной классификации товаров ко внешней торговле, но в действительности должны быть отнесены ко внутренней, как и привозимые, например, из Сибири на Нижегородскую ярмарку товары. Точно так же и по другим отделам ввезенных в Англию товаров значительная часть привоза падает на долю английских же колоний; так, съестных

припасов из отдела растительной пищи было ввезено в Англию в 1883 году на 102 783 000 ф. ст., и опять-таки значительная часть привоза падает на долю Индии и колоний. Напитки, ввоз которых в 1883 году выражался цифрой в 7 205 000 ф. ст., большей частью ввезены в Англию из ее же колоний.

Наконец, Англия есть всеветный кредитор, общий банкир всех государств, с которых она ежегодно получает громадные суммы за занятые у нее капиталы. В лице своих промышленных классов она получает свои проценты не все деньгами, но и товаром, что бывает гораздо выгоднее. А с кого можем мы получать проценты, если наш бюджет отягощен громадной массой долгов? Мы не только не имеем чужих долговых обязательств, которыми могли бы мы покрыть невыгодный для нас торговый баланс, но сами запутаны в долгах. Чем же в таком случае будем мы платить иностранцам за товары, как не новыми долговыми обязательствами? Мы задыхаемся от нашей задолженности, а нам советуют крепче затягивать петлю.

Другой орган экономистов-доктринеров, *Русские ведомости*, заявляют, что «таможенные пошлины, поднятые (?) в 1867 году, с 1876 года постоянно поднимаются и достигли уже уровня, который считается идеалом в этом отношении, – американского таможенного тарифа».

Итак, пошлины нашего таможенного тарифа, по словам *Русских ведомостей*, дошли до пошлин тарифа американского. Но это не правда: наши таможенные пошлины значительно ниже пошлин тарифа Соединенных Штатов, где, несмотря на сильно развившуюся промышленность, все-таки продолжают держать таможенные пошлины весьма высоко. Каждый желающий проверить утверждение *Русских ведомостей* легко убедится в неверности сообщенного ими факта; стоит только сравнить американский таможенный тариф с нашим. Посмотрим, однако, к каким выводам приходит эта газета.

Указав на сильное развитие в стране мануфактурной промышленности, *Русские ведомости* заявляют, будто и все отрасли промышленности так ограждены у нас, что более и ограждать нечего. Правда, мануфактурная промышленность

действительно развилась в стране в значительных размерах, но ведь потому она и развилась, что была ограждена таможенными пошлинами, что и дало повод министру финансов выразить во всеподданнейшем докладе о государственной росписи следующие соображения: «Фабрики полотняных изделий после изменений, последовавших в тарифе, быстро оживились», и потом: «Надо надеяться, что к таким же результатам в других отраслях промышленности приведет дальнейший пересмотр таможенного тарифа». Министр финансов, у которого находится в заведывании промышленность страны, указывает на блестящие результаты мануфактурной промышленности, получаемые от пересмотра таможенного тарифа в смысле покровительства народному труду, и выражает надежду, что к таким же результатам поведет пересмотр тарифа и по другим частям производства, кроме мануфактурного. Не то ли же говорим и мы? Не твердим ли мы о необходимости пересмотра всего нашего таможенного тарифа в смысле национальной политики? Мы оградили нашу мануфактурную промышленность, и теперь в России вырабатывается одних хлопчатобумажных изделий более 8 миллионов пудов. Зато какой контраст представляют со столь значительным развитием мануфактурной промышленности железное и химическое производства, считающиеся основными в промышленном деле! Вот сколько было выработано железа и чугуна у нас в 1882 году сравнительно с другими странами (в пудах):

	Чугун	Железо
Россия	28 237 027	18 151 810
Бельгия	44 343 706	29 406 026
Пруссия	150 520 428	79 955 689
Соед. Штаты	286 489 855	137 976 083
Великобритания	525 861 846	175 933 577

Таким образом, несмотря на то, что в России числится теперь около 100 миллионов населения и что она обладает сетью железных дорог в 22 000 верст и значительным военным флотом, она добывает железа много менее маленькой Бельгии (в

полтора раза). Также точно и химическая производительность находится теперь в России в жалком положении: чуть не все химические продукты, за исключением приготовляемых из нефти, мы получаем из-за границы. А между тем, какую бы отрасль промышленности ни взять, ни одна не может обойтись без помощи железного и химического производств, которые находятся у нас еще в младенчестве. Заботы правительства должны быть направлены прежде всего к развитию основных производств в стране, без которых не могут развиваться самостоятельно другие производства; с этих-то основных заводских производств и следовало начинать покровительство отечественной промышленности. Только в настоящем году была немного поднята пошлина на чугун, чтоб оказать содействие развитию у нас горной промышленности, а производство химических продуктов и до сих пор остается почти безо всякой охраны.

Органы наших космополитов-доктринеров употребляют все усилия, чтобы парализовать начинания правительства в видах покровительства народному труду. Они не привыкли спрашиваться собственного ума; зато со слепой верой внемлют тому, что скажут чужие люди. Так, вот что было недавно сказано в немецком журнале *Stahl und Eisen* относительно вопроса о повышении в России пошлины на привозный иностранный чугун: «wenn Russland eine industrie haben will, und die hat es nothig, so muss die russische Regierung die Industrie schutzen» (если Россия хочет иметь свою промышленность, а она ей нужна, то русское правительство должно охранять свою промышленность).

ЗАБОТЫ НЕФТЕПРОМЫШЛЕННИКОВ О ПОЛЬЗЕ ОТЕЧЕСТВА

Не страна для промышленности, а промышленность для страны. Жалкая страна, не имеющая промыслов и потому находящаяся в зависимости от иностранцев; нужно поэтому заботиться о развитии промышленности в стране. Но коль скоро известная отрасль промышленности достигла значительной степени развития, удовлетворяя внутреннее потребление и

высылая избыток в другие края, то в какую силу стали бы мы жертвовать интересами всего населения в угоду и наживу нескольким тузам? Но вот именно теперь мы присутствуем при одной из подобных попыток, имеющей даже шансы на успех.

Едва окончился съезд сахарозаводчиков, усиленно домогавшихся создания монополий крупных предпринимателей и спекулянтов в сахарном деле, как выступает на свет новая попытка добиться монополии в нефтяном деле. Короли нефтяной промышленности, видя успех сахарных дельцов, успешших уже хорошо поживиться за счет казны или, правильнее, той отрасли промышленности, нуждами коей они фальшиво прикрывают свои домогательства, признали благовременным обратиться к правительству с ходатайством. Но как думаете, о чем ходатайствуют эти господа: о премии или субсидии? Нет. Они хитрее сахарников повели свою линию: для них личных интересов не существует и они не думают об отягощении казны новыми расходами; напротив, они заботятся об увеличении доходов Государственного Казначейства и о правильной постановке у нас нефтяного дела. Короче сказать, они великодушно просят обложить нефть акцизом в пользу казны. Как не подивиться такому самопожертвованию! Люди, которые, кстати заметить, постоянно жалуются на претерпеваемые ими убытки, вдруг обращаются к правительству с заявлением об обложении их и без того де малоходных предприятий новым налогом; да как еще упорно на этом настаивают: возьмите с нас акциз, да и только!

Не ограничиваясь самоличным ходатайством в Министерстве финансов, эти господа обратились и в Общество для Содействия Русской Промышленности и Торговли с целью усилить свое ходатайство его поддержкой. Когда в последнем заседании Общества 10 марта профессор Менделеев привел веские аргументы против этой затеи, то Нобель, туз нефтяного мира, обещался в следующее заседание (17 марта) представить новые данные для обложения нефти акцизом. Что же за причина, что нефтяные промышленники так упорно добиваются своего обложения? В чем здесь секрет?

По принятой у нас в подобных случаях формуле, нефтяные тузы начинают свои домогательства, конечно, речью о благе и процветании России, указывают на пространство и могущество страны и вообще без стеснения пользуются за свой счет объяснением Чичикова с Маниловым. Опасения за дальнейшие судьбы России при неправильной эксплуатации ее нефтяных богатств, вот что одушевляет этих патриотов в их ходатайстве об обложении нефти акцизом. Г. Нобель дошел в своих заботах о благе России до того, что патетически заявил в заседании Общества для Содействия Русской Промышленности и Торговле, что «лучше подороже заплатить за продукты нефти, только бы сохранить запасы ее на будущее время». Насколько тут действительно были заботы о благе страны, можно судить по следующему факту, имевшему место в заседании Общества для Содействия Русской Промышленности и Торговли 10 марта. *Новости*, напечатавшие подробный отчет об этом заседании, сообщают, что «на основании представленных г. Нобелем цифровых данных председателем собрания был сделан расчет, причем оказалось, что установление налога на нефть отнюдь не приведет к той цели, которой стремится достигнуть г. Нобель: по введении акциза заводчикам также выгодно будет гнать 25 %, как и в настоящее время, и эта мера *нисколько не побудит их к большей утилизации нефти*».

Итак, цифровые данные, к тому же представленные самим г. Нобелем, доказывают, что предлагаемая им мера не приведет к лучшей утилизации нефти и прекращению хищнического ею пользования. Но если не оправдаются выставленные нефтяными спекулянтами мотивы их ходатайства, подвергавшиеся публичному обсуждению, то будет достигнуто удовлетворение не высказываемого ими публично желания создать в свою пользу нефтяную монополию. В этом отношении налог на нефть уже прямо приведет к этой цели: большинство мелких нефтяных заводов, препятствующих теперь тузам назначать произвольные цены на товар, вынуждены будут прекратить дело, и вот тогда-то, при громадных материальных и технических средствах, которые находятся в руках крупных

промышленников, они покажут свою заботливость о процветании любезного Отечества. Дорого обойдется любезному Отечеству этот новый налог, который если и доставит Государственному Казначейству несколько десятков тысяч рублей, то вытянет с народа миллионы в пользу тузов нефтяного мира. Дорого заплатится народ за сжигаемый теперь дешевый керосин. Хуже всего, что этот налог в пользу тузов ляжет на бедных потребителей керосина, который так широко распространился теперь, что совершенно вытеснил традиционную лучину. При нашем климате, когда мы более полугода сидим в сумерках, дешевый керосин истинное благодеяние для народа, доставляя ему возможность при дешевом освещении коротать за работой длинные осенние и зимние вечера.

Верховная власть озабочена нуждами беднейших классов населения; изыскиваются способы облегчить их. И при такой Высочайшей властью поставленной цели нашей финансовой политики вдруг начинаются домогательства обложить именно наиболее нуждающееся население, составляющее главный контингент потребителей керосина, налогом и притом в пользу спекулянтов. Господа эти публично заявляют, будто введения налога на нефть «желает» и Министерство финансов. Но Министерство финансов может ли желать того, что противоречит предназначениям Самодержавного Монарха?

Что касается хищнического способа эксплуатации наших нефтяных богатств, о чем так красноречиво распространяется г. Нобель, то следовало бы обратить на это внимание, благо нефтепромышленники сами сознаются в творимом ими зле. Следовало бы принять меры для введения строгого правительственного контроля над пользованием нашими богатствами и не позволять непроизводительно уничтожать их. Это будет много полезнее для страны, нежели создавать частную нефтяную монополию с закрепощением ей народных масс.

В заключение обращаем особенное внимание читателей на помещаемый в этом номере доклад М. И. Кази в Обществе Содействия Промышленности. Очень сожалеем, что по обширности этого замечательного и по содержанию, и по изложению

труда мы были вынуждены разделить его на два номера. Доводы г. Кази и взгляд его на дело, которым овладела спекуляция, встретившая себе удивительное потворство там, где следовало бы дать ей энергический отпор, совершенно согласен с тем, что приходилось нам высказывать по этому вопросу. Ввиду раскрываемых фактов и цифровых данных может ли оставаться хотя малейшее сомнение в спекулятивном характере всего этого дела, рассчитанного на эксплуатацию казны и народа в подрыве самому свеклосахарному делу и в пользу лишь нескольких лиц.

Сельское хозяйство

РУССКАЯ СЕЛЬСКАЯ ОБЩИНА

Давно уже в нашей литературе возник вопрос о значении русской сельской общины. Вопрос этот рассматривался и в историческом, и в экономическом отношении. Значение его то расширялось до бесконечности, то стеснялось до уничтожения. Одни видят в сельской общине на Руси коренное начало нашей народности; другие объясняют ее организацию из исторических обстоятельств, преимущественно из развития крепостного права и, не видя в ней никакого существенного начала народной жизни, полагают, что она исчезнет с изменением обстоятельств, которые условливают ее существование. Первые, понимая так высоко значение русской сельской общины, готовы защищать ее до последней крайности. Напрасно представляли им самые убедительные доводы об экономической несостоятельности общинного владения, напрасно собственный опыт, собственное сознание шептали им, что из общинного владения ничего путного выйти не может; они все стояли на своем, говоря: *credo, quia absurdum est**. Не знаем, остаются ли они до сих пор в прежней позиции после целого ряда статей, помещенных в нашем журнале и представляющих в подробности и с разных

* Верую, ибо абсурдно (*лат.*)

сторон всю нелепость и весь вред общинного владения, за которое защитники русской общины ратуют с таким увлечением, с таким энтузиазмом, с таким решительным пожертвованием самых коренных экономических начал. Увлечение это доходило до того, что они готовы были сказать последнее прости политической экономии, противоречившей их мнениям, и утешали себя в предстоявшей разлуке тем, что Бог поможет им найти какую-нибудь другую политическую экономию, основанную на русских началах. Мы уважаем твердость убеждений и даже пыл увлечения; но сожалеем, что люди серьезные при первом недоразумении так легкосердечно прощаются с наукой и так легкомысленно отправляются искать другую.

Кроме этих, впрочем, почтенных и уважаемых нами голосов, раздавались еще голоса иного свойства в пользу общинного владения. Но эти были свободны от всякого энтузиазма и не имели никаких убеждений. В голове этих господ сложился неразстворимый осадок от верхоглядного чтения всякого рода брошюр, которых все достоинство в их глазах состояло только в том, что они были направлены против политической экономии и вообще против всех начал ясного мышления и знания. В них не заметно признаков собственной мысли и видно, что ни до какого результата не доходили они испытанием собственного ума; но тем тверже засели в них результаты всяких брожений чужой мысли. Все встречное и поперечное приравнивают они к этим осадкам, заменяющим для них собственный ум; в чем заметят они какое-нибудь согласие, какое-нибудь сродство с словами их авторитетов, то становится для них предметом живейших сочувствий, и они с задорным ожесточением защищают свою святыню, оспаривая все встречное и поперечное, что не подойдет под цвет и тон жалких суррогатов истины, служащих обильнейшим источником если не мысли, то удалых слов и ухарских фраз. Эти господа не обошли и русской общины. Их пленяло в ней общинное владение, потому что кто-то и когда-то сказал что-то в похвалу общинного владения и потому еще, что оно радикально противоречит всем законам политической экономии. Для всякого другого такое противоречие не было

бы, по крайней мере, предметом особенной радости; но для этих господ именно это-то самое несогласие с наукой и служит сильнейшей причиной пристрастия к общинному владению. Не то чтоб они дорожили своим мнением вопреки науке; этого мало: они потому только и начинают считать какое-либо мнение своим, только потому и цепляются за него, только потому и дорожат им, что оно отвергается мыслью и противоречит науке. К сожалению, эти задорно крикливые голоса, которых наглость равняется только их невежеству и безмыслию, слишком часто и не без эффекта раздаются в нашей литературе, увлекая за собою ватагу праздных голов, в которых звенят только слова за отсутствием мысли. Для этих крикунов нет ничего заветного; мы слышали, с каким цинизмом восставали они против истории, против прав личности, льгот общественных, науки, образования; все готовы были они нести на свой мерзостный костер из угождения идолам, которым они поработили себя, хотя нет никакого сомнения, что стоило бы только этим идолам кивнуть пальцем в другую сторону, и жрецы их запели бы мгновенно иную песню и разложили бы иной костер.

Об общинном владении не может более идти серьезной речи. Много, слишком много было уже сказано против этой формы владения, и говорить более значило бы гоняться с обухом за мухой. Отстаивать общинное владение невозможно, по крайней мере, невозможно для людей, уважающих слово и не способных жертвовать очевидностью истины упрямству самолюбия. Но исчезает ли с общинным владением и русская община? В общинном ли владении заключается ее сила, и не есть ли это, напротив, то самое в ней, что, может быть, действительно образовалось вследствие крепостного права, что составляет ее темную сторону, ее недостаток, ее слабость, — то, наконец, от чего она должна быть освобождена и очищена?

Очень жаль, что пробуждающаяся у нас потребность самостоятельности нередко соединяется с какою-то детской строптивостью и заносчивостью, которой море по колени и которая готова хватать звезды с неба. Как бы ни было восторженно это чувство самостоятельности, оно, являясь с такими признаками,

едва ли может свидетельствовать о той степени зрелости, без которой невозможна самостоятельность. Мы глубоко сочувствуем тем из наших писателей, которые с живой любовью обращаются к тайникам нашей народности и изучают наше историческое прошедшее не с тем только, чтобы, следуя пошлой рутине, тешить свою цивилизованную душу сопоставлением деликатности своих нравов с грубостью старого времени. В самом деле, нельзя без чувства жалости и презрения видеть это последнее бесплодное направление, которое не имеет другой цели, как только клеймить и позорить прошедшее и воевать с тем, что само же считает навеки отжившим и уничтоженным. Все это также признаки детства. Но здесь эти признаки не выкупаются живой силой убеждения и энтузиазмом предчувствия, во всяком случае несравненно более плодотворным, чем сухая и мертвая забота тщательно и бескорыстно опорочивать все то, чем увлекаются другие. Юность с энтузиазмом может подавать надежду, а мальчики, которые не знают другой радости и не имеют другой цели, как только пересмеивать увлечения других – народ совершенно безнадежный. Признаемся, безотрадно было слышать в нашей литературе эти голоса, которые систематически, из одного только желания перечить своим противникам, осуждали, отрицали и бесславили все то, что в русской истории, в русской народности и даже во всем остальном Божьем мире привлекало к себе сочувствие или внимание их противников. Крики против несостоятельности *западной науки*, как будто есть еще наука восточная, не могли, конечно, вредить науке, и есть надежда, что те или другие из этих противников науки, ознакомившись с нею поближе, изменят свой язык, что сила истинного чувства возьмет у них верх над пустым самолюбием. Что же касается до тех умов, которые не знают другой более серьезной цели для своей деятельности, как следить за своими противниками, чтобы только плевать на те места, которым те вздумают поклониться, то они могли быть положительно вредны. Они отвлекали мысль от живой стороны нашей истории и нашей народности; они несли повсюду смерть и опустошение; они заслоняли народ механизмом своей безотрадной систематизации.

Не может быть, чтобы в целом великом прошедшем народа не таились благородные начала жизни и развития, не может быть, чтобы в нем не было по крайней мере, намеков его гения и задатков его будущности! И что же? С одной стороны, мы видим бессильную и слепую фантазию, которая вселяет только недоверие и подозрительность относительно предметов своего увлечения, а с другой – жалкое презрение ко всякому оригинальному проявлению народности, якобы слишком грубому, не довольно вышколенному административной розгой, в которой видят они животворную силу исторического развития и народного образования. Грубость нравов! Как будто в прошедшем какого бы то ни было народа, самого цивилизованного, самого благоустроенного, не была во времена оны повсеместная грубость нравов и как будто тем не менее не таилось в ней золота исторического развития! Были деликатные критики нашего Кирши Данилова, укорявшие его, или, лучше, древнюю Русь, за грубые сцены убийства и насилия, как будто мало подобных сцен в поэмах Гомера, в поэмах германских и даже в действительности нам современной.

Но возвратимся к русской сельской общине. Мы полагаем, что каковы бы ни были обстоятельства, выработанные историей и образующие собой какое-либо общественное положение, задача состоит не в том, чтобы сломать и разбросать их, а чтоб уметь ими воспользоваться для лучшего духа и открыть в них намеки на лучший смысл. Истинное развитие совершается не ломкой и уничтожением, а преобразованием, которое пользуется бережно всеми элементами, находимыми в действительности. Понятие тогда только зрело, когда своим приближением к факту способно оплодотворять его и возвышать его значение.

Мы стоим за русскую сельскую общину не только в политическом или административном отношении, но и в отношении экономическом. Оба эти значения, политическое и экономическое, различаем мы явственно и обоими дорожим в русской сельской общине. Но при этом мы не считаем и нужным заявлять преимущество личного владения над общинным. Всякий дальнейший спор об этом был бы празднословием. Общинное

владение не только не может состязаться с владением личным, но должно непременно исчезнуть перед ним само собой, если только не будут насильственно навязывать его народной жизни, если только захотят понять ее истинное требование и действительный смысл ее указаний.

Нет, жизнь нашего народа не есть нарушение всемирных законов общественной экономии! Нет, факты, сложившиеся в ней, не составляют аномалии, будь это сказано не во гнев тем, которые именно и восторгаются ими за то, что они являются им аномалией. Русская сельская община не противоречит политической экономии, а, напротив, представляет ей весьма важный, весьма обильный предмет для изучения, не стесняет ее пределов, а, напротив, расширяет их и обогащает область ее ведения.

Считаем не лишним высказаться о понятии владения. Мы считаем это тем необходимее, что понятие это доселе служит предметом споров и поводом к разным недоразумениям. Бесспорно владение в основе своей есть фактическое выражение силы, и как бы ни было впоследствии священо и неприкосновенно право собственности, первоначальный источник его в действительности есть факт во всей своей грубости и случайности. Самое занятие или захват (*occupatio*), не состоящее в прямом насилии против других лиц, является тем не менее как более или менее энергическое исключение всех других из владения занятой вещью и потому все-таки сопряжено с большим или меньшим вынуждением относительно других лиц. Этого мало: факт владения у тех народов развился быстрее и могущественнее до степени права, где первоначальный источник его была сила оружия, насильственное действие, как у римлян. Недаром копье было в Риме символом собственности. Все понятия о собственности в римском мире сходились к одному общему корню – к орудию и военной добыче. Чем воинственнее племя, тем сильнее развивается в нем и факт, и понятие владения. В этом первоначальном факте, факте силы, оружия и войны, заключаются начатки самого государства. Начало собственности теряется в одном источнике с началом государства. То и другое первоначально совпадает, то и другое есть

владение отмежеванное и защищаемое мечом. Только посреди воинственных народов развивалось энергически, как свидетельствует история, государственное начало со всеми своими последствиями, и только там факт владения возводился со ступени на ступень до священной неприкосновенности исключительного права. Нигде такие страшные заклатья не ограждали права собственности, как в Риме; нигде закон так не обеспечивал это право, как на этой классической почве государственного начала, в этом народе, по преимуществу завоевательном. Племена патриархальные теряются в доисторической мгле; в них никогда не вырабатывались во всей чистоте и строгости государственные формы и соединенные с ними юридические понятия. Точно то же следует сказать о племенах, заселявших землю путем мирного занятия; в них также не вырабатывались сами собою явственные государственные формы; племена эти отличаются, напротив, более или менее сильной антипатией к государственным формам и к точным юридическим определениям. Таковы по преимуществу племена славянские, и в этом заключается вся особенность их исторической судьбы. Факт завоевания и соединенное с ним энергическое выражение господства и обладания не лежит ни в основе их духа, ни в глубине их прошедшего. Начало господства и обладания, напротив, прививалось к ним со стороны, прививалось туго, медленно и со страшными усилиями. Одни из них подпали под власть чуждых племен, другие, как наше Отечество, усвоили после многих веков борьбы и усилий это начало, которое послужило к организации громадного политического целого, но которое тем не менее не составляет сущности народного духа. Как бы сильно ни выражался в таком народе характер господства и власти, никогда не проникнет это начало в самое сердце его, точно так же, как никогда могущество его военной силы не сделает его народом завоевателем.

Обыкновенно говорится, что владение составляет необходимую принадлежность личности, что право собственности есть существенная основа всех прав и всякого значения личности. Действительно, воля человеческая, чтобы значить что-

нибудь, должна же заявлять и выражать себя в чем-нибудь, и предмет, который служит как бы веществом для ее проявления, есть в том или другом смысле, в той или другой степени предмет ее владения. Но должно понимать это ясно и с различием, чтобы не сбиться в понятиях, чтобы не говорить потом слов без смысла или слов, противоречащих своему смыслу. Не на все в мире может простираться владеющая воля человека без искажения собственного характера, без утраты собственного значения; также не все в человеке составляет то, что по своей сущности заслуживает названия личности; напротив, к натуре его принадлежит много такого, с чем он сам должен постоянно бороться, чтобы держаться на той высоте нравственного единства, которое должно управлять всеми его действиями и быть сущностью его воли, истинной силой его личности. Не везде, стало быть, приложение личности истинно и справедливо в отношении к ней же самой; не везде эпитет личного равно уместен. Так, прежде всего право владения не должно простираться на другого человека, хотя фактически оно может простираться на все без различия, столько же на бездушные вещи, сколько на самого человека.

Строгость римского права не делала исключения для человека, подвластного другому человеку, и к нему во всей силе прилагалась беспощадная формула, которая определяла полное право собственности правом уничтожения подлежащей ему вещи. Так как первоначальные источники владения теряются в эпохах грубой материальной силы, то человек был сам один из первых предметов владения. Слово *mancipium*, *manu captum*, то есть *схващенное рукой*, слово это, перешедшее в Риме на все виды строгой собственности, первоначально означало невольника, на котором всего явственнее, всего разительнее обозначалась овладевающая рука. Но очевидно, что здесь владение не только не служит к возвышению личности, а, напротив, оскверняет, унижает, уничтожает ее, и при том не только в самом рабе, но и в рабовладельце. Такого рода владение развивает в человеке ту стихию, которая в нем самом вытесняет и подавляет существо человеческой личности. В христианском мире невольничество

должно было пасть. Подсеченное в своем корне, оно постепенно смягчалось в своих формах и наконец благополучно умирает с последним вздохом крепостного права.

Из прочих предметов, хотя нет ни одного, который можно было так всецело изъять из владеющей руки, однако есть один предмет, который не может стать предметом полной, безграничной, абсолютной собственности. Предмет этот – сама земля. Земля не есть такая вещь, которая, по строгой формуле римского права, может подлежать уничтожению как последнему и самому решительному выражению права собственности. Поземельный участок уничтожить нельзя, по крайней мере, нельзя уничтожить в строгом смысле, как бы ни уменьшалась ценность его от нерадения и неразумия владельца. Об ограничениях, которым может и должна подлежать поземельная собственность, мы объяснимся ниже, а теперь заметим только, что такие ограничения личной собственности нисколько не должны быть понимаемы, как посягательство на достоинство личности. Никогда истинный успех не состоит в стеснении свободы или прав человеческого лица. Напротив, правильное ограничение в предметах и в степени личной собственности возвышает личность, очищая ее. Лишаясь господства над человеком, личность бесспорно очищается и облагораживается; точно так же не может обратиться ей в ущерб и сознание, что право поземельной собственности не способно быть правом безграничным и абсолютным. За постепенным исключением всего несправедливого и недолжного из власти человеческой остается обширная область справедливого и должного. Владение человеческое может вполне проявлять себя над изобилием вещей естественных и искусственных. Но и здесь еще не есть истинная среда для власти человеческой. Всем этим человек может владеть и не владеть, но одним предметом он должен владеть по преимуществу, и этот предмет есть он сам. Самообладание есть последнее, самое высшее и самое чистое выражение человеческой власти, и это – начало самообладания, со всеми своими правами и обязанностями, со всеми своими последствиями как для человека отдельного, так и для общества, есть начало той свободы, которая

должна служить нормой человеческого развития и соглашать с собой все общественные отношения. Это есть право жить всей полнотой человеческого существа, мыслить и действовать по убеждению и совести. Все прочие предметы владения хороши лишь в той мере, в какой они обеспечивают личную свободу человека и независимость его положения. Личная собственность по отношению к земле и к другим вещам важна и полезна не сама по себе, а лишь в той мере, в какой обуславливает возможность более или менее полного человеческого существования. В Риме право собственности выработалось до классической определенности, но определенность была только формальная, она не соединялась с той внутренней определенностью, которая бы различала предметы владения и согласовала его с высшей нормой. Древний мир не знал этой высшей нормы, которая внесена в человеческую жизнь только христианством. А потому если Рим выработал по преимуществу право личной собственности, то это не значит, чтобы личность в римском мире была началом господствующим в своем истинном значении. Напротив, в этом истинном значении своем она и не существовала тогда. Христианство дало положительную основу для нового порядка жизни и для нового значения человеческой личности, хотя в христианском мире атрибут *личного* стал по отношению ко многому атрибутом несправедливым и недолжным. Новые народы, вышедшие на историческое поприще, внесли некоторые новые черты в понятие собственности и ограничили собственность личную некоторыми условиями публичного права. Классическая форма личной собственности, выработанная римским правом, останется навсегда вечным стражем этого столь существенного в человеческом обществе отношения; но применение этой формы в новом мире возможно не ко всем и не ко всему в равной мере.

Обратим теперь особенное внимание на поземельную собственность, которая составляет главный предмет этой статьи. Чувствуется само собой, даже без помощи анализа, что земля не может и не должна быть предметом безграничной абсолютной собственности лица. В германской народности этот

первоначальный инстинкт выразился в образовании родовой собственности, в так называемых субституатах и фидеикоммиссах. Майорат, как и всякого рода фамильный фидеикоммисс, есть имущество, принадлежащее не лицу владеющему, а роду, которого представителем является лицо. Владелец принимает собственность от рода и точно так же передает ее в род; представитель рода владеет и пользуется родовой собственностью, но не может сам считаться собственником, не имея права отчуждать имущество, которое установленным порядком должно перейти к будущему представителю того же рода. Фамильный фидеикоммисс есть родовая собственность в отличие от собственности личной и служит как бы ограничением личной собственности относительно земли в пользу рода.

В германском мире инстинкт, лежащий в основе родовой собственности, был в соединении с другими особенностями источником многих весьма важных и характеристических явлений. В тесной связи с ними состоит могущественное развитие аристократического начала на германской почве, хотя, впрочем, родовая собственность не составляла и до сих пор не составляет исключительной принадлежности аристократии у германских народов. Как в Англии, так и в самой Германии фидеикоммиссы в разных формах являются столько же в мелких крестьянских участках, сколько и в большой собственности, специально аристократической. Нет сомнения, что в родовых имениях обозначается особенность германской народности, хотя некоторые исследователи германского права и отрицают это, доказывая, что родовая собственность произошла из разных случайных обстоятельств, а не из понятия о родовой собственности. Мы совершенно согласны с этим; действительно, никак нельзя предполагать, чтобы в германской народности существовало прежде понятие об этом, а потом, под руководством понятия, развилось самое дело. В родоначальниках не было, без сомнения, теоретического сознания о политических последствиях и значении родовых имуществ. Как всегда бывает в истории, так было и тут: стеклись разные обстоятельства, из которых при содействии римского права выработались с те-

чением времени известного рода факты, а факты эти, в свою очередь, возводятся в понятия.

Только при условии родовой собственности могло развиться аристократическое начало. Замечательно, что родовая собственность держится именно там, где аристократия имеет существенное значение, где она не каста, даже не сословие, а представляет собой чисто политический институт. Во Франции майораты потеряли смысл и были предметом справедливого протеста страны, которая видела в них только стеснение народного благосостояния. Французские дворяне не оказывали никаких услуг народу, составляли замкнутую касту, а потому всякая привилегия этой касты была предметом общей ожесточенной ненависти, имевшей роковые последствия. В Англии дворянства в собственном смысле нет, по крайней мере слова *gentry*, *gentleman* не соответствуют в своем настоящем значении французскому *gentilhomme*. Как французское слово *gentilhomme*, так и английское *gentleman* равно означают этимологически человека благородного, родовитого, но в Англии название это не имеет условного смысла касты или даже сословия и относится, равно как и слово *esquire*, ко всякому образованному человеку, какого бы то ни было происхождения, имеющему свободную профессию, хотя бы он и не имел никакой собственности. Если в теснейшем смысле к *gentry* принадлежат преимущественно землевладельцы, то и это не составляет никакой сословной привилегии, ибо всякий, кто имеет деньги, может купить землю и быть землевладельцем. Земли эти переходят из рук в руки, и класс землевладельцев обновляется непрерывно: одни входят, другие выходят. Но вместе с этими землями, переходящими из рук в руки, вместе с этой личной собственностью существует в Англии *de facto* в больших размерах собственность по преимуществу родовая. Сюда преимущественно принадлежат имения знати (*nobility*) или лордов. Обыкновенно *nobility* переводится у нас словом *дворянство* а прилагательное *noble* словом *благородный*, но это неправильно: нашему слову *благородный* соответствует английское *gentleman*, а английское прилагательное *noble*, как и латинское *nobilis*, в буквальном пе-

реводе значит *знатный*, *nobility* – знать. Фразы *the noble lord* или *my noble friend*, которые привыкли мы передавать словами: *благородный лорд*, *мой благородный друг*, гораздо точнее передавались бы по-русски словами: *знатный лорд*, *мой знатный друг*. В английской знати, или аристократии, поземельная собственность имеет по преимуществу родовой характер. Обыкновенно эти родовые имущества лордов называются у нас майоратами. Это не совсем точно: майорат как особый вид родовых имений не есть принадлежность Англии; майораты были особенно распространены во Франции, а в Англии господствует другая форма наследования, именно право первородства, как в царских родах; между тем как в майоратах наследство переходит не к первородному сыну, а к старшему из родственников одного колена; в сеньоратах же переходит к старшему в целом роде, как это было у нас в норманнских княжеских фамилиях во времена удельной системы. Английские лорды суть как бы медиатизированные владетельные князья. Они называются *пэрами* (*peers*), то есть равными королю, и суть как бы отдельные части королевской власти, не централизованные в одну громадную силу, как это произошло на материке Европы, преимущественно во Франции; они как бы повторяют собой в малом виде и внутри одной страны то явление, какое представляет целая федерация независимых друг от друга государств, которые в новые времена заменяют собой прежние сплошные всемирные владычества. Они как бы нейтрализуют в себе излишек королевской прерогативы, раздробляя ее в своей среде. Английские лорды – совершенная противоположность французским дворянам, которые не имели никаких прав перед центральной властью, а, напротив, все свое значение полагали в правах и привилегиях относительно других классов народа. Французские дворяне разделяли между собой не излишек королевской прерогативы, не в ней, так сказать, осуществляли свое значение, – напротив, они уничтожались перед ней, – но тем сильнее, тем с большим напором искали они этого значения в гражданских и сословных преимуществах над остальным народом и въедались в него всякого рода притеснениями и обидами. Отсюда ненависть к ним,

как к бесплодному и чужеядному существованию, и отсюда, напротив, великое значение английского аристократа, удержанное им до сих пор. Собственно говоря, во Франции никогда и не было аристократа, ибо французская *noblesse* всего менее походит на аристократа. Лорды, в сущности, не составляют сословия как замкнутого общественного состояния, более или менее приближающегося к характеру касты; напротив, национальный в Англии институт первородства отнимает у английской аристократии возможность замкнуться во что-либо, похожее на касту. Лорды в каждый данный момент времени представляют собой совокупность наличных представителей известных родов. Только один представитель рода носит главный титул рода и владеет его собственностью; младшие сыновья теряют титул и перестают быть лордами, так что боковые ветви родов малопомалу нисходят до скромных занятий. В каждый момент времени каждый аристократический титул принадлежит одному лицу, и эти наличные представители аристократических родов, или титулов, образуют в совокупности палату лордов, одну из составных частей парламента. Итак, верхняя палата парламента – вот пункт соединения лордов, вот что связывает их в одно целое. Герцог, маркиз, граф, барон есть, в качестве лорда, природный член верхней палаты парламента; он заседает в ней или принимает участие в политических делах страны единственно по праву своего первородства, и участие его в законодательстве не зависит ни от чьей воли; они не нуждаются в выборе, а также не нуждаются и в королевском назначении, хотя королевская власть имеет право возводить новых людей в достоинство лордов, для чего, в свою очередь, не требуется разрешения со стороны сословия верхней палаты. Количество лордов новопроизведенных в нынешнее столетие далеко превышает совокупность старинных родов.

Мы не можем рассуждать здесь о политическом значении английской аристократии. Но доселе она была существенным колесом в механизме английского государственного устройства. Она была живой, производительной силой, она принесла великое благо стране. Английский лорд пользуется уважением

не потому, чтобы кто-нибудь был обязан оказывать ему это уважение, а по тому достоинству, которое сообщает ему его положение, ознаменовавшее себя существенными услугами стране. Но положение это не укроет его от общественного суда, если он каким-нибудь поступком опозорит свое имя; его не спасет ни титул, ни положение, ни богатство. Пока будет требоваться страной существование верхней палаты, будут иметь значение и лорды. Законодательная функция этой палаты с течением времени очень умалилась; но надобно думать, что она никогда не дойдет до нуля. Кроме законодательного значения еще, может быть, более благодетельное действие в общем составе народной жизни оказывает палата лордов в качестве верховного суда. Полная независимость лордов относительно всех возможных властей в высокой степени способствует охранению независимости юстиции вообще, этой великой драгоценности общества.

Часто толкуют у нас об экономических преимуществах лордов, о громадном поземельном богатстве, которым они владеют в ущерб прочим классам народонаселения, часто скорбят о правах, которые будто бы составляют их исключительную принадлежность, замыкать свои владения субституциями в неразделимую и неотчуждаемую собственность. Во всех этих толках высказывается прежде всего лишь крайнее невежество. Лорды не пользуются никаким преимуществом для учреждения субститутов. Всякий человек, имеющей в своем обладании клочок земли, может, если хочет, пользоваться правом субституции; с другой стороны, здоровый инстинкт этого свободного народа отнял у родовых имений ту оцепенелость, в которую приходили они, например, в Германии. Хотя право первородства в английских фамилиях есть установленный законом порядок, но он не имеет строгой обязательной силы. Владелец может, если хочет, изменять этот порядок; он может делить имение между живущими членами своего семейства, может завещать его по усмотрению и постановлять обязательный субститут только на одно поколение. Так, завещая кому-либо имущество, владелец может тем же завещанием приказывать, чтоб оно следующим владельцем было непременно передано

такому-то, еще не родившемуся, и пока этот еще не родившийся будущий наследник имения не достигнет совершеннолетия, до тех пор на имение лежит запрет; когда же субститут достигнет совершеннолетия, то заповедной характер имения прекращается, восстанавливается прежний порядок, а с тем вместе владельцу возвращается свобода делить и завещать свое имение прямо или опять посредством субституций. Право первородства обязательно в Англии только в том случае, когда владелец умирает, не совершив завещания. Итак, действительно существует обычай наследования по праву первородства, но обычай этот не имеет обязательной силы, и владельцу предоставляется свобода распорядиться иначе, если только он не связан актом завещания, который, как сказано выше, имеет обязательную силу только на одно поколение. В графстве Кентском даже вообще не существует этот обычай наследования по праву первородства. Замечательно, что Наполеон I вместо упраздненных революцией стеснительных майоратов во Франции установил субституцию от деда к внуку, так что сила субституции может связывать только сына и прекращается во внуке, совершенно согласно с нынешним правом субституции в Англии.

Большая собственность вовсе не есть привилегия лордов. Всякий может быть большим собственником, у кого есть большой капитал. Тут нет даже тени политического преимущества, и сосредоточение больших поземельных владений объясняется единственно экономическими причинами.

Гораздо важнее заняться теперь вопросом, нет ли вообще какой-нибудь привилегии в самом свойстве поземельной собственности, какова бы она ни была и в чьих бы руках ни находилась.

Английские экономисты вслед за Адамом Смитом, и во главе их Рикардо, установили учение о поземельной ренте, которая за вычетом процента с капитала, положенного в землю, и вознаграждения за труд составляет как бы даровую премию, или привилегию, поземельной собственности. В недавнее время, преимущественно во Франции, старались с особым усилением доказать, что поземельная собственность не

сопряжена ни с какой привилегией, что ценность земли, как и всякая ценность, обуславливается единственно человеческим трудом, внесенным в нее, и что никакой ценности и быть не может вне человеческого труда. В статье г. Неелова: *О личном и общинном владении землей*, помещенной в нашем журнале (*Русский вестник*, 1858 года, № 14), приведено относящееся сюда мнение известного французского экономиста Бастиа, отрицавшего с особенным красноречием и блеском, согласно учению американского экономиста Кери, всякую привилегию в поземельной собственности. Но мнение это, доведенное до блестящего парадокса, не во всех отношениях выдерживает критику. Мы должны обратить на этот предмет внимание, и прежде для того, чтобы точнее установить понятие, взглянем на него с юридической точки зрения.

Какого рода владение есть право по самой натуре своей? Какое владение легко и как бы само собой переходит в право собственности? На этот вопрос можно отвечать вполне удовлетворительно. Человек по праву и по долгу владеет самим собой, и потому все, что в каждой вещи произведено человеком, труд его, часть его деятельности, есть по натуре своей предмет собственности. По отношению к человеческому труду акт владения и право собственности изначала совпадают. Но всякая вещь, в которую входит труд человеческий, заимствована материально из общей сокровищницы – земли. Труду нужна возможность, среда, вещество, и каждая вещь, составляющая предмет внешнего владения, заключает в себе начало поземельной собственности, возводится одной своей частью к источнику чистого права, к труду человеческому, а другую часть восходит к чистому факту завладения. Как в поземельной собственности в теснейшем смысле слова, так и в каждой материальной вещи, входящей в состав человеческой собственности, вместе с долей чистого права есть доля чистого факта. В народах завоевательных, по преимуществу государственных, как сказали мы выше, факт владения вырабатывается энергически и строго в право собственности. Но натура факта от того не изменяется; он становится правом не вследствие внутрен-

него преобразования своей сущности, которая остается неизменной, а вследствие особого принимаемого им положения. Объясним это несколько ближе.

Первоначальный акт населения, до которого можем мы путем анализа дойти в основе собственности, совершенно односторонен с проявлением грубой силы природы: огонь истребляет лес, вода затопляет берега, зверь пожирает свою добычу. Когда два человека боролись за землю, которая не была еще ничьей собственностью, тогда не могло быть еще и мысли о праве, ничье право не нарушалось, сокрушалась сила одного, одолевала сила другого, и дело решалось жребием битвы, как в наше время жребий битвы решает спор между государствами: каждый человек был как бы ходячее государство.

Завоеванная земля приобретена с опасностью жизни, ценой крови и, конечно, вследствие этого очень дорога для овладевшего. Но первоначальный акт овладения должен продолжаться, чтоб иметь силу. Той же рукой, тем же копьем человек должен защищать свои владения, готовый отражать нападения. Акт наступательный превращается в акт оборонительный, но остается все тем же актом вооруженной силы. Что же снимает с человека эту необходимость напряженной обороны, что позволяет ему вложить свой меч в ножны под мирным и обеспеченным кровом? Это бремя снимает с него целое государство, как общая вооруженная сила, в которую вооруженная сила отдельной личности входит как элемент или как часть. Факт условно признается правом, хотя в сущности он все-таки остается фактом, и эта фактическая примесь разливает на весь мир юридические отношения, входя как элемент во всякое дальнейшее право. В бесчисленных комбинациях этого элемента практически нет возможности отделить его и указать, где оканчивается факт, где начинается чистое право. Элемент чистого права, присутствуя во всех комбинациях и не уничтожая фактической примеси, более или менее замиряет ее собой и освящает своим присутствием всякую юридическую и политическую комбинацию.

Теперь нам легче будет рассмотреть этот вопрос со стороны экономической. Действительно, акт человеческий сообщает

вещам и земле, как их основе, ценность. Что не приобретено, не усвоено человеком, то, конечно, не имеет экономической ценности. Акт завладения, отнятия, завоевания есть своего рода труд и притом сопряженный с опасностью жизни. Там, где в первоначальное время происходило мирное занятие земли, как заметили мы выше, не вырабатывалась и личная собственность. Только кровь, пролитая на земле и за землю, только риск собственной жизни мог зажечь в человеке мысль о личной собственности. Когда в Риме плебеи, у которых впервые выработалось сознание личной собственности, требовали надела себе участков из общественного поля, то они в основание своему праву говорили, что земля эта добыта их кровью. Но земля, завоеванная и занятая народом, становясь государственной территорией, замыкается в известные пределы. Как бы ни увеличивалась впоследствии производительность почвы умом и трудом человека, земля всегда останется величиной определенной, а с тем вместе стесняется в границах и труд человека, направленный на землю. Вследствие того и труд завладения и труд улучшения земли ценится последующими поколениями тем выше, чем более чувствуются эти границы, эти твердые пределы земли.

Между тем как человеческая деятельность встречается в поземельной собственности предустановленные грани, она растет и развивается во всех других сферах соразмерно с увеличением народонаселения, с умножением потребностей, с развитием общего благосостояния. Человек может трудиться сколько хочет и сколько позволяют ему силы. Свободный, он трудится для себя, трудясь для других; каждый труд свой он выменивает на то, что ему нужно из труда других или получает вознаграждение. Но чем более развиваются потребности общества, чем более растет оно в своем благосостоянии и в числе лиц, тем более запроса на все то, что берется от земли, что составляет вещество труда, суровый материал для человеческой деятельности, и тем более, следовательно, растет ценность сурового факта, лежащего в основе поземельной собственности. Каждый шаг общественного развития платит поземельной собственности как бы премию, ибо с каждым

шагом продукты чистого труда дешевеют, а продукты земли и земля дорожают. Пока общественное благосостояние растет и народонаселение умножается, за единицу земледельческого труда дается уже не равномерное количество всякого другого труда, а вдвое, втрое, вчетверо и т. д., следовательно, и за доступ к земледельческому труду платится все более и более, то есть все более и более возрастает арендная плата за землю, а вместе и продажная ценность земли. Вот в этом-то и заключается экономическая особенность поземельной собственности. Владелец может полагать на свой участок огромный капитал, огромный труд; но в доходе, который он получает от своего промысла, заключается большее или меньшее количество даровой премии, то есть дохода, который достается ему без всякого труда, только вследствие особого положения поземельной собственности и ее отношения к общей производительности народных сил в данный момент времени. Определить на деле количество даровой премии в каждом данном случае нет никакой возможности: так неразрешимо связана она с ценностью заслуженной. В целом экономическом мире разлита эта стихия даровой ценности, но так же как в юридических комбинациях никакой анализ не может практически показать, где оканчивается чистое право и начинается факт, так точно и в комбинациях экономических никакая сила не может разложить смешения и определить с точностью степень и меру даровой ценности в каком-либо данном случае. Верно только то, что эта даровая ценность есть принадлежность поземельной собственности. Важно еще то, что эта даровая ценность увеличивается с движением общего благосостояния и уменьшается с его упадком. Итак, чем более растет народное благосостояние, тем большая премия достается в пользу поземельной собственности.

Но то же самое развитие народного благосостояния и цивилизации приносит с собой средства к установлению равновесия. В Англии провозглашено начало свободной торговли, которое входит все в большую и большую силу, ограничивая премию, получаемую землевладельцами. Отмена хлебных законов сильно понизила цену поземельной собственности в

этой стране, и нужна была вся энергия англо-саксонской породы, чтобы применением улучшенных способов земледелия удешевить и усилить производство хлеба; в настоящее время цены на землю снова поправились. С дальнейшим развитием свободной торговли последует для Англии то, что цена этой премии будет совпадать только с ценой провоза иноземного хлеба, и премия эта будет тем более понижаться, чем более вследствие новых открытий и изобретений будет сокращаться пространство, хотя ни то, ни другое не может дойти до нуля.

Эта-то премия есть то, что может быть названо чистой земельной рентой, которая теоретически отличается явственно от процента с капитала и вознаграждения за труд. Для большей ясности возьмем в пример русского крестьянина, поселенного на собственной земле, который сам обрабатывает свою землю, соединяя в своем лице землевладельца и земледельца. Что такое вся сумма полученного им со своей нивы дохода? Он продал свой хлеб и взял за него деньги: что за что следует ему из этих денег? Он сам бороздил поле, сам снимал хлеб, сам заботился о своем хозяйстве, выбирал удобное время для работ и продажи хлеба, и за свой пот, за свою распорядительность он получает себе вознаграждено в некоторой части этих денег. Но не вся сумма, взятая им за хлеб, есть вознаграждение за его личный труд. Он употреблял разные земледельческие орудия, в труде помогал ему его рабочий скот. Все это стоит денег, которые должны дать ему свой процент, все это портится, стареет, и он должен выручить на хлебе те издержки, которые нужны для ремонта хозяйственных средств его, или так называемого оборотного капитала. Но и этим вознаграждением за употребление и ущерб оборотного хозяйственного капитала не исчерпываются еще все составные части дохода, полученного нашим землевладельцем с его нивы. Если б он не был собственником этого участка, а снимал его у другого, то он должен был бы получить за свой труд и оборотный капитал такое вознаграждение, какое было бы в состоянии поддерживать в земледельце охоту снимать земли в аренду, да сверх того из той выручки пришлось бы ему заплатить некоторую

долю за право обрабатывать этот участок. Но мы предположили, что он сам землевладелец; стало быть, в сумме денег, вырученных им за хлеб, должно заключаться не только вознаграждение за его труд и распорядительность, за употребление и растрату оборотного капитала; в этой же сумме выручки должен он получить и те деньги, которые он заплатил бы землевладельцу, если бы нанимал свой участок, или который он мог бы получить, если бы отдал свой участок внаймы другому лицу. Одним словом, в доходе с проданного хлеба этот человек должен выручить и то, что называется арендной платой и принадлежит ему не как земледельцу, а как землевладельцу. Отчего же зависит величина этой арендной платы? Зависит ли она исключительно от величины капитала, им или его предками употребленного на усиление производительности земли? Если бы так, то арендная плата возвышалась бы только в той мере, в какой увеличивался бы капитал, затраченный на улучшение земли. Но так ли это? Нет сомнения, что всякий капитал, производительно употребленный на землю, должен увеличить ценность ее и, стало быть, возвысить арендную плату. Но кто не знает, что арендная плата иногда возвышается, и возвышается очень значительно, хотя землевладелец ничего не делал для усиления производительности своей земли? Это особенно должно быть знакомо нам, русским, потому что у нас очень немногие землевладельцы затрачивают капиталы на улучшение своих земель, и очень часто производительность земель несколько не увеличивается, а тем не менее земля дорожает и отдается в наем за большие цены, чем прежде. Как поднялись цены даже тех степей, где ничего другого не делается, как только пасутся овцы, и где ни полушки не было употреблено на улучшение почвы! На чем же основан барыш, который получит владелец таких степей, если он вздумает продавать свои земли? Он выручит, может быть, втрое и вчетверо против того, что заплатил двадцать или тридцать лет тому назад. Продажа обнаружила бы в таком случае, что состояние его утроилось и учетверилось без всякого усилия с его стороны. Земли вздорожали везде в округности; он воспользовался вздорожанием,

как премию, лишь за то, что несколько десятков лет тому назад купил землю. И не он один получил эту премию; ее получили, в сущности, все землевладельцы края, хотя она и не видна тем из них, кто не продавал своих земель. В сущности, у всех землевладельцев увеличилось состояние, и увеличилось не от сбережений, а совершенно даром, без труда и денежных трат. Но если поднялась продажная цена земель, то непременно поднялась и арендная плата за землю; следовательно, капитал, двадцать лет тому назад затраченный на покупку земель, стал сам собой давать больше процентов, нежели сколько давал прежде. Отчего же это случилось? Не оттого ли, что вообще возвысился процент, доставляемый капиталами? Но денежные капиталы год от году становятся дешевле, год от году проценты, получаемые с денежных капиталов, уменьшаются. Очевидно, стало быть, что увеличение арендной платы в тех случаях, когда на усиление производительности не было положено особенного капитала, должно быть приписано не свойствам капитала вообще, не свойствам всякого капитала, на что бы он ни был употреблен и каково бы ни было его помещение, а исключительным свойствам капиталов, помещенных на покупку поземельной собственности, или, что то же, исключительным свойствам поземельной собственности. А отсюда ясно, что в ту долю дохода, полученного нашим земледельцем-собственником, которую мы обозначили выше общим именем арендной платы, входит, кроме процентов с капитала, употребленного на улучшение земли (предполагая, что какой-нибудь капитал был на это употреблен им или его предками), еще один элемент, и что этот элемент может возвышаться и понижаться независимо от того, возвышаются ли или понижаются в данное время проценты, приносимые капиталами. Этот-то элемент и есть даровая премия, составляющая особенность поземельной собственности. Арендная плата непременно должна состоять из двух частей, из процентов с капитала, в разное время положенного на усиление производительности участка, и из другой части, основанной на нынешнем размере той даровой премии, которая, как мы видели, составляет принадлежность и приви-

легию поземельной собственности. Эта другая часть называется, для отличия от арендной платы, *поземельной рентой*, в тесном и самом ограниченном смысле этого слова*.

Итак, поземельный доход разлагается посредством анализа на следующие элементы:

1. Вознаграждение за труд и распоряжения.
2. Процент с оборотного капитала.
3. Вознаграждение за ремонт оборотного капитала.
4. Процент (иногда и погашение) основного капитала, то есть капитала, употребленного земледельческими поколениями на усиление производительности земли.
5. Чистая поземельная рента, или даровая премия, могущая возвышаться и понижаться независимо от земледельческого труда и капитала.

Когда экономисты говорят о привилегии поземельной собственности, они имеют в виду этот последний элемент поземельного дохода, чистую поземельную ренту, или даровую премию, получаемую собственником земли. Но надобно ясно уразуметь, что эта премия, по собственной натуре своей даровая, не всем собственникам достается даром или, точнее сказать, никому из полных собственников не достается совершенно даром. Посмотрим на того русского крестьянина, которого мы взяли как пример. Его рента действительно может быть вполне даровая. По всему вероятно, ни он, ни предки его не покупали этого участка; ни ему, ни им этот участок не был пожалован за государственную службу; да и тот человек, который несколько сот лет тому назад первый поселился на этом участке, даже и этот первый оккупатор завладел участком мирно, без усилий, не рискуя жизнью; завладение совершилось посредством спокойного акта занятия. Если все эти условия действительно соединяются, то поземельная рента составляет премию, вполне даровую для землевладельца. Но, с другой стороны, мы замеча-

* В обширном и обыкновенном смысле своем выражение *поземельная рента* означает вообще арендную плату. Для избежания недоразумений мы употребляем выражение *чистая поземельная рента*, когда имеем в виду поземельную ренту в тесном смысле, то есть тот элемент арендной платы, который составляет даровую премию поземельной собственности.

ем знаменательное явление: где все эти условия соединяются в поземельной собственности, там неопределенно бывает и самое право на даровую премию, или что то же неопределенно бывает и принадлежность права собственности. Тот наш крестьянин, если только мы не ошиблись насчет источника прав его на землю, по всему вероятно, не имеет явственного сознания о том, что ему одному принадлежит полное право собственности; по всему вероятно, он не пользуется правом отчуждать или завещать свой участок; по всему вероятно, он сам признает некоторое право на свою землю и за миром того селения, к которому принадлежит его участок.

Но где акт завладения сопровождался усиленным напряжением, где потом земли были предметом неоднократных отчуждений и завещаний, там даровая премия поземельной собственности досталась собственнику не даром. При покупке земли цена определяется мерой всей той части поземельного дохода, которая может быть названа общим именем арендной платы и состоит из чистой ренты с земли и из процента с капитала, произвительно затраченного на улучшение земли. Право на обе эти части арендной платы приобретается покупкой, и за него платятся капиталы, составившиеся из сбережений труда. Таким образом, предметы несомненного права собственности, продукты чистого труда отдаются за приобретение права получать поземельную ренту и лишают ее дарового характера для лица, купившего это право. Правда, что рента способна повышаться без заслуг и усилий со стороны поземельного собственника, но нельзя забывать, что она способна и понижаться и что этот риск входит так же, как элемент, в продажную цену земли.

Итак, в даровой премии поземельной собственности никак не следует видеть привилегию тех лиц, которые владеют землей на праве полной собственности. Если это привилегия, то привилегия не собственников, а поземельной собственности, или, точнее, преимущество этого вида собственности перед другими ее видами – преимущество, основанное на том, что земледельческая промышленность составляет общий источник, из которого все другие отрасли промышленности, все занятия

почерпают вещество, необходимое для потребностей жизни и всякого производства, и в который должны, стало быть, возвращаться доли прибылей всех других видов промышленности. Так как черпать из этого источника можно только в определенных размерах – размеры даются пространством земли – то премия, выпадающая на долю первоначальной земледельческой промышленности, зависит от того, в какой мере необходимо черпать из этого источника, то есть от развитая промышленности перерабатывающей и от возрастания народонаселения. Признавать присутствие даровой премии в поземельном доходе отнюдь не значит подвергать спору святость личной поземельной собственности, и Рикардо, которому учение о поземельной ренте обязано первой полной разработкой, самым энергичским образом настаивает на этом. Но с другой стороны, принимая существование даровой премии в поземельном доходе, нельзя отрицать и того, что нет основания давать исключительное предпочтение началу личной поземельной собственности и отказывать в будущем тем формам поземельной собственности, которые удаляются от этого начала и ограничивают собой его распространение. Было бы делом великой важности встретить в жизни какого-нибудь народа элементы такой формы, при которой все выгоды, доставляемые народному хозяйству личной собственностью, сохранили бы свою силу, а право на даровую премию, связанное с поземельной собственностью, становилось бы по возможности достоянием наибольшего числа людей. Такую форму сочинить невозможно, и в политической экономии никогда ни о чем подобном не было речи; тем более должно приветствовать такое стечение разных обстоятельств в народном быте, которое намекает на возможность подобной формы. Благодаря тому, что народ наш приобрел свою землю не путем завоеваний, благодаря тому, что в основе нашего прошлого нет факта насилия, благодаря тому, что огромные пространства нашей земли, заселяемые народными массами, не запечатлены строгим характером собственности, благодаря, наконец, безмерности пространств, еще вовсе не заселенных, составляющих нашу территорию, благодаря всем этим услови-

ям, из которых каждое порознь не имело бы существенного значения, мы находим в совокупности этих условий возможность совершенно новой формы собственности, которая, не исключая других уже существующих ее форм, напротив, обеспечит их существование, удовлетворит собой все требования и навеки успокоит все опасения.

Мы не хотим предупреждать исторического прогресса и не беремся предугадывать, какую форму может принять в будущем поземельная собственность вообще. Но, указав на ограничение личной собственности началом собственности родовой, мы находим у себя элементы для соответственного явления, гораздо более обильного последствиями, гораздо более знаменательного. Против родовой собственности мы можем смело поставить возможность собственности общинной в нашем Отечестве. Вследствие исторических обстоятельств, которые получают цену, когда окончательно будет понят возможный результат их, у нас есть огромные пространства земли, находящиеся в неопределенном и неясном отношении к праву собственности. Таковы вообще все земли крестьянские. Оставляя пока в стороне земли помещичьих крестьян, мы можем указать на земли крестьян казенных. Они находятся в постоянном владении крестьянских общин. Вследствие общинного владения они подлежат переделам и передаче участков из одних рук в другие, что парализует и стесняет личное владение и отнимает у этих земель ценность как для их владельцев, так и для целой страны. Защитники общинного владения, которые прежде с таким упорством стояли за передел участков, теперь готовы отказаться от него, и, странное дело, разбитые на главном пункте своего мнения, они сдают свою крепость с восклицаниями торжества и победы. Вся беда в том, что защитники общинного владения стали ратовать за этот предмет не по собственному убеждению, а, как сознаются они сами, с разрешения немца Гакстгаузена. Немецкого путешественника занял общинный быт наших крестьян, и хотя ему было известно, что общинное владение землей с переделом участков не есть какая-либо оригинальная русская форма, а, напротив,

было более или менее принадлежностью первоначального быта всех племен, когда еще не выработалось во всей строгости право собственности, он тем не менее с интересом изучал это явление в России, где оно уцелело доселе в таких громадных размерах. Он тем с большим участием занялся нашим общинным владением, что в нем, как в человеке, пришедшем с Запада, громко говорил вопрос о пролетариате. Проникать глубже в основы нашего народного быта и в его требования он не мог, и за это грех было бы винить его. Но нельзя извинить наших мыслителей, которые так робко и так подобострастно ступали по следам немецкого путешественника, ничего не видя в русской общине, кроме общинного владения. Теперь, уступая в выражениях нерешительных, но тем не менее уступая самую сущность общинного владения, передел участков, что же ставят они на место убылого, что же остается для них в русской сельской общине? Надобно думать, что, несмотря на громкие фразы, которыми продолжают они заявлять свое уважение к этому явленно русской жизни, их холостые выстрелы служат только прикрытием отступления, и очень может быть, что по прошествии некоторого времени они вслед за переделом участков простились бы и с прекрасным призраком русской общины, не сумев ничего найти в ней сверх того, что нашел немецкий путешественник.

В одной из предыдущих книжек нашего журнала (*Русский вестник*, № 14, Современная летопись, Крестьянский вопрос, стр. 87) было сказано нами следующее: «Мы желаем, чтобы добрые семена, лежащие в мирском устройстве, принесли плод на русской почве, но если наши мысли не обманывают нас, нам кажется, что существенные выгоды мирского владения (например, невозможность пролетариата) могут быть совмещены с экономическими преимуществами собственности. Мы предоставляем себе высказать впоследствии наше мнение по этому вопросу». Люди, привыкшие сами писать слова без значения, могли не обратить внимания на наши слова и не ожидать ничего от этого обещания, может быть, именно по причине самой скромности его.

Прежде чем приступим к изложению нашего мнения об этом важном предмете, скажем еще несколько слов о различии между понятиями собственности и владения. Владение есть факт, собственность – право. Как право вообще лишь с течением времени вырабатывается из факта, так и собственность предполагает много условий, чтобы выделиться из факта владения. Сила владения первоначально состояла в напряжении руки, державшей вещь. Владение было в силе, пока длилось это напряжение, пока непрерывно возобновлялся из себя этот акт владения. Собственность есть спокойная сущность этого акта, огражденная и обеспеченная государством. Собственник может сам не держать вещь и передать право владения ею другим, не теряя сам своего права на нее. Но есть случаи, когда право собственности может утрачиваться, и, наоборот, владение может отвердевать в право собственности и исключать право первого собственника. Давность владения, однако, тогда только становится началом права, отнимающим вещь у первого собственника, когда он как бы вовсе выпускает из виду предмет своей собственности, по временам не приводит своего права в действие, не оживляет его фактическим применением и как бы сам отказывается от него. Следовательно, право собственности требует также если не постоянного и непрерывного, то, по крайней мере, периодического возобновления всей силы своего действия. Надобно, чтобы собственник, выпуская вещь из рук, не выпускал ее однако из глаз и мог всегда, по крайней мере символически, наложить на нее руку.

Спросим себя теперь снова, кто может быть назван ближайшим собственником земель государственных крестьян?

Прежде всего, конечно, государство, как и значится в их наименовании. Но пользуется ли государство всеми последствиями права собственности? Не есть ли это право более *jus imperii**, чем *jus dominii*** , или нечто среднее между тем и другим, условленное исключительным положением так называемых государственных крестьянских земель? Можно ли поравнять

* Право государства (лат.)

** Право Божье (лат.)

земли государственных крестьян с землями так называемых оброчных статей или чистыми государственными имуществами? С оброчных статей получается арендная плата; государственные крестьяне платят кроме общих податей и повинностей оброк, взимаемый по расчету душ. Уже отсюда видно, что правом государственной собственности обложены не столько земли, сколько сами крестьяне, которые потому и называются государственными, как помещичьи помещичьими. Если даже видеть в obroке государственных крестьян не оброк с лиц, а поземельную ренту, то во всяком случае он отнюдь не равняется целой поземельной ренте; вот причина, почему казенные крестьяне считают тягальный надел правом, между тем как у помещичьих крестьян тягальный надел нередко считается лишь обязанностью. Итак, можно сказать, что государство пользуется лишь некоторой долей последствий, непосредственно вытекающих из права собственности. Кому же предоставляется другая доля, та доля, которая собственно и побуждает казенных крестьян желать переделов? Другими словами, в общинных землях казенных крестьян кто разделяет с государством право собственности? Лица, составляющие общину, не могут претендовать на титул собственников; они владеют землей по праву, которое предоставляет им община, напоминая им периодическими переделами участков, что не они собственники этих участков. Но община, по крайней мере, при теперешних условиях своего существования не может считать себя полным собственником и потому обязана предоставлять своим наличным членам полное владение ее землей. Допустим теперь в виде предположения, что однажды совершившийся раздел участков между членами общины должен остаться твердым и неизменным и что передачи и переделы участков отменяются. Каждый член общины, получивший свой участок, хозяйничает на нем как знает, полагает на него свой труд, строится, удобряет и улучшает почву, не опасаясь, что у него отберут когда-нибудь этот участок; он может считать себя действительным и полным хозяином занимаемой им земли. Допуская все это, мы по-видимому уничтожаем общину, и действительно, она

исчезла бы при таком предоставлении в полное и твердое владение своим членам выделенных им участков. Лишь только произнесена будет формула римского претора: *uti possidetis, ita possideatis* (как владеете, так и владейте), кажется, тотчас же и должно прекратиться всякое действительное существование общины, и однако, предоставляя членам общины такое полное владение, мы все-таки не признаем их собственниками в теснейшем смысле слова и все-таки считаем их членами общины, удерживая во всей силе ее значение и существование. *Uti possidetis, ita possideatis*, скажем мы им, предоставляя им все, что только заключается в латинском слове *possessio* (владейте), но удерживая за общиной ее право *dominii* (собственности). Община останется жива, и жизнь ее будет проявляться действительнее, явственнее и плодотворнее, чем теперь, когда она существует только как помеха для своих членов. Передавая членам своим право владения своею землею, община не должна и не может уступать это право даром, не должна и не может выпускать из виду свою собственность; она может и должна приводить в действие свое право и налагать от времени до времени руку на свою собственность. Члены общины за право владения ее землями должны платить ей справедливое вознаграждение. Чтобы не приискивать другого термина, назовем это вознаграждение простым и обыкновенным у нас словом *оброк*. Право общины будет выражаться самым справедливым и верным образом в обязанности лиц, пользующихся ее землей, платить ей оброк. Каждое хозяйство или каждое тягло платит оброк; каждая душа, принадлежащая к общине, имеет право на получение своей доли из суммы всего оброка, или, говоря экономическим термином, получает свою долю из поземельной ренты, собираемой общиной. Сумма, составляющая эту поземельную ренту и слагающаяся из оброка, принадлежит общине. Как же сумма эта будет делиться? Очевидно, поровну между всеми своими наличными членами, без всякого различия, владеют ли они каким-либо участком общинной земли или не владеют и даже живут где-нибудь на стороне. Сумма, которая будет причитаться на долю каждого, будет именно та самая даровая пре-

мия, которую Адам Смит называл привилегией поземельной собственности, в которой Рикардо видел ренту в теснейшем смысле, отличая ее от дохода с капитала и вознаграждения за труд; это та самая даровая премия, которая вооружала социаллистов против поземельной собственности. Эта даровая премия в предполагаемом нами общинном устройстве перестает быть привилегией, слагает с себя всякий характер монополии и обезоруживает самые смелые требования своих противников. Это даже более, чем то, чего требует Консидеран под видом процента с первоначальной даровой ценности земли, с так называемого им первоначального капитала (*capital primitif*) в отличие от ценности, производимой трудом человека. В общинной ренте, как мы ее предполагаем, будет заключаться не только даровая премия, как бы ни называть ее, но и процент с того труда, который во время неопределенного положения этой собственности успели положить на нее общинники. Претендовать на этот капитал наличные владельцы участков не могут, потому что он издавна шел в передел и, стало быть, издавна был в принадлежности общины, а община состоит не только из лиц, между которыми разделена земля, но и из тех, которые нарождаются впоследствии.

Словом, при нашем предположении передел земли, столь обременительный, несправедливый и вредный не только для самих крестьян, но и для всего хозяйства страны, заменяется переделом оброка, или ренты, который возводит каждого члена общины, пользующегося или не пользующегося землею, на степень собственника и в то же время открывает владельцам участков беспрепятственное поприще для личного труда и капитала.

Посмотрим, какие последствия вытекают из такого отношения общины к своим членам. Вот в каком виде непосредственно представляется положение дела. Каждый общинный землевладелец обеспечен тем, что обязанность его перед общиной одинакова с обязанностью всех прочих землевладельцев той же общины; каждый платит ни больше, ни меньше, как лишь то, что платят другие; община не входит в частные сделки с каждым в отдельности; какое бы ни оказалось различие

между хозяйствами, как бы ни богател один благодаря своему труду, уму или счастьем, как бы ни оскудевал другой, община может требовать со всех равного оброка, ибо оброк этот есть только уплата за право владения, а не процент с капитала, представляемого участком. Самостоятельность и значение общины обеспечивается, в свою очередь, тем, что рента делится без различия поровну между всеми членами общины. В этом безразличном праве всех получать равную долю премии, сопряженной с собственностью, выражается вся экономическая сила и единство общины. Доля, выдаваемая члену общины, выдается ему не как вспомоществование, не как благодеяние, но как его собственность, выдается ему не как нищему, но как собственнику. Каждое тягло, внесшее свою долю оброка в общинную кассу, получает из нее обратно свою долю ренты, и доля эта может быть иногда значительнее доли внесенного им оброка. Общинный земледелец внес ренту за один свой участок, а получает ренту как собственник по числу членов своей семьи. Положим, что он внес двадцать пять рублей как оброк в общинную кассу; положим, что дивиденд, приходящийся на долю каждого члена общины, будет десять рублей; положим, наконец, что у хозяина четыре сына, которые вместе с ним как члены общины имеют право на ренту: выйдет, что тягло получит пятьдесят рублей. Очевидно, что чем малочисленнее семья и чем, стало быть, менее нуждается она в средствах для своего существования, тем менее достается ей на долю из общей суммы ренты; чем, напротив, многочисленнее семья, чем менее может довольствоваться ее принадлежащий ей участок, тем более получит она из общинной кассы. Допускаем далее такой случай, что хозяину участка не выгодно платить следующий с него оброк, что у него не достает рабочих рук для пользования участком так, чтобы оброк этот был бы легок, или по крайней мере сносен, предположим наконец, что вследствие каких-либо причин он не захотел пользоваться данным ему участком и найдет более для себя выгодным или приятным перенести свой труд в другое место или на другой промысел: участок его перейдет в другие руки, но выбывший хозяин, отказавшись от

права владеть своим участком и с тем вместе сложив с себя обязанность платить за это право, удерживает однако за собой право общинника, то есть свою долю права собственности и свою долю ренты. Он, член какой-либо общины, например, Тульской губернии, может жить в Саратове или заниматься каким-нибудь промыслом в Петербурге, но везде, где бы он ни находился и чем бы он ни занимался, он удерживает за собой право на получение даровой премии из поземельной ренты своей общины. Право это он удерживает, пока каким-либо образом не станет членом другой общины.

С течением времени людей безземельных, принадлежащих к общине, может оказаться гораздо более, чем людей, наделенных от нее землей и платящих ей повинности. Возникает вопрос, не дойдет ли вследствие этого доля, приходящаяся каждому, до такой ничтожной цифры, что потеряет всякое значение, так что общинная касса будет только бременем для тяглов, не принося большой пользы затыглым. Но община, отказавшись от передела земель, не откажется от права переоброочивания. Право собственности, принадлежащее общине, должно возобновлять свою силу периодическим возобновлением своего действия. Нет сомнения, что ценность земель с течением времени будет возрастать у нас и возрастать несравненно быстрее, чем движется народонаселение. Во Франции, как показывает Леонс де-Лаверн, со времен революции число народонаселения удвоилось, а ценность земель удесятерилась: разница огромная! Ценность земель возрастает в соответствии не только с умножением населенности, но и с умножением всеобщего благосостояния и с развитием всех отраслей промышленности. Чем более богатеет страна, тем более возвышается ценность земель, ибо выгоды всеобщего благосостояния при естественном ходе дел достаются более всего на долю земледелия. С возрастанием народного довольства увеличивается число потребителей не только на первоначальные, но и на производные продукты сельского хозяйства; так, например, увеличивается запрос на мясо и вино, в которое перерабатывается хлеб; при развитии народного довольства не только увеличива-

ется количество хлеба, потребляемого в первоначальном своем виде, но еще несравненно более увеличивается то количество хлебных продуктов, которые идут на корм скота, на выкурку вина; возникает и усиливается запрос на разные другие хозяйственные продукты, лен, пеньку, и т. д. Хлеб становится дороже, земледельческий промысел прибыльнее, цены на земли выше, а вместе с тем должна возвышаться и поземельная рента. Продукты всех прочих отраслей промышленности в большей или меньшей степени с развитием всеобщего благосостояния дешевеют, потому что производство каждого из них не встречает никаких предустановленных границ, а земледельческие произведения и земли, как показано выше, становятся все дороже, потому что земледельческая производительность, как заметили мы выше, сколько бы ни усиливалась она искусством и капиталом, встречает или по крайней мере усматривает перед собой границы, поставляемые количеством всех земель, не подлежащим приращению.

Итак, с возвышением ценности на земли община-собственник имеет несомненное право переоброчивать свои земли, возвышать тягольные повинности, увеличивать свою ренту. Но здесь пункт, который требует от законодательства особой предусмотрительности. Пока число членов общины не возрастет ощутительно, большинство в общине будет против переоброчивания. Но когда с течением времени народонаселение увеличится значительно и число членов общины разрастется до такой степени, что в ней гораздо более будет людей, не участвующих в земледелии, чем заинтересованных им и пользующихся участками, тогда большинство перейдет на сторону безземельных и в общине будет оказываться сильное стремление увеличивать ренту, возвышать оброк. Закон должен постановить некоторые пределы для обоих противоположных стремлений, чтоб они в борьбе своей не разнесли самой общины, чтобы меньшинство не превратилось в подавляющий деспотизм для большинства, словом, чтоб интересы лиц и общины удерживались, по возможности, в постоянном равновесии. А главное, чтоб удерживалось справедливое от-

ношение между чистой рентой, или даровой премией, и той частью поземельного дохода, который составляет вознаграждение производителя и процент с его капитала. Отношение это, как бы явственно ни представлялось оно в понятии, никогда не может в точности быть определено на практике, а потому тем с большей осторожностью должно быть производимо всякое действие, которое клонится к изменению данного отношения. Предоставить общине полное право непосредственно повышать или понижать поземельный оброк значит оставлять широкое поле несправедливостям и обидам для той или для другой стороны. Вследствие этого нам кажется справедливым, чтобы переоброчивание могло каждый раз совершаться посредством какого-нибудь третьего юридического лица. Для простоты дела этим третьим лицом, решающим спор между участниками и общиной, могли бы быть соседние общины. Но для большей правильности и чистоты дела нам кажется желательным существование какого-либо общего совета (вроде французских *conseils generaux*), состоящего из представителей земледельческих интересов целого края, например, губернии.

Присутствие в этом совете представителей не только общинных, но и родовых или дворянских имений могло бы в значительной степени обеспечивать беспристрастие в определении общинных оброков и вообще спорных отношений между правом собственности и правом условного владения в общине.

Но вопрос этот всего лучше оставить открытым. Может быть, дальнейшее изучение дела приведет к результатам несколько измененным и несколько иначе поставит отношение между общиной и лицами, пользующимися ее собственностью. Нет ничего невозможного предполагать устройство этого отношения на фермерском основании. Община при таком устройстве будет в более строгом смысле собственником своих земель, а лица, действительно пользующиеся этими землями, будут относиться к ней как арендаторы или съемщики. Но само собой разумеется, что для ограждения интересов общины, арендаторов и всего народного хозяйства, закон должен требовать продолжительности сроков аренды. Как в системе

высшехарактеризованного отношения, так и в этой последней системе, нет никакой необходимости, чтобы *посессоры* общинных земель были членами той самой общины, которой принадлежат земли. Но в первой системе всякий со стороны входящий участник берет землю на основании сделки с первым хозяином, а не с общиной; он *вкупается* в право владения, платя прежнему хозяину *вкупное*, а относительно общины принимает на себя только обязанность платить общую положенную на землю повинность; *вкупное* будет представлять собой капитал, положенный на улучшение земли; общинная повинность будет соответствовать чистой ренте. Так будет в первой системе; в последней системе сделка должна происходить между каждым участником и целой общиной, так что установление общинной ренты, которая в этом случае будет прямо означать арендную плату, должно каждый раз перед наступлением уговорного срока аренды предоставляться непосредственной свободной сделке между обеими заинтересованными сторонами. При этом условии возвышение и понижение ренты, или наемной платы, должно быть результатом общего движения ценности, как вообще всякая свободная сделка. Но при фермерской системе менее кажется обеспеченным положение лиц, владеющих общинными землями: они перестают быть прочно сидящими владельцами и спускаются на степень простых съемщиков. Ограничивается и затрата капитала на улучшение участка, потому что арендатор будет затрачивать на участок только такой капитал, какой можно вполне и с процентами выручить в продолжении срока аренды. Но зато с другой стороны возрастают выгоды общины, а следовательно отчасти и самих владельцев, или съемщиков, поскольку эти лица принадлежат к общине и сами участвуют в ее поземельной ренте. Этим обстоятельством значительно смягчается строгость отношения. Собственник не есть лицо чуждое и постороннее для такого рода владельцев; каждый из них, будучи членом общины, есть сам отчасти этот собственник. Что тяжело или не выгодно для него в настоящее время, то может впоследствии для него же самого или для его потомства быть источником весьма ощути-

тельных выгод. Некоторые особенности сельского хозяйства у нас в настоящее время благоприятствуют такому фермерскому положению, или, точнее сказать, делают менее ощутительными его неудобства. В земледельческий промысел вложено и влагается у нас слишком мало капиталов; у нас нет ни обширного скотоводства, ни машин, ни дренажа, ни искусственного орошения. Доход с крестьянских земель есть почти чисто только поземельная рента и вознаграждение за полагаемый труд и почти не заключает в себе процентов с капитала, скопленного в земле. Отношение доли чистой ренты в общем доходе может, следовательно, по причине этого самого недостатка определяться легче и вернее, чем в богатых хозяйствах. С другой стороны, съемщик общинной земли тем менее рискует, чем менее вложено им капитала в земледельческий промысел; он легче может оторваться от своего участка в случае невыгодного для него определения оброка; он менее может бояться переоценки земли, чем фермер, вложивший в землю значительный капитал. Вследствие этого самого община-собственник менее будет притязательна в своих требованиях; легкость, с какой съемщики могут оставлять земли, будет полагать границу повышению ренты; опасение, чтобы земли ее не оставались впусе или не упали в цене, заставит ее дорожить своими фермерами и вообще будет располагать ее к умеренности. Но на такое положение дел, условленное скудостью земледельческих капиталов, нельзя рассчитывать постоянно, и слава Богу, что нельзя. Надобно желать и ожидать, что с течением времени, по уничтожении крепостного права, при полном развитии свободного труда и всех его последствий возвысится и у нас земледельческое богатство, и тогда фермерское положение на общинных землях значительно изменится. Тогда между общинами и их фермерами потребуются строгие юридические контракты. Чтобы быть вполне спокойным в своем владении, чтобы полагать на свой участок все свои средства, чтобы полной рукой усиливать его производительность в пользу себе и целой стране, фермер должен быть обеспечен в неизменности договора на достаточно продолжительный срок времени. В Англии вошло в обычай

оставлять участок за одним и тем же фермером, и ландлорды считают своей обязанностью и честью строго держаться этого обычая. От общины невозможно ожидать такого благо-разумного и предусмотрительного великодушия. Здесь закон должен стать на сторону съемщика и обеспечить его справедливые интересы.

Не беремся в настоящее время решить, какой системе должно быть отдано преимущество. Есть многое, что говорит в пользу одной, есть также многое, что склоняет на сторону другой. Система неотъемлемого владения лучше ограждает интересы участковых владельцев, лучше обеспечивает капиталы, употребляемые на усиление производительности земли; она предоставляет владельцу все экономические выгоды полной собственности и может сильно содействовать накоплению капиталов в земледелии. Но Ахиллесова пята этой системы заключается в пользовании правом переоброочивания, неотъемлемо принадлежащим общине. Все способы, какие можно придумать для того, чтобы гарантировать правильное употребление этого права, всегда будут более или менее искусственны и потребуют слишком много регламентаций. Вторая система, система фермерства, не требует искусственных и сложных органов для разбирательства и соглашения интересов общины с интересами участковых владельцев. Дело переоброочивания значительно упрощается. В земледельческий промысел вносится живая подвижность. Дух предприимчивости, введение улучшенных способов производства становится неизбежным условием того, чтобы, несмотря на сильное увеличение арендной платы, фермер получал значительные барыши. Мелкие участки вероятно будут сливаться в участки более обширные, и только люди очень способные к сельскому хозяйству, очень распорядительные и предприимчивые будут находить для себя выгодным занятие фермера. А постоянное возрастание ренты улучшит общее благосостояние большинства народа; каждый член общины будет живее чувствовать, что он поземельный собственник, что он имеет право на частицу земли русской; это чувство будет поднимать в нем сознание гражданского достоинства.

Какая бы система ни была принята, во всяком случае должна быть вполне обеспечена принадлежность ренты всем членам общины. Сумма денег, которую владельцы участков обязаны внести в кассу общины, должна тотчас же распределяться между членами общины. Из нее должны быть удерживаемы государственные подати и повинности, а равно и общинные сборы, но все эти налоги должны быть в точности вычислены заранее; касса общинного оброчного сбора ни под каким видом не должна оставаться открытой для общинного правления под предлогом непредвидимых общинных расходов. Это условие чрезвычайно важно; без соблюдения его интересы общинников, особенно общинников отсутствующих, будут подвержены большему риску, а избыток денег в общинной кассе будет искушением для администрации. Само собой разумеется, что общинная администрация не должна иметь начальнического характера относительно членов общины и что правильная, независимая юстиция должна обеспечивать каждому члену общины и целому миру право обвинять общинную администрацию перед судом. Выборное начало одно не ограждает еще от произвола; гораздо важнее правильное устройство общинной власти и совершенное отделение в ней администрации от суда и расправы. Наконец, как для удовлетворительного устройства общинных властей, так и для уравнивания доли ренты, приходящейся каждому общиннику, а равно и для устранения мелких личных и родственных притязаний, которые могут возмущать правильное течение общинной жизни, необходимо, чтоб общины имели значительный объем. По нашему мнению, та единица, которая у нас называется *волостью*, а у французов *canton*, представляет наибольшие удобства для совокупного распределения ренты и для самостоятельного управления. Такая община состояла бы приблизительно из 5000 душ и имела бы хорошие средства для поддержания школы, больницы, а впоследствии и тюрьмы. Как бы ни было сильно выселение общинников из такой общины, как бы ни велико было число членов отсутствующих, всегда останется на месте довольно много людей, чтобы блюсти интересы общины, надзирать за

правильным сбором оброка, следующего в общину, за бережливым употреблением денег, назначаемых на покрытие общинных расходов и за точным определением доли, следующей к выдаче каждому общиннику.

Французская система иерархии в подразделении государства на департаменты (departement), округа (arrondissement), волости (canton) и общины (commune) слишком осложняет государственную машину и затрудняет ход всякого дела не только снизу вверх, но и сверху вниз. И центральная, и общинная инициатива – если только остается еще какая-нибудь попытка общинной инициативы при таком устройстве – дробятся и искажаются в инстанциях. Фискальные интересы также страдают от чрезмерного множества ненужных инстанций и органов администрации. Наконец, всякому успеху общинной жизни противится миниатюрный характер таких общин, дробных подразделений кантона, лишаящей их всякой мысли о возможности самоуправления и возлагающей на государство обязанность заботиться о всех их нуждах. Можно, наверное, сказать, что община, составленная по французскому образцу, не может иметь серьезной будущности ни в какой стране и ни при каких условиях.

Обширность и самостоятельность общины, ее, так сказать, кантональный или волостной характер оказываются необходимыми уже и в финансовом отношении для обеспечения правильного взноса податей и сборов. У нас слишком многого ожидают от так называемой круговой поруки мира, забывая, что круговая порука ведет к грубому вмешательству мира в частные хозяйства крестьян, к бессовестному расчету ленивых на карман людей трудящихся и богатых; при круговой поруке и бедным, и богатым дурно; уже оглашены случаи, что круговая порука опутывала несостоятельных крестьян во всех их попытках поправить свои расстроженные дела и обращала их в батраков, закабаленных богатыми крестьянами без надежды когда-нибудь освободиться. Но и при всем гнете своем обеспечивает ли круговая порука взнос податей небольшими крестьянскими обществами? Не оказывается ли необходи-

мость призывать соседние общества на выручку? И есть ли пределы такому распространению круговой поруки? Личная ответственность без всяких видов на обязательную помощь со стороны – вот лучшее побуждение к точному исполнению обязанностей, и всякий непредубежденный не мог не отдать предпочтения взгляду тех наших писателей, которые противопоставляли личную ответственность круговой мирской поруке. Не то же ли самое круговая порука, что вира, которая взыскивалась некогда за убийство с правого и виноватого, на основании одного лишь соседства их с местом преступления? Но самые горячие защитники личной ответственности не должны ли были останавливаться перед жестокостью последствий этого начала для бедного собственника? Личная ответственность только тогда может быть вполне серьезна, когда ведет к продаже участка, а с продажей участка какая перспектива открывается для крестьянина и для всего потомства его? Если не ошибаемся, то сами защитники личной ответственности должны были сознаваться, что это только меньшее из двух зол, и успокаивались на мысли, что это зло неизбежное. Но стоит только строго различить общинную собственность и личное владение, и это неизбежное зло исчезнет само собой. Если общинник, владелец участка, не платит повинностей, с ним не жаль будет поступить строго: он лишится участка, которым не умел распоряжаться как следует, но за ним останемся право общинника, право на поземельную ренту. И никакая недоимка, ни казенная, ни общинная, пропасть на нем не может: следующая ему доля поземельной ренты будет удерживаться общиной до тех пор, пока не будет покрыть весь его долг. Не считаем нужным распространяться о финансовых выгодах такого устройства собственности. Это дело очевидное; всякий должен согласиться, что этим устройством устраняется самая возможность недоимок, что в нем единственное средство, до сих пор нигде еще не найденное, – освободить государственные финансы от язвы, вносившей хаос в бюджеты наперекор всякой предусмотрительности. Возможна ли будет недоимка, когда миллионы глаз будут смотреть за тем, чтоб ее не было,

потому что только по уплате всех государственных повинностей может быть речь о выдаче общинникам следующей им доли ренты? И что еще важнее, чем более будет разрастаться община, чем более будет в ней членов, не пользующихся землею, следовательно членов, не платящих общине, а получающих от нее деньги, тем более должен усиливаться надзор за точным взносом оброка крестьянами, которые будут иметь общинные земли в своем владении. Но именно для того, чтобы наблюдение было сильно и успешно, нужна известная обширность и самостоятельность общины.

Устраняя возможность недоимок, дележ ренты совершенно устраняет и другое великое финансовое затруднение, происходящее из обязанности всякого благоустроенного общества помогать неимущим членам своим и давать им средства к существованию. Всем известно, до какой громадной цифры доходил в Англии сбор в пользу бедных: новое законодательство ограничило права неимущих и уменьшило громадность сбора, но все-таки он достигает тяжеловесной цифры, с лишком 40 миллионов рублей серебром. Помощь бедным есть тоже своего рода круговая порука; экономисты и здесь указывают на личную ответственность, как на единственное средство побудить людей неимущих к заботе о себе, к мысли о том, как бы подняться и стать на свои ноги. Но здесь, как и там, строгое приложение начала личной ответственности не может не впадать в жестокость, и едва ли общество было бы вполне право, если бы, провозгласив это начало, предоставило своих бедных добровольной личной благотворительности сограждан. Дележ ренты легко устраняет эту тяжкую альтернативу. Ни лень не будет получать премии, ни несчастный бедняк не будет безжалостно предан голодной смерти, когда всякий член общины, богатый и бедный, ленивый и трудолюбивый, участвует в дележе ренты. Бедняк не унижен, ибо он получает свою долю, на которую имеет право; но ленивый не поощряется в своей лени, потому что получает долю не как бедняк, не за свою бедность, а как член общины, за свое участие в праве общинной собственности. Общиннику не придет на мысль требовать по-

собия после того, как ему выплачена его доля ренты. Не вправе ли мы сказать, что и в этом отношении, как в деле недоимки, дележ ренты представляет единственное, до сих пор нигде еще не найденное средство выйти из затруднения?

Упомянув о бедных, мы уже подошли к вопросу о пролетариате, к тому вопросу, который заставлял защитников нашей общины так упорно стоять за общинное владение. Им хотелось бы сделать обязанными землевладельцами всех теперешних русских крестьян и всех их потомков. Будут ли они расположены к земледелию или нет, будут ли они тяготиться или дожить своей землей, улучшать ее или портить, все равно: они родились крестьянами и должны или владеть землей, или отказаться от всякого права на нее, отказаться даром, даже если б они и участвовали в выкупе ее. Понятно, что при таком выборе трудно следовать своему призванию и что при общинном владении сословие землевладельцев неизбежно превратилось бы в неподвижную, никакому успеху не доступную, тупую и апатическую касту, а русское земледелие было бы обречено на вечное трехпольное хозяйство. С другой же стороны, люди, выписавшиеся из общин, перестали бы уже пользоваться той защитой от пролетариата, которую дает общинное владение, и возможность этой язвы все-таки не была бы устранена. Но все эти трудности исчезают, и главная цель – предотвращение пролетариата – достигается гораздо полнее, когда общинное владение заменяется общинной собственностью. От общинной собственности можно и не отказываться тому общиннику, который не пожелает заниматься земледелием. Он будет заниматься делом своего выбора, тем делом, которое будет для него наиболее прибыльно, а удерживаемое им за собой право на ренту будет ограждать его и всех его потомков от возможности сделаться когда-либо совершенными пролетариями.

Не менее полно и удачно разрешаются формой общинной собственности все споры европейских экономистов и публицистов о свободе крестьянской поземельной собственности. Стеснения этой свободы, исторически происшедшие, были мало-помалу отменяемы большей частью европейских зако-

нодательств; общество приветствовало эти меры, как соответствующие современным потребностям. Прежде во многих странах Европы запрещалась продажа крестьянских участков и их раздробление как при жизни владельца, так и по смерти его по завещанию; законное наследование без завещания также покровительствовало недробимости крестьянских участков; словом, законодательство и обычай стояли за недробимость и неотчуждаемость их. Эти ограничения препятствовали свободному движению сельского хозяйства, и отмена их, в одних местах полная, в других местах условная, была встречена как шаг вперед, как успех законодательства, и на практике, в экономическом отношении, действительно принесла значительную долю пользы. Крестьянские участки стали дробиться по мере надобности и по мере надобности сливались в обширные поместья. Каждый участок и каждое поместье стали переходить в руки, способные извлекать из них наибольшую выгоду, обрабатывать их самым производительным способом. С этой стороны освобождение поземельной собственности от прежних стеснений принесло несомненную экономическую пользу и послужило к увеличению народного богатства и благосостояния.

Но если мы вникнем глубже в свойство этого законодательного движения, если мы будем точнее анализировать элементы и условия пользы, принесенной им, мы откроем, что новые законы о крестьянской поземельной собственности своей полезной стороной касались не самой собственности, а только владения. Все благоприятные результаты этих законов, внесших подвижность в земледельческую промышленность, ожививших сельское хозяйство, основаны на том, что эти законы облегчили переход права владения из рук в руки. Напротив, та сторона этих законов, которая касается права собственности, нисколько не могла участвовать в произведении всех этих благоприятных результатов. Для экономического движения совершенно все равно, в чьих руках находится чистое право собственности на землю; важно только то, чтобы владели землей те люди, которые могут и умеют извлекать из нее как можно более продуктов, и чтобы каждый из этих людей владел землей в

той мере, в какой он обладает средствами и умением достигать благоприятных результатов в сельском хозяйстве. Если бы для успехов земледелия имело существенную важность распределение поземельной *собственности*, то нельзя было бы объяснить себе высокого процветания сельского хозяйства в Англии, где люди, занимающиеся земледелием, по большей части не имеют права собственности на ту землю, которую возделывают.

Выразим же в точной формуле значение упомянутого нами законодательного движения. Оно освободило поземельную собственность и вместе освободило владение землей; но вся польза его и все его экономическое значение заключается в тех результатах, которые проистекли из него для владения; насколько же оно касается собственности, настолько польза его остается невидимой и, следовательно, сомнительной. Поэтому и могли еще раздаваться голоса противников его, они не были совершенно поражены.

Эти противники требуют, во-первых, неотчуждаемости крестьянских участков и, во-вторых, недробимости их. Посмотрим на главнейшие из доводов, приводимых ими.

Мысль о неотчуждаемости крестьянских участков есть мысль давнишняя. В пользу ее немало говорит история крестьянской собственности. Те, которые видят в этой мысли наследие средневекового варварства, должны были бы знать, что она возникала в разных местах и в разные времена, что она возникала даже в Риме, среди того самого общества, которое так ярко и так сильно развило личную собственность. Тиберий Гракх предлагал неотчуждаемость участков, розданных на основании его аграрного закона, и предложение это не было отвергнуто Квиритами, которых имя осталось навеки слито с понятием самой строгой собственности. Стало быть, эта мысль имела какое-нибудь основание, и еще более, – стало быть, она имела очень сильное основание, когда она могла возникнуть и найти одобрение в Риме, в этом историческом средоточии личной, ничем не стесняемой собственности. И кому пришлось на долю выразить эту мысль в законодательной *рогации*? Трибуна плебеев, представителю того сословия,

которому сам римский мир обязан развитием института личной собственности, *dominium!* Достаточно одного этого факта, чтоб убедить в невинности средневекового варварства относительно стеснения крестьянской собственности практическим применением этой мысли.

В самом деле, что говорят, на что указывают, чего опасаются защитники неотчуждаемости крестьянских участков? Они говорят, что при полной отчуждаемости земля может перейти в собственность немногих лиц; они указывают на исторические последствия, которые доселе нередко имело такое скопление поземельной собственности в руках немногих землевладельцев; они опасаются, что свобода отчуждения крестьянской собственности со временем превратит большинство крестьян в людей безземельных, в пролетариев. Италия, и в особенности Римская Кампания, ближайшая окрестность Рима, два раза в истории испытывала на себе вредные политические последствия соединения поземельной собственности в руках немногих лиц. Два раза в истории Италия процветала; в обе эпохи ее процветания, и в эпоху самнитских и пунических войн, и во времена так называемого возрождения, класс поземельных собственников был очень многочислен. *Latifundia perdidere Italiam* (большие поместья погубили Италию), говорил о своем времени Плиний, и нельзя не сказать того же самого и теперь, по крайней мере о Папской Области. Англия представляет, правда, противоположное явление; успехи общего благосостояния, успехи самого земледелия идут там вперед колоссальными шагами, хотя число землевладельцев уменьшается в невероятных размерах и уменьшается всего более именно в наше время, отличающееся необыкновенной быстротой, с какой совершаются все эти успехи. Но не всякая страна находится во всех отношениях в таком благоприятном положении, как Англия, и пример ее не заглушить голосам других исторических явлений. Земледелие процветает в Англии более, чем где-нибудь, – в этом нет спору, – но бесспорно и то, что Англия не есть страна по преимуществу земледельческая. Свобода труда обеспечена там громадным развитием обраба-

тывающей промышленности. К тому же фермерское владение отличается там почти такой же прочностью, какую в других странах имеет собственность, и может заменять ее в известной степени, а потому и не слишком ощутительно там такое решительное преобладание больших поместий над малыми.

Нельзя, стало быть, утверждать, что заботы о вредных экономических и политических последствиях полной отчуждаемости крестьянских участков совершенно неосновательны. Но, с другой стороны, еще очевиднее вредные экономические последствия института неотчуждаемости, и это приводит экономистов и публицистов западной Европы в большое раздумье, а законодателей в нерешительность. И те и другие колеблются между римским началом свободной личной собственности и германскими ограничениями этого начала. Твердого среднего термина нет перед ними, и потому не предвидится выхода из затруднения. Между тем форма общинной собственности сама собой соглашает все интересы, замешанные в этом вопросе. Лишь только право собственности отделяется от акта владения, лишь только оно получает независимость от него, и собственность, так сказать, *сублимируется* над владением, тотчас же без всякой заботы за будущее может быть дана владению полная свобода перехода из рук в руки и полная свобода дробления, а с другой стороны, за правом собственности может быть удержана неотчуждаемость, также без малейшего опасения каких-нибудь вредных экономических последствий. Общинник не может отказаться от своего права получать дивиденд ренты; он не может продать это право, не может завещать его. Оно принадлежит не ему лично, а ему как члену общины; оно дошло к нему не по наследству; он приобрел его не вследствие смерти отца своего, а вследствие того, что он сам родился; это дар, получаемый им от земли русской; весь титул права состоит в принадлежности его к русскому народу, владеющему русской землей. Неотчуждаемость права на получение ренты не приводит в столкновение ни с каким интересом экономическим или гражданским; она не ведет к практическому занятию земледелием, к отлучению других от пользования землей, к уменьшению кредита, которым мог-

ла бы пользоваться отчуждаемая поземельная собственность. Напротив того, поземельный кредит общинной собственности может быть очень велик, потому что сбор ренты представляет верный залог. Проценты с занятого капитала должны, конечно, составлять одну только часть ренты, так, чтобы всегда оставалась доля, идущая в дележ, и сохранялось в силе между общинниками побуждение строго наблюдать за правильным взносом ренты. Но никакой поземельный кредит никогда не простирается на всю цену земли, и потому надобно думать, что общинная собственность будет иметь кредит отнюдь не меньше того кредита, на какой может рассчитывать личная отчуждаемая собственность. Пособием кредита община должна пользоваться лишь для улучшения почвы, как то для введения дренажа, где это выгодно, для искусственного орошения и т. д.

Вопрос о недробимости крестьянских участков тесно связан с вопросом о неотчуждаемости их. При всей антипатии, какую возбуждает регламентация во всяком экономисте, при самом полном сознании нерациональности искусственных законодательных мер, которые имеют целью навсегда закрепить однажды сложившиеся размеры крестьянских дач, нельзя отрицать и того, что дробление крестьянских участков через наследование не может всегда отвечать экономической потребности времени. Другое дело, когда собственник уменьшает или увеличивает свой участок посредством продажи и купли; в этом случае экономический расчет может служить побуждением, и затруднять такие сделки значит регламентировать земледелие. Но раздел участков между наследниками бывает следствием случая, а не экономического расчета; он производится не потому, что выгоднее раздробить хозяйство, а только потому, что хозяин участка умер; и хозяйство дробится на столько частей, сколько осталось наследников, а не на сколько следовало бы разделить его, если бы вообще было выгодно делить его. Нельзя поэтому отрицать, что охранение крестьянских участков от случайного дробления, особенно в тех ограниченных размерах, какие обеспечены английским наследованием старшего сына по закону и английским правом

завещания и субституций, составляет важное условие процветания крестьянского хозяйства. Потому-то Англия смотрит на эту часть своего законодательства, как на высокое национальное преимущество, и временное освобождение Ирландии от этих, по-видимому, стеснительных законов рассматривалось и Англией и самою Ирландией, как мера строгости, как наказание. Не следует однако же упускать из виду и другой, как говорится, стороны медали. Институт первородства все-таки исключает младших братьев от наследования и все-таки представляет случаю решение вопроса, кто будет владеть участком и хозяйничать на нем. Как ни неизбежен случай в делах человеческих, как ни странно было бы оправдывать в людях, не воспользовавшихся игрой фортуны, чувство зависти к тем, кому случай поблагоприятствовал, тем не менее, однако ж, нельзя не отдать предпочтения тому устройству крестьянской собственности, при котором не только младшие братья могут пользоваться совершенным равенством со старшим братом, но и вообще доступ сыновей к пользованию правом собственности не условливается смертью родителя; нельзя также не отдать предпочтения тому устройству, при котором владение крестьянским участком, облегченное, так сказать, в своем весе и в своей приманчивости, будет обыкновенно переходить по смерти владельца не к тому сыну, который родился старшим, а к тому, кто лучше других способен хозяйничать. Наша общинная собственность приносит с собой и то и другое; она дает право на долю ренты всем общинникам, без различия, старшие ли они или младшие братья, жив ли или умер родитель их; облагая участки платежом ренты, она не позволяет им оставаться в неспособных руках и дробиться невыгодным образом; хозяйство будет само собой доставаться тому из братьев, кто уже при отце более занимался им и может более на себя надеяться; землевладение потеряет в глазах народа ту заманчивую привлекательность, которая, например, во Франции заставляет бедняков бросаться с жадности на приобретение поземельной собственности, алчно хвататься за какую-нибудь поршинку земли, достающейся по наследству.

Мы не можем развивать здесь все соображения, которые сами собой возникают и толпятся в уме, когда размышляешь о практических последствиях отделения общинной собственности от общинного владения. Мы ограничиваемся краткими намеками, указывающими на значение этого начала в общем движении народной жизни и народного хозяйства. Но считаем нужным сказать несколько слов в предупреждение недоразумений, которых мы ожидаем с двух противоположных сторон. Люди, привыкшие более мечтать нежели мыслить, будут склонны придавать фантастическое значение началу общинной собственности; пораженные его всеобщим значением, его обширной применимостью, они готовы будут, пожалуй, думать, что с водворением его низойдет рай на землю, что между общинниками не будет людей нуждающихся, что всякий общинник сделается помещиком, получающим без труда свой поземельный доход. С другой стороны, люди, считающие себя обладателями монополии на почтенное качество людей практических и не признающие за наукой права касаться практических интересов жизни на том лишь основании, что они сами внутренне чувствуют себя не в состоянии и не вправе говорить о науке, эти люди, если захотят выдержать свой характер, будут делать все усилия над своей мыслью, чтоб отнюдь не понять этого начала и тем выманить у своей совести право оспаривать его. И тем и другим не будет доступен ясный, практический взгляд на дело; и тех и других мы должны предупредить общим практическим замечанием.

Чем ближе к норме искомой наукой подходит общинная собственность, тем несомненнее, что ее последствия будут благодетельны для общества и что очевидность их будет возрастать по мере того, как будет идти вперед общественное развитие. Но никакая форма поземельной собственности не в силах изменить общий закон, что человек в поте лица своего должен есть хлеб свой. У нас господствовал доселе передел общинных полей. Политико-экономический взгляд на дело убеждает, что во всех отношениях выгодно заменить передел полей дележом поземельной ренты. Все, чего можно ожидать от этой замены,

состоит в том, чтоб она устранила собой неудобство общинного владения, чтоб она облегчила успехи русского земледелия, чтоб она вообще улучшила положение дел *сравнительно с тем, каково это положение теперь при общинном владении*. Ожидать или требовать от общинной собственности, чтоб она дала возможность крестьянину обходиться без труда и жить рентой, чтоб она сделала совершенно излишней общественную и частную благотворительность, значит питать в себе утопические ожидания или позволять себе неисполнимые требования. Доля ренты, приходящаяся крестьянину, не обеспечит удовольствия его на целый год: хорошо ли было бы обществу, если б осуществилась подобная утопия? Другое дело однако ж утверждать, что доля ренты будет вовсе бесполезна крестьянину по своей незначительности: это столько же невозможно, сколько невозможно осуществление утопического ожидания. Поземельная рента, показали мы выше, зависит от степени народного благосостояния и от возрастания народонаселения; следовательно, величина ее в точности соответствует мере потребностей, изменяющейся с изменением степени благосостояния и отношения народонаселения к пространству страны. Чтобы не пускаться в отвлеченный анализ, объяснимся примером. Возьмем губернии, где арендная цена земли 3 рубля сер. за десятину, возьмем казенное селение, в котором приходится на душу по 5 десятин земли и с души сходит повинностей до 7 рублей. Дивиденд ренты в такой общине будет не более 8 р. на душу, дивиденд небольшой, по понятиям горожанина, но можно смело ручаться, что для крестьян общины, взятой нами в пример, эта маленькая, по-видимому, сумма в 8 руб. непременно должна иметь большое значение; эта сумма будет вероятно равняться одной четверти, или даже одной трети годовой наемной платы батрака в настоящее время. Кто же решится сказать, что эти маленькие деньги 8 рублей не послужат добрым подспорьем и даже обеспечением крестьянину, тем более, что эти 8 рублей получает каждый член семьи? Треть или четверть всей суммы, добываемой трудом целого года, или почти половина этой суммы, если вычесть, что идет из нее на уплату государ-

ственных повинностей, будет, конечно, не менее чувствительна для крестьянина, чем прежняя помощь путем передела.

При этом должно иметь в виду, что устранение переделов и передачи участков есть мера несомненно выгодная для земледелия, и потому уже сама по себе независимо от успехов общего благосостояния непременно должна повести к увеличению ренты. Это усиление ренты есть чистый надбавок, доставляемый всем общинникам самой мерой преобразования, надбавок, который был бы невозможен без этой меры. Поэтому, если не подлежит сомнению, что передел ренты уже при теперешних ценах земли должен давать крестьянам обеспечение *никак не меньшее* сравнительно с тем, которое дают им общинные переделы и передачи, то очевидно, что предлагаемое преобразование, возвысив поземельный доход, дает крестьянам обеспечение не только не меньшее против теперешнего, но непременно *большее*. Невыгоды переделов должны, напротив, возрастать с каждым шагом вперед.

Положим далее, что с течением времени число членов общины удвоится, а наемная плата за землю будет не 3 рубля, а 12 рублей, плата все-таки очень низкая сравнительно с другими местами Европы. Так как повинности по всему вероятно увеличатся тогда вдвое, то дивиденд ренты будет 16 р. на душу. Это будет признаком, что благосостояние земледельческого класса и общее благосостояние нации возросло вдвое, и вдвое увеличились потребности. Но даже если бы общее благосостояние нисколько не подвинулось вперед, если бы земледелие, несмотря на отмену передела общинных земель, вовсе не сделало никаких успехов, все-таки невозможно, чтобы при удвоении народонаселения арендная плата не удвоилась. В таком случае при удвоении налогов дивиденд все-таки остался бы теперешней, 8 руб., но он был бы столько же чувствительным пособием для крестьян, как при усилившемся благосостоянии двойной дивиденд 16 р. Дивиденд ренты стал бы нечувствителен лишь в том случае, если бы цены земель приблизились к нулю; но тогда уже не может быть речи о благосостоянии: совершенный упадок цен на землю показал бы, что страна превратилась в

пустыню и народонаселение ее исчезло. Но когда поземельная собственность не имеет никакой цены, то само собой разумеется, что нечего рассуждать об относительных выгодах разных форм поземельной собственности.

На этом основании мы утверждаем, что как бы ни был мал дивиденд ренты, он всегда будет соразмерен общему благосостоянию, и большинство крестьян всегда будет дорожить им. Но мы твердо убеждены, что в действительности он будет быстро возрастать и что возрастание его превзойдет ожидания. Не вступает ли Россия на путь преобразований и улучшений, и можно ли сомневаться, что русское земледелие оживится, когда будут сняты с него оковы, и успехи его не будут стесняемы искусственными поощрением других, менее свойственных нам и менее выгодных для нас промыслов?

Как ни важны непосредственные последствия, как ни обильны ближайшие выгоды общинной собственности, все это бледнеет перед тем значением, какое может получить эта великая общественная формация в будущем, когда она раскроет все свое значение и из случайного явления выработается существенный принцип. История покажет, что начало это есть одно из тех семян всемирной жизни, которые таятся в глубине славянской народности. Форма общинной собственности, организовавшись в могущественной действительности, развив все, что заключается в ее возможности, станет не только наряду с римским началом личной собственности и германским родовой, но далеко превзойдет их и приведет к высшему единству и полнейшей, совершеннейшей норме общественных отношений. То, что кажется непримиримым и невозможным вне этого начала, становится через него делом легким и простым. Все ужасы коммунизма исчезают как призрак перед его развитием, которое может уничтожить в самом корне существенные причины современного общественного недуга западной Европы и тем отнимет всякую почву у праздных фантазий и диких инстинктов. Мы видели, в каких катастрофах проявлялся этот недуг, видели как в Европе, преимущественно во Франции, разражался протест против существующего порядка, в котором сложились две

стихии, римская и германская; мы видели также, как бесплоден был этот протест, как гибельны были эти катастрофы, как от паллиативных мер только усиливается опасность недуга. Кельтский, галльский протест не служит ни к чему; в нем нет ничего производительного, он состоит только в отрицании, в нем слышится только бешенство боли. В коммунизме исчезает все человеческое, всякая возможность человеческого существования. Если бы какая-нибудь магическая сила, послушавшись прельщения этих утопий, решилась вывести их из фантазии в действительность, то совершилось бы нечто совершенно противоположное ожиданию возвратилось бы мгновенно то состояние, из которого таким медленным, таким тягостным трудом выработывалось человечество; вместо исцеления от недуга исчезло бы только то, что чувствует его, исчез бы самый организм, который ищет здоровья, и безгранично разлилась бы та самая стихия, которой не вполне замирное присутствие в современном обществе составляет всю силу его недуга. Насильственный передел собственности возобновил бы все варварство завоевания, воскресил бы эпоху переселения народов, и человечеству предстоял бы старый путь, который при благоприятных условиях через целый ряд веков мог бы привести опять только к тому же состоянию недуга, с тем, может быть, чтобы снова подобным же самоубийством избавляться от болезненного чувства и снова совершать тот путь возрождения, как по учению Будды, а также и по учению друидов совершается переселение душ. Что же касается до уничтожения всякой собственности, как равно всякой личности в теориях коммунизма, то из этой бездны отрицания не возможен никакой исход, кроме разве волшебных представлений *a la Fourgier*.

В общинной собственности, на которую намекает наша русская сельская община, все спасено, и с тем вместе открывается перспектива новых великих успехов. Право собственности остается неприкосновенным и приобретает еще новую, высшую силу. Первоначальный акт насилия, составляющий грубую основу собственности, окончательно замирается. В общине сохраняется все то, что составляет выгоду личной

собственности. В народных массах, в миллионах людей развивается чувство обеспеченности, по крайней мере, в первых основах существования, чувство самостоятельности и независимости. Каждый из числа миллионов есть сам собственник, и не в ущерб другим, не с исключением другим, а напротив, в крепком единстве с другими. Целый мир живых отношений образуется сам собой в этих народных средоточиях. В последствии времени, с умножением числа жителей общины, будут выводить колонии, пользуясь безмерными пространствами нашей родины; поземельный кредит, который не замедлит при благоприятности всех прочих условий развиваться на самых широких основаниях, будет способствовать этому делу колонизации и еще более облегчит доступ к поземельной собственности, и без того уже легкий в дальних местах, остающихся теперь бесплодными для народного благосостояния. Старые общины будут давать от себя отпрыски в новых общинах, которые, несмотря на тысячи верст расстояния, сохраняют живые связи со своими родимыми гнездами, и связи эти послужат новым залогом единства и крепости русской земли.

Но мы отнюдь не думаем, чтоб общинная собственность, обещая в себе высшую форму собственности, упраздняла все другие ее формы. Напротив, для ее же блага требуется, чтоб оставались рядом с ней и личная собственность, и собственность родовая. Всякая исключительность и нетерпимость прежде всего вредят тому началу, которое захочет предаться им. Если бы где-нибудь возобладала форма общинной собственности до уничтожения всех других форм, то мало-помалу она сама подверглась бы искажению; начала исключенные мало-помалу завелись бы в ней самой и породили бы в ней незаконные, дикие проявления, в которых она должна была бы погибнуть. Другие формы собственности также нужны, также существенны в целом составе. Чем определеннее и обеспеченнее будет их существование, тем лучше будет для целого и для каждой формы порознь. Общинная собственность только выиграет, если рядом с ней, в своих пределах и со своею отличительною физиономией станут родовые или дворянские имущества и имущества лич-

ные, которые своим положением всего лучше соответствуют значению средних или городских классов общества. Существовая свободно и независимо одна от другой, эти формы могут лишь благотворно действовать друг на друга, нейтрализуя взаимно все то, что могло бы принять в них фальшивое и вредное направление. Всякая льгота, которая будет сделана государством общине и общинной собственности, возвратится ему сторицей. Ничто так не упрочит его, ничто так не возвеличит нашей страны; ничто так благодетельно не возбудит производительных сил народа, как это начало в своем полном развитии. Теперь оно только слабый намек, о котором не стоило бы говорить, если бы не надеяться на будущее, возможное раскрытие его. Пренебречь это начало – значило бы отказаться от могущественной, самородной силы у нас, которая, по нашему убеждению, может получить значение всемирное.

ПРИЧИНА ОБЕДНЕНИЯ КРЕСТЬЯН

Статья г. К. Л. «Краткое сравнение хозяйства крестьян Тамбовского и Нассауского» (см. *Моск. вед.*, № 11) не должна была бы пройти незамеченной ни при каких обстоятельствах. Но ввиду общего внимания, какое в последнее время было обращено на продовольственный вопрос, а также на вопрос о размерах крестьянского землевладения, статья эта получает особый интерес.

Толки об обеднении крестьян идут, не прекращаясь, вот уже несколько лет кряду. Господствующая в этих толках общая мысль та, что быт крестьян представляет мало утешительного, главным образом вследствие того, что крестьянские земельные наделы слишком малы. Будь у крестьян больше земли, и они стали бы благоденствовать. Во многих частных случаях эта мысль оказывается верной. Малоземелье в некоторых местностях есть одна из главных причин затруднительного положения крестьянских хозяйств. Крестьяне, получившие даровые наделы, живут, за немногими исключениями, вообще много хуже крестьян, получивших наделы в полном размере, хотя они и не

несут на себе тягости выкупных платежей. Но в общей массе крестьяне, получившие даровой надел, составляют лишь небольшой процент, и не их исключительное положение имеется в виду когда идет речь о недостаточности размеров крестьянского землевладения вообще. Эти размеры не одинаковы в разных местностях, не одинаковы и в одной и той же местности, даже в самом близком соседстве. В иных случаях нельзя не признать, что расширение и округление крестьянских земельных участков могло бы значительно способствовать улучшению их быта. Но говоря вообще, в малоземелье ли лежит главная причина неудовлетворительности крестьянских хозяйств? Вышеупомянутая статья г. К. Л. представляет ряд интересных данных для суждений по этому вопросу, и эти данные имеют тем большее значение, что автор не задается никакими мыслями, но просто сравнивает условия и результаты двух крестьянских хозяйств, одного в России, в Борисоглебском уезде Тамбовской губернии, другого в Нассау, в Германии, и сравнивает на основании документов, заслуживающих полного доверия.

Взятое для сравнения хозяйство русской крестьянской семьи ведется на 12 десятинах земли. Итог всех получаемых семьей с этого пространства продуктов составляет валовой доход, оцениваемый в 242 р. 10 к. Этой суммы оказывается недостаточно на покрытие всех расходов семьи по собственному продовольствию, на разные домашние надобности и на уплату разных податей и повинностей. По самому экономному расчету, годовой бюджет означенного крестьянского хозяйства сводится с дефицитом в 25 руб. 65 коп. Чтобы свести концы с концами, семья должна сверх своих 12 десятин арендовать еще несколько десятин и, кроме того, наниматься на работы у соседних землевладельцев. Почему это так? Потому ли что двенадцати десятин вообще недостаточно для обеспечения быта крестьянской семьи?

Ответ на этот вопрос дает описание хозяйства германской крестьянской семьи в Нассау. Это хозяйство ведется не на 12 десятинах, а всего на 10 гектарах, то есть на девяти с небольшим десятинах. Но валового дохода с этих девяти десятин

получается не 242 рубля, а 2 420 рублей. За покрытием всех расходов, и хозяйственных, и по собственному содержанию, и по уплате податей и повинностей, годовой бюджет семьи дает избыток дохода над расходом в 456 р. 72 коп. Чистый доход от хозяйства нассауского крестьянина на девяти десятинах оказывается, таким образом, далеко превышающим весь валовой доход хозяйства борисоглебского крестьянина на 12 десятинах. При таком положении дела понятно, что нассауский крестьянин, владея девятью десятинами, не имеет надобности ни принанимать чужую землю, ни тем менее наниматься в работники. Он, напротив, сам держит постоянного работника, нанимая, кроме того, поденщиков во время спешных работ, что ежегодно входит в бюджет его хозяйственных расходов.

Итак, с одной стороны, девять десятин превосходно обеспечивают быт крестьянской семьи и дают ей возможность делать ежегодно значительные сбережения. С другой стороны, двенадцать десятин не обеспечивают существования крестьянской семьи, которая бьется на них как рыба об лед. В размерах ли землевладения следует искать тут объяснения такой невыгодной для русского крестьянина разницы?

В данном сравнении значение невыгодной разницы усиливается еще тем, что у борисоглебской крестьянской семьи не только больше земли, но и самая земля гораздо лучше: однако выходит так, что в ее руках 12 десятин хорошего чернозема без сравнения менее производительны, чем 9 с небольшим десятин обыкновенного суглинка, на которых хозяйничает нассауский крестьянин.

Не количество и даже не качество земли играют главную роль в указанных крестьянских хозяйствах, дающих столь различные результаты, а способы эксплуатации земли, несравненно большая интенсивность германского крестьянского хозяйства сравнительно с русским. У приведенного в примере нассауского крестьянина гораздо более и умения, и средств хорошо вести свое хозяйство. Этот нассауский крестьянин не ведет многопольного хозяйства; он хозяйничает по той же трехпольной системе, какая господствует у нас; но у него такой

живой и мертвый хозяйственный инвентарь, о каком русский крестьянин едва ли даже мечтает. Он держит большое количество скота, притом скота хорошего, и потому располагает большим количеством удобрения, которое, кроме того, покупает со стороны. Благодаря этому он удобряет свои поля два раза в течение трехгодичного севооборота и потому получает с них хорошие урожаи. Чтоб иметь возможность прокармливать содержимый им скот, он часть своей земли отводит под травосеяние. Паровое поле у него не гуляет, а почти все засеивается разными хозяйственными растениями. У него и хорошая рабочая лошадь, и хорошие земледельческие орудия, а потому и земля обрабатывается у него несравненно лучше, чем у русского крестьянина с его грошовым инвентарем и лошадью, едва передвигающей ноги.

Принимая все это во внимание, трудно не признать, что самая слабая сторона нашего крестьянского хозяйства заключается не в недостаточности размеров земельного надела, а в неимении средств извлекать из этого надела то, что он может дать. В иных случаях может быть очень полезно увеличить и округлить крестьянские земельные участки; но в этом нет необходимости по отношению к огромному большинству крестьян. Для улучшения их хозяйств требуется иное. Поставить в лучшие условия их скотоводство, дать им возможность улучшить свой инвентарь, научить их более правильному ведению хозяйства, вот что было бы благодеянием для всего крестьянского населения и повело бы к его обогащению, а стало быть, и к обогащению всего государства. Вот сторона дела, на которую преимущественно должно быть обращено внимание и которая должна стоять впереди забот о разных средствах к расширению крестьянского землевладения. С этим делом связана вся экономическая будущность страны. Большая часть всей обрабатываемой почвы принадлежит крестьянам, и лишь много меньшая часть находится в руках частных владельцев. Производительность почвы, степень ее доходности, стало быть, богатство и бедность страны, самое обеспечение народного продовольствия, находятся, таким образом, в прямой зависимости

от того, как идет крестьянское хозяйство. Крупные и средние хозяйства имеют тут лишь второстепенное значение. А между тем всего хуже идет у нас именно крестьянское хозяйство. Это было заявлено, между прочим, еще в докладе известной сельскохозяйственной комиссии 1873 года. Можно усомниться в верности приведенных в этом докладе цифр, по которым выходит, что у крестьян десятина дает вообще почти вдвое меньшее количество ржи и овса, чем снимается их с той же десятины другими землевладельцами. Но полагая даже, что такая разница чрезмерно преувеличена, все-таки нельзя отрицать что доставшиеся крестьянам земли возделываются хуже прочих, что эти земли при существующих условиях наименее производительны. И производительность их год от году не только не возрастает, а, напротив, уменьшается. Неудобряемые земли год от году истощаются. Если дело будет идти так и впредь, можно опасаться в будущем серьезной, трудно поправимой беды, можно опасаться, что земледелие перестанет наконец обеспечивать у нас общее народное продовольствие.

В своей статье г. К. Л. предлагает между прочим устраивать в виде улучшения крестьянского хозяйства небольшие образцовые хутора с 10 или 12 десятинами земли, то есть в размерах, подходящих к размерам крестьянского землевладения. Присматриваясь к способам и результатам ведения хозяйства на таких хуторах, крестьяне, конечно, могли бы обучиться многим полезным сельскохозяйственным приемам, пригодным в мелких хозяйствах. Но вот вопрос, может ли быть у крестьян достаточное побуждение, даже просто возможность прилагать к делу эти сельскохозяйственные приемы при господствующей системе частых переделов земли? Не требуется ли прежде всего принять меры против этих переделов, побуждающих крестьянина воздерживаться от удобрения и улучшения обрабатываемого им участка земли, так как этот участок при первом переделе уйдет от него и все, что в него вложено, пропадет даром. Не в этих ли переделах коренится причина печального застоя в крестьянском хозяйстве и ничтожной производительности крестьянских земель? Ведь такого застоя не замечается

в тех местностях, где господствует не общинное, а участковое владение землей, как это было замечено, между прочим, и в докладе сельскохозяйственной комиссии 1873 года. Не следует ли приискать способ к устранению вреда, причиняемого общинным землевладением, хотя бы не нарушая принципы общинной земельной собственности?

Затем одно из самых важных условий для улучшения крестьянского хозяйства заключается в принятии мер к подъему крестьянского скотоводства. Количество скота у крестьян, по общим отзывам, не увеличивается, а даже уменьшается, частью от падежей, частью от продажи скота и добровольно самими крестьянами, и недобровольно при взысканиях падающих на них по круговой поруке пеней за недоимщиков. Необходимо устранить по возможности эти причины, вредящие крестьянскому скотоводству, без успехов коего невозможны и успехи земледелия. К сожалению, вопрос о мерах против падежей, который несколько лет тому назад, казалось, был близок к решению, вслед за тем как-то совсем заглох. Не менее, чем мерами по этой части, могло бы быть сделано для успехов крестьянского скотоводства отменой или, по крайней мере, ограничением финансовой круговой поруки, которая лишает крестьян уверенности в том, что их скот не будет продан за недоимки соседей, – обстоятельство, мало поощряющее крестьян увеличивать количество и улучшать качество своего скота. Вопрос об отмене круговой поруки сам собой ставится на очередь возмещенной отменой подушных податей, и нельзя не пожелать, чтоб этот вопрос был решен, как того требуют существенные интересы крестьянского хозяйства, которые слишком долго приносились в жертву фискальным удобствам.

РАЗДЕЛ IV. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЯЗВЫ РОССИИ

Либерализм и антипатриотизм интеллигенции

ИСТИННЫЙ И ФАЛЬШИВЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ

Читатели пробегут с интересом помещаемую ниже корреспонденцию из Вильна. Это краткий очерк того, что там предшествовало восстанию, характеристика той атмосферы, среди которой развивалась и которой была отчасти вызвана интрига, приведшая к теперешней кровавой развязке. Эта атмосфера есть фальшивый либерализм, жертвующий самыми священными интересами Отечества, лишь бы казаться (но не быть) либерализмом. Эта атмосфера есть потакание тому, что не может впоследствии уйти от жестокой кары, есть кокетничанье с тем, что имеет все признаки дела, вредного государству или обществу. Вот какова эта атмосфера, из которой ничего, кроме пагубы, выйти не может. Было бы не совсем справедливо обвинять отдельных людей за то, что одни из них искали популярности у зачинщиков той или другой польской манифестации, а другие желали нравиться русским читателям *Колокола*. Отдельные люди несут лишь известную долю ответственности, но вся вина в том фальшивом духе либерализма, который не должен быть более терпим между нами после страшных уроков, только что пережитых Россией. Истинный либерализм

есть сила, а не уступчивость. Он отрекается от произвольных мер для того, чтобы упрочить порядок и законность. Он допускает и лелеет свободу потому, что верит в ее животворящую силу, а не потому, что не чувствует в себе сил бороться с притязаниями, направленными против законного порядка, против основ государства и общества. Истинный либерализм не есть и мягкость, — мягкость ко всему, и к хорошему, и к дурному. Такая мягкость есть тот же произвол, только обращенный в другую сторону и еще более опасный, чем произвол жестокости, потому что поощряет преимущественно дурное. От такой мягкости терпит законность; ею пользуются нарушители закона; истинно либеральные элементы общества она отталкивает от себя, отдавая их во власть элементов революционных.

Как ни тяжелы пережитые нами уроки, но мы все-таки счастливы, что нас выводит из этой атмосферы польское восстание. Что было интригой, то перешло в открытое действие. С чем можно было вступать в сделку, полусознательно, полубессознательно, тому уже нельзя теперь уступать, не принимая на себя серьезной ответственности. В распоряжении интриги остаются теперь только самые тонкие нити, каково, например, стеснение школ, заведенных духовенством, отвлечение крестьян от пожертвований в пользу этих школ, учреждение на казенный счет светских школ в подрыв школам приходским, поддержка сепаративных стремлений не только из Польши, но и из Петербурга и т. п. Много средств может быть придумано и несомненно придумывается для достижения подобных целей. Нельзя также ожидать, чтобы попытки обрабатывать в пользу революции неопытную часть русского общества были совсем оставлены. Лишь только спадет теперешний высокий строй русского общества, лишь только ослабеет теперешний живой интерес к общему делу, тотчас же выступят наружу знакомые нам элементы мрака и разрушения и будут искать себе приюта в общей апатии и безгласности. Где интриге привольно, где мало света, где загромождены пути для открытой, законной деятельности, там не может не заводиться интрига. Итак, мы не должны обманывать себя надеждой, что навсегда отдела-

лись от интриги, но все-таки нельзя не радоваться тому, что многие нити интриги, по крайней мере многие более грубые нити ее, достаточно обнаружили. Они очевидны теперь всякому без особенной прозорливости.

Возьмем для примера так называемые революционные манифестации. Дамы носят траур. Что тут по-видимому опасного? Отчего не смотреть на это сквозь пальцы? Так можно было спрашивать себя до восстания, когда было еще хоть сколько-нибудь извинительно думать, что, допуская невинные манифестации, подобные ношению траура, мы служим делу примирения национальностей. Но теперь, когда всем известно, какой смысл имеет этот траур, когда нет человека, который мог бы сомневаться, что траур носится с явной целью заявить сочувствие восстанию, теперь, смотря сквозь пальцы на ношение траура, не разрешаете ли вы, не одобряете ли вы сочувствия восстанию? Как положить границу позволительному и непозволительному сочувствию таким действиям, которые не могут не преследоваться законом? Далее, с какой целью может заявляться это сочувствие? Или им хотят оскорбить закон и посмеяться над властью, или им хотят поддержать дух восстания. Как в том, так и в другом случае власть, допускающая подобные заявления, действует в ущерб законному порядку и распространяет сомнение в своей готовности охранять его. Если б она даже и отделяла свои интересы от интересов законности, то ей не следовало бы так действовать уже потому, что популярность, приобретаемая таким образом действий, непременно должна быть сопряжена с презрением к власти. Вот до какой степени теперь разъяснилось это дело, в котором прежде многие не видели ничего опасного.

Возьмем другой пример. Положим, что какой-нибудь чиновник, надеясь на снисходительность начальства или на протекцию, позволяет себе действовать или бездействовать в ущерб законному порядку, покрывает виновных, облегчает злоумышленникам преступную пропаганду. Прежде цель подобных действий или подобного бездействия не была видна. Но если теперь начальство ограничивается тем, что журит его, не подвергая его законному взысканию, и терпит его на служ-

бе, то во сколько раз тяжелее должна быть ответственность за подобные уступки уже не делу примирения национальностей, а делу явного мятежа? Может ли чиновник видеть в этом образе действий доброту, заслуживающую благодарности, или простое популярничанье, происходящее от близорукости и тщеславия? Не должен ли он, напротив, видеть тут неуважение к закону, равнодушие к исполнению долга, слабость, внушающую презрение? Несколько примеров подобной слабости достаточны для того, чтобы побудить чиновника, не чувствующего над собой власти закона, к дальнейшим нарушениям закона и, наконец, к явным насмешкам над той самой властью, которая спускала ему то, что не имела права спускать.

Действовать таким образом теперь значит подкапывать законный порядок, давать ход тем самым притязаниям, которые уже пришлось однажды подавлять силой.

Но каким именем назвать снисходительность – не к манифестациям, не к послаблениям или к бездействию власти, – а к систематической мести за участие в подавлении мятежа? Прежде можно было отдавать русским крестьянам приказания, чтоб они безмолвно повиновались мировым посредникам из поляков, не смея обращаться с жалобами к русскому начальству. Подобные приказания можно было отдавать в надежде содействовать примирению национальностей. Но теперь это значило бы содействовать порабощению русской национальности. Теперь никто, конечно, не решится на подобную преднамеренную жестокость из опасения подвергнуться газетным обвинениям в жестокости.

Теперь чрезвычайно многое разъяснилось. Но и теперь, по-видимому, есть прискорбная непоследовательность в образе действий русских людей, остающихся верными долгу присяги. Нам кажется, что эту непоследовательность можно объяснить только смешением двух совершенно различных задач, – подавления мятежа и разрешения польского вопроса. Считаем не лишним сказать несколько слов об этом смешении.

Польский вопрос может быть разрешен более или менее либерально; как мы говорили вчера, это совершенно зависит

от того, на что мы будем более полагаться и рассчитывать, – на свою вещественную или на свою нравственную силу. Польский вопрос может быть разрешен окончательно, так, чтобы он не возвращался периодически, или он может быть замят и замазан на время, и тогда в перспективе у нас будет другой польский мятеж, может быть, более опасный! Но все это нисколько не касается теперешнего мятежа и того, что находится в связи с теперешним мятежом. Главное средство к подавлению мятежа, военное положение, должно иметь один и тот же характер везде, где господствует один и тот же закон относительно военного положения; оно не может видоизменяться сообразно личным взглядам исполнителей на будущее разрешение польского вопроса. Наконец, говоря вообще, мятеж везде мятеж, где бы он ни вспыхнул, в Польше, в Индии или в Венгрии. Кто призван подавлять его, тот должен исполнять свою обязанность и тем лучше исполнить ее, чем скорее подавить мятеж. Польский мятеж и польский вопрос – это две вещи совершенно различные, которые никак не могли бы смешиваться, если б у нас было сильнее развито сознание долга. Подавление мятежа есть дело исполнительное; решение польского вопроса – дело законодательное, зависящее не от местных представителей исполнительной власти, а от центрального правительства. Подавление мятежа может быть, правда, сопряжено с политическими мерами, которые предназначены к тому, чтоб искоренить и самые семена мятежа в будущем. Но эти меры лишь прибавка к исполнению первой задачи, заключающейся в подавлении мятежа существующего или очевидных признаков мятежнического волнения. Если же в то время, когда еще не исполнена первая задача, исполнение ее замедлялось бы желанием полагать какие-нибудь семена для предполагаемого в будущем устройства края, и если бы агенты исполнительной власти давали ход этому желанию, то это значило бы с их стороны нарушать свой ближайший долг и подвергать себя самой серьезной ответственности. Каковы бы ни были взгляды того или другого должностного лица на лучший и наиболее желательный ход дел после мятежа, никто из них

не имеет права смотреть сквозь пальцы на самый мятеж или на действия и манифестации, находящиеся с ним в очевидной связи. Самая опасная из действующих теперь интриг состоит, кажется, именно в распространении этого фальшивого понятия, будто бы лица, обязанные подавлять мятеж, занимаются разрешением польского вопроса. Ничто не может быть ошибочнее этого понятия.

ЛИБЕРАЛИЗМ В РОССИИ

В историческом развитии народов бывает пора, когда жизнь во всех своих отправлениях подчиняется государственной необходимости, когда общественные силы не могут самопроизвольно действовать, когда никакое народное начало не может само по себе иметь значение и когда за все отвечает безразличная по существу своему правительственная сила. Бывает ли такое состояние последствием внутренней или внешней необходимости, оно во всяком случае имеет свой характер, свои условия, свои обязанности. Когда скоро государство приостанавливает самостоятельность народной жизни и берет на себя все заботы об ее интересах, то оно берет на себя также и всю ответственность за сохранность ее достояний. Государство может быть могущественно, а народная жизнь может быть скудна и темна, общественные силы могут быть бездейственны и бесплодны. Государственное могущество не может заменить собой производительное развитие народных сил, общественную и личную энергию в разных сферах человеческой жизни и деятельности; но пока длится государственная деятельность, пока не оказывается возможным и удобным или современным предоставить жизненным силам свободу действовать самостоятельно и охранять себя свойственными каждой способами, то оно должно не ослабевать в тех способах, которые ему свойственны. Если жизнь в своих основных силах почему-либо не имеет самостоятельного развития, то государство тем ревностнее должно охранять ее своими средствами. Либерализм при таких условиях был бы весьма жалким и пагубным заблужде-

нием. Либерализм при таких условиях был бы выражением не силы народной жизни, а бессилием государства.

Либерализм вошел у нас в моду. Никто не осмелится сказать у нас слова без либеральной приправы, всякий старается оправдать свои фантазии либеральными целями. Увы! Как далеко от этого модного либерализма, разменянного на мелкую монету, истинное чувство свободы, творящей чудеса, оплодотворяющей жизнь, дающей народу богатство, образование, физиономию и сообщающей ему нравственное влияние на всемирную цивилизацию! Правда, мы имеем утешать себя тем, что фальшивый либерализм не у нас одних в моде, что пышные либеральные фразы без истинного смысла свободы раздаются повсюду; однако нельзя не сознаться, что нигде не могут они вести к таким прискорбным недоразумениям как у нас. Жизнь есть борьба; в ней есть и положительные, и отрицательные силы; в ней совершаются и созидания, и разрушения. Не хорош ли тот либерализм, который захотел бы предоставить свободу силам отрицания и разрушения на счет сил положительных и созидających? Хорош ли тот либерализм, который захотел бы предоставить свободу, помимо собственных сил народа, началам чуждым и враждебным ему? Мы сплошь и рядом слышим, как под свободной мыслью и свободным действием разумеется мысль и действие отрицательного свойства. Печальный и пагубный софизм! Без сомнения, где жизнь, там и отрицательные начала, враждующие против нее. Но можно ли допустить, можно ли здравосмысленно пожелать, чтобы, жизнь в своих органических силах оставалась связанной, а воля была предоставлена только тому, что ее разрушает и разлагает, и чтоб она была беззащитно предана действию этих разлагающих начал, а чтобы в этом представлялась ее свобода? Фальшивый либерализм будет требовать самоуправления для детей, которые, по естественным условиям своего возраста, непременно должны находиться под опекой; но он не поймет, что люди взрослые могут достойно действовать в соответствующих возрасту их сферах лишь по мере своей самостоятельности и самоответственности. Фальшивый либерализм обойдется с седовласым учителем, как

с мальчишкой, а перед мальчишкой сконфузится, как перед мудрецом и передовым человеком. Фальшивый либерализм не поймет, что право собственности должно быть обеспечено, что оно должно быть уважено, что ему должно быть предоставлено значение и влияние, и захочет, напротив, предоставить и силу, и значение тому, что подрывает и нарушает это основное право. Он окажется равнодушным к интересам честных и мирных людей, к обеспечению их от обиды насилия, к ограждению их чести и жизни; но он будет сентиментально умиляться перед грабителем и душегубом, он будет заботиться об их эманципации и желать, чтобы преступник был обеспечен, если не от преследования, то от должной кары правосудия.

Пока наши общественные силы бездействуют, пока в действии одна правительственная организация, можно ли желать, чтоб она ослабевала в охране народного достоинства, так тяжко собранного трудом нашей истории! В состав русского государства входят многие разноплеменные народности. Нельзя требовать, чтобы правительство свойственными ему способами сливало эти чуждые начала с господствующей народностью. Подобные слияния может успешно совершать только жизнь при свободном и полном развитии своих интересов. Но с другой стороны, может ли государство не признавать себя органом господствующей народности и не держать ее знамени над всеми иноплеменными элементами, живущими под его державой? Может ли в какой-либо части русского государства какая бы то ни была иноплеменная народность, или даже какой-нибудь общественный класс, принадлежащий к чуждой народности, домогаться не только терпимости к себе, но и заботиться о господстве и о расширении своего господства, о покорении себе других племен и народностей, и может ли ему быть предоставлено право считать свою провинцию особым государством в государстве?

Мы не можем не признать, что столь долго господствовавшая у нас правительственная система значительно смягчилась. Должны ли мы радоваться этому или желать возвращения прежнего обаяния государственной силы, которое Отечество

наше имело как в глазах иностранцев, так и в нашем собственном мнении? Возвращение к прежнему, если бы даже и было хоть сколько-нибудь желательным, не всегда бывает возможно. Но если мы не можем или не хотим действовать одними отрицательными средствами для ограждения нашей Церкви, прав нашей народности, нашего политического значения, если, наконец, мы сознаем тщету одной внешней силы для подавления опасных и вредных начал, если мы начинаем сознавать цену свободы и хотим действовать либеральными средствами, то не следует ли прежде всего пожелать, чтобы господствующая народность вступила в обладание всеми своими силами и чтобы смягчение правительственного действия имело своим последствием прежде всего пробуждение наших народных сил?

НАШЕ ВАРВАРСТВО – В НАШЕЙ ИНОСТРАННОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Мы не знаем, кто больше заботится, сами ли мы или наши противники о том, чтобы русские интересы подчинялись чужим, чтобы мы признавали над собой компетенцию Европы и связывали свои действия каким-то международным правом. Наша интеллигенция выбивается из сил показать себя как можно менее русской, полагая, что в этом-то и состоит европеизм. Но европейская интеллигенция так не мыслит. Европейские державы, напротив, только заботятся о своих интересах и нимало не думают о Европе. В этом-то и полагается все отличие цивилизованной страны от варварской. Европейская держава значит умная держава, и такая не жертвует ни одним мушкетером, ни одним пфенигом ради абстракции, именуемой Европой. Никакая истинно-европейская дипломатия не поставит себе задачей служить проводником чужих интересов в делах своей страны. Наше варварство заключается не в необразованности наших народных масс: массы везде массы, но мы можем с полным убеждением и с чувством достоинства признать, что нигде в народе нет столько духа и силы веры, как в нашем, а это уже не варварство... Нет, наше варварство – в нашей ино-

странной интеллигенции. Истинное варварство ходит у нас не в сером армяке, а больше во фраке и даже в белых перчатках.

Наши образованные люди, публицисты дипломатического пошиба не понимали, что Европа как политический термин есть фикция, которая ничем не отличается от бредней социализма и всякого рода утопий. Стыдно было в писаниях с притязанием на серьезное значение встречать фразы о европейском ареопаге. Эти господа не понимали, что Европа есть только удочка для их варварства, и что если наши противники влекли нас на суд Европы и заставляли нас подчинять ей интересы нашего Отечества, то этим требовалось только, чтобы мы с религиозным трепетом и благоговейно приносили самое дорогое для нас в жертву нашим врагам. С нами не церемонятся. Наше варварство эксплуатируют и не скрывают того, с уверенностью, что мы не пойдем обмана и тогда, когда увидим его. Те самые правительства, те самые люди, те самые органы, которые твердят нам об Европе и интересах европейских, будут, нисколько не стесняясь нашим присутствием, смеяться над этим вздором. Послушайте, до какой доходит это наглости. Сейчас прочли мы в лондонской газете *Times* очень меткую отповедь на сетования некоторых французских органов, что Европа вследствие бессилia Франции перестала существовать, причем французскими публицистами делаются упреки Англии за то, что она не поддержала Францию в борьбе имевшей последствием ее теперешнее немощное положение. Орган Лондонского города замечает, что толковать о Европе в смысле какой-то силы, предписывающей законы нациям, есть нелепость недостойная людей серьезных. Не ограничиваясь сарказмами, *Times* не церемонится объявить, «что общности (*community*) наций для охранения мира никогда не бывало, разве в дипломатических фразах», и рядом исторических примеров от Реформации до наших дней доказывает, что правительства и нации всегда руководились национальным интересом. По окончании больших войн улаживались общие соглашения, которые в течение времени упразднялись или силой, или развитием обстоятельств. Словом, то же, что говорили мы: трактаты заключаются на мирное время и

упраздняются войнами, которые ведут к иному порядку вещей, не имеющему ничего общего с прежними трактатами. *Times* поясняет это всем известной историей трактатов, составленных на Венском конгрессе, от коих теперь не осталось ничего уцелевшего, хотя для упразднения их не понадобилось европейского разрешения. Не только не понадобилось, но вмешательство Европы было бы и невозможно, говорит лондонский орган, ибо ни Франция, ни Пруссия не допустили бы, чтоб Европа улаживала дела, которые они считают своими. «Дело в том, – читаем мы, – что всякая попытка соорудить из *европейской общины* формальный апелляционный суд была бы попросту сигналом к всеобщей войне. *Никакая независимая страна не подчинит решения своих вещественных интересов суду присяжных из заинтересованных соседей.* Нет, никакая независимая страна не должна допускать, чтобы потребности ее существования становились таким образом игрой случайности». Мысль о европейском международном трибунале, учит лондонская газета, порождается ложной аналогией: «Независимые государства не дают материалов для таких судов, кои действуют внутри государства. Было бы невозможно назначить судей, коим бы все доверяли; а изменчивый кодекс общих правил, который смутно зовется международным правом или общим правом, был бы бесполезен при отсутствии какой-либо высшей международной власти, постоянно заседающей и компетентной не только пересматривать закон от времени до времени, но и принуждать к исполнению оного с помощью общей армии».

Но та же газета, в той же самой статье, не переменяя тона, объявляет, что Европа, эта не существующая Европа, эта фикция, эта утопия, эта нелепость, которая в случае попытки осуществиться ее стала бы началом всеобщих войн и потрясений, – вдруг становится действительностью несомненной, бесспорной, священной, как только речь коснется интересов России. В Восточном вопросе, который теперь есть собственно русский вопрос, Европа, учит *Times*, имеет право «навязывать свою волю». Не разумное, бессмысленное, наконец не существующее, вдруг является силой, которая имеет свою волю! Каково это!

Это напоминает нам другой, еще более возмутительный пример эксплуатации нашего интеллигентного варварства.

Недавно в аугсбургской *Allgemeine Zeitung* (№ 119, от 29 апреля) прочли мы статью одного из немецких юристов, вызванную приговором петербургских присяжных по делу Засулич. Ничего не может быть основательнее излагаемого в этой статье взгляда на значение суда вообще и суда присяжных в особенности. Послушаем:

«Что значит быть судьей? Значит применять действующий положительный закон к субъективному деянию человека, кто бы он ни был и над кем бы ни совершил он свое деяние; значит: всей силой своего духа и мысли стараться распознать, подходит ли состав данного деяния под существующий закон; наконец, быть судьей значит со всей добросовестностью и самообладанием, к каким только может быть способен человек, совершать действия ясного, холодного, трезвого рассудка, причем сердце и чувство должны лишь настолько действовать, чтобы судья был проникнут до глубины души таким убеждением: я тем вернее исполняю мой долг и тем лучше служу государству и правосудию, чем крепче сопротивляюсь всяким внешним влияниям и часто столь сильным внутренним возбуждениям. Для истинного судьи, каким он должен быть, такая строгая и возвышенная задача становится призванием целой жизни. Независимый от вех земных властей, он преклоняется лишь пред единой, пред величием закона. Его недоступность коренится в его верности долгу; холодность его рассудка, нередко пугающая поверхностного наблюдателя, имеет свой источник в глубокой и горячей преданности делу правосудия, в верном блюдении которого он видит жизненное условие для процветания государства. Если же судья когда-либо уклонится от прямого пути, предначертанного ему законом, если он захочет поправлять законодательство и не даст должного применения действующей норме, потому что она ему покажется устаревшей и несогласной с современными юридическими воззрениями, то никто не усомнится признать, что такой судья изменил своему долгу и не понял достоинства возложенной на

него задачи. Но, может быть, судьи из народа, присяжные, поставлены в другие условия? Если Линчев суд не допускается на улицах, то не следует ли допустить утонченный Линчев суд верховновластного народа в судебной зал, посредством которого произвольно устраняются существующие законы? Нет! Если присяжным поставлен вопрос: виновен ли подсудимый *А* в том, что выстрелил в *Б* с намерением умертвить его, то ненарушимый долг обязывает их добросовестнейшим образом убедиться, была ли в данном случае возможность и воля причинить смерть. Следствие о том, не было ли подвергшееся нападению лицо такого свойства, что учиненное против него посягательство заслуживает снисхождения с нравственной точки зрения, или личность подсудимого не дает ли основания заключать, что он в своем деянии руководился какими-нибудь нравственными мотивами, – такое следствие лежит вне сферы компетенции суда присяжных. Коль скоро они, отступая от закона, возьмутся судить по произвольному усмотрению не внешнее деяние, но душевную глубину, они изгладят черту, которую человеческая мудрость провела между правом и нравственностью. На место положительного общего критерия поставят они произвольное личное чувство; они нарушат закон, которого твердость есть лучшая охрана гражданина; они поколеблют общественную нравственность, что должно иметь неисчислимые последствия. Правда, бывают случаи, когда закон оказывается очевидно недостаточным, но тогда на помощь является Верховная власть, которая всего беспристрастнее может решить, не сталкивается ли в каком-либо исключительном случае нравственное требование с законом. Но это находится вне сферы суда присяжных. Если они вздумают поправлять закон, то в минуты возбуждения они создадут новый, который не может быть ни чем иным, как незрелым выражением минутного настроения; захотят ли они миловать, – это будет не милость, а произвол...»

Представьте же себе, рассуждая так умно и так зрело, тот же самый автор в той же самой статье объявляет, что к России все это не применяется, что там судьи и присяжные не только

могут, но должны нарушать свой долг, колебать общественную нравственность, вести к потрясениям, и что он очень рад приговору присяжных по делу Засулич (приговору, недопустимому в Германии или Австрии); он рукоплещет этому приговору вместе с избранной публикой Петербурга. России так и надо...

«РУССКИЙ НАРОД» И ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ» (ОТВЕТ КАВЕЛИНУ)

На прошлой неделе в одной из петербургских газет К. Д. Кавелин почтил издателя *Московских ведомостей* заметкой, имеющей характер личного, хотя и открытого письма. Находясь в отсутствии, *адресат*, говоря почтовым термином, не мог отвечать ему немедленно и исполняет это теперь, избегая, по своему обычаю, местоимения *я*.

Почтенный Константин Дмитриевич считает себя принадлежащим к сороковым годам, но неизвестно почему относит он к тому же десятилетию и «М. Н. Каткова», который родился гораздо прежде, а живет пока и в 1880 году. Приурочивая себя к сороковым годам, К. Д. Кавелин, по-видимому, полагает, что каждое десятилетие награждает своих деятелей, которые с наступлением одиннадцатого года должны слагать с себя доспехи и оставаться простыми зрителями дальнейших событий, не принимая в них участия. Сколько мы помним, он действительно воздерживался от участия в делах мира сего, совершавшихся после золотого века сороковых годов. Были у нас реформы, восстания, войны, он хранил молчание. Мы от него не слышали гневного и строгого слова обличения ввиду разврата, который представляла наша печать и из которого прямо вышли учения наших революционеров, приводящие его теперь в запоздалый ужас. Зато мирный гражданин Аркадии сороковых годов нашел теперь это строгое и гневное слово в защиту петербургской интеллигенции от «М. Н. Каткова». Сему последнему почтенный К. Д. Кавелин грозит чуть не тюрьмой, обвиняя его в клевете, а клевета, как известно, есть очень дурной поступок, влекущий за собой тюремное заключение.

Нам пришлось сказать, что власть в борьбе с оказавшейся у нас крамолой может надежно опереться не на интеллигенцию нашу, а на русский народ. Почтенный К. Д. Кавелин видит в этом клевету и упрекает нас за то в цезаризме. В конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов «М. Н. Катков», по мнению К. Д. Кавелина, предлагал России в образец для государственного устройства английские учреждения, а теперь он будто бы рекомендует ей Наполеоновский цезаризм.

Но, уважаемый Константин Дмитриевич, разве в настоящее время речь идет о преобразовании государственного устройства России? Разве Распорядительная Комиссия с графом Лорис-Меликовым во главе имеет своим назначением не просто борьбу с крамолой, а переустройство нашего образа правления? К чему тут вопрос об английской конституции и Наполеоновском цезаризме? Мы все читали Высочайший указ, возложивший на графа Лорис-Меликова диктаторские полномочия для искоренения злоумышленного заговора, и вопрос заключается только в том, на что в этой борьбе следует опереться – на петербургские ли мнения или на русский патриотизм?

Цезаризм! Но где же Цезарь? Откуда взялся он? Откуда могла бы явиться в России мысль о системе правления, связанной с именем Наполеона? Разве есть что-либо общее между русской исторической монархией, единой с народом, незыблемой и священной в его веровании, с властью, выброшенной на улицу и захваченной счастливым солдатом?

От «Наполеоновского цезаризма» предостерегала нас покойная консервативная *Весть*. От той же самой беды предостерегают нас теперь с либеральной точки зрения. Увы, либерализм и консерватизм – сугубо пустые прозвища в нашем Отечестве! Наши консерваторы и либералы рознятся между собой в частных интересах, в отвлеченных принципах, в своей фразеологии, но они легко и дружно сливаются в одну партию против всякого русского дела и русского мнения.

Что же касается английских учреждений, то напрасно К. Д. Кавелин думает, что пишущие эти строки когда-нибудь предлагал их в образец для государственного устройства

России. Правда, изо всех стран цивилизованной Европы для нас, как и для многих, Англия представляла всегда предмет особенно интересный в своем государственном устройстве. Но она интересовала нас историческим духом своих учреждений, в которых все выросло, и нет ничего по шаблону сделанного. Публицист, к которому г. Кавелин обращает свою речь, указывал на Англию, как на образец неподражательности политического быта, и, раскрывая органическую связь ее учреждений, выражал со всей энергией, к какой был только способен, желание, чтобы мы походили на нее самородностью своего развития и, стало быть, отнюдь не походили образом нашего устройства. Страна, как Россия, с громадным народом, имевшим столь оригинальные судьбы, так явственно определившимся в своей индивидуальности, не может безнаказанно жить чужим умом и заимствовать какие бы то ни было формы для своего политического устройства. Если народ, подобный русскому, призван к жизни, – то он должен внести в историю нечто новое, ему только свойственное. Он должен в самом себе находить начала для своего устройства и законы для своего развития.

Но, оставляя в стороне неуместный вопрос о преобразовании государственного быта в России, возвратимся к более серьезному – о нашей интеллигенции и о русском народе. Напрасно К. Д. Кавелин понял наши слова об интеллигенции в таком смысле, будто всякий образованный и мыслящий человек в России представляет собой неблагонадежный элемент. Такой странности никто не говорил и сказать бы не мог. Самим же г. Кавелиным приводимые в его заметке слова наши уличают его в несправедливости и опровергают возводимую им на издателя *Московских ведомостей* напраслину. Речь шла о патриотическом духе народа, на который власть должна опираться в действии против врагов какого бы то ни было свойства внутренних и внешних. Чем просвещеннее, чем интеллигентнее этот народный дух, необходимый для правительства, если оно хочет иметь успех, тем лучше, тем желательнее. Русский народ не есть масса пьяных мужиков,

как разумеет его иной петербургский сановник-консерватор или таковой же либерал. Он представляет собой великую, сверху до низу исторически организованную силу. Опираясь на русский народ не значит опираться только на его темные массы, а на всю совокупность его организации, на все его сословия, поскольку каждое из них остается верным историческому духу своего народа и подчиняет свой интерес государственной пользе. Но нельзя сказать, чтоб интеллигенция, носящаяся над Россией и имеющая свое средоточие в Петербурге, откуда она и распространяет повсюду свое действие, нельзя сказать, чтоб эта интеллигенция была русским народным разумом, чтоб она была органом русского патриотического духа, чтоб она в своих мнениях и действиях управлялась русскими историческими началами...

В Петербурге, как и везде, живут люди разного образа мыслей, и есть, без сомнения, много таких, которые столь же сильно, как и мы, чувствуют зло и пагубу этой беспочвенной и пустой интеллигенции, которая, гнездясь в административном центре, приобретает там силу и становится властью.

Г. Кавелин требует доказательств, но доказательства самые убедительные всегда были у него пред глазами. Никто не виноват, если он не видит очевидного. Нигилизм со всеми своими доктринами и последствиями был несомненно исчадием этой интеллигенции, за оскорбление которой г. Кавелин готов подвергнуть нас уголовной каре. Разве начиная с блаженных сороковых годов по сие время большая часть петербургской печати не была органом тех самых доктрин, которые составляют сущность революционной пропаганды в нашем Отечестве? Разве наша подпольная литература не есть в сущности воспроизведение, только с раскрытыми скобками и договоренными словами, того, что развивалось в *законной* печати? Разве наша молодежь, начиная именно с сороковых годов, благодаря правительственным ошибкам, происшедшим вследствие не русского духа, который постоянно господствовал в наших делах, не развращалась умственно в реальной школе, в какую превратились наши духовные семинарии

и гимназии именно сороковых годов, в которых замкнул наш почтенный возражатель свое духовное существование? Все познается по плодам своим. Каких же других плодов можно было ожидать от этой интеллигенции без жизненной силы, без почвы и корня, которая управляла нашими делами и мнением нашего общества? Она делала слепыми наших руководителей, она отнимала у нас здравый смысл, она творила нас вольными или невольными изменниками своей народности, а с тем вместе и своему государству, которое стоит и падает с русской народностью. Время, которое мы переживаем теперь, не есть нечто совершенно для нас новое. Пока почтенный К. Д. Кавелин почивал блаженным сном сороковых годов, мы в начале шестидесятых переживали время такое же, как и теперь, с той только разницей, что враг наш стал теперь искуснее, а мы еще не успели стать умнее. Тогда правительство сумело опереться на народ. Став народной силой, оно вызвало патриотический дух в населении. Растрепанная интеллигенция смолкла, измена побледнела и притаилась, умы отрезвились, здоровая и сильная жизнь закипела в обществе. С того времени впервые свободное слово в России перестало дичиться русского народного чувства, преданного своему государству и свято чтущего свою Верховную власть. С того времени без войны и усилий Россия снова заняла подобающее ей место в системе держав... Но наше умственное малосилие не долго могло выдержать высокий строй. Умами снова овладели чужие идеи, снова появились на сцену антирусские элементы, снова подпали мы под власть обмана... Не грех ли г. Кавелину требовать у нас доказательств неблагонадежности той интеллигенции, о которой идет речь? Как будто это еще требует доказательств, как будто это не было уже доказано столь многими фактами! Нас, вас и всех приводят в негодование гнусные покушения, которых мы были свидетелями в последнее время. Но разве принцип этих покушений, к удивлению целого мира, не был торжественно оправдан, одобрен и прославлен петербургской интеллигенцией в знаменитом суде над Верой Засулич?

НАЦИОНАЛЬНАЯ И АНТИНАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИИ В РОССИИ

Нет ничего фальшивее толков о существовании в России партии консервативной и либеральной. Как и везде, у нас есть и всегда будут частные интересы желающих сохранения или упразднения каких-либо порядков. Так, частному интересу помещиков была невыгодна отмена крепостного права. Так, учителям наших прежних гимназий было невыгодно преобразование учебной системы, низводившее их на второстепенное положение или вовсе упразднявшее. Так, некоторым кликам в нынешних профессорских коллегиях может казаться невыгодной всякая перемена в университетском устройстве, которая потребовала бы со стороны преподавателей более серьезного отношения к науке и более строгого исполнения своих обязанностей. Чинам полиции и административным властям может казаться неудобным допущение гласности. С другой стороны, ленивым ученикам была бы приятна отмена учения и право *faire l'école buissonniere**, как недавно предлагалось в одной либеральной петербургской газете. Кому терять нечего, тому выгодны перемены, открывающие более широкую возможность к безнаказанному присвоению чужой собственности. Всякий консервативен, когда дело идет о своем кармане или о своих правах, всякий либерален на чужой или на казенный счет. Словом, частных интересов, и уважительных, и неуважительных, есть бесчисленное множество: но как на этом зыбком, непрерывно меняющемся фундаменте построить какие-либо постоянные, общие, политические партии? Скажут: консервативную партию составляют люди, заинтересованные охранением порядка, а либеральную – люди, заинтересованные расширением свободы. Но почему одни будут заинтересованы охранением порядка, а другие расширением свободы? Всякий порядочный человек заинтересован сохранением порядка, и всякому мила свобода. Порядок и свобода, это две стороны,

* Прогуливать уроки (фр.)

два конца, два полюса одного и того же; они вместе стоят и вместе падают. Нельзя желать одного, не желая другого. Но если у нас нет и быть не может политических партий в смысле консервативной и либеральной, то, к сожалению, есть несомненно две другие партии, которые имеют реальную основу и действительно проходят через все интеллигентные сферы в пределах русской державы. Эти партии могут быть названы национальной и антинациональной, русской и антирусской.

Нет ничего нелепее вопроса о либеральных или консервативных мерах вообще, без отношения к кому-нибудь или к чему-нибудь. Прежде всего требуется знать, о каком субъекте мы заботимся, к какому субъекту прилагаем меры. Политическим субъектом для нас есть, конечно, Россия. Национальная партия может желать только того, что полезно России, что ей во благо, а не того, что либерально или консервативно. Наоборот, для людей антинациональной партии хорошо то, что ослабляет Россию в ее государственном составе, что вносит смуту в ее общественную жизнь: чем хуже, тем лучше, вот девиз этой партии. Обе партии, национальная и антинациональная, не так легко разграничиваются, как можно было бы ожидать по смыслу их названия. Далеко не все носящие русское имя и к Православной Церкви приписанные люди могут быть относимы к национальной партии; наоборот, всякий политически честный русский подданный, какого бы то ни было племенного происхождения, принадлежит к национальной партии. К сожалению, наша светская чернь, наши ученые и литераторы большей частью или колеблются между обеими партиями, или же примыкают к партии антинациональной. Вообще наша интеллигенция имеет поверхностный, раздражительный и космополитический характер; она не принадлежит своему народу и, оставляя его во тьме, сама остается без почвы. Ее понятия и доктрины большей частью чужого происхождения и не имеют никакого отношения к окружающей их действительности, а потому никто так легко не поддается обману и не обнаруживает столько политического легкомыслия как наши quasi мыслящие люди.

Могут быть партии со всякими оттенками, консервативным, либеральным, радикальным, которые на политической почве, в отношении к России, к русскому государству составляют одну отрицательную партию. Партия эта велика и многочисленна, обнимает людей, не имеющих между собою ничего общего, кроме неприязни к русскому государству или к русскому народу, что одно и то же, – неприязни природной или благоприобретенной посредством обмана и смуты. Каждая из разнородных групп во всем положительном может находиться в антагонизме с другими; но все антинациональные группы сливаются до безразличия в общем отрицательном направлении. Такая партия не есть фантазия или гипотеза. Партия эта есть факт, которого нельзя не признать, в котором не позволительно сомневаться. Был момент, – момент еще памятный всем, кроме ныне учащихся молодых людей, – когда эта партия выступала даже с оружием в руках, хотя она гораздо опаснее, когда действует в тишине и скрытно... Мы видели во время польского мятежа, как *белые* и *красные*, глубоко рознясь между собой во всем, составляли одну рать против России. Пышные магнаты, принятые ко всем европейским дворам, сановники Церкви, студенты с социалистическими идеями, голоштанная шляхта, дававшая из своей среды жандармов-вешателей, совершавших во множестве омерзительнейшие злодеяния, повиновались одной команде и одушевлялись общим отрицательным интересом. Все эти элементы антирусской интеллигенции составляли один лагерь; все они представляли собой притязания национальности, которая была в долговременной борьбе с Россией, вторгалась в нее, овладевала ее историческим достоянием, захватывала части ее народа и, наконец, пала в этой борьбе, но не отказалась от своих притязаний и ищет восстановить себя то мятежом, то обманом на развалинах русского государства. Нерусская политика самой России в нынешнее столетие подняла и усилила эти притязания и способствовала сложиться и усилиться польской партии, которая представляет собой не народ польский, а лишь некоторые общественные классы, служащие игральным честолобцам и иностранных интриг. Поль-

ский народ имел несчастную историю, из него не выработалось цельного организма; в нем не установилось единовластие, это необходимейшее условие для народа, предназначенного к самостоятельной государственной жизни, и польская шляхетская республика пала более от внутренней несостоятельности, чем от внешнего толчка. Население польского языка, никогда не жившее общей государственной жизнью, лишенное национального духа и патриотизма, считавшееся *скотом*, большей частью растерялось и исчезло в других народах. Польская национальность держится только в шляхте и есть как бы душа, лишенная тела, но одержимая вожделением материализоваться, найти себе тело. Она ищет восстановить свое погибшее государство на исторической почве русского народа, когда-то подпадавшей под польскую власть и ополченной в верхних слоях своего населения. Хотя польская партия не имеет за собой народа, она тем не менее представляет собой определенное национальное начало. Ее антирусский характер есть не что иное, как ее польский характер, но она находила себе сочувствие и поддержку в нашей космополитической интеллигенции, лишенной национального характера, хотя номинально принадлежащей к русской национальности. В этой космополитической интеллигенции повторялось то же явление, что и в польском лагере. И здесь *белые* и *красные* при всей розни между собой сливались в сочувствие антирусскому движению. Рознь в своей фразеологии, либеральные и консервативные оттенки одинаково настраивались в отрицательном смысле, одинаково презрительно и озлобленно относились к России, одинаково мирволили замыслам против ее народности и ее государственного единства. Нам ставили в упрек и над нами издевались за то, что мы будто бы всех считаем изменниками. Мы только заявляли факты, и не мы были виноваты, если факты, приведенные в ясность, производили на всех, даже на виновников своих, впечатление изменнических действий. Вопрос не в намерениях лиц, а в складе их мыслей, в направлении, которому каждый подчиняется, нередко повинуюсь толчку неизвестно кем и в чьих видах данному.

Иные почтенные лица оправдывают и утешают себя тем, что при своем антирусском образе мыслей или образе действий они остаются верны престолу. Увы, это заблуждение, – заблуждение ума или воли! Отделять Русский Престол от русского народа плохая служба престолу. Только неразрывной связью того и другого, только крепким единением их держится наша Русь. Немного ослабьте эту связь, и вы почувствуете, как все заколеблется. Космополитизм и несостоятельность нашей интеллигенции имеют своей виной отчасти именно это фальшивое разделение в *умах* того, что в *действительности* нераздельно и едино.

Но возвращаемся к 1863 году. Когда польский мятеж разыгрывался, наша печать, наше так называемое общественное мнение имело поистине изменнический характер, так что польские патриоты были вполне уверены в успехе восстания и потому решились действовать вооруженной рукой. Точно так же иностранные державы были уверены, что Россия находится накануне катастрофы, которая поколеблет ее до основания. Но все приняло иной вид, когда выступила русская национальная партия, то есть сам народ Русский во всех своих сословиях. Враги положили оружие, и антinationальная партия быстро стерлась. Все колеблющееся почувствовало себя русским, обрзумилось, отрезвилось. Вместо полуфранцузов и полуполяков, боящихся показаться варварами, явились русские люди, желавшие быть самими собой. Те же люди, когда овладевает ими исторический дух своего народа, чувствуют себя иначе; пустословие и празднословие исчезают, и здравый смысл вступает в свои права; у них оказывается и ум, и зоркость; они чувствуют почву под своими ногами. Все, что в эти минуты успевает совершиться, запечатлено характером величия и плодотворной силы. Зато упадок народного духа в обществе открывает его для всякого обмана и смуты, усиливая антinationальную партию всех именований и видов.

Русское мнение не может быть таксировано ни консервативным, ни либеральным. Эти категории нейдут к нему; оно живет не в отвлеченностях: оно относится к живому субъекту и, как выше замечено, может желать только того, что этому субъекту

екту пригодно и полезно. Идет ли речь о реформах, национальное мнение не будет заботиться о том, чтобы подладиться под чужое, угодить какой-либо доктрине или провести какой-либо принцип, создать какое-либо симметрическое учреждение: но единственно о том, чтобы удовлетворить действительной потребности живого организма. Для него не имеет никакой цены то, что может казаться красивым в отвлеченном представлении; для него имеет цену только то, что требуется пользой страны. Что не полезно, то оно отмечает как вредное...

ПОСТОМ И МОЛИТВОЮ ИСКУПИМ НАШУ ВИНУ

Первоначальное христианство в години гонений и наша древняя Русь во время великих народных бедствий, голода и повальных болезней устанавливали пост и молитву. Обычай древности не по плечу нашему расслабленному времени, но глубокая мысль, лежащая в посте и покаянии, не теряет силы и ныне. Не хотели по доброй воле, так под ударами должны мы очнуться, отрезвиться, самоуглубиться, сознать причины наших несчастий, чтобы возродиться нравственно. Не сделаем этого теперь, тем хуже для нас, тяжела будет расплата впоследствии, а ее не избежать, таков непреложный закон Божией правды. Не будем самообольщаться, не будем сваливать всю вину на ничтожную кучку ошалелых мальчишек; виноваты они, но еще более виноваты мы. Мальчишки эти наши дети, и не только по плоти, но и по духу, и что бы мы ни говорили, нам не отвертеться от правдивого укора. Мы вскормили эту среду, среди нас она выросла, мы ее поддержали нашей дешевой насмешкой, легкомысленным, детским отношением ко всем основам общественной жизни; мы сами в ослеплении помогали расшатывать один за другим все нравственные и исторические устои общежития. Говорили ли мы с нашими детьми языком правдивым, искренним, твердым, как прилично взрослым, опытным людям? Были ли мы авторитетными руководителями нашей молодежи? К стыду нашему должно признаться, что мы оставили наших детей на произвол всяких веяний и

нашим молчанием давали этим вздорным веяниям укореняться; хуже того: мы часто лицемерно одобряли нелепости, гаерствовали заодно с мальчишками, рукоплескали нравственной и умственной разнузданности. Могли ли мы при таком положении сохранить свой законный авторитет? Естественно, нет; мы выпустили его из рук, и он перешел к болтунам, фразерам, якобы несущим нам последнее слово науки и прогресса; и чем менее смысла и нравственного достоинства имело это слово, тем казалось оно истиннее, патентованнее. Гоняясь за разными видами либерализма, не понимая сущности свободы, мы попали в рабство и притом в самый худший из видов его – в духовное рабство со всеми его последствиями. Оно развило в нас присущие ему пороки: трусливость, лицемерную угодливость, бесхарактерность. Прежде чем высказаться, мы справляемся мысленно, подходит ли то, что хотим сказать, под камертон того или другого болтуна. Мы потеряли естественность и самостоятельность, мы перестали быть самими собой. Сколько лжи, сколько лицемерия накопилось в нас! Дошло до того, что люди стыдятся лучших своих чувств, и если эти чувства проskalьзывают в них по неизбежной потребности натуры, торопятся как можно скорее задушить это отсталое, несовременное проявление. Да послужит же испытанный удар к очищению нашей нравственной атмосферы. Вспомним, какой великой трудности задачи стоят пред нами. Проникнемся же, наконец, сознанием, что серьезные задачи требуют серьезных людей для своего разрешения. Трудное дело могут поднять и нести лишь сильные люди, люди дела, а не фразы...

ПРОЦЕСС СТАСЮЛЕВИЧА (ДОЛГ ЧЕСТНОГО ГРАЖДАНИНА)

Недавно в Петербургском Окружном Суде разбиралось дело по жалобе г. Стасюлевича, издателя *Вестника Европы* и прекратившейся газеты *Порядок*, на редактора и одного из сотрудников *Нового Времени*. Что же уязвило чувствительную честь г. Стасюлевича? Какой клеветой он считает себя опозо-

ренным? Редактор *Нового Времени* позволил себе напечатать (никак года два тому назад: у нас ведь суд скорый), будто предполагалось наградить г. Стасюлевича орденом. Вы спросите с изумлением: на кого же тут падает позор и клевета? Разве на правительство, которому приписано намерение почтить г. Стасюлевича знаком государственного отличия? Представьте себе, нет! Да и к какой стати стал бы г. Стасюлевич отмывать от своей особы достоинство и честь русского правительства, и его ли было бы это дело? Нет, г. Стасюлевич хочет себя отмыть от русского правительства. Честь от русского правительства была бы для него бесчестьем, и он вознегодовал на редактора газеты, которая взвела на него столь позорную небылицу. Что г. Стасюлевич вознегодовал, до этого кому какое дело? Всякий волен в своей обиде. Но как мог следователь, прокурор, суд, как они могли принять его жалобу к рассмотрению? Как эти судебные чины могли призвать государственное отличие за позорящее обстоятельство? Пусть сообщение *Нового Времени* было лишено всякого основания, – хотя сотрудник этой газеты, также призванный на суд к ответу, свидетельствовал, что видел сам во время управления графа Лорис-Меликова бумагу, в которой значилось, что г. Стасюлевича предполагалось наградить Станиславской звездой, – итак, пусть молва, пущенная газетой *Новое Время*, была выдумкой, но ложное известие не считается клеветой, если в нем нет позорящего обстоятельства. Ложное, но не позорящее сообщение опровергается, а не судится в качестве клеветы, которая, по точному определению закона, есть обвинение в чем-либо бесчестном или, как выражается закон, противном правилам чести. Пусть неверное сообщение касательно г. Стасюлевича было ему неприятно, но какое дело суду до того, что приятно или неприятно г. Стасюлевичу? Может ли суд в основу своих определений брать мнения друзей г. Стасюлевича или какого бы то ни было кружка, какого бы то ни было общества, на которое вздумал бы ссылаться г. Стасюлевич? Для русского государственного суда честь и бесчестие определяются с точностью в законах. «Прелюбодей мысли», как один из петербургских адвокатов определил свою профессию, мог

объяснять пред судом, что только простонародье в России уважает правительство и ценит его отличия; но суд знает, что это ложь. Какое же сословие русского народа, начиная с дворянства, считает государственные отличия или пособия за позор и бесчестие? Не судебное ли ведомство, на которое как из рога изобилия сыплются правительственные награды за его столь независимую деятельность? Судебные чины, принимая жалобу от г. Стасюлевича, сами некоторым образом причислили себя к тому обществу, мнением которого г. Стасюлевич дорожит, отчислившись от государства, которого должны бы состоять слугами. В малом виде дело это того же пошиба, что и Веры Засулич. Надо, чтоб этот казус не остался без последствий и чтобы судебные чины, виновные в скандале, подверглись должному взысканию. Нельзя только не пожалеть, что о таком взыскании не было ничего опубликовано в науку другим и для удовлетворения общественной нравственности, которая не может же не быть смущена при виде суда, который в уголовном процессе о чести и бесчестии руководится мнениями гг. Стасюлевича и Спасовича, а не определениями закона, и признает честь от русского правительства за бесчестие для русского подданного.

Мы стоим на распутье, и так оставаться долго не можем. Надо на что-нибудь решиться, надо выбрать тот или другой путь.

Минувшее царствование было обильно реформами, которыми создано много новых учреждений, но основы нашего государственного устройства остались неприкосновенными во всей их исторической силе. Обновленная реформами Россия осталась Россией. Новые учреждения были задуманы и созданы к вящему здоровью нашего государственного организма, а не к *устранению* его или к замене другим. Тем не менее новые учреждения, слишком быстро следовавшие одно за другим, прекрасные по своей основной мысли и цели, не все должным образом и с достаточной зрелостью обдуманы, а во многом неразумно сфабрикованы по чужим лекалам, и потому они внесли с собой массу представлений, которые не имеют почвы и лишены смысла в России. Эти забежавшие к нам и прицепившиеся к нашим новым учреждениям доктрины отпечатлевают в умах

смутный образ какого-то порядка вещей, который не только не похож на наш, но находится в нелепом с ним противоречии. Люди, группирующиеся около новых учреждений, живут в двух мирах, в действительном и фантастическом, который они принимают за действительный. Мудрено ли, что в нашем интеллигентном обществе иногда обнаруживаются признаки чего-то похожего на умопомешательство? А потому и нельзя долго оставаться на распутье, и надо решиться на что-нибудь одно: либо упразднить и отменить Россию, в которой мы родились и живем наяву, либо согласить с ней все наши новые учреждения и очнуться от тех сновидений, которые ворвались вслед за ними, парализуя или обращая во вред эти учреждения, долженствующие действовать, и действовать ко благу.

Что может быть лучше независимого суда? Но как понимать судебную независимость? Судебная власть должна действовать единственно на основании закона: вот ее призвание и вот ее независимость. Судья при разборе дела не должен допускать никакого своего произвола в толковании и применении закона и в точности соображаться с волею Законодателя. Судебные гарантии требуются только за тем, чтоб ограждать судью ото всяких посторонних влияний, а граждан от произвола судьи. Суд есть власть, но всякая власть в государстве должна находиться в строжайшей зависимости от Верховной власти, ей и только ей служить орудием и лишь в этом служении видеть свое призвание. Правительство в России совсем не то значит, что под правительством разумеется в других странах, откуда шаблонным образом взяли мы некоторые из наших учреждений, не сумев приурочить их к нашим понятиям. В других странах, как, например, в Англии, правительством называется администрация, то есть одна из двух правительственных партий, когда одна находится во власти, а другая сидит в оппозиции. У нас нет правительства партий, и смотреть на наши дела в свете такого воззрения значит сумасбродствовать. В России правительство в высшем значении этого слова есть сама Верховная власть в действии, а потому не может быть понимаемо в смысле партии. Во сколько правительство есть действие Верховного

начала, оно высится над всем, и никакая организация, имеющая *обязательный* характер, не может быть от него независима. У нас не имеет смысла фикция, порожденная историей других стран: *le roi regne, mais ne gouverne pas* (король царствует, но не правит). Русский Самодержец и царствует, и правит, и власть его в основе своей совершенно свободна, и в этом смысле ничем не стеснена и не ограничена. Сказанное не есть чья-либо доктрина или мнение какого-либо круга людей; это основной закон, на котором стоит Российская Империя; это самый положительный факт: он может кому-либо не нравиться, но никто не может отрицать его. Опрокиньте этот факт, уничтожьте его, если можете: тогда не будет той России, которую мы наследовали от предков, для которой жили, страдали и работали столько поколений, жертвуя ей всем дорогим для человека на земле. Уничтожьте Россию и тогда создавайте, если можете, что-либо другое взамен ее. Но пока она существует, и пока мы в ней живем, состоим ее гражданами и подданными ее Государя, который собой олицетворяет ее, мы в нашей общественной деятельности должны подчиняться ее законам, а не руководиться сновидением. Тем более обязано сообразоваться с типом нашего государственного устройства столь великое учреждение, как судебная власть, которая только потому и есть власть, что она находится в зависимости от Самодержца и есть его рука. Гг. Стасюлевиичи и Спасовичи могут иметь какие угодно мнения, но суд не может принимать мнения в руководство себе.

Независимая печать! Но что такое печать, и что такое независимая печать?! Дело не в листе бумаги, не в черном на белом, не в типографской машине. Печать есть общественное, всенародное слово, и нельзя полагать какую-либо существенную разницу между словом и делом. Не то сквернит человека, что входит в уста, а что из уст исходит: так учит величайший и непререкаемый для нас авторитет. Слово есть то же, что и действие, и притом действие по преимуществу. Не в руках и ногах, а главным образом в слове заключается сила человеческого действия. Может ли общественная деятельность в России считать себя независимой от ее основных законов? Может ли

общественная деятельность политического свойства, какова печать, не находится в обязательных отношениях к государству? Или типографская машина освобождает людей от общего всем долга верноподданства? Напротив, если политическая печать стала возможна в России, то лишь при условии, что лица, посвятившие себя этого рода деятельности, сознают себя обязанными пред Верховной властью государства не только не менее, но еще более, чем официально служащие. Право касаться всех предметов управления, поднимать вопросы, обсуждать законы и действия властей, выдвигать ту или другую группу интересов, создавать и направлять общественное мнение, представлять в том или другом свете события, так или иначе группировать факты, разве такое право не должно соединяться с соответственным долгом? Сфера влияния публициста гораздо обширнее, чем каждого из министров, который ограничен пределами своего ведомства и нередко лишен возможности сообразить свои распоряжения с общей связью государственных дел. Вся разница между политической печатью и официальной службой состоит лишь в том, что первая предоставлена собственной инициативе, не находится ни в каком подчинении по начальству и действует не по приказу, а по совести.

В одной почтенной газете мы как-то читали по поводу вопроса о печати, будто нельзя от нее требовать «благонамеренного вещания». Без вещания можно, пожалуй, обойтись, можно просто говорить, но непременно благонамеренно. Благонамеренность есть неперемное условие всякой общественной деятельности, особенно политической. Предоставляя независимым лицам играть по собственному смотрению на инструменте общественного мнения, правительство непременно должно быть убеждено в их благонамеренности.

Всякое дело, конечно, предпринимается с надеждой на успех и вооружается для этого всеми возможными способами. Дать образоваться в стране центрам заведомо злонамеренного действия, рассчитывающим на успех и снабженным нужными тому способами, не было ли бы это вольной или невольною изменой?..

Но чем определяется благонамеренность независимой политической деятельности? Есть простой и безошибочный для того критерий. Мнения могут разногласить, разнородные интересы могут доходить до борьбы и вражды, но все мнения и интересы должны непременно сходиться на общей для всех честных граждан почве. Долг честных граждан состоит не в том, чтоб исповедывать так называемые консервативные принципы. Требуется служение не общему принципу, а определенной действительности, не государству вообще, а России, и не просто России, а Русскому Монарху. В настоящее время в ходу поговорка, которой охотно прикрывает себя всякая тенденция: единение Верховной власти с народом. Если это единение понимается искренне, по совести, без обмана, то патриотизм на русской почве должен проверять себя долгом русского верно-подданного. Тот обманывает или себя или других, кто, выдавая себя за патриота в России, не полагает своего патриотизма прежде всего в сохранности верховных прав Русского Царя, неразрывно соединенных с государственной пользой и народным благом России.

Совершая свое блудодеяние пред лицом суда, адвокат г. Стасюлевича в подкрепление его жалобы счел не лишним сослаться на *Московские ведомости*, которые будто бы пострадали от нарекания в получении правительственной субсидии. Но г. Спасович не упомянул, что заведомым проводником и распространителем этой лжи был именно сам клиент его. Дело, впрочем, шло не о субсидии, а о самовольной будто бы недоплате издателем *Московских ведомостей* арендной суммы. Ложь эта была опровергнута подробным и документальным изложением всей истории аренды *Московских ведомостей* и читанными в присутствии суда заявлениями двух министров.

Издатель *Московских ведомостей* никогда не получал казенных субсидий. Он не нуждался в них; но если бы нуждался и правительство признало бы его деятельность заслуживающей поддержки, то он не стал бы скрывать этого и видел бы в этом только честь для себя. Вопрос, может быть, только в том, заслуживает ли дело поддержки от государства. Не то было бы

странно, что г. Стасюлевич *получает* субсидию от русской казны, а разве только то, что г. *Стасюлевич* получает таковую.

Сейчас прочли мы в *Киевлянине*, что редактор этой газеты отказывается от правительственной субсидии. Если он не нуждается в ней, тем лучше; если же он отказывается от нее в угоду своим и своего дела противникам, то это худо. Дело, которому он служит, должно быть выше личной щепетильности. Но большое получаемое им пособие назначается не для обогащения его, а для поддержки дела, которому правительство не может не придавать важности. Провинциальная газета с трудом может окупить себя в крае, где встречает столько злобного противодействия. Недавний процесс показал, до какого ожесточения дошла в Киеве вражда партий, противных тому честному направлению, которого держится редактор *Киевлянина*. Путь его служения не розами усыпан. Служить национальному и государственному делу в России в настоящее время вообще дело нелегкое, но – взявшись за гуж, по пословице, не говори, что не дюж. Чувство исполненного долга выше и лучше всего на свете. Сократ перед афинским народом, его судившим, не усомнился сказать, что он заслуживает содержания насчет государства. Сократ, олицетворенная мудрость, говорил это, конечно, не в похвальбу себе, а свидетельствуя о направлении своей независимой общественной деятельности. Можно ли отрицать у государственной власти право оказывать поддержку полезному делу или отличать своим признанием оказанные заслуги? Но если открытая, от имени Верховной власти в государственных видах даруемая поддержка есть честь, то нельзя не признать постыдными темные, воровские сделки на казенный счет из *фонда рентиллий*, по образцу иных стран, между бандитами печати и администраторами для обмана, в видах интриги, противных интересам страны и во всяком случае роняющих достоинство правительства...

Пред нашим мысленным взором проходит, высоко подняв голову, гордая, негодующая фигура г. Стасюлевича, как изобразил ее, шая публичным словом, адвокат пред судом. Г. Стасюлевич трепещет при одной мысли, что правительство

могло признать его общественным деятелем благонадежным и, что называется, «оскорбить его действием». К счастью, оскорбление оказалось выдумкой, за которую диффаматор, по приговору суда, имеет поплатиться тюрьмой...

Но от возвышенного созерцания фигуры г. Стасюлевича из области идеала спустимся в низменную действительность. Что в самом деле значит независимость русского публициста, – не подложного, а действительного русского публициста? Он не будет холопствовать пред сильными людьми, не кабалит себя никакой партией, не будет платить дани никакому *ржонду* и заботиться будет не о том, что о нем скажут, а только о том, что скажет он сам. Что внушает ему долг и что видит он ясно, то скажет он твердо пред кем бы то ни было и во что бы то ни стало.

УВАЖЕНИЕ НАШЕЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КО ВСЯКОЙ ДОБЛЕСТИ НЕРУССКОЙ

В нашей интеллигенции образовалась удивительная складка: она понимает, допускает и уважает всякую инициативу, энергию, предприимчивость в смысле не русском и, напротив, невольно и безотчетно относится пренебрежительно ко всему, что происходит на русской почве, в русском смысле и клонится в пользу России. Говорим: невольно и безотчетно, потому что никто из наших умников, конечно, не сознает за собой такого греха, и все примутся и негодовать и чураться, коль скоро кто дерзновенно поставит на вид вышеупомянутое свойство нашей интеллигенции. Свойство это есть следствие издавна ведущейся антинациональной политики, в которой и заключается источник всех наших глупостей и всех наших зол. Поразительные несообразности, которые так не редко оказываются и во мнениях и в делах наших, происходят не от того, чтобы люди у нас были от природы неспособны распознавать добро и зло, а вследствие фальшивой складки образовавшейся в умах. Мы, где нужно, либеральны и, где нужно, консервативны в чуждом и противном нашей народности направлении в силу навыка,

который сложился исторически и действует инстинктивно. Наша интеллигенция почтительно снимает шапку предо всяким нерусским движением, даже в том случае, когда ей приходится по официальному положению бороться с ним. Тут она старается показать себя цивилизованной и вежливой, мягкой и уступчивой, либерально-консервативной и консервативно-либеральной; тут она расшаркивается, конфузится и улыбается своими наилучшими улыбками. Совсем иной принимает она вид, когда ей приходится ведаться с русской инициативой, с делом русского происхождения; тут она ставит себе долгом, – долгом либерализма и консерватизма, долгом цивилизации и прогресса, – быть грубой, суровой, придирчивой, неуступчивой; тут она не только не поощряет, но систематически подавляет всякую живую силу, всякий дух инициативы; тут явятся на каждом шагу заставы и шлагбаумы. Она попробует, в каком смысле направлено дело, из каких интересов и побуждений оно исходит и к чему клонится, и если почувствует, что интерес его есть русский интерес, что дух его есть русский дух, то она немедленно станет ему поперек дороги, и во всех ее словах и действиях так и послышится «куда ты, рыло, лезешь?» Недавно видели мы яркий тому пример по поводу вопроса о транзите. Те самые органы, которые требуют конституции и кричат об общественном мнении, бесстыднейшим образом опрокинулись на русскую промышленность, когда она заговорила о своем интересе. Заговори те же люди в каком-либо нерусском интересе, им была бы воздана честь и хвала, а в тех сферах, которые судят и рядят, она нашла бы себе поборников и ревнителей. Помните, сколько шуму было по поводу того, что губернатор высек татар! А высекли русских буянов в Одессе, все нашли это естественным и отнесли к делу благоразумно. Мы то и дело слышим о пассивности нашего православного духовенства, о недостатке в нем духа инициативы и энергии. Однако попробуй какой-нибудь выскочка из русского православного духовенства действовать с убеждением, в том смысле в каком и может и должно действовать русское православное духовенство, как странно все перегляднутся между собой, и как мало серьезной поддерж-

ки встретит такая деятельность, увы, в правительственных сферах! Мы печатаем сегодня печальную историю об усилиях неутомимых и энергических, поднятых духовным лицом в деле народного просвещения, где так желательно и так необходимо живое действие пастырей Церкви. Все придумано, все приискано, все употреблено, чтобы затруднить дело. Отец Анатолий – русской народности, уроженец западной Руси, где православию приходится вести постоянную борьбу, но где не мог бы держаться польский вопрос, если бы правительство поддерживало, не выдавало русские элементы. От кого достопочтенному архимандриту Успенского монастыря приходится отбиваться? От тех властей, в которых надобно было бы ему находить себе всякое поощрение и поддержку. Корреспондент, доставивший нам помещаемые в этом номере сведения о деятельности отца Анатолия, прислал нам и копии официальных документов, которые подтверждают все высказанное в этой корреспонденции. Читая эти документы, видишь, как опутана и затруднена деятельность русского человека в русском смысле. Сколько к нему придинок и каким несчастным и бесправным является он в своих усилиях! Будь он поляк и действуй он, конечно, умно и ловко, в смысле противном России, с каким, по крайней мере, уважением относились бы к нему даже в тех случаях, когда приходилось бы из приличия несколько регулировать его деятельность. Благодаря новому соглашению с Ватиканом в Привислинских губерниях и в Западном Крае водворяются в значительном числе *польско-католические* (у нас не *римский* католицизм, а *польский*) епископы; правительственный контроль, установленный над распоряжениями этих епископов, отменяется и каждый из них становится в своей епархии полным хозяином, вооруженным сильной властью при той военно-духовной дисциплине, которой отличается воинствующая Римская (у нас польская) Церковь. Посмотрите же, какое жалкое положение будут иметь сравнительно с ними православные архиереи, к которым власти подходят под благословение, но у которых не просят содействия целям правительства в народном Просвещении и в упрочении освящаемого Церковью порядка. Епископ рад был

бы и сам что-нибудь сделать и поддержать всякое доброе начинание в пределах своей епархии, но его сейчас осадят и поставят на место то губернатор, то попечитель, то какой-нибудь непрременный член от земства, даже консистория, которая у нас не всегда слушается своего епископа...

Заговорит ли русский интерес, примется ли за дело русский человек, например, пастырь православный, тысяча окажется формальностей, возражений, замечаний: и то неправильно, и это неловко, всякое лыко ставится в строку. Отец Анатолий с глубоким убеждением, не жалея сил, исполнял в сфере своего действия то, что правительство должно ставить и, по-видимому, ставит своей задачей: распространение среди народа просвещения под сенью Церкви. В самом деле, может ли быть сомнение, что наша первоначальная школа должна главным образом находиться в руках духовенства? Но вот в то время, когда правительство учреждает комиссию для разработки вопроса о приходских училищах (хотя и разрабатывать-то, в сущности, нечего в деле столь простом и очевидном), настоятель монастыря в Могилевской губернии, давно и успешно трудившийся для этого дела и в том смысле, какой необходимо и желательно придать ему, положивший свою душу на это дело, выработавший не в пустых дебатах, но на многолетней практике свой план, — лишается возможности действовать, подвергается строгой цензуре от местных властей и чуть не изгоняется из края как мятежник, подобно тому, как при генерале Потапове из того же края изгонялись призванные Муравьевым из глубины России чиновники, — изгонялись в качестве демагогов и социалистов, потому что от них солоно приходилось врагам России...

Неужели высшее правительство не избавит людей, подобных отцу Анатолию, от необходимости бороться не то что с врагами России, а с властями своего правительства, в которых они должны были бы находить себе поддержку? Времена трудные; пора направить служебные власти должным образом и неукоснительно заменять тех, кого направлять было бы трудом напрасным...

Нигилизм и революционное движение

ЗАМЕТКА ДЛЯ ИЗДАТЕЛЯ «КОЛОКОЛА»

Несколько слов, сказанных вами в *Современной летописи* о лондонских страдальцах за Русскую землю, дошли по адресу. Один из наших заграничных корреспондентов сообщил нам выдержку из *Колокола*, где напечатан один отзыв, а на этих днях получили мы из Лондона, как надобно думать от самого издателя, последний номер этой газеты с новым отзывом. Мы радуемся открывшейся возможности поговорить с г. Герценом. Мы давно этого добивались, но до последнего времени он был для русской литературы неприкосновенной святыней, более, чем все potentанты мира, так что мы должны были ограничиваться лишь очень отдаленными намеками, которые, вероятно, и не удостоивались счастья быть им замеченными. Нас еще затрудняло и то обстоятельство, что публика у нас с ним разная; но в этой беде он нам сам помог. Он вдруг заговорил о нас и о наших мнениях, обидевшись тем, что мы не придаем значения нашим политическим партиям, и гневно указывал нам на недавние жертвы политической агитации, попавшие в казематы и Сибирь. Он полагал, что слово останется за ним, а нам говорить о нем не позволят, однако ж нам удалось при случае сказать словцо о «свободном артисте», который сам сидит в безопасности, а других посылает на подвиги, ведущие их в казематы и Сибирь. Это и удивило, и раздражило его, и удивление его высказалось так же наивно, как и раздражение.

Он уверяет, что никого не подушал, и говорит о каких-то сплетнях, ходивших в Москве, о каких-то голубых утках, выражаясь совершенно непонятными для нас намеками. Он предполагает, что мы следили за его особой, за его частными отношениями и ловили сплетни о нем. Никаких сплетен о нем до нас не

доходило, ни о каких его личных отношениях мы не говорили, да и говорить бы не стали. До него лично нам нет ни малейшего дела. С кем именно он находится в сношениях, кого именно подушает, – обо всем этом мы никогда не справлялись. Мы говорили о деле открытом; мы имели в виду его публичную деятельность, которая ни для кого не тайна. Этот остряк, говорящий обо всем не иначе, как с плеча и фигурами, требует скрупулезнейшей бережности в выражениях, когда речь касается его.

Итак, он умывает руки и объявляет, что он ничему не причастен, что его дело сторона и что мы написали извет на него, донос в III Отделение. Сколько благородства в этих оправданиях и сколько смысла в этих обвинениях! Он ничему не причастен, он никого не подушает!.. Да что же он делает в своих лондонских листках? Что же он делает, как не агитацию самую поджигательную? Он забыл, что его писания расходятся по свету, что сам же он принимает деятельные меры к распространению их, что они как запрещенная вещь читаются с жадностью и как запрещенная вещь не встречают себе никакого отпора в беззащитных, незрелых и расстроенных умах, и увлекают их к подражанию, – и эти люди делают у себя на родине то самое, что делает он в Лондоне; только он делает это комфортабельно и спокойно, сыто и весело, а они подвергаются безумной опасности и попадают на каторгу. Он не пойдет в Сибирь; но зато он будет встречать и провожать рукоплесканиями этих бедных актеров, которые разыгрывают его штуки на родине; он будет с озлоблением шикать на тех, кто попытается образумить их отрезвляющим словом.

Он гордится тем, что пишет на полной свободе, и объявляет себя единственным представителем свободного русского слова. Он язвит нас тем, что мы *писатели подцензурные*, и ставит это обстоятельство в вину нам. Он – представитель свободного русского слова! Однако хорошо же это русское свободное слово! Стоило же за этим словом ехать в Лондон! Нет, он ошибается: его слово не похоже на слово свободного человека. Свобода обязывает! – обязывает пуще, чем все другое. Ни на каком из цивилизованных языков невозможно было

бы передать всей прелести его тона и его выражения. Он сам это чувствует, и когда ему приходилось передавать на другом языке то, что прежде было сказано им по-русски, то фраза его оглаживалась и принимала более благоприличный вид.

Он пишет не «под сурдинкой», он этим хвастает перед нами. Что он уехал за границу, что он поселился в Англии, что у него есть деньги, в этом он полагает свою нравственную заслугу и этим он гордится. Он полагает свою заслугу в том, что пишет и печатает не только без всякой цензуры, но и без всякой ответственности, ничем не рискуя. Но что же он пишет? Как воспользовался он своим положением? Он говорит: «Если мы сбивались с пути, – отчего вы нам не указывали его?» А зачем же он хвастается свободой своего слова? Если свобода не указывала ему путей, зачем же ушел он из-под цензуры? Но и проповедовали ему указывать; только пользы от этого не было. Кстати: пишущий эти строки еще три года тому назад в бытность свою в Лондоне встретился с этими господами в одном доме, как со старыми знакомыми, из которых с одним был довольно близок в молодости. Перед своим отъездом из Лондона он заглянул к ним – не без некоторой наивной надежды перемолвиться с ними добрым словом об их направлении. Но с самого начала он увидел всю тщету своей надежды, и разговор их ограничился общими местами.

Г. Герцен печатал разные документы, приходившие к нему из России. Эти документы придали интерес его изданиям; но бессмысленность и неразборчивость всего, что шло от самой редакции, часто ослабляли их значение или делали их более вредными, чем полезными. Во всяком случае, прилично ли ему хвастаться печатанием документов, от которых зависел весь интерес его издания и которые он умел только портить? Пусть уже лучше он оставит эту заслугу за лондонским полисменом, или, если ему это более нравится, за английской конституцией.

Он пользовался полной свободой, и издание его приобретало интерес от разных сообщений из России: что же он сделал со своей стороны, чтоб оправдать этот интерес и доказать благотворное свойство свободы? Как воспользовался он

тем значением, которое приобрел благодаря особым обстоятельствам нашего общественного положения? Чему научил он эти незрелые умы, которые питались его писаниями с жадностью благодаря приправе запрещения? В то время, когда он начал действовать, Россия действительно вступала в новую эпоху. Но он оставался все тот же; он продолжал жеманиться, как и в то время, когда писал записки доктора Крупова, статьи *об* изучении природы и социалистические бредни *с того берега*. Он остался все тот же – недовесок на всех поприщах, – кипящий раздражением пленной мысли, бесспорно утвердивший за собой только одно качество, – качество бойкого остряка и кривляки. Он остался все тот же, каким был во времена своей юности, когда у него «синели ногти» от размышлений о падении древнего мира и об апостоле Павле. Он остался все тот же, как и в то время, когда в своих статьях *об изучении природы* заставлял человечество совершать удивительный процесс лежания с высунутым языком и топтания себя в грудь своими же ногами; он остался все тот же, каким был, когда с доктором Круповым исправлял мозги человечества. Он привередничал как беременная женщина: то подавал руку грубейшему материализму, то терялся в отвлеченностях искусственной идеалистики; то проповедывал атеизм для детского возраста, то изнывал под бременем всемирной скорби; то заявлял права на титул «неисправимого социалиста» и проклинал собственность, то вдруг становился поборником индивидуализма и романтически сетовал на исчезание характеристических угловатостей в современной цивилизации; то отрицал в человечестве все, кроме мозгов и постепенной их выделки, то вдруг гнушался материальным благосостоянием народов и отвращался мыслью от картины общества, где все сыты и довольны, живут в воле и холе, но где нет зато никакого наркотического драматизма для удовольствия зрителя, которому нечего делать и не на что употребить свою праздную мысль. Все эти капризы избалованной, изнеженной, изломанной мысли, которая сама не знает, чего хочет, весь этот фосфор, вся эта трескотня острот и фраз, то жеманно рыдающих

о мозгах человечества, то мефистофелевски хохочущих над историей и над *всеми почтенностями*, которые она понадела-ла, то с пророческим жаром возвещающих пришествие нового мессии, и новое небо, и новую землю, – весь этот сумбур, вся эта сатурналия полумыслей, полуобразов, все это брожение головок и хвостиков недоделанной мысли, все это мозгобесие было бы, пожалуй, хорошо в досужем фельетоне, без претензии на политическое влияние, на практическое действие, без тех особенных обстоятельств, которые окружают нашего лондонского выходца и которые сразу должны были бы отрезвить его мозги. Можно ли поверить, чтобы, дожив до седых волос, он вовсе не понимал себя, чтобы посреди сложившихся обстоятельств в нем ни не было малейшей потребности сообразить – что он такое, что он говорит, чего он хочет и способен ли он нести серьезную ответственность? Нет, он чем-нибудь дурманит себя... Но здесь прервем мы речь для личного объяснения.

Одно место в нашей заметке вскипятило в нем благородное негодование, – два-три слова, сказанные в скобках. Он не уважает нас и наших мнений и не хочет отвечать на наши обиды «грубости» (однако отвечал). Но он не мог стерпеть этих двух-трех слов в скобках и отнесся письмом на имя пишущего эти строки издателя *Русского вестника*, единственного автора возмущившей его заметки, а с тем вместе и на имя его товарища по редакции. Из сферы общей наш рыцарь захотел перенести дело на почву личностей. Его милая личность дороже ему всего на свете, и он, оставляя в стороне все, что может иметь интерес для публики, хочет занять ее своею голой особой, не сомневаясь, что и для публики, как для него самого, она важнее всего на свете.

Говоря о наших заграничных агитаторах*, мы употребили неловкий плеоназм: «ваши заграничные refugies». Г. Герцен едко поправляет нас и справедливо замечает, что все «refugies и эмигранты более или менее заграничные». Но сила не в этом: говоря об этих refugies, мы заметили в скобках следующее:

* Современная летопись. – № 23.

«Мы хорошо знаем, что это за люди». В этих словах г. Герцен видит намек «чрезвычайно неопределенный, но явно относящийся к частной жизни» издателей *Колокола*. «Публичные намеки и клевета, говорит он, имеют большое неудобство перед келейным злословием и служебными доносами, до поры до времени покрываемыми канцелярской тайной». Он требует от нас пояснения и спрашивает, обращаясь поименно к пишущему эти строки и к его товарищу:

«Какие же мы люди, г. Катков? Какие же мы люди, г. Леонтьев? Вы ведь хорошо знаете, какие мы люди, – ну какие же? Если в вас обоих есть одна малейшая искра чести, вы не можете не отвечать; не отвечая, вы меня приведете в горестное положение сказать, что вы сделали *подлый намек*, имея в виду очернить нас в глазах нашей публики. Говорите все... в нашей жизни, как в жизни каждого человека, жившего не только в латинском синтаксисе и немецком учебнике, но в толоке действительной жизни, есть ошибки, промахи, увлечения, *но нет поступка*, который бы заставил нас покраснеть перед кем бы то ни было, который мы бы хотели скрыть от кого бы то ни было. Если вы то же можете сказать, поздравляю вас, г. Катков, поздравляю вас, г. Леонтьев... хотя я и не сомневаюсь, что вы можете. Да, гг. ученые редакторы, мы, поднявши голову, смотрим в ваши ученые глаза. Кто кого пересмотрит?»

Чрезвычайно неопределенный, как сам он выражается, намек называет он подлым: сколько же благородства в этом очень определенном намеке, что мы сморгнем, смотря ему в глаза? Он уже заранее уверен, что пересмотрит он, а мы сморгнем. Чтоб устранить всякие сомнения насчет исхода этой дуэли, он уподобляет вас Тьеру, а себя Прудону, который в 1849 году сказал первому «спокойно стоя на трибуне, превратившейся в ту минуту в страшный суд», – сказал следующее: «Говорите о финансах, но не говорите о нравственности, я могу это принять за личность, и тогда я не картель вам пошлю, а предложу вам другой бой: здесь с этой трибуны я расскажу вам всю мою жизнь, факт за фактом, каждый может

мне напомнить, если я что-нибудь пропущу или забуду. *И потом пусть расскажет мне противник свою жизнь*»*.

* Вот целиком это письмо. Публика *Русского вестника* и *Современной летописи* совершенно одна и та же за самыми незначительными исключениями.

«Милостивые государи и ученые редакторы!

Если б вы в нашей полемике против нас держались в общих сферах и в общих грубостях, я не позволил бы себе утруждать вас письмом – с одной стороны, очень уважая многосложность ваших занятий, а с другой, вовсе не уважая ни вас, ни ваших мнений.

Но вы позволили себе публично сделать намек чрезвычайно неопределенный, но явно относящийся к частной жизни нашей, и тем дали нам и в особенности мне, как несчастному виновнику статьи, раздражившей вас, – право требовать от вас пояснения. Публичные намеки и клеветы имеют большое неудобство перед келейным злословием и служебными доносами, до поры до времени подрываемыми канцелярской тайной.

Вот ваши слова «*наши заграничные refugies (мы хорошо знаем что это за люди...)*» (*Совр. лет.*).

Вы, вероятно, не станете отречься, что под словом *заграничные refugies* (и при этом я должен признаться, что я до сих пор думал, что все *refugies* и мигранты более или менее заграничные) – вы разумели нас, *издатель Колокола*, и потому позвольте вас спросить.

Какие же мы люди, г. Катков?

Какие же мы люди, г. Леонтьев?

Вы ведь хорошо знаете какие мы люди, – ну какие же?

Если в вас обоих есть одна малейшая искра чести, вы не можете не отвечать; не отвечая, вы меня приведете в горестное положение сказать, что вы сделали *подлый намек*, имея в виду очернить нас в глазах нашей публики.

Говорите все... в нашей жизни, как в жизни каждого человека, жившего не только в латинском синтаксисе и в немецком учебнике, но и толке действительной жизни есть ошибки, промахи, увлечения, *но нет поступка*, который бы заставил нас покраснеть перед кем бы то ни было, который мы бы хотели скрыть от кого бы то ни было.

Если вы то же можете сказать, поздравляю вас, г. Катков, поздравляю вас, г. Леонтьев... хотя я и не сомневаюсь, что вы можете.

Да, гг. ученые редакторы, мы, поднявши голову, смотрим в ваши ученые глаза... кто кого пересмотрит?

Может, вы слыхали, как в 1849 году в народном собрании в Париже Прудон, задетый таким же образом Тьером, сказал ему спокойно, стоя на трибуне, превратившейся на ту минуту в страшный суд: «Говорите о финансах, но не говорите о нравственности, я могу это принять за личность и тогда я не картель вам пошлю, а предложу другой бой, здесь, с этой трибуны, я расскажу всю мою жизнь, факт за фактом, каждый может мне напомнить, если я что-нибудь пропущу или забуду. *И потом пусть расскажет мой противник свою жизнь*».

Жалкий ломака! У него не достало нравственного такта и на то, чтобы понять все неприличие этой выходки! «Какие же мы люди, спрашивает он, – ну какие же?» Пусть он успокоится. *Моветон* не значит мошенник, и свободный артист еще не значит шулер. Пусть он успокоится, – у нас и в мыслях не было называть его чем-нибудь в этом роде. Но пусть он также подумает, прилично ли уважающему себя человеку рыцарски хвастаться тем, что он не шулер, не вор, не мошенник?

Он уподобляет себя Прудону, который похвастался перед Тьером своей нравственностью. Но Прудону простительна его родомонтада; тот еще мог похвастаться, что вышел не мошенником, потому что он родился в горькой доле, всем обязав себе, жил постоянно в нужде, да и до сих пор не выбился из нее, несмотря на свою литературную знаменитость. А доблестный-то издатель *Колокола* в каком это маялся «толоке действительной жизни», и каким серьезным испытаниям подвергалась его честность? Ему ли хвастаться? Посреди фантазий, дилетантских занятий и болтовни мог ли он получить понятие о том, что такое жизнь с ее испытаниями действительной нужды и лишений? Серьезная деятельность началась для него с тех пор, когда он открыл свое издание в Лондоне, – но в том-то и вопрос, как он воспользовался этим положением и чем оказался в этой деятельности?

Стыдно человеку в таких обстоятельствах, в каких находится издатель *Колокола*, претендовать на уважение за то только, что он не нарушил крайней юридической нормы нравственности. Стыдно подлагать такой грубый смысл под слова, очевидно, его не имевшие. Недобросовестно заминать дело и замаскировывать его дешевым рыцарством. Пусть он исчисляет свои домашние добродетели и любитесь ими; мы не бу-

За тем позвольте надеяться, что вы, милостивые государи, испросите у вашего начальства разрешение напечатать это письмо в многоуважаемой Летописи вашей. Вы слишком любите гласность и английскую ширь оправдания, чтобы нам можно было сомневаться в этом.

Желаю в заключение, чтобы письмо это застало вас в добром здоровье.

Лондон 10 июня 1862 года.

А. Герцен.

дем мешать ему. Мы не имеем привычки искать аргументов в частной жизни человека и выводить на сцену его чисто личные обстоятельства; но мы не оспариваем этого права у других, особенно не оспариваем его относительно себя. Мы не только не уклоняемся, а, напротив, приглашаем г. Герцена прервать созерцание своих прелестей и заняться нашим безобразием; смеем уверить его, что мы не сморгнем, глядя в его ясные очи, и что для этого нам не нужно поднимать голову.

Что же касается до него, то нам достаточно той его деятельности, которая открыта для всех и которой видимые результаты подлежат общей оценке. Человек в своей публичной деятельности, стоит на горе, у всех на виду; тут клеветы не возможны и лжетолкования не действительны.

«Ну, какие же мы люди?» – спрашивает он.

Какие же вы люди? Да не совсем вы люди честные!

Человек без твердых убеждений и сознающий это сам, хотя бы и смутно, потому что человеку, дожившему до седых волос, невозможно вовсе не иметь сознания о самом себе, – человек без убеждений и говорящий тоном пророка посреди обстоятельств, которых значение не может не быть ему известно, не заслуживает называться честным.

Он знает, к какой публике он обращается; он не может не знать, как действует этот пророческий тон на людей незрелых в тревожную эпоху общественной жизни. Он это знает и продолжает говорить тоном пророка. Он не мог дойти до такого отупения, чтобы серьезно быть убежденным в этих фигурных обетованиях какого-то нового мессии, какого-то нового времени. Каждый год, каждый день приносит что-нибудь новое; ежеминутно наступает новое время, но он не может не знать, что пока природа остается природой, законы ее неизменны, что, несмотря на множество эпох, через которые перешел человек, он в своей природе все тот же и что ни в каком случае не потекут по земле молочные реки в кисельных берегах.

Человек способный, даже и без серьезного увлечения заведомо клеветать и лживо показывать, не может назваться честным. Чтобы не далеко ходить, в той самой статейке, где он

изливает свой гнев на нас, он делает мерзкую выходку против Московского университета и не стыдится сказать, что профессоры этого университета призывали какую-то *дикую силу* на студентов. Неужели он в самом деле дошел до такого одурения, что не сознает злокачественности своей клеветы и того действия, которое она может произвести на легко воспламенимые умы юношей? Какой смысл этих выходок? Они были бы непροститительны и мальчику в пылу увлечения, но что сказать о человеке зрелом, который издали и на полной свободе обзрывает события? Простительно ли ему поддерживать лжетолкования, смуту и раздражение? Положим, что он не все знает; положим, что он сомневается. Но в таком случае честный человек удержится от суждения, умерит свои выражения и выгоду сомнения предоставит тому, что может успокоить, а не тому, что может бессмысленно взволновать. Наука есть нейтральная почва, молодежь должна учиться, это несомненно. Кто сколько-нибудь любит свою родину, кто не отъявленный враг ее, особенно кто чувствует тяжесть самоответственности, тот более всего должен заботиться о том, чтоб успокаивать и отрезвлять ее. Нынешние волнения не ограничатся вредом в настоящем, они отзовутся еще большим вредом в будущем; что бы там ни вышло, а несколько поколений молодежи, потерявшей время и силы, будет во всяком случае бедствием для страны. Каково же раздражать и без того возбужденные умы, кокетничая с ними, — и для этого прибегать к намеренной клевете! Профессорская корпорация Московского университета вела себя с достоинством, которого не отнять у ней никакому фразеру...

Он хочет измерять свое нравственное достоинство теми искушениями, которых он по случайным обстоятельствам не испытывал. Пусть лучше он сообразит, чист ли нравственно он вышел из тех испытаний, которые действительно с ним были и которых результаты на виду. Пусть он подумает, какая дрянь должен быть тот человек, в котором при полном отсутствии всякого внешнего контроля, всякого принудительного ограничения не оказывается чувства самоответственности, побуждающей человека отдавать себе полный и строгий отчет в каждом

слове и деле. Он величаво отвертывается от мелких людишек, которые продают за деньги свои услуги и Богу, и дьяволу. Он ударит себя по карману и скажет с гордостью: «А я вот за деньги не продам своей совести!» Но нечестные побуждения бывают всякого рода: не в одних деньгах сила, кресты и перстни те же деньги. Он также величаво отвертывается и от тех, которые кривят душой из угодливости, из тщеславного искания почестей и продают себя за чины и за власть. Он истощает свое острословие на генеральские чины и мундиры; он свысока смотрит на нравственность Тьера. Но пусть он осмотрится в том особом мире, среди которого он живет и действует: там есть свои мундиры и генералы. Пусть он подумает, как он живет в этой республике разноплеменных выходцев и политических агитаторов всех сортов. Сначала он ухаживал за великими этого особого мира, добываясь их интимности, собирал их записочки и предавал их тиснению, хотя в этих записочках часто ничего другого не значилось, кроме «здравствуйте» и «прощайте» или приглашения на чашку чаю. Ухаживая за великими, он, наконец, и сам захотел сделаться великим. Мадзини – представитель Италии; ему надобно сделаться представителем России. И вот тайная пружина его деятельности; вот на что употребил он свою свободу и представившиеся ему средства действия. Вот чем он дурманил себя, вот за что он продал свою совесть. Наш остряк не сообразил, что в Мадзини была положительная, а не фантастическая народная сила; он забыл, что у итальянского агитатора написано на знамени: *Бог и народ*, и что если к его агитации примешивались революционные начала, то тем с большей преданностью держался он положительных основ, которые давали силу и смысл его агитации. За ним была родина, разделенная, томившаяся под иноземным игом, стремившаяся к единству, добывавшаяся независимости по прямому завету своей великой истории – и он действовал бы успешнее, если бы в нем не было примеси теорий, которых не хочет жизнь, которые отвергает народное чувство. Народное чувство есть великая сила, и понятны увлечения, которым предаются люди, повинувшись ему. Как и всякая положительная сила,

которой служат люди, она облагораживает их и многое искупает, хотя ни в каком случае не оправдывает преступных средств. Кошут ли прельщал воображение нашего артиста? Но и за этим агитатором также родина, которая ищет восстановления своих исторических прав и национальной независимости. За Кошутым его прежняя политическая деятельность; он, – на деле, а не в фантазии, – был представителем своего народа и держал в руках его судьбы. Все эти выходцы имеют какое-нибудь политическое значение; каждый опирается хоть на что-нибудь положительное, каждый примыкает хоть к чему-нибудь определенному в своем народе, каждый знает, чего он хочет. Чего же захотел и на что опирается наш фразеолог? Ему захотелось что-нибудь значить между этими знаменитостями и стать генералом от революции. Родина его не разделена и не находится под иноземным политическим игом; тяжкая и трудная история создала ее великим цельным организмом; русский народ, один из всех славянских, достиг политического могущества и стал великой державой; благодаря ему славянское племя не исчезло из истории как чудское и латышское; но эту судьбу купил он ценой великих усилий и жертвований. Государственное единство есть благо, которым русский народ дорожит и должен дорожить, если не хочет обратить в ничто дело тяжкого тысячелетия и исчезнуть с лица земли. Это основа его национального бытия, купленная дорогой ценой, и он должен крепко держаться ее, и он крепко ее держится. Но настала пора, когда задержанные и подавленные прежним развитием силы должны вступить в действие; настала пора внутренних преобразований, которые должны воскресить эти силы. Открылась новая эпоха, которая требует новых тяжких усилий; началось дело, исполненное величайших трудностей. Явился необозримый ряд новых потребностей и задач. Такое могущественное движение в общественном организме не может не сопровождаться брожением умов и расстройством многих интересов. В чем же состоит задача честного писателя, сколько-нибудь мыслящего и действительно любящего свою родину? Брожению ли этому способствовать или созидательному делу? Запутывать ли дело

всякой негодной примесью, капризами и фантазиями и вызывать губительные реакции, или разъяснять и упрощать его, и сосредоточивать общественное внимание на элементах существенных и бесспорных? Каждый честный человек, в такую минуту принимающийся за публичное слово и находящийся на полной свободе, не раздражаемый стеснением, должен чувствовать на себе великую нравственную ответственность, несомкнутую с легкомыслием, и избегать всего чего он не сознает с полной ясностью, с полным разумным убеждением. Если он при всем этом ошибется или увлечется, и поданный им совет окажется неверным или односторонним или неблагоприятным, то он останется, по крайней мере, чист пред своей совестью и действительно будет иметь право на имя честного человека. Так ли действовал наш Мадзини или наш Кошут? Может ли он, положи руку на сердце, сказать, что он так действовал? Он не действовал, он юлил и вертелся, ломался и жеманничал, бросался под ноги всякому делу; он умел только смущать, запутывать, вызывать реакцию. Перед каждым практическим вопросом он раскрывал бездну своего пустого и бессмысленного радикализма и только пугал, раздражал и сбивал с толку. Результаты его деятельности на виду: было ли сказано в его писаниях хоть одно живое слово по тем реформам, которые у вас совершались, по тем вопросам, которые у нас возникали? Что путного было сказано, например, по поводу крестьянского дела, самого капитального и самого трудного? Ничего, кроме тупоумных разглагольствований г. Огарева и сценических вскрикиваний г. Герцена. Они то ругались холопски, то с приторной аффектацией, более оскорбительной, чем их грубости, выражали свое сочувствие: «Ты победил, Галилеянин!» – кричал наш Мадзини, стоя на одной ноге как балетмейстер. Было ли хоть что-нибудь разъяснено, было ли хоть в одном слове видно желание сказать что-нибудь серьезно обдуманное? Было ли сказано хоть одно слово, в котором мог бы узнать себя какой-нибудь положительный интерес, важный для страны, дорогой для народа, – не для сочиняемого в фантазии, а для настоящего, живого русского народа? На что опирались издатели *Колокола*? Что

имел за собой наш генерал от революции? Он опирался на то, от чего мы должны во что бы то ни стало отделаться; он опирался на то зло, которое выработалось и скопилось у нас за прежнее время. Единственная сила, на которую он опирался, есть не что иное, как бессилие нашей общественной цивилизации, бессилие нашего общественного мнения, бессилие нашей казенной науки и тот внутренний разлад, который господствует между мыслью и жизнью, – жизнью, которая идет сама по себе, и мыслью, которая сочиняет для нее в облаках формы и утопии. Силы этой оказалось довольно, – оказалось довольно разгулявшейся бессмыслицы и идиотизма, пустившегося мыслить, и невежества, принявшегося поучать, и безмозглой мечтательности, схватившейся за дело. Силы этой оказалось довольно, и он не без гордости мог явиться в совет генералов и занять там приличное место как представитель русского народа. И вот для этой-то чести, ради этого высокого чина наш герой не усомнился пожертвовать своей совестью. Он не может не знать, что его создало и что его держит, и он раболепствует перед этой дикой силой, он ей покорствуется, он ей служит за те почести, которые она ему дала, за тот чин, которым он красуется в сонме демагогов. Он достигает своей цели; он принимает поздравления и адреса и участвует на совещаниях о всемирной революции. Он усиливает свою пропаганду и еще пуще принимает тон пророка и окончательно отождествляет себя с русским народом; он вступает в переговоры с представителями других держав и, великодушный потентант, готов поступиться своими владениями и соглашается решить судьбу некоторых провинций точно таким же образом, как была решена судьба Савои и Ниццы, – что потом и повторилось в тех подметных листках, за которые недавно пострадал Обручев.

Но зачем ходить далеко? Вот образчик, который вполне обрисовывает человека и при этом имеет всю прелесть современности: в том листке, который он прислал нам, он рассуждает по поводу одной из самых последних прокламаций, которые разбрасывались в Петербурге и Москве под заглавием *Молодая Россия*. Публике отчасти известно из газет содержание этого

безобразного изделия ваших революционеров. Здесь требуется ни более ни менее как признать не существующим Бога, затем уничтожить брак и семейство, уничтожить право собственности, открыть общественные мастерские и общественные лавки, достигнуть всего этого путем самого обильного кровопускания, какого еще нигде не бывало, и забрать крепко власть в свои руки. Лондонский представитель русской земли написал об этом произведении статью, и, признаемся, статью эту читали мы с несравненно большим омерзением, чем прокламацию. Там просто дикое сумасбродство; а тут видите вы старую блудницу, которая вышла плясать перед публикой.

В прокламации упомянут и издатель *Колокола*, упомянут с должным уважением, как родоначальник, как великий политический ум, впервые провозгласивший на русском языке теорию «кровавых реформ»; но авторы прокламации находят, что он отстал, сделался слишком мягок и сбивается на тон простых либералов, которые не хотят кровавых реформ. Изъявляя ему должное уважение, они признаются, что недовольны им. В самом деде, как ни скудоумны эти революционеры, а поняли, что есть что-то неладное в этом человеке, который издали поджигает революционные страсти. Пожалуй, они крикнут ему ту самую итальянскую фразу, которая так полюбилась ему: *Studiate la matematica e lasciate le donne*, или просто по-русски: «Убирайся к черту, болтун, с своими благословениями». Но болтун себе на уме; он еще не теряет надежды поладить с ними. Он прочитал эту *Молодую Россию* и, как вы думаете? – какое родилось в нем впечатление, или лучше сказать, что он написал по прочтении ее? Весь цинизм своих истасканных и избитых остроумцев изливает он на правительство и на общество. Виновато правительство, которое не осталось сложа руки, виновато общество и литература, которые не с умилением приняли эту прокламацию, виноват, наконец, народ (хотя он и прощает ему), который получил дурное воспитание и готов побить камнями своих благодетелей. «Народ, говорит он с меланхолией, вам не верит, и готов побить камнями тех, которые отдадут за него жизнь. Темной ночью, продолжает он, возвышаясь до поэзии, –

темной ночью, в которой его воспитали, он готов, как великан в сказке, перебить своих детей, потому что на них чужое платье». Все виноваты, и народ, и правительство, и смирительная литература (это острота), и помещики (на них лежит тяжкий грех крепостного права, который они еще не искупили покаянием: фразер иначе не говорит теперь, как библейским языком), всем учитель дает остротку и строгое наставление. Правы только авторы этой прокламации. Обо всех говорит он с негодованием, со злобной иронией; к ним одним обращается он со словом нежности, с чувствительным дрожанием в голосе. В *Молодой России* видит он приятную смесь Шиллера с Бабефом. «Вы нас считаете отсталыми, говорит он, мы не сердимся за это, и если отстали от вас в мнениях, то не отстали от вас сердцем, а сердце дает такт». Какой же такт дает ему сердце? Он отечески журит *Молодую Россию* только за две ошибки, – во-первых, что она одета не по-русски, а более по-французски; во-вторых, что она появилась некстати, тем более что вскоре случились пожары. Он вразумляет наших Шиллеров с примесью Бабефа, чтоб они были попрacticalнее и не прибегали к французской декламации и к формулам социализма Бланки. Против оснований их программы он ни слова не говорит; но находит, что революционные учения Запада должны быть переложены на русские нравы, в чем, конечно, он и подсобит им...

«Чего испугались?» – восклицает он с презрением, обращаясь к русскому обществу, которое, по прочтении *Молодой России*, будто бы ударилось со всех ног спасаться от прокламации под покров квартального надзирателя (это месть за лондонского полисмена). «Чего испугались?» – говорит он, – народ этих слов не понимает и готов растерзать тех, кто их произносит... Крови от них ни капли не пролилось, а если прольется, то это будет их кровь, – юношей-фанатиков? В чем же уголовщина?»

Бездушный фразер не видит в чем *уголовщина*. Ему ничего, – пусть прольется кровь этих «юношей-фанатиков»! Он в стороне, – пусть она прольется. А чтоб им было веселее, и чтоб они не одумались, он перебирает все натянутые струны

в их душе, он шевелит в них всю эту массу темных чувствований, которые мутят их головы, он поет им о «тоске ожидания, растущего не по дням, а по часам с приближением чего-то великого, чем воздух полон, чем земля колеблется и чего еще нет», он поет им о «святом нетерпении...» Что ж! Пусть прольется их кровь, он прольет о них слезы; он отслужит по ним панихиду; шутовской папа, он совершит торжественную канонизацию этих японских мучеников. У религии Христа, в которую он не верит, он берет ее святыню и отдает им, этим несчастным жертвам безумия, глупости и презренных интриг. Он почтил их титулом Шиллеров; он показывает им в священной перспективе славу умершего на Голгофе. Чтобы дать им предвкушение ожидающей их апофеозы, он поет молебен жертвам, уже пострадавшим за подметные листки, и молит их, чтоб они «с высоты своей Голгофы» отпустили грех народу, который требовал их головы.

Вот вам человек! Что же он такое? И если б еще был он на месте, с ними, с этими «юношами-фанатиками», если б еще он сам с ними действовал и делил их опасности, — нет, он поет им из-за моря и гневно спрашивает встревоженное русское общество: «Чего же вы испугались? ведь прольется только их кровь, — юношей-фанатиков».

Но эти юноши-фанатики еще не побиты камнями. Может быть, при виде общего впечатления, произведенного их безумием, они бы одумались; может быть, прошел бы их угар. Так вот, чтоб они не очнулись, поддается им жару. Раздается голос, снова призывающий все, что, может быть, с испугом и стыдом побежало из них вон. Вся дурь возвращается в головы, ободренная и подкрепленная; великодушные чувствования, остатки извращенных религиозных инстинктов и весь пыл молодости подбрасывается на подтопку безумнейших мыслей. Они гордо поднимают голову посреди этого общества, которое будто бы испугалось их, и мудрено ли, что они полезут на ножи, чтобы с высоты Голгофы отпустить народу его грех?

Нет, никто ни минуты не опасался, чтобы на голос их мог сочувственно отозваться народ. Такой глупости никому

не приходило в голову. Не смысл, не содержание этой нелепой прокламации и других ей подобных могли возбуждать серьезное опасение. Трудно было читать ее без смеха, и первым движением каждого было желание, чтоб она была обнародована и предана общественному посмеянию. Но смех в каждом честном человеке уступает место тяжелой мысли, что нашлись у нас люди, которые, может быть, с серьезным увлечением сочиняли эту галиматью, и что число этих людей растет благодаря неопределенности положения, под влиянием интриганов. Многие точно падут невинными жертвами, но им не останется утешения сказать себе, что они пострадали за какое-нибудь дело, и кровь этих несчастных падет не на народ, она падет на этих бесчестных поджигателей, которые так расточительны на кровь – не свою, а чужую.

Ну а если им удастся наконец раздражить этот народ, которым они шутят, если наконец поднимется этот великан, поднимется не за тем, чтобы следовать за ними, а затем, чтобы предать их избиению за оскорбление его святыни и царя, которому он непоколебимо верен, одна ли кровь этих фанатиков прольется, будут ли стихийные силы, выступившие из берегов, разбирать виновных и невинных? Петербургское общество знает кому, между прочим, во время пожаров приходилось прятаться от разъяренного народа за полицейскими служителями, кому приходилось менять свое платье, чтобы выйти безопасно на улицу.

От петербургских пожаров отрекаются революционные агитаторы, – отрекаются с добродетельным жаром. Но все их отличие от простых поджигателей в том только и состоит, что те поджигают по мелочи, а она en grand. Да наконец, что же было бы следствием их попыток, как не страшный ряд пожаров, которые зажжет этот великан, ища их же, своих самозванных детей, чтоб избить их, и избивая вместе с ними все, что ни попадет ему под руку?

Издатели *Колокола*, спрашивают нас, какие они люди. Мы сказали. Честными ни в каком случае назвать их нельзя. От бесчестия им одна отговорка – помешательство.

ОТВЕТ НА КНИГУ ШЕДО-ФЕРРОТИ

Мы должны наконец сообщить нашим читателям известие о весьма интересном явлении, возникшем на политическом горизонте Европы: это явление – мы. С некоторых пор мы стали предметом внимания, изучения и агитации, гласной и негласной, – предметом корреспонденции и передовых статей в заграничной печати, наконец, предметом книг. Удивительные легенды появлялись о нас в серьезных заграничных журналах; европейской публике сообщалось, например, что в отдаленной и хладной России народился дракон, которому имя *Herr Katkoff*, что он сидит в Москве и оттуда производит свои «опустошительные набеги», что целая страна изнывает под его железным игом и слезно молит, да изведет ее Бог из этой тесноты, и да явится из-за моря Святой Георгий поразить это чудище и на радость и ликование русского народа. Читатели могут подумать, что мы шутим; мы серьезно уверяем их, что подобные легенды появлялись в заграничных журналах. Мы не передаем их в буквальном переводе единственно по крайнему неудобству сделать это, так как наше имя является тут в самых невозможных сопоставлениях. Наше имя ничего не значит, без всякого затруднения, неудобства и неприличия оно может быть употребляемо во всякого рода пасквилях и пуфах, из какого бы источника они ни происходили; но есть имена, перед которыми должен бы остановиться всякий, даже самый бессовестный интриган и которыми нельзя помыкать даже в заграничной печати. Мы читали эти сказания со смехом, поскольку они касались нас, но и не без прискорбного чувства – не за себя; мы молчали об этих сказаниях, потому что век их был недолог; день приносил их и день уносил.

Но вот в Брюсселе является большая книга, плод долгого и усидчивого труда, сочиненная остроумным автором многих книжек, скрывающим себя под курьезным псевдонимом Скедо-Феротти (как следует произносить, судя по итальянской структуре этого имени), или Шедо-Ферротти (если следовать

немецкому выговору, которому следует и сам автор). Еще за несколько недель пред сим заграничные друзья наши известили нас о появлении этой книги и сообщали нам некоторые выписки из нее. Теперь незримая рука разбрасывает ее по России, и мы, наконец, успели ознакомиться с ней ближе.

Книга, о которой идет речь, принадлежит к целому ряду этюдов, которые автор посвящает будущему России (*Etudes sur l'avenir de la Russie*). Но своим объемом она чуть ли не превосходит все прежние этюды этого автора, – и, совершенно естественно, в прежних этюдах своих этот автор развивает свои идеи об освобождении крестьян в России и о других реформах, которые в ней совершаются; последний же труд его о будущности России, имеющей своим специальным заглавием вопрос: *что сделают с Польшей?* трактует о предмете несравненно более важном: предмет этот мы. Вопрос о будущности России и судьбах Польши подчиняется вопросу о нашей особе. Герой обширного трактата, излагающего соображения политического писателя, герой, наполняющий собой всю книгу и неотлучно присущий мысли автора, есть все тот же народившийся в Москве дракон М. Katkoff или *M. Katkoff*, как иногда изображает это имя, впрочем, весьма искусная рука корректора этой книги, вероятно, затем, чтобы будущие историки могли поспорить между собой даже о буквах имени этого знаменитого персонажа, господствующего над будущностью России и судьбами Польши.

Возведенные таким образом в политический сюжет о первоклассной важности, мы не можем, конечно, не заинтересоваться собой; нет никакого сомнения, и вся читающая публика не может теперь не заинтересоваться нами. Наш исследователь оценивает нас со всех сторон. Он исчисляет сумму сделанного нами добра и, как следует мыслителю, всесторонне и глубоко изучающему свой предмет, исчисляет также и сумму зла, которое мы причинили. Он знает, что все в нашем земном мире имеет свои хорошие и свои дурные стороны, но он еще лучше знает правило ловкости, предписывающее показывать некоторое беспристрастие к тому предмету, на который дол-

жен пасть сокрушительный удар. Собственной задачей автора было раскрыто причиняемое нами зло. Практическая цель его труда именно состоит в том, чтобы убедить всех, кому ведать о том надлежит, в нашем пагубном действии и освободить от нас мир, который мы тяготим своим существованием. Наши добрые стороны при такой цели вовсе не входят в план изучения г. Шедо-Ферроти, но он посвящает и им несколько строк, чтоб успокоить тех из своих читателей, которые могли слышать о нас кое-что не с дурной стороны. Шедо-Ферроти воздает нам хвалу за поражение, нанесенное г. Герцену, за то, что мы, как он описывает, сокрушили его господство над умами русской молодежи и овладели ее воображением, показав ей вместо России *идеальной*, которую показывал ей Герцен, Россию *осязательную*, чем положен конец революционному настроению, которое у нас господствовало. Но совершив этот подвиг и пленив воображение молодежи осязательной Россией, мы вступили в новый период нашей деятельности, – деятельности зловредной и пагубной, которая еще продолжается, но которой, как наш историк надеется, скоро будет положен конец. Наша заслуга относится к прошедшему, но зло, которое мы причиняем, длится теперь, и потому в настоящее время требуется, чтобы все благонамеренные люди соединили против нас свои усилия. Исследователь будущности России и судеб, ожидающих Польшу, пришел к убеждению, что самое пагубное развитие приняла наша деятельность в прошлом году по польскому вопросу. Мы оказались виновными в самом тяжком преступлении, которое г. Шедо-Ферроти называет ультрапатриотизмом; мы неистовствовали, мы безумствовали, мы говорили постыдные нелепости, дышавшие вредом и пагубой, в нас развились при этом все дурные инстинкты человеческой природы. Тут оказалось, до какой степени мы дурны и в какой мере можем быть опасны и вредны.

Обвинитель не позволяет нам опереться на русское общественное мнение, которого самое существование он отрицает. Он хочет, чтобы вся ответственность пала на наша слабые плечи. Он не хочет допустить, чтобы те мнения, которые мы

высказывали по польскому делу, хотя в какой-нибудь степени соответствовали действительным чувствам, по крайней мере, некоторой части русских людей. Одним из давних пунктов обвинения против нас ставится то, что мы с адским искусством уверили всех и каждого будто бы служим в польском вопросе по случаю прошлогодних событий органом общественного мнения. Мы выдумывали и сочиняли, и потом успевали уверить всю глупую русскую публику, что и она точно так же думает, и производили таким образом фантазмагорию какого-то русского общественного мнения, которого будто бы мы служили органом. Обвинитель наш с чувством прерывает свою речь и обращается к правительству России с назидательным замечанием быть впредь осторожнее и не даваться в обман, столь пагубный и бедственный.

Но, думали мы, когда получили первые сведения об этой странной книге, – прежде, чем искать преступника, – в чем же преступление? Где *corpus delicti**? Прежде, чем звать кого-нибудь к ответу за общественный вред и бедствия, – где вред и бедствия? Пусть мы высказывали самые неразумные мнения, пусть мы подавали самые зловерные советы, пусть мы обманывали публику, уверяя ее, что писали наши статьи под ее диктовку и вводили в заблуждение правительство, заставив его думать, что мнения, которые мы высказывали, произошли путем поголовной подачи голосов, которые мы собирали ходя по дворам, – положим, что мы действительно творили все эти чудеса и что вся Россия была обманута нами таким беспримерным образом, – положим, что все это так, – но, прежде всего, где акт бедствия, где вред?

Мы с ужасом озирались вокруг, с трепетом припоминали недавнее прошедшее.

Историк наших деяний, как выше замечено, придает чудотворное значение нашей статейке о г. Герцене. Он полагает, что этим походом на г. Герцена мы совершенно уничтожили все вредные семена в нашей молодежи и воодушевили ее лучшие свойства энтузиазмом, так что была разом прекращена

* Вещественные доказательства (*лат.*)

болезнь, изнурявшая наш общественный организм, портившая наши общественные силы и готовившая столь печальные последствия в будущем. Много чести, но это верно. Наш поход на г. Герцена не имел таких последствий. Напрасно историк наш приписывает г. Герцену такое значение, что будто он был главным виновником той пагубы, которой подвергалась наша молодежь; будто он был источником той болезни, которая внедрялась и распространялась в нашей общественной жизни. Нет, это несправедливо. Г. Герцен был не столько причиной болезни, сколько ее симптомом. Положение вещей, которое нашло себе столь яркое выражение в нем, было создано не им; оно создано было причинами, несравненно более могущественными. Печальный комизм агитации, производившейся г. Герценом, именно и заключается в том, что он счел себя причиной и силой, тогда как он был только последствием и орудием. Г. Шедо-Ферроти находит, что этот агитатор в начале своего поприща отличался совсем иными свойствами, чем впоследствии: он находит, что г. Герцен в первый период своего *Колокола* действовал прекрасно и плодотворно, он изъявляет ему за то время свое полное сочувствие; лишь впоследствии, по его мнению, г. Герцен испортился. Из показаний г. Шедо-Ферроти следует, что если бы г. Герцен продолжал издавать свой *Колокол* в том направлении и духе, в каком его начал, то он продолжал бы оказывать великие услуги своему Отечеству. Значит, не изменись г. Герцен в образе своих мыслей или действий, его *Колокол*, с точки зрения г. Шедо-Ферроти, мог бы еще долго благовестить, воспитывать юные поколения русского народа и служить полезным орудием для известных целей. Но каков бы ни был г. Герцен, и какова бы ни была его деятельность, несомненно, что он сохраняет неизменную верность своим воззрениям. Как прежде, так и после он полагал всю силу своего символа веры в полнейшем отрицании всех основ человеческого общежития, — религии, государства, собственности, семейства. Но те же самые идеи проповедывал он с несравненно большей резкостью и фанатизмом именно в тот период времени, когда г. Шедо-Ферроти находил его заслуживающим

полного сочувствия и содействия, а напротив, впоследствии он несколько очеловечился и даже вступил в некоторые сделки с ненавистными для него принципами.

Г. Герценом пользовались многие. Известный документ Мерославского, который попался в руки варшавской полиции и появился потом в газетах, очень хорошо свидетельствует о том, как нужно было плодить *герценистов* в интересе, например, польского дела. Плодить их было выгодно в интересе всякого дела, имеющего целью раздробить русское государство и отнять его у русского народа.

Писания г. Герцена расходились в страшном множестве по всей России, и имя его было у всех на языке; но невозможно было подумать о том, чтобы произнести его имя в печати. Для молодых, и даже не для молодых умов, с этим именем соединялось обаяние какой-то таинственной силы, а между тем люди не менее, чем г. Шедо-Ферротти понимавшие весь сумбур учений, которые проповедывал этот мыслитель, отдавали ему в негласных сферах, где он властвовал, такой же почет, какой отдан ему этим остроумным писателем в печатном письме к нему; хотя письмо это и должно было иметь характер полемический. Г. Шедо-Ферротти, как у нас выражаются, стоит на почве действительности: где ему надобно, там он беспощадно издевается над нашими безбородыми преобразователями и поклонниками идей г. Герцена. Нет никакого сомнения, что такой здравомыслящий и цивилизованный человек, как, например, г. Шедо-Ферротти, никак не считал бы возможным говорить почтительно о заслугах г. Герцена посреди общества, которое он уважает; невозможно представить себе, например, чтобы он позволил себе сказать финляндской или лифляндской публике, если бы г. Герцен представлял какой-нибудь интерес для этих публик, что его издания заслуживают сочувствия, что они исполнены патриотизма. Мы вполне уверены, что участь, которой грозит польский патриот Мерославский нашим герценистам в будущем польском государстве, если бы они вздумали показаться в нем, грозила бы им и в других местах, где не требуется действовать орудиями разрушения. То же самое, что

и Мерославский, думали про себя разные другие *деятели*, имеющие надобность поддерживать в русском обществе, особенно в молодежи, кредит идей, составляющих вероучение нигилизма, и возвышать обаяние имен, служащих для них символом. Г. Шедо-Ферроти предварил нас своим объяснением с г. Герценом. Читая его известное письмо, изданное по-французски и по-русски, мы подивились той ловкости, с которой оно написано. Божество должно было остаться божеством для поклонников; нужно было только ущипнуть его, чтобы оно не забывалось и не считало себя чем-либо само собой существующим и своей силой действующим. Г. Герцен, в то время как писал к нему красноречивое послание г. Шедо-Ферроти, действительно вообразил себя самостоятельным и могущественным деятелем и начал вступать в разные практические сделки и оказывать терпимость к некоторым предрассудкам цивилизации. Но этого не требовалось, и г. Герцену дан был урок, долженствовавший возвратить его к первоначальной чистоте его идей, к тому периоду его деятельности, когда он бескорыстно занимался великой задачей пересоздания мозгов человеческих, — имел других корреспондентов. Полезное действие г. Герцена должно было состоять в развитии чистого нигилизма, отравой которого он действовал на молодые умы, делая их ни к чему негодными и отнимая их у русского народа; он был хорош, когда без всяких дальнейших целей способствовал только к подрыву в русском обществе тех основ, на которых держится и развивается цивилизация. Послание г. Шедо-Ферроти к г. Герцену, изданное в Брюсселе, было выпущено в России. Брошюрка, озаглавленная именем, не изглаженным в русской печати, появилась в окнах магазинов, и это имя в крупных буквах запестрело в газетных объявлениях. Всякий мог законным образом приобрести эту брошюрку, напечатанную по-французски и по-русски, и всякий мог законным образом читать в ней о том, какое важное значение имеет этот мыслитель и патриот, пребывающий в изгнании, и какие великие заслуги оказал он оттуда России, хотя он впоследствии и испортился, перейдя в другие руки, — переменив своих корреспондентов, как тонко выразился г.

Шедо-Ферроти. Эти изысканно-почтительные объяснения с г. Герценом на французском и русском диалектах, в то время когда русская печать не смела произнести его имя, производили странное впечатление. Г. Шедо-Ферроти, кажется, думает, что в 1862 году было разрешено писать о г. Герцене в России. Это не совсем точно. В России пропущена была его брошюрка из-за границы, но по внутренней цензуре не было сделано никакого распоряжения о том, чтобы пропускать что-либо относящееся к этому предмету. Тем не менее, когда эта брошюрка появилась в русских книжных лавках, мы сочли и себе вправе заговорить. После некоторых колебаний цензор наш (вскоре затем получивший другое назначение) пропустил статью, которая хотя и произвела некоторое действие, но вовсе не то, какое приписывает ей г. Шедо-Ферроти. Мы отнюдь не обращались к молодежи, отнюдь не действовали на ее воображение. Как в этом случае, так и постоянно мы обращались только к здравому смыслу и разумению людей зрелых. Фальшивое обаяние, соединявшееся с именем издателя *Колокола*, было разрушено, потому что с ним заговорили не как с полубогом и даже не как с важной особой, но как с простым смертным, без всякой пощады для его поддельного авторитета. Вот все это было сделано; но, повторяем, мы не рассчитывали пленить этим воображения учащегося юношества. Имя г. Герцена действительно утратило то странное, почти мистическое значение, которое было сообщено ему обстоятельствами; но настроение молодых умов мало от того улучшалось. Мы были засыпаны пасквилями с бранью и угрозами, и против нас озлобились не одни наивные поклонники г. Герцена, а еще более те, кто понимал нелепость его идей, но пользовался ими для решения своих целей. Против нас началась тогда глухая агитация, которую мы не скоро могли выразуметь; принимались разные меры, чтобы нас компрометировать, затруднить, запугать, привести в уныние; распускались слухи, что мы подкуплены, и как бы в подтверждение этих клевет г. Герцен в своем *Колоколе* возвестил об одобрении, которое статья наша о нем заслужила в высших сферах, что, по расчетам интриганов, должно было непременно

но уронить нас во мнении общества и особенно молодежи. В русских журналах начали появляться против нас ожесточенные выходки. В печать проскользали даже такие статейки, в которых изъяслялось негодование на невежливый тон, с которым мы позволили себе говорить о г. Герцене.

Итак, если кумир был разбит, то поклонники остались, остались и жрецы, и они усугубили свою деятельность, чтобы поддерживать в русском обществе то настроение, которое было нужно для их целей; а потому в начале прошлого года наша молодежь была несколько не в лучшем положении, чем прежде. В это время с особенной силой распространялось сочувствие к польскому делу в русском обществе, а с тем вместе распространялась мысль о разделении России на многие отдельные государства, как о чем-то в высшей степени необходимым в интересе прогресса. Что говорилось в разных местах открыто, то появлялось, только в другом тоне, в подметных листках. Люди честные и здравомыслящие приходили в уныние, и заговорить в то время против польских притязаний казалось делом не только самым непопулярным, но и опасным...

Что же мы видим в начале прошлого года? Мятеж, кровопролитие, тайные политические убийства, казни, бесславие и позор, уничтожение, какого Россия не запомнит; русское имя, преданное всеобщему поруганию; вопрос, поднятый о самом существовании русского государства и русского народа; удушливая атмосфера будто перед грозой; самое несбыточное, казавшееся возможным, самое очевидное, казавшееся недействительным. Всем казалось делом легким заставить русское правительство делать все, что ему предпишут к подрыву всех основ своего государства. Люди самые серьезные, глубокие политики, правители государств, считали возможным обмануть нас комедией торжественных заявлений целой Европы и угрозами самой несбыточной европейской войны. Мы припоминаем, что была уверенность с одной стороны, было тягостное опасение с другой в неблагонадежности нашей военной молодежи...

Вот в каком положении находились русские дела за первые месяцы прошлого года. В каком положении находятся они

теперь? Мятеж прекращен не только в западных губерниях, но и в Царстве Польском. Фантасмагория революции, носившаяся над Россией, исчезла, исчезли также и призрачные опасения европейской войны из-за Польши. С самой Крымской войны Россия не занимала такого выгодного положения в Европе и не пользовались таким уважением, как ныне. Не только все крики против нее умолкли, но ее союза ищут те самые державы, которые в прошлом году считали возможным издеваться над ней. Можно подумать, что целое столетие отделяет нас от тех возмутительных слов, сказанных во французском сенате, которые так болезненно отозвались в нашем Отечестве. Мы не скажем, чтобы в настоящее время все в наших делах обстояло благополучно, но верно то, что правительство может без всяких опасений совершать то, что оно сочтет за благо, и что от него, единственно от него, зависит счастливый или несчастливый исход всех наших задач, вопросов и затруднений.

Итак! Где же зло? Был мятеж, и мятеж подавлен: неужели это зло? Была фантасмагория революции, были призрачными опасения войны, этого нет в настоящее время: неужели это зло? Россия казалась при последнем издыхании, теперь она является сильной: неужели это вред? Где же пагубные перемены, происшедшие в положении нашего Отечества за тот краткий промежуток времени, который так заботит брюссельского публициста? Перемен к худшему мы не видим; видим только перемены к лучшему.

Следовательно, как бы ни была дурна какая-нибудь газета в России, как бы ни было зловредно ее существование, она, слава Богу, не помешала счастливым переменам в положении дел. Зачем же привлекать нас так торжественно на суд современников и потомства? Мало ли на свете дурного? Мало ли на свете нелепостей? Почему же на нас остановился выбор исследователя судеб России и Польши?

Мы, разумеется, допускаем только одну точку зрения для оценки нашей общественной деятельности, точку зрения исключительно русскую. Со всякой другой точки зрения порицание было для нас не порицанием, а честью. Но прежде,

чем решать, в какой мере приносят нам честь порицания Шедо-Ферроти, мы хотим припомнить, не было ли с нашей стороны каких-нибудь умышленных или неумышленных попыток повредить русскому делу, попыток, хотя и бессильных, но во всяком случае постыдных.

Что главным образом произвело перемену к лучшему в русских делах? – не народное ли русское чувство, не патриотическое ли одушевление, пробудившееся повсюду, вверху и внизу, заговорившее тысячами голосов со всех концов русской земли? Не оно ли рассеяло туман недоразумений, не оно ли разоблачило наши опасности; осветило нам путь наш? Не оно ли пресекло тайную интригу, которая подкапывалась под основания русского государства внутри? Не оно ли положило конец мистификации, которой подвергались мы извне? Не оно ли возвратило нам уважение Европы? Благодатные минуты, скоро прошли оне, но кто испытал их, тот не забудет, а их испытала вся русская земля. Мы знаем силу их по себе: мы помним, как под их влиянием все в нашей мысли очищалось и укреплялось. Впервые на памяти живущих людей все от мала до велика сходилось в русском чувстве, каждый русский энергически чувствовал себя живым членом своего народа, каждый чувствовал его в своем сердце; под действием этого чувства исчезали разногласия; его благотворное действие освежило нашу молодежь и нанесло удар нигилизму, который только теперь, когда это чувство замолкает и наше общество возвращается к своей обычной дремоте, только теперь начинает снова поднимать свою голову, и снова начинают выходить на свет Кукшины, Базаровы, Аркадии Кирсановы. Тогда не смела бы появиться книга, подобная книге г. Шедо-Ферроти, которая, как мы надеемся показать, мало разнится от тех изданий подземной печати, которые еще в начале прошлого года разлетались из Петербурга по России. Это было великое благотворное движение народного духа, которое имело только то несчастье, что было не довольно продолжительно и что Россия на успела им воспользоваться должным образом для своего будущего. Теперь спрашивается: в то время, как пробуждалась

и развивалась эта сила, которой мы обязаны столь разительной переменой к лучшему в русских делах, — мешаем ли мы на нашем посту этому движению? Старались ли мы прямыми или косвенными способами ослабить и охладить это чувство, пытались ли мы подавить его в обществе? Нет, этого никто не скажет. Стало быть в этом пункте, самом главном, мы не причинили никакого вреда.

Опыт показал, что система уступок перед польским мятежом, грозивших раздробить государство, также как и перед иностранными требованиями, был путь самый опасный. Говорили ли мы прямо или косвенно в пользу этого пути?

Опыт показал также, что всякая система, возбуждающая польские национальные инстинкты, есть система несовместная с безопасностью русского государства и пагубная для на­родонаселения этого края. Но разве мы говорили что-нибудь в пользу этой системы, разве мы поддерживали ее, разве мы старались всякими софизмами оправдать ее и приписывали ее неуспех случайности, между тем как он неизбежен по самой ее сущности?

Опыт показал, что система, первоначально принятая для подавления мятежа, не только не подавляла, но еще более разжигала его. Разве мы говорили что-нибудь в пользу этой системы? Разве мы с полной искренностью, как прилично честным людям, которым позволено было говорить в деле столь важного общественного интереса, не высказали откровенного мнения о том, что представлялось нам с полной ясностью и что должно было представляться всякому на основании фактов, доходивших до общего сведения? Разве мы говорили что-нибудь в пользу системы управления края посредством польских чиновников в то время, когда край находился под властью подземного правительства и когда эти самые чиновники были в то же время и агентами тайной организации?

Опыт показал, что всякие меры, какого бы они ни были свойства, принимаемые для подавления мятежа, не могут быть действительны, если оставляют в силе его внутреннюю организацию, а падают только на людей, которые волей или нево-

лей служат ей. Разве мы когда-нибудь говорили, что надобно щадить внутреннюю организацию мятежа и, не устраняя тех условий, которые благоприятствуют ему, поразить его жертвы? Разве мы выражали удовольствие при чтении этих потрясающих бюллетеней, из которых мы узнавали, что в таком-то лесу, при такой-то встрече со стороны войск убито два нижних чина, а мятежников полегла тысяча? Разве мы изъявляли удовольствие, читая о том, как толпы несчастных повстанцев, согнанных в леса жандармами-вешателями, бросали оружие и на коленях просили пощады при встрече с войсками? Разве мы могли без содрогания читать показания этих бедняков перед следственными комиссиями о тех страшных насилиях, которыми они привлекались к участию в бандах! Разве эти сцены ужаса и крови радовали нас? Разве они могли кого-нибудь радовать? Разве не вырывалось у нас невольное восклицание: нет, лучше бросить этот несчастный край, лучше вывести из него войска! Читая в *Журнале военных действий* известия о том, что такого-то числа, в такое-то место отправлялся отряд войск для приведения крестьян в повиновение их помещику в то время, когда все или почти все помещики-поляки волей или неволей должны были способствовать мятежу, разве мы радовались этому? Разве мы старались поддерживать то заблуждение, которое выгодно было распространять польским патриотам, что дело их есть народное дело? Разве мы доказывали, что польские крестьяне симпатизируют делу польского патриотизма, что они чувствуют себя поляками, жаждут восстановления польской национальности и враждебно расположены к России? Разве мы выражали уверенность, что в среде даже панов, чиновников и городских обывателей все само собой пламенело мятежом, что в объятых им классах не было множества людей совершенно равнодушных к национальным и политическим вопросам, и что все они действовали по собственному побуждению, а не под страхом тайной организации и ее жандармов?

Последствия доказали несомненно, что призрак войны, которой нам угрожали, был только выражением нашего собственного мнения о нашей слабости. Брюссельский публицист

полагает, что русское правительство могло принять решительный тон относительно западных держав и изменить систему в Царстве Польском не прежде как изготовившись к войне, которая была в противном случае неизбежна. Не знаем, действительно ли она казалась ему неизбежной в то время, но надобно много отваги, чтобы утверждать это даже теперь, когда по окончании пьесы сами актеры, сняв с себя маску, объявили, что никакой войны не имелось в виду, что война была невозможна. Что ж? Разве мы говорили, что война была возможна и что опасность наша заключается в чем-либо другом, кроме уступок и неуверенности в своих силах? Разве мы пугали правительство и публику европейской войной в то время, когда наступавшие на нас державы не только не увеличивали, но сокращали свой военный бюджет? Разве мы говорили, что при таком положении дел в течение прошлого года могли начаться неприятельские действия, какой бы мы не дали ответ трем державам и какие бы меры ни стали мы принимать в Царстве Польском? Г. Шедо-Ферроти отыскал в нашей газете несколько слов о том, что Россия перед лицом составившейся против нее коалиции могла бы принять положение наступательное, и он поздравляет правительство, что оно не последовало нашему совету. Мы очень рады, что не последовало тому, что никогда не было советом, — что было только выражением уверенности, что для России было бы несравненно выгоднее принять наступательное положение, нежели без войны подвергнуться всем последствиям войны самой бедственной.

Итак, приведя на память прошлое, мы убеждаемся, что с нашей стороны не произошло ничего такого, в чем можно было бы видеть умышленную или неумышленную попытку воспрепятствовать направлению к лучшему, которое принимали дела в нашем Отечестве. Мы можем, стало быть, остаться спокойными в нашей совести. Но направление к лучшему находится весьма естественно в ожесточенной борьбе с направлением к худшему. Если бы не было двух противоположных направлений, то не было бы ни вопросов, ни затруднений, ни опасностей. Итак, если мы можем оставаться спокойными, что

ничему хорошему в русских делах не воспрепятствовали и не пытались воспрепятствовать, то это не может послужить к нашему оправданию с точки зрения противоположного направления. Оно тем менее может быть довольно нами, чем преувеличеннее представляет себе значение нашей деятельности. Полагая, что мы особенно способствовали развитию народного чувства, оно весьма естественно сосредоточивает на нас все свое неудовольствие, – и вот выходит книга, в которой мы являемся героями судеб России и Польши, а с тем вместе и самым ненавистным началом, которое когда-либо на Руси появлялось.

Но прежде всего мы желали бы вывести свою особу из того трагикомического положения, в которое ставят ее. Мы не заслужили той массы неприязни, которой чествуют нас противники русского дела. За собой лично мы не признаем никакой особенной заслуги, а также никакого особенного повода к вражде, и, стало быть, не видим, почему именно на нас должна сосредоточиваться ненависть противной стороны. Нельзя видеть особенную заслугу в том, что делается по простой обязанности. Мы были обязаны действовать так, как мы действовали, говорить то, что говорили; если бы мы действовали и говорили иначе, то мы не могли бы не презирать себя и заслуживали бы презрение всякого честного человека какой бы то ни было партии, из какого бы то ни было лагеря. Значение, которое нам приписывают наши противники, есть ошибка, нечто вроде оптического обмана, происходящего вследствие обстоятельств совершенно случайных. Какая важность в том, что француз чувствует себя французом? Какая важность в том, что немец чувствует себя немцем? Теперь спрашивается, какая же важность может быть в том, что русский чувствует себя русским?

В нас видят какую-то уродливую случайность, а вся беда состоит только в том, что мы, чувствуя себя в глубине души русскими, нераздельно с тем и также глубоко чувствуем свою связь с европейской цивилизацией. Нам простили бы, если бы чувство русской народности было у нас темным фанатизмом, дикой страстью или тем, что называется квасным патриотиз-

мом. На нас не обратили бы внимания, если бы это чувство развивалось у нас в фантазии и вопреки здравому смыслу. Но нам не могут простить то, что в наших понятиях русское дело есть дело цивилизации и человечества, что мы в то же время остаемся в пределах здравого смысла и на земле. Такое сочетание кажется крайне неудобным для всех наших сепаратистов; оно является досадной неожиданностью. Допускается иметь какие угодно идеалы и цели, но отнюдь не может быть допущено живое, искреннее и толковое убеждение, что истинный прогресс в России возможен только на основании русской народности, что русское государство может сохранить свою силу и приобрести желаемое благоустройство только в качестве русского государства, что политика русского правительства может не иначе вести ко благу, не иначе удовлетворять своему назначению, как принимая все более и более национальный характер.

Нет, не в личности нашей дело, – мы не так малодушны, чтобы польститься тем значением, которое хотят придать нам. Мы не считаем себя вправе гордиться той ненавистью, которую, по-видимому, возбуждаем против себя. Наше имя употребляется с целью вовсе не лестной для нашего самолюбия; оно служит только средством для того, чтобы умалить значение новой силы, которая не имелась в виду и с которой, однако, приходится считаться; эта сила – пробуждающееся чувство русской народности и возникающая на Руси гласность независимого мнения. В прошлом году впервые русским людям, не имеющим никакого политического или официального значения, стало возможно принимать серьезное участие в делах общего интереса. Не к нам лично относится ненависть, но вообще к русскому человеку, к русской мысли, к русскому чувству, получившему голос. Это кажется и странным, и невозможным, и досадным, и этого досадного факта не хотят признать, с ним не хотят примириться. Все употребляется в дело, чтобы обессилить его. Ему хотят насильно придать значение чисто личное, хотят представить его каким-то уродливым исключением и в то же время стараются всячески заподозрить и образ мыслей, и образ действий тех лиц, с которыми хотят насильно связать его.

КТО НАШИ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ?

Самое тяжелое впечатление на всех благомыслящих людей должна была произвести арестация Петербургского мирового судьи Черкесова по улике в преступных политических сношениях и замыслах. В самом деле, трудно представить себе что-нибудь прискорбнее подобного случая. Мировой судья, человек, выбранный из многих тысяч людей для того, чтоб быть стражем закона, чести и безопасности своих граждан, блюстителем общественной нравственности, охранителем порядка, сам оказывается злоумышленником, сам подвергается обвинению в солидарности с врагами закона, порядка, своих сограждан, своего Отечества. Случай этот так возмутителен, что невольно пытаешься объяснить его какой-нибудь случайностью, каким-нибудь недоразумением. Но подтвердится или не подтвердится улика, павшая на мирового судью, довольно уже и того, что человек в таком положении мог навлечь на себя подозрение достаточно сильное для того, чтобы подвергнуть его полицейскому обыску и арестовать его во имя закона. Чем же руководилось общество при выборах в должность столь важную, столь почтенную, прежде всего требующую совершенной гражданской благонадежности? Мы не будем упрекать представителей петербургского городского общества за выбор человека неблагонадежного; будем надеяться, что заподозренный мировой судья совершенно оправдается и выйдет чист; но как мог выбор их остановиться на человеке недостаточно известном и своей репутацией недостаточно огражденном от всякого сомнения относительно своей политической благонадежности? Правда, опыт и давних, и недавних времен свидетельствует, что никакие административные должности, никакие правительственные положения не обеспечены от дурных элементов всякого рода. Мы видели злых заговорщиков на местах влиятельных и ответственных, и никто не поручится, чтоб и в сию минуту в рядах людей, призванных охранять спокойствие государства, не было тайных врагов его или пособ-

ников врагам. Что административные сферы не обеспечены от вторжения неблагонадежных элементов, об этом разительно засвидетельствовал всем памятный Высочайший рескрипт 13-го мая 1866 года. Но из этого ничего не следует для извинения общества не только в предосудительных, но и в небрежных выборах. Будем искать примеров для подражания, а не для извинения своих упущений: бюрократические порядки имеют свои слабые стороны, а потому-то государство, не ограничиваясь ими, и призывает всех блюсти интересы дорогие для каждого, и в этих видах дает обществу право выбирать должностных лиц, призываемых действовать в собственной среде его.

Везде выбор такого должностного лица как мировой судья из людей политически неблагонадежных был бы явлением прискорбным; в России это чудовищность. Говорим «чудовищность», потому что в России, в нынешней России, нет таких революционных партий, относительно которых общество могло бы держать себя сколько-нибудь нейтрально.

Кто наши революционеры? Заграничные, особенно немецкие газеты полны известий о революции, якобы кипящей теперь в недрах России. Вся Россия, говорят, покрыта сетью заговора, который имеет свои узлы во всех значительных городах ее, а главный центр в Москве.

Вы изумляетесь этому, вы думаете, что над вами издеваются. А между тем в самом деле производятся политические аресты, ходят слухи о каких-то прокламациях, даже совершаются политические убийства.

Что же это такое? Кто же вожди этой великой русской революции и чего они хотят? Надобно наконец взглянуть прямо в глаза опасности, которой нас пугают.

Вожди этой великой революционной партии, осетившей всю Россию, имеют притон свой в Швейцарии. Женева, как прежде Лондон, вот тот пункт на земном шаре, куда сходятся видимые нити этой организации. Счастливая Женева! Какая блистательная роль суждена этой скромной пуританской Женеве. Отсюда раздаются те мощные голоса, которые потрясают в основаниях величайшую Империю в мире, всегда казав-

шуюся незыблемым колоссом. Отсюда сыплются воззвания к топорам, отсюда отправляются к нам эмиссары, сюда бегут за вдохновениями и приказами Худяковы, и Нечаевы. Об издателях *Колокола* уже не говорят. Скипетр русской революционной партии перешел в руки к другой знаменитости, к тому Бакунину, который в 1849 году бунтовал на Дрезденских улицах, попал за то в австрийские казематы, был потом выдан нашему правительству, сидел в крепости, писал оттуда умиленные и полные раскаяния письма, был помилован и выслан на жительство в Сибирь, где ему была дарована полная свобода, служил там по откупам, женился там на молоденькой польке из ссыльного семейства, сошелся со многими из соплеменников своей жены и, когда разыгралось польское дело, бежал из Сибири, и в 1863 году вместе с несколькими сорванцами польской эмиграции предпринимал морскую экспедицию против России, но предпочел высадиться на шведском берегу. Вот он, этот вождь русской революционной партии, организатор заговора, покрывшего теперь своей сетью всю Россию. «Верно то, — пишут в *Allgemeine Zeitung*, — что Бакунин есть основатель и руководитель этого заговора, который имеет своей целью ни больше, ни меньше, как уничтожение всякого государственного начала, отвержение всякой личной собственности и воцарение коммунизма».

Фигура интересная. Тень ее ложится на всю колоссальную Россию!

Мы счастливы, что имеем некоторые сведения о характере и прошлой жизни этого великого человека и можем несколько ближе ознакомить с ним нашу публику для которой он вдруг получил столь неожиданное значение.

Случай свел нас с Бакуниным еще в первую пору молодости. Мы знали его не долго, но близко, и видели его в разных положениях жизни. В молодости это был человек не без некоторого блеска, способный озадачивать людей слабых и нервных, смущать незрелых и выталкивать их из колеи. Это была натура сухая и черствая, ум пустой и бесплодно возбужденный. Он хватался за многое, но ничем не овладевал, ни к чему не

чувствовал призвания, ни в чем не принимал действительно-го участия. Не было человека, даже наилучшим образом расположенного к нему и предубежденного в его пользу, на кого бы не производил он безотчетно неприятного и отталкивающего действия. Всякому было с ним и тягостно, и неловко. В нем не было ничего искреннего; все интересы, которыми он, по-видимому, кипятился, были явлениями без сущности. Одна, впрочем, черта в его характере была несомненно реальная, одно свойство, которое в своих проявлениях было у него и правдиво, и искренно: это способность жить на чужой счет и не делать различия между карманом чужим и своим. Он всегда умел пристраиваться к денежным, податливым и конфузливим людям и с добродушием времен богатырских соглашался хозяйничать в их кошельках и пользоваться их избытками. Как не делал он практического различия между чужими и своими деньгами, так не делал он различия в своих потребностях между действительными и мнимыми. Ему ничего не стоило вытянуть у человека последние деньги с тем, чтобы тотчас же рассорить их на вещи, ему самому совершенно не нужные. Денег не срывал он только с тех, у кого положительно нечего было взять. В этой характеристике Бакунина нет ни одной черты произвольной или основанной только на нашем личном впечатлении. Все знавшие его подтвердят в полной силе все главные черты его.

В последний раз мы видели его в Берлине, где под предлогом занятия философией он предавался абсолютной праздности, хотя своей развязностью Гегелевой терминологии озадачивал добродушного Вердера, который с мистическим одушевлением преподавал в Берлинском университете логику упомянутого философа. Бакунин запечатлелся в нашей памяти под весьма характерным образом. Однажды в честь одного знаменитого профессора студенты устроили факельную процессию. Множество молодых людей собрались перед домом юбиляра, и когда почтенный старец вышел на балкон своего дома благодарить за сделанную ему овацию, раздалось громогласное *hoch*^{*}, и всех пронзительнее зазвенел у самых ушей на-

* Ура (нем.)

ших знакомый голос: то был Бакунин. Черты лица его исчезли: вместо лица был один огромный разинутый рот. Он кричал всех громче и суетился всех более, хотя предмет торжества был ему совершенно чужд, и профессора он не знал, и на лекциях его не бывал.

После того прошло около 30 лет и Бакунину будет теперь под 60. С тех пор мы не встречались с ним. До нас доходили лишь общие сведения и слухи о его похождениях и заключениях. Но вот в 1859 году, когда он уже проживал в Сибири и служил по откупам, мы неожиданно получили от него письмо, в котором он припоминал о нашем давнем знакомстве и которое показалось нам искренним. Еще прежде рассказывали нам, что он после тяжких уроков жизни в глубине строгого заключения глубоко изменился, что ум его отрезвился, что душа его проснулась и что он стал простым и добрым человеком. Мы охотно поверили тону его письма, в котором между прочим выражал он сочувствие нашему журналу и давал нам заметить, что он был бы не прочь воспользоваться возвращенными ему гражданскими правами, для того чтобы действовать как-нибудь на пользу общую. Мы предложили ему попробовать писать в наш журнал из его далекого захолустья, которое для ума живого и любознательного должно представлять так много новых и интересных сторон. В течение 1861–1862 годов получили мы от него еще два-три письма через ссыльных из поляков, которые были помилованы, возвращались на родину. Оказывалось, что он жил в Сибири не только без нужды, но в избытке, ничего не делал и читал французские романы. Но на серьезный труд, хотя бы и малый, его не хватало. Русскую литературу он не обогатил своими произведениями. Зато он был охотник писать письма к знакомым. В письмах его к нам проглянул прежний Бакунин. Хотя тон их был все-таки весьма умеренный и благонаправленный, но от них веяло пустым и лживым фантазерством. Местами он заговаривал тоном вдохновения, пророчествовал о будущих судьбах славянского мира и взывал к нашим русским симпатиям в пользу польской нации. Письма эти не требовали ответа, и мы не находили нужным продолжать с ним переписку.

ску. Последнее послание получили мы от него уже в эпоху варшавских демонстраций. Прежний Бакунин явился пред нами во всей полноте своего ничем не поврежденного существа. Он потребовал от нашей гражданской доблести присылки ему денег, по малой мере 6000 руб. Дабы облегчить для нас это пожертвование, он позволял нам открыть в его пользу подписку между людьми, ему сочувствующими и его чтущими, которых, по его расчету, должно было быть немало. Зачем же вдруг и так экстренно понадобилась ему вышеозначенная сумма? Вот зачем: однажды осенило его сознание, что он получал даром жалованье от откупщика, у которого числился на службе, ничего не делая, и он вдруг сообразил, что откупщик выдавал ему ежегодно в продолжение трех лет по 2 000 руб. единственно из угождения генерал-губернатору, которому Бакунин приходился с родни. Сознание это не давало-де ему покоя, и вот он решил во что бы то ни стало возратить откупщику всю в продолжение трех лет перебранную от него сумму.

Благородный рыцарь, он хотел подаванием уплатить подавание и из чужих карманов восстановить свою репутацию во мнении откупщика. Мы не могли быть ему полезны, и письмо его осталось втуне. Но прошло затем несколько месяцев, и мы узнали, что Бакунин все-таки добыл сумму, которую требовалось возратить откупщику, но откупщику ее не возвратил, а бежал с полученными деньгами из Сибири. Откупщик был только предлогом, чтобы выманить деньги...

Вот главнокомандующий нашей революции. Да откуда же, наконец, берет он деньги, чтобы делать революцию?

Пред нами лежит теперь прокламация Бакунина, выпущенная прошлой весной во время студенческих беспорядков в Петербурге. Она озаглавлена так: «Несколько слов к молодым братьям в России». Никогда революционный жаргон не доходил до такого безобразия, никогда поругание здравого смысла не простиралось до такого цинизма, никогда бесчестный расчет не выказывал себя с такой наглостью, как в этом гнусном издании. Оно рассчитано на две стороны. Прямое действие его направлено на самую испорченную и на самую незрелую часть

нашей нигилистствующей молодежи. С другой стороны, оно рассчитано на то, чтобы произвести впечатление в высших слоях нашего общества и администрации и поддержать там наветы тех партий, которые действительно составляют заговор под прикрытием якобы консервативных начал. Нельзя и на минуту допустить, чтобы человек, писавший это воззвание был искренен и сам верил дикому сумбуру своих слов...

Бакунин поздравляет наше бедное молодое поколение с духом «противугосударственным» и «всеразрушительным». Какой лестный и возбудительный комплимент для мальчишек! «Всеразрушительный дух» это священный недуг, и если бы «молодые братья» выздоровели от этого недуга, то они «стали бы скотами». Этого мало: есть название хуже, чем «скоты». «Вы, – говорит он, – заслужили бы право называться всероссийскими патриотами». Бакунин, как видите, не жалуется *всероссийских патриотов*.

Итак, наши *всеразрушительные революционеры*, которые высылают Каракозовых, солидарны в этом чувстве вражды к русскому патриотизму с нашими так называемыми консерваторам. И та, и другая партия на этой почве союзны и могут действовать заодно против русских патриотов как в западном крае, так и в других местах.

«Где, – восклицает Бакунин, – источник того дико-разрушительного и холодно страстного воодушевления, от которого цепенеет ум и останавливается кровь в жилах ваших противников? Холопская литература стала в тупик перед вами; она тут просто ничего не понимает».

Холопская литература, это русская патриотическая печать.

В чем же состоит учет *дико-разрушительной* революции с *холодно-страстным воодушевлением*, которая якобы покрыла своей сетью всю ненавистную ей Россию и имеет своим средоточием сугубо ненавистную ей Москву? Уничтожение всякого государства: вот чего хочет наша революция. «Всякое государство, – проповедует Бакунин, – как бы либеральны и демократичны ни были его формы, ложится подавляющим камнем на жизнь народа». Не нужно ни преобразований, ни даже рево-

люции, имеющих какой-нибудь смысл. Требуется, напротив, только «дико-разрушительное воодушевление». Долой всякое государство, как монархия всевозможных видов, так и республика, хотя бы социально-демократическая!

Спрашивается, кто, кроме помешанного, мог бы не шутя проповедовать такой вздор? Кто допустит, чтобы эта нелепость могла стать началом серьезного политического заговора, если только позади нет другого заговора, действительно серьезного, которому нужно прибрать к рукам и употребить в дело самую незрелую или самую испорченную часть нашей молодежи?.. Да и откуда это ничтожество могло бы взять денег хотя бы на печатание прокламаций, не говоря уже о командировках Худяковых и Нечаевых?..

«В недоумении, – продолжает женеvский вождь русской революции, обращаясь к своим молодым друзьям, – господа московские и петербургские журналисты решили, что ваше настоящее движение – дело польских подземных интриг. Нельзя было выдумать ничего подлее и глупее. Подлее, потому что вызывать ярость свирепого палача против измученной жертвы такое позорное преступление, которое именно только в нашей холопски государственной России возможно; глупее, потому что нужно дойти до крайней степени тупоумия, чтобы не заметить с первого раза пропасти, лежащей между программой огромного большинства польских патриотов и программой нашей молодежи, представительницы и поборницы русского народного дела».

Итак, между нашей революционной партией и польским делом нет ничего общего. Связь между ними выдумала русская холопская патриотическая печать. Это клятвенно удостоверяют так называемые наши консерваторы. Рассказывали, что какой-то важный господин в Петербурге даже перекрестился, когда узнал, что преступник 4-го апреля не поляк, а русский. В иностранных газетах, равно как и в некоторых петербургских салонах, высказывается весьма положительное убеждение, что все антирусские в России партии суть единственные консервативные элементы, а русский народ исполнен дико-

разрушительного революционного духа. Это скажет каждый *фон* из Лифляндии, любой *пан* с Литвы или с Волыни: теперь это вне всякого сомнения, в этом удостоверяет сам вождь русской революционной партии. Все мерзости, чинимые у нас во имя революции, все эти воззвания к топорам, поджоги, покушения, убийства, все это есть дело русское, самобытное, самородное.

Мы согласны, что никакая политическая партия, никакой серьезный заговор не может иметь своей программой дикий вздор Бакунинских прокламаций: нет сомнения, никакая действительно опасная для государства партия не могла бы узнать себя в этой бессмыслице...

Кому нужно вносить эти quasi-доктрины в беззащитные головы ребятишек обоего пола, связывать их призраком какого-то таинственного общего дела и поджигать их на преступные покушения, которые навлекают на них всеобщие проклятия их народа? Друзья народа не могут этого делать: это могут делать только его враги, кто бы они ни были.

Между доктринами о «диком-разрушительном и холодно-страстном воодушевлении», с которыми Бакунин обращается к своим «молодым братьям», и польским делом действительно нет ничего общего. Польские патриоты не мальчишки. Они не могут считать чем-либо серьезным прокламации Бакунина и Нечаева. Они смеялись над ораньем Герцена, распространяя его листки в нашей молодежи. Их не может пленять перспектива всеобщего разрушения, в котором должно исчезнуть всякое государственное начало, всякий порядок, всякий закон, всякая власть и, стало быть, всякая человеческая свобода; точно так же и балтийские патриоты не могут находить ничего пленительного в Стеньке Разине, которого Бакунин выставляет в образец для своей молодой братья.

Но если у России есть враги, то им ничего не может быть приятнее, как порча русской молодежи и поругание русского патриотизма. Врагам России естественно позаботиться, чтобы дать этому позору вид революционной организации. Всякая мерзость для врага есть дело природное, и если бы не было

Бакунина, Нечаева e tutti quanti*, то враги России должны были бы создать их.

Враги России и создали их... Наши так называемые революционеры, это орудие в руках наших врагов.

Успокоив нас, что между польскими патриотами и русской революцией нет ничего общего, Бакунин не мог оставить своих молодых друзей без ближайших наставлений. Иной глупый нигилист, пожалуй, и в самом деле вообразит, что он есть нечто самостоятельное и самородное, между тем, как все его призвание в том только и состоит, чтобы помогать врагам своего народа, кто бы они ни были. Нигилист должен отрицать ответственность, но он должен в то же время дружить хотя бы феодалам, лишь бы они были враждебны русскому государству.

В мире нет ничего абсолютного. Оказывается, что, несмотря на пропасть, которая отделяет русскую революцию от польской партии, между ними все-таки есть маленькая связь.

Связь оказывается именно с самой консервативной частью польской партии, с дворянской.

Послушаем, что говорит главнокомандующий в своем воззвании вслед за вышеприведенными строками:

«Между большинством польских деятелей, – говорит Бакунин, – и именно той польской *шляхетско-католической* партией, которой журналистика наша приписывает наибольшее влияние на русскую молодежь, и между нами есть *только одно* общее чувство и одна общая цель: *это ненависть к Всероссийскому государству и твердая воля способствовать всеми возможными средствами наискорейшему разрушению его*. Вот в чем мы сходимся».

Только в том, не больше.

Итак, маленькая связь есть. Польская шляхетская партия сходится с нашим нигилизмом в совершенной безделице. «Шаг далее, – продолжает Бакунин, – между нами открывается пропасть: мы хотим окончательного разрушения всякой государственности в России и вне России; они мечтают о восстановлении Польского государства».

* Здесь: и прочими подобными (*ит.*)

Отношение обозначается довольно ясно. На долю нашим революционерам достается честь служить орудиями ненависти против своего Отечества и впридачу дикий сумбур понятий, который не заслуживает назваться даже безумием и может иметь значение положительно только для недоростков или для круглых дураков.

Но послушаем далее вождя русской революционной партии.

«Польские государственники, – продолжает Бакунин, – мечтают не о добром, потому что всякое государство, как бы либеральны и демократичны ни были его формы, ложится подавляющим камнем на жизнь народную. Они мечтают о невозможном, потому что впереди государства будут только рушиться, а не строиться. Они народно-ненавистною мечтой обрекают свою родину на новую гибель, и если б им удалось, хоть с помощью иностранцев, разумеется, не с народной помощью, восстановить Польское государство, необходимо основанное на шляхетстве, или, что все равно, на личной земельной и наследственной собственности, они, без сомнения, сделались бы столько же нашими врагами, сколько и притеснителями своего собственного народа. Если это случится, мы станем войной против них во имя общенародной свободы и жизни. *А до тех пор мы им друзья и помощники, потому что их дело – дело разрушения Всероссийского государства, так же и наше дело.*»

Кажется, дело ясно, если не для дураков, то для людей сколько-нибудь мыслящих.

Прокламация Бакунина приводит нам на память найденную после подавления мятежа в Варшаве инструкцию Мерославского для польских патриотов: им указывалось на русских нигилистов, герценистов и *полу-поляков*, как на лучших пособников польскому делу. «Когда цель будет достигнута, учил Мерославский, и Польша будет восстановлена, тогда мы этих пособников наших, если они в то время окажутся, перевешаем». Но надобно полагать, что они тогда не окажутся, – уж потому одному, что вожаки их останутся без жалования...

Итак, вот кто наши революционеры!

Спрашивается, может ли русское общество оставаться нейтральным относительно этих революционеров? Это не то, что в других странах династические партии, не то, что так называемые крайние партии. Нет, это отъявленные враги своего Отечества, это друзья и пособники его врагов, это их создания и орудия...

ПРОЦЕСС НЕЧАЕВЦЕВ

Северогерманская Всеобщая Газета, сообщая сведения о последовавшей в России учебной реформе, указывает на важность этой законодательной меры. «Проект министра народного просвещения, – сказано в означенной газете, – имеет целью развить в высших училищах классическое образование. Нет сомнения, что это весьма важно для России, где должностные лица по большей части совершенно лишены основательного научного образования. Университетское специальное преподавание не может заменить того, что упущено в общеобразовательной школе. Недостаток этот ощутителен по всем частям, особенно же в новых судебных учреждениях дарованных России».

Дай Бог, чтобы наши судебные учреждения процветали и чтоб они не терпели недостатка в людях, обладающих столь же высоким, сколько и основательным образованием! Механизм судебных учреждений так хорош, что, казалось бы, дело может идти само собой, не нуждаясь в особенных условиях со стороны лиц, служащих ему органом. И дело действительно принялось у нас хорошо. Деятели остались те же, что были прежде, но с изменением характера учреждений дело правосудия несомненно выиграло. К тому же, что ни говорите, мы имеем немало людей достойных и даровитых, хотя мы совершенно согласны, что высокое и основательное умственное развитие есть дело не лишнее и для почтенных, и для даровитых людей, и что наши судебные учреждения не стали бы от этого хуже. Особенно важно это условие в тех делах, которые касаются основных начал человеческой нравственности и общественно-

го порядка и которые входят в ведение суда, долженствующего не только разрешать индивидуальные случаи, карая преступного и оправдывая невинного, но и возвышать нравственность общества, среди которого он действует.

Наши судебные уставы ни в чем существенно не уступают соответственным учреждениям в других странах, а наша судебная практика цивилизованностью приемов даже превзошла порядки, принятые во всех цивилизованных странах. У нас подсудимых, уличенных и сознавшихся в убийстве не просто *вводят*, но *приглашают* в судебную залу. Английский или французский судья просто скажет: «Подсудимый, отвечайте». У нас скажут: «Господин такой-то, не угодно ли вам разъяснить..?» или «Господин подсудимый, член суда такой-то (следует звание, титул и фамилия) желает спросить вас...» Председатель суда в других странах не скажет ничего подобного; таких утонченных оборотов речи, таких взаимных представлений, напоминающих салон, где собрались люди для приятной беседы, не допускается в судебной зале других стран, где нравы грубее. Там судья, если сочтет должным остановить подсудимого, сделает это просто и скажет: «Подсудимый, слова ваши неуместны и дерзки». Но ему не придет в голову сказать: «Подсудимый, ваши слова, *смею сказать*, дерзки». Везде подобные оговорки показались бы иронией, слишком жестокой в виду людей, над которыми висит обнаженный меч правосудия. А у нас это не ирония, не жестокость: у нас это цивилизация.

По политическому делу, которое только что окончилось в С.-Петербургской судебной палате, четверо подсудимых приговорены к каторжной работе, трое к тюремному заключению, четверо освобождены. Отпуская этих последних, с которыми суд достаточно ознакомился, английский судья сказал бы: «Ступайте, вы свободны; ваше действие не подходит под букву закона, на который сослалось обвинение. Но помните, вы были в опасном соседстве с преступлением...» Быть может, он не сказал бы ничего; но он, наверное, не сказал бы им с некоторой восторженностью: «Подсудимые! Ваше место не на этой позорной скамье, ваше место в публике, ваше место среди всех

нас». Если б он и счел за нужное произнести что-нибудь в этом роде, то все-таки он сделал бы это как-нибудь иначе и избежал бы эмфатического оборота речи, коим гг. Орлов, Волховской и другие как бы приглашались со скамьи подсудимых пересесть прямо в сонм судей. В обстоятельствах дела не усматривается поводов к подобному заявлению, и оно может быть объяснено только как дань цивилизации, в настоящем случае, смеем думать, немножко излишняя.

Доселе мы ничего не говорили об этом деле. Это первый политический процесс, который происходил в России открыто и гласно, обставленный всеми гарантиями правильного суда. Мы не дерзали вторгаться с нашими суждениями в отправление правосудия. Печать благоговейно молчала, пока на всю страну раздавались судебные голоса обвинения и защиты.

Первый процесс кончился. Виновные подверглись заслуженной каре; невинные в деле, которое было предметом преследования, оправданы. Мы не считаем себя вправе обсуждать приговор по отношению к лицам; но мы полагаем, что в качестве публики мы не только имеем право, но и обязаны воспользоваться уроками, которые в таком обилии предлагаются делом, войти в некоторые возбужденные им вопросы, а главное, принять на себя защиту одного лица, которое может считать себя без вины оскорбленным. Это лицо есть здравый смысл, который не раз подвергался нападениям во время судебных прений. Не все защитники ограничивались только защитой подсудимых, но многие из них считали нужным пускаться в общие оценки и излагать свои философские воззрения. При этих-то эволюциях здравому смыслу были наносимы оскорбления, и никто не вступился за него. Председатель палаты благодушно выслушал подсудимых и защитников, не прервав их никаким замечанием, когда они возносились в область идей; но он уволил прокурора от обязанности что-нибудь сказать по поводу общих воззрений, высказанных господами подсудимыми и защитниками. Публика осталась в некотором недоумении; на преступников обрушились кары, рассчитанные по такой-то и такой-то статье уголовного законодательства, но

образ мыслей, лежавший в основе их действий, не только не подвергся порицанию, но даже прославлен. Нигилистов ссылают на каторгу, нигилистов сажают в тюрьму, а нигилизму пред лицом суда воздан некоторый почет.

Если в делах человеческих, даже при наилучших условиях, ничто не обходится без уклонений, и если адвокат перед судом не всегда в состоянии соблюсти святу ю границу между правдой и неправдой, если слово его не может иногда не уклониться в пылу прений, из суетного ли желания одержать верх хотя бы над истиной, или из побуждения в источнике своем почтенного, из жалости к несчастному, вверившему себя его защите, – если он решается пожертвовать правдой, – то пусть же это будет в пользу преступника, а не преступления. Если уж так пришлось, выгораживайте человека и доказывайте, насколько дозволит вам совесть, что он не причастен делу или совершил его не в том смысле как утверждается обвинением, – но нельзя дурное называть хорошим, нельзя в самом суде колебать закон, каков бы он ни был. Если вам не нравится закон, протестуйте против него в другом месте как знаете, но не смейте делать этого в суде, который держится законом и не имеет смысла вне закона. Если ничто другое не удерживает вас, то есть правила простого приличия. Вы хотите же казаться цивилизованным человеком, вы умеете же разбирать, когда надеть фрак и когда сюртук и не ездите с визитом без галстука; постарайтесь, по крайней мере, быть приличными. А если говорун ничем удержать себя не может, то вы, господин судья, смеем сказать, смеее остановить его на слове, которое владеет им более, чем он словом. Нет надобности плодить словопрения неуместные перед зеркалом суда; достаточно замечания, сказанного с достоинством и авторитетом, чтобы произвести должное впечатление.

Но возвратимся к процессу, который происходил в С.-Петербургской судебной палате на виду всей страны. Защитники говорили много, но не догадались бросить мужественное слово обличения в лицо тому духу лжи, который погубил их клиентов. Зато некоторые нашли возможным пококетни-

чать со средой, откуда эти несчастные вышли. Правда, один отозвался презрительно и брезгливо о наших революционных элементах, о нашем нигилизме; но он говорил как чужой и находил, что в русском народе эти явления как нельзя более естественны и уместны.

Если бы господа ораторы С.-Петербургской судебной палаты захотели взглянуть прямо в глаза обману, который разгрызается над гнилой и расслабленной частью нашего общества, если б они воспользовались безобразиями раскрытого дела, которое находилось на рассмотрении суда, и ударили бы в самый корень этой так называемой русской революции, положение подсудимых, мы полагаем, выиграло бы от того. Чем решительнее было бы слово обличения против сущности зла, тем действеннее и сочувственнее звучало бы слово их в пользу личности обвиненных. Весь процесс принял бы иной тон. С преступниками легче примирилась бы общественная совесть, а, главное, в их собственную душу, быть может, пало бы семя благодатного обновления. Это смутило бы дурную среду, из которой они вышли; это подействовало бы освежительно на все русское общество. Ораторам С.-Петербургской судебной палаты предстоял случай оказать истинную заслугу пред своей страной. Они не воспользовались им. Один из них взывал к суду за молодые русские силы, которые гибнут: хорош способ спасти молодые русские силы, закрепляя их обаяние лжи, которая их губит!

По окончании судебных прений дано было слово подсудимым. И вот один рявкнул стихами, а другой воспользовался случаем порисоваться пред судьями. Этот последний молодой человек двадцати двух лет, более всех преступный, но и более прочих отличающийся лоском мнимого образования. При других условиях развития, быть может, из него и действительно вышла бы хорошая русская сила. Обман изловил его на самолюбии и пленил его воображение мыслью стать героем революции. Судебные прения не смягчили его. Он только крепче завернулся в свой революционный плащ. Вместо того, чтобы раскрыть свою душу, он пустился в холодную и отвле-

ченную контрверсу о значении пролитой крови в революционном деле. Эти люди убили своего товарища сами, не зная для чего. Кто-то во время прений сказал, что заговорщики, вероятно, думали, что пролитая кровь плотнее соединит их. И вот несчастный молодой человек как опытный деятель по части революции счел долгом объяснить в изысканных фразах ошибочность мысли о цементирующей силе пролитой крови, причем сослался на Брута и Кассия, между которыми в роковую минуту стала кровавая тень Цезаря; но вслед за тем, сам не замечая скачка своей мысли, заявил, что убийство Иванова было совершено в тех видах, чтобы революционное общество стало единоклубнее. Как все это было нужно знать судьям в грозную минуту приговора!

Таков был финал этой тяжелой драмы, которая более недели разыгрывалась в судебной палате.

А знаете, кто бы ни был этот Нечаев и как бы ни был он лжив, все-таки в некотором отношении он искреннее и правдивее понимает свое дело, чем другие, которые тому же делу служат и о нем рассуждают. Другие обращаются к великодушным инстинктам молодости, толкуют о благе народном, о благородстве, о честности. Но гг. Бакунин и Нечаев, эти *enfants terribles** русской революции, говорят и поступают проще. Вы, господа, снимаете шляпу перед этой русской революцией; вы, не приученные жить своим умом и путаясь в рутине чужих понятий, воображаете, что у нас действительно есть какая-то крайняя партия прогресса, с которой следует считаться, и что русский революционер есть либерал и прогрессист, стремящийся ко благу, но слишком разбежавшийся и сгоряча перескочивший через барьер законности. В истории всех народов есть страницы, где повествуется о борьбе подавленного права с торжествующим фактом, и вот вы думаете и учите других так думать, что так называемая русская революционная партия хранит в себе идеалы будущего. Вы находите, что общество должно оставаться, по крайней мере, нейтральным в этой борьбе между существующим порядком и идеей,

* Испорченные дети (*фр.*)

которую вы навязываете молодому, как вы обыкновенно выражаетесь, поколению и всякий протест против этой крайней партии прогресса клеймите позором как подлый донос. Но вот катехизис русского революционера. Он был прочтен на суде. Зачем спорить? Послушаем, как русский революционер сам понимает себя. На высоте своего сознания он объявляет себя человеком без убеждений, без правил, без чести. Он должен быть готов на всякую мерзость, подлог, обман, грабеж, убийство и предательство. Ему разрешается быть предателем даже своих соумышленников и товарищей. Что обыкновенно не досказывается, расплываясь в неопределенных фразах, то приходит здесь к бесстыдно-точному выражению; что другими недоделывается, то деятелями, вроде Нечаева, совершается с виртуозной отчетливостью. «Нечаев подлец, но я за это его уважаю», – говорил один из его одурелых последователей. Не чувствуете ли вы, что под вами исчезает всякая почва? Не очутились ли вы в ужасной теснине между умопомешательством и мошенничеством? Но для чего нужна такого рода организация? Цель, говорите, оправдывает средства. Какая же тут цель? Катехизис объясняет: разрушение. Разрушение чего? Всего. Но для чего нужно это всеобщее разрушение? Для разрушения. Настоящий революционер должен отложить в сторону все глупости, которыми тешатся неопытные новички. И филантропические грезы, и социальные теории, и народное благо, и народное образование, и наука – все это рекомендуется только как средство обмана, как орудие разрушения, которое одно остается само себе целью.

Революционный катехизис не оставляет ничего в туманной неопределенности и правдив и точен до конца. С кем в родстве эта революционная партия, руководимая людьми без правил и чести, не соблюдающими никакого обязательства даже между собой, имеющая целью разрушение и только разрушение. Кто в русском народе ей пособники и союзники? Разбойничий люд, то есть грабители и *жулики*, говоря собственным наречием этих досточтимых деятелей. Вот, говорит катехизис, истинные русские революционеры.

Итак, вот куда по прямой линии вливается этот прогресс, у истока которого стоят наши цивилизованные либералы! Вот фазы этого прогресса: расслабленная жалким полуобразованием и внутренне варварская часть нашего общества с чиновничьим либерализмом; затем отъявленный нигилизм с его практическим и теоретическим развратом, который в сущности то же, что и программа Нечаева; затем формальная революционная организация, создаваемая людьми свободными от предрассудков всякой нравственности и чести; наконец, лихой разбойничий люд, который обходится без всяких теорий. В самом деле, какая же существенная разница между революционером, как Нечаев, и тем, что называется жуликом? Впрочем, разница есть: жулики все-таки в своей среде соблюдают некоторые правила. Жулики лучше и честнее вожаков нашего нигилизма; они, по крайней мере, не выдают себя благовестителями и не употребляют софизмов для разврата незрелых умов!

Слава Богу, в нашем народе не оказывается иных революционных элементов, кроме людей, которые незаметными переходами приближаются либо к дому сумасшедших, либо к притону мошенников!

И вот этим-то людям прямо в руки отдаете вы нашу бедную учащуюся молодежь!

В судебных прениях по Нечаевскому делу беспрестанно шла речь о студенческих волнениях. Наши студенты имеют немало друзей. За их права не только пишут в газетах, но и адвокатствуют в судах, и не только адвокаты адвокатствуют, но и подсудимые. Мы не знаем, насколько это допустимо со стороны подсудимых; с их стороны это, по крайней мере, естественно. Они прямо показали себя нигилистами. Но судебные защитники призваны защищать подсудимых по пунктам обвинения, а не обсуждать общий вопрос о правах студентов. Нехорошо рассчитывать на незрелость учащегося юношества и одурять его газетными статьями и прокламациями; а лучше ли употреблять на то же самое святую свободу судебных прений?

Вопреки очевидности фактов, вполне исследованных и доказанных, вопреки обстоятельствам дела, которое рассма-

тривалось на суде и соприкасалось со студенческими волнениями, некоторые из ораторов высказали такое воззрение на этот последний предмет: студенты требуют де справедливого и законного, а начальство отказывает им в этих требованиях; нарушенное право причиняет волнения, отсюда беспорядки; правительство принимает репрессивные меры, отсюда возникает недовольство в обществе и в студентах, а затем, естественно, рождаются революционные замыслы и заговоры. Нравоучение состоит в том, чтоб удовлетворить законные и справедливые требования, якобы исходящие от студентов, даровать им права, которых они домогаются, и тогда все уладится к общему удовольствию. Не знаем, подействует ли это нравоучение, но боимся, чтобы господа судебные защитники вследствие своих выходов не приобрели себе новых клиентов из нашей бедной учащейся молодежи, столь жестоко со всех сторон эксплуатируемой...

Что такое студенты и какие могут быть у них права? Они принадлежат к гражданскому обществу и пользуются всеми его правами при известных ограничениях относительно несовершеннолетних. Затем они подчиняются порядку, установленному в месте их учения. Вот и все. Никаких других прав студенты не имеют и иметь не могут. Академическая жизнь есть волна, которая притекает и утекает. Студенты временные гости заведения, где они учатся. Кто сегодня студент, тот завтра уже не студент. Каким же образом могут студенты составлять независимое организованное сословие, пользоваться самоуправлением и хозяйничать в доме, где они гости?

Что требования, о коих идет речь, возникают естественным образом из самой среды студентов, а не навязываются им искусственно, в этом ручается живое участие, принятое в студенческих волнениях гг. Ткачевым, Нечаевым, Орловым и др., и мы уверены, что все эти господа не имели ничего иного в виду, как благо студентов. Но мы не понимаем, по какому праву некоторые из ораторов суда вступаются за права студентов, которые им этого не поручали? Известно, что не все наличное число студентов бывало замешано в беспорядках, не

все студенты предъявляли требования, которые гг. Нечаев и К^о находят справедливыми и законными. Напротив, известно, что большинство студентов обыкновенно оставалось не только в стороне, но оказывало сопротивление агитаторам, которые действовали плотной кучкой и употребляли насилие против своих товарищей. Отнюдь не доказано, чтоб эти агитаторы между студентами были лучшими и вернейшими представителями студенческого звания. Напротив, есть все основания полагать, что они были плохими студентами в том, что составляет истинное достоинство молодых людей, посвятивших себя делу науки. Нет сомнения, что наиболее зрелые умом и нравственно развитые между ними не могут сочувствовать проникающим в их среду движениям, которые вносят в нее элемент чуждый и вредный даже в том случае, если б он не был предосудителен в других отношениях.

Итак, если студенты вообще не поручали никому отстаивать свои права, то, стало быть, никто и не имеет права говорить от лица студентов и приписывать им какие-либо требования. Дело, стало быть, идет не о студентах, а разве о некоторой части их. Пусть же ораторы говорят прямо от имени этой партии и не употребляют во зло звания студентов. Если ораторам угодно, то они могут говорить от имени партии, к которой принадлежат г. Ткачев и г-жа Дементьева и в программе которой вместе с фиктивными браками, женскими правами и многим другим значатся и права студентов. Благодаря воспитанию, которое получало до сих пор наше юношество до поступления в высшие учебные заведения, между ними вербует себе adeptов эта почтенная партия, имеющая свои органы, своих писателей и своих ораторов. Вместо того, чтобы говорить о требованиях студентов, не правильнее ли было бы говорить о требованиях, предъявляемых нигилизмом на нашу учащуюся молодежь?

Один из ораторов в С.-Петербургской судебной палате, энергически отстаивая мнимые права студентов, счел нужным сослаться на Англию. Ссылка во всех отношениях неудачная! Если б и действительно в Англии учащаяся в университетах молодежь имела то, чего требуют для наших студентов, то сле-

довало бы вспомнить, что политический и общественный быт этой страны имеет очень мало сходного с нашим и что бессмысленно начинать расширение политических прав общества с учащейся молодежи. Но дело в том, что в университетах Оксфордском и Кембриджском молодые люди находятся под весьма строгой опекой, о какой наши студенты и понятия не имеют, и живут в коллегиях. Там бывали случаи, что директор коллегии отечески наказывал студента. Если нашим либералам нравится быт английских студентов, то пусть они хлопчуют о перенесении его к нам со всеми его существенными особенностями, а главное, пусть они примут к сведению, что в Англии никакие партии не обращаются к молодым людям со своими зазывами, что там все партии чтут тишину академической жизни, что там не издают журналов, рассчитанных на одурение незрелого юношества, а судебные ораторы не берут на себя обязанности предьявлять пред судом какие-то требования и защищать какие-то права студентов.

НИГИЛИЗМ ПО БРОШЮРЕ ПРОФ. ЦИТОВИЧА

В нынешнем году вышла книжка: *Коран нигилизма. Что делали в романе «Что делать?» Хрестоматия «нового слова» проф. Цитовича.* Одесса. 1879. Как мусульмане чтут Коран, так чтится поклонниками «нового слова» роман Чернышевского *Что делать?* Предприняв издание «хрестоматии нового слова», профессор Цитович естественно прежде всего остановился на этом пресловутом произведении. «Это, – говорит он, – не только энциклопедия, справочная книга, но и кодекс для практического применения *нового слова*. В нем *новые начала* воплощены в лицах, осуществлены в поступках с точным указанием средств проведения *начал* в действительность». Почтенный издатель хрестоматии, стерев романические прикрасы и рассеяв обман фразы, выставил лица и деяния, описываемые в романе Чернышевского в их натуральной прелести и действительных побуждениях. Вышла циничная, но верная картина нравов и обычаев, понятий и действий *новых людей*. Надо отдать спра-

ведливость и автору романа *Что делать?* Он изображал то, что видел в действительности в нигилистическом кружке, который чтит в нем своего патриарха, а теперь чтит в нем своего пророка. И действительно, автор *Что делать?* в своем роде пророк. Многие, что представлялось ему как греза, совершилось воочию: новые люди разошлись или сами собой, или разосланы на казенный счет по градам и весям, тшятся на практике осуществить уроки учителя, далеко превзойдя его надежды, еще запечатленные некоторой сентиментальностью.

Брошюра г. Цитовича представляет собой характеристику героев романа и последовательный пересказ его содержания с разъяснением истинной основы деяний, подлежащих, как показывает автор брошюры, применению целого ряда параграфов уголовного кодекса.

В нашей печати ныне часто звучит нота, что русский нигилизм и социализм есть достояние каких-то *недоучек* из гимназистов, в расположении которых виновата де строгость действующей в гимназиях системы, оставляющей за флагом массу недоучившихся, не находящих будто бы другого исхода, как поступление в социалистические легионы. Пущенная мысль повторяется без критики, лица, власть имеющие, не прочь устроить целые высшие учебные заведения для этих несчастных недоучек (наподобие Петровской Земледельческой Академии), дабы конкурировать со школами нигилизма. Вся беда, говорят нам, в недоучках гимназистах. Недоучки высших учебных заведений почему-то менее внушают заботы. К «университетской науке» петербургская интеллигенция гораздо снисходительнее. Тут принято с особым ударением настаивать, что печальные явления, заботящие правительство, ни в какой связи с состоянием высших учебных заведений и действующими в них порядками не находятся; да и явления эти, прибавляют для большей убедительности иные, чрез меру усердные, — совершенно исключительные случайные уродства. Вот недоучки гимназии другое дело; тут не случайность; тут надо устроить так, чтобы дети как можно менее серьезно учились, лишь бы только университеты были отво-

рены для них настужь. Но вот пред нами роман Чернышевского. Он изображает фундаментальный слой, первую формацию нигилизма. Гимназисты ли это? Тут на первом плане ученый молодой человек, Кирсанов, питомец Петербургской Медико-Хирургической Академии, доктор медицины, «которого всякая болезнь боится», физиолог, одобренный Клод Бернардом (непременно, конечно, Клод Бернардом), наконец, профессор, по государственной табели о рангах состоящий в пятом классе и в оном немедленно утверждаемый. Какой же это гимназист? Это полнейший ученый, хотя в сущности, наверное, недоучка! Иерей Мерцалов также, конечно, не из этого сорта: он преподаватель Закона Божия в одном из петербургских институтов и, наверное, с успехом окончил курс в преобразованной графом Киселевым древней семинарии. Супруга генерала, тогда еще с некоторой осторожностью примыкавшая к нигилистическому кругу, тоже, конечно, не из гимназистов. Не гимназист и Вера Павловна, познавшая в браке и без оног двух мужей и бывшая, согласно роману, первым русским женщиной-медиком. Можно, наверное, назвать недоучкой, но отнюдь не гимназистом и Лопухова, так усердно работавшего с Кирсановым над нервной системой, которого голова была «набита книгами да анатомическими препаратами, составляющими, как выражается автор *Что делать?*, самую милую приятность, самую сладостнейшую пищу души для медицинского студента», – Лопухова, который только по собственному нежеланию не сделался профессором, в каковые его прочили в Академии. Не гимназист недоучка и Рахметов, восточного происхождения, человек дела, съедавший по четыре фунта ветчины зараз, – от которого и пошло, полагать надо, ныне столь употребительное в нигилистическом кругу слово *жрать*, – малый вполне ответственный за свои деяния и которого трудно было «совратить» какими-нибудь учениями, способными прельщать неопытные умы. Может быть, после все переменялось? Едва ли. И теперь, как прежде, беда именно в том, что Кирсановы могут быть профессорами, Мерцаловы иереями, их приятели мировыми судьями, членами судов, полковниками генерального штаба,

тайными советниками (благо их тысяча один, как ночей Шехерезады). Не гимназисты-недоучки и доктор Веймар, и офицер Дубровин, и директор казенного патронного завода Зиновьев, и мировой судья Самарского округа, и Каракозов, и Соловьев, тридцатитрехлетний учитель, благополучно в свое время кончивший курс учения в гимназии старого порядка и погулявший десять месяцев в университете. А великие вожаки революции, живущие за границей, начиная с полковника Лаврова, бывшего профессором Военной Академии в то самое время, когда автор романа *Что делать?* имел столько друзей в этой самой Академии, – разве он и все они недоучки из гимназистов?

Безумное потворство, практика безвластия под фирмой либеральничания, расслабление мысли, страшнейшая всего твердого, государственный практический нигилизм, – который постоит нигилизма противогосударственного, – порождающий ожесточенную войну ведомства против ведомства, лоском прикрытое ничтожество и невежество: вот великие источники, откуда орошаются всходы нигилизма.

Нет, дай Бог, чтобы требования нашей школы не понижались, а повышались, так чтобы наши университеты не наполнились незрелыми и ни к чему негодными молодыми людьми и чтобы недоучкам и неучам не были открыты государственные должности. Не все учащиеся в среде учебных заведений должны непременно поступать в университеты, точно так же как не все учащиеся в начальных школах могут поступать в гимназии.

Но возвратимся к роману Чернышевского. Теперь, когда прошло более шестнадцати лет с его появления, он становится небезынтересным историческим материалом. Это картина первых времен нигилизма, изображение его в некотором роде золотого века, периода сравнительной невинности. Тот ряд правонарушений, подходящих под уголовный кодекс, какой указан г. Цитовичем, еще значительно маскирован, грязь и цинизм еще прикрыты вуалью шаловливости. Даже Верочка, отправляясь к любовнику по отъезде мужа в Рязань, несколько конфузится пред горничной, а пред «честным» объяв-

лением мужу, что намерена завести любовника, испытывает некоторую борьбу. Еще невольно отдается дань старым понятиям. Кодекс старой нравственности только замаран, а не совсем разорван; проглядывает желание *оправдать* поступки героев во имя некоторого высшего кодекса: поступки эти, следовательно, не представляются еще безусловно правыми. Автор до приторности сентиментальничает, напоминал Дюкрюмениля и г-жу Жанлис. Он искренно убежден, что его герои наипрекраснейшие люди, и готов презирать читателя, который бы в этом усомнился. Он закрывает глава на выводы и последствия учения. Его цель – изобразить Магометов рай нигилизма, самому насладиться картиной и прельстить способных за ним уверовать. Его идеал блаженного состояния человечества с виду самый наивно-невинный. Это обращение нашей небольшой планеты в театральные подмостки, на которых пляшут в венках пейзажи и пейзажки из балета. Всем весело! Правда, для того чтобы было всем весело, требуется все поворотить вверх дном, не останавливаясь перед средствами; но утопист в это не входит, «как не желает смущать себя мыслью, что, может быть, и не всем будет весело при новом устройстве. Картина рисуется в четвертом сне Веры Павловны. Устроятся фаланстеры, на 2000 человек каждая, среди садов с лимонными, персиковыми, апельсиновыми деревьями и прирученными дикими зверями. Поработают в удовольствие и пойдут в обширное заведение, где шумно веселятся красавцы и красавицы в греческих костюмах. «Ты видеда, – говорит фантастическая царица, показывающая фаланстеру Вере Павловне, – в зале, как горят щеки, как блистают глаза; ты видеда – они уходили, они приходили; они уходили: это я увлекала их. Здесь комната каждого и в каждой мой приют; в них мои тайны ненарушимы, занавеси дверей, роскошные ковры, поглощающие звук, там тишина, там тайна. Они возвращались: это я их возвращала из царства моих тайн в легкое веселье». Итак, замечает г. Цитович, «отдельные номера для каждого и каждой с удобствами и даром: такова цель жизни... Берлинский Орфеум, только с греческими костюмами».

Философия, очевидно, не новая и не сложная, но приведенная в весьма своеобразную форму. Животное с приправой наслаждения есть единственный истинный источник и должно быть единственной целью человеческих деяний; в нем основа всего нравственного бытия. Требуется, чтобы все, хотя бы насильно, наслаждались. Прочь всякая «метафизика» совести, долга, блага иной жизни и прочих выдумок! Человек должен приблизиться к натуре. Один философ хитро говорил: «Человек есть животное, которое потому не есть животное, что оно знает, что оно животное». Философ понимал под этим нечто весьма возвышенное. По философии скотоподобия требуется понимать это так: человек должен сознать себя животным и поступать, как сугубо животное. Но сознавай, не сознавай, желаемое блаженство недостижимо при нынешнем порядке вещей, со всем его вековым историческим хламом. Требуется его разрушить и направить на это доброе дело разорения все разнузданные инстинкты зверя...

Новая философия, повторяем, в произведении г. Чернышевского является еще в опозитизированной форме, приурочена почти исключительно к привлекательному вопросу о сближении полов. Тем удобнее пресловутое произведение могло служить к выработке типа новых людей в его разновидностях. Это было бы много труднее, если бы новая философия прямо явилась в своей натуральной прелести, свободной, как ныне, от всяких прикрас. «Я хотел, – говорил в свое время романист, – изобразить обыкновенных порядочных людей нового поколения, людей, которых я встречаю целые сотни. Я взял троих таких людей: Веру Павловну, Лопухова, Кирсанова... Недавно родился этот тип. Он рожден временем, он знамение времени, и сказать ли? Его недавняя жизнь обречена быть и недолгой жизнью. Шесть лет тому назад (то есть до 1857 года) этих людей не видели... Еще немного лет и станут их проклинать, и они будут согнаны со сцены, ошиканые, срамимые».

Уверение автора, что он тогда уже встречал «сотни» Маниловых нигилизма дышит правдой. Но пророчество о согнанных со сцены не оправдалось. Этот тип разросся страшно, и

Маниловы нигилизма составляют теперь главную часть нашей интеллигенции. Куда ни посмотришь, везде Лопуховы, Кирсановы и Веры Павловны. Тип расплодился, но с тем вместе из его среды выработалась дальнейшая метаморфоза. Коммуны незлобивых юношей и дев в венках и афинских костюмах, весело приходящих и уходящих, превратились в шайки чисто разбойничьего характера. Среди несметного множества Маниловых производят беспрепятственно свои операции Собакевичи нигилизма...

Общественная апатия и самоуничужение

СТРАСТЬ К ПОРУГАНИЮ И САМОУНИЧЖЕНИЮ

С некоторых пор развилась у нас страсть, беспримерная и в наших собственных летописях, и в летописях целого мира, — страсть бранить, порицать и отрицать в себе все, предавать в себе все поруганию и осмеянию, все в себе терзать и уничтожать. Не то чтобы все эти операции производились каждым действительно над самим собой, — все эти операции производятся каждым над другими и главным образом над целым обществом, над целым народом. В нашей литературе страсть эта доходила до последних пределов безобразия: и повести, и разные философские трактаты, и всякого рода критические статьи имели своей главной целью изображать гнусные свойства русского человека на всех общественных чредах и русского быта во всех его видах. Наши beaux-esprits, наши умники с каким-то сладострастием предавались этому занятию. Не одни пустые люди, но и люди более или менее серьезные сознательно или бессознательно подчиняются этому духу народного самоотрицания и самоуничужения. Ничего не осталось нетронутым: и старина наша отвратительна, и новизна наша возмутительна, и простой народ наш безнадежен, и наши образованные классы исполнены всякой мерзости; и помещик, и крестьянин, и чи-

новник, и священник, и купец, все является образчиком человеческой гнусности, все подлежит беспощадному бичеванию. Все если не на деле, то мысленно подвергается ломке и уничтожению. Как в отдельном человеке, так и в общественной среде способность сознавать свои недостатки и слабости и мужественно сознаваться в них есть свидетельство силы, залог всего лучшего. Мы должны были бы радоваться этой способности: здорова и крепка та общественная среда, которая может вынести всякий анализ, как бы ни был он строг, лишь бы только был одушевлен чувством правды. К сожалению, страсть, о которой мы сейчас говорили и которая так повсеместно овладела у нас умами, хотя и свидетельствует об этой способности критического самонаблюдения, но эта страсть в своем развитии есть не что иное, как болезнь, – явление, потерявшее всякий смысл и достоинство. Наши порицатели бессмысленно взыскивают со своего народа недостатки и слабости человеческой природы вообще и вменяют ему специально даже то, что равномерно, только под разными формами, свойственно всем народам, цивилизованным и не цивилизованным, всем общественным средам, всем людям. У нас порицание, утратив всякую правду и жизненную истину, перестало быть делом серьезным, сознающим свои границы и опирающимся на что-либо положительное; оно превратилось в какое-то жалкое искусство для искусства, стало фразой и рутинной.

Не следует, однако, думать, чтоб эта болезненная и нелепая страсть, которая, потеряв всякий смысл, развилась до последней крайности в нашей так называемой обличительной литературе, родилась в литературной сфере из случайных направлений, возникших в ней вопреки настроению мыслей и суждению в окружающей среде. В литературе эта страсть выразилась на все лады, и литература довела ее до самых нелепых проявлений; но семена этого болезненного развития не могли же сами собой зародиться в литературе. Самопроизвольных зарождений нет ни в природе, ни в литературе. Семена эти проникли в литературу из окружающей среды и именно из нашей административной атмосферы. Правда, литература наша,

главным образом сосредоточивающаяся в Петербурге, не есть выражение народной жизни, ее действительных настроений и стремлений. Это правда, – но правда также и то, что наша литература, главным образом сосредоточивающаяся в Петербурге, есть все-таки отражение окружающей среды, и если нельзя признать ее за орган русской жизни, то она есть орган Петербурга. Известно, что Петербург есть город по преимуществу административный, и семена, которые развиваются в нашей литературе, заносятся в нее по преимуществу из канцелярии. Дух отрицания и ломки, развившийся до безобразных размеров и проявлений в нашей литературе, взялся первоначально из того склада мысли, из тех умственных обычаев, из тех направлений, которые могли образоваться только в бюрократической среде. Бюрократия есть везде, но у нас бюрократия есть все; она является почти единственной, почти исключительно действующей силой, и направления, развивающиеся под влиянием этой силы и ею поддержанные, легко распространяются повсюду и овладевают всеми общественными понятиями. Дух, вышедший из этих сфер, дух неуважения и недоверия к жизни, весьма нередко оказывает свое действие там, где, по видимому, должен был бы господствовать совсем другой дух; он прокрадывается даже туда, где раздается протест против бюрократии, и часто слышится даже в самом этом протесте.

У нас повсюду распространено недоверие к жизни, к нашим земским силам, к нашим народным свойствам. Недоверие это как-то странно уживается у многих с сильно развитым народным самолюбием. Вот возникли у нас польские затруднения, возник вопрос, как их уладить, и вот тотчас же сказывается недоверие к своим собственным силам для нравственной борьбы с враждебными элементами. Сейчас же покажется, что эти враждебные элементы разольются непобедимой отравой во всем нашем общественном организме и погубят его, и вот является мысль не о развитии своих внутренних сил, а о том, чтобы как-нибудь отделаться от противников. Всякая борьба нас пугает, всякое испытание нас страшит. Мы с унынием озираемся и отказываемся верить в имеющиеся у нас нравственные силы

отпора и противодействия. Нам так и кажется, что, например, горсть поляков, пущенная в нашу среду, так возьмет да и ополчит все наше общество или что появление нескольких католических ксендзов совратит все наше образованное общество и поколеблет православие в нашем народе. В нас ни с того ни с сего является убеждение в чрезвычайной уступчивости, мягкости, слабодушии или благодушии нашего народа; является мысль, что с русским человеком можно сделать что угодно, что он ни для какой серьезной борьбы не годится. Предаваясь таким мыслям, мы забываем, что наш народ из всех известных народов преимущественно отличается силой упора; мы забываем всю нашу историю, мы забываем, каких страшных усилий и какой крови стоили у нас всякие вынужденные повороты в народной жизни. Ни один народ так крепко не отстаивал своей старины, ни один народ не оказывал такого упорства в хранении своего обычая; ни один народ не содержит в себе такой силы охранительного начала, как русский. Менее всего можно упрекнуть русского человека в излишней уступчивости или в излишней податливости. Об этом свидетельствует история; об этом свидетельствуют миллионы русского люда, подвергавшегося в продолжение веков всевозможным гонениям и козням...

Всего чаще приходится нам слышать суждения о незрелости русского народа. Возникает ли речь о каком-либо важном преобразовании в нашем политическом быту, сейчас же является на сцену эта вечная незрелость русского народа. Заговорим ли мы, например, о присяжных, сейчас же как у поклонников, так и у порицателей русской народности является сомнение в возможности у нас присяжных по причине нашей незрелости; заговорим ли о возможности какого-либо правильного органа для заявления желаний и потребностей страны, – опять качают головой умные люди и ссылаются на незрелость русского народа. Везде и во всем эта ужасная незрелость! Но что такое зрелость и что такое незрелость? Странное дело! Очень часто суждения о незрелости русского народа для политической жизни приходится слышать от людей самого консервативного свойства. Спросите же этих консервативных

людей, какой зрелости они хотят? Что разумеют они под зрелостью? В чем видят ее признаки? В том ли, чтобы в народе образовалось как можно более бродячих элементов? В том ли, чтобы расшаталась его организация? В том ли, чтобы в нем зародились смуты и развились общественные недуги? В том ли, чтобы народ утратил крепость своих верований, твердость основных начал своего государственного быта? Такой ли поры дожидаться? Это ли называется зрелостью? Неужели этого надобно дожидаться и этого желать как начала новой эпохи, а не предотвращать, напротив, возможность таких печальных явлений развитием народных сил в эпоху их истинной зрелости, ибо эпоха истинной зрелости народных сил есть эпоха их крепости. Но, говорят, народ наш недостаточно образован; к тому же в нем множество пороков и недостатков. Не всякое образование служит признаком политической зрелости. Мы можем указать на народы, отличающиеся большим образованием, но лишенные политического духа, лишенные той организации, которой обуславливается правильное развитие политической жизни, — народы надломленные и ничтожные в политическом отношении при всем блеске их литературного или ученого образования. Что же касается до разного рода недостатков и пороков нашего народа или нашего общества, то нам следует прежде всего спросить себя, откуда они взялись, что их поддерживает и развивает? Не отсутствие ли общественной самодеятельности и политической жизни? Не в том ли главная беда, что мы вопреки действительности наладили считать себя незрелыми, между тем как мы в некоторых отношениях близки к незрелости? Не в том ли наша главная беда, что, обладая здоровыми и дюжими ногами, мы боимся стать на них и сидим, поджавши их под себя, воображая, что они у нас стеклянные?

Но народу противопоставляют у нас высшие классы общества и указывают на иноземные обычаи, которые там господствуют, на французскую речь, которая еще до сих пор заменяет там русскую, приучая умы к чуждым сочетаниям понятий, к чуждому складу мысли. Противоположность в быте между низшими и высшими классами действительно существует у

нас, – но где же нет этой противоположности? У нас, правда, она резче бросается в глаза, потому что наше высшее образование до сих пор еще находится под иноземными влияниями и еще мало оказывает в себе внутренних источников развития, – именно потому самому, что мы наладили считать и держать себя малыми детьми. Наше европейское образование происхождения недавнего, и в нем все еще отзывается действие того насильственного переворота, от которого оно пошло. Но мы не должны преувеличивать значение той розни, которую мы замечаем в составе нашего общества. Несмотря на иноземный склад нашего высшего образования, оно не разрознило так глубоко высшие классы нашего общества со всем народом, как многие думают. Рознь оказывается более на поверхности, нежели в глубине. Одна и та же сила проходит сверху до низу и снизу вверх, с каждым днем преодолевая и сглаживая возникшую рознь. Говоря о наших высших классах, мы не должны видеть в них нечто совершенно однородное, как будто все, что только к ним принадлежит, есть одно и то же, *aliquid continuum*. Люди, принадлежащие к этим классам, находятся в самых разнообразных положениях, представляют собой самые разнородные элементы. Одни ничего не делают, другие служат, третьи живут среди народа и при весьма естественном различии в условиях и образе жизни составляют с ним одно целое. Одни фантазируют, сочиняют и вообще живут в понятиях, чуждых окружающей действительности, другие действуют на разных служебных поприщах, образуя свой особый мир. Но многое множество живут среди этой самой страны, одной жизнью с ней, принадлежат ей всеми своими интересами и могут служить надежными, верными и просвещенными органами ее желаний и потребностей. Этих людей, слава Богу, с каждым годом прибывает в нашей общественной среде. Число их будет возрастать еще в большей пропорции; все, что теперь ничего не делает или изнуряет себя в бесплодных фантазиях и в пустых отвлеченностях, будет присоединяться к ним по мере развития в нашем обществе практических интересов, по мере развитая политической жизни в нашем Отечестве.

Не много нужно для того, чтобы наши народные силы могли выйти на свет, обнаружить свое плодотворное действие на собственную нашу жизнь и могущественно отозваться в Европе. Мы привыкли ставить мысль свою на дыбы, привыкли напрягаться и воображать себе Бог знает какие задачи, когда речь пойдет, например, о развитии наших нравственных сил. Напротив, чем проще будем мы смотреть на дело, чем легче мы за него примемся, тем лучше оно пойдет. Нужно только ввести в жизнь начало, а последствия его не замедлят оказаться повсюду в нашей жизни.

ПРИЧИНА СКУДОСТИ И БЕССИЛИЯ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ

Европа оставила нас в покое; война нам не угрожает; иностранные кабинеты нас не муштруют; мы теперь одни с нашими внутренними затруднениями. Что же? Лучше ли нам от этого? Благонадежно ли наше положение? Сильнее ли мы? Успешнее ли можем мы теперь справляться с нашими затруднениями? Должно сознаться, что зло всегда становится тем глубже и опаснее, чем оно менее на виду. Внешняя опасность возбуждала наши силы, она делала нас чуткими, она делала нас зоркими, она примиряла наши разногласия, она сливала нас в одно могущественное чувство, она давала нам высокие минуты энергического народного чувства. Теперь внешняя опасность удалась, а вслед за ней не угаснет ли и вызванное ею чувство, не упадут ли и возбужденные ею силы? Когда нас презирали, когда нас считали народом умершим, – на нас действовали угрозами; но когда убеждались, что наш народ в крайних случаях способен к отпору, что внешняя опасность будит его и поднимает на ноги, тогда призрак внешней опасности мгновенно исчез; нас оставили в покое с тем, чтобы мы еще глубже, чем прежде, погрузились в обычную апатию.

В чем заключается наше зло? Наше зло заключается в нашей апатии. У нас нет личной предприимчивости, нет частной инициативы, нет самостоятельно действующих общественных

сил; все делается у нас общей безразличной правительственной силой: вот что представляется каждому при первом взгляде на нашу жизнь, вот что ставят нам в упрек и свои, и чужие. Если эти упреки справедливы, — то чего могут желать наши недоброжелатели и чего можем желать мы сами? Нашим недоброжелателям естественно желать, чтобы такое состояние продлилось и упрочилось, а нам самим естественно желать, чтобы оно прекратилось. Но наши недоброжелатели очень хорошо знают, чего им требуется, а мы, к сожалению, не всегда идем к своей цели и не всегда знаем, чего хотим. У нас образовалась привычка унижать свой народ, и мы делаем это с какой-то странной похвальбой, мы делаем это с каким-то болезненным наслаждением. Мы унижаем свой народ не только перед другими великими историческими народами, но и пред клочками разных чуждых народностей, вошедших в состав нашего государства и занимающих его окраины. Все и все лучше и способнее нашего народа. Но странное дело! Мы не отдаем себе отчета в том, что наше зло именно и происходит от того, что мы сами добровольно унижаем себя и сами добровольно отказываемся от тех выгод, которые прельщают нас у других. Мы не видим у себя личной предприимчивости и частной инициативы, мы не видим у себя живого и плодотворного развития общественных сил и нам это, конечно, не нравится, и мы восклицаем: «Как все у нас пустынно и мертво! Как мало в нашем народе инстинктов свободы и самостоятельной деятельности! Как мало в нем условий живого и плодотворного движения! Как мы скудны! Как мы непроизводительны! Как мало у нас живых сил, энергичных действий, оригинальных характеров! Как поверхностно и ничтожно наше образование! Как шатки наши мнения!» Это обычная тема жалоб и суждений, которые раздаются повсюду. Но ни теоретики, ни практики наши никак не догадываются, что эти замечаемые ими явления, которые, по-видимому, так огорчают их, не происходят и не могут происходить из жизни; они не догадываются, что эти печальные явления суть последствия их же собственных понятий о своем народе; они не догадываются, что эти явления порождены господствующими у нас

теориями и ведущейся согласно с этими теориями практикой. Люди, которые сетуют на скудость и бессилие нашей народной жизни, сами в то же время будут протестовать против того, что могло бы дать ей ход, возбудить и поднять ее. Напрасно ссылаются они на естественные свойства нашего народа: всякий народ есть народ, как и всякий человек есть человек. Всякий народ, как и всякий человек, обладает своей долей сил и может жить и действовать в их мире; но чтоб обнаруживать признаки жизни, для этого надо двигаться и действовать, для этого живой организм должен свободно владеть своими членами. Скажите это тем людям, которых у нас так много и которые преклоняются перед всяким проявлением жизни у других народов, – скажите им, что и у нас может быть то же, что у других, если мы сколько-нибудь освободим нашу жизнь от тяготеющих над ней, чуждых ей и сковывающих ее теорий, если мы внесем в нее единственно плодотворное начало всякой деятельности, начало свободного соревнования сил, если мы каждой деятельности предоставим огражденное законом и обеспеченное развитие, – они никак не поймут вас и не захотят вас слушать. Они будут отвечать вам по Луи-Блану или по Прудону, или будут ссылаться на грубость и невежество народа, как будто в других странах массы народа отличаются особенным образованием, как будто в других странах, издавна пользующихся более или менее самостоятельным развитием общественной жизни, высшие массы общества были всегда образованнее высших классов нынешнего русского общества. Нет, дело не в утонченности образования, английские *сквайры* прошлого столетия отнюдь не были образованнее нынешних русских помещиков; вся сила заключается в условиях общественной организации и личной самостоятельности людей. Только предоставленная себе жизнь вырабатывает характеры; только она создает и гражданственность, и истинное образование, и богатство.

К обычным бюрократическим понятиям, засевающим у нас с давнего времени, присоединились на нашу беду в последнее время разные социалистические, коммунистические и демократические теории, которые так же, как и первые, основаны

на полном неуважении к существующему, на недоверии к свободе, к истории, к естественным силам человеческой жизни. Мудрено ли, что нам ничто не спорится? Мудрено ли, что мы не предвидим исхода из нашей апатии и даем всякому злу укрепляться и развиваться на нашей почве? Мы на все смотрим подозрительно, мы принимаем предосторожности против создаваемых нашим воображением призраков и действительно губим себя, упорно отказываясь, как мнимые больные, от движения, пищи и свежего воздуха. Нашим консерваторам чудятся революционные элементы в спокойных и крепких недрах нашей земли, нашим либералам мерещится возобновление крепостного права, – и наши консерваторы, сами того не сознавая, способствуют фальшивому брожению, происходящему вследствие безмолвия и бездействия общественных интересов, а наши прогрессисты из нелепых опасений вторичного пришествия крепостного права и под влиянием смутных идей демократического социализма рады навеки закрепить крестьян в общинном землевладении, в круговой поруке, под деспотизмом мирской сходки и так называемого крестьянского самоуправления.

Однако жизнь мало-помалу берет свое; по крайней мере мы несомненно заявляем свои стремления и потребности вопреки господствующим системам и теориям. Ничто так не радует нас, как появляющиеся признаки дружелюбных отношений и солидарности интересов между крестьянами и дворянами-землевладельцами, несмотря на сословную организацию, которая еще разделяет их, несмотря на запутанные счета, которые они еще ведут между собой. Свобода и благосостояние крестьян может упрочиться лишь тогда, когда во главе своей будут видеть они людей независимых, достаточно сильных и достаточно просвещенных, тесно связанных с ними и составляющих с ними одно целое; точно так же благосостояние и значение землевладельческих классов могут основываться лишь на их непосредственной связи, на их единстве с народными массами. Только при таком условии общественная организация наша может устроиться благонадежно и прочно;

только при таком условии могут исправиться наши порядки, об исправлении которых мы заботимся; только при подобных условиях можем мы наконец отделаться от систем, сковывающих нашу жизнь и лишаящих ее плодотворного развития.

С особенным удовольствием помещаем мы ниже два адреса от крестьян, как временно-обязанных, так и государственных, на имя крестецкого (Новгородской губернии) уездного предводителя дворянства А.А. Татищева. Вот доброе предвестие того нового положения, которое должны принять наши землевладельцы как естественные защитники свободного сельского люда, как представители его интересов, как надежные охранители земского мира. А есть либералы, которые все еще думают, что крестьянам лучше оставаться под палкой выборного старшины или старосты, под расправой мирской сходки или под филантропической опекой наезжего официала! Мы мало ценим, или, лучше сказать, мы мало понимаем те элементы политического благоустройства, которые выработала наша история. Мы смотрим по сторонам и не подозреваем, что у нас есть наготове условия гражданственности, благосостояния и общественной свободы, какие найдутся не у всякого народа. Пусть сравнят, например, эти свободные отношения, в которые русский крестьянин по собственному чувству и разуму становится к предводителю дворянства, с тем чувством, которое испытывает теперь польский крестьянин, освобождаясь от *гминого войта*.

Но выше мы говорили об опасностях, которые нам угрожали и быть может еще угрожают, о внутренних затруднениях, с которыми мы продолжаем еще бороться. Против вооруженной вражды, нет сомнения, должно действовать вооруженной силой; против мятежа и революционного терроризма надобно действовать непреклонным и грозным развитием подавляющей власти. Но против зла тайного отрицательные средства недостаточны и часто бывают невозможны; против зла тайного, гнездящегося в государстве, есть одно действительное средство – целебная сила жизни, *vis medicatrix naturae*. Мы не будем в состоянии положить конец враждебным притязаниям,

интригам и козням, направленным против нашей государственной целостности; мы не будем в состоянии изгнать дух сепаратизма, мятежа и революции из пределов нашего Отечества, пока не возвысится уровень нашей национальной жизни. Мало пользы преследовать или истреблять враждебные нам элементы; при тех же условиях они нарождаются вновь, если не в том, так в другом месте, не в том, так в другом виде. Чтоб истребить зло, необходимо устранить порождающие его условия. При свободном заявлении и развитии русских общественных интересов, при полноправности русского человека, ничьи враждебные притязания и замыслы не будут возможны, и враждебные элементы сами собой изменят свой характер. Опасность и зло не во враждебных нам элементах, а в тех условиях, которые поражают бесплодием нашу народную жизнь...

Дилетантизм и пустословие

ЭЛЕГИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Обо многом были мы намерены поговорить в этой книжке; но человек предполагает, а Бог располагает. Обстоятельства заставляют нас отложить наблюдения наши над русской литературой до другой, более благоприятной минуты.

Бедное русское слово, бедное русское образование! Какая-то участь ожидает вас? Позади немного, впереди смутно и темно. Во всем чувствуется пустота и бессилие, отсутствие жизненной почвы, недостаток мысли, вытекающей из дела и идущей к делу. Никогда еще в таком обилии не распложалось у нас слов и фраз, как в теперешнее время, когда все толкуют о самостоятельной мысли, никогда еще не доходила до такого всевластного господства самая пошлая рутинная, самое бессмысленное и раболопное повторение мнений из чужой жизни, остывших и забытых, или случайных и отрывочных, лишенных связи и смысла, как именно теперь, когда все, по-

видимому, из того лишь и бьются, чтобы жить своим умом и не поклоняться авторитетам. Если бы не разные обстоятельства, как легко было бы проследить генеалогию каждой фразы, выдаваемой за мысль, как легко было бы изобличить ее ничтожество и пошлость! Будущий историк нашего образования, конечно, сделает это, и тогда сами собой обнаружатся причины этих эфемерных явлений, которые представляет наша жизнь. Явления эти сменяются с поразительной быстротой; мы переживаем фазу за фазой; по-видимому, неистощимые творческие начала таятся в основе нашей жизни и без отдыха работают, ежеминутно покидая старое, ежеминутно слагая новое.

В действительности же, как известно, ничего нет, и весь этот прогресс, все эти движения, все эти смены доктрин, все эти фазы развития, не более как мыльные пузыри. Нет ничего забавнее той серьезной мины или того задора, с которыми наши мыслители толкуют о жизни и прогрессе. Они думают, что занимаются очень горячими вопросами, и вздуваются над теми, кто посвящает свои труды науке по предметам отвлеченным или далеким. Но в науке нет ничего такого, что не шло бы к делу; для серьезного знания нет вопроса, нет факта, которые не заслуживали бы изучения или были бы бесплодны. Зато, наоборот, в этих доктринах, которые пекутся для жизни и величают себя жизненными, часто нет ни одного слова, годного для дела, ничего годного для жизни. Эти доктрины, где речь идет о жизни, бывают несравненно более удалены от нее, чем самые абстрактные выкладки математики, чем самые дробные исследования эрудиции. Математическая формула таится под явлениями жизни, и она необходима для их уразумения. Всякая эрудиция, как бы ни была она специальна, имеет своим предметом факт действительной жизни и также необходима для ее уразумения. Но все эти пустяки, все эти пряности слов, весь этот перец фраз, выдаваемый за живое дело жизни, по большей части выражает только отсутствие жизни в умах своих виновников, бессилие и косность мысли. В этих учениях не высказывается ничего, заслуживающего внимания, ничего сколько-нибудь годного. Интерес их заключается не в том, что

ими высказывается, а в самом их существовании, в возможности их появления, в тех причинах, которые порождают их. У нас причины этих явлений очевидны. В обществе нашем нет жизни: мудрено ли, что отсутствие жизни ознаменовывается этой гнилью, этой фосфорической блескотней, этим потоком слов без мысли? У нас до сих пор нет ничего похожего на науку; до сих пор наука не пустила в нашей почве никаких побегов. Науку считали у нас роскошью, делом излишним, даже опасным. Науку прилаживали к разным посторонним ей условиям; ее презирали, ею пренебрегали; она была жалким педантом в нашем обществе, запуганным, прибитым Тредьяковским. И вот затоптанные начатки умственной деятельности дают себя знать. Дух знания, свободный и не имеющий других целей кроме истины, мысль, не имеющая других целей кроме знания, блистательно заявляют свое отсутствие нашей литературой, этими мыльными пузырями наших доктрин, всеми этими отвратительными карикатурами на мысль, знание, прогресс. Чему учат пустозвоны наших дней? Не говорят ли они точно так же, что наука сама по себе есть дело излишнее и негодное? Не готовы ли они лаять на всякого, кто в области знания не признает других целей, кроме чистой истины? Не возводят ли они в теорию то, что у нас так долго было на практике? Не являются ли они достойными толкователями и выразителями того духа презрения и недоверия к высшим дарам человеческой природы, который господствовал у нас в жизни?

У нас нет общества, нет общественного дела, в котором каждый принимал бы живое участие и которое давало бы предметы, направление и внутреннюю норму для деятельности. У нас нет общества, но есть *кружки*, фальшивые подобию общества. В этих-то кружках с их спертым воздухом, в этих маленьких, ничтожных подобию общества, в этих кружках с их ребяческим самодовольством, разобщенных с жизнью, лишенных всякой почвы, осужденных на умственную и практическую праздность, развиваются все те чудеса прогресса, о которых мы упомянули выше; здесь-то совершаются эти быстрые развития, — быстрые, потому что пустые, — здесь-то на

словах передвигаются горы и на фразгах перевертывается мир; здесь-то месяцами и неделями переживаются целые века, сменяются философские системы, общественные доктрины, великие гении, передающие друг другу светоч прогресса.

Вот причины жалкого состояния нашего образования; вот причины пустоцветов, которыми наша литература беспрерывно наполняется с отчаянным изобилием; вот причины этого ребяческого нахальства, этого невежества, прикрытого фразами, украденными у науки, этого непонимания жизни, соединенного с нелепыми притязаниями на перестройку ее оснований, на разрешение ее задач. Вот также причины, почему всякая нелепость может иметь у нас ход и рассчитывать на успех. В самом деле, нет такой нелепости, которая могла бы у нас отчаиваться в успехе. Нет у нас таких совестливых людей, за которых можно было бы поручиться, что они вдруг к изумлению окружающих не пустятся в трепака. Кого же винить и что делать? Должно ли с сугубой силой налечь на те незаметные, на те ничтожные зачатки знания и мысли, чтобы окончательно подавить их? Должно ли усиливать те причины, которыми порождаются праздные кружки, праздные доктрины, те причины, которыми поддерживаются ребячество мысли и бессовестность слова? Будем ли мы придавать серьезное значение всем этим нелепостям, которые зарождаются в атмосфере кружков, как бы эти нелепости ни казались нам чудовищны? Будем ли мы усиливать их и давать им *raison d'être**, считая их чем-нибудь существенным, а не тем, что они есть в действительности – пустыми миражами?

Наши *esprits forts*** , наши прогрессисты, герои наших кружков, борзописцы наших журналов не представляют никаких задатков будущего; все это одна гниль разложения. Пусть начнется жизнь и гниль исчезнет сама собой.

Развитие прогресса! Слова эти не сходят у нас с языка. Мы великие прогрессисты. Нигде в целом мире нет таких отчаянных, таких безголовых прогрессистов, как у нас на Руси. Нам

* Смысл существования (фр.)

** Вольнодумцы (фр.)

все нипочем, все трын-трава, нам море по колено. Не имея ни о чем понятия, мы чувствуем себя самыми свободными умами, и, действительно, в этом отношении мы очень свободны. На всякий вздор отзовемся мы как раз; но зато всякий вздор может и опешить нас мгновенно. Мы всем увлекаемся бесплодно и бессмысленно и также бессмысленно пасуем перед всем. Стоит только какой-нибудь пустой голове погромче свистнуть, и мы уже теряемся. Мы все боимся прослыть людьми отсталыми и готовы нести или выслушивать всевозможную чепуху, чтобы только не подать подозрения, что мы не прогрессисты. В содержание слов, в понятия, в мысль входить мы не будем; в одно и то же время будем мы рукоплескать и плюсу и минусу; мы будем в одно и то же время сочувствовать и свету и тьме; мы будем во имя прогресса со свистом отрицать все основы прогресса. Гаркни кто-нибудь, что прогресса нет, что все в жизни бессмысленно и случайно, что движение и изменение ни к чему не ведет, – мы готовы смиренно подчиниться и такому решению, лишь бы только остаться на счету прогрессистов.

В человеческом обществе всякий прогресс есть, в сущности, прогресс в понятиях, в идеях. Пора бросить рутинное мнение, будто какой-нибудь прогресс возможен механическими способами. Всякое событие, какого бы оно ни было свойства, конечно производит какую-нибудь перемену в окружающей среде, но не всякая перемена есть прогресс, и вся сила его заключается лишь в сознании. То лишь прогресс для человеческого общества, что совершилось в его сознании. Никакая сила не может превозмочь силу понятия в обществе, ничто не может остановить того, что развилось с полной ясностью в уме, или что дало почувствовать себя с полной энергией в совести. Друзья прогресса должны более всего иметь в виду эту среду его, более всего заботиться о ней и сосредоточивать в ней свою деятельность. Друзья прогресса должны прежде всего работать над собой: нельзя сообщать другим понятия, которых мы сами не имеем. Заботиться об общественном прогрессе возможно не иначе, как добросовестнейшим и усиленным трудом над собой, над своими понятиями, над своими познаниями. Истинный

прогрессист должен во всем признавать господство того закона, который властвует в науке. Да и что такое общественная деятельность в разнообразии всех своих видов и сфер? Что такое самое законодательство и администрация государств, как не разные отрасли одной науки, одного общественного знания в его живом, действительном, опытном развитии? Общественное знание заключается не в одних книгах, не в написанных системах и руководствах: все это только педагогические пособия. Самое знание совершается в опыте жизни. Естественные науки живут и обогащаются опытом; вне прямого, методического, постепенного изучения факта они не имеют значения. Так точно и общественные науки совершаются в опыте жизни, в различных сферах общественной деятельности. Приходит пора убедиться, что найти закон явлений и постановить закон для общества – в сущности, одно и то же. Только тот закон будет действительным законом и будет властвовать в жизни, который выведен из ее явлений. Как в индукции естественных наук всякий недосмотр, всякий опрометчивый шаг, всякое преждевременное обобщение ведет к фальши, так и в практике общественного знания те же причины ведут к тем же результатам. Здесь также требуется самое отчетливое, самое точное изучение дела; здесь точно так же должны мы не разбрасывать нашу мысль в пустом пространстве, а, напротив, сжимать и стеснять ее, проводя по всем извилинам факта, и расширять ее не иначе, как расширяя сферу данных, как принимая к сведению все большее и большее разнообразие явлений. Все эти размашистые порождения фантазии, все это множество новых миров, создаваемых для человечества, все эти утопии, которые творятся из ничего, все это принадлежит к одному роду явлений со множеством теорий, строивших по своему один и тот же Божий мир. Один и тот же дух положительного знания упраздняет и эти утопии, и эти теории, создаваемые из ничего.

Великий прогресс совершится у нас тогда, когда мы перестанем с беспощадной пошлостью болтать о прогрессе. Мы будем на пути к лучшему не прежде, как откажемся от притязаний перестраивать общество по чистому разуму и преда-

димся отчетливому, всестороннему и сознательному изучению действительной жизни. А когда наступит эта пора, тогда сама собой исчезнет вся эта гниль разложения, которая завладела теперь нашим бедным словом.

Пьянство

НЕОБХОДИМОСТЬ СОКРАЩЕНИЯ КАБАКОВ

Со всех сторон, от людей самого разнообразного общественного положения получаем мы массу отзывов, заявлений и целых статей посвященных вопросу о пьянстве, которых мы коснулись в №№ 200, 205 и 209 *Московских ведомостей*. Некоторые из этих присланных нам статей, как, например, «Письмо к Издателю» отца протоиерея Д. Г. Богоявленского, «Крестьянский быт и кабаки» почетного гражданина Морокина, «К вопросу о кабаках и корчемстве» Землевладельца, «Голос из Деревни» И. П., уже известны нашим читателям. Общее впечатление всех этих и других подобных им статей одно и то же. Все они наглядно и неоспоримо свидетельствуют, что кабацкий вопрос окончательно созрел и требует безотлагательного решения. Как в былое время все ждали освобождения от крепостного права, так в настоящее время все ждут не дождутся освобождения от кабака. Здесь исходный пункт всех благих начинаний на пользу народа, который испытал на себе все гибельное влияние размножения кабаков и встретил бы всякие направленные против них меры как величайшее и истинное для себя благодеяние. Крестьяне не пишут статей и корреспонденций, не участвуют в создании того, что называется «общественным мнением», но в тех случаях, когда они имеют возможность искренно высказаться, они прямо указывают на соседство кабаков как на главную и величайшую язву своего быта. «Соберите крестьян любой местности и спросите их, почему они бедствуют. Все вам скажут, что их губят кабаки и раз-

дела. И мы уверены, что большинство было бы искренне радо уменьшению кабаков. Мало того, пусть только правительство предпишет, чтобы кабак от кабака в деревнях был не ближе 15 верст и недостающую цифру дохода разложить на тех же крестьян, и тогда мы вполне убедимся, что народ, бесспорно обладающей здравым смыслом, с *благодарностью* внесет новую подать за право не подвергаться соблазну и улучшить свое благосостояние и здоровье», – вот общий вывод, к которому привели землевладельца Крапивенского уезда практические наблюдения над деревенской жизнью. Много подобных заявлений слышал протоиерей Богоявленский, свидетельствующий, что простолюдины не раз обращались к нему с просьбою заявить в газетах, что ничто в такой мере не могло бы содействовать их благосостоянию, как сокращение кабаков и противодействие народному пьянству. «Уменьшение податей дело для народа благодетельное и в высшей степени желательное; но если под боком у крестьянина останутся соблазнительный питейные заведения с вывеской *распивочно и на вынос*, то податной денежный остаток у крестьян пойдет опять на обогащение кабатчиков», вот вывод, к которому привели отца Богоявленского его собеседования с простым человеком. Хлебный торговец, наш постоянный елецкий корреспондент, изъездив недавно по своим делам вдоль и поперек целый уезд, имел возможность во многих жестах толковать с крестьянами о предполагаемом сокращении кабаков, и всюду крестьяне одинаково оканчивали свои речи заявлением, что «великое благодеяние будет оказано крестьянству закрытием большинства кабаков. Крестьяне всюду единогласно предпочитают сокращение кабаков уменьшению платежных сборов, – вот другой вывод, сделанный елецким хлебным торговцем из его беседы с крестьянами. Какие могут быть еще более сильные протесты со стороны крестьян против одолевающего их разорительного и развратительного кабацкого соблазна?

Недавно этот народный протест против пьянства и кабаков выразился еще в новой форме, в форме письма, поданного министру внутренних дел графу Игнатьеву и покрытого целым

рядом подписей. Подписались под ним трое почетных граждан, в том числе один потомственный, 11 мещан, один солдат и 28 крестьян разных волостей, в том числе один волостной старшина и один сельский староста. Вот что, между прочим, пишут они в своем адресе:

«Мы, нижеподписавшиеся сельские жители, любим Россию и нашего дорогого Государя, желаем силы и славы Царю и Отечеству. В силу этого дорогого и сердечного чувства берем на себя смелость подать голос, по нашему крайнему разумению, о необходимейшей из всех нужд России. Эта настоятельная нужда России заключается в уменьшении пьянства. Благомыслящие люди скорбят и болеют об этом народном биче, в конец подрывающем экономические условия и, еще хуже того, нравственные силы народа. Кабак есть рассадник не только пьянства, но и воровства, и поджогов, и всякого разврата. Желательно уменьшение этих вертепов, а с ними всевозможных преступлений, чего горячо желает вся Россия; к этому мы считаем своим долгом дополнить, что полумеры не помогут вылечить эту гангрену. Нужны сильные средства, то есть весьма значительное сокращение кабаков. Ни война, ни мор, ни голод, не могут сравняться по своим губительным последствиям с бедствиями, проистекающими от пьянства; то беды скоропреходящи, а эта беда точит как червь и постепенно разрушает благосостояние, нравственность и здоровье простолюдина, то есть ослабляет силы России. Ваше сиятельство, убедительно просим вас обратить на эту насущную нужду милостивое и правду любящее око Государя... Спасите будущее поколение России, пока еще не поздно. О судьбе его страшно и подумать. Спасите бедствующих и голодающих детей. Спасите от пьяных побоев жен, матерей и отцов. Спасите поля России от истощения... Спасите нравственность, веру в Бога, которая в народе начинает быстро иссякать в районе около кабака. Наконец, можно безошибочно предполагать, что преступные противогосударственные замыслы крамольников будут искать себе почвы для привлечения к себе простого народа тоже в кабаке».

Все выраженное в приведенных строках адреса, поданного министру внутренних дел, есть в настоящее время общая мысль, общее чувство всей России. Не разделяют их только враги русского народа и люди, служащие им орудиями.

Да, при настоящем положении страны, во всей финансовой и экономической сфере нет вопроса, который по своему государственному значению мог бы хотя приблизительно равняться с вопросом о сокращении пьянства. Всякие стремления отодвинуть этот вопрос на задний план, отсрочить его решение, заслоняя его указатель на другие финансовые реформы и постановкой их на ближайшую очередь, могут быть объясняемы только непониманием действительных нужд России или неспособностью сделать для нее то, что требуется, если не прямым противодействием тому, что было бы истинно полезно государству.

Это противодействие, как во многих других, так и в данном случае, любит облекаться в форму любви к народу, заботе об его благополучии. Раздается усиленный плач о податном обременении народа, о расстройстве денежного обращения, причиненном обесцениванием кредитного рубля, то есть собственно упадком вексельных курсов. Употребляются всевозможные гласные и негласные средства на то, чтобы побудить правительство сосредоточить главную свою деятельность на этих двух пунктах. Рисуетя в перспективе, какую заслугу оказало бы оно, облегчив податную тягость лежащую на народе и дав стране правильное металлическое денежное обращение. Но при всем этом почти постоянно оставляется в тени то обстоятельство первостепенной важности, что при оставлении неприкосновенным кабацкого пьянства в его нынешних условиях и размерах ни облегчение податей, ни металлическое денежное обращение не поведут к подъему народного благосостояния, не обогатят народа, не сделают его более способным выносить бюджетные тягости и, стало быть, не создадут прочного основания для улучшения финансов. Народу не будет легче от того, что он будет пропивать не бумажные, а металлические деньги, и пропагандируемая денежная рефор-

ма отзовется на нем лишь сокращением его заработков вследствие того общего народно-хозяйственного кризиса, который был бы неизбежным результатом осуществления подобной реформы не путем постепенного подъема народного хозяйства, исправления международного расчетного баланса и развития внутренних оборотов, а посредством искусственных финансовых операций. Народу не будет легче и от сокращения податей, если все, что не будет взыскано в виде прямого налога, будет взято с него через кабака как налог косвенный. Но серьезные меры для облегчения податной тягости и особенно всякие искусственные меры к подъему денежной валюты должны сильно обременить бюджет, и в этом обременении явится новый предлог усиленно настаивать на отсрочке винно-акцизной реформы, то есть именно той, от которой народу действительно стало бы лучше и легче жить, которая повела бы к его обогащению, стало быть, создала бы прочное основание к улучшению всего нашего и народно-хозяйственного, и финансового положения... Пропагандируются реформы, от которых народ мало или вовсе не выиграет, и пропагандируются в прямой ущерб именно той реформе, которая одна способна коренным образом изменить к лучшему весь народный быт и совершение которой было бы делом, не уступающим по важности даже отмене крепостного права.

РАЗДЕЛ V. ОСНОВЫ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Православие — основа русской народности

В РОССИИ ЕСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ

В вопросах политических необходимо различать две стороны: учреждения и лица. Все подданные государства имеют право на доброжелательство государственной власти и покровительство законов, и чем менее полагается между лицами разницы, тем более обеспечивается свобода каждого, тем лучше. В этом состоит истинный прогресс политических обществ. Что называется гуманностью и либеральностью в политике, то здравомысленно относится только к лицам, и наиболее цивилизованное государство есть то, которое обеспечивает наибольшую законную свободу личности. Что же касается до учреждений, то правительство можете здравомысленно поддерживать, развивать и усиливать только свои национальные, а не чужие учреждения. Поступать в противном смысле и полагать в том гуманность и либеральность было бы признаком глубокого варварства и самого глубокого смешения понятий. Предоставлять свободу и давать власть — две разные вещи, которые между собой сталкиваются. Цивилизованное государство предоставляет лицам свободу совести и допускает в своих пределах разные свободно существующие религиоз-

ные общества. Но совсем иное дело – давать этим обществам власть, делать их существование обязательным. Это значило бы нарушать свободу лиц, и притом не в пользу государства, а в ущерб и подрыв ему. Стеснение личной свободы допускается здравомысленно лишь в делах какой-либо государственной необходимости, но здравый смысл отступит в смущении при виде действий вынуждения, совершаемых правительством во вред своему государству.

История России, преимущественно за нынешнее столетие, полна поразительных явлений, которые будут предметом вечного изумления для людей мыслящих. Приходится думать, что народ наш одарен сверхъестественной крепостью, если в нем не совсем иссякла жизнь при тех испытаниях, которым он подвергался. Зато и нет надобности искать иных причин, кроме господствовавшей у нас правительственной практики, для объяснения тех зол, которыми народ наш страдает, и тех опасностей, которые в нашем государственном организме гнездятся. Не в укор нашему прошлому, а из живой преданности пользам и славе настоящего должны мы говорить с полной откровенностью.

В России есть национальная Церковь. Русской следует называть нашу Церковь не потому, что она пользуется государственной привилегией, а потому, что она присутствовала при начале нашего исторического бытия, при рождении нашего государства. Как только можем мы запомнить себя, она уже светилась в нашей тьме и сопутствовала нам во всех превратностях исторической жизни. Она поддерживала и спасала нас; она проникала во все изгибы нашего существования и на все положила свое знамение. Все наши воспоминания связаны с ней, вся наша история исполнена ею. Нельзя представить себе возможность какой-либо иной из существующих ныне церквей, которая могла бы называться русской, хотя, с другой стороны, никогда не должно упускать из виду, что истинное значение нашей Церкви состоит не в том, чтоб быть национальной. Связывать ее с какой-либо народностью значило бы унижать и бесславить ее. Она признает себя вселенской, и в этом ее ис-

тинный характер. Значение же русской имеет она для нас не по сущности своей, а лишь потому, что мы усвоили ее себе изначально и что она существует у нас как наше национальное учреждение. Мы глубоко убеждены в том, что для поддержания ее не требуется государственной привилегии и полицейской опеки и что, напротив, привилегия и опека только вредят ее чистоте, подавляют ее жизнь и подрывают ее внутреннюю силу. Только те заботы о ней хороши, которые клонятся к тому, чтобы в ней самой была жизнь и чтоб она по возможности обладала собственными средствами для поддержания своего достоинства и своих учреждений. Если же правительство считает себя обязанным заботиться о национальном учреждении, каким признается Православная Церковь в России, то оно ни в каком случае не несет на себе обязанности давать силу и власть всяким другим религиозным учреждениям, не имеющим национального значения. В пределах Российской Империи существует, например, римско-католическое церковное учреждение. Так как есть в России населения, исповедующие римский католицизм, то правительство не может не допускать и даже не признавать его в известной мере. Но оно отнюдь не может брать на себя обязанность блюсти его чистоту, поддерживать господствующие в нем нормы, обеспечивать его от внутренних ересей или принуждать принадлежащих к нему людей строго покоряться его чину. Еще менее может правительство поддерживать какое-либо религиозное учреждение в смысле чужого национального учреждения. Допускать какое-либо вероисповедание в пределах государства лишь под тем условием, чтоб оно было чужим национальным учреждением, – католицизм обязательно польским, протестантизм обязательно немецким, – это ничем не может быть разумно объяснено, ни с какой точки зрения оправдано.

Умы, не способные к серьезному и отчетливому мышлению, якобы из ревности к православию крикливо отрицают у христиан других вероисповеданий право признавать себя русскими, полагая, по-видимому, что это могло бы опоганить русскую народность. По их теории, следует либо изгнать всякое

иноверие из государства и облечься в религиозный фанатизм давно минувших времен, либо покрыть государство чужими национальными учреждениями и вместе с каждым допускаемым верованием вводить в силу новую политическую национальность и делать, таким образом, для государства необходимость, чтобы в его недрах жили разные чужие политические силы, расторгающие его единство и вносящие смуту и зложелательство во все отправления его жизни.

Национальная Церковь в России есть Церковь Православная, и никакая иная не может быть русским национальным учреждением. Но из этого отнюдь не следует, чтобы люди, исповедующие веру, не признаваемую в качестве русской национальной, не могли быть русскими. Национальность в христианском мире есть дело светское и определяется не религией, а государством.

Пастырь и паства

НЕПРАВИЛЬНОСТИ В ПОЛОЖЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА В РОССИИ

Церковь нашу зовем мы православною и имеем полное к тому основание. От Православной Церкви прияли мы духовную жизнь; она положила начало историческому бытию нашего народа; мы всем обязаны ей: но что же сделали мы сами в прославление Православной Кафолической Церкви, которой мы всем обязаны? Ее достоинства – не наши достоинства, и мы не имеем права вменять их себе в заслугу. Напротив, чем выше мы ставим ее, тем более, быть может, придется нам упрекать себя. Православная Церковь требует себе служителей по призванию: по призванию ли имеет она своих служителей у нас? Она отвергла как иудейский обычай все, что может способствовать образованию потомственного духовного звания:

где же, как не у нас, в целом христианском мире имеется потомственное духовное звание? Православная Церковь требует, чтобы в выборе священников на приходы принимали непосредственное участие сами прихожане: так ли у нас? Не получались ли у нас до последнего времени священнические места в приданое за девицами духовного звания? Православная Церковь требует, чтобы пастырями ее были люди достаточно зрелые, достаточно испытанные жизнью, и постановляет правилом, чтобы священниками могли быть лица не ранее 30 лет от роду: соблюдается ли у нас это столь важное правило? Не у себя ли мы видим двадцатидвухлетних пастырей? Православная Церковь допускает в священство лица, находящиеся в браке; но, не налагая на своих служителей обязанности безбрачия, она еще менее налагает на них обязанность непременно быть женатыми: так ли у нас? Не установился ли у нас вопреки смыслу обычай ставить брак условием священства? Православная Церковь чувствует иночество как высшее духовное призвание, но не поставляет его в обязанность и не требует его как необходимого для своих учреждений условия, и потому в древние времена православия епископы поставлялись как из черного, так и из белого духовенства. Так ли у нас? Не обратилось ли у нас монашество в средство для стяжания церковной власти и почестей? Не создаем ли мы искусственно так называемое ученое монашество?

Не скоро окончился бы этот ряд вопросов, если б имелось в виду вполне характеризовать то положение, в котором находится вверенная нам на хранение и прославление Православная Церковь, и показать все, в чем наш обычай отступил от чистоты православия, или чему, вопреки духу истинной Церкви Христовой, мы придали существенное значение.

Церковь Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста почти утратила в нашей заглохшей среде дар учения и проповеди. Это дошло до того, что иноверцы, незнакомые с сущностью Православной Церкви, полагают, смотря на нас, что ей вовсе чужд дух учения и проповеди, между тем как, например, и завет ее Божественного Главы поставляет учение

и проповедь в основу церковной жизни. Наше духовенство, за немногими блестящими исключениями, почти не пользуется этим столь обязательным для него средством действия на народ к возвышению его нравственности, к облагорожению его жизни, а только этим могло бы оно воздать за дар тайнодействия, приемлемого им от Вселенской Церкви, в этом только могла бы выразиться его самодеятельность к ее прославлению. Недоверие к силе истины, которое держало в оковах нашу нравственную жизнь, начало ослаблять свое действие в нынешнее благословенное царствование, но еще не для пастырей Церкви, которые без предварительной цензуры не могут молвить живого слова к своей пастве. Мы скудны в деле просвещения и науки; но если наши светские ученые довольствуются доселе положением учеников, не всегда заслуживающих порядочной отметки от своих иностранных учителей, то не может не быть особенно прискорбным, что в таком же положении находятся и наши богословы: наши светские ученые ничего за собою не имеют, ничего не значат и ничего собой не роняют, а наши богословы являются представителями Церкви, обладающей сокровищем богопознания и мудрости. В нашем духовенстве иссякло даже знание тех языков, которые полагаются везде в основу высшего умственного образования и служат необходимым орудием всякой эрудиции, — языков, которые особенно для богослова необходимы. Мы хотели из наших священников делать фельдшеров и коновалов, по-видимому, находя эти последние призвания полезнее, и в этих видах перестраивали наши семинарии. Слава Богу, эта пора миновала, но заметим кстати, что даже в новом улучшенном уставе наших духовно-учебных заведений для богословов не положено обязательное изучение еврейского языка.

Наконец, Церковь Христова, которая всякому духовному творчеству посредственно или непосредственно дает начало, у нас превратилась в полицейский институт. Грубейший раскол развился из ее недр, и она остается пред ним бессильна. Она не может достаточно поддерживать свои учреждения и бросает без призрения своих овец, нередко привлекаемых к ней поли-

цейскими чиновниками, иногда с помощью еврея или татарина. Мы вынуждаем ее отступать даже пред магометанством и ламайством.

Люди из дальних стран, ища истины и обращаясь к Востоку, приходят к нам за познанием мерцающего им издалека древнего православия, а мы спешим запереться и на стук их отвечаем: «Идите с Богом мимо. Приходите когда-нибудь после». Мы заботимся не о том, чтобы Церковь нашу узнали, чтоб она восторжествовала; мы рады, чтобы нас оставили в покое и к нам не заглядывали.

Новый дух, который веет теперь в нашем Отечестве, все возбуждая и все призывая к жизни, не мог не коснуться и церковной сферы. В то время, когда пала главная твердыня крепостного права, которым охвачена была наша народная жизнь, не могут долго оставаться нетронутыми и все другие виды того же начала. Это начало закрепощения было необходимостью нашей истории и выразилось оно не в одном собственно так называемом крепостном праве; оно простерло свое действие повсюду, им внесена гражданская рознь в нашу общественную организацию; им созданы у нас особые юридические состояния; оно приурочило людей к разным обществам, которым принесено в жертву начало личной свободы; оно постепенно возлагало на все созданные им сословия тягло крепостного служения. Духовенство подпало тому же началу, но подпало без всякой нужды, единственно только в силу аналогии. Начало закрепощения, выразившись могущественно, не могло не подчинить себе и того, что по сущности своей ему не подлежит и что не нуждалось бы в его суровой школе; оно подчинило себе и церковную жизнь нашу. Под влиянием созданной им системы понятий в весьма недавнее время сложилось особое крепостное состояние под именем духовного звания. Церковь была понята как великая фабрика, которая нуждается в рабочих и не может рассчитывать на вольный труд, и вот к ней приписаны многие сотни тысяч семей, которые составили таким образом особое звание, именуемое духовным и имеющее свои юридические особенности. У нас духовные лица суть не

те только, что несут на себе духовные должности, но и жены, и дети, и родственники их.

Сила не в том, что из нашего духовного звания возможен выход, а в том, что может быть речь о выходе из духовного звания тех, кто не несет на себе никакого действительно духовного звания; сила в том, что у нас есть гражданское, юридически обозначенное сословие, именуемое духовным, и что это духовное звание состоит из семей, про запас приписанных к Церкви и представляющих собою явление, аналогичное тем крестьянским населением, которые до 19-го февраля 1861 года состояли в крепостной зависимости от разных казенных учреждений. Вследствие регламента Петра Великого, а главнейше вследствие законодательных мер, принятых в начале нынешнего столетия и имевших ближайшим предметом своим духовно-учебные заведения, наше духовенство очутилось в положении посессионных крестьян, приписанных к Церкви. Сотни тысяч семей, приписанных к Церкви, были изъяты из общих законов, подчинены особому управлению, а взамен того уволены от некоторых общих повинностей. Церковным властям пришлось заведовать не только людьми, состоящими на действительном церковном служении, но и их женами, детьми и родственниками, целым народонаселением, составляющим как бы государство в государстве; епископам, помимо дел Церкви, пришлось судить и рядить дела, не имеющие ничего общего с их призванием. Семьи, приписанные к Церкви, распложаясь, неизбежно впадают в оскудение и нищенство, и епископам пришлось заботиться о девицах духовного звания и приискивать им женихов из того же звания; в ущерб высшим интересам Церкви им пришлось заботиться о том, как бы пристроить и прокормить пролетариев. Церковь стала средством обеспечивать как-нибудь судьбу множества семей, укрепленных за ней для обеспечения ее потребностей. Последствие такого положения дел у всех пред глазами, и наше законодательство, как замечено выше, уже ясно имеет в виду причиняемое этим положением зло. Остается желать только, чтобы врачевание начиналось не с последствий, а с причин, и чтобы законодательные меры

клонились к упразднению причин, а не *последствий*. Пока остается в силе господствующая система, надобно переносить ее последствия, как бы ни были они безобразны и тягостны; и наоборот, если мы не можем и не хотим мириться с дурными последствиями, надо спешить устранением причин.

Хороши и плодотворны лишь те реформы, которые не сопровождаются напрасными жертвами. Упразднение потомственного духовного звания как особого юридического состояния может быть легко совершено безо всякой несправедливости относительно семейств, которые им охвачены. У нас еще не образовалось одно общее, для всех равное гражданское состояние; у нас еще имеются особые юридические состояния. Те льготы и преимущества, которыми пользуются дети духовного звания, могли бы остаться при них, но только не в качестве какого-то духовного звания. Дети священнослужителей пользуются, в сущности, теми же гражданскими правами, какие сопряжены с состоянием почетного гражданства. Как для Церкви, так и для государства, а равно и для самих духовных лиц, было бы истинным благом, если б это потомственное духовное звание, недавно, вопреки преданиям и правилам образовавшееся у нас, исчезло из нашей общественной организации, и передало приписанные к нему семьи в соответственные по своим правам сословия. С этого необходимо начать, дабы в наших церковных учреждениях пробудился дух жизни и дабы все имеющие их своим предметом реформы могли совершаться успешно и благотворно.

НЕОБХОДИМОСТЬ УНИЧТОЖЕНИЯ КАСТЫ В ПРАВОСЛАВНОМ ДУХОВЕНСТВЕ

В минувший январь по возвращении из Петербурга в место своего служения киевский генерал-губернатор А. П. Безак получил от местного православного духовенства (Липовецкого уезда Киевской губернии) адрес, который появился затем в *Киевлянине* и воспроизведен в № 31 нашей газеты. В этом адресе духовенство наше первое отозвалось корпоративно на

преобразования, коснувшиеся его быта и долженствующие в своем развитии возратить ему, а с ним и вообще Церкви, достоинство, свободу и жизнь, в которых они так нуждаются. Полезно отыскивать значение во всяком обстоятельстве, даже в маловажном, и мы не можем не видеть некоторого значения в том, что потребность лучшего впервые с особенною энергией сказалась посреди духовенства Киевской епархии. В Киеве началась наша духовная жизнь; здесь в продолжение веков было средоточие нашего христианского просвещения; сюда восходят древнейшие и драгоценнейшие предания нашего православия; здесь оно выдержало испытание борьбы, которая развила в нем энергию, разумение и чувство достоинства; здесь православное духовенство не составляло особой породы, и несмотря на то, что общие условия, сковавшие нашу церковную жизнь, распространились и сюда, на здешнем духовенстве не отпечатлелся еще тип касты. Если здесь находится начало нашей духовной жизни, то здесь же весьма естественно должна с особенной живостью чувствоваться и потребность ее обновления. К великому счастью для нашего Отечества, эта потребность обновления духовной жизни не есть явление случайное и разобщенное, заглушаемое и подавляемое силой вещей противного свойства; она согласуется со всеми великими интересами нашего народного быта и настоятельно требуется ими. Преобразование, в котором нуждается гражданская организация нашей Церкви, предопределяется всем ходом наших нынешних преобразований, которые могут принести свой плод не прежде, как организация духовной жизни в нашем народе примет характер вполне ей соответственный.

Как читателям нашим известно, киевский генерал-губернатор ходатайствует о том, чтобы в трех вверенных его управлению губерниях православное духовенство было извещено из затворов касты. Ничего не может быть справедливее и, как мы убеждены, ничего своевременнее и легче для исполнения, как это требование. Постепенность есть мудрое правило во всем; но в чем состоит истинный смысл постепенности? Не в том, конечно, чтобы идти от последствий к основаниям, а в том,

чтобы, положив твердой и решительной рукой основание делу, дать ему простор и время выработать подробности своей организации. Вот пример: у нас установился обычай предоставлять церковные места в приданое за дочерьми священнослужителей. Просвещенное разумение и религиозное чувство отступают пред этим обычаем и справедливо видят в нем злоупотребление; но искренность прежде всего, и мы должны сознаться, что это злоупотребление не есть случайность, которую стоит только отсечь, чтоб очистить существующую систему, но что оно вытекает из основания системы, есть ее существенная принадлежность, один из ее плодов, по которому можно судить о ее природе. Прекращение какого-либо злоупотребления может иногда оказаться несправедливостью и сопровождаться потрясением и расстройством весьма уважительных интересов; это бывает именно в тех случаях, когда основания фальшивой системы удерживаются, а отсекаются только ветви ее. Все дурные последствия неправильного положения духовенства исчезнут сами собой, как только упразднится сама система с ее пролетариатом, с ее своего рода крепостным состоянием, с ее архиереями, обязанными быть не просто предстоятелями Церкви, но правителями особого в каждой епархии народа, именуемого духовным званием, который изъят из общих законов и составляет как бы *status in statu**. Все затруднения будут успешно побеждены, если только начать сначала, то есть законодательно признать основной канон Церкви и постановить, что духовное звание есть звание лиц, состоящих в церковных должностях, и что затем к этому званию никто принадлежать не может. Детям же священнослужителей справедливость требует предоставить права, по крайней мере, равные правам детей протестантских пасторов, то есть личного дворянства.

Администрация юго-западного края была приведена к этой истинно-государственной мысли потребностями гражданского свойства. Не только правило Церкви, – крайняя государственная необходимость требует отмены этих условий, наложенных обстоятельствами на Церковь в противность ее

* Государство в государстве (*лат.*)

духу. Действительно, освобождение Церкви есть теперь у нас необходимость для государства. Все вопиет об этом освобождении, в котором заключается тайна истинного обновления нашей народной жизни и без которого ничто не будет иметь прочного успеха, ничто не даст живого плода; а первым шагом в этом смысле есть освобождение духовенства от несвойственных христианскому и тем паче православному духовенству условий потомственного звания. Потребность, заявленная Киевской администрацией, вполне согласуется с направлением нашего законодательства как вообще, так и в особенности по делам церковным. Меры, принятые в последние два-три года, дополняя одна другую, ясными чертами обозначают систему, которой правительство намерено держаться в вопросах, касающихся нашего церковного быта. Один значительный шаг в этом направлении, и великое по своему значению и последствиям дело будет совершено.

Давно уже наступила пора серьезно подумать о нуждах духовной жизни в нашем народе. Печальные признаки свидетельствуют, что медлить в вопросах этого свойства невозможно. Все, что может способствовать оживлению нравственных сил народа, все, что может вести к его просвещению и разрешать узы его духовной жизни, есть для нас спасение на всех путях и во всех направлениях. Церковь наша не может долее оставаться в тех условиях, которые обложили и как бы скрыли ее. Порядок вещей, основанный на механизме нынешнего давления, должен уступить место другому, который призвал бы к действию силы нравственного порядка. Церковь должна быть Церковью. Что бы ни говорили защитники папства, ей не может принадлежать государственная власть, но потому же самому она не может быть также и полицейским учреждением, не слабая в своем существе, не лишаясь своего духа. Ошибочно было бы думать, что Церковь, опираясь на силу ей не свойственную, может в то же время сохранять в себе и ту силу, которая ей свойственна. Нет, одно из двух. Чем более Церковь, как и всякое духовное дело, опирается на силу ей внешнюю, тем более бездействует она внутренне. Дух, без

которого люди начинают обходиться, отлетает от них, и дело, лишенное жизни подпадает под закон механизма. Истина только там, где есть убеждение в ней, где есть вера в ее силу. Если люди привыкают поддерживать свое дело механическими способами, то дело мертвеет в их руках, и они теряют веру в него, ибо что бездействует, то лишается силы, и людям не остается ничего иного, как размножать и усиливать способы механические, обрекая себя во всем на духовное бесплодие и нравственное бессилие. Издали, по одному взгляду, по одной поступи, можно отличить тех, кто в своем деле привык опираться не на внутреннюю его силу, а на посторонние пособия и в ком от неупотребления осталась неразвитой сила нравственного действия, которая одна лишь дает и человеку и его делу характер истинного достоинства.

Увы! Мы должны сознаться, что наша народная жизнь страдает оскудением нравственной производительности. Мы почти вовсе не замечаем могучих духовных факторов в нашей жизни. Везде и во всем чувствуем мы себя несостоятельными и бессильными. Мы отступаем пред всякой нравственной силой и трепещем всякого состязания, всякой борьбы невещественного свойства. Вина этого заключается не в людях, а в положении дела, среди коего люди поставлены и которое не требует от них употребления нравственных сил.

Мы, по-видимому, с величайшей заботливостью охраняем нашу Православную Церковь; но в способах, которые для этого нами употребляются, не видно, чтобы мы были убеждены в ее истине и были уверены в ее силе. Мы охраняем ее как политическое учреждение и для этого слишком жертвуем ею как великой христианской Церковью. Мы довольствуемся тем, чтоб она представляла собой хорошо выработанный бюрократический механизм, и весьма естественно, что она дает у нас только такие результаты, которые свойственны механизму этого рода. При тех условиях, в которые поставлено у нас духовенство, мы не вправе и требовать от него чего-либо иного. Кто захотел бы выйти из обычной колеи, тот представил бы собой явление крайне странное и сам бы смутился и усомнился в себе.

Дела сложились так, что из церковной организации нашей совершенно исключено самое могущественное и великое начало, состоящее в силе призвания. Ничего не предоставлено свободе христианской совести и мысли, все поставлено под цензуру, даже слово священника; ничто не внушено верой в судьбы великой Христовой Церкви, все рассчитано только на механическое сцепление. У иноверных населений отнято право употребления отечественного языка в религиозных предметах, и под видом ограждения Православной Церкви целые населения воспитываются в духе отчуждения от своего Отечества. Чтобы Церковь была обеспечена в потребном количестве священнослужителей, к ней приписаны сотни тысяч семей, которые должны поставлять ей таковых и образовать из себя особое колено в народе, особое потомственное сословие в государстве. Самая паства нашей Церкви имеет вид только как бы приписанных к ней населений. Громадное множество народа находится в совершенно внешних к ней отношениях, чуждое всякого, хотя бы поверхностного разумения ее оснований, пребывая во тьме и коснея в грубейших суевериях. Дело Церкви считается исполненным, если человек зачислен в метрике православным. Нет нужды, что многочисленные населения живут в полном отчуждении от Церкви, лишь бы только они оставались помеченными в графе православных и поддерживали внешнюю связь с ней, либо усердно откупались от нее, составляя статью дохода для надзирающих за их православием местных властей. Что в таком положении находились у нас дела, то ни для кого не тайна, и из этого положения они едва ли вышли и теперь. Дабы дела могли принять иной вид, надобно, чтоб изменились условия, в которых они находятся; надобно, чтобы Церковь оживилась и начала действовать в свойственном ей духе, а для этого надобно, чтобы система механизма дала место духовному началу свободы и жизни.

Тяжело подумать, что великая Церковь Христова оказывается среди нас недостаточно сильной устоять против ламаизма и магометанства. Ничего не может быть прискорбнее для христианского чувства и унижительнее для нашей цивилиза-

ции, как сведения, к сожалению, несомненно приходящие с нашего Востока, из бывшего царства Казанского, где христианство встречается с магометанством. Целые населения, покойно зачисленные в графу христианских, оказываются весьма ревностными магометанами, и пред мечетью храм христианский поникает в бессилии. Магометанство посреди христианского народа возносится над христианством как сила нравственная и просветительная, и в то время как православные населения вокруг коснеют в невежестве, лишены всякого нравственного воспитания, мечети становятся средоточием просвещения, и муллы усердно трудятся над образованием и нравственным возвышением паствы. Впервые, таким образом, доводится христианству видеть себя в положении слабейшего, имея за собой материальную силу. Не есть ли это потрясающее свидетельство о глубоко неправильном положении дел? Путем механического давления и нельзя поправить его; остается позаботиться о том, чтобы христианство в нашей народной среде обнаружило действие преимущественно ему свойственное, вызывало на служение себе силы духовные и основало свои храмы во глубине свободной человеческой совести.

ГНЕТ, ТЯГОТЕЮЩИЙ НАД РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНЬЮ

Когда знаменитому гуманисту XVI века Эразму Роттердамскому пришлось говорить о тормозах своего времени, он вложил в уста олицетворенной им «Глупости» (Moria) следующие слова: «Не знаю, говорить мне или нет о казуистах. Не лучше ли помолчать? С ними неудобно иметь дело, они опасные неприятели. Я боюсь их, как огня, от которого сейчас обожжешься. Эти господа чрезвычайно высокомерны и из-за сущей безделицы удивительно раздражаются. Они тотчас, как волки, целым стадом нападут на меня, чтобы своими недоказательными доказательствами и шестьюдесятью тысячами выводов и следствий или принудить меня к отречению от своего мнения, или же обнести еретицей и приговорить ко всесожжению... Но

я, забывшись, вышла из границ пристойности. Впрочем, если сказала я что-либо неосторожно, то не забудьте, что пред вами говорила женщина и притом Глупость. Между тем припомните греческую пословицу: часто и дурак кстати слово молвит, если только не подумаете, что эта пословица до женщины не касается...» Еретиков в наше время не жгут: но пугало ереси не потеряло своей страшной силы. Ересебоязнь (действительная или напускная, в настоящем случае все равно) помимо других причин производит такую мертвенность в нашей церковной жизни, какой не может создать самое опасное лжеучение. Действительная ересь возбуждает дух человека, побуждает его к изысканиям и исследованиям, закаляет его в борьбе. Ересебоязнь не только останавливает и мертвит всякую деятельность, расслабляет и убивает мыслительные способности.

Отчего наше духовенство так редко обращается к народу со словом поучения? Вот священник по прочтении псалма, апостола или евангелия почувствовал особенное возбуждение духа и потребность обратить внимание своих пасомых на ту или другую сторону предмета. Если б он сказал слово именно в это время, оно было бы действительно живым словом. Правда, быть может, оно показалось бы очень кратким и с некоторыми выражениями не совсем точными, но зато было бы полно чувства, жизни, а потому и действенно, как всякое живое слово, вылившееся из действительного настроения духа. Или вот вчера встретился в приходе случай, смутивший паству, и пастырское слово настоятельно требуется; оно всеми выслушивается с напряженным вниманием и душевной пользой. Но священник обязан предварительно и, конечно, за несколько дней показать благочинному, а в некоторых случаях и самому архиерею, что именно он думает сказать своей пастве, и ждать запрещения или позволения сказать свое слово. Удивляться ли после этого, что в словах нет жизни и что они произносятся крайне редко? Священник находил бы, например, более полезным для своих малоразвитых слушателей вместо рассуждений философского свойства просто рассказать историю об Авеле и Каине, Иосифе, Товите, Иове, самом Спасителе... Как челове-

ку, получившему богословское образование, подобный рассказ не представил бы ему, конечно, никакого труда. В совершенно ином виде представляется дело, когда этот рассказ нужно сначала свезти к благочинному, потом за ним же опять съездить, чтобы получить его обратно с «запрещается» или «дозволяется». И вот дело, само по себе совершенно легкое и приятное, становится бременем, которое человек решается поднять только по крайней необходимости, то есть чтоб иметь к концу года, кажется, около 10 требуемых проповедей. Если при этом принять во внимание придирчивость, с какой отыскивается в словах священника ересь, то становится понятным, почему проповеди большей частью списываются и, раз «апробованные», как драгоценное наследие переходят от одного поколения к другому; причем наблюдается только одна небольшая осторожность, чтобы пасхальное слово как-нибудь по ошибке не произнести в Великий Пяток. Некоторым «владыкам» это пассивное положение духовенства вкупе с земными поклонами, по примеру якобы Корнилия сотника, конечно, может доставлять немаловажное удовольствие; но для дела проповеди и обучения народа настоящий порядок вещей положительно вреден. Но если бы кто спросил о причинах этой процедуры при составлении проповеди, ему, конечно, указали бы на опасность ереси, на то, что священник без цензуры может сказать что-либо не совсем согласное с духом православного учения. Как будто священник не имеет других путей, если захочет, или даже просто по неосторожности и невниманию, распространить какое угодно лжеучение!

Проповедь не есть единственное явление, которое под предлогом ересебоязни совершенно у нас подавлено и уничтожено. Вся церковная жизнь лежит под тем же самым гнетом. Смотри на богатство богословской литературы в других странах Европы, нельзя не придти к изумлению ее слабости и крайней бедности в нашем Отечестве. Где причина этого оскудения? Отчего при семидесятимиллионном населении у нас так мало духовных изданий, да и о тех даже депутаты от самого же духовенства заявляют, выражаясь официально, что они

«не вполне удовлетворительны»? Или христианам других исповеданий лежат ближе к сердцу религиозные вопросы? Православные пастыри едва ли решатся отвечать на этот вопрос утвердительно; тем труднее будет им объяснить странность указанного явления. Дело в том, что богатство литературы и жизни возможно только там, где люди действуют по внутреннему убеждению. Только рабы и поденщики могут писать по заказу. Кто знаком с нашим духовным миром, тот знает, что в настоящее время у нас обыкновенно говорят и пишут о том, о чем всего менее думают. Пугало ереси в лице духовной цензуры царит над нашей церковною жизнью и леденит все, что находится в границах этого царства. Иноверец до сих пор не может с полной свободой высказывать своих религиозных убеждений на русском языке и должен для этого усвоить себе чужой язык, а себя самого чужой национальности...

На эту сторону предмета обращаем мы внимание не одних только депутатов Подольского епархиального съезда, но и всех, кто желает духа жизни нашему Отечеству и нашей Церкви.

Православие и раскол

ВОПРОС О РАСКОЛЕ

В минувшем октябре в городе Грязовце Вологодской губернии произошло ужасное событие, о котором производится теперь следствие. В воскресный день за обедней в Христорождественском соборе, после великого выхода, но еще до совершения таинства, временнообязанный крестьянин Иван Заморин вошел со свечой в алтарь, взял потир с престола, бросил его на пол, пролил освященное вино и, растоптав потир ногами, исступленным голосом вскричал: «Попираю мерзость Сатанину». Литургия прекратилась, народом овладел ужас, преступника схватили. Он оказался перекрещенцем из секты *странников*, или *бегунов* Сопелковского согласия. Он тут же

объявил, что сделал это для того, чтобы надругаться над Сатаной и приять мученически венец.

Событие ужасное! Есть ли это кощунство, свидетельствующее о нравственном разврате человека, или проявление дикого фанатизма? Мы не знаем, что будет обнаружено следствием, но и теперь не сомневаемся ни минуты, что это не простое кощунство, а исступленный фанатизм.

Может ли такое нарушение святыни, такое оскорбление святейших чувствований целого народа остаться без последствий для своего виновника? Конечно, нет; фанатизм или кощунство, дело это не может остаться без заслуженной кары. Но в чем должна состоять кара? В том ли, чтобы довершить дело безумца удовлетворением его исступленной воли, исполнением того дикого желания, которое побудило его к его поступку? Несчастный безумец искал мученического венца, он хотел принести себя в жертву, он хотел освятить себя: дать ли ему этот венец, дать ли ему испытать этого блаженства лжесвятости, которого он так жаждал? Вникнем в его поступок: он совершил его всенародно; он не только не хотел избежать последствий, но шел им навстречу. Если он не сумасшедший (что еще должно быть показано следствием), то он не мог не знать, что его поступок не обойдется ему даром, что его немедленно схватят, что над ним обрушится жестокая кара. Он не мог не знать этого, он не мог не представлять себе этого в полной ясности, если только, повторим, он не окажется совершенно поврежденным в своих умственных способностях. Он знал и представлял себе с полной ясностью все последствия своего поступка, и если он решился на него, то именно для того, чтобы этим последствиям подвергнуться. В своем исступлении он, может быть, преувеличивал последствия своего действия; он, может быть, ожидал, что его тут же растерзает народ; во всяком случае, он мог ожидать только самой жестокой кары, но отнюдь не безнаказанности.

Оскорбление святыни, совершенное Замориным, не может остаться для него без последствий, но вопрос состоит в том, надобно ли давать последствиям этого дела тот самый ход, какой

был в мыслях и желаниях виновного? Должно ли наказание быть исполнением его воли? Можно ли назвать карой удовлетворение того самого желания, которое было главным побуждением к преступлению? Подвергая виновного тем последствиям, которые он сам имел в виду, которых он сам добивался, мы лишаем кару ее значения, какой бы ни держались мы теории наказаний. Если допустить, что поступок Заморина может вызвать последователей, то именно исполнением над ним той кары, которой он сам добивался, и можно вызвать этих последователей. Дух фанатизма, из которого проистекают подобные явления, может только сильнее вспыхнуть от таких кар, которые в глазах фанатиков – не кары, а исполнение их страстного желания, удовлетворение их иступленного чувства, венец блаженства и святости в их помутившемся, грубом разумении. Самым верным средством усилить дух фанатизма было бы зажечь костры инквизиции, как о том свидетельствует история.

Сила не во внешнем факте, а во внутренних побуждениях, которые в факте выразились. Кара должна соразмеряться с этими внутренними побуждениями и соответствовать им. Что послужило бы истинной карой за действие преступного кощунства, то было бы наградой за лжеподвиг фанатизма. Фанатик был бы истинно наказан лишь в том случае, если бы последствия его лжеподвига приняли совершенно неожиданный для него оборот. Поступите с ним не так, как он хотел бы, – поступите с ним вопреки его иступленной и одержимой злым началом воле, и вы подвергнете его действительному наказанию, и в то же время вы подорвете тот дух фанатизма, из которого он вышел. С одной стороны, строгое заключение, с другой – неотомимая и исполненная разума и любви забота Церкви о духовном врачевании иступленного фанатика, – вот неожиданный для виновного оборот последствий совершенного им преступления. Он не получит мученического венца лжесвятости ни в своих глазах, ни в глазах своих единоверцев; но он будет выведен наказующей рукой на путь возможного для него исправления и исцеления. Заключение под церковным началом было бы самой страшной карой в его собственном злонастроенном

чувстве, а равно и в чувстве его единомышленников; но оно было бы делом благодати и спасения в общечеловеческом и еще более в христианском чувстве, и так точно было бы оно оценено впоследствии и самим виновным, если бы Бог судил ему достигнуть исцеления. Монастырские затворы – вот лучшие места заключения для подобных преступников. Заботливый уход за подобными несчастными, очищение и перевоспитание религиозного их чувства, разумное врачевание души, руководимое христианским милосердием, вот одна из самых лучших задач для духовной практики монастырских затворников.

Но, говоря о преступном действии Заморина, мы не можем ограничиться только тем значением, какое оно может иметь для него лично. Заморин – перекрещенец, Заморин – раскольник, преступление Заморина не должно ли иметь последствий для раскольников вообще, хотя к раскольникам относятся без разбора самые разнообразные и враждебные одна другой секты? Не следует ли ожидать, что многие лица, пораженные преступным действием вологодского фанатика, станут сетовать на некоторые послабления, сделанные в пользу раскольников, и требовать возвращения к прежней системе стеснений и преследования? У нас действительно есть странный обычай, свидетельствующий о недостаточно выработанном юридическом смысле по отношению к некоторым еще не установившимся сферам общественной деятельности, – обычай обобщать значение частного поступка. Вспомним, кстати, о том, что во времена оные бывало с литературой. Появление какой-либо предосудительной статьи в журнале сопровождалось последствиями не столько тягостными для виновных, сколько для литературы вообще; вся литература должна была ответственность за нелепость, сказанную каким-нибудь сумасбродом, и полезная деятельность, плодотворная разработка того или другого вопроса останавливались единственно потому, что кто-то и где-то что-то соврал. Вместо того, чтобы судить частный проступок и подвергнуть виновного заслуженному взысканию, принималась какая-нибудь общая мера, которая стесняла печатное слово и падала всею своей тяжестью на людей

совершенно невиновных, а часто более всего на те здоровые силы литературы, которые всего успешнее могли бы противодействовать злу. Эта странным образом установившаяся точка зрения на литературу представляла всех пишущих в виде какой-то корпорации, хотя бы между ними не было и не могло быть ничего общего. Люди совершенно чуждые друг другу, направления взаимно исключаящие друг друга приводились в какую-то неестественную солидарность, подвергались какой-то странной круговой поруке, которая, разумеется, обращалась в пользу дурного и обессиливала хорошее. Чтоб убедиться в неестественности такого воззрения, стоит только приложить его к другим общественным сферам. Проступки и преступления совершаются людьми всех сословий: но что было бы, если бы за преступления одного или многих дворян должны были отвечать все дворяне и подвергаться ущербу в своих правах? Что было бы, если бы за проступки людей из купеческого звания должно было отвечать все купечество и подвергаться стесненно в своей деятельности? Но дворянство или купечество представляют собой организованные сословия, и если уж допускать, что все должны отвечать за действие одного или нескольких, то организованным сословиям было бы естественнее отвечать за действия своих членов, нежели отвечать друг за друга людям, которые не составляют и не могут составлять одного целого.

Раскол есть одно из самых прискорбных явлений у нас; но он возник, усилился и размножился, конечно, не вследствие излишней свободы. Он возник и размножился, и дал от себя все свои дикие отпрыски именно в ту пору, когда религиозные заблуждения раскола подвергались неутомимым преследованиям. Преступление Заморина – не новость; эпоха строгих против раскола мер представляет не один подобный случай. Это не плод новой системы, которая только что начинается, или, лучше сказать, предвкушается; это плод, завещанный прошедшим, равно как и самая секта, к которой принадлежит преступник. Общим именем раскола обозначаются у нас самые разнородные, взаимно друг друга исключаящие и антипатические меж-

ду собой секты. Сопелковские *бегуны*, или *странники*, – секта немногочисленная; по своему духу и характеру она и не может быть многочисленна; ее равномерно чуждаются все более или менее организованные раскольничьи согласия: она равно предмет отвращения как для старообрядцев Рогожского согласия, так и для беспоповцев Преображенских. Признавать или даже терпеть такую противообщественную секту, как *бегуны*, никакое государство не может, и государство, без сомнения, должно употреблять все зависящие от него средства к ее прекращению. Но самый верный или, лучше сказать, единственный способ к действительному пресечению явлений, подобных секте *бегунов*, есть не возвращение к старым порядкам, под темной сенью которых они родились и выросли, а более решительный переход к новым. Секта, отвергающая всякие власти, и духовные, и гражданские, не признающая никаких общественных отношений, не знающая семейства, отвергающая всякую прочную форму человеческого быта и деятельности, проклинаящая всякий честный промысел, поставляющая всю свою религию в том, чтобы быть беспрерывно в *бегах* и укрываться в подпольях, и всех, не ведущих такого образа жизни и не исповедывающих такой религии, всех, как православных, так и иноверцев, чествующая именем слуг антихристовых, – такая секта не может устоять при более сильном и правильном развитии гражданственности. Самое действительное средство к пресечению явлений противообщественных есть возможно более полное, возможно более широкое развитие общественных сил.

Люди, готовые обобщать преступление Заморина и видеть в нем знамение всего, что зовется у нас расколом, должны припомнить, что именно около того самого времени, когда было совершено это преступление, старообрядцы всех согласий, и Рогожцы, и Преображенцы, наравне со всеми верноподанными Русского Царя свидетельствовали перед престолом свою преданность Отечеству и свою готовность жертвовать за него достоянием и кровью. Какая же связь между этим общим духом, который так повсеместно обнаружился в раскольничьих согласиях, и отдельным фанатическим поступком

вологодского крестьянина? Почему же одиночный поступок должен вопиять громче и значить больше, чем совокупное явление целых обществ? Почему то, а не это должно служить руководящим знаменем и указанием наилучшей системы действий относительно раскола? В своих заявлениях раскольничьи согласия просят права считаться русскими гражданами, права жертвовать жизнью за Русскую землю, права видеть в ней свое законное Отечество; они просят некоторой терпимости, и если терпимость им оказывается, то где же тут семена того иступленного фанатизма, который мог бы выражаться в поступках, подобных поступку Заморина? Нет сомнения, что раскольники всех согласий, жаждущие терпимости и так смиренно ожидающие ее, более всех и с особенной силой будут протестовать против дел дикой нетерпимости, подобных безумному преступлению, совершенному в городе Грязовце фанатиком ничтожной противообщественной секты, презираемой и отвергаемой всеми.

ВЕРОТЕРПИМОСТЬ, ЕЕ СУЩНОСТЬ И ГРАНИЦЫ

И для отдельных людей, и для общества нет ничего опаснее смутных и сбивчивых понятий. Коль скоро понятия приобретают значение и силу в жизни, коль скоро люди начинают руководствоваться идеями, то первый долг людей не принимать их слепо, а подвергать критике. Теперь в большом ходу слово *либерализм*. Всякий старается отдать дань либерализму, всякий желает казаться как можно более либеральным. Но, к сожалению, нередко выходит, что люди с величайшим усердием работают в направлении, которое они считают либеральным и которое не только не имеет ничего общего с либеральным направлением, но и диаметрально противоположно ему.

Оказывать терпимость, не препятствовать, не вмешиваться, – вот направление либеральное, вот порядок идей, в которых оно выражается. Можно оспаривать и можно защищать это направление в той или другой степени его развития, но оспаривающие и защищающие должны знать, – одни, что оспа-

ривают, другие, что защищают. Деятельно следовать этому направлению значит иметь целью свободу жизни, требующую, чтобы всякая человеческая сила развивалась собственной внутренней энергией. Политическая свобода ничего другого не означает, как твердое, благонадежное обеспечение общественной и личной свободы со стороны государства. Либеральное правительство клонится к тому, чтобы предоставлять жизни естественное течение, и прогресс этого направления состоит в том, чтоб устранять из жизни все, что препятствует и мешает ее естественному ходу, не допускать насилия и отменять те законы и учреждения, которые представляют собой организованное вмешательство в жизнь. Либеральному в этом смысле правительству соответствует консервативное общество, то есть общество, исполненное крепких сил, способных к живой и плодотворной организации. При отношении разумном и правильном чем либеральнее правительство, тем консервативнее общество. С точки зрения терпимости, свободы, либерализма, можно допускать, например, в обществе существование разных вероисповеданий и переходы от одного к другому; можно допускать выражение всякого рода мнений, можно допускать полную свободу исследования по всем частям человеческого ведения. Все это понятно с либеральной точки зрения, все это согласно с ней. Наконец, с либеральной точки зрения можно допускать даже нападки на существующий порядок вещей, терпеть критику господствующего вероучения, терпеть более или менее радикальные оппозиционные партии. В том или другом из таких допущений можно находить крайности, неразумные излишки. Но все это находится в одном и том же порядке идей, все это идет в одном и том же направлении. Против упреков за допущение полной свободы мнений и верований либеральное направление может отвечать, что свобода всего лучше способствует делу истины, что внутренние силы жизни, не ослабляемые подпорками и предоставленные себе, всего успешнее преодолевают зло и предупреждают его развитие, лишь бы только не было каких-нибудь прямых или косвенных вмешательств в дело свободы и жизни.

Но терпеть, не препятствовать, не вмешиваться ни на каком языке не значит: помогать, поощрять, вмешиваться. С либеральной точки зрения, можно терпеть зло, но мы не знаем, с какой точки зрения можно поощрять его или пособлять ему. С либеральной точки зрения, можно, например, допускать полную свободу вероисповеданий, не препятствовать переходам от господствующей Церкви ко всякой другой; но можно ли было бы назвать либеральным образом действий такую политику, которая стала бы, напротив, разными комбинациями способствовать успехам чуждого вероисповедания в ущерб господствующему? Если можно понять в добром смысле терпимость ко всяким отрицательным учениям, то либеральное направление не поймет, каким образом подобные учения могут быть вводимы в общество правительственными средствами, преподаваться в школах, содержимых на казенный счет, или излагаться в изданиях, находящих себе какую бы то ни было поддержку со стороны правительства, или даже просто выходящих в свет с его специального разрешения. Политика вмешательства в обратном смысле не только не согласна с либеральным направлением, но была бы совершенным извращением его, была бы относительно его тем, что в математике называется величиной отрицательной.

Принцип правительственного невмешательства не есть что-либо чуждое правительству, что-либо идущее наперекор ему, умаляющее или стесняющее его; напротив, этот принцип есть сама правительственная мудрость: в развитии этого начала заключается весь прогресс и правительств, и обществ. Государственная сила так велика, так веска и так многодейственна, что малейшее неосторожное склонение ее в какую-либо сторону, малейшая искусственная примесь ее к чему бы то ни было не остается без глубоких последствий и рано или поздно непременно вызывает какие-либо серьезные затруднения и вмешательства. Никакая человеческая мудрость не может рассчитать всех тех отзывов, которые могут последовать в сложной общественной организации и миллионах людей в силу одного какого-нибудь толчка, сообщенного тому или другому движе-

нию незаметным правительственным вмешательством. Даже то, что кажется совершенно одобрительным и полезным может в своих последствиях совершенно изменить свою натуру вследствие правительственной примеси.

У нас, между прочим, есть одно печальное наследие нашей прошедшей истории – у нас есть раскол. Раскол подвергался стеснениям и гонениям, которые не смягчили, не ослабили его, а только укрепили и усилили. Раскол – это великое бедствие нашей Церкви, и родился он именно вследствие того, что к делу свободы и жизни, к делу Церкви примешалась стихия принудительная. Но теперь взгляд на раскол в нашем обществе изменяется. Теперь все хотят смотреть на него с либеральной точки зрения. Давай Бог! Чем более терпимости может быть оказано расколу, тем лучше. Терпимость замирит то зло, которое породило его, терпимость отнимет у него яд, и если суждено когда-либо восстановление нарушенного церковного единства в нашем народе, то оно всего вернее и успешнее может совершиться путем терпимости и свободы, предоставленной целительным силам жизни.

Можно спорить о степени свободы, которую следует предоставить расколу, можно спорить о благовременности тех или других мер в либеральном смысле; но во всяком случае самый либеральный взгляд на раскол может требовать только того, чтобы его оставить в покое, не вмешиваться в его дела, то есть чтобы предоставить его собственным его средствам и силам. Далее этого никакой либерализм идти не может; далее этого возможно только извращение не только либерализма, но и здравого смысла.

Нет никакого сомнения, что с точки зрения не только либерализма, но и здравого смысла можно скорее допустить самую безусловную свободу расколу, нежели какое-либо правительственное пособие ему. Полная свобода во всяком случае может иметь своим последствием то, что у раскола была бы отнята пища для вражды против Церкви и существующего порядка вещей, а тем было бы отнято основание для самого существования раскола, так что ему пришлось бы остаться ни при чем.

Но всякое правительственное вмешательство в дела раскола, всякое попечительство о его нравственном и умственном развитии путем правительственной организации, может повести лишь к пагубным последствиям. Несравненно либеральнее и в то же время консервативнее – предоставить раскольникам право содержать не только свои молельни, но и свои собственные школы, иметь своих собственных наставников, жить и учиться как знают, своим умом и своими средствами, – нежели создавать для них особые учреждения, заводить для них особые казенные школы и приставлять к ним особых учителей от министерства. Путем правительственного вмешательства непременно будут внесены в их среду такие элементы, которые в соединении с ней не преминут создать самую опасную фальшивую силу, – во всяком случае, положено будет начало радикальному отчуждению их от православного общества. Благодаря успехам времени старообрядцы уже значительно утратили прежнюю напряженность и неприязненность в отношении к православному обществу; они легко сближаются с православными, многие охотно посылают своих детей в общие школы. Но каких последствий можно было бы ожидать, если бы правительство само обвело чертой особую цивилизацию для раскольников, само организовало для них особые школы? Мудрено ли, что тогда между ними вскоре появились бы всякого рода вероучители и организаторы, которые сумели бы придать новое значение всем их символам?

Если от свободы не будет лучше, то не будет и хуже. Много раскольников уходило от преследования в Турцию; они жили и живут там на свободе, без всякого благопопечительства и призора. Беды от них нигде не произошло; стало быть, нет серьезных опасений оставить их без особенного призора и внутри России, где, напротив, при благоприятных условиях есть еще надежда возвратить путем свободы коснеющие в расколе массы к корню, от которого оторвали их предков дух нетерпимости и насилия. Недостаток попечительства положительно лучше, чем излишек его.

Из сказанного вовсе не следует, чтобы правительству ничего не оставалось делать по отношению к вопросу, которого

мы сейчас коснулись. Для его попечений и забот остается еще широкое поприще. Оно может принимать самые плодотворные меры, внушаемые политической мудростью, меры, направленные к тому, чтоб облегчать сближение между раскольниками и православным обществом, то есть отыскивать и устранять все, что может этому сближению препятствовать. Вместо того, например, чтобы заводить специальные для раскольников школы, лучше устроить дело так, чтобы ничто не отпугивало их посылать своих детей в общие школы и чтобы там не заставляли детей их учиться тому, чему они еще не хотят учиться.

А вот еще другой вопрос: ниже, в этом самом номере, помещается письмо, присланное нам из Малороссии, с сетованиями на украинофильские затеи, о которых не раз доводилось нам говорить. Будь у нас предоставлена полная свобода всякому делать, писать и издавать все что угодно, без всякого контроля и разрешения, то никому бы и в голову не пришло заботиться о том, что пригрелось тому или другому мечтателю. Но так как у нас все, что ни делается в обществе, делается при большем или меньшем участии правительства, то всякое ничтожество может неожиданно получить серьезное значение и силу. Малоросс Вольнец высказывает в своем письме опасения относительно украинофильских стараний пустить в народ Евангелие на малороссийском наречии. По-видимому, эти опасения не согласны с либеральной точкой зрения. Речь идет не о содействии, не о пособии, а только о разрешении. Но, повторим, кто хочет руководствоваться в своих действиях понятиями, тот должен тщательно проверять их и отдавать себе ясный отчет в них. Где существует необходимость получать разрешение, там разрешение имеет особый смысл, особую силу, а тем более по отношению к таким предметам, как священные книги. Разрешение Синода есть даже не просто разрешение, но благословение. Лучше предоставить всякому издавать что угодно без всякого разрешения, нежели напутствовать сомнительное дело разрешением, имеющим со стороны правительства силу одобрения, со стороны Церкви – силу благословения. Разрешая, Синод благословляет, и народ некоторым образом

обязывается принять то, чего он, конечно, не принял бы ни при какой свободе без благословения Церкви или без особенного одобрения законных властей.

ПРИЧИНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ РАСКОЛА И ПУТЬ К ЕГО УНИЧТОЖЕНИЮ

В расколе, конечно, таится зло, – а ко злу нельзя относиться равнодушно, со злом нельзя мириться.

Какие бы меры ни придумывали мы против раскола, все должно выходить из одного побуждения и клониться к одной цели – поразить зло. Всякая примирительность, всякая терпимость относительно зла была бы грустным признаком несостоятельности нашей народной жизни и грозила бы ей пагубой.

Но в человеческом мире нет безусловного зла; самые зловредные явления не состоят исключительно из одного зла. Если бы зло являлось без примеси, если б оно везде обозначалось с полной ясностью, то борьба с ним была бы делом легким. Мы замечаем его присутствие по хаосу и смущению, которое причиняет оно в жизни; но недостаточно видеть признаки зла, надо открыть его корень, надобно отыскать то место, где оно прикоснулось к нам, откуда началось оно, откуда пошло его действие. В мире нет ничего, что было бы совершенно застраховано от зла, в чем не происходили бы расстройства и смуты. Были суровые мыслители и мрачные строители общества, которые для избавления жизни человеческой от уклонений и неправильностей считали за лучшее воспрещать самую жизнь, то есть лишать ее свободы. Но такие попытки влекут за собой худшее из всех зол: они убивают то, что хотят спасти.

Если мы желаем определить с точностью наши отношения к расколу, то мы должны добраться до источников смуты, мы должны коснуться начала, которое производит и поддерживает ее. Ознакомившись с ним, мы, может быть, приблизимся и к решению практической задачи, как поступить с расколом или как избавиться от смут, которые он вносит в нашу жизнь.

Что мы видим в расколе? Всякий сколько-нибудь просвещенный человек усматривает в нем грубое невежество. Это легко усматривается. Раскольники воображают себя хранителями древнего, чистого православного обряда и не хотят знать, что эти древности, которых они держатся, были большей частью случайные искажения позднейшего времени. Не много требуется образования и науки, не много требуется умственного развития для того, чтобы понять, что все эти особенности, которые составляют, по-видимому, сущность раскола, основаны на очевидных искажениях буквы. В этом хламе действительно не усматривается никакой живой мысли, никакого организующего начала. Естественно подивиться, каким образом из ошибок писцов, из случайных словоискажений, из моментов чисто отрицательных могла образоваться столь положительная вера. Эту внутреннюю бессмыслицу раскола иностранцы ставят в упрек нашему народу; да и мы сами, сетуя на смуты, производимые им в нашей народной жизни, не менее сетуем и на то, что в этой смуте не оказывается никаких духовных даров, что в этом порождении нашей народной жизни нет ничего, кроме невежества и умственной грубости. Нет, это не есть даже заблуждение, потому что заблуждение предполагает более или менее деятельность ума, движение мысли; это большей частью простая бессмыслица и безграмотность. Довольно припомнить, что у раскольников имеет значение почти догмата начертание имени *Исус*, происшедшее вследствие произвола или неграмотности писцов и, очевидно, менее соответствующее греческому начертанию, нежели восстановленное в исправленных книгах: *Иисус*.

Но неужели, в самом деле, из таких ничтожных причин могло развиваться явление, которое держится так упорно и так широко захватило народную жизнь? Неужели очевидная бессмыслица может иметь такую силу, так крепко связывать людей, так сильно овладеть их душой! Нет, как ни печально это явление, оно для внимательного наблюдателя в самой глубине своего зла откроет не столько скудность и слабость, сколько, напротив, силу народного духа.

Исправление богослужебных книг и восстановление чистоты православного обряда были бесспорно существенной потребностью Церкви; но обстоятельства времени мало благоприятствовали вполне удовлетворительному решению этой задачи. Исправители, как известно, не всегда соответствовали ее требованиям. Дело шло не так, как оно пошло бы при других лучших условиях. Не исправления книг и обрядов сами по себе могли стать причиной смуты, но способ, каким это дело делалось и каким оно налагалось на народ. Наука тогда не процветала на Руси; самая грамотность была редким исключением. Кто же в то время мог на Руси с отчетливостью разобрать существенное со случайным и отличить искажение и наносную примесь? Но при невежестве и неграмотности народ был исполнен непоколебимой преданности православию, он тяжкими жертвами отстаивал свое православие, в нем он видел все свое спасение, он крепко держался всей совокупности данного; он боялся всякого изменения: во всяком нововведении, хотя бы оно было в сущности восстановлением первобытной чистоты православных обрядов, видел он покушение отнять у него самую сущность православия и совратить его в латинство, с которым он так долго и тяжело боролся. Если бы преобразования совершались менее настойчиво и более соответственно со средствами тогдашней науки, если б они совершались менее круто и с большей постепенностью, а главное, если б они совершались без вынуждения и насилия, без раздражения и озлобления, без кар и торжественных проклятий, то они, по всему вероятно, не возбудили бы в нашей народной жизни той печальной смуты, которая выразилась в расколе и длится до сего дня.

Итак, вот где первоначальное зло, из которого произошла смута. Народ не мог принимать совершавшиеся исправления с полным убеждением их верности. Но, с другой стороны, была ли необходимость налагать вынудительно на совесть людей те исправления, которые хотя и требовались церковным благоустройством, но которые не составляли самой сущности Церкви, так что Церковь могла и без них стоять? Было ли так важно, так существенно, так крайне необходимо для право-

славного христианства, например, креститься трехперстным или двухперстным знамением, чтобы не соглашавшихся на то подвергать проклятию? Не только простые люди, но и духовные упорно держались двухперстного; но не утвердила ли их в этом упорстве та настоятельность, с которой преобразователи побуждали колеблющихся отстать от одного и пристать к другому? Не были ли виной раскола проклятия и отлучения от Церкви за то, что к сущности Церкви не касалось? Не выразился ли в расколе протест раздраженной совести, отстаивавшей свою свободу против вынудительного авторитета, в котором ей чувствовалось нечто чуждое православию?

Что народ был невежествен, что он невежествен и теперь, в этом винить его нечего. По незнанию человек может придавать существенный смысл тому, что такого смысла не имеет; но символ, которого крепко держится совесть, придавая ему существенное значение, какого он не имеет, может быть терпим именно потому, что сам не имеет существенного значения. Святыня христианства и истина православия не могут зависеть от некоторых колебаний и разностей в обрядах и символах. Дух Церкви может только возвыситься, ее истина может стать только светлее, ее единство непоколебимее вследствие ясно сознаваемого и принимаемого различия между сущностью Церкви и теми принадлежностями ее обряда, которые сами по себе существенного значения не имеют, а потому могут быть и не быть, не колебля Церкви, не потрясая ее основ, не нарушая ее единства.

Что мы находимся около той причины, от которой произошла печальная смута, оторвавшая от Церкви множество народа, доказательством тому служит одно событие нашего времени. Дух нетерпимости, жертвующий существенным случайному, был порождением темных времен. Он противен Православной Церкви, и она доказала это, открыв свои недра для отпавших сынов своих, не насилуя их совести, не вынуждая их отказываться от того, что издавна было для них святыней. Церковь предоставляет им свободу держаться тех обрядов, которыми они дорожат, и, несмотря на разницу обряда, признает

их своими детьми. И она дала им особые храмы, получившие название единоверческих или благословенных.

Суждена ли будущность этим храмам, принесут ли они ту пользу, которую, без сомнения, ожидала от них мудрая создавшая их мысль? Все зависит от того, в каких размерах разовьется начало, положенное в основание этих храмов, – этот дух терпимости, полагающий различия между существенным и несущественным. До сих пор они, к сожалению, не оказали значительного действия; раскол не колебался, единоверческие храмы не умножаются и число прихожан их не возрастает. Но от того ли это происходит, что мысль, руководившая созданием этих храмов, не была верной мыслью, или, напротив, потому, что она еще не вполне выразилась в своем создании?

Нам кажется, что единоверческие храмы могут не прежде удовлетворять своему назначению и достигать своей цели, как когда исчезнет всякое сомнение в их полном единстве с православными храмами. В настоящее время положение их двусмысленно, и от того во мнении народа, во мнении раскольников и в чувствах самих единоверцев храмы эти не имеют того значения, какое они должны были бы иметь. Конечно, для всякого просвещенного, знающего и мыслящего человека обряды, составляющие отличие единоверческого богослужения не соответствуют первобытной чистоте православного обряда; однако тем не менее Церковь признала это обстоятельство несущественным. Что в самом деле значат эти обряды, – что значит и сугубая аллилуйя, и двуперстное знамение перед лицом того факта, что в этих храмах, при этих обрядах совершаются таинства Православной Церкви? Что значат эти различия, когда в этих храмах священнодействует православное духовенство и когда они находятся под одной с Православной Церковью иерархией? Но если единоверческие храмы в самом главном и самом существенном ничем не разнятся от православия, то они могут быть одинаково открыты, как для раскольников, так и для православных. Только при этом условии единоверческие храмы могут окончательно получить то значение, которое предполагают дать им, и могут приносить ту

пользу, которая от них ожидалась. Надобно, чтоб единоверцы могли вполне чувствовать и признавать себя детьми Церкви, и чтоб отношения Церкви к ним имели характер несомненной искренности. Только таким полным уравниванием единоверия с православием может быть нанесен решительный удар тому злу, которое живет в расколе и дает ему духе.

Чем снисходительнее и великодушнее будет Церковь относительно восприсоединяющихся к ней отпавших детей ее, чем менее будет она оставлять в них чувства какого-либо отчуждения от нее, тем менее может оставаться внутренних причин для существования раскола, по крайней мере, в самой главной и многочисленной его секте, – секте, принимающей священство. Во всяком случае прозелитизм раскола утратит всякую опасность, если православным будет предоставлена полная свобода в выборе того или другого храма, и если перейти из одного храма в другой будет иметь не более значения, как перечислиться из одного прихода в другой. Насколько поднялось бы значение единоверия, настолько упала бы сила раскола. Возвышение единоверия было бы, в сущности, ничем иным, как торжеством Церкви над расколом. Нечего опасаться, чтоб единоверческий обряд не слишком усилился насчет чисто православного, нечего опасаться, что единоверческие храмы могут слишком переполниться прихожанами из чисто православных храмов. Если бы и в самом деле так называемый старый обряд единоверческих храмов оказал сильное притягательное действие на православный народ, то Церковь не потерпела бы от того никакой существенной утраты. Мы даже думаем, что с размножением единоверческих храмов победа Церкви над расколом была бы вернее и полнее. Но Церковь не может, однако, быть совершенно равнодушной к чистоте своих обрядов, знамений и символов. Не естественно ли опасение, что благодаря полноправию единоверия в наших храмах может возобладать обряд менее чистый над более чистым? Опасение напрасное! То чувство раздраженной вынуждением совести, которое было душой старого обряда, замиряется в единоверческом храме; а затем с течением времени, с каждым новым

поколением, с каждым новым шагом просвещения и гражданственности старый обряд может только падать и ослабевать, а никак не возрастать, никак не усиливаться.

Православие и католицизм

О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЕ (РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЕ ИСПОВЕДАНИЕ)

Свобода совести и религиозная свобода – слова хорошие, но они хороши только с умом, – а без ума что может быть хорошего! Свобода, как религиозная, так и всякая другая, не значит давать оружие нашему врагу; свобода не значит отказываться от власти в пользу чужого деспотизма. Религиозная свобода не значит простирать терпимость до того, чтобы водворять у себя чужую нетерпимость. Мы можем желать и желаем религиозной свободы; но не можем и не должны желать никакой поправки властолюбивым притязаниям чуждой Церкви, которая захотела бы пользоваться у нас правами господствующей Церкви, и даже большими. Мы не можем желать, чтобы в России был допущен папский нунций, который в качестве представителя чуждой власти стоял бы посредником между русской короной и ее католическими подданными. Этого мы не можем желать, но это вовсе не относится к религиозной свободе, хотя этого требует от нас его святейшество папа во имя религиозной свободы. Пусть прежде потребовал бы он, например, от испанского правительства, для которого голос его имеет непререкаемый авторитет, чтобы в Испании люди других христианских исповеданий могли жить и умирать похристиански, а не считались язычниками и собаками. У нас католикам нет ни малейшего стеснения; они имеют свою Церковь, свою иерархию и духовенство их во многих отношениях чуть ли не лучше поставлено, чем духовенство господствующей у нас Церкви. Католические подданные русской державы

ничем не унижены пред православными, они могут быть и военачальниками, и градоначальниками. Стало быть, ни папа, ни католические подданные русской державы не имеют права жаловаться на нетерпимость к ним русского закона.

В чем же может состоять у нас расширение религиозной свободы, и с какой стороны могут быть заявлены подобные желания? Как католическая, так и другие признанные христианские Церкви пользуются у нас всеми правами и льготами, каких только могут они разумно желать. Вопрос о религиозной свободе совести отнюдь не должен быть поставляем, как вопрос расширения прав той или другой иноверческой секты, но как вопрос, касающийся льгот, принадлежащих русским людям.

Русский народ не может изменить Православной Церкви, в ней душа его, в ней святыня его народности. В ней он возрос, в ней он воспитан, ею утверждена его самостоятельность и в ней вся его будущность. Православная Церковь есть наша народная Церковь, и такой она должна остаться. Государство должно ограждать ее, оберегать ее и от разбойника, и от татя, усиливать и улучшать положение ее служителей, чтоб они могли успешно и крепко пасти свою паству, не допускать со-вращения малолетних. Но едва ли обязанности государства могут простираться на совесть людей взрослых и самостоятельных, едва ли может оно полагать свой меч между совестью человека и Богом. Мы можем скорбеть об отпадении человека, но можем уважить свободу его совести. Лучше ли, чтобы он лицемерил и сквернил Церковь ложным единением с ней? Если мы можем находиться во всякого рода общении с немцами и французами, если мы допускаем смешанные браки, то нет основания отвергать русского католика или протестанта, тем более что мы между своими же согражданами считаем много людей совершенно преданных нашему Отечеству, людей хотя бы и с иностранными именами, но русских по рождению, по языку, по образу мыслей, не принадлежащих, однако, к Православной Церкви.

В настоящее время с особенной силой возникает вопрос о сближении разнородных элементов, входящих в состав рус-

ского государства. Должны ли мы желать, чтобы между этими элементами господствовала религиозная напряженность и чтоб она усиливалась и поддерживалась вмешательством государства в дела совести и религиозного убеждения? Русские подданные католического вероисповедания, составляющее большинство высших классов в наших западных губерниях, могут ли считать себя вполне русскими людьми (а они должны считать себя такими), когда им беспрестанно напоминают, что русский человек отнюдь не может быть католиком? С другой стороны, можем ли мы ожидать, чтобы католическое духовенство, признаваемое и содержимое нашим правительством, было искренно предано интересам России, когда оно принуждено считать себя органом и символом враждебных России, не дозволительных в ней национальных польских притязаний? Не значит ли этим, с одной стороны, отчуждать постоянно польскую национальность от России элементом религиозным, а с другой стороны, делать католическое духовенство органом враждебных России национальных притязаний?

В настоящее время особенно чувствуется необходимость разобщить эти два элемента, национально-польский и религиозно-католический, которые вовсе не совпадают между собой, но которые у нас благодаря стечению обстоятельств по необходимости совпадают и в совокупности образуют самый вредный в нашем государственном составе элемент. Нет никакого сомнения, что из русских людей не многие изменили бы Православной Церкви даже при самой полной религиозной свободе. О простом народе нечего и говорить, лишь бы только мы сами не вздумали отдать его в чужие руки. Отщепенцы могли бы оказаться только в образованных классах. Но в так называемых образованных классах мы, к сожалению, встречаем более признаков безверия или равнодушия к вере, нежели склонности к обращению в какое-либо другое вероисповедание. Мы должны усилить наше религиозное воспитание в домашнем быту и школах; мы должны поставить наше духовенство в лучшие условия, для того чтоб оно могло с успехом поддерживать религиозное чувство в обществе, с успехом исполнять свое на-

значение в религиозном воспитании как народа вообще, так и образованных классов его. Более всего следует желать, чтоб оно предохраняло растущие поколения от легкомыслия и безверия. Нет сомнения, что с религиозной точки зрения лучше, чтобы человек исповедовал какую-нибудь веру, чем оставался без всякой веры или, как наши нигилисты, полагал свою религию в духе отрицания и с бессмысленным фанатизмом служил этому божеству. Уж если необходимо сделать выбор, то лучше предпочесть прозелитизм католический, чем прозелитизм безверия и отрицания. Но духовенство, будучи поставлено в благоприятные условия для религиозного воспитания общества, спасая и ограждая религиозное чувство, тем самым будет вернее других способов привязывать людей к Православной Церкви и предотвращать всякую иноверческую пропаганду.

Обращаясь к теперешним нашим затруднениям, спросим себя, не лучше ли было бы, если бы католическая иерархия в России не состояла преимущественно и почти исключительно из национальных польских элементов? Римско-католическое вероисповедание в России становится *de facto* польским национальным учреждением, а это, как замечено выше, приводит в ложное положение как Римско-Католическую Церковь у нас, так и польскую народность. Всем известно, какое участие принимали и принимают польские ксендзы в нынешних волнениях и смутах. Трудно оградить даже солдат наших польского происхождения от влияния духовных бесед с ксендзом, в которых религиозное слово озлобляется духом национальной пропаганды, а национальная пропаганда фальшиво усиливается примесью религиозного авторитета. Мы с негодованием слышим о подвигах польско-латинских ксендзов, об ужасах, совершаемых ими, о темных делах, которых они являются главными виновниками и которые несовместны с духом какой бы то ни было христианской Церкви. А Римско-Католическая Церковь есть Церковь христианская. Несмотря на ее заблуждения, мы не можем не признать за ней этот характер христианской Церкви. Не везде же католическое духовенство действует так, как в настоящее время действует польское. Католические

духовные лица, свободные от фальшивой национальной или политической примеси и не находящиеся под терроризацией революционных комитетов, действовали бы несомненно иначе. Но откуда могли бы мы взять других католических иерархов и священников? Откуда? Есть целые славянские страны, исповедующие католическую веру; укажем преимущественно на чехов, которым ничего не стоит в самом скором времени знать как нельзя лучше и русский, и польский язык. Приглашаемые нашим правительством в Россию для католических жителей империи, преимущественно для находящихся на службе, они могли бы вернее и надежнее пасти свое духовное стадо, чем польские ксендзы; по крайней мере, дело католической религии не было бы монополией в руках польских ксендзов, которые под видом религии внушают и воспитанникам, и вообще духовным детям своим безумную ненависть к России и дух революции. Все зависит от тона, от главного направления, от принятого начала. Как только дело религии перестанет быть монополией какой бы то ни было национальности, коль скоро в католическую иерархию будут приняты в значительном количестве и другие элементы, кроме польского, так тотчас церковное дело более или менее явственно отделится от политического, и те же самые ксендзы во многом, и очень скоро, изменят свой характер. Они невольно почувствуют свое истинное назначение – быть служителями алтаря, а не орудиями революции, политических разговоров и интриг. Начало религиозной свободы, понятое в своем истинном и разумном смысле, довершило бы победу над злом. Есть несколько русских людей, перешедших в католицизм, утративших свои гражданские права в России, живущих на чужбине и поступивших в духовенство. Мы припоминаем теперь одно имя одного русского человека, который назад тому с лишком двадцать лет покинул свое Отечество, принял католицизм и живет теперь священником в Дублине. Это человек с замечательными способностями и редким образованием. Мы говорим о Печорине. Он был профессором в здешнем университете, но не долго, всего шесть месяцев. Отправившись ненадолго за границу, он остался там

навсегда. С ним был случай, который глубоко потряс его и на век решил его участь. Это было в католическом городе Брюсселе. Молодой человеку, не получивший твердого религиозного воспитания и легкомысленно относившийся к предметам веры, он зашел в церковь, чтобы посмеяться и покощунствовать; он легкомысленно назвал на богословские споры, чтобы дать в них волю своему остроумию; но крепкий боец, с которым он схватился, поверг его во прах; монах-редемпторист сумел найти доступ в его душу и тронул в ней никогда дотол не звучавшую струну религиозного чувства. Впервые молодой вольнодумец почувствовал силу религиозного убеждения, впервые обрел он в себе способность молиться и обращаться ко Христу. Восприимчивый и пылкий, он весь предался новому могущественному чувству. Бросим ли мы в него камень? Укорим ли его за отпадение от Православной Церкви, которой он почти не знал и к которой принадлежал только по имени? Он стал католиком, но он стал христианином. Убеждение его было искренне и чисто; все знакомые Печорина свидетельствуют о том. Образованный и развитый ум спас его от изуверства, в которое нередко впадают новообращенные. Он тихо исповедует свою веру, молится, служит при больнице, утешая страждущих и напутствуя отходящих в вечность. Но, преданный делу своего церковного служения, он, может быть, не без грусти вспоминает о своем далеком Отечестве. Неужели какой-нибудь ксендз Мацкевич, предводительствовавший шайками мятежников в Литве, имеет более прав жить и священствовать в России нежели, например, Печорин? Неужели непременно нужно, чтобы духовник наших солдат католиков был поляк и говорил не иначе как по-польски? Неужели непременно требуется усиленно отчуждать наших католических сограждан в западном краю от русского языка и заставлять их исповедываться, слушать проповедь и учиться закону Божию на языке польском? Неужели непременно нужно, чтобы люди, которые и для своего, и для нашего спокойствия должны чувствовать и знать себя русскими, – какой бы ни были они религии, – неужели непременно нужно, чтобы эти люди не иначе мыслили

и говорили о предметах своей веры, как по-польски? Неужели непременно нужно, чтобы самый священный предмет, самая глубокая основа человеческой жизни соединялась неразрывно с языком, который служит символом притязаний столь же враждебных для России, сколько несбыточных, изнурительных и пагубных для тех людей, в которых они искусственно поддерживаются? Если русский язык есть язык господствующий в западном краю столько же, как и в восточном; если на этом языке отправляется суд; если на этом языке преподаются все предметы в школах, то почему же на этом языке не может быть преподаваемо и слово Божие по римско-католическому догмату? Неужели бояться, что допустив на русском языке католическую проповедь и вероучение, мы этим сохратим русский народ и повредим нашей Православной Церкви? Да если бы десятки и сотни русских людей и стали католиками, то был ли бы какой-нибудь ущерб от того для Православной Церкви? Не лучше ли ей освободиться от элементов неверных, которые никогда существенно не принадлежали ей и, быть может, не только были внутренне чужды ей, но не имели никакой религии? Отпадение таких элементов может не ослабить, а разве усилить нашу Церковь.

Государство не должно поощрять отпадений от Православной Церкви, – а поощрения могут быть не только прямые, но и косвенные, действующие издалека, и такими путями, которые, по-видимому, клонятся в противную сторону. Все, что ведет к расслаблению духа в Церкви, все, что роняет или унижает положение ее служителей, все, что умаляет ее участие в народном воспитании и образовании; а с другой стороны, всякого рода преимущества, нравственные или материальные, сознательно или бессознательно предоставляемые другим вероисповеданиям, – все это может очень сильно поощрять к отпадениям. Государство должно высоко держать знамя Церкви, блюсти ее честь и величие повсюду, но оно должно не ослаблять ее духа посторонними подпорками и помочами. Такая опека и заботливость о ней, в сущности, гораздо для нее вреднее, чем ожесточенный напор враждебных сил. Мы должны верить в

ее внутреннюю святую силу, а искусственные подпорки могут выразить только недостаток нашей веры в эту силу, и непременно отзовутся всякими злоупотреблениями, всяким вредом и упадком. Времена меняются, и каждое время несет свою работу. Что было возможно или даже необходимо в былые эпохи, то становится обильным источником зла в наше время. Дух отрицания в соединении с умственной грубостью и невежеством зародился и развивается в воспитательных заведениях самого духовенства. Только мощная, живая, внутренняя сила в духовенстве может избавить его и нас от этой язвы. Надобно безотлагательно улучшить положение нашего духовенства, надобно уважить его, надобно устранить все, что препятствует ему занять надлежащее место в воспитании народа; надобно глубже и серьезнее вникнуть во все условия его быта, пересмотреть учреждения, пресечь злоупотребления и с тем вместе устранить все, что усыпляет в Церкви дух жизни и действия.

В целом мире должны мы охранять честь, достоинство и величие нашей Церкви. Она по преимуществу вверена нашему народу. Мы должны защищать ее интересы пуще всего. Тут ни о какой уступке, ни о каком послаблении не должно быть речи. Везде, где страдают интересы нашей Церкви, мы же, держава великая, не рассуждая и не колеблясь должны спешить на защиту ее. Чего бы эта защита ни стоила, мы не должны ни минуты колебаться. Ни в чем не должны мы уступать ни католическим державам, ни папе; им ни в чем не должны уступать мы ни на Западе, ни на Востоке. Папского нунция мы не должны принимать. Подобными уступками мы ничего не выиграем, а, напротив, проиграем. Чем принимать папского нунция, лучше не изгонять русских людей, ставших членами хотя и чуждой нам, но признаваемой нами Церкви.

Франция – страна католическая, она считает своим долгом защищать католические интересы на всем земном шаре. Напрасно мы думаем, что можем иметь ее своей доброй союзницей на Востоке, где православие и католицизм находятся в постоянной и глубокой борьбе между собой: нет, именно на Востоке Франция самая главная противница и соперница

наша. Но римско-католический характер этой державы не препятствует французам переходить в другую Церковь. Православная Церковь не пользуется никакими особенными льготами во Франции, но француз-католик может без всякого препятствия присоединиться к православию. Недавно из рук отца Васильева, нашего священника в Париже, причастился Св. Таин католический аббат француз Гетте, который пожелал присоединиться к нашей Церкви. Став православным, о. Гетте не потерял гражданских прав, он не изгнан из Франции. В Англии Католическая Церковь не только не пользуется никаким почетом, но самое существование ее едва признано законом. Англиканская Церковь есть в Англии национальная Церковь, как у нас православная, и закон там бодрствует о соблюдении всех интересов национальной Церкви; но англичанин может свободно стать и католиком и православным, может свободно вместо учрежденной Церкви ходить для молитвы в диссидентскую часовню. Вот в каком направлении должны мы сделать шаг вперед, если только мы хотим сделать шаг вперед. Вот чего можем мы требовать от себя и чего могут ожидать от нас другие в смысле взаимности. И только что-либо в этом смысле, — что-либо соответствующее нашим собственным интересам, что-либо усиливающее нас, возвышающее наше достоинство, — только что-либо такое может приобрести нам всеобщее уважение и возвысить наше всемирное значение.

Церковно-славянский язык — язык Русской Церкви

К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ СВ. ПИСАНИЯ СО СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ

Давно уже было у нас на сердце сказать несколько слов по поводу предпринятого в последнее время так называемого перевода Священного Писания со славянского языка на русский. Потребность приблизить эти книги к народному разумению и

открыть свободный и легкий доступ к ним для всех и каждого чувствовалась и в прежнюю пору. Но при господствовавших в прежнюю пору порядках и воззрениях нечего было и думать об удовлетворении этой потребности. Под видом охранения начал нашей духовной жизни тогда считалось лучшим вовсе не допускать их до жизни и держать их взаперти. Люди, находившие полезным распространение Священного Писания в народе, казались крайними либералами, якобинцами, опасными как для церковной, так и гражданской тишины. Было время, когда даже блаженной памяти митрополит Филарет слыл за подобного якобинца. Российское библейское общество, имевшее целью распространение Священного Писания в народе, подверглось гонению как злонамеренный заговор и было закрыто. Якобинцам удалось только настоять на переложении Нового Завета и Псалтыри: зато приняты были меры, чтобы эти опасные книги не могли распространиться в народе; Евангелие в русском переводе приобрести было очень трудно. Хотя Британское библейское общество печатало его и продавало по дешевой цене, но меры против его распространения в России были гораздо деятельнее и успешнее, чем против изделий революционной печати. Только в наше время найдено возможным и должным озаботиться распространением Евангелия в общедоступном изложении. В наше время созрела наконец мысль и об общедоступном изложении всех книг Священного Писания, и мысль эта приводится теперь в исполнение. В виде пробы почти при всех духовных журналах печатаются теперь различные части Священного Писания в русском переводе.

В русском переводе! Но разве Священного Писания не было до сих пор на русском языке? На каком же языке читается оно до сих пор в наших храмах? Разве не на славянском, и разве русский язык не есть славянский? Разве кроме церковнославянского был еще какой-нибудь другой язык, на котором выражалась духовная жизнь нашего народа в древнюю пору его исторического существования? Разве не все памятники нашей древней письменности, не только церковной, но и светской, писаны тем же в сущности языком, на который переведе-

ны для Русской Церкви книги Священного Писания? Русская Церковь, – но почему же она русская, если даже язык, употребляемый ею, только теперь хотят перевести на русский язык?

Нет, мы полагаем, что так называемый церковный язык есть существенная стихия русского. Церковно-славянское слово принадлежит к истории русского слова и есть как бы его первоначальное состояние. В то время, когда первоучители славян изобрели для них письмена и впервые поведали им слово Божие, еще не было и не могло быть различных языков славянских. Была рознь наречий, которые не могли еще резко обособиться и принять форму самостоятельных языков, более или менее чуждых один другому. Все еще было тогда зыбко в славянском мире, и рознь диалектов не имела еще времени выработаться с систематической последовательностью, ибо для этого потребно продолжительное литературное развитие, при особых условиях национального существования. Тогдашние славянские племена не имели письменности, которая помогла бы кристаллизироваться розни наречий, и славянские диалекты, как бы в иных случаях ни были резки их особенности, являли собой только брожение неустановившихся форм одного и того же языка. Они, без сомнения, точно так же относились друг к другу, как греческие диалекты в гомеровских эпосах, совмещающих в себе все разнообразие эллинского слова, которое впоследствии благодаря этой великой сокровищнице, первоначально собравшей его, никогда не распадалось на чуждые друг другу и взаимно непонятные языки. Язык Священного Писания, преподанного славянам, не мог приобрести такого для них значения. Славянские племена разошлись слишком далеко и не все сохранили древний язык органом своей духовной жизни. Но в свое время он был понятен для всех славян, по крайней мере, столько, сколько простым умам понятно книжное слово, образовавшееся под влиянием чуждой грамматики. Что язык Кирилла и Мефодия был вразумителен для всех славян, это доказывается тем, что первоучители легко и удобно переходили со словом проповеди от одного славянского племени к другому. Могло ли бы это быть, если бы каждое из этих племен

имело тогда свой особый язык, отошедший от общего корня? Возьмем славянские языки в их теперешнем состоянии: было ли возможно обратиться теперь к разным народам славянского корня на языке одного из них как равно для всех понятном? Что в давнюю пору славянские наречия еще ближе были между собой, тому служат свидетельством памятники древней славянской письменности, кроме книг Священного Писания. Древнейший поэтический памятник чешского языка *Любушин суд* ближе к церковно-славянскому языку и к памятникам русской древней письменности, чем к нынешней чешской речи. Под прозрачной пеленой диалектических особенностей в нем выразительно сквозит общая славянская основа, благодаря которой памятник этот может считаться достоянием истории столько же русского, сколько чешского языка. Скажем более: по своей близости к складу древнеславянского, еще не разделившегося языка, как он отпечатлелся в переводе Священного Писания, древнейший памятник чешской письменности находится, быть может, в более живом соответствии с русским языком, чем с нынешним чешским, который в своем развитии не был под постоянным регулирующим и сдерживающим действием древнего церковно-славянского слова.

Древний славянский язык, ставший у нас органом Церкви, стал вместе и органом всей нашей письменности. Он стал объединяющей стихией русских славян; в нем начало русского языка, в нем та основа, на которой совершалась в течение столетий жизнь его при всех изменениях в его составе и форме. Из него под влиянием разных условий выработывалась нынешняя литературная русская речь, и как бы она далеко ни отошла от него, в ней сохранилась внутренняя связь с ним; он присутствует в ней как принцип, и она всегда может обращаться к нему как к своему источнику, обновлять и освежать в нем свои силы. Вот почему нам кажется неверным то воззрение, которое видит в церковно-славянском и русском языках два словесные организма, друг для друга замкнутые. Нет, один в другой входит, и русский язык в своем развитии не может и не должен разобщаться со своим первоначальным родником, заглушать

в себе одну из своих основных стихий, отпираться от своего прошлого и отказываться от своих природных богатств.

Русский язык в том виде, как мы употребляем его теперь, не есть дело совершенно оконченное. Всякий живой язык подлежит развитию, которое во многом может изменять и склад, и самые формы его. Относительно русского языка это имеет тем большую силу, что нынешнее состояние еще не успело запечатлеться в произведениях вековечного достоинства, которые закрепили бы установившийся в нем склад. Он еще открыт для изменений, в него беспрерывно вливаются новые струи и индивидуального творчества, и бытовой жизни с ее местными красками. Должна ли навсегда замолкнуть в нем только та стихия, которая от начала была органом духовной жизни нашего народа, которая связует его с прошедшим и присутствует в русском языке как жизненный принцип его организации? Может ли какая-либо организация развиваться хорошо, если в ней подвергнется болезненному омертвлению одно из существенных начал ее? Не оскудеет ли при этом творчество языка, или не уклонится ли оно в сторону? Насильственное подавление одной из жизненных стихий языка не причинит ли ущерба самим понятиям? Всякое слово, всякий оборот речи носит на себе отпечаток своего употребления и вместе с отвлеченными понятиями вызывает в уме настроения, не остающиеся без влияния на характер и развитие понятий.

Переводить со славянского языка на русский, по видимому, значит у нас не что иное, как вытравлять церковно-славянскую стихию. Всякий оборот речи, всякое слово церковно-славянского пошиба нещадно изгоняются, и взамен их подбираются из нынешнего литературного языка эквиваленты какого бы то ни было свойства, лишь бы они только разнились с церковно-славянскими формами. Нужды нет, если церковно-славянские формы окажутся в ином случае не только выразительнее и соответственнее содержанию, но и понятнее, чем приисканные взамен им якобы собственно русские формы, – нужды нет: сказано перевести и во что бы то ни стало надобно сделать язык Священного Писания в русском пере-

воде сколь можно более непохожим на церковно-славянский. Истинная цель переложения, приблизить Священное Писание к народному разумению, теряется из виду, а выдвигается другая – изложить его так, чтобы в нем не осталось ни следа, ни духа древней речи. Перелагатели состязаются в достижении именно этой последней цели. Они составили себе такое понятие о русском языке: что отходит от церковно-славянского типа, то и есть русское. Правда, многие обороты и речения, хотя и совершенно понятные, не употребляются в нашем нынешнем литературном обиходе; но следует ли из этого, что они ни в каком случае не могут быть употребляемы? Следует ли из этого, что надобно заглушить и самую память о них? Многое, что не употребляется в обыкновенной речи, может быть ежеминутно вызвано потребностями мысли, ее творческим движением. Не странно ли? Перелагатели книг Священного Писания всячески избегают церковно-славянских форм, которые не чужды и светской литературе. Ими пользуются не только церковные проповедники, но и лучшие из наших поэтов. Архаические, но не утратившие жизни формы при мастерстве писателя вносят выразительность в его речь, дают ей новую красоту и силу и разнообразят ее средства; а между тем эта стихия изгоняется отсюда, где она первоначально выразилась. Так как, с другой стороны, при изложении книг Священного Писания неудобно черпать выражения и обороты из простонародной речи, носящие слишком яркий отпечаток своего бытового употребления, то перелагатели видят себя осужденными возвращаться в запруде нашего нынешнего литературного языка и не пользоваться ни одним из его притоков. Под видом перевода Священного Писания со славянского языка на русский оно излагается речью искусственно задержанной, сухой, черствой, скудной, лишенной нерва, безжизненной и бесцветной. Это тоже книжная речь, но без авторитета и силы, лишенная отпечатков великого содержания. Это какой-то казенный русский язык, это язык грамматики Греча или Востокова, полезных для того, чтоб упорядочить способ выражения учащихся юношей, но бессильных удержать жизнь в установленных ими пределах.

Нам кажется, что прежде должна быть выяснена главная цель переложения книг Священного Писания. Ясно понятая и правильно поставленная, цель сама укажет наилучшие пути, какими она может быть достигаема. Приблизить эти книги ко всеобщему разумению, вот главная цель, и для достижения ее надобно только искусной рукой, водимой чувством призвания, обновлять и освежать старое слово, заменяя в нем то, что потускнело и омертвело. Но нет надобности исключать то, что само собой понятно, еще менее то, что не может быть заменено без ущерба. Дело это требует своего рода творчества. Его нельзя вести механически, по данной инструкции.

Обновленное изложение книг Священного Писания, достигая своей главной цели, должно в то же время плодотворно подействовать и на развитие нашего языка, пробудив присущую ему стихию. Приводя в соприкосновение его древние формы с новыми, оно откроет для нашей нынешней литературной речи заглохшие источники самородного богатства и сообщит ей новую силу, разнообразие и гибкость, в которых она так часто нуждается, чтобы поравняться в способах с культурными языками. Обновленное слово Священного Писания, не утратившее своей первоначальной основы, может со временем послужить и для церковного употребления. Когда-нибудь почувствуется же потребность ввести в наше богослужение обновленное, очищенное, исправленное и действительно понятное для всех слово?

РАЗДЕЛ VI. ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Высшая школа

О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ

Все настоятельнее и очевиднее с каждым днем становится необходимость решительного переустройства наших университетов. Никто теперь уже не берет на себя обязанности защищать настоящее плачевное положение наших высших учебных заведений; все единогласно признают, что долее им в таком положении оставаться невозможно. Торжественно провозглашенный «возврат к уставу 1863 года» никого не успокоил, так как всякому известно, что университеты, в сущности, никогда с этого устава не сходили и что настоящее невыносимое их состояние первоначально возникло на почве этого самого устава. Все ясно понимают, что не в этом уставе таится спасение наших университетов. «Для каждого», справедливо сказано в *Новом Времени* (№ 1, 1839), «сколько-нибудь знакомого с этим делом, ясно, что расстройство в наших университетах должно быть *коренное*, следовательно, способное порождать все новые и новые печальные события».

Причина этого расстройства заключается в совершенно неправильной постановке университетских экзаменов. На эту

причину мы давно уже и не раз настоятельно указывали в то время, когда она еще не вызывала тех вопиющих явлений, которыми ознаменовался истекший академический год; тогда наши опасения считались преувеличенными, университетские порядки признавались образцовыми, а русская университетская наука полагалась находящейся в цветущем состоянии. Теперь, когда наши опасения к несчастью оправдались, здравомыслящие люди начинают приходить к тому убеждению, что причина, столько раз нами указанная, существует на самом деле и что лишь с ее устранением можно будет рассчитывать на водворение нормальных порядков в наших университетах. Что прежде считалось плодом нашего воображения и проклиналось в качестве какой-то ереси, то теперь уже признается за неопровержимую истину и в публике, и в среде самих профессоров.

Новое Время дает следующую характеристику: «разращение студентов и всего университета», происходящее от того, что у нас профессора в одно и то же время и преподаватели науки, и государственные экзаменаторы:

«Внутренняя жизнь наших университетов изобилует скандальными историями, учиненными разным преподавателям за серьезный взгляд на экзаменаторские обязанности. Эта жизнь изобилует также постоянным выпрашиванием себе студентами разных экзаменационных облегчений в виде выкидывания из программы половины и далее трех четвертей пройденного предмета; она изобилует и самыми разнообразными сценами выпрашивания студентами на экзаменах удовлетворительных отметок при совершенной неудовлетворительности познаний и пр.»

Но кто же во всем этом виноват? Наша учащаяся молодежь? «Ничуть не бывало», весьма основательно говорит *Новое Время*.

«Даже самые строгие судьи, близко знакомые с делом, не могут не признавать, что наша учащаяся молодежь представляет превосходный материал, из которого можно ожидать самых ревностных тружеников науки».

Но если виноваты не студенты, то на кого же падает вся вина в существующих у нас университетских безобразиях? На этот вопрос *Новое Время* отвечает следующим образом:

«Беда заключается главным образом в том, что в среде университетских преподавателей пролезают и люди, которые никоим образом не могут держаться только своим научным весом и преподавательским талантом. Вот таким-то людям и приходится держаться разными поблажками и передергиваниями на экзаменах. Сознавая, что они ничего не могут дать учащейся молодежи, они, разумеется, не могут ничего требовать от нее. Мало того, эти люди для завоевания себе сочувствия молодежи часто находят для себя полезным указывать на серьезные требования серьезных преподавателей как на бесчеловечные придирки. Такими маневрами эти люди, впрочем, могли бы достигнуть лишь того, чтобы быть долготерпимыми среди студентов, – но отсюда еще далеко до действительного и воображаемого положения среди молодежи. И вот для этого пускаются в дело разные сочувствия: один, оказывается, сочувствует общей кухмистерской для студентов, другой – вообще артельному началу, третий – открытию университетов и для женщин и пр. Есть профессора, о лекциях которых никогда не говорят среди учащейся молодежи, но зато очень много говорят об их сочувствиях».

Но картина, нарисованная петербургской газетой, при всей своей неотрадной правдивости далеко не полна. Кроме «преподавателей, не имеющих научного веса и преподавательского таланта», в среде профессоров есть люди, несомненно обладающие этим весом и талантом, которые могли бы принести учащейся молодежи большую пользу, но которые тоже «ничего ей не дают» и тоже, следовательно, «ничего от нее и требовать не могут». Эти профессора читают не то, что было бы полезно слушать студентам, а что им самим в данную минуту удобно читать. Молодые люди, поступающие в университет, слышат, с одной стороны, пустые фразы, а с другой, – специальнейшие рассуждения и индивидуальные односторонние мнения. Главные основы науки часто остаются для студентов неизвестны, и они силой обстоятельств принуждены заниматься научными верхушками, а так как экзаменаторы бывают те же самые профессора и предметом экзаменов не наука, а те же самые читанные в течение года лекции, то весьма понятно, что студенты выходят из уни-

верситетов с жалким научным образованием и незнакомые с действительным научным трудом. Последнему обстоятельству способствует укоренившееся у нас литографирование профессорских лекций, избавляющее студентов от посещения университета в течение целого учебного года и приучающее их к лени, к праздности и к совершенному пренебрежению своими обязанностями. Все советуют университетской молодежи «учиться, учиться и учиться», но что, если она вполне удовлетворяет требованиям университета, вызубривая за месяц перед экзаменами большее или меньшее количество литографированных листов? Мы удивляемся, что у нас в России так мало серьезных деятелей науки, но мы забываем, что наши университеты систематически портят поступающую к ним из гимназии молодежь, отучая ее от серьезного труда и вселяя в нее привычку к праздности, апатию к науке и заносчивое верхоглядство.

«Может ли государство оставаться немым зрителем такого положения вещей?» – спрашиваем мы с *Новым Временем* и вместе с ним же отвечаем: «Государство не может складывать руки ввиду этого положения, потому что оно не может допускать разращения молодежи». Государство имеет полное право требовать, чтобы из университетов на государственные должности поступали молодые люди, получившие основательное образование, привыкшие к добросовестному труду и к безукоризненному исполнению своих обязанностей. Но никогда этого государство не достигнет, пока выпуск студентов из университета будет зависеть не от большей или меньшей основательности их научных познаний, а от более или менее успешного вызубривания ими случайно прочитанных им профессорских лекций. Дело не поправится и той полумерой, на какую указывает автор статьи *Нового Времени*, предлагающей посылать для участия в экзаменах каких-то сторонних контролеров.

Выход из нынешнего невыносимого положения только один. Профессора могут читать студентам все, что им угодно, но студенты должны иметь свободу слушать только то, что для них полезно. А степень полезности профессорских лекций должна быть определена общей программой тех научных пред-

метов, без знания которых ни одному студенту нельзя будет поступить на государственную должность. Экзамены по этой программе должны производиться не профессорами университетов, а особыми государственными комиссиями.

Вот в главных, общих чертах та университетская организация, тесно связанная с институтом приват-доцентов, которая блистательно оправдывается в Германии и которая одна только и в состоянии вывести наши университеты из того болота, куда их завел пресловутый устав 1863 года. Студенты, зная наперед, что им по выходе из университета предстоит серьезный научный экзамен, будут в университете должным образом готовиться к нему, слушая действительно полезные для этой цели профессорские лекции и дополняя их сведениями, почерпаемыми из научной литературы. Профессоры, освобожденные от всяких экзаменационных хлопот, сосредоточат все свои усилия на преподавательской деятельности, очищенной от придинок, побряжек, уступок и скандалов. И они также будут знать, какого рода экзамен ожидает их слушателей и какого рода занятия полезны для приготовления к этому испытанию; не будет у них тогда настолько равнодушия и эгоизма, чтобы относиться спустя рукава к своим обязанностям или чтобы тратить целые годы на изложение перед недоумевающими слушателями микроскопических плодов своей вчерашней кабинетной работы. А если и будут такие профессора, то их никто и слушать не станет.

Когда начнется серьезная, чисто научная работа в наших университетах, то сами собой прекратятся всякие толки о кухмистерских, корпорациях, «землячествах», сходках и скандалах.

КЛЮЧ ПРЕДСТОЯЩИЙ РЕФОРМЫ УНИВЕРСИТЕТОВ

Много раз было высказано, что изменение в порядке студенческих испытаний есть ключ всей университетской реформы. Как бы многообразны ни были перемены, если испытания не будут отделены от преподавания и не получат характера испытаний государственных, преобразование не только окажется

полумерой, но вовсе преобразований не будет: все пойдет по-прежнему, может быть, хуже. Без единства плана перемены с боку деланные, существа дела не касающиеся, не продержатся; преобразование потерпит неудачу. Произойдет нечто вроде того, что было не так давно с «крамолой». Ничего действительно серьезного не делалось, а уверялось, что все меры репрессии с «диктатурой сердца» включительно перепробованы и оказались бессильными; остается де один путь, тот, который крамолой указывается. И пошли было по этому пути... Цель университетской реформы одна: поднять дело науки и обучения в наших университетах. Правильная организация преподавания и испытаний есть потому краеугольный камень всего дела. В каком ныне состоянии находится обучение тысячи молодых людей, правительством порученных произволу автономных профессорских корпораций, можно видеть из помещаемой ниже статьи *К вопросу об университетских экзаменах*, писанной студентом под живым впечатлением, им лично испытанного. Кто знает нынешние университетские порядки, тот может засвидетельствовать, что картина фотографически верна, как это не безотрадно. «Университетская наука», приведенная к десятку дурно составленных литографированных тетрадей, кое-как зазубриваемых в два-три дня перед экзаменом, чтобы добыть четверку или пятерку (тройку можно обыкновенно получить «без бою», как выражаются в некоторых университетах); и получить диплом; совершенное ничегонеделание в течение четырехлетнего курса: вот процесс обучения массы молодых людей, готовящих себя к высшим государственным профессиям. Автор статьи – студент юридического факультета и описывает порядки, действующие на этом факультете. Картина была бы полнее, если б изображены были экзаменные порядки обширнейшего факультета медицинского, где чудес еще более, чем на юридическом, и который между тем снабжает своих питомцев правом врачебной практики. Впрочем, и на историко-филологических факультетах положение дел не лучше, если еще не хуже: они представляют зрелище безобразнейшего произвола и хаоса и совершенно не соответствуют своему названию. В них нет и

тени серьезного учения, и они совершенно неспособны давать учителей для гимназии. Картина, повторяем, безотрадная. Устав 1863 года сделал свое дело. Науки нет в наших университетах.

Самоуправление (то есть бесконтрольное подчинение учащегося юношества произволу и интригам профессорских коллегий) привело университеты к самоуничтожению. Казалось бы, нельзя и минуты медлить спасительной реформой; а между тем вопрос этот коснел-коснел до последней минуты. Да и теперь, когда реформа, по-видимому, есть дело окончательно решенное и вступает на путь законодательного шествия, разве можно сказать, что она действительно готовится? Что толку в бумажном уставе, хотя бы таковой и оказался в должной полноте и симметрии параграфов? Все дело в исполнении, все дело в исполнителях. А заметно ли хотя какое-нибудь движение в ходе дел по этой части? Предпринимаются ли какие-либо ощутительные к реформе приготовления? Делаются ли какие-либо перемены и перемещения в персонале, которые, по всему вероятию, были бы необходимы для того, чтобы реформа могла стать правдой и увенчаться успехом? Все тихо, ничего нет, все по-прежнему. Бывший в должности министра народного просвещения статс-секретарь Сабуров оставил по себе обильный запас поучительных изречений, сказанных им в краткий срок своего управления; однако однажды привел он по истине поучительное из великой книги слово о мехах старых, в которые вино новое не следует вливать. Какого свойства было новое вино, которое намеревалась тогдашняя администрация вливать в свои новые меха, мы не судим; но слово о мехах как нельзя более применимо в настоящем случае, когда решено спасти русскую науку и довершить плодотворное преобразование нашей школы. Без реформы университетов не может считаться упроченной и реформа гимназии, которая, как и всякое дело, может здравствовать и приносить плоды, когда живет и движется, а не коснеет. Что остановилось, то закоснело и то идет назад и предается тлению. Прогресс же учебной реформы теперь главным образом состоит в правильном устройстве университетов, которые должны довершать дело гимназий, а не портить его и давать гимназиям все

более и более соответствующих своему назначению учителей, между тем как университеты отказываются служить этой цели и вынуждают содержать особые заведения для того, чтобы наши гимназии не остались без преподавателей.

Наши университеты ныне что угодно, только не расадники высших знаний. Назовите их опытом (увы! не блистательным) конституционного режима в самодержавном государстве, экспедициями заготовления дипломов, обществами взаимного страхования от научного труда, клубами любителей чего-то, но университетами они станут, лишь когда исключительной целью их будет наука. Это невозможно, пока все дело научного труда будет сводиться к составлению и заучиванию безобразных литографированных тетрадей. Без существенного преобразования экзаменов истребление этого рода литографированных курсов невозможно. Не помогут никакие запрещения. Курсы эти и ныне считаются под запретом, но процветают как никогда. Как всякое дело практической пользы, производство этих тетрадей с течением времени даже значительно усовершенствовалось. Как не пришла никому мысль щегольнуть ими на Всероссийской Выставке! В каком бы поразительно жалком виде предстала миру русская наука! Те подробные программы с надписаниями между строк, о которых говорит автор, составляют усовершенствование, которого несколько лет тому назад еще не знали. Если бы все осталось как есть, то вероятно наступило бы время, когда аудитория профессора состояла бы единственно из стенографа, набрасывающего слова лектора. Это, быть может, практиковалось бы и теперь, если бы точное воспроизведение сказанного не было невыгодно для научной репутации многих преподавателей: недостатки ныне падают исключительно на студентов-составителей. Только коренное изменение испытаний может вывести из употребления эту литографированную литературу низкого научного калибра, причиняющую положительный вред занятиям студентов. Она исчезнет, потому что сделается бесполезной. Пока экзамены будут производиться как ныне каждым профессором из того, что ему вздумалось прочесть, наука и преподавание не могут

двинуться вперед в наших университетах. Только разорвав эту связь случайно прочитанного с кое-как спрошенным и перенеся экзамены в особые комиссии, для которых производство испытаний стало бы делом специального призвания, и где требовалось бы знание не случайных клочков вчера прочитанных, а основание каждой науки, можно надеяться на улучшение и профессорского преподавания, и студенческих занятий, и на водворение у нас свободной академической системы в неискаженном виде. Именно эта мысль преследовалась в проекте нового устава, составленном под ближайшим наблюдением нынешнего министра народного просвещения. Производство экзаменов в комиссиях составляет такую его существенную часть, что если б устранить ее, то весь проект распался бы и его нужно было бы заменить другим на иных основаниях. Противники испытаний в комиссиях высказывают два главных якобы «опасения». Где, спрашивают, найти, особенно в провинциях, людей настолько научно образованных, чтобы стать членами экзаменационных комиссий, — как будто дело идет не об испытании студента в том, насколько им усвоены элементы науки, а об основании академии наук, оценивающих новые изобретения в науке! Не хотят понять, что многие из числа профессоров в качестве членов комиссий, в состав которых войдут и посторонние лица, местные и присланные, явятся совсем иными экзаменаторами, чем ныне. Характер деятельных людей зависит от условий, в которые они поставлены. Другое опасение: будто бы испытания в комиссиях понизят научный уровень требований, по меньшей мере смешно ввиду нынешнего состояния университетских испытаний. Всякая скромная положительная величина неизмеримо больше нуля. А нынешние испытания даже не нуль, а величина отрицательная...

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ВОПРОС

В университетском вопросе мы не считали себя призванными адвокатствовать за права и достоинство правительства. Имеется столько учреждений и лиц, призванных ограждать

эти права и поддерживать это достоинство: и министры, и члены Государственного Совета, которых так много и которые, конечно, прежде всего заботятся о восстановлении авторитета правительства там, где он пошатнулся, и об усилении его действия там, где оно ослабело. Если бы по неисповедимому велению рока правительственные учреждения и лица вместо того, чтобы поддерживать авторитет правительства, старались ослабить его, то нам не приходится быть *plus royaliste que le roi**. Если правительственные лица вздумали бы почему-нибудь изгонять правительство оттуда, где оно должно присутствовать и действовать, то что же нам тут делать? Наш крик был бы напрасен, и нас сочли бы за нарушителя тишины и общественного спокойствия, нас ославили бы агитатором и революционером более опасным и во всяком случае более вредным, чем агитаторы антиправительственные, ибо эти последние шли бы дружно к одной цели с теми невозможными правительственными деятелями, каких мы только в фантазии можем представлять себе возможными.

В университетском вопросе мы говорили только в интересе науки, учащегося юношества, родителей, общества, которое нуждается в образованных и сведущих людях. Всякому русскому человеку позволительно желать, чтобы в наших университетах действительно жила наука, чтоб учащееся в них юношество действительно выносило из них образование, которое и самих учащихся поднимало бы на высоту, и стране обращалось бы в пользу.

Непонятно, для чего нужно было бы учреждать и содержать университеты, если не для того, чтоб учащееся в них юношество получало возможно лучшее образование. Было бы ни с чем несообразно привлекать в университеты тысячи молодых людей для науки и не принимать мер к тому, чтоб они действительно получали образование, соответственное требованиям избираемой ими отрасли ведения. Приманивая льготами и правами молодых людей к университетам, правительство, очевидно, принимает на себя ответственность за то,

* Роялистом бульшим, чем король (*фр.*)

чтобы годы университетского учения протекали для молодых людей не бесплодно и завершались бы не одними только этими правами, которыми оно привлекает их, но и образованием по каждой специальности, достойным этого имени. Провести без пользы лучшие годы жизни, в которые человек окончательно формируется, значит провести не только без пользы, но прямо во вред и себе, и обществу. Было бы ничем необъяснимым небрежением, даже, можно сказать, жестокостью относительно этих молодых людей оставлять их на произвол случая, не зная, учатся ли они и чему и как учатся. Если бы наши университеты были свободными университетами, то есть если бы они были заведениями частными и правительство не принимало бы никакого участия ни в их учреждении, ни в их содержании, не привлекало бы в них юношества дарованием прав, то вопрос имел бы иной характер, и очень может быть, что эти заведения давали бы в силу конкуренции результаты хорошие, то есть соответственные требованиям науки по разным специальностям. Но наши университеты суть заведения правительственные, преподаватели их состоят на государственной службе и на казенном содержании, и молодые люди обязываются слушать именно этих преподавателей. Но обязана ли, в свою очередь, государственная власть знать близко этих преподавателей и удостоверяться, действительно ли учащиеся по окончании установленного курса приобрели то образование, какое соответствует избранной ими профессии требованиям науки в ее современном состоянии, действительно ли будущий врач способен врачевать, а не морить людей, действительно ли будущий учитель будет учить, а не портить молодые поколения, действительно ли будущий администратор и судья окажутся на высоте своего призвания. Все это знать и посредством особых органов во всем этом удостоверяться необходимо правительству, коль скоро оно привлекает молодых людей в свои университеты и обязывает их учиться в них для достижения прав, сопряженных с так называемыми свободными, или высшими, общественными профессиями. Что же, однако, мы видим?

Правительство вовсе не знает и не заботится знать тех ученых, которым доверяет таким образом участь отборной молодежи своего народа, а с тем вместе и судьбы его. Оно предоставило профессорским коллегиям право не только давать прямо ученые степени, с которыми непосредственно соединяются *права и чины*, но и право самопополнения, то есть подбора своих членов, тех преподавателей, которые бесконтрольно и самовластно моделируют умы и решают участь своих обязательных слушателей. Созданы корпорации, которым предоставлен правительственный авторитет, но которые в своей деятельности и в ее результатах совершенно от правительства независимы. Свобода и власть, вот два термина, которые смешиваются самым грубым образом. Если хотите, предоставляйте всякому свободу учить и учиться. Но если вы обязываете учиться, если вы обязываете кого-нибудь к чему-нибудь, то вы принимаете на себя всю ответственность в деле. Все обязательное, всякая власть в государстве может быть предоставляема только государственным органам, которые не могут действовать по своему произволу и должны быть регулируемы и контролируемы общей государственной системой; государство должно знать тех лиц, кому оно предоставляет власть действовать в известной сфере, наблюдать за ними и знать, как они действуют.

Мы просим наших гг. Ласкероу и Рихтеров нашего парламентаризма не набрасываться на нас. Мы, право, не обскуранты, не ретрограды, не враги свободы. Мы даже не считаем себя заслужившими почему-то придаваемую нам кличку консервативной партии. Мы ни к какой партии не принадлежим и всего менее к тем партиям, которые под какую бы то ни было кличкой ратуют против науки, просвещения, свободы.

Мы всегда стояли на страже интересов науки и, сколько было наших сил, боролись и с невежеством, и с самодурством, и со злокозненностью, которая под предлогом либерализма тщила освободить наше образование от науки. И чего нам стоило поддерживать требования науки при всех возникавших у нас учебных вопросах! Не мы ли были не умолкавшими адвокатами основательного учения в наших гимназиях, дабы

учащиеся в них подростки выходили людьми способными для высших задач образования, и чтобы русское образование было не ниже, чем где бы оно не было? Нас могли упрекать разве в том, что мы слишком высоко поднимаем требования науки в борьбе с противниками, которые бьются из того, чтобы ослабить и подорвать их. Не противники ли наши всех оттенков прибегали ко всяким ухищрениям и неправдам, домогаясь, чтобы в наших гимназиях учили и учились как можно менее и как можно хуже и чтобы наши университеты были отворены настежь для неучей? Бесстыдство доходило до того, что все это высказывалось без обиняков. Под именем науки нашими противниками предлагалось фальшивое подобие ее, а самая наука как путь к знанию провозглашалась не только делом излишним, но чуть ли не обскурантизмом, во всяком случае началом не либеральным, так как до она забивает головы и стесняет свободу мысли.

Мы желаем, чтобы наши университеты давали нам людей поистине знающих и более или менее сильных в своей специальности, ибо *scientia est potentia**, между тем как наши противники клонятся к тому, чтоб из наших университетов выходили *хлыщи*, которыми, к истинному бедствию русского народа, не оберешься у нас.

Как стоим мы за науку, так стоим и за свободу. Мы высоко ценим свободу, а потому стараемся более всего оберегать ее чистоту, ее существо, ее права. Что предоставляется свободе, то не должно быть обязательно: вот что несомненно и твердо. В каждой области ведения, во всем, что зовется наукой, есть нечто необходимое и, стало быть, обязательное для тех, кто претендует на обладание наукой, и есть нечто предоставляемое свободе. Мы хотим, и всякий, кто понимает дело, не может не хотеть вместе с нами, чтобы предоставленное свободе оставалось свободным, а не навязывалось умам через авторитет власти. Мы желаем, чтобы у нас широко и обильно развивался интерес знания и исследования во всех сферах ведения по всем факультетам. Всякая попытка, хотя б односторонняя и

* Знание – сила (*лат.*)

ошибочная в области научного исследования, может принести только пользу. В этих попытках, в этих исканиях (причем неизбежны и заблуждения) состоит жизнь науки, а только живая наука чего-нибудь стоит и может быть плодотворна. Нечего опасаться заблуждений, свойственных всякому исканию, лишь бы оно было предпринято в духе науки, то есть по ее методам, в которых заключается ее сила, ее существо, ее самокритика и самоповерка. Итак, мы не только не против свободы научного исследования, но ждем не дождемся, чтоб у нас пробудилась эта неутомимо исследующая, самоотверженно ищущая, бесконечно преданная своему предмету мысль, не шадящая ни усилий, ни труда и обращающая свою жизнь и душу человека на предмет его изучения. Как были бы мы счастливы, если бы довелось нам и у себя дожить до появления таких подвижников умственного труда, в котором заключается благороднейшая и плодотворнейшая сила прогресса народов человечества. Но во имя свободы и в интересе науки мы считаем своим долгом протестовать против *обязательности* тех учений, которые предоставляются свободе, а потому самому подлежат разномыслию и спору. Только *беспорное* есть достояние науки и только оно должно иметь обязательную силу для претендующего на обладание ею, только это беспорное может быть требуемо именем государства и сообщать признаваемые им права. Мы отнюдь не желаем стеснения свободы преподавания, но мы весьма естественно желаем, чтобы преподаватели в наших университетах были ученые, достойные этого имени, действительно знающие, проникнутые духом своей науки, любовью к ней, освоенные с ее источниками и методами. Весьма естественно, что кому дорого дело, тот не может желать, чтоб оно попадало в руки шарлатанов, вертопрахов, пустословов и тупиц.

Итак, предоставляя свободное свободе, мы не можем по силе логики не желать, чтоб обязательно требовалось только обязательное. Испытанию может и должен подвергаться испытуемый не изо всего того, что предоставлено свободе его любознательности, а только из основных предметов факультета, и только из того, что есть в них общепризнанного, для всех

знающих равно обязательного. При развитии научного интереса могут возникать разные гипотезы, которые, быть может, со временем оправдаются и войдут в науку как дознанная истина, а быть может, окажутся пустоцветом. Есть, наконец, ученая роскошь, утонченные и дробные специальности в каждой области ведения, которые интересуют лишь немногих, но не могут стать предметом обязательного требования без умственного насилия для учащихся.

Мы говорим: *наука*, но этим словом обозначаются весьма разнородные вещи. Есть науки точные и положительные, которые по своему содержанию везде одни и те же, науки строгих методов, поступающие шаг за шагом, отличающие верное от вероятного в разных степенях. Преподаватель связан в этих науках предметом их, и все достоинство преподавания состоит в том, чтобы слушатели усвоили себе должным образом и доказательно истины, факты и обобщения, установленные в науке и всеми знающими одинаково понимаемые. Но есть доктрины, которые изменяются во всем своем составе от страны к стране, от университета к университету, от головы к голове. Такими доктринами наполнены у нас особенно два факультета, которые в том виде, как они у нас существуют, могут быть названы *азинариями* наших университетов. Мы разумеем факультеты юридический и историко-филологический, куда поступают не только искатели знаний, которым эти факультеты, по своему именованию, посвящены (эти искатели, к сожалению, не находят, чего ищут), но и те молодые люди, которые ищут только получить легким способом права, связанные с высшим образованием: вот эти не ошибаются и действительно находят, чего ищут. Того, что составляет силу этих факультетов, что сообщает им по преимуществу научный или ученый характер, то, ради чего они существуют, – насущного хлеба науки в них теперь нет или почти нет, если же что и окажется, то разве для вида, а не для питания. Зато перца и корицы в них сколько угодно. Под разными наименованиями, философии права, государственного права, уголовного права, истории литератур и т. п. тут есть все, и отрывочные афоризмы, вырванные из си-

стем разных мыслителей, ни на чем не основанные обобщения, бездоказательные мнения в асерторической и аподиктической форме, произвольные подборы фактов без научного метода и критики. Об изучении источников права нет и помину. Классической филологии, без которой филологические факультеты не имеют смысла, в нем не ищите.

Теперь спрашивается, на каком основании правительство обязывает изучать эти произвольные доктрины, эти мнения и суждения, которые на лучший конец представляют собой только выражение разномыслящих партий? Ради чего правительство принуждает юных слушателей усваивать воззрения той или другой партии? Какой партии держится оно само? Весьма естественно думать, что в политических и философских воззрениях правительство держится законов, преданий, народной мудрости, наконец, Церкви своей страны. Если так, то следовало бы предполагать, что правительство обязывает преподавателей преподавать, а слушателей слушать патриотические и православные доктрины. Но если правительство возымело бы такие виды, то оно поставило бы себе неисполнимые задачи. Где нашло бы оно этих просвещенных патриотов, которые из недр своей страны, из ее истории и духа ее народа извлекали бы мудрость своих проповедей? Не вернее ли, напротив, в заведениях, посвященных науке, строго держаться только ее требований? Патриотической мудрости для обязательного преподавания и усвоения в университетах правительство административными способами не создаст. Зато, придавая свободному обязательность, оно обязывает учащуюся молодежь усвоить себе чужие воззрения и доктрины партий, с которыми ни русский народ, ни Русская государственная власть не имеют ничего общего. Скажем попросту: благодаря странной системе, господствующей в наших университетах, выходит так, что правительство нередко прямо вынуждает учащуюся в них молодежь моделировать свой образ мыслей по тем доктринам и воззрениям, которые противоречат законам и государственному строю страны. Зачем же правительству нужно, чтобы учащиеся в университетах молодые люди для получения прав экзамено-

вались не из науки, как остроумно сказано в *С.-Петербургских ведомостях*, а из профессора? Зачем придавать обязательную силу тому, что во всяком случае может быть только допустимо. Как же теперь нам, свободным людям, бороться с воззрениями, которые правительство посредством своих заведений вбивает учащимся насильно в голову? Или в самом деле правительству нужно, чтобы все мыслили как, например, профессор Градовский или судили как профессор Орест Миллер?

Правительство не может установить правильное и плодотворное учение в своих университетах иначе, как строго разграничив свободное с обязательным и для этого отделив испытания на государственные права от преподавания. Только посредством правильной системы экзаменов, независимых от произвола университетских коллегий, может правительство регулировать и состав факультетов, и характер преподавания в них; только этим средством можно установить правильные и чистые отношения между наставниками и слушателями. В странах, где наука у себя дома, где она возросла в великую силу, где университетские кафедры занимаются первоклассными учеными, авторитетами по своей части, и там испытания, которыми определяются государственные права, отделяются от преподавания. Какие же могли бы оказаться затруднения у нас, где в этом крайняя необходимость?

Среднее образование

ЗНАЧЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ КАК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Назад тому несколько недель одна из петербургских газет с каким-то странным торжеством объявляла нам, что мы ошиблись, сказав в одном из номеров нашей газеты, что правительство наше совершило весьма важный и решительный шаг вперед, приняв в принципе классическую систему для русских

гимназий. Эта газета сообщала нам, что только одна часть русских гимназий примет классический характер, и не без некоторого непонятного нам злорадства давала нам чувствовать горечь будто бы понесенного нами таким образом поражения. Можно подумать, что эти почтенные господа играют в детские игры и воображают нас в качестве заинтересованных лиц, которым отказано в их прошении. Смеем уверить их, что с судьбой наших гимназий не соединяется для нас никакого личного интереса; от правильного устройства наших учебных заведений у нас лично ничего не прибудет, точно так же как от неправильного ничего не убудет. С другой стороны, этот вопрос не может ни в какой степени быть вопросом нашего самолюбия: мы не участвуем ни в администрации, ни в законодательстве, ни по каким вопросам; мы не несем на себе ответственности ни перед людьми, ни перед своею совестью за меры, от которых может зависеть будущность великой страны, точно так же мы не можем претендовать ни на какую долю чести в решении подобных вопросов. Не мы поднимаем, не мы решаем их. Мы только пользуемся общим, всякому предоставленным правом сказать свое слово в разъяснение дела, насколько мы понимаем его, сознаем его важность и можем сообразить благоприятные и неблагоприятные условия, среди которых оно решается или приводится в исполнение. Никакой посторонний человек, имеющий совесть, не может оставаться равнодушным в присутствии очевидной ему ошибки, грозящей роковыми последствиями для других людей или для целого общества, — не может тем более, чем яснее видны те печальные недоразумения, от которых ошибка происходит. Если мы, смотря на сцену или читая вымысел, принимаем живое участие в раскрывающейся перед нами интриге, не без волнения следим за переплетением ее нитей и невольно порываемся указать действующим лицам опасность, которой они подвергаются и которая им не видна, то еще естественнее и глубже должно быть то чувство, с каким всякий, хотя бы и совершенно посторонний человек, следит за развитием действительных событий, которых смысл по разным случайностям может быть неясен для лиц, наиболее заинтере-

сованных в их благоприятном исходе. Не кто-либо потеряет или выиграет что-либо от устройства наших учебных заведений, потеряет или выиграет Россия, русское правительство, русское общество, русский народ. Не имея никакого прикосновения к делу, мы не могли бы говорить о нем с такой настойчивостью и с такой может быть излишней горячностью, в которой упрекают нас, если бы мы не были убеждены в важности этого дела, если бы не видели, как много зависит для русской народности от его благого решения. Окажется ли какой-либо недостаток в той или другой финансовой мере, окажется ли оплошность в предпринимаемом устройстве судов или других каких-либо государственных учреждений, жизнь отзовется в ту же минуту, проверка не замедлит последовать за решением задачи, и как бы ни был велик вред, причиненный ошибкой, он ограничится настоящим, он может быть взвешен, оценен, возмещен; но ошибка, которая вкрадется в решение педагогического вопроса не такого свойства, она не так очевидна, и сущность причиненного ею вреда не так легко разыскать и оценить. Педагогическое дело есть сеяние, и жатва его восходит лишь по прошествии многих лет. Время и силы, погибшие вследствие какой-либо ошибки, вкравшейся в основания педагогического дела, ничем не вознаградимы. С другой стороны, чем менее представляется серьезных затруднений и препятствий для правильного решения дела, чем, по-видимому, благоприятнее минута для истинного удовлетворения великой национальной потребности, чем благоприятнее обстоятельства, чем расположеннее власть к дарованию необходимых льгот для развития внутренних сил народа, во главе которого она поставлена, тем тяжелее и прискорбнее видеть, как разные случайности и недоразумения препятствуют делу выйти на прямой путь.

Нам говорят, что мы поторопились заявить о преобразованиях наших гимназий в классическом смысле. Нам говорят, что гимназий классических, то есть таких, какие существуют во всех цивилизованных странах Европы для приготовления молодых людей к высшему университетскому учению, будет лишь самое ограниченное число, а все остальное, как и теперь,

будет соответствовать тем низшего разряда школам, которые в Германии носят название реальных и которые лишены университетских прав. Мы не знаем, что будет, но, сколько нам известно из достоверных источников, у нас, как и везде, правительством принят вполне принцип классического образования, основанного на обоих древних языках. Сколько нам известно, правительство наше признало классическую систему не только за лучшую, но за единственно возможную систему для гимназий. Наши оппоненты не отрицают этого, но они присовокупляют, что, несмотря на это, наши гимназии все-таки будут устроены на иных основаниях. Мы решительно не понимаем, что может это значить. Если существует только одна система для гимназий, принятая везде и если эта система принята также и нашим правительством, то что же может воспрепятствовать осуществлению ее на деле? Что может явиться между словом и делом? В силу чего устройство наших учебных заведений не будет на деле соответствовать тому, что в принципе признано правительством за лучшее? Каким же образом русское образование будет лишено классических оснований именно потому, что эти основания признаны за лучшие русским правительством?

В европейской системе образования университет занимает центральное место, но под университетской системой следует разуметь не только те специальные факультеты, в которые принимаются молодые люди достаточно зрелые и достаточно подготовленные, а также и те учебные заведения, где эти молодые люди с детских лет приготавливаются к высшим специальным факультетским занятиям. Эти учебные заведения называются у нас, как и в Германии, гимназиями; во Франции они называются лицеями, в Англии – грамматическими школами. В целом образованном мире, везде, где только существует система университетская, гимназии имеют одинаковый, общий им всем тип. Знания разветвляются в факультетах университета, а в гимназии совершается то воспитание ума, которое равно необходимо для всех специальностей знания. Предполагается, что ребенок девяти или десяти лет не может избрать себе спе-

циальность; предполагается также, что прежде всякой специальности требуется воспитать ум и развить в нем те основные стихии, которые служат существенным условием для всякого умственного дела. Это предуготовительное умственное воспитание, начинающееся с девяти- или десятилетнего возраста и постепенно вместе с его физическим развитием вводящее ребенка в силу юноши, имеет везде один и тот же характер; везде оно основано на обоих древних языках. И будущий филолог, и будущий юрист, и будущий математик, и будущий естествоиспытатель, и будущий богослов, и будущий государственный человек получают везде одно и то же предварительное умственное воспитание, соответствующее как естественным, так и исторически установившимся условиям педагогического дела.

У нас многие совершенно неправильно понимают вопрос о так называемом классическом образовании, полагая, что тут идет речь о преимуществах одних наук пред другими. Нет, это вовсе не спор между факультетами, вовсе не спор между филологическими науками и науками естественными. Реальные школы вовсе не значат школы, которые способствуют развитию естественных наук, точно так же как классические гимназии вовсе не значат такие учебные заведения, где воспитываются только будущие филологи. Хотя и желательно, чтобы филологический факультет, преимущественно поставляющий деятелей по педагогической части, вышел и у нас из того жалкого состояния, в котором он теперь находится, — но не в этом сила. Требуется не то, чтоб у нас расплодилось много ученых филологов; требуется то, чтобы поднялся уровень нашего умственного образования и чтобы вообще наука пустила корни в нашей почве. Умственное воспитание, которое дается в классических учебных заведениях Европы, важно не только для поприща деятеля политического, или юриста, или ученого врача, или естествоиспытателя; оно признается необходимым условием и для высшего развития технической деятельности. Приведем отзыв столь известного своими заслугами по делу технического образования во Франции генерала Морена, ны-

нешнего президента Парижской Академии Наук и директора Консерватории Искусств и Ремесел.

«Те из молодых людей, обрекающих себя промышленному образованию, которые имеют средства и не стеснены временем, сделают всего лучше, если начнут с университетской школы (с классической гимназии) и не ранее 18 или 20 лет поступят в Центральную Школу Искусств и Мануфактур или в какое-нибудь другое подобное заведение. Молодые люди, которые терпеливо подчинятся рассчитанной медленности университетской системы, составляющей гордость Франции, всегда будут иметь великое преимущество пред другими. Они, одни они будут находиться в полном обладании наукой. Им будет принадлежать первенство во всех положениях, и чувство умственного удовлетворения будет сопровождать их на всем их поприще. Это путь самый верный, и потому всякий должен избирать его, если только не воспрепятствуют тому какие-либо обстоятельства. Как бы ни была заманчива быстрота всякого другого пути, не должно уклоняться с этой большой дороги, если только она не преграждена какою-нибудь непреодолимой причиной.

Классическое учение, образующее ум и душу, науки физико-математические, укрепляющие судительную силу и приготавливающие к практическим применениям, наконец, техническое учение, открывающее пределы действительного могущества человека и снабжающее его новыми средствами к исследованию: что может быть полнее этого преемства учений, не только нужных, но необходимых для инженера, как и для врача, как, наконец, для всех, кто в общественной жизни призван способствовать вещественному или нравственному прогрессу человечества?»*

ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

По поводу вопроса о преобразовании наших гимназий в смысле классической системы, который так много обсуждался

* *Exposition universelle de Londres de 1862. Rapports de membres de la section francaise du jury international. – Tome VI. – P. 226.*

в нашей газете, мы получили не так давно письмо, в котором просят нас разъяснить по возможности, в силу чего изучение древних языков может иметь столь важное приписываемое ему действие на развитие и образование ума. Эти лица, пожелавшие остаться неизвестными, пишут, что большая часть аргументов в пользу классической системы основывается на примере других стран и на авторитете иностранных ученых и педагогов, а им хотелось бы получить более внутреннее убеждение в пользе классической системы, им хотелось бы заглянуть в тайну того процесса, каким она действует в воспитании умственных сил. Мы понимаем и ценим потребность такого убеждения; но здесь, как и во всяком деле, приобрести вполне отчетливое, сознательное, внутреннее убеждение можно не вследствие нескольких строк, прочтенных в журнале, как бы ни были они убедительны, и даже не вследствие прочтения целой книги по этому предмету, а из живого опыта или, по крайней мере, из внимательного и серьезного изучения всех условий педагогического дела. В числе людей совершенно убежденных и готовых поклясться в том, что не солнце обращается вокруг земли, а земля вокруг солнца, многие ли действительно имеют такое совершенно отчетливое, определенное и ясное понятие об этом предмете, какое желали бы получить наши неизвестные корреспонденты о педагогическом действии классических языков? Физические законы и всякого рода аксиомы, на которых мы смело основываем наши суждения и умозаключения, суть действительно умственное достояние только тех, кто знает путь, каким они найдены в науке, и может шаг за шагом проследить этот путь. Точно то же следует разуметь и относительно аксиом нравственного мира. Вопросы педагогические принадлежат к области высшего умозрения и даются не легко. Никто не может требовать ни от себя, ни от других вполне удовлетворительных, совершенно определенных и ясных специальных понятий обо всех предметах, входящих тем не менее в кругозор всякого образованного человека. В оценке многих вещей люди довольствуются общими соображениями и руководствуются просвещенным тактом, сметливостью и прозорливостью,

уловляя различные признаки, хотя и не характеризующие дело в его внутренней сущности, но более или менее наводящее на его истинный след.

Пример целых стран и авторитет умов, посвятивших себя специальному изучению дела и изведавших все глубины его – это немаловажно. Это не может не послужить сильным средством убеждения для людей действительно желающих убедиться, действительно ищущих истины и действительно понимающих важность вопроса. Не формулы, не голословные аргументации могут научать людей как в частной жизни, так и во всяком общественном деле, а живой пример и могущественное красноречие фактов. Пример других стран: но каких стран? И в чем пример? Пример в деле образования и науки, подаваемый странами, где по преимуществу процветает наука во всех своих разветвлениях, откуда она распространяет свой свет повсюду и откуда мы сами заимствуем все, что у нас имеется по этой части. Если мы завели у себя университеты и гимназии, если мы изучаем и перелагаем на свой язык иностранные руководства по всем наукам, если мы выписываем к себе иностранных педагогов, если мы отправляем наших ученых для усовершенствования в заграничные университеты, если мы со справедливой скромностью сознаем себя по всем частям лишь робкими учениками или подражателями иностранцев, если мы с несправедливым и бессмысленным злорадством объявляем себя вследствие того неспособными к умственной самостоятельности, к производительности и попрекаем себя незначительностью оказанных нами успехов в течение более нежели полутора столетия лет со времени нашего возвращения в Европу, то следует подумать серьезно, в чем существенно заключаются условия того образования, которое мы именуем европейским и к которому находимся в столь странных и двусмысленных отношениях. Возвращение в Европу стоило нам страшно дорого, оно было куплено ценой величайших усилий, какие когда-либо совершал исторический народ в борьбе со внутренними затруднениями и внешними препятствиями; оно было сопряжено с величайшими жертвованиями, какие когда-либо при-

носились народами по призыву исторических судеб. Если же возвращение в Европу стоило нам так дорого и имеет столь важное значение в нашей истории, то не затем же оно совершилось, чтобы мы навеки остались учениками чуждой нам науки и раздражателями чуждой нам цивилизации; если возвращение на европейскую почву стоило нам так дорого, то весьма естественно желать, чтобы мы твердо стали на этой почве, крепко овладели ею, чтобы мы жили, действовали и чувствовали себя на ней не переряженными варварами, не карикатурными подобиями французов и немцев, а самими собой, и чтобы дело цивилизации, образования, науки не было у нас делом заимствованным, пришлым, чуждым, а нашим собственным, чтобы европейское значение, которого мы добивались, было для нас не иноземной стихией, а живой производительной силой нашего собственного народного существования, чтобы мы чувствовали себя европейцами не в качестве фальшивых и потому никуда не годных французов или немцев, а в качестве русских. Что такое эта европейская почва, на которой мы неизбежно хотели, неизбежно хотим, неизбежно должны стоять, — об этом стоит подумать. Но прежде чем пускаться в глубь, не худо повнимательнее осмотреть явления, которые представляются нам на поверхности.

В продолжение полутораста лет нас загоняют в европейские школы, нас заставляют учиться у европейских наставников; весьма естественно спросить, каковы те европейские школы, где мы учимся, и действительно ли мы учимся в европейских школах. Мы видим, мы откровенно сознаемся, что от нашего учения в так называемых европейских школах выходит мало толку. Наше образование подвергается обидному сомнению; мы положительно недовольны состоянием искусств и наук в нашем любезном Отечестве; мы с прискорбием чувствуем во всем нашу беспомощность, наше ученичество, мы с горестию видим, что и в наших собственных делах мы не обходимся без чужой помощи, без постороннего руководства. Что же этому причиной, естественно, спрашиваем мы самих себя. Неужели в самом деле мы какая-то обиженная порода

людей, что, несмотря на все наши старания и усилия овладеть наукой и образованием, мы должны оставаться только учениками безо всяких видов стать мастерами? Учатся не для того, чтобы оставаться на век учениками, а для того, чтобы сравняться с учителями и, если можно, превзойти их. Только при таком взгляде на учение может иметь оно смысл, только при такой уверенности могли мы пойти в науку к чужим людям, только в таких видах могли мы так дорого заплатить за возможность и право учиться в европейских школах. Лишь злонамеренность или круглая глупость могут утверждать, что вина неудовлетворительных результатов нашего учения заключается в каких-либо недостатках или недочетах русской природы. Самые недоброжелательные наблюдатели русского народа должны сознаться, что по своим природным свойствам он ни в чем не уступает ни одной из самых богатых образованием и наукой народностей европейских. Нет, напротив, при всей скудости результатов нашего учения в европейских школах, мы видим в нашем народе самые несомненные проявления могущественных природных сил, которые обещают блистательное развитие всякого умственного дела при благоприятных условиях. Во всяком случае было бы нелепо думать, чтобы люди из нашей среды, воспитанные, образованные и развитые умственно при одинаковых условиях, в одной и той же школе с людьми каких бы то ни было других народностей могли отличаться от них чем-либо существенно. А потому сам собой возникает вопрос: нет ли какого существенного различия в способе образования, в устройстве школы? Нас загоняли в европейские школы, – но точно ли в европейские? Нас отдавали в науку иностранцам, – но точно ли иностранцы учили нас так, как учились сами и как вообще люди, призываемые к высшим умственным сферам, учатся в Европе? Пользуемся ли мы всею полнотой тех условий, благоприятствующих воспитанию умственных способностей, без которых невозможно живое, плодотворное, самостоятельное развитие науки? У нас есть гимназии, у нас есть университеты и академии; но, в сущности, не учатся ли наши дети в тех самых школах, которые в Европе не

считаются годными для целей высшего образования, – в тех школах, где сообщается полировка людям, не предназначенным себя для высших умственных сфер, купеческим приказчикам и аптекарским гезеллям? Считая себя на европейской почве и в обладании способами европейского образования, не воспитываем ли мы своих детей в тех школах, которые хотя и европейской цивилизацией устраиваются, но устраиваются ею для варваров, ищущих только наружного лоска цивилизации? Не окажется ли, что та мнимая европейская школа, где мы воспитываем цвет своего юношества, принадлежит, в сущности, к одной категории со школой турецкой или японской, где чуждым Европе детям сообщают некоторые полезные результаты ее цивилизации, но не сообщают той силы, которой эти результаты добыты? В самом деле, и турки, и японцы тоже учатся в европейской школе, приобретая сведения по части разных наук, развивающихся в Европе; известно, что японцы уже давно и очень успешно обучались у голландцев и математике, и физике, и астрономии, но никому неизвестно, чтоб эти и вообще какие бы то ни было знания плодотворно процветали в Японии и чтоб японские ученые, хотя бы и образовавшиеся под руководством европейских ученых, могли что-нибудь значить в сравнении с ними.

Итак, возникает вопрос, нет ли каких существенных отличий в устройстве нашей школы и устройстве той, где Европа воспитывает и приготавливает к науке и жизни свои лучшие умственные силы? Сличая, мы находим действительно большую разницу между истинной европейской школой и той, в которой воспитывается цвет нашего юношества. Мы находим, что именно в тех странах Европы, которые стоят во главе цивилизации и отличаются преимущественно перед всеми плодотворным развитием искусств и знаний, есть один надо всеми господствующий предмет, которого нет, или почти нет, в нашей школе. Только в глазах людей предвзятых или не чувствующих живого побуждения вникнуть в дело обстоятельство это не представится существенно важным. Но всякий, кто ищет убеждения, кто ищет истины, невольно остановится

пред этим фактом и подумает о нем серьезно. Вот три страны, три народности, равно европейские, равно славящиеся цивилизацией, наукой, искусствами, плодотворной технической деятельностью, развитием торговли и промышленности и в то же время резко и глубоко отличающиеся одна от другой своим гением, своим характером, бытом, религией, учреждениями, отличающиеся до мельчайших подробностей во всех родах своей деятельности и своих произведений, во многом крайне антипатические одна другой и, несмотря на то, полагают в основание своего высшего умственного образования почти в одинаковой степени и силе одно и то же учение, которого именно не достает нашей школе. Неужели это обстоятельство не заслуживает серьезного внимания? Неужели оно не дает основания для заключения? Неужели оно не наводит нас ни на какие соображения? Мы видим, что у этих народов дело высшего образования и науки спорится, мы видим, что оно у нас, напротив, не спорится; мы находим, что при всей противоположности в характере и развитии этих народов, при всем различии в их умственном складе, при всей характеристической особенности умственного творчества и способов разработка знания у каждого из них, – наконец, при всем разнообразии их педагогических систем, есть один равно общий им признак, который бросается в глаза и который не может быть простой случайностью. С другой стороны, мы находим, что наша школа, во всем по-видимому сходная с европейской, лишена именно этого признака, мы видим, что в нашей школе есть все, за исключением только того, в чем почти исключительно сходятся при всем их разнообразии школы всех европейских народов, в чем, стало быть, состоит главная характеристическая черта европейской школы.

Какая же это характеристическая черта европейской школы, не находимая нами у себя? Что это за элемент, который почти в равной силе господствует везде в истинно европейской школе, а нами отмечается как ненужный, бесполезный и бессмысленный? Характеристическая черта истинно европейской школы есть то, что на педагогическом языке называется *кон-*

центрация, сосредоточение, собирание умственных сил, а тот элемент, посредством которого совершается это дело концентрации, – элемент, нами отвергаемый в качестве бесплодного и бессмысленного, суть древнеклассические языки, греческий и латинский. Истинно европейская школа, как мы видим и видим ни в теории, а на деле, есть школа по преимуществу греко-римская; вот единственное характеристическое отличие европейской школы от той, которая заведена у нас под этим именем.

Оставим пока в стороне вопрос о свойствах того предмета, посредством которого совершается в школе самое существенное педагогическое дело, – дело сосредоточения, посмотрим прежде, в чем оно состоит, для чего оно нужно; уяснив себе этот вопрос, мы лучше потом можем судить о том, какими способами и на каком предмете оно может всего успешнее совершаться.

Школа имеет целью воспитание ума: она имеет дело с первыми начатками умственной организации, и ее призвание состоит в том, чтобы воспитать и возрастить эти начатки. Она берет человеческое существо тотчас по выходе его из младенчества и возводит его шаг за шагом, параллельно с его физическим возрастом, в силу и зрелость готового к самостоятельной жизни ума. В школе не науки разрабатываются, не исследования совершаются, не открытия творятся, также не лекции читаются, – в школе воспитываются дети для того, чтоб они вместе со своим физическим возрастом созревали и умственно и могли стать способными как для науки, так и для всякой серьезной умственной деятельности. Но для такого воспитания необходимо сосредоточение всех умственных способностей и развитие их на одном труде, который зрел бы из года в год в продолжение всего отрочества. Воспитывать не значит развлекать, раздроблять и расслаблять, воспитывать значит собирать, сосредоточивать, усиливать и вводить в зрелость. Школа действует противно целям воспитания, если она ставит себе задачей поровну разделять предоставленное ей время между многими разнородными науками с тем, чтобы

сообщать младенческим, только что народившимся умам разные сведения, которые покажутся ей интересными и важными. Вместо знаний она внесет в эти юные умы, вверенные ее попечению, лишь неудобоваримый хлам слов и формул; вместо приготовления их к серьезной деятельности она сделает их неспособными к ней; она не разовьет, не возбудит умственных сил, но замутит, расстроит и расслабит те начатки умственной организации, которые поступают к ней прямо из рук матери. Оттого-то и выходит, что если добрая школа приносит великую пользу, то школа дурная не только не приносит пользы, но и причиняет положительный вред. Оттого-то так часто бывает, что простой человек, не прошедший через педагогическую школу, оказывается зреее, здравомысленнее, тверже умом и во всех отношениях почтеннее воспитанников школы, не понимающей своего призвания и действующей вопреки ему.

Умственное воспитание требует, чтобы надо всеми предметами, которые входят в состав школьного учения, непременно господствовал один предмет или группа однородных предметов, которой была бы посвящена большая часть школьного времени и к которой воспитанники возвращались бы ежедневно, в продолжение целого ряда лет, до конца своего воспитания, то есть во весь период своего отрочества. Если такого предмета или такой группы однородных предметов не окажется в школе, – если все школьное время будет раздроблено поровну или почти поровну между многими разнородными предметами, то воспитания не будет, а будет порча. Что же мы видим в действительной европейской школе? Мы видим, что там надо всеми предметами учения господствует один предмет, которому посвящается гораздо более учебного времени, чем всем остальным в совокупности, и к которому юные зреющие умы возвращаются ежедневно, в продолжение целых восьми и девяти лет. Какой бы ни был этот предмет, дело в том, что в европейской школе есть один господствующий предмет, которому посвящается до шестнадцати часов из двадцати четырех и даже двадцати двух всего учебного времени в неделю. Вот поразительный факт, которому мы не находим ни малейшего соответствия в

нашей школе. Чего не преподается в нашей школе? Загляните в программу наших гимназий, наших кадетских корпусов, наших нынешних семинарий: чего в них нет, каких наук в них не преподается и какая безобидная равномерность в распределения занятий! Какой пантеон знаний! И естествоведение, и законоведение, и география, и история от сотворения мира по сие число, и русская словесность, в которой отражается земля и небо и упоминается обо всем, начиная от санскритского языка до последней модной повести, до последней журнальной рецензии включительно; есть и математика, и физика с космографией, есть и латынь по три часа в неделю; есть в нынешних духовных семинариях еще и химия, и медицина, и сельское хозяйство с геодезией; наконец, всего не перечесть, что преподается в наших учебных заведениях! И все это сообщается юным умам в продолжение каких-либо семи лет, от девятилетнего до шестнадцатилетнего возраста! Сколько знания должны были бы, кажется, разливать наши столь богатые учебные заведения в нашем обществе! Какое сравнение, например, с теми скудными школами, где воспитывается цвет английского народа, почти исключительно на латинской и греческой грамматике и на разборе классических писателей!

Нельзя ли объяснить плохие результаты наших школ не столько их устройством, сколько тем, что программа, положенная в основание этого устройства плохо исполняется, тем, что у нас нет хороших учителей, которые понимали бы свое дело и вели бы его как следует? Положим, что так; но отчего же нет у нас хороших учителей, которые понимали бы свое дело и умели бы нести его как следует? Отчего же мы после наших полуторастолетних занятий по части всех наук, составляющих европейскую мудрость, остаемся только в учениках и не можем образовать из среды своей хороших учителей? Во всяком случае, если мы не имеем в достаточной мере хороших учителей при том множестве разнообразных наук, которые преподаются в наших школах, зачем же мы вводим столько предметов в наши школы, зачем не ограничим их числа, зачем мы не последуем правилу, понятному и без помощи науки для

всякого здравого смысла, что лучше приобрести немного, нежели хвататься за многое и не схватить ничего?

Прямая и главная цель школы, повторим, есть воспитание ума, и сосредоточение занятий есть необходимое средство для этой цели. Школа отрочества должна хлопотать не о том, чтобы сообщить своим воспитанникам поболее разнообразных сведений, которых сущность неизбежно ускользает от юных субъектов, оставляя им на долю только шелуху и хлам; нет, ее забота приучить юные силы мало-помалу, без напряжения и надрыва, к серьезному и сосредоточенному труду, вызвать все способности, необходимые для полной умственной организации, развить их по возможности равномерно, укрепить и умножить их, утвердить в уме лучшие навыки, которые должны стать для него второй природой, поселить в нем здоровые инстинкты, ознакомить его со всеми процессами и приемами человеческой мысли не на словах, а на деле, на собственном труде, вкоренить в молодом уме чувство истины, чувство положительного знания, чувство ясного понятия так, чтоб он во всем мог явственно и живо различать дознанное от незнанного, понятное от непонятного, усвоенное от неусвоенного. Понимая таким образом свою задачу, школа сама становится делом жизни; она не толчет воду, но делает дело, и если делает хорошо, то получит хорошие результаты, которых она никогда не достигнет, если будет заниматься *полигисторством*. Ум воспитанный и окрепший сам, без помощи учителей, легко приобретет все разнообразные сведения, какие ему понадобятся. Поэтому-то в европейской школе, поставляющей свою главную цель в воспитании ума, сообщение разных сведений, полигисторство, есть дело второстепенное, на которое отводится лишь столько времени, сколько остается его от главного дела.

Но почему европейская школа берет для цели умственного воспитания именно древние языки и на них сосредоточивает учебные занятия? Отчего непременно древние языки, отчего не другой какой предмет, которого польза была бы более очевидна, который ближе был бы к потребностям текущей жизни? Греческий и латинский языки – для чего они нужны,

какая надобность сосредоточивать воспитание на этом отжившем мире, от которого осталось только воспоминание и который не находится ни в каких практических связях с живой современной действительностью? Не лучше ли было бы взять что-либо из современной действительности и на таком предмете сосредоточить занятия школы для воспитания юных умственных сил?

Но прежде чем пускаться в поиски за каким-либо другим предметом, не худо, однако ж, отдать себе отчет, почему в тех самых странах, которые по преимуществу отличаются живым развитием всех интересов современной действительности, почему в тех странах, где процветают все отрасли человеческого ведения, где одерживаются все те победы человеческого ума над природой, которыми гордится наша современная цивилизация, почему в этих образованных и по преимуществу практических странах избран для умственного воспитания именно тот самый предмет, на который, по нашему мнению, было бы нерасчетливо и бесполезно тратить золотое время школы? Чем бесплоднее и бесполезнее кажутся нам занятия древними языками, тем поразительнее выдается тот факт, что в европейских школах на этот предмет тратят такую гибель времени в ущерб всем другим предметам учения. Рассуждая таким образом, мы должны убедиться, что европейские школы хуже всевозможных школ на свете. Рассуждая таким образом, не придем ли мы весьма естественно к необходимости воскликнуть: ах, в каком жалком положении находится дело науки в Европе, где школа употребляет на бесплодный предмет девять и десять лет невозвратимого времени в жизни своих детей, приготовляемых ею к сферам высшей умственной деятельности! Но мы, без сомнения, согласимся, что нет серьезных оснований скорбеть таким образом об участии науки в Европе, по крайней мере, сравнительно с другими частями света. Мы должны будем согласиться и в том, что каким бы бесплодным предметом ни казались нам древние языки, они тем не менее приносят великую неоспоримую пользу, служа в европейских школах для педагогической концентрации умственного труда.

Теперь спрашивается: какому иному предмету могли бы мы дать предпочтение пред древними языками для той цели, которой они служат в европейских школах? На каком другом предмете могли бы мы сосредоточить учебные занятия в той степени и силе, в какой это оказывается необходимым в интересе надлежащего умственного воспитания? Можем ли мы призвать для этой цели, например, математику, которая прежде всего представляется нашему вниманию? Математика есть бесспорно необходимый элемент в деле умственного воспитания, математике бесспорно должно принадлежать почетное место в программе школы. Математика не есть сумма сведений; математика есть способность, орган, сила; без надлежащего развития этой способности воспитание не достигнет своей цели, а потому не может быть и вопроса о том: следует ли математике предоставить столько учебного времени в школе, сколько необходимо для правильного и полного развития этой великой умственной силы. Но возможно ли хотя на минуту поддерживать мысль, что математика может исполнить то самое назначение, какое древние языки исполняют в европейской школе? Есть ли возможность сосредоточить умственный труд детей в продолжение целого ряда лет, от десятилетнего до семнадцатилетнего возраста, преимущественно на математике так, чтобы они каждый день возвращались к ней и употребляли на нее от десяти до шестнадцати часов в неделю? Было ли бы желательно это, если бы это и оказалось возможным? Получили ли бы мы при такого рода концентрации учебного времени те результаты, которые должны составлять цель умственного воспитания? Математика есть необходимый предмет, но она не соответствует всей умственной организации человека. Сосредоточивая преимущественно на ней учебные занятия, мы оставим в небрежении самые существенные силы, нарушим психическое равновесие и сообщим развитию молодых умов, вверенных попечениям школы одностороннее, уродливое, неестественное направление. Мы обессилим и изнурием наших воспитанников и, в конце концов, за немногими исключениями, сделаем их неспособными к самой математике. Не

естествоведение ли взять для этой цели, ботанику, зоологию, физиологию, химию? Не превратить ли нам наши гимназии в химические лаборатории и в анатомические театры? Оставляя в стороне вопрос – полезно или бесполезно вводить до некоторой степени в программу школы, назначенной для отроческого возраста, преподавание естественных наук, мы не можем в здравом уме допустить мысль о том, чтобы концентрировать на этом предмете учебное устройство школы. Естественные науки тесно связаны между собой, серьезное занятие ими требует более или менее зрелого ума. Для детей от десяти до семнадцатилетнего возраста сведения из естественных наук могут быть предметом лишь самого поверхностного занятия; но могут ли занятия поверхностные служить главной сосредоточивающей силой в деле воспитания и соответствовать его целям? История почти везде более или менее вводится в учебный план школы; но можно ли вообразить себе, чтоб этот предмет когда-нибудь занял то место, какое в европейских школах предоставлено древним языкам? Можно ли серьезно допустить мысль, чтобы дети в продолжение семи, восьми или девяти лет своего школьного времени возвращались ежедневно к этому предмету и сосредоточивали на нем свои занятия? Что стали бы они делать с историей, употребляя на нее не только шестнадцать или десять, но даже по три часа в неделю в продолжение восьми или девяти лет? В какие источники будут погружаться эти двенадцатилетние исследователи жизни народов и каузальной связи событий, эти юные и уже столь глубокомысленные ценители политических учреждений, исторических движений и двигателей? Но не дать ли господствующую роль изучению новейших языков, знание которых может оказать практическую пользу для жизни? Не пожелать ли нам, чтобы в продолжение шестнадцати часов в неделю воспитанники наших школ в видах сосредоточения учебных занятий тараторили со своим учителем по-французски, по-немецки или по-английски? Пусть кто хочет представит себе такую школу и спросит себя, что вынесут из нее ее воспитанники. При хорошем успехе они приобретут навык объясняться на иностранных языках, и при

наилучшем – превратятся нравственно в иностранцев. Наконец, не пожелать ли нам, чтобы педагогическое сосредоточение умственного труда совершалось на изучении родного языка? Родной язык, как приятно звучит это! Но кто серьезно ищет истины, тот легко поймет, что отечественный язык отнюдь не может служить тем педагогическим орудием, каким служат древние *языки* в европейских школах. Везде есть отечественный язык, везде учат детей правильному употреблению их отечественного языка, но нигде не помышляют о том, чтобы посвящать ему для высших педагогических целей то количество времени, которое считается для этих целей необходимым. Нигде не помышляют о том, чтобы сделать отечественный язык предметом такого изучения и анализа, какие возможны лишь по отношению к языкам мертвым. Нет ничего труднее, как изучать и анализировать живой предмет, и притом такой, который есть одно с нами. Дети могут учиться своему природному языку только для того, чтобы регулировать его практическое употребление; но никогда не удастся возвести его для их разумения в предмет плодотворного теоретического изучения. Можно ли вынуть из уст детей живое слово, непосредственно понятное им и неразрывно связанное с их жизнью, и представить им оное как нечто для них внешнее, чуждое, требующее постоянного ежедневного учения? Что вынесут они из такого труда? Умение правильно и хорошо писать на своем языке? Но они могут достигнуть этого результата и без такого труда. Напротив, можно утвердительно сказать, что если бы они стали посвящать на изучение своего языка излишнее количество времени и труда, то они всего менее достигли бы желаемого результата. Своему языку учиться им нечего; они всосали его с молоком матери, его грамоту они усвоили себе прежде, чем поступили в ту школу, которая должна воспитать их умственные силы. Правильному употреблению отечественной речи они могут выучиться, полагая на этот предмет в продолжение школьного времени весьма ограниченное число часов, в которые учитель будет занимать их практическими упражнениями и чтением образцовых писателей. На какую же сторону повер-

нет школа отечественный язык, дабы сосредоточить на нем умственный труд своих воспитанников? Будет ли она на формах отечественного языка раскрывать законы человеческого разума, насколько они отпечатались в строении языка? Будет ли она водить детские умы по лабиринту сравнительного языкознания, которое как наука родилось на свет только вчерашнего числа и как предмет серьезных занятий доступно только для специальных ученых? Будет ли она следить со своими воспитанниками за историческими изменениями их отечественного языка, посвящать их в специальности, которые не представят для детей ни интереса, ни смысла?

Недаром лишь европейская школа могла успешно применить то великое педагогическое начало, которое требует сосредоточения учебных занятий; недаром лишь в европейской школе оказался удобный для этого предмет. Европейская школа не есть школа немецкая, или французская, или английская; европейская школа есть греко-римская. Европейская почва не значит ту или другую из нынешних европейских народностей или все совокупности; европейская почва, это – почва нейтральная, общая для всех народностей, это тот мир, который называется классической древностью, мир, который на веки веков и всецело совершил цикл своего развития, мир с началом и концом. Только европейская цивилизация имеет прошедшее, только она владеет завещанным ей капиталом; только она получила наследство. Отказываясь от древних языков, наша школа не только отказалась бы от наилучшего, вернее сказать, от единственного средства для полного умственного воспитания, но и отказалась бы за нашу народность от прямого участия в этом великом наследстве. Устраняясь от прямого участия в завещанном классической древностью капитале, мы тем самым лишили бы себя той европейской почвы, на которой желаем основаться и на которую имеем не меньшее, чем другие, право. Не какая-либо случайность положила классические языки в основу европейской школы. Напрасно иные хотят объяснить этот многозначительный факт тем, будто народы центральной и западной Европы находят практические поводы к изуче-

нию древних языков; напрасно указывают на употребление латинского языка в римско-Католической Церкви; напрасно также указывают на римское право, вошедшее в жизнь некоторых европейских народов. В Англии римское право почти не действовало; ни в Англии, ни в протестантской Германии латинский язык не имеет богослужебного значения. Наконец, ни один из европейских народов не имеет исторических преданий, которые сближали бы его с Грецией, по крайней мере, ни один более нашего. Древние классические языки положены в основу европейской школы силой вещей и тем разумом, который господствует в истории. Только эти языки в их неразрывном единстве обладают всеми теми свойствами, которые позволяют сосредоточить на них труд юных зреющих умов и щедро вознаграждают их за этот труд. Эти языки не только соединяют в себе все необходимые условия для правильного и здорового упражнения умственных сил, но и вносят в них с тем вместе богатое содержание. Усваивая себе логику, отпечатлевшуюся в организации этих языков, юные умы шаг за шагом овладевают сверх того целым историческим миром, исполненным неисчислимых богатств, тем миром, который лежит в основе современной цивилизации. Изучая эти языки и все то, к чему они дают ключ, юная мысль зреет, знакомясь на практике со всеми приемами серьезной умственной деятельности, со всеми способами борьбы с фактом, со всеми методами исследования и познания. Здесь невозможно поверхностное обращение с делом, здесь невозможна никакая неопределенность и неточность, никакое двусмыслие; здесь узнанное с резкой явственностью отличается от неузнанного, понятное от непонятого, усвоенное от неусвоенного. Здесь юный ум трудом собственной жизни знакомится со всеми родовыми оттенками человеческой мысли, со всеми видами человеческого творчества в их первоначальных, простых и чистых линиях. Здесь вызываются и приводятся в игру все способности духовной организации человека, и все равномерно воспитываются, усиливаются и развиваются. Наконец, благодаря этим занятиям юные умы приобретают то историческое чувство, тот смысл

действительности, в которых состоит главное отличие умственной благовоспитанности. Учебники истории никогда не сообщат им этого чувства истории; учебники истории дадут им только ряды слов и чужих воззрений, которые коснутся их лишь поверхностно. Но усвоив шаг за шагом букву и дух древних языков, учащиеся самолично входят в мир истории и овладевают первоначальными источниками исторического ведения. Они усваивают себе историю на самом деле, всеми своими способностями и инстинктами. Они овладевают действительно бывшим, а не заучивают чужие рассказы и рассуждения в учебнике, переложенном с немецкого. Но мы никогда бы не кончили, если бы стали развивать эту тему. В заключение мы припомним один многозначительный факт из истории нашего собственного народного образования. С чего началась история нашей новой литературы, с чего начался наш нынешний литературный язык? Кто дал нам грамматику нашего языка? Кто вышколил наш язык в строгом периоде? Кто дал нам русскую прозу и русский стих? Кто первый внес в нашу народность дух науки и коснулся рукою мастера почти всех специальных знаний своего времени, и физико-математических, и естественных, и филологических? Архангельский рыбак, воспитавшийся в греко-латинской школе. Вот с чего началась история русского образования на европейской почве; вот откуда пошла наша литература, наша наука! Мальчик, выхваченный судьбой из самой глубины русского народа и приведенный ею в греко-латинское училище, вот кто первый у нас стал на почву европейской науки! Вот многозначительный символ и пример, взятый из нашей собственной истории! Ломоносова одушевляла мысль:

Что будет собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

Увы, эта надежда, одушевлявшая Ломоносова, до сих пор сбывается плохо! Не потому ли это, что мы, погнавшись за ев-

ропейской цивилизацией, потеряли ту почву, на которой только и возможно сравняться с Европой и на которой стоял наш крестьянин из Архангельска?

ВОЗОБНОВИВШАЯСЯ АГИТАЦИЯ ПРОТИВ УЧЕБНОЙ РЕФОРМЫ

Писарев, испортивший столько голов между мальчиками и девочками, изучавшими его обильные писания дома и в школе (в школе тогда господствовала русская словесность), был самый искренний из всех проповедников нигилизма. «Когда взята школа, – писал он в 1865 году, – тогда победа упрочена, *таракан пойман*. Взять школу значит упрочить господство своей идеи над обществом». Он надеялся тогда, что само начальство введет в школы «последовательный реализм» и даст «реальнейшие предписания». Надежды его не сбылись, начальство сменилось, последовательный реализм не последовал. Совершилась реформа нашей школы, самая существенная из всех нынешнего царствования после отмены крепостного права. *Таракан* не был пойман, и русская наука была спасена. Но противники реформы, проиграв бой, не унывали. Они были уверены, что реформа останется только на бумаге за неимением сил привести ее в исполнение. Они ошиблись, как и крепостники, которые не верили в дело освобождения даже после того, как оно стало законом, считая его лишь докучной шуткой, которая прекратится, оставив все в прежней силе. Учебная реформа к славе Государя и к чести его министра не осталась праздным словом, но действительно была исполнена. Большие трудности были побеждены, и основания дела положены твердой, верной и разумной рукой; найдены средства удовлетворить всем потребностям новой школы; все было предусмотрено и заранее приняты меры, чтобы дело могло и упрочиться, и плодотворно развиваться. Не только наличные гимназии были поставлены в уровень требований нового устава, но беспрерывно открывались новые, и в учебных силах недостатка не оказалось.

В обществе никакого ропота не слышалось; люди темные не пускались в суждения, а люди просвещенные скоро поняли значение и пользу совершившейся перемены, и мы помним, как при объезде министром некоторых учебных округов (особенно в 1875 году) представители земства, дворянства и городов благодарили его в речах умных и запечатленных искренностью за реформу, действие которой почувствовалось уже на первых порах. Но чем вернее и лучше шло дело, тем беспокойнее становились его противники. Началась агитация, были подожжены страсти, которые резонов не слушают и очевидности не видят, пушены в ход все средства софизма и лжи. В прошлом году, после покушения 2 апреля, агитация достигла неслыханной дерзости. Самые, по-видимому, несовместимые элементы вступили в связь и принялись действовать как бы по общей команде. *Dii superi* и *dii inferi** соединили свои усилия. Целью этих усилий было добиться прежде всего удаления министра народного просвещения. В газетах непрерывно возобновлялись слухи о выходе его в отставку и назывались кандидаты на его место. Агитация распалилась тем сильнее, что министр, по Высочайшему повелению, предпринимает дальнейшую необходимую реформу, которая касается университетов.

На прошлой неделе сыпался град пуль и ядер. Газета *Times*, между прочим, принесла нам подметное послание из подпольной типографии от каких-то русских реалистов к русскому обществу. Этот листок был прислан кем-то из Москвы берлинскому корреспонденту лондонской газеты, которая нашла интересным отвести этому чудовищному документу два столбца своей мелкой печати и посвятила ему целую передовую статью. Русские реалисты, *comme de raison*** , изрыгают неистовые ругательства на русское правительство, обвиняя его в обскурантизме и приглашая общество побить его и все поломать. Правительство, по их уверению, задерживает прогресс, преследует науку, препятствует просвещению и в этих видах вводит классическую систему в гимназии. Таинственные про-

* Боги небесные, боги подземные (*лат.*)

** Естественно (*фр.*)

светители наши надеются смутить этим вздором русское общество, как будто оно не знает и не помнит, что в России власть всегда была единственной силой прогресса и что только она заботилась о насаждении науки в стране, что и университеты, и гимназии, и реальные училища, все это создано правительственной инициативой, что косность в этом деле всегда оказывалась, напротив, в обществе, что власть прибегала то к принудительным, то к поощрительным мерам, чтобы привлечь людей к учению. В Англии нет ни одного университета, ни одной «грамматической школы», основанной правительством. В Германии большая часть гимназий учреждена на средства городских обществ; да и на правительственные гимназии казна выдает лишь часть сумм, необходимых на их содержание, остальное же дополняется местными обществами. А у нас? В Москве и Петербурге содержится ли хотя бы одна прогимназия на городские средства?

Все реформы, начиная с Петра Великого и кончая нынешним освободительным и преобразовательным царствованием, совершались по инициативе свободной Верховной власти. Надобно считать русскую публику до бесконечности глупой, чтоб обращаться к ней с подобной речью. Именно в том-то и состоит характеристическое отличие прогресса в России, что он совершался исключительно самодержавной властью.

Лондонская газета не могла, если бы и хотела, сочувственно отозваться о мнениях, высказанных «русскими реалистами». В Англии, промышленной, торговой, реалистической Англии, нет других учебных заведений, кроме классических, и никаких реальных училищ не существует. Английская газета даже не понимает, что это за люди, русские реалисты, и называют их студентами-реалистами. Но минуя их жалобы как нелепые, *Times* делает курьезное замечание: если де реалистам студентам душен спертый в их аудиториях и в их читальных комнатах воздух, то в этом виновато не одно правительство, но и климат, а потому пусть де они попробуют, не приглашая публику ко всеобщей ломке, просто-напросто открыть окно, чему в летние месяцы со стороны климата препятствий не

должно представиться. *Times* заключает этим таинственным намеком свою статью, в которой, между прочим, сердобольно указывает на безвыходное положение России. Ее правительство, по дикости ее народа, не может де сразу поставить ее в уровень с цивилизованными странами Европы, а между тем телеграфы, газеты, непрерывные сношения с заграничным миром раздражают интеллигентные классы русского общества, наводя их на сравнение своего с чужеземным, и вот де возникает вопрос, почему Россия не похожа на другие европейские государства... Да, надо правду сказать, такой вопрос возникает, и наша интеллигенция (мы говорим о массах, не об отдельных людях, не об исключениях) ничего иного не желает, как походить на других. Но истинное зло России именно и заключается в той гнилой части ее интеллигенции, которая стыдится своей страны и чуждается своего народа. Эта-то интеллигенция и есть наша язва, от которой мы должны во что бы то ни стало освободиться; это-то и есть то фальшивое образование, которым мы страдаем, живя чужим умом и на все свое смотря чужими глазами.

Недавние события послужили пробой народов. Русскому ли народу после этого испытания отречься от себя, другим ли превозноситься над ним?

В чем нам завидовать другим странам? Возьмем ли Церковь, – мы обладаем христианством в его неизменном со времен апостольских существе; Церковь глубоко коренится в нашей народной жизни; она была творящей силой нашей истории; она слилась с нашей народностью и внесла в нее самое христианское в христианстве начало: дух милосердия и самоотвержения. В других же странах Церковь ведет ожесточенную борьбу с государством, положительная вера исчезла в массах, и религия превратилась в фарисейский *decoium* высших классов.

Не в политическом ли отношении завидовать нам другим? Но мы имеем то, чего теперь у других нет – бесспорную, непоколебимую, нераздельную, единую со всем народом государственную власть. В этой безусловности власти, в этой независимости ее и единстве с народом заключается величайшее

политическое благо. Такую власть нельзя создать искусственно и по произволу, где она не установлена веками или где она однажды сбита с места. Были в наши времена сильные люди в Европе, но они не могли при всех усилиях и гениальности придать своей власти то значение, какое составляет ее сущность в нашем Отечестве. Завидовать ли другим в том, что у них это основное начало обесславлено, выброшено на площадь и жадно вырывается друг у друга толпами? Не парламентаризму ли должны мы завидовать, этому истасканному в Европе шаблону, этой пошлой доктрине, везде потерявшей кредит, которая может быть годна только как средство постепенного ослабления власти и перемещения ее из рук в другие? Много переменили мы арлекинских костюмов, стараясь подражать чужим модам. Не дай Бог облечься в этот... Не введи нас в искушение... Россия, если ей суждено жить, не может повторять зады чужих народов. Ее величие, глубокая особенность ее истории и народности, все указывает, что она есть нечто *suī generis* и должна идти своим путем.

В чем же завидовать? Народ наш могуч и исполнен жизненных сил; страна наша велика и обильна... У нас есть Польша, где народное богатство и довольство растет не по дням, а по часам, и нет у нас умирающей с голоду Ирландии, нет заповоженных ростовщиками Силезии и Галиции, нет пролетариата как органической болезни, нет такой ужасной нищеты и омерзительного огрубения человечества, какие гнездятся в других странах под позолотой цивилизации, творящей промышленные чудеса на свободные деньги, собранные с разных концов мира политикой обмана, коварства и хищения.

Чего же не достает нам? Народу нашему не достает достойной его интеллигенции. У нас нет науки и всего того, что от нее исходит. Наше образование, поверхностное и подражательное, не вносит света в нашу жизнь и способно только возмущать ее. Мы лишены своих, нами самими выработанных понятий, чтобы видеть и разуметь окружающее. Юношество, из которого выходят наши государственные деятели, наши ученые и учителя, не доставало правильного и достаточно

высокого умственного воспитания для приготовления к высшим так называемым либеральным профессиям, не доставало школы, равносильной той, где воспитывается интеллигентная Европа. Эта школа теперь нам дарована, и ее-то интрига, не гнушающаяся никаких коалиций, силится отнять у России. Под именем какой-то реальной системы хочет она возвратить нас к прежнему низкопробному и растлевающему воспитанию, которое делало нас данниками чужой мысли и породило именно то фальшивое образование, за которым мы действительно не можем не презирать себя и не стыдиться себя при сравнении с другими.

Благонамеренная газета *Голос* подкрепляет санитарными соображениями свои доводы против серьезного учения. Статья, посвященная сему предмету, рисует картинку российского юношества, весело бегущего по полям вместо того, чтобы сидеть в душевной комнате за книгой. Мораль басни клонится к тому, чтобы отменить классическую систему, которая заставляет детей учиться, чем де подрывает их здоровье или выбрасывает их на путь политических убийц. Автор статьи предупреждает возражение, которое вздумало бы сослаться на другие страны Европы, где дети учатся еще серьезнее и где школа требует от них гораздо более чем у нас. Он объясняет, что в других странах климат лучше и мягче. Европа однако велика, и климат в ней не одинаков, а между тем в Германии, как и во Франции, в Швеции, как и в Италии, юношество учится серьезно. Нигде не слышно санитарных жалоб на хорошее и основательное учение. Везде поощряют молодежь к прилежанию; нигде не поощряют ее, особенно через газеты, к лени и бунту против требований школы. Да и в нашем Отечестве климат не везде одинаков; есть у нас край, не пользующейся особыми привилегиями, по крайней мере со стороны климата, где издавна ведется серьезное учение и господствует классическая школа. Образование в интеллигентных сферах Балтийского края стояло всегда бесспорно выше, чем в какой-либо другой части Российской Империи, и не слышно, чтоб оттуда выходили люди с расстроеным здоровьем и чтобы тамошние

гимназии были рассадниками нигилистов. Чувствительная аргументация благонамеренного *Голоса* против серьезного учения даже в Петербурге возбудила негодование. Даже дипломатический *Journal de St.-Petersbourg* вышел из своей сферы и вмешался в педагогический вопрос. В нем появилась чья-то сильная обличительная против *Голоса* заметка. Но внимание наше обращает на себя другая в том же номере франко-русской газеты помещенная статья, очевидно упавшая в нее из верхних слоев атмосферы.

Почетная статья в *Journal de St.-Petersbourg* начинается и оканчивается английским изречением «men, no measures» – «люди, а не мероприятия». Автор, как удостоверяет нас редакция в почтительных вводных строках, есть друг юношества, педагог, посвятивший ему всю свою жизнь, патриот et un admirateur des classiques*. Мы охотно верим всему, но сомневаемся, чтобы это таинственное лицо было когда-нибудь педагогом или следило за делом воспитания.

Статья открывается следующими словами: «Печальные события, которых страна наша была театром в течение минувшего года, снова поставили школьный вопрос на дневную очередь общественного мнения». Другу юношества и патриоту следовало бы выразиться точнее и сказать так: прискорбные события прошлого года подали повод интриге снова поднять школьный вопрос.

Вот как было дело: через несколько дней после покушения 2-го апреля, орган *официозный*, издаваемый в Петербурге, *Avance Generale Russe*, нашел возможным привести это покушение в связь с классической системой, что и послужило сигналом к батальному огню по всей линии петербургской печати. Нам приятно отдать почтенному quasi-педагогу справедливость в том, что он не разделяет мнение о зловредности классической системы, находя, что возлагать на нее ответственность за нигилизм было бы крайне ошибочно, противно и фактам и датам. Слава Богу, мы получили таким образом авторитетное свидетельство, что классическая система непо-

* Почитатель классиков (фр.)

винна в прискорбных событиях прошлого года. Зло, объясняет автор, началось прежде, чем поднялся спор между системами классической и реальной. По его мнению, никакая система не может быть повинна в развитии этого зла. Смешивать политику с педагогическими вопросами, говорит он, значило бы только вносить в них смуту. Замечание верное, и интрига, которая разыгрывает свою политику на вопросах школы, есть дело поистине преступное. Но запрет смешивать политику с педагогическими вопросами никак не может значить, чтобы для государства было все равно, какая бы система ни господствовала в узаконенных им школах, правильная или неправильная, удовлетворительная или неудовлетворительная. Автор, как «*admirateur des classiques*», отдает предпочтение классической системе. «Опыт десяти веков, говорит он, доказал превосходство древних языков как воспитательного способа для некоторых классов общества, и нам следует воспользоваться этим способом». Все это верно; но что значит «для некоторых классов»? Для каких? Классическая школа признается повсюду как путь к университетскому образованию: значит ли, что к университетам доступ должен быть открыт только для некоторых сословий, долженствующих снабжать нас и государственными деятелями, и учителями, и судьями, и врачами?

Почтенный автор, указывая на опыт десяти веков, напрасно говорит о разных учебных системах, которые между собой спорят. Спорить можно обо всем, и мнений может быть бесконечное множество. Но на деле есть все-таки только одна система, ведущая к университетскому образованию по всем специальностям. В университеты допускаются молодые люди не по сословиям, а по степени умственной зрелости. Допустить неприготовленных к занятиям наукой значит и уронить это дело, и вместо пользы причинить вред учащимся, а чрез них государству. Мы опять спрашиваем? Может ли государство быть равнодушно к условиям? В какие поставлено дело образования будущих слуг его и просветителей народа? Если допустить, что государство может равнодушно относиться к этому вопросу, то почему не исполнить требование тех студентов-

реалистов, которым газета *Times* советует открыть в летние месяцы окно? Почему не открыть доступа всем в аудитории, не спрашивая, учились ли они чему-нибудь и как учились? Подпольные реалисты требуют, в сущности, только того, что у нас и велось в прежнее время и чего также требуют благонамеренные реалисты *Голоса*.

Воздавая справедливую хвалу министру народного просвещения за то, что он как истинный государственный человек признал достоинство классической системы, не вступая в фальшивые компромиссы, которые могли бы лишить ее значения, почтенный автор тем не менее сожалеет, что министр не удовольствовался последовательным проведением реформы на бумаге, а решился и на деле исполнить ее также без всяких уступок и компромиссов. Нам кажется, напротив, что в этом-то и заключается истинная заслуга министра. Что стало бы с крестьянским вопросом, если б эта великая реформа была только на бумаге последовательно проведена, на деле же только отчасти исполнена? Не ведут ли такие реформы к результатам нередко худшим, чем самое зло, которое их вызвало?

Автор не без цели начинает и оканчивает свою статью знаменательным изречением: «Нужны люди, а не мероприятия». Нет, еще раз, он не педагог; ему неизвестны обстоятельства педагогического дела, и мы смеем утверждать, что лица, с которыми он по этому предмету совещался, ввели его в заблуждение. Именно в том-то и заключается достоинство учебной реформы, исполненной графом Толстым, что она дала нам не только хороший устав, но и людей. До реформы педагогическое дело находилось у нас в плачевном положении. После разгрома, постигшего в 1840 году наши духовные семинарии, и после удара, нанесенного нашим гимназиям в 1849 году, мы совершенно обанкротились в деле науки. И прежде дело это не стояло у нас высоко; мы никогда не были мастерами и всегда были только учениками в этом деле, мы даже не могли снабдить нашу школу учебниками грамотно и без ошибок переведенными с немецкого или французского. Какого же добра можно было ожидать от наших семинарий и гимназий

сороковых годов? Без ужаса нельзя вспомнить о тогдашнем положении нашего учебного дела пред реформой. Досточтимый автор прекрасно изобразил картину нашего нигилизма, *de cette aberration de l'esprit, pour ne pas dire l'idiotisme**. Он не находит примера чего-либо подобного в других странах. Действительно, это *одурение* есть специфический продукт русской обанкротившейся школы. Коренные нигилисты, с которыми мы теперь имеем дело, принадлежат тому времени, и от них идет зараза.

И вот благодаря реформе совершилось именно то, чего требует критик, говоря, что вся сила в людях, а не в мерах. Древние языки возвысили не только нашу учебную программу, но и наш учебный персонал. При данных обстоятельствах, они сослужили нам двойную службу. Они привели к нам с собой массу преподавателей, получивших свое научное образование в европейских гимназиях и университетах. Мы всегда были в необходимости приглашать к себе иноземных ученых. Наша Академия Наук всегда главным образом рекрутировалась из них. Доходило до того, что Петербургская Духовная Академия предоставляла у себя иноверцу преподавание если не богословия, то философии. Но никогда призыв учебной помощи со стороны не был так хорошо соображен с пользой русской школы, как при исполнении последней реформы. Приготовляясь к ней, министр возымел поистине счастливую мысль воспользоваться педагогами из западных славян. С помощью сведущих и влиятельных лиц в славянском педагогическом мире, особенно в Австрии, набран был контингент учителей древних языков, которые должны были подвергнуться испытанию в предметах своей специальности и выдержать долговременный искус в особо учрежденном для этого в Петербурге институте для усовершенствования себя в русском языке. Славяне, в том числе немало русских из Галиции, могли вскоре хорошо освоиться с родственным языком, а в начале реформы, когда новая программа в большей части гимназий вводилась с низших классов, вовсе не

* Этого умственного расстройства, если не сказать идиотизма (*фр.*)

требовалось утонченного знания русского языка. С течением же времени эти пришедшие к нам с запада соплеменники становились вполне русскими по языку, как и по подданству, и теперь многих из них нельзя отличить от природных русских. Присутствие этих новых, неожиданно явившихся в нашем учебном мире интеллигентных сил, не могло не отозваться благотворными результатами в наших гимназиях. Эти люди, не все равного достоинства, но все или почти все (а всех их вошло к нам, полагаем, не менее полутора ста) умственно дисциплинированные и зрелые люди, владеющие предметом своей специальности и знакомые собственным опытом с дидактическими приемами европейской школы. Против этих людей шипела зависть, кипела злоба; враги реформы возненавидели в них деятелей способных обеспечить ее успех. Да и теперь, мы уверены, наш отзыв о них вызовет ругательства в известной части печати. Но мы также уверены, что почтенное лицо, к которому обращаем мы свою речь, не усомнится ни в компетентности, ни в правдивости нашего отзыва.

Говоря о соплеменниках, не можем не упомянуть и об иноплеменных филологах из Германии, Дании и других стран, привлеченных преобразованием нашей школы и усердно посвятивших себя этому нашему национальному и в то же время общекультурному делу. Великое, с убеждением предпринятое дело всегда имеет привлекательную и одушевительную силу. Замечательна энергия, с какой в этом случае немцы, вообще столь тугие в усвоении русского языка, овладели им, и некоторые в совершенстве, чему, конечно, много способствовало их высокое филологическое образование.

Борьба, которую должно было выдержать дело реформы, раскрыла его важность, а победа, которую она одержала, оживила веру в будущность русской классической школы. И вот нашлось и между природными русскими не большое, но уважительное при начале число более или менее даровитых филологов, которым не было надобности учиться по-русски, а оставалось только укрепиться в своей специальности, призываемой к плодотворной деятельности.

Лучшим указателем возвысившейся учебной деятельности может служить учебная литература. Она беспрерывно обогащается ценными вкладами, и в немногие годы после реформы сделано у нас по этой части более, чем в столетие.

Итак, *ten, no measures.*

Но на этой счастливой комбинации нельзя было успокоиться. Это было временным распоряжением, превосходно сослужившим делу реформы при начале. Нужно было открыть внутренние, не оскудевающие рассадники педагогических деятелей, каких требовала новая система. Справедливо не полагаясь на наши филологические факультеты, упавшие до того, что например в Киеве на филологическом факультете вовсе не преподавалось греческого языка, а фигурировала только «Римская словесность» без латинского языка в преподавании г. Модестова, – министр предусмотрительно, еще до реформы, учредил в Петербурге высшую нормальную школу под именем Филологического Института. После в такой же институт преобразован был Нежинский лицей графа Безбородко. Параллельно с этим устроен в Лейпциге при тамошнем университете семинарий для образования филологов-преподавателей, и туда министерство отправляет с каждым годом все большее и большее число молодых людей, окончивших курс в гимназиях или уже поступивших в университеты. Первоклассные германские ученые, как Липсиус в Лейпциге, Наук и Лукиан Мюллер в Петербурге, руководят занятиями этих студентов, готовя их к учительскому званию. Нельзя сказать, чтобы наши гимназии не оставляли желать ничего лучшего и чтобы все они были равного достоинства, но все они отстают от прежних не на одно, а на многие поколения, многие же могут и теперь с выгодой поспорить с соответственными учебными заведениями в других европейских странах, например, Австрии.

Именно учебная реформа и дала нам людей, а не простую меру. О, если бы точно то же можно было сказать и о других наших реформах, например, о судебной! Дозволим себе указать почтенному quasi-педагогу на ошибку, проскользнувшую в его статье: учебная реформа совершилась не в 1867 году, а в

1872 и даже в 1873 году. Нынешний министр народного просвещения действительно вступил в управление в 1866 году, но реформу свою он мог совершить только через шесть-семь лет после того. Эти годы были тяжелой переходной эпохой нашей школы, временем борьбы за идею реформы, временем брожения и шатания школы, вербовки в тайные сообщества и самоубийств. Идея реформы, слава Богу, была сохранена во всей чистоте; дело реформы не было испорчено компромиссами; но благоразумная постепенность была соблюдена. Вместо восьмого класса сначала был принят двухлетний курс седьмого класса, причем лучшие ученики выпускались после седьмого года учения. Греческий язык вводился постепенно, и от него увольнялись воспитанники старших классов. Когда вопрос был решен и борьба прекратилась, в наших гимназиях воцарилось спокойствие. Учащееся юношество начало действительно учиться и стихла мания самоубийств, о которой говорит автор, смешав даты.

Пора бы, наконец, кинуть фальшивую мысль, будто все вступающие в гимназии должны непременно проходить весь восьмилетний курс ее и поступать затем в университеты. Как у нас, так и в других странах масса учащихся не может или не хочет долго учиться. Если гимназистов, выбывших до окончания курса, считать недоучками, то этот титул должен принадлежать всем, не бывшим в гимназиях. Недоучками в этом смысле будут все учащиеся только в народных училищах; недоучками будут также все остановившиеся на курсе уездных и городских училищ. Если недоучки в этом смысле могут быть опасны и вредны, то надобно закрыть все низшие учебные заведения, из которых нельзя прямо прыгнуть в университет.

Гимназия ведет к высшему образованию, но сама она есть среднее учебное заведение и соответствует разным степеням общего образования средней руки. Ее восьмилетний курс распределяется также и в этом смысле, и отдельные части ее курса пользуются каждая своими правами. Четырехклассная прогимназия соответствует по возрасту учащихся и по степени образования городскому училищу; шестиклассная про-

гимназия – шестиклассному реальному училищу. Что будут делать одни, то будут делать и другие. Гимназисты 4-го класса будут образованы не хуже, а по нашему мнению, лучше, чем учащиеся в городских училищах. Точно так же шестиклассная прогимназия как школа общего образования средней степени дает образование не хуже, а по-нашему, лучше получаемого учениками реальных училищ. Они могут поступать в военную службу на льготных условиях и приобретать специальное военное образование в особых училищах. Каждый может остаться на своем месте и заниматься промыслом отца. Тысячи средних профессий нуждаются в людях грамотных и более или менее образованных. Желаящие посвятить себя какому-либо занятию, требующему специальных познаний, могут всего лучше приобрести их на практике, как это бывает в Англии в конторах, на фабриках, на фермах, при железных дорогах; также в особых специальных училищах. Но не всем быть профессорами, судьями, учеными, врачами, не всем быть и министрами. Воспитанники гимназии, не окончившие курса и не поступившие в университеты, отнюдь не могут быть вредным или опасным элементом в обществе. Образование, сообщаемое в гимназии на разных степенях ее курса, может только приучить молодые умы к основательности и правильности мышления, не заражая фальшивым многознанием и верхоглядством. Если в политических процессах фигурировало несколько юношей из не окончивших курса в гимназиях, то обстоятельство оконченного или неоконченного курса не имеет в этих случаях никакого значения. Прежде всего следует заметить, что все эти молодые люди принадлежат к прежнему, смутному времени школы. Пропаганда коснулась их еще в гимназиях и некоторые прерывали свои учебные занятия, убеждаясь из запрещенных изданий (а также и из одобренных и даже официозных) в бесполезности классического учения, как недавно показывал на суде один из этих несчастных. Ни в одном случае не было доказано, чтоб они попадали в преступные сообщества по нужде и были лишены возможности снискивать себе пропитание честным трудом. Вообще недоучек этого рода, даже из старого

времени попавших в политические процессы, несравненно менее, чем недоучек высших учебных заведений. В этой-то среде главным образом вербовала пропаганда своих людей, здесь-то зарождалась и распространялась зараза. Встреча неприготовленных и незрелых умов с идеями высшего преподавания, вот начало того умопомешательства или того идиотства, пред которым останавливается в изумлении почтенный автор статьи *Journal de St.-Petersbourg*. Вот почему государство не может не заботиться, чтобы к университетской науке приступали молодые умы, достаточно к ней приготовленные, maturi*, умы дисциплинированные, достаточно владеющие собой, способные осилить идеи и вопросы, возбуждаемые университетским преподаванием.

В заключение мы не можем не поблагодарить автора статьи, на которой остановились так долго, за интересное указание на истинный источник агитации против учебной реформы. Противники реформы, говорит он, были побиты, но они не считают себя побежденными. Итак, вот причина, почему борьба возобновляется! Кто же эти противники побитые, но не признающее себя побежденными? Когда шел спор о самых основаниях реформы, русская публика не принимала в нем участия и своими симпатиями склонялась даже в пользу реформы, как о том свидетельствуют бывшие тогда заявления разных земств и городских обществ. Несколько профессоров, учителей старой школы, и члены петербургского Педагогического Общества, равно как издатели и редакторы *Голоса* и *Вестника Европы*, не могут же считаться серьезными противниками; они не имели бы ни силы, ни охоты возжигать снова борьбу по делу, окончательно решенному и приведенному в исполнение. Серьезными противниками только и могут быть правительственные лица, высказавшиеся против реформы при ее обсуждении в Государственном Совете. В таком случае, что значит «побиты, но не побеждены?» То ли, что некоторые лица, оспаривавшие реформу до решения, остались при своем мнении и после того, как она стала законом? Увы, люди остаются при своем мнении не

* Зрелые (лат.)

всегда по убеждению, а часто потому, что не хотят убедиться! Вольному воля; но различие во мнениях не оправдывает агитации ни явной, ни тайной (еще менее тайной) против решения Верховной власти, обязательных для всех, а особенно для лиц, от ней, и только от ней, принявших свой авторитет.

Мы, русские люди, безусловно, покоряемся решениям Законодателя, потому что Его сердце в руке Божией, потому именно, что Его решения от счета голосов не зависят. Мы покоряемся им как судьбе, смиряя пред ними свое самолюбие, а убеждение искреннее успокаиваем верой, что ходом событий и то, что смущает нас, обратится во благо.

Церковно-приходские школы

ЦЕРКОВЬ И НАРОДНАЯ ШКОЛА

После блистательных побед Пруссии в 1866 году пронеслось слово, что своими успехами она обязана главным образом школьному учителю, то есть учителю первоначальной народной школы, хотя в остальной Германии грамотность и образование в народе были распространены еще шире, чем в Пруссии, прусская же школа отличалась лишь большей дисциплиной, патриотическим духом и религиозным направлением под надзором пасторов. Все пошли толковать о важности шульмейстерской профессии и о необходимости для всякого прогрессивного государства озаботиться образованием особых учителей для народных школ.

Заговорили об этом и в думах, и в земских собраниях, и в газетах. Казалось желательным в видах распространения грамотности в народе образовать класс людей, которые имели бы своим специальным призванием преподавать в народной школе. У нас потребность эта казалась тем настоятельнее, что за дело народного обучения принимались люди, по-видимому, совсем к тому не признанные, случайные, за неимением дру-

гого промысла, и грамоте часто учили люди полуграмотные. Народная школа, казалось, требует народных учителей как особой профессии, к которой люди должны специально готовиться. Как есть класс университетских профессоров или класс учителей гимназии и других средних учебных заведений, так казалось необходимым и для первоначальной народной школы создать особый класс деятелей. Какой полезной представлялась такая профессия, какой плодотворный элемент обещала она внести с собой в народную жизнь, и каким необходимым звеном мнилась она быть в настоящей общественной организации! Люди эти, принадлежа к народу, были бы, казалось, его светочами, были бы живой связью между темными массами и образованным обществом, были бы проводниками всякого рода познаний в народе. Приготовление этих полезных людей каждый представлял себе, конечно, по своему: они будут де, разумеется, людьми просвещенными, сведущими по разным наукам, – а главное, строго нравственными и религиозными, добавляли про себя благочестивые люди. Как же образовать класс народных учителей? За этим дело не могло стать, потребовалось создать особые учебные заведения для приготовления таких людей, учительские семинарии, в которые принимались бы мальчики из народа, где обучали бы их всякой всячине и наставляли бы их в педагогике и дидактике. Общее увлечение было так сильно, что пришлось уступить ему. Торжеству учительских семинарий много способствовал пример Западного края, где эти заведения были в самом деле необходимы и где они приносили несомненную пользу. И вот пошли учреждаться учительские семинарии и от казны, и от земств, и теперь, по-видимому, вопрос считается навсегда решенным: мы имеем, должны и будем де иметь многочисленный, непрерывно возрастающий числом класс народных учителей, подготовляемых *ad hoc* в учительских семинариях и долженствующих служить распространителями в народе всех благ просвещения. В самом деле, как это хорошо! Вот люди образованные, даже ученые, в то же время составляющие одно с народом, обучившиеся всякой премудрости и возвратившиеся в свой прежний

быт, скромные в своих потребностях, довольные малым, – какой отличный класс общественных деятелей, какой превосходный элемент цивилизации в недрах народа! Давайте же как можно более учительских семинарий! Никаких средств на это не жалейте! Как де все изменится у нас, когда расплодится этот класс столь полезных деятелей и когда мы будем считать их не сотнями, не тысячами, а десятками тысяч! Вот тогда-то просвещение распространится по русской земле; в избах заведется литература; в кабаках, сих народных клубах, просвещенные поселяне будут рассуждать не хуже, чем в *чернокнижной* английского клуба, об египетском вопросе; всякого рода промыслы заведутся по деревням; мужик наш узнает, что есть на свете блоха и также таракан, благодаря руководствам барона Корфа, с которыми познакомит его народный учитель и мимоходом обучит и сельскому хозяйству, и гигиене, и медицине, и отчизноведению и мироведению.

Но будем говорить серьезно. Народная школа есть школа грамотности. Обучение грамоте не может быть самостоятельной профессией; оно может быть только принадлежностью какого-либо призвания. К какому же призванию могут примыкать учителя народной школы? Могут ли эти люди серьезно считаться представителями и органами науки в том значении, какое придается этому слову, когда речь идет о самостоятельном призвании, посвященном науке? Серьезной науки не можем мы до сих пор добиться даже в наших университетах. Возможно ли ожидать, чтобы не только теперь, но и когда-нибудь учителя семинарии давали людей науки, которые могли бы достойно распространить свет ее в народных массах? Учительские семинарии при самых лучших условиях могут давать только людей полуобразованных, а всякое полуобразование есть не сила, а слабость. Познания, которые могут выносить из своих рассадников учителя народных школ, не могут иметь никакого достоинства. Эти крупницы от трапезы наук не питают, а только надмевают и часто до глупости; болтовня о разных предметах может производить только сумбур в головах детей, если начиненный отрывочными и поверхностными

полусведениями учитель, не ограничиваясь азбукой, вздумает посвящать учеников в свою премудрость. Возможно ли серьезно думать, что такими путями наука, серьезная и плодотворная, будет распространяться в народе? Что общего с наукой может иметь тот одуряющий хаос слов без определенного смысла и реального значения, который зарождался бы в голове деревенских мальчиков, если учитель, не ограничиваясь азбукой и счетом, стал бы излагать им разного рода *научные* познания? Школа низшего образования, элементарная школа может иметь свои степени, восходя от одноклассного сельского училища до уездного или городского. Должна быть, конечно, разница между образованием мальчиков, которые имеют досуг и возможность учиться в продолжение шести и более лет, и обучением тех, которые более двух-трех лет употребить на учение не могут – и которых миллионы. Первоначальная сельская школа не может идти далее простой грамотности, и она исполнит оное назначение, если хорошо обучит своих воспитанников чтению, письму и счету. Всякая задача не по силам может только вредить делу. Если бы мы задались мыслью создать в каждом селе нечто вроде маленького университета, то мы остались бы при нелепом замысле, а народ остался бы без грамоты. Мы можем оказать народным массам великое благодеяние, если распространим в них грамотность: лишь бы они вышли грамотными, они сами будут иметь возможность в более зрелом возрасте приобретать полезные сведения. Способным и любознательным людям школа грамотности дает способ к дальнейшему образованию. Вместо преждевременной энциклопедии жалких познаний, которые взялся бы преподавать мальчикам воспитанник учительской семинарии, постараемся лучше дать взрослым людям хорошую умственную пищу, распространяя в грамотном народе просветительные и полезные, умно и толково писанные книги и книжки, в которых можно сообщать им и сельскохозяйственные, и врачебные, и всякие другие сведения. Взрослый, зрелый, достаточно грамотный человек, конечно, лучше воспользуется разными сведениями, чем мальчик, слушая полуобразованного учителя.

Итак, если сельские учителя не могут примыкать к ученой профессии, то какого же призвания по преимуществу может быть дело народного обучения? Ни к чему иному не может примыкать народная школа, как к Церкви. Только священнослужитель может быть *по преимуществу* призванным народным учителем. Если вы полагаете, что наше духовенство неспособно обучать деревенских детей грамоте, так постарайтесь же сделать его к тому способным. Но не нелепо ли думать, что образование священника недостаточно для обучения деревенских детей грамоте? Хотя наши духовные семинарии много оставляют желать лучшего, но они тем не менее дают образование бесспорно превосходящее все, чего может потребовать народное обучение. Духовная семинария бесспорно превосходит все, что при наилучших условиях может дать учительская семинария, которая способна лишь дрессировать, а не воспитывать ум учащихся. Духовная семинария несравненно более соответствует требованиям науки в высшем смысле этого слова, чем какая бы то ни было учительская семинария. Воспитанник духовной семинарии по самой продолжительности, основательности и серьезности пройденного им курса может с полным правом считаться представителем просвещения в среде народа независимо от своего богословского характера.

Итак, Церковь – вот истинная опора народной школы. Священнослужитель – вот по преимуществу призванный народный учитель, и везде, где государство не находится в борьбе с Церковью, стараются народную школу удерживать сколь можно в теснейшей связи с религиозными учреждениями.

Но что хорошо в идее, то может оказаться неудобным на практике. Если поручим народную школу священнику, то не затрудним ли его делом, которому он не может должным образом посвятить себя, и не пострадает ли от этого дело школьного обучения? В самом деле, может ли процветать школа, находясь в заведывании лица, для которого она будет лишь случайным, как бы мимоходным занятием? На священнике лежат обязанности, не всегда совместные с регулярными учебными занятиями. Но почему же непременно только на свя-

щенника возлагать обязанности школьного обучения? Кроме пресвитерства Православная Церковь знает еще диаконство. Звание диакона есть апостольское установление, а между тем оно превратилось в предмет какой-то церковной роскоши, так что в сельских церквях диакон в видах экономии оказался излишним. Благолепие богослужения с устранением диакона пострадало, но все существенное в богослужении и всякая церковная треба может совершаться без его участия. Неужели, однако, при самом начале Христовой Церкви апостолы установили несущественную и излишнюю церковную должность? В Апостольской Церкви, какой должна быть Церковь Православная, диаконство не должно быть только роскошью, без которой Церковь может обходиться. Диакон учрежден не для одних только возглашений при богослужении. Диаконство также не есть только ступень ко пресвитерству. Подчиненный иерею при богослужении, диакон имеет, кроме того, при церковном деле свое самостоятельное положение. В первоначальной Церкви верующие собирались не только для общей молитвы, но и на общую трапезу. Избранным и освященным апостолами лицам поручены были заботы об общей трапезе. Первоначальным происхождением определяется существенное значение диаконства. Христова вера из малой общины распространилась по лицу всего мира; верующие не собираются на общую трапезу в притворах церковных, но апостольское учреждение не должно оставаться праздным. Диакон сохраняет свое значение, заведывая духовной трапезой, служа делу народного обучения под сенью Церкви. Вот по преимуществу призванный народный учитель. Давая священной должности диакона такое назначение, мы сохраняем ее для Церкви, а вместе удерживаем при Церкви народную школу. Все церковные требы иерей исполняет и без помощи диакона, который может неуклонно посвящать свою деятельность школе своего прихода. Его не оторвут во время урока для напутствия умирающего, для крещения новорожденного и для других церковных треб. В учебные дни он в школе, а в воскресные и праздничные он сослужит иерею, что для прихода также не лишено важно-

сти. Трудно было содержать диаконов в сельских приходах, однако желательно не только для благолепия, но и для ясности богослужения, чтобы диакон возвратился и в сельские храмы. Вместо того, чтоб учреждать во множестве учительские семинарии, не лучше ли обратить расточаемые на это средства на содержание диаконов, которые со своим священным знанием соединяли бы обязанности учителя народной школы? Самое обучение выиграло бы чрез это в единстве. Один и тот же наставник преподавал бы и закон Божий, и все другое. Мальчики и девочки приучались бы к Церкви, а не отучались бы от ней, и чрез ее горнило проходило бы все то, что им требуется знать и что они могут с пользой усвоить.

Мы отнюдь не имеем в виду, чтобы народное обучение было исключительно делом диакона. Всякий член причта и сам священник, и псаломщик могут взяться за это дело, если окажется удобным. Точно так же мы отнюдь не отвергаем и других народных училищ, кроме церковно-приходских. Дай Бог помощь всякому доброму человеку в добром деле. Но мы отличаем случайных деятелей от таковых по призванию.

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ

I

Слово *реформа* понимают в смысле *улучшения* существующего порядка. Конечно, по идее, предполагается, что всякие новые уставы должны быть лучше старых. Зачем же, в самом деле, и сочинять новые уставы, если они не лучше старых? Тем не менее *произвести реформу* и *действительно улучшить положение дел* совсем не одно и то же. Реформа означает только *изменение* существующего порядка, а обратится ли это изменение к лучшему или худшему, это иной вопрос. И граф Протасов в качестве обер-прокурора Св. Синода произвел реформу в духовных семинариях. Для исправления наделанного этой реформой зла предпринималась реформа 1869 года, которая отчасти исправила учебное дело, так что требовалось только

заботливо улучшать и усиливать его в данном направлении; но в нынешнем году учебное дело в духовных училищах и семинариях опять потерпело разгром, который разрушил в них начатки классической системы, особенно необходимой для богослова, и превратил их учебный план в бессильную полумеру, удержав в учебном плане древние языки, но без должной силы, а стало быть, без смысла и пользы, так что они фигурируют в учебном плане только для вида, как суетная прикраса, совершенно неуместная в училищах того характера, какой должны иметь духовно-учебные заведения.

Особенно опасны необдуманые реформы по отношению к массе народа, к материку государства. Если с прямого пути собьются лишь некоторые классы общества, так называемая интеллигенция, то в благопотребное время сама жизнь еще как-нибудь исправит зло и создаст новую интеллигенцию. Но если помутится здравый смысл народа и народная совесть, если поколеблется материк, то исправление трудно и тяжкие катастрофы станут неизбежны.

Во все века существования русского государства народная школа следовала за Церковью и была неразрывно связана с ней. В нашей *летописи* отмечено, что «ученье книжное» следовало за построением церквей: «И нача Володимер ставити по градом церкви и попы, и люди на крещенье приводити по всем градом и селом и даяти дети на ученье книжное». «И ины церкви Ярослав ставляше по градам и по местам, поставляя попы и дая им от имения своего урок (содержание), веля им учити люди, понеже тем есть поручено Богом». Министр народного просвещения в циркуляре к попечителям учебных округов от 24 июля настоящего года засвидетельствовал несомненную истину, что «православное духовенство с первых времен основания русского государства стояло во главе распространения образования в народе» и что «до начала шестидесятых годов священно- и церковнослужители были почти *единственными* учителями сельских школ; они не только учили детей, но и поддерживали школы своими скудными средствами... Сотни училищ открыты только потому, что прежде священно- и

церковнослужители обучали у себя на дому детей и тем подготовили грамотное население». Эта строго церковная школа вместе со всем влиянием Церкви создала силу и мощь нашего Отечества. «Какие трудности перенес русский народ! Он перенес трудные времена княжеских междуусобий, татарского ига, самозванцев и борьбы с поляками, а потом французами; он великодушно подчинился преобразовательному перелому в начале XVIII века и заслужил удивление сдержанностью своей после объявления ему Положения 19 февраля 1861 года. Во всех этих случаях в течение 900 лет он имел для всей своей массы одно училище – Церковь, был руководим одним учителем – духовенством. Все это, конечно, не вело к тому, чтобы поспешно переменить систему народного просвещения, которая сама собой установилась и оправдана опытом веков».

Если в этой системе народного просвещения и были недостатки, то, говорил Филарет митрополит Московский, «удобнее и благонадежнее исправить их, нежели изыскивать и вводить системы новые, искусственные, неиспытанные, неоправданные, не сильно обнадёживающие успехом и сильно угрожающие в случае неудачи, потому что эта неудача прострется на всю Россию. Несовершенство сельских училищ и учителей духовного ведомства происходит наиболее от недостатка способов. Учитель имеет потребные сведения: их нужно лучше приспособить к делу. Пусть дадутся способы учителю и учебные пособия для учеников; он не затруднится усвоить себе благонадежную методу преподавания, даже без помощи особых педагогических наставлений, посредством книг и собственного опыта и совещаний с людьми подобных занятий. Надежда сия основывается на опыте».

Указывал знаменитый иерарх и на другие затруднения и опасности от перемены системы народного просвещения. «Предполагается, – говорил он, – образовать особых светских наставников, которым будут вверены училища, а духовенство будет лишь приглашаемо, где заблагорассудит светское начальство, к преподаванию Закона Божия. Не говоря уже о том, что такие училища будут дорого стоить, тогда как теперешние

училища, руководимые и часто содержимые духовенством, почти ничего не стоят, наставников, требуемых в великом числе, нелегко избрать и приготовить, между тем как теперь в священнослужителях представляются люди готовые и свидетельствованные». Так писал Филарет, но его слово оставлено было без внимания.

Но изобрели «клерикализм», у Церкви отняли школу; а между тем развилось «хождение в народ», чтоб учить его уморазуму... Правительство бездействовало; но сам народ, руководствуясь только своим здравым смыслом, счел необходимым изловить первую серию подобных учителей и, связав, представил их по начальству.

За ними явились другие деятели, которые, наученные прежним опытом, обратились к скрытной пропаганде своих учений. Лучшим средством для достижения своих целей они считали руководство народной школой. «Когда взята будет школа, – писал их учитель Писарев, – тогда победа будет упрочена, таракан будет пойман. Взятие школы составляет важнейший результат победы и драгоценнейший плод победы. Взять школу значит упрочить господство нашей идеи над обществом». Крестьянским детям стали разъяснять, что «у лошади четыре ноги, а человек есть животное двуногое и бесперое». Начали также учить их «Возле речки» и «Ах, вы сени мои, сени...» Но как ни занимательна эта школа казалась самим учителям, народ инстинктивно сторонился от нее, совершенно не понимая, зачем устраивать и сами школы, если в них учат «Ах, вы сени»?

Под предлогом опасности «клерикализма» преобладающее попечение о народной школе предоставлено не духовенству, а «земцам» и «вольно-практикующим педагогам». Эти последние к прежней науке, что «у лошади четыре ноги» присоединили новую под заглавием: «Душевные качества свиньи, лягушки и пиявки». Особенно же они настаивали на том, что «ученик народной школы как будущий член общества должен знать свое настоящее положение в обществе, знать значение сделанных в последнее время реформ, что ему *должен быть*

показан выход из его настоящего незавидного положения». Словом, «ученику (крестьянскому мальчику десяти, двенадцати лет, который только учится грамоте) должны быть сообщены некоторые понятия из социальных и экономических наук в применении к крестьянскому быту с целью развить в учениках нравственные и гражданские стремления, сообщить ему хотя общее, но правильное понятие о правах и обязанностях его как человека и гражданина». «Отсюда, – заключает другой подобный же деятель, – прямо вытекает необходимость дать детям хотя общее знакомство с юридическими и экономическими основаниями нашей современной жизни, а также познакомить их с мироведением. Жить в природе и не думать, почему и как в ней происходит, свойственно животному, а не человеку». Имея в виду народную школу, развивающую и с «верными идеалами», педагоги-народники из 720 годовых учебных часов в первом году учения на Закон Божий оставляли только около восьми часов (в год!), во втором около 15, в третьем около 30! И это в народной школе!..*

Но, к счастью, несмотря на все усилия народников и отчасти самого правительства, масса простого русского народа еще не сбита с толку. После школ с государственными льготами по воинской повинности, с науками о *мироведении* и о *правах четвертого сословия* крестьяне нередко отдают своих детей для окончательного образования отставным солдатам, церковным сторожам и разным «начетчицам».

Наконец, 13 июня текущего года Высочайше утверждены «правила о церковно-приходских школах». Причем Его Величеству благоугодно было на всеподданнейшей записке по этому предмету собственноручно начертать: *«Надеюсь, что приходское духовенство окажется достойным своего высокого призвания в этом важном деле».*

Церковно-приходские школы, как ясно видно из сказанного выше, не составляют какого-либо нового изобретения. Они существовали с начала русского государства и христианства в России. До шестидесятых годов они считались десятками ты-

* Тяжельнин на втором съезде сельских хозяев в Москве в 1871 году.

сяч и уничтожены в угоду «народникам», желавшим поймать *таракана*. Школу устроить не так просто, как кабак открыть. Легко было уронить и разрушить школу; но устроить вновь – дело трудное. В течение тринадцати лет, от 1865 по 1878 году, вследствие борьбы с измышленным «клерикализмом» число церковно-приходских школ упало с 21 420 до 4 680. И такой-то разгром народной школы выдавался за «реформу» школьного дела. Легко сказать: *двадцать одна тысяча школ!* Скоро ли вновь откроешь их и устроишь!

Если бы дело шло об одновременном основании не десятка тысяч, а только одной тысячи и даже одной сотни высших и средних учебных заведений, тогда затруднение оказалось бы непреодолимым. При последней реформе гимназий Министерство народного просвещения должно было прибегать к чрезвычайным мерам, выписывать учителей даже из-за границы и специально готовить учителей для реформированных гимназий. Трудно найти соответствующих наставников для высших учебных заведений. Но в настоящем случае речь идет не о высших или средних учебных заведениях, а о церковно-приходских, *начальных* школах. Это нужно иметь в виду прежде всего, чтобы не измышлять каких-либо новых «учительских семинарий» и не откладывать дела на неопределенное время.

Начальная школа должна и оставаться при начале. Научить детей *читать, писать, считать и начаткам учения Православной Церкви*, вот основная задача церковно-приходских школ. Если они успешно исполняют эту задачу, то этим самым окажут великую услугу делу просвещения народа. Более даровитые и любознательные дети перейдут в дальнейшие училища. Усвоившие себе только простую грамотность имеют возможность с течением времени дополнить свое образование самостоятельным чтением книг, Священного Писания, исторических, по сельскому хозяйству, географии, гигиене. Можно будет составить особую народную библиотеку по разным отраслям науки и промышленности, чтобы каждый грамотный взрослый человек мог найти и прочесть именно то, что

ему нужно. Но иное дело народная библиотека и иное – народная школа. Если церковно-приходские школы исполняют свою основную задачу, они дадут народу полную возможность пользоваться народной библиотекой; но если бы вздумали ввести эту библиотеку в свою программу для детей учащихся грамоте, то ничего не достигли бы, кроме сумбура, и сделали бы невозможным самое свое существование, потому что потребовался бы сложный штат учителей по разным наукам и отраслям промышленности, чего не может вынести никакая начальная школа.

Не измышляя никаких новых «учительских семинарий» для приготовления наставников специально в церковно-приходские школы, обратимся к наличным средствам духовного ведомства. К 1882 году православных церквей в России считалось 40 596, сверх того часовен и молитвенных домов 14 167. Всего приходского духовенства в священнослужительских должностях состояло до 45 000, в том числе свыше 37 000 протоиереев и священников и 7 000 диаконов, кроме того, число псаломщиков и причетников простиралось до 40 000.

Если из 45 000 священнослужителей мы исключим целую треть, которая по разным причинам не может принять участия в церковно-приходских школах, все же останется 30 000 вполне способных и «засвидетельствованных» народных учителей. К ним из общего числа 40 000 псаломщиков и причетников можно присоединить по крайней мере 10 000 пригодных помощников. Не забудем, что псаломщики прошли полный курс учения в духовных семинариях.

До недавнего времени воспитанников прежних духовных семинарий можно было встречать во всевозможных профессиях, и замечательно, что часто прямо с семинарской скамьи они начинали вести поручаемое им дело с таким умением, как будто именно к этому делу специально готовились многие годы. Такова была сила старого дисциплинирующего ум учения, которое так неосмотрительно заменено винегретом разных сведений. Воспитанники нынешних духовных семинарий вместо того, чтобы с течением времени возрасти в силе, различными

реформами расслаблены и унижены. Во многом их опередили гимназисты; не принимают семинаристов без экзамена и в университеты. Тем не менее они все же стоят несравненно выше воспитанников так называемых учительских семинарий, потому что в духовных семинариях ученики проходят хотя недостаточную для приготовления к высшей богословской науке школу, но все же действительную и продолжительную школу, тогда как в учительских семинариях ничего нет, кроме простой дрессировки. Духовная семинария несравненно более соответствует требованиям науки в высшем смысле этого слова, чем учительская семинария. Воспитанник духовной семинарии по самой продолжительности пройденного им курса может с полным правом считаться представителем просвещения в среде народа, независимо от своего богословского характера. Он владеет образованием, бесспорно превосходящим все, чего может потребовать народное обучение.

Итак, учителя, вполне пригодные для церковно-приходских школ, уже имеются налицо. Теперь вопрос только в том, как лучше организовать церковно-приходские школы и затем энергичнее приступить к самому делу обучения народа.

II

Возвращаемся к церковно-приходским школам. Святейший Синод, препровождая к подлежащему исполнению Высочайше утвержденные правила о церковно-приходских школах, выражает надежду, что священники, руководствуясь 10 правилом Седьмого Вселенского собора, будут помнить, что им *«паче всего подобает учить отроков, читая им Божественное Писание, ибо для сего и священство получили»*. Подольский епархиальный училищный совет входил в специальное рассмотрение вопроса об учителях в церковно-приходских школах и пришел к следующим заключениям: «Для того, чтобы дело народного образования в духе святой веры могло совершаться с желаемым успехом, чтобы церковно-приходские школы могли быть открыты и существовать с действительной

пользой для народа по возможности во всех приходах, прежде всего и паче всего необходимо, чтобы все священники глубоко сознали высоту своего призвания по отношению к своим прихожанам, чтобы слова Господа Спасителя, выражающие самую существенную обязанность пастырей Церкви: *идите, научите все народы* (Мф. XXVIII, 19) и слова Седьмого Вселенского собора ни у одного из них никогда не переставали быть важнейшим предметом размышлений, желаний и стремлений, чтобы каждый священник всегда твердо помнил и глубоко сознавал, что он, пренебрегая священной своей обязанностью учить своих пасомых и заботясь главным образом о своих только материальных выгодах (Филипп. II, I 21), не только подлежит суду Божию и суду св. церкви, но и является в самой народной среде предметом негодования и соблазна как человек, незаслуженно пользующийся материальным вознаграждением за то дело, которого он или вовсе не исполняет, или исполняет небрежно, без должного усердия» (Иезек. XXXIV, 3–10).

Подольский епархиальный училищный совет обсуждал и препятствия, какие могут встречаться при учительстве священников в церковно-приходских школах, – именно так называемые требы и другие церковные дела, должности благочинного, депутата и т. д. «В указаниях на такие препятствия, по мнению епархиального совета, нельзя не признать значительной доли правды. Не только во многолюдных приходах, заключающих в себе от 1 500 до 2 000 и более душ, но даже и в тех, которые гораздо менее населены, священники могут встречать препятствия к аккуратному посещению школы. Учение начинается обыкновенно осенью, с первых чисел октября, и продолжается до 1 мая. Но в это самое время у сельских священников бывает особенно много занятий по приходу. Во многих приходах с сентября до 14 ноября почти ежедневно бывает богослужение в церкви, панихиды по домам, освящение новоустроенных или обновленных домов и т. п. В это же время, чаще всего неблагоприятное в санитарном отношении, проявляется в сельском населении смертность, почему священник часто должен напутствовать и погребать умерших. В продолжение почти все-

го Великого Поста бывает говение и почти ежедневно служение... Но из этого, предупреждает подольский епархиальный училищный совет, нимало не следует заключать, чтобы священники имели право отказываться от принятия на себя обязательной ответственности за безучастное отношение к школе и за безуспешность обучения в ней детей. Ни в одном приходе, как бы он ни был многолюден, священник не лишен возможности если не ежедневно, то по крайней мере два, три раза в неделю провести по одному часу в школе. Были примеры, что священники, жившие в подгородных приходах, заключающих в себе более 1 000 душ обоего пола, в приходах с двумя, тремя поселками на расстоянии от главного населения в 3–4 верстах, аккуратно исполняли свои обязанности по приходу, в то же самое время исполняли должность учителей в учебных заведениях, в которых на уроки ежедневно являлись неопустительно. Священник, совершив богослужение и собираясь совершать в приходе требы: погребения, панихиды, крещения, освящения дома, всегда пред такими требами может уделить если не целый час, то по крайней мере полчаса, чтобы посетить школу, побеседовать в ней с детьми и присмотреть, как идет дело обучения. Должности благочинного и депутата не могут препятствовать священникам быть заботливыми о школе. Из отчетов за 1882 год видно, что есть благочинные, обремененные от епархиального начальства частными поручениями, которые своим усердием к школьному делу поставили школы своих приходов на значительную степень благосостояния».

Итак, по Высочайше утвержденным правилам о церковно-приходских школах обязанность учить в них лежит на священниках, но обязанность эта распространяется и на всех членов причта. Лица, не входящие в состав причта, могут быть допускаемы к учительской должности только с утверждения епархиального архиерея и то под наблюдением священника.

Тем не менее в церковно-приходской школе, в сущности, не оказывается ни одного определенного учителя, который бы в известные часы непременно являлся в школу. По данным, сообщенным подольским епархиальным училищным советом,

священник может не заглянуть в школу с сентября до 14 ноября. То же самое может случиться и во весь Великий Пост. Когда совершает богослужение священник, обыкновенно при нем находится и псаломщик. Дяконы же в настоящее время имеются только в редких сельских церквях. Спрашивается: кто же будет преподавать в церковно-приходских школах с сентября до 14 ноября и во весь Великий Пост? Сомнительно, чтобы при таких условиях могла процветать церковно-приходская школа. Предположим, что священнику представится случай «два, три раза в неделю провести по одному часу в школе», для церковно-приходской школы это более чем недостаточно и недалеко отстоит от училищ Корфа, где полагалось на Закон Божий 8–15–30 часов в год. Но там имелись другие учителя; здесь же дети, пришедшие в школу, могут остаться безо всякого учителя и будут предоставлены решительно самим себе. Что же это за школа?

Для правильной постановки обучения детей в церковно-приходских школах необходимо выделить из причта определенное лицо, которое, принадлежа к церковному причту, в то же время не было бы связано всеми случайностями церковных треб. Такое лицо – диакон.

Еще задолго до издания положения о церковно-приходских школах нам доводилось говорить об этом предмете. Чтобы не перефразировать своих слов, мы припомним сказанное нами в № 290 *Московских ведомостей* за 1882 год:

«Священнослужитель – вот по преимуществу призванный народный учитель, и везде, где государство не находится в борьбе с Церковью, стараются народную школу удерживать сколь можно в теснейшей связи с религиозными учреждениями.

Но что хорошо в идее, то может оказаться неудобным на практике. Если поручим народную школу священнику, то не затрудним ли его делом, которому он не может должным образом посвятить себя, и не пострадает ли от этого дело школьного обучения? В самом деле, может ли процветать школа, находясь в заведывании лица, для которого она будет лишь случайным, как бы мимоходным занятием? На священнике

лежат обязанности, не всегда совместные с регулярными учебными занятиями. Но почему же непременно только на священника возлагать обязанности школьного обучения? Кроме пресвитерства Православная Церковь знает еще диаконство. Звание диакона есть апостольское установление, а между тем оно превратилось в предмет какой-то церковной роскоши, так что в сельских церквях диакон в видах экономии оказался излишним. Благолепие богослужения с устранением диакона пострадало, но все существенное в богослужении и всякая церковная треба может совершаться без его участия. Неужели, однако, при самом начале Христовой Церкви апостолы установили несущественную и излишнюю церковную должность? В апостольской Церкви, какой должна быть Церковь Православная, диаконство не должно быть только роскошью, без которой Церковь может обходиться. Диакон учрежден не для одних только возглашений при богослужении. Диаконство также не есть только ступень ко пресвитерству. Подчиненный иерею при богослужении, диакон имеет, кроме того, при церковном деле свое самостоятельное положение. В первоначальной Церкви верующие собирались не только для общей молитвы, но и на общую трапезу. Избранным и освященным апостолами лицам поручены были заботы об общей трапезе. Первоначальным происхождением определяется существенное значение диаконства. Христова вера из малой общины распространилась по лицу всего мира; верующие не собираются на общую трапезу в притворах церковных, но апостольское учреждение не должно оставаться праздным. Диакон сохраняет свое значение, заведывая духовной трапезой, служа делу народного обучения под сенью Церкви. Вот по преимуществу призванный народный учитель. Давая священной должности диакона такое назначение, мы сохраняем ее для Церкви, а вместе удерживаем при Церкви народную школу. Все церковные требы иерей исполняет и без помощи диакона, который может неуклонно посвящать свою деятельность школе своего прихода. Его не оторвут во время урока для напутствия умирающего, для крещения новорожденного и для других церковных

треб. В учебные дни он в школе, а в воскресные и праздничные он сослужит иерею, что для прихода также не лишено важности. Трудно было содержать диаконов в сельских приходах, однако желательно не только для благолепия, но и для ясности богослужения, чтобы диакон возвратился и в сельские храмы. Вместо того, чтоб учреждать во множестве учительские семинарии, не лучше ли обратить расточаемые на это средства на содержание диаконов, которые со своим священным знанием соединяли бы обязанности учителя народной школы? Самое обучение выиграло бы чрез это в единстве. Один и тот же наставник преподавал бы и закон Божий, и все другое. Мальчики и девочки приучались бы к церкви, а не отучались бы от ней, и чрез ее горнило проходило бы все то, что им требуется знать и что они могут с пользой усвоить».

В некоторых малочисленных и бедных приходах окажется недостаток средств на содержание диакона. Но почему же к таким приходам не прийти на помощь целой епархии и самому государству? Церковно-приходские школы имеют не церковное только, но и государственное значение. Вместо того, чтоб учреждать во множестве учительские семинарии не лучше ли обратить расточаемые на это средства на содержание диаконов, которые со своим священным званием соединяли бы обязанности постоянного учителя народной школы.

Еще необходимее как для самого открытия церковно-приходских школ, так и для успешного ведения в них дела *единение* между нашими многоразличными ведомствами. Если бы все представители государственной и церковной власти действовали энергически и дружно, можно бы теперь же открыть до 40 000 церковно-приходских школ. В учителях способных и «засвидетельствованных» недостатка не было бы.

Что высказанное предположение не иллюзия, а удобоисполнимо и на самом деле, это наглядно показывает тот общеизвестный факт, что вскоре после дарования крестьянам воли по призыву высокопреосвященного Арсения, митрополита Киевского, церковно-приходские школы были открыты почти во всех приходах Киевской епархии не на бумаге только, но и

на самом деле. В Киевской епархии предварительно не предпринималось тогда никаких приготовлений. Довольно было одного призыва, обращенного к духовенству от лица митрополита Киевского. Осуществимое в Киевской епархии осуществимо и в других епархиях, была бы добрая воля и единение между нашими различными ведомствами.

Тем прискорбнее при самом же начале дела отмечать факты совершенно противоположного свойства. Вот священник убедил своих прихожан открыть училище при своей церкви, изыскал и средства к построению училищного здания. Оставалось приступить к постройке здания и открытию училища, но не так на самом деле. Священнику потребовалось *более двадцати раз приезжать из своего села в консисторию, чтобы хлопотать о деле*. Говорят, что в консисториях дела редко решаются без некоторых приложений; но предположим, что в данном случае их не было, все же чего стоит двадцать раз за десятки верст проехать в город и обратно и – зачем же? Чтобы хлопотать о разрешении открыть училище. Каждый, конечно, готов спросить, да о чем же тут хлопотать? И однако ж мы не сочиняем, хотя и не называем имен, имея в виду дело, а не лица. Зато как упрощено у нас открытие заведений «распивочно и на вынос». Вот и другой пример подобного же рода: помещик на свой собственный счет выстроил здание для училища и обратился к епархиальной власти с просьбой дать ему особого диакона, который бы был и учителем в предположенной школе. Но и до сего времени просьба помещика остается без удовлетворения...

Духа не угашайте, заповедует Апостол.

РАЗДЕЛ VII. ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Пушкинская тема

ОТЗЫВ ИНОСТРАНЦА О ПУШКИНЕ, СТАТЬЯ ФАРНХАГЕНА ФОН ЭНЗЕ

Наш великий поэт нашел наконец себе отзыв в сердце Германии – в Пруссии. Чье сердце не забьется сладким восторгом и мужественной гордостью, кто истинно русский не заплачет от умиления при следующих строках известного германского биографа и критика? По крайней мере, в нашей жизни было мало таких вдохновенных чувствований, как при этом благородном, при этом германском отзыве на голос нашего Пушкина, нашего великого Пушкина, в котором жило и которым проявилось все лучшее нашей жизни... Все минуты высокого наслаждения, дарованные Пушкиным и рассеянные в жизни пишущего эти строки, собрались и сосредоточились в эту светлую, в эту несравненную минуту... Еще под ее наитием, еще когда сердце не остыло от сладкого чувства, рука чертит мертвые буквы... Пушкин! мы так мало оценили тебя, так мало сделали для твоей славы!

Вспомним, чем приветствовали поэта при его жизни наши аристархи. С жалкой важностью разбирали они его создания или с приторной улыбкой оскорбительной снисходи-

тельности похваливали их, приговаривая, что Пушкин поэт, хороший поэт. Горько было среди них питомцу богов; один исход оставался ему – затвориться в самом себе и отказаться от сладкой надежды на отзыв тех, для кого он жил и действовал. И он затворился в себе, он отказался от этой надежды. Помните ли, что говорит он в своем чудном сонете к поэту? Иногда, и то очень редко, прорывался голос истинного чувства, но голос одного чувства, чувства, необлеченного в броню мысли, слаб; он не в силах выговаривать членораздельных звуков; он служил только признаком, что грудь переполнена наслаждением, и не мог произнести оценки тому, что переполняло эту грудь. Слово чувства – междометие.

Теперь нет Пушкина! Кто не видал Пушкина, не увидит его! Но в душах избранных хранится, как святыня, созерцание духовного лика поэта. К этим-то избранным душам обращаем мы речь свою и оставляем в покое тех, которые еще коснеют в наивной уверенности, что Пушкин был не больше, как поэт ограниченной эпохи, долженствующий исчезнуть вместе с нею. В их созерцании не живет духовный образ Пушкина, а в ком не живет этот образ, с теми у нас нет ничего общего, с теми мы не будем тратить слов по-пустому.

Смешно бы, может быть, показалось многим, если бы мы сказали, что Пушкин – поэт всемирный, стоящий наряду с теми немногими, на которых с благоговением взирает целое человечество. Им было бы смешно, – а от чего было бы им смешно? Что, если мы скажем им, что сейчас сказали, от лица иностранца, чуждого всякого пристрастия, иностранца, который судит о России и об ее явлениях не как член народа, а как член целого человечества, – что скажут, они тогда? – Не окажется ли тогда, что своей насмешкой они смеялись над самими собою?

Мы твердо убеждены и ясно сознаем, что Пушкин поэт не одной какой-нибудь эпохи, а поэт целого человечества, не одной какой-нибудь страны, а целого мира; не лазаретный поэт, как думают многие, не поэт страдания, но великий поэт блаженства и внутренней гармонии. Он не убоялся низойти в самые сокровенные тайники русской души... Глубока душа

русская! Нужна гигантская мощь, чтобы исследовать ее: Пушкин исследовал ее и победоносно вышел из нее и извлек с собой на свет все затаенное, все темное, крившееся в ней... Как народ России не ниже ни одного народа в мире, так и Пушкин не ниже ни одного поэта в мире.

Статья, которую вы будете читать теперь, напечатана в берлинском журнале «Jahrbucher fur wissenschaftliche Kritik», в журнале, основанном Гегелем, тем величайшим философом, который объял и повершил стремления разума. Этот журнал издается теперь достойными учениками бессмертного учителя – и в этом журнале выговорено иностранцем полное торжественное сознание величия нашей родины, произнесена достойная оценка нашего Пушкина. В лице Гегеля подает нам руку Германия, в лице Германии вся Европа, целое человечество. Слышите ли? – Нас уже не называют учениками и подражателями... Слышите ли? – К нам взывают наши учителя как равные к равным. Они радушно указуют нам на свои сокровища, а нам даже не нужно поднимать руки, чтоб указать на свои: они сами лучше нашего видят – где и в чем они. Стыдно! Нас опередили в оценке нашего Пушкина! Но дай Бог, чтобы это было в последний раз, дай Бог, чтобы мы почувствовали наконец в себе силы к самобытной и самосознательной умственной деятельности. Этой сладкой надеждой мы заключаем наше краткое введение в статью Фарнхагена фон Энзе, статью, в которой мы слышим как бы из другого мира звучащий в привет России и ее великому поэту – голос самого Гегеля.

ПУШКИН

Какова бы ни была сама по себе наша литература, скудна ли или богата, она, слава Богу, перестала уже быть несущественным и бледным отражением чужеземных явлений, глухим отзвуком случайно долетавших голосов, отдаленным и изредка бессмысленным последствием неусвоенных начал: в ней чувствуется присутствие собственной жизни, чувствуется внутренняя связь в ее явлениях; возникают направления по закону

этой внутренней связи; есть свои образцы, свои господствующие начала, обозначается своя система; словом, общественное сознание у нас, – ибо литература есть относительно общества то же самое, что сознание в отдельном человеке, – представляет собой хотя еще весьма юное, может быть, еще весьма слабое, но уже живое развитие, уже сложившийся организм.

Начала, господствующие над развитием нашей литературы, справедливо обозначаются именами тех из ее деятелей, которые вносили в нее новые направления, сообщали ей новое движение и потому имели особенное влияние на умы, на сознание и, следовательно, на жизнь, потому что человеческая жизнь нераздельна с сознанием. К этим многозначительным именам в нашей литературе принадлежат имена Пушкина и Гоголя.

Новые издания их сочинений оживили воспоминание о них, а из прошедшего, хотя и очень близкого, но все же прошедшего, ввели их снова в среду настоящего, снова раздалось их знакомое слово, снова испытываем мы их действие и оцениваем их значение.

О Пушкине много суждений было высказано прежде, много говорено и теперь по поводу издания его сочинений. Ему посчастливилось еще и в том отношении, что он нашел для своих сочинений столько же добросовестного и тщательного, сколько и даровитого издателя, который положил на свой труд много сил, внес в него много ума, проницательности и вкуса. Биографические материалы, собранные г. Анненковым, и примечания его к сочинениям Пушкина много способствуют к уяснению его деятельности и значения.

При оценке Пушкина всегда возникали в нашей литературе эстетические толки. Много этими толками было уяснено, многое также было запутано; а потому мы считаем себя некоторым образом вправе коснуться вопросов эстетики и высказать несколько общих мыслей, прежде чем приступим к ближайшей характеристике нашего поэта. По нашему мнению, понятия об искусстве требуют у нас некоторого пересмотра, и мы попытаемся в кратком очерке коснуться главных пунктов.

I

Стремление к самостоятельности, замечаемое в нашей литературе, равно как и в нашем обществе, есть явление бесспорно очень утешительное. Мы начинаем мыслить, не озираясь робко по сторонам, не перебирая бережно и бессмысленно последствий чужой мысли, не повторяя с подобострастием фраз и слов без ясного сознания того, что ими выражается; действительно, пора уже нам говорить и действовать на свой собственный счет, из собственного капитала.

Итак, мы радуемся этой потребности доходить до всего своим умом. Без этого условия ничто не может пойти впрок, но все же это только отрицательное условие. Наш приятель, судья Тяпкин-Ляпкин, также доходит собственным умом до своих глубокомысленных теорий о происхождении вещей. Однако никому из нас не было бы лестно сопутствовать этому мыслителю, и да будет почтенный образ его полезным предостережением для многих.

Нередко случается нам слышать и читать решительные приговоры о целых системах человеческого разумения, над которыми работали великие умы в течение веков и которые самыми погрешностями своими были плодотворны. Можно не знать их и идти своей тропинкой, добывая понемногу собственным трудом хотя бы даже то, что уже давным-давно добыто: самостоятельность труда сообщит и малому, неважному, давно известному результату новую свежесть и даже важность. Понятие, которое добываем мы сами из первых материалов, будет всегда содержать в себе нечто новое. Особенность материалов, из которых понятие выработано, будет более или менее ощутительно в нем и придаст ему силу и значительность. Только такое понятие может быть легко и плодотворно употребляемо нами в наших суждениях; только такое понятие окажется истинной силой, которой упрочивается наше господство над известным кругом предметов. Общие теории и системы мышления, состав-

ляющие богатство и силу человеческого разума, добывались при таких условиях и при таких же только условиях могут быть поняты и усвоены. Итак, кроме доброго слова ничего нельзя было бы сказать о стремлении добывать собственным трудом свои понятия и мыслить своим умом. Основательна была бы и соединенная с таким положительным стремлением полемика против схоластического бесплодия, против готовых формул и общих мест. Но необходимо требуется, чтобы эта полемика не была слепой, чтобы критик знал, о чем говорить, и направлял свои удары куда следует, чтобы он не бросал камней в небо, по крайней мере, из опасения попасть ими в свою голову.

Там, например, из разных критических уголков раздаются весьма часто укоры против теории и философии. «Нам надоели, – кричат эти господа, – мертвые определения! Долой все эти формулы, все эти умозрительные идеи, все эти отвлеченные определения! Пора теорий миновала безвозвратно». И затем начинают сами созидать свои теории, творить свою философию, которая, конечно, не имеет ничего общего ни с какими идеями, ни с каким умозрением.

Мы не хотим называть имен и готовы с полным беспристрастием отдать должную справедливость тем из наших критиков, в которых нельзя не заметить несомненных признаков дарования. Мы готовы сочувствовать им во многом добром, готовы сочувствовать даже в основе тех побуждений, которые при неосмотрительности увлекают их в промахи и крайности. Они правы, вооружаясь против отвлеченных формул; но, к сожалению, забывают только, что в этих мертвых формулах никто, кроме их самих, не виноват, что предмет их справедливого неудовольствия – недостаток их же собственной мысли. Мы поздравляем их с прекрасным свойством живых и бодрых натур, в которых возбуждается нетерпеливая и страстная реакция против всего мертвого, против всякого застоя и всякой косности. Но мы желали бы, чтобы с этой реакцией соединилось сознание, в чем и отчего зло.

Увы! То явление в нашей литературе, которым вызвано у нас выше сказанное замечание, есть только один из самых мел-

ких и неважных случаев явления всеобщего, непрерывно и в колоссальных размерах происходящего в истории человеческого разума. Параллельно с ходом какого-либо великого дела возникают в умах представления о нем, нередко противоположные существу того, что ими знаменуются. Раскрываясь в живом сознании, они сами приобретают действительность, образуют свою историю, независимую от хода самого дела. С течением времени господствующие представления начинают колебаться, возникает противодействие; против явлений сознания употребляются все орудия сознания: и разьедающий анализ, и сила насмешки, и страсть гнева. Идолы падают, и люди думают, что с ними падает дело. Но часто бывает так, что самое дело, овладевая все более и более умами, независимо от тех представлений, которые заслоняли его, возбуждает против них реакцию: оно-то под другими именами и под другими представлениями вооружает умы против несоответственных о себе представлений и заставляет служить себе своих противников, которые иногда бывают вернее ему и ближе к нему, чем его защитники.

Но возвратился к нашему вопросу. В нашей критике по поводу Пушкина часто слышалось возражение против будто бы ошибочной теории, которая учит, что искусство должно иметь свою цель в самом себе. Это положение в своей отвлеченности и отрывочности может быть всячески понимаемо. Мы слышим слова, и первые, какие случились в уме нашем понятия являются на зов; выходит смысл, которого мы сами бываем единственными виновниками, смысл смутный, сбивчивый и близкий к бессмыслице. Из уважения к авторитету теории мы благоговеем перед собственной бессмыслицей, потом начинаем тяготиться ею, наконец, чувствуем пресыщение, вспыхиваем гневом, сбрасываем с себя иго и потом как любопытные насмешливо отзываемся о системах, к которым будто бы прежде принадлежали, но от которых счастливо наконец отделались. Мы точно двинулись вперед, потому что вышли из ложного положения, но не относительно самого дела, от которого не могли уйти, потому что никогда к нему не подходили. Отрывочные, налету схваченные фразы, возбуждавшие

в нашем уме смутные и бесплодные движения – вот вся наша философия. Порадуемся, что от нее освободились, но будем видеть не более, как наш же собственный, хотя и невольный грех, и с тем вместе освобожденной и здоровой мыслью почитим истинное разумение и будем стараться приблизиться к нему, начиная мыслить собственным умом.

Искусство должно иметь свою внутреннюю цель, как имеет ее все на свете. Это общий закон всякой организации, всякого самостоятельного существования, всякой деятельности, условленной природой человеческой. Говорите, что хотите, но не отнимайте у искусства его права на существование, на *raison d'être*. Неужели в самом деле эта богатая и великая сфера человеческой деятельности, сфера, в которой проявлено столько сил и гения, неужели она лишена своего внутреннего закона, неужели ей не дано начала самоуправления, самобытности и независимости? Неужели явления в этой области возникают только по посторонним поводам и требованиям? Итак, незачем говорить нам об искусстве; есть только случайно возникающие там и сям различные явления, которым даем мы по некоторым общим признакам общее название произведений искусств. Одни из этих произведений вызываются нуждой, другие – праздным досугом, и вот для бедного поэта, чтобы не попасть в скоморохи, не остается иного убежища, как поступить в служители благочиния.

О, старый мыслитель Италии, не это ли твои *corsi ricorsi*?* Неужели мы возвратились к тем же воззрениям, от которых почитали себя совершенно освобожденными? Как доблестно и с какой энергией бились мы против этих обветшалых воззрений, возникших в те времена, когда искусство не имело для мысли никакого существенного интереса! И вот опять, с другой стороны приходим мы сами к тому же! От тех романтических бредней о значении художника, которые еще не очень давно стояли таким туманом в нашей литературе, от всех этих красноречивых и горячих толков о художественности, толков, которые

* Буков.: Вперед-назад (*um.*) (название выдвинутой Дж. Вико идеи о цикличности развития обществ).

проводили столь резкую границу между так названными произведениями беллетристики, не имеющими самостоятельного значения, и произведениями художественными, перед которыми благоговейно преклонялись колена, от всего этого осталось в наших критиках лишь чувство пресыщения, и они готовы теперь ставить художнику в вину художественность его произведений. Пушкин подвергся укору за то, что оставался верен целям искусства. Его восхваляют как художника, но укоряют за то, что он был исключительно художником.

Пушкин, говорят критики, был в нашей литературе художником по преимуществу; он первый внес в нее истинное начало поэзии; но зато он и был только художником, только поэтом. Повинуясь влечению своей природы, он подчинил себя вполне этой теории, предписывающей искусству не знать иной цели, кроме искусства. Ему бы только уловить красоту явления, только начертить изящный образ, только передать ощущение в живой прелести стиха. Он был эхо, которое отзывается на все безразлично и бесстрастно: так он и понимал свое назначение как поэта. Он сам высказал свою теорию искусства в знаменитом стихотворении своем: *Чернь*. С презрением и негодованием отталкивает поэт эту, как он выражается, «тупую чернь», этот «непосвященный и бессмысленный народ», который собрался просить у него слова поучения. В стихотворении Пушкина последнее слово осталось, конечно, за поэтом. Но критики становятся на противную сторону и, разумеется, удерживают за собой последнее слово, повторяя и разбирая то, что высказано в стихотворении от лица черни.

Читатели, может быть, но посетуют на нас, если мы начнем несколько издалика, чтобы по возможности уяснить спорное дело.

Пушкин не был теоретиком. Но действительно, с течением времени его художественная деятельность достигла до самосознания, которое выразилось в нескольких прекрасных стихотворениях. Эти стихотворения, при всей свободе своей формы, при всем отсутствии догматического характера, заключают в себе намеки на теорию искусства, которую легко извлечь из них.

Бывало говорилось у нас, что деятельность художника совершается бессознательно. Об этом вопросе также велись в нашей журналистике горячие толки, которые, как кажется, кончились таким же чувством пресыщения, как и прочие эстетические толки у нас. В самом деле, при дальнейшей опытности, при большей зрелости понятий трудно было оставаться в наивной уверенности, что художник в минуту вдохновения обмирает как пифия или как ясновидящий в магнетическом усыплении, и что устами его вещает посетившая его чуждая сила. Мы весьма основательно убедились, что такое понятие о вдохновении художника совершенно нелепо, что состояние творчества есть состояние здорового и трезвого духа, что художник, как и мыслитель, сохраняет в минуту деятельности всю свою умственную свободу и что даже, напротив, такая минута есть в человеке состояние высшей внутренней ясности. Теперь, кажется, мы уже не признаем никакой особенности в состоянии умственного творчества, и самое слово творчество употребляем только по привычке, не придавая ему никакого особенного значения, а учение о бессознательности творчества относим к пустому хламу наших прежних романтических бредней. Но и здесь мы ошибаемся, и здесь повторяется вышеуказанное нами явление. Сами сочинив нелепую бессознательность в искусстве, мы потом слагаем всю вину на философские теории, которые никогда этому не учили.

Поэзия есть прежде всего одна из форм нашего сознания. Это особого рода мышление; это умственная деятельность. Но чем могущественнее овладевает нашей душой какая-либо мысль, чем с большей энергией предаемся мы какому-либо делу, тем менее остается в нас места и сил для всякой другой мысли, для всякой посторонней деятельности. Если бы с развитием одного дела современно происходило в нас другое дело, то ни одно не могло бы происходить с той силой, свободой и правильностью, какие требуются для полного успеха. Одно возмущало бы и ослабляло бы течение другого, и мы бы несчастным образом двоились между ними. Это общий закон, который находит себе только частное приложение относительно художе-

ственного творчества. Развивая мысленно ряд представлений, поглощающих все наше внимание, мы не можем в то же время развивать другие ряды, не отнимая жизни и силы у первого. Возникший в нас замысел дает нашему уму и всей нашей внутренней организации соответственное настроение; смотря по глубине и силе замысла, весь внутренний мир, все хранящееся в нашей душе разнообразие мыслей, представлений, чувствований располагается так, чтобы входить в систему начавшегося развития и занимать в ней определенное назначение. Когда Шекспир создавал своего Отелло и развивал в своем воображении сцены его безумной ревности, это чувство, более или менее знакомое сердцу поэта, поднималось тогда в душе его не как собственная страсть, но как свободное представление, со всеми особенностями своей природы и своего проявления, и вселялось в страшного мавра и оживляло его мрачный образ; оно не могло бы тогда развиваться как собственная страсть, а если бы возник к тому повод, то создание поэта по необходимости должно было бы прерваться. Не только подобные посторонние возбуждения со стороны действительности могут вредить внутреннему делу, но также и всякое другое внутреннее дело, а равно и новый акт сознания, который следил бы за первым. *Вдохновение творчества не только не чуждо сознанию, но есть, напротив, самое усиленное его состояние.* Человек в этом состоянии весь становится созерцанием, внутренним зрением и слухом. Но чем сильнее такое состояние, тем менее бывает возможным современно с ним другое подобное состояние. Мы не можем сосредоточить наши понятия для того, чтобы наблюдать за сильной внутренней работой в самый момент ее развития, не можем не потому только, что нам не достало бы материальных сил, но потому преимущественно, что не будет у нас свободных нравственных сил для новой работы, не будет в нашем распоряжении тех умственных способов, тех понятий, которые были бы для нее необходимы, но которые заняты более или менее близким отношением к начавшемуся делу. Они не могут вступить в те сочетания, которые требовались бы для нового дела, не нарушая целого настроения нашей души. Отдавать себе от-

чет в общих законах своей деятельности требует особой деятельности, нового плана, нового настроения и своего времени.

Итак вот она, эта пресловутая бессознательность художника! Это не бессознательность, а цельность сознания, и насколько не составляет исключительной принадлежности искусства в теснейшем значении этого слова. Это общее условие всякого рода деятельности, которая творчески совершается в человеческом духе, и творчество в этом смысле нимало не есть принадлежность людей, слагающих стихи, сочиняющих повести или драмы, или занимающихся живописью; оно равно относится и к ученому, к инженеру и даже к математику, которого, бывало, ставили во враждебные отношения к поэту.

Но внутренние состояния наши проходят и хранятся в памяти. То, что было невозможно при *настоящем* развитии, становится возможным относительно *прошедшего*. Ряд подобных состояний, как состояний прошедших, является нам простым воспоминанием, простыми представлениями, и мы образуем из них те общие представления, в которых сосредоточивается для нас их значение, их сущность, их понятие.

Перейдем теперь к тому, как наш поэт разумеет значение своей деятельности.

В одном из позднейших своих стихотворений (1831 года) Пушкин сравнил поэта с отголоском:

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом –
 На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
 Родишь ты вдруг.

Ты внемлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов –
 И шлешь ответ;
Тебе же нет отзыва... Таков
 И ты, поэт!

Нет сомнения, Пушкин не имел в виду выразить этими стихами полное значение поэта. Оно, как видно, родилось у него мгновенно и навеяно мимолетным настроением. Может быть, хотелось ему только выразить под общим представлением поэта случайное чувство личного одиночества и недовольства. Действительно, эта безотзывность на голос поэта, эта исключительность его положения в мире, как существа, которое, откликаясь на все, остается само без отзыва, все это было бы чертой слишком хитрой и искусственной в общей характеристике поэта. Вообще эта аналогия с отголоском не очень богата и немного хромает; но тем не менее она намекает на весьма характеристическое, хотя вовсе не исключительное значение поэта.

Существенный смысл сравнения, по нашему мнению, заключается в призвании поэта постигать и воспроизводить все явления жизни. Мы удержим только этот общий смысл и посмотрим, что в нем содержится.

Обыкновенно во главу поэзии полагается красота, как целью знания поставляется истина. Но это также принадлежит к числу грубопонятых формул. Прекрасное, конечно, входит как существенная черта в характеристику искусства, но в основание его должны мы положить то же, что и в основание познающей мысли – истину. Истина есть первая и необходимая основа всякой поэзии; истина есть также внутренняя цель ее, как и цель знания; она-то дает искусству значение существенное, великое; благодаря ей-то искусство есть нечто необходимое в общей экономике человеческого духа. Наконец, скажем более, скажем решительно, поэзия в сущности есть то же самое, что и познающее мышление, то же, что знание, то же, что философия, и различия от них только предметами и способами постижения.

Как ни странным покажется такое сближение поэзии со знанием, поэзии, которая по обыкновенным понятиям считается совершенной противоположностью строгой мысли, обрешенной себя на служение истине, но мы твердо стоим на своем положении. Поэзии отводят область воображения и фантазий, знанию – область разума: все это большею частью только слова, произносимые без мысли.

Но, возразят нам многие с удивлением, поэзия – есть вымысел; в поэтических произведениях изображаются вымышленные лица и события, и даже в исторических романах гораздо более выдумки, чем правды. Какое же тут знание, какая истина?

Однако ж кто не говорит об истине и правде как главных достоинствах поэтического вымысла? Кто не требует от поэта знания человеческого сердца? Кто не отличает пустых выдумок праздного воображения от возвышенных произведений искусства, в которых черпаем мы великие идеи, богатство опыта, которые расширяют наш умственный горизонт и открывают перед нашим изумленным взором глубокие и сокровенные стороны жизни?

Итак, высказанное нами положение о существенном средстве поэзии и знания, о истине как ее главной цели, вовсе не должно казаться слишком странным даже во мнении тех, кому бы оно с первого раза и показалось странным.

Поэзия, в истинном смысле, есть познающая мысль, направленная на все то, что не подвластно отвлеченному мышлению. Это бесконечное разнообразие жизни, эта неисчислимая полнота существований, этот мир души человеческой, незримый, но столь же действительный и столь же неистощимый в своих явлениях, как и видимый мир, этот мир человеческих отношений и сил, которые непосредственно действуют в них и управляют ими, все это требует постигающего понятия, все это также должно быть предметом ясного и для всех выраженного знания, и это познание от начала века ведется в том, что мы зовем художеством и поэзией.

Знание в том, что мы зовем наукой и знание в том, что мы зовем поэзией, различаются между собой так: первое имеет в виду отвлеченное, общие отношения предметов; собирая во множестве частные явления, первое не обращает внимания на индивидуальные их отличия, сосредоточивается в них исключительно лишь на понятиях родовых и высказывает общие положения, как законы природы; последнее, напротив, направлено к тому, что брошено первым как случайное и тому, на что

первое не хочет и не может обратить внимания. Но и в этом отношении противоположность между знанием в теснейшем смысле этого слова и поэзией не есть нечто существенное и неизменное. Есть сферы познания, в которых оно сближается с поэзией. Это именно те сферы, где мышление слагает с себя, говоря схоластическим термином, *дискурсивный* характер и принимает характер созерцания, где оно не состоит в сочетании отвлеченных понятий, но относится также к индивидуальному, как в истории или в возвышенных сферах философского разума, где мысль имеет перед собой всеобщие и потому также индивидуальные, единственные начала.

Мы коснулись отношения поэзии к миру нравственному, к миру человеческому. Художник есть истинный естествоиспытатель в этом мире. Он производит в нем самые разнообразные наблюдения, которые не уступают в богатстве наблюдениям науки. И здесь вновь встречаем мы сближение поэзии с наукой. Тот же самый процесс совершается в уме мыслителя, извлекающего из бездны частных фактов так называемый всеобщий факт или закон природы, как и в художнике, когда в нем из тысячи схваченных особенностей вырабатывается общий тип, характеристический образ. Разница происходит от свойства предметов, на которые направлена деятельность того и другого. Наблюдения, производимые в мире человеческой свободы, не могут соединяться с теми внешними приемами, с теми искусственными орудиями, которые составляют предмет особого изучения и к которым естествоиспытатель прибегает для сообщения видимой точности своим выводам. Зато, с другой стороны, естествоиспытатель имеет дело с письменами, которых смысл не ясен ему непосредственно. Явления природы предостоят ему как голые, внешние факты и получают значение, говорят уму лишь в той мере, в какой вырабатываются из них отвлеченные признаки или логические формулы законов природы. Поэзия относится большей частью к таким явлениям, смысл которых непосредственно сказывается в нашем сердце, в нашем нравственном чувстве, в нашем самосознании; она относится преимущественно к человеческому миру, в котором явления сами чувствуют

себя. Все внешнее в этом мире находит себе непосредственное истолкование во внутреннем, которому служит знаком. Природа внешняя входит в ведение поэзии лишь по своему отношению к человеческому миру; поэзия знает ее в отражении человеческого чувства, в уподоблении явлениям внутренним, во взаимодействии с человеческой волей, знает ее как окружение, как сцену жизни и событий. Далее, руководствуясь чувством внутреннего, она вносит в соответственные явления природы психические настроения. И здесь истинная поэзия не есть пустая выдумка или риторическая фигура. Конечно, в поэзии, как и вообще в языке, уподобления служат способом выражения и логической ступенью в развитии понятия; но в основании этой потребности сближать внутренние явления с внешними таится глубокое чувство существенного сродства между ними. Во всем внешнем есть свое внутреннее, и поэтический взгляд угадывает это внутреннее по аналогии с душой человеческой. Поэзия открывает нам вдохновенное прозрение в глубины космической жизни, сходясь здесь снова с философской мыслью.

Наука, обобщая явления, группирует их по логическим отношениям, извлекает их из тех бесчисленных разнообразных связей, как существуют они в действительности; наука тщательно уединяет свой факт, возводя его в понятие; индивидуальности служат для нее только веществом анализа; она сыплет и льет их в свои реторты, добираясь только до элементов, чтобы потом разбирать и читать посредством этой азбуки сложные сочетания явлений. Мысль художника держится на понятиях видовых, которым непосредственно подчинено разнообразие индивидуальности. Вид, по терминологии греческой философии, есть то же, что идея; оба речения в греческом языке одного происхождения и употреблялись мыслителями одно вместо другого. Мысль художника остается, таким образом, на рубеже между отвлеченной общностью и живым явлением. Факт, событие не исчезает для него в общем законе. Он повествует, изображает, выводит живые лица на сцену. Хотя художественная мысль также обобщает явления, также соединяется с отвлечением, однако художественное обобщение не разрушает инди-

видуальности явления, оно только возводит его в тип. Плод художественного познания есть факт, удержанный во всей своей индивидуальности, но высвобожденный из путаницы случайностей, с которыми в действительности является для простого глаза. Факт, в художественном понятии, сохраняет всю свою жизненность. Художественное обобщение есть не что иное, как уразумение всего случайного в предмете. Черты характера, моменты действия, подробности события, выражение душевного состояния, все в произведении истинно-художественном должно быть запечатлено внутренней необходимостью, все должно быть проникнуто своим значением, все должно иметь свое достаточное основание, и всякая частность должна находиться в ясном отношении к своему целому, так, чтобы все было вместе и живой действительностью, и понятием.

Признак красоты или изящного, придаваемый искусству, относится столько же к свойству художественного сознания, сколько к его выражению, к исполнению его замысла. В художественном созерцании явления жизни достигают возвышенной области разума и дают ему в себе место проявиться, почувствоваться, сказаться. Тут-то рождаются эти идеалы, исполненные жизни и вместе проникнутые всеобщим, всемирным значением.

Все дело идеализации состоит лишь в том, что данное качество освобождается в уме художника от всех тех стеснений, которым подвергается оно в действительности. Разум и есть не что иное, как возможность полного и беспрепятственного раскрытия всякой вещи, как она должна быть, на свободе от всех возмущений со стороны бесчисленных развитий, совершающихся в действительности параллельно с ней. Когда в сознании нашем представляемое дело достигнет такой свободы и чистоты раскрытия, тогда сознание принимает то свойство, которое называем мы разумом.

Но довольно об этом. Часто будут представляться нам случаи подробнее и основательнее говорить как об этом, так и о многом другом; теперь достаточно этих намеков, в которых мы старались столько же быть краткими, сколько и ясными.

Не мешает, однако, коснуться еще одного вопроса, исключительно относящегося к поэзии, как к искусству слова, и очень важного для характеристики Пушкина.

Не совсем легким может показаться применение всего нами сказанного ко многим поэтическим произведениям, главное достоинство которых заключается в прелести стиха и очаровании слова. Не сам ли Пушкин говорит об этой «прелести стихов» как одном из прав своих на благодарность потомства. Какое же соотношение имеет изящество выражения с целью, поставляемой нами для художественной деятельности? Эти мелкие игривые стихотворения, в которых не раскрывается ничего определенного, как подойдут они под то строгое понятие, которому решились мы подчинить разнообразную область искусства? Что найдем мы в подобных произведениях, кроме красоты выражения, а между тем куда же отнесем их, если не к поэзии?

Этим вопросом мы касаемся другой стороны художественной деятельности, стороны исполнения. Художественная мысль вступает в борьбу с веществом, чтобы овладеть им и выразиться в нем для всех и каждого. Борьба эта имеет свою историю, и внешняя сторона художественной деятельности образует свою сферу и приобретает свою важность. Вещество, покоряемое художественным целям, требует особого изучения; оно поддается лишь сильной руке, и то постепенно, в течение времени. Каждое торжество в этой борьбе передается от поколения к поколению и служит условием новых успехов; мало-помалу для каждого искусства возникает своя особая наука, своя опытность, равно как и при каждой науке для изложения ее содержания образуется особое искусство, своего рода также наука. В эпоху полного развития искусства составляется кодекс установленных правил, утвердившихся приемов и способов техники. Это общие места, готовые фразы искусства, то же самое, что и те готовые формулы речи, которыми наделяет нас общее образование и которые употребляем мы без всякого собственного в них участия. Но в истории искусства останутся навсегда великими памятниками те произ-

ведения, в которых первоначально одержаны гением победы над непокорной силой вещества. Что впоследствии становится легким и незначительным, что становится общим местом, то в этих первоначальных выражениях является высоко важным, свежим и оригинальным. Часто вся сила замечательного дарования расточалась на эти первоначальные победы и ничего другого не завещала потомству кроме выражений, означенных ею и навсегда покоренных художественному созерцанию.

Все сейчас сказанное имеет особое значение относительно поэзии в теснейшем смысле этого слова. В истории нашей литературы мы можем указать на несколько даже не стихотворений, а стихов, справедливо замеченных критикой, как несомненные доказательства истинно-художественного дара, который ничем столько не ознаменовал себя, как этими первыми победами, одержанными над языком. Ломоносова мы должны были бы признать истинным художником, если бы он не написал ничего, кроме известной оды, выбранной из книги Иова и, например, следующих стихов в ней:

Кто море удержал берегами,
И бездной положил предел
И ей свирепыми волнами
Стремиться дал не велел?
Покрытую пучину мглою
Не я ли сильною рукою
Открыл и разогнал туман,
И с суши сдвинул океан?

Поэт есть образователь языка, и эту образовательную силу черпает он от постижения духа и средств языка. Язык не есть просто материал, как глыба мрамора или как краски; самый звук не есть в нем главное, так что даже благозвучие стиха не столько состоит собственно в звуках, сколько в особом движении, в особом сочетании речений, в особом последовании соединенных с ними представлений и настроений. Прочтите иностранцу самое по вас благозвучное стихотворение; поверьте, он не отличит его

от самого неблагозвучного, которое вы потрудитесь прочесть ему вслед за первым, кроме разве страшной и умышленно подобранной какофонии. Нас очаровывают в этом благозвучии разгаданные тайны языка. Художник овладевает, если позволено будет так выразиться, индивидуальностью языка. Выскажемся несколько яснее. Каждое речение, кроме своего общего значения, или понятия, которым оно совпадает с соответственными речениями других языков, есть нечто само по себе существующее, нечто индивидуальное, имеющее свою историю и хранящее в себе следы разных положений, в которых случалось ему находиться. Художественное чувство относится к слову не просто как к понятию, но вместе как к факту, как бы к особой оживленной сущности, запечатленной своим прошедшим, имеющей свои воспоминания и свои притязания. Речение, которое по своему общему значению могло бы годиться для того или другого употребления, не будет употреблено художником, если окажется к тому препятствие в исторической судьбе слова, в его *положении*, в тех мелких и едва заметных сочетаниях, с которыми оно неминусемо является в чутком ухе.

Истинный поэт есть великий знаток языка, хотя бы и не учился никакой грамматике, и в поэтических произведениях раскрываются пред нами тайны слова и ощущается тот дух, тот строй сознания, который составляет его основу в данное время народной жизни и образования.

Перейдем теперь к другому, весьма важному вопросу, который возник в нашей литературе по поводу Пушкина.

II

Мы старались показать, что самая первая и существенная цель искусства есть истина, что поэзия может и должна быть понимаема как знание, что красота художественных произведений есть лишь особое свойство этого знания и основана на истине. Но, спросят нас, должно ли искусство ограничиваться одним теоретическим значением или оно должно иметь также и практическое значение? Этот вопрос внушил самому Пуш-

кину известное стихотворение «Чернь», о котором привелось нам упомянуть выше.

В этом стихотворении ясно заметно развитие темы, заметна некоторая диалектика, возвышение тона и мысли. Чернь сначала говорит следующее о поэте:

*«Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражал,
К какой он цели нас ведет?»*

.....
Как ветер песнь его свободна,
Зато как ветер и бесплодна:
Какая польза нам от ней?»

Вопрос в этих словах касается самого существования искусства, как и вообще всего, что не имеет внешней цели, что посвящено бескорыстному удовлетворению высших потребности человеческой природы. Поэт выражает это в резких стихах:

Ты червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы все – на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!.. Так что же?
Печной горшок тебе дороже,
Ты пищу в нем себе варишь.

Следующее затем возражение черни принимает более серьезный характер. Она не отрицает высших даров и призваний, но требует, чтобы «небес избранник» употреблял свой дар во благо ближнего, чтобы он исправлял сердца собратьев:

Гнездятся клубом в нас пороки:
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.

Требования, по-видимому, весьма честные и законные. Но поэт с новой силой гремит против черни. Он отрекается от возлагаемой на него обязанности; он не думает, чтобы «глас лиры» мог оживить «каменеющих в разврате безумных рабов, которые противны ему как гробы». Негодование поэта оправдывается тем оттенком, который придан увещательной речи, вызывающей его на подвиг исправления сердец. Чернь исчисляет свои пороки не с тем чувством, которое жаждет исправления. Этот заключительный стих:

А мы послушаем тебя,

показывает ясно, что шумливые требователи морали в поэзии очень удобно могут оставаться при своих пороках и желали бы только в воображении поиграть добродетелью. В человеке самом испорченном долго еще сохраняется потребность как-нибудь восстановить в себе равновесие между слишком сильным злом и слишком слабым добром. Не имея ни охоты, ни силы бороться со злом в своем сердце и побеждать склонности воли, он хочет, по крайней мере, дать в своем воображении полный простор добру. Отъявленный негодяй толкует иногда с большим чувством о чести и добродетели, и не всегда это бывает лишь одним лицемерием. Поэт, конечно, должен отказаться от такого служения и заключает свою речь исповедью своего истинного призвания:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Исповедь красноречивая и сильная! Мы не должны, однако, привязываться в ней к каждому слову, или, с другой стороны, видеть в этом лирическом движении точное выражение эстетического закона. Мы согласны, что в общей исповеди поэта выразилась невольно личность самого Пуш-

кина, особенность его природы и дарования. Но основной смысл этих стихов, что бы кто ни говорил, очень верен. Да! Мы не имеем никакого права требовать чего-либо от искусства свыше того, что высказывается этими немногими словами, определяющими призвание художника. Если вдохновение не есть пустое слово, то что же иное может означать оно здесь, как не творческое созерцание жизни и истины? Не есть ли это то благодатное состояние, более или менее испытанное каждым, в которое как бы мгновенно озаряется светом наш ум, раскрывается круг наших обычных представлений и принимает в себя нечто новое, сильно и животворно действующее на наше сознание? Коснется ли наша мысль живой сущности явлений, очнется ли в душе нашей какое-либо скрытно действующее начало и внезапно озарится сознанием; обозначится ли вдруг в живом образе или звуке наше внутреннее настроение, или же, может быть, после долгих исканий мысль найдет свое слово, цель свое средство; развернется ли перед нами в существенных очертаниях, но во всей полноте жизни мир разнообразных явлений: все подобное есть дар вдохновения, которое хотя не есть исключительная принадлежность художника, но *без которого* невозможна истинная поэзия. Творческое воспроизведение действительности в сознании – вот вдохновение художника, вот цели и задачи его.

Приведем здесь кстати рассказ Пушкина о первых испытанных им минутах еще юного вдохновения:

... Яркие видения,
С неизъяснимою красой,
Вились, летали надо мной,
В часы ночного вдохновенья.
Все волновало нежный ум:
Цветущий луч, луны блистанье,
В часовне ветхой бури шум,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демон обладал

Моими играми, досугом;
За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал,
И тяжким пламенным недугом.
Была полна моя глава;
В ней грезы чуждые рождались,
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались...

Как живо и истинно переданы в этих словах первое развитие поэтического дара, эти первые разнообразные впечатления бытия, которые в поэтической душе возбуждают сродную себе игру представлений и находят в них свое выражение, наконец, этот пламенный недуг, эта неодолимая потребность осилить внутреннюю тревогу пробудившейся души и дать ей выражение!

Приведем в заключении пьесу, принадлежащую к зрелой эпохе Пушкина, пьесу, в которой он еще раз возвращается к значению поэта и которая великолепно дополняет взгляд Пушкина на свое призвание:

Поэт, не дорожи любовью народной!
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум.
Не требуя наград за подвиг благородный.
Он в самом тебе, ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен! Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

Но возвратимся к вопросу о практическом значении искусства.

Вопрос о пользе был некогда неизбежным предисловием ко всякому делу. Потом, когда заговорили о самостоятельности каждого дела, проистекающего из существенной потребности человеческой природы, подобные предварительные трактаты о пользе подверглись осмеянию. Но вопрос о пользе может иметь более глубокое значение, не заслуживающее осмеяния. Все в мире связано между собой, все действует одно на другое и потому все может быть взаимно полезно или вредно. Но, с другой стороны, действовать успешно может только то, что достаточно сильно и зрело в самом себе. Каждая вещь имеет свое назначение и становится способной действовать лишь в той мере, в какой удовлетворяет внутреннему закону своего существования. В человеческом мире должны мы признать то же самое. Каждая деятельность хочет иметь свой корень, свою область и требует самостоятельного развития. Она должна прежде сама развиться и лишь потом может оказывать влияние на все прочее. Хотите ли вы утолить голод или жажду: вы возьмете зрелый плод, а гнилой и незрелый будет бесполезен вам. Хотите ли пользы от науки: дайте ей полный простор, дайте возможность, чтобы умственные силы могли быть преданы ей вполне, так, чтобы она образовала великий и живой организм, чтобы каждая существенная цель в ней достигалась достижением многих других посредствующих целей и чтобы каждая из таких посредствующих целей могла стать предметом особых стремлений и могла образовать свой мир. Не спрашивайте, зачем то и зачем другое, не говорите о бесполезности той или другой части: знайте, что за каждую часть отвечает целое, а целое возможно лишь при полном и решительном развитии каждой части.

Вы хотите, чтобы художник был полезен? Дайте же ему быть художником и не смущайтесь тем, что он с полным усердием занят изучениями и приготовлениями, которые имеют своей единственной целью дело искусства. Когда дело исполнится, когда оно явится на свет, оно непременно окажет влияние на все стороны человеческого сознания и жизни и окажет

тем сильнейшее влияние, чем более будет соответствовать условиям своей внутренней природы. Не говорите, что толку в этих прекрасных линиях, в этих образах и звуках? Какая польза нам от этого? Мы не будем отвечать на эти вопросы резкими словами поэта, не будем также распространяться о важности внутренней цели искусства, о том, что минуты этого вдохновенного созерцания идей и жизни сами по себе драгоценны; прямее и примирительнее будем отвечать этим суровым исказителям пользы. Правда, скажем мы им, люди призваны в мир не для одного спокойного созерцания; мы должны действовать и участвовать в великих битвах жизни, каждый по силам и средствам своим; все в человеческом мире стремится и действует, все в напряжении и борьбе; так! Мы не будем терпеть, чтобы силы, столь нужные для действия и борьбы, замыкались в неприступной ограде и пребывали там в блаженном созерцании, бесплодно для всего окружающего. Но точно ли остаются эти силы бесплодными?

Точно ли из этих возвышенных сфер не проистекает обратное действие на жизнь? Точно ли есть такие разобщенные сферы, которые бы не оказывали взаимного друг на друга влияния и не действовали на всю совокупность человеческого сознания и жизни? Нет, взаимное действие вещей может быть измеряемо не грубой оценкой поверхностного взгляда. Действие далеко отходит от своей причины и принимает бесконечно разнообразные виды и оттенки, так что отдаленное действие, подобное со своей первоначальной причиной, часто оказывается вовсе на нее непохожим. Самые, если позволено будет так выразиться, специальные произведения искусства не остаются без действия на жизнь, и действие их может оказаться там, где мы вовсе не ожидали его. Не думаете ли вы, что впечатление прекрасного так и заглохнет в эстетическом чувстве? Что оно ни во что еще не переходит, ни в чем еще не выражается? Мы же думаем, что истинное образование невозможно без этого элемента, и история своими примерами подтверждает наше мнение. Поэзия ознаменовывает первое пробуждение народа к исторической жизни, искусство и знание сопутствуют его раз-

витию и служат самым лучшим выражением силы и свойства развития. Народы самые практические отличались высоким и сильным развитием умственной и художественной деятельности, которая, по-видимому, была совершенно чужда текущих вопросов и дневных интересов, но которая в самом-то деле была совершенно необходима для успехов жизни.

Скажите, откуда взялось в жизни образованных народов это изящество форм и благородство общественных отношений? Мы так гордимся этими успехами гражданственности и с таким ужасом озираемся назад к тем временам, когда в обществе еще не чувствовалось присутствие эстетического начала; мы с таким пылом готовы на всякую экспедицию для новых завоеваний под знаменем этой гражданственности, так нами ценимой! А между тем изящество жизни впервые выработалось в тех умственных сферах, которые казались нам бесплодными, впервые развилось оно в тех чистых созерцаниях мысли, которые могли казаться совершенно бесполезными для жизни. Линии Рафаэля не решали никакого практического вопроса из современного ему быта; но великое благо и великую пользу принесли они с течением времени для жизни; они могущественно содействовали ее очеловечиванию. Действие великих произведений искусства остается не в одной лишь ближайшей их сфере, но распространяется далеко и оказывается там, где об идеалах художника нет и помина.

Представления, образы, мысли, все это силы, и весьма действительные силы в человеческом сознании. Ничто не прокрадется в наших мыслях без действия, хотя бы в начале и незаметного. Прекрасные образы и звуки вносят с собой в сознание это начало прекрасного, их отличающее. Оно не останется только при них, а мало помалу приобретет свое отдельное значение, станет особой силой, которая войдет в бесчисленные сочетания и окажется в самых разнообразных явлениях нравственного мира. Но значение искусства простирается далее, чем признак прекрасного, понимаемый в обыкновенном своем смысле. Художественная мысль, как и мысль познающая, открывает нам внутренний взор на явления жизни и через то рас-

ширяет наше сознание, сферу нашего умственного господства; вдоволь, могущественно способствует тому, из-за чего мы бьемся в жизни. Требуйте от искусства прежде всего истины; требуйте, чтобы художественная мысль уловляла существенную связь явлений и приводила к общему сознанию все то, что творится и деется во мраке жизни; требуйте этого, и польза приложится сама собой, польза великая, ибо чего же лучше, если жизнь приобретает свет, а сознание – силу и господство?

Каждый в мире стоит за своим делом, и каждый при том служит орудием одного великого общего дела. Честный труженик, приводящий в движение тысячи колес и пружин в видах вещественного благосостояния, необходимого для нравственного процветания общества, не имеет, может быть, в кругу своих обычных понятий никакого прямого отношения к искусству и поэзии; скорее, может показаться он живым отрицанием всякой поэзии. Но что бы он ни думал про себя и как бы даже ни жаловался на бесплодность отвлеченных мыслей, все, что есть в его деле поистине благородного, живого, способного к развитию и ведущего к успехам, это нравственное начало, в его деятельности иногда самому ему неясное, но согревающее его труд; все это связано в действительности со многими чисто умственными движениями, хотя бы и чуждыми его личному сознанию.

Не заставляйте художника браться за «метлу», как выразился Пушкин в стихотворении «Чернь». Поверьте, тут-то и мало будет пользы от него. Пусть, напротив, он делает свое дело; оставьте ему его «вдохновение», его «сладкие звуки», его «молитвы». Если только вдохновение его будет истинно, он, не заботьтесь, будет полезен.

Доверимся вдохновению истины и будем требовать от художника, как и от мыслителя, чтобы они только свято служили ей. Нечего заботиться о том, чтобы художник был крепок своей эпохе. Более чем кто-нибудь он создан духом своего народа и духом своего времени, и на нем неизгладимо означен их образ. Вдохновенная мысль, воспитанная стремлением к истине, первая усматривает признаки времени. В ее произведениях сами

собой отражаются господствующие начала и направления эпохи. То, что происходит глухо в умах, обретает себе выражение в поэтическом сознании и возводится в ясное для всех представление. Творческая мысль действительно владеет могущественным орудием, и ее слово находит верный путь к сердцам; но оно только тогда бывает плодотворно, когда является ее свободным и чистым выражением. Она оставляет по себе богатый запас запечатленных ею выражений, которые становятся общим достоянием. Ими пользуется всякий, и слава Богу! Но творческая мысль пусть идет далее и открывает новые пути, и делает новые завоевания. Остережемся, чтобы вместо поэта не навязать себе на шею или фразера, или доктринера. Фразер, это род никуда не годный, и об нем говорить не стоит; доктринер — деятель почтенный, но гораздо бы лучше ему действовать прямее, не прибегая к формам художественного творчества. Поэма, новость, драма, написанные с дидактической или ораторской целью, часто только вредят вызвавшей их мысли. Уму бывает в них душно, и вместо живого дела часто производят они только томительную апатию. Лишь один род поэзии сближается с искусством оратора: это лирика, которую нельзя принимать за твердую форму собственно художественной деятельности. Лирика может быть во всем, даже в безмолвном поступке, и, наоборот, в размеренном складе летучего стиха может более или менее удачно выразиться всякое душевное движение.

Источник разногласия в суждениях весьма часто заключается лишь в сбивчивости слов. Формула «искусство для искусства» может в самом деле заключать в себе смысл весьма неблагоприятный, и от такого смысла должны мы освободить эстетический закон, дающий внутреннюю цель явлениям искусства. Все неприятно поражающее ум в этом знаменитом выражении: «искусство для искусства», заключается в представлении, будто художник должен иметь своею целью только изящество исполнения, и тут мы с полным правом восклицаем: нет! Искусство должно иметь какую-либо более существенную цель; пусть оно лучше оставит тщеславное притязание находить в самом себе цель для своих явлений и будет лишь

простым и честным орудием для других назначений, на которые вызывает его жизнь со своими битвами и стремлениями. Но дело в том, что искусство именно тогда-то и будет лишено всякой внутренней цели, когда художественная деятельность будет заключаться только в искусстве исполнения; тогда-то оно и превратится в простое средство для достижения посторонних и действительно суетных целей. Мы видим такое искусство во множестве литературных явлений, которых все назначение состоит лишь в том, чтобы более или менее приятно занимать праздный досуг читателя. Такое искусство видим мы тоже в явлениях времен упадка, когда иссякают источники всякой умственной производительности и когда все стремления имеют целью только щекотать чувства, поражать эффектом и угождать прихотям вкуса. Подобные явления столь же мало соответствуют внутренней цели искусства, как и те, в которых мысль прибегает к формам художественной деятельности для разных практических целей. Хотя явления этого последнего рода гораздо предпочтительней первых в нравственном отношении, но ни там, ни тут нет истинного искусства, ни там, ни тут не достигается та волшебная цель, в которой состоит его сущность и заключается его необходимость для человеческого развития. Эта цель есть сознание: *художественное творчество есть деятельность мысли, приводящей к сознанию то, что без ее посредства оставалось бы для нас чуждым и немым; деятельность мысли, которая вносит жизнь в человеческое сознание и сознание в самые потаенные изгибы жизни.*

Итак, нет сомнения, что от искусства в чистом и существенном значении его проистекает великая польза, и мы можем спокойно ограничиваться ею, не навязывая художнику никаких практических побуждений для деятельности. Какое различие между практическим направлением мысли и направлением теоретическим, которое должно господствовать в художественной деятельности? Практически направленная мысль имеет целью непосредственно склонять к чему-нибудь волю, непосредственно побуждать людей к поступку. Но чтобы произвести такое действие мы по необходимости должны

иметь в виду не одну только истину дела, а также и все те различные обстоятельства, от которых может зависеть решение воли, и особенность ее настроения в данное время. Большой частью мы бываем принуждены обращать все внимание лишь на одну сторону предмета, часто должны бываем вовсе оставлять предмет и всю силу слова устремлять на обстоятельства, совершенно ему посторонние; интерес истины исчезает; все рассчитывается только на практическое впечатление. Мы не отрицаем необходимости и такого рода деятельности, мы с радостью приветствуем ее там, где она встречается в достойном виде; пусть даже пользуется она для своих целей художественными формами, но мы не хотим, чтобы она вытесняла искусство в его собственном значении и ставила себя на его место. *Искусство, как и наука, действуют прежде всего раскрытием предмета в его жизни, а потом уже предоставляют самой истине действовать на убеждения и волю.* Впрочем, ограждая самостоятельность искусства, мы, с другой стороны, желали бы содействовать к уничтожению той исключительности, в какой иногда понимают художественность и поэзию. Не только не должны они быть связываемы с каким-либо особым способом выражения, например, с формой стиха, но и вообще с известными родами произведений. Художественность и поэзия могут сопровождать живую творческую мысль повсюду, какого бы предмета она ни касалась. Чтобы не ходить далеко за примером, приведем «Записки Оренбургского ружейного охотника» С.Т. Аксакова, или, еще ближе, вышедшую на этих днях его же книгу «Семейная Хроника». Это не поэма и не драма: но сколько тут поэзии и какая чистая художественность в изображениях!

Сам художник вовсе не есть какое-либо особенное существо. Каждый вообще даровитый человек бывает в известной степени и в известном отношении художником, и с поэтическим вдохновением может быть знаком тот, кто никогда не писал ни стихов, ни даже прозы.

Но, не ставя художника в исключительное положение и допуская художественное начало в каждом более или менее

даровитом и развитом человеке, мы также считаем необходимым, чтобы в художнике жил и развивался человек. В интересе самого искусства должно требовать, чтобы художник был развит и нравственно, и умственно. Правда, бывает нередко, что вдохновение

...озаряет голову безумца,
Гуляки праздного...

и не дается усильному труду; правда, сам Пушкин оставил нам другую искреннюю и печальную исповедь:

Когда не требует поэта
К священной лире Аполлон,
В забавах суетного света
Он малодушно погружен.
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира
Быть может всех ничтожней он...

Так, это истинно; но мы можем утешить себя тем, что это только факт, а не закон. Напротив, мы должны убедиться, что богатый дар природы может вполне проявить себя только при условии высокого нравственного и умственного образования. Пусть вдохновение посещает блудящим огнем голову праздного гуляки; еще вернее то, что великое и всемирное может быть произведено только тем, кто способен чувствовать великое и всемирное в самом себе.

Давая искусству независимое значение, мы не освобождаем художника от обязанности заботиться о содержании своих произведений. Мы согласны, что печать высокой художественности отличает и такие произведения, которые предметом своим имеют самые ничтожные явления жизни; но, как бы ни было ничтожно явление, мысль должна стоять высоко, чтобы понимать его сущность, и, может быть, тем выше должна сто-

ять она, чем ничтожнее постигаемое ею явление. Всякое ничтожество может быть художественно воспроизведено такой мыслью, которая не останавливается на поверхности вещей и способна видеть каждое явление в его сущности, при свете идеи, в глубокой, обширной и сложной связи, дающей ему интерес для разумения.

III

Общее значение Пушкина в нашей литературе было давно оценено, и оценено весьма верно. В нем по справедливости видят представителя художественного начала в русском слове, виновника чистой и истинной поэзии в развитии нашего народного сознания. Против такой оценки Пушкина слышались, а может быть, послышатся и теперь некоторые возражения. Не будет ли это несправедливостью к предшественникам и современникам Пушкина? Были герои и до Агамемнона, были и у нас поэты и до Пушкина; что же останется для них, когда мы все отдадим последнему? Не говоря уже о Ломоносове, в котором поэтическая деятельность соединялась с деятельностью ученого и который славился в истории нашего образования более как насадитель науки, нежели как поэт, что же скажем мы о Державине, который в литературе не имеет иного значения, кроме значения поэта? А поэты ближайшие к Пушкину, его старейшие современники, Жуковский и Батюшков?

Заслуги предшественников Пушкина ничем так не могут быть почтены, как признанием всей важности того, что без их деятельности не могло бы произойти. Пушкин был наследником их, и, оценивая богатство, оставленное им, мы вместе с тем оцениваем и все то, что было ему завещано от прежних деятелей. Не было бы поэзии Пушкина, если бы ему не предшествовали сильные дарования, и полная художественность его произведений была плодом целого развития, которым наша литература по справедливости может гордиться. В прежних поэтах, которым нимало не думаем отказывать в этом титуле, должно признать более или менее успешные стремления привить художествен-

ное начало к русскому слову, более или менее решительные приближения к оригинальной русской поэзии. Каждый из них выражал в своей деятельности какое-либо особое направление, а потому каждый более или менее имеет в истории нашего образования свое самостоятельное значение независимо от вопроса о художественности своих произведений.

Сначала обратим внимание на отношение Пушкина к языку. Довольно простого взгляда, чтобы оценить всю разницу между языком Пушкина и его предшественников. Никак не подумаешь, что Пушкин начал свои первые опыты еще при жизни Державина и еще успел принять его благословение:

Старик Державин нас заметил,
И в гроб сходя благословил.

Читая Пушкина после Державина, чувствуешь уже по одному языку, что находишься в другой эпохе. Времени протекло немного, а черта разделения эпох уже так явственно, так резко обозначилась!

Конечно, главная заслуга в преобразовании литературного языка оказана не столько Пушкиным, сколько Карамзиным. Сверх того, и самую славу создания нового стиха Пушкин разделяет со многими другими своими старейшими современниками, особенно с Жуковским, которого имя неразрывно связано с именем Пушкина. Когда таким образом начнем изучать ход нашей литературы во всей его постепенности, обращая внимание на все посредствующие явления, то не будем более удивляться резким и внезапным сменам эпох. Нам станет понятно происхождение нового; но явления, в которых это новое раскрылось во всей своей силе, возбуждают в нас не меньшее удивление. Один из великих мыслителей древности сказал, что знание есть враг удивлению и что кто понимает происхождение дела, тот уже более не удивляется; прибавим: не удивляется происхождению дела, но может удивляться самому делу в его полном проявлении. Мы можем вполне знать силу элементов, из которых рождается вещь, но тем не менее

ее живое появление поражает нас как нечто новое и неожиданное. Поэзия Пушкина в своих зрелых произведениях именно поражает нас такой неожиданностью, хотя мы можем со всей постепенностью различать и оценивать все, что приоткрыло и достойно сопровождало ее развитие.

В поэтическом слове Пушкина пришли к окончательному равновесию все стихии русской речи. То, что теперь называем мы русским языком, есть плод продолжительного и трудного развития. Как всем известно, в древнее время письменным языком в России было наречие церковно-славянское. Но менее известно то, что это наречие существенно разнилось от народного, которое долгое время не знало письменности и лишь в более позднюю эпоху стало появляться в памятниках, не имеющих литературного значения, преимущественно юридических; мы говорим менее известно, потому что хотя различие между церковно-славянским языком и языком народным чувствуется всеми, и хотя теперь едва ли кто объяснит себе эту разницу изменениями времени, едва ли кто видит в церковном языке древнейшее состояние того же языка, который мы слышим в народе; однако многие еще полагают, что в семействе славянских наречий церковное принадлежит к одному порядку с народным русским; по нашему же убеждению они принадлежат к двум противоположным ветвям общего семейства. Вот почему литературный русский язык, слившийся из этих двух главных стихий, долгое время представлял собой нестройное брожение. К этим двум коренным стихиям присоединяются в позднейшее время влияние классической грамматики, внесенной в наш язык Ломоносовым и служащей основанием всех образованных языков, наконец, влияния новейших европейских литератур.

Изыщество речи Пушкина вышло не из хаоса. Хаос прекратился до него, и уже до него возник стройный и правильный порядок. Но в деятельности нашего поэта окончилось развитие этого порядка, в ней, наконец, успокоился внутренний труд образования языка, в Пушкине творческая мысль заключила ряд своих завоеваний в этой области, разделалась с нею и освободилась для новых задач, для иной деятельности. Насто-

ящий русский язык есть уже язык совершенно создавшийся, принявший все впечатления образующей силы и дающий полную возможность для всякого умственного развития. Великое дело в жизни народа – установившийся литературный язык. Ничем так не скрепляется народное единство, как образованием литературного языка. Пока еще шло это дело образования, мы в семье исторических народов казались отсталыми, были робкими учениками и подражателями. Когда дело это совершилось, русская мысль находит в себе внутреннюю силу для оригинального живого движения, и народная физиономия выясняется из тумана.

Вспомните, какой интерес господствовал в нашей литературе не так давно, лет за сорок и даже за тридцать пред сим. Все помышляли только о слоге. Дарования истощали себя на устроение вкладной фразы или гладкого стиха. Интерес мысли был делом второстепенным; умы были заняты только искусством выражения. Мысль схватывалась, где попало, и никто не заботился об ее оригинальности. Все роды умственной деятельности поглощались словесностью; кто бы чем ни занимался, все выходило занятием словесностью, чищением слога, подбором прилагательных и их более чувствительным или более торжественным размещением. В великих умах, как заметили мы выше, труд над языком был делом важным и существенным; к тому же они имели столько сил, что могли посвящать свою мысль еще и другим целям. Так, знаменитое творение Карамзина, будучи вековечным памятником созревшего языка, имеет неотъемлемое значение как первая книга народного самопознания, как первый зрелый плод русской науки. Но указанные выше признаки того времени не теряют от того своей силы. Мы можем и теперь еще встретить в литературе некоторых отсталых орлов того времени. Они и теперь все те же блюстители чистоты и правильности языка, как они себя чествуют; все те же у них приемы, та же критика, которая не видит ничего, далее слога, и меряет всякое умственное дело грамматикой и риторикой. Но что было в свое время естественным и законным, то является теперь дикой и смешной аномалией. Печально раз-

даются эти запоздавшие голоса отжившего времени. Это уже не те добрые, не без пользы трудившиеся почтенные любители словесности старого времени; это ярые противники всякой живой мысли, всего, что носит на себе отпечаток умственной деятельности, им непонятной и чуждой. В отношении же к языку нынешние его блюстители совершенно бесполезны: бесполезны потому, что русский язык, слава Богу, окончательно образовался и не нуждается ни в каких блюстителях. Писатели, которые в настоящее время грешат против духа и законов языка, вредят только своей мысли; языку же вредить отнюдь не могут, и заботы об нем совершенно излишни.

Но возвратимся к делу. Пушкин имел полное право сказать о себе:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой
И назовет меня всяк сущий в ней язык:
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгуз, и друг степей калмык.

Множество разнообразных племен, населяющих наше Отечество, должны вполне, умственно и нравственно, подчиниться русской народности, как подчинены они теперь Российскому государству. Для этих племен русская народность есть единственный путь к человеческому образованию, и они «называют имя Пушкина». Пушкин, как видим, сам чувствовал свое великое значение; он чувствовал, что гением его завершен ряд славных усилий, которые дали русскому слову всемирную силу служить прекрасными орудием духу жизни и развития.

Первый и главный признак полного равновесия, в какое поэзия Пушкина привела все стихии русской речи, видим мы в совершенной свободе ее движений. В ней не осталось и следа той дикой застенчивости, с какой речения и формы различных слоев языка отказывались, бывало, вступать в близкую связь и служить выражением одной и той же мысли. Нет более общих и внешних, предназначенных для мысли стилей; развитие ее может происходить лишь по внутренним своим стремлениям,

не стесняясь и не руководствуясь никакими посторонними для нее соображениями; она может соединять в себе самые противоположные оттенки языка, создавать свой собственный слог, запечатленный ее внутренним свойством, ее особенным типом. Такое движение мысли по всем слоям языка с ровной легкостью показывает, что борьба между стихиями языка прекратилась, что всякая напряженность в их взаимных, отношениях исчезла, что все разнородное совместилось и что настала пора внутреннего развития мысли, которому язык служит только органом, не занимая, не развлекая, не стесняя ее своей неурядицей.

У Пушкина впервые легко и непринужденно сошлись в одну речь и церковно-славянская форма, и народное речение, и речение этимологически чуждое, но усвоенное мыслью, как ее собственное, ни одному языку исключительно не принадлежащее и всеми языками равно признанное выражение.

Не должно думать, что образование нашего языка требовало изгнания какой-либо из стихий его и что оно состоит в исключительном господстве той речи, которая была собственностью туземных славянских племен, составивших впоследствии русский народ, той речи, которую мы обыкновенно называем народной в противоположность церковно-славянской и книжной. Как эти племена в первоначальную пору не были еще русским народом, и народ русский образовался вследствие целой истории, принявшей в свой процесс многие разнородные элементы; так и русский язык не состоит преимущественно в той первоначальной племенной, теперь простонародной речи, а столько же состоит и в стихии церковно-славянской, или, лучше сказать, не состоит ни в той ни в другой, а есть нечто новое, среднее, нечто происшедшее от их соединения, при многих других исторических влияниях.

Благодаря освобождению своему от разнородных стихий языка, мысль получает возможность пользоваться особенностью каждого речения и каждого оборота речи и вследствие того становится способной сохранять в выражении всю оригинальность и жизненность своего развития, отпечатлеваясь всеми своими сторонами и вызывая все сродные ей настроения, распростра-

няющие ее действие до глубины души. В этом состоит свойство поэтической речи, которая в своем течении касается множества струн, пробуждает тысячу ощущений, мерно сменяющих одно другое и своей последовательностью или своим совокупным впечатлением выражающих поэтическую мысль,

Благодаря установившейся организации языка в нем внятно слышится живая сила его духа, и творческая мысль приобретает возможность сознательно договаривать то, что еще не вполне высказалось в языке, создавать обороты и речения, которые таятся в началах и ждут только движения сродной им мысли, чтобы явиться и делу. Инстинкт языка становится сознательной силой.

Скажем еще раз: мы не преувеличиваем значение Пушкина; мы не хотим сказать, чтобы он был виновником этой эпохи в развитии нашего народного сознания. Но мы имеем полное право сказать, что он был первым полным ее явлением, что в нем впервые со всей энергией почувствовалась жизнь в русском слове и самобытность в русской мысли.

Оттого-то так радостно и весело раздались песни Пушкина. С неописанным восторгом внимали все этому потоку свободных, легких и сладких звуков. В нашей литературедохнуло тогда весной. Как все пробудилось, как закипело, как все обрадовалось жизни!

В этих свежих весенних песнях впервые заговорила по-русски самородная и чистая поэзия. Если стих Пушкина так разительно отличается от явлений предшествовавшего времени по отношению к языку, то еще более отличается от них по характеру мысли и изображений.

Мы попробуем тщательным анализом показать силу этого различия и тем пояснить себе в живом примере сущность художественного начала.

IV

Случалось ли вам испытывать то тягостное состояние, когда сердце упорно безмолвствует на призыв когда-то милый,

когда-то всевластный? То состояние мучительной борьбы между дорогим воспоминанием, между требованием сердечной совести и бессилием сердца отвечать живым биением на это требование, почувствовать в настоящем то, что прошло для него невозвратно и утратило живую связь с ним? Былое просится к нам в душу, но пути его заросли и забыты, и призывной голос будит только воспоминание, и слезами нашими искренно плачет только жалость, что сердце не хочет плакать? Вот случай жизни. Его, повторим, мог испытать каждый, и многие могли про себя сознавать его. Но является поэт, и эту исповедь сердца возводит он до общего сознания; темное и глухое дело жизни становится свободным представлением. Он находит средство так выразить особый случай жизни, что в душе каждого произойдет подобие такого состояния. Можно было бы высказать это явление души, как общий факт, можно было бы сказать, как сказано ими выше, что то-то и так-то бывает. Но Пушкин берет один случай из жизни и, изображая его, высказывает общий смысл этого явления:

Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала...
Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;
Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.
Так вот кого любил я пламенной душой,
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы! В душе моей
Для бедной, легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни тени.

Действием этих стихов в душе нашей изображается во всей своей особенности случай жизни, слагается подобие того состояния, на котором он основан; мы испытываем то же, что испытывает человек, действительно бывший в подобном состоянии, но испытываем не в самой жизни, а в воображении, в созерцании, в представлении. Наше отношение к факту, воспроизведенному искусством, есть отношение теоретическое, то самое отношение, какое составляет сущность знания. Творчеством поэта тяжкая тайна сердца возводится в свободную сферу созерцания.

Мы можем со всей энергией чувствовать изображенное здесь состояние, но тем не менее мы чувствуем его не как нечто действительно с нами происходящее; мы получаем не связь общих представлений, а явление жизни во всей его индивидуальности, во всей, так сказать, его личности; мы испытываем его жизнь, но не в самой жизни, а в изображении, – и ничем иным, как только действием художественного изображения, случайное явление действительности приобретает общее значение. В художественном изображении заключается эта тайна чарующего соединения бесконечной особенности и случайности явления с общим, существенным значением.

В чем же состоит общий смысл изображения? В его истине. Все черты изображения дышат этой истиной; частный случай становится его прозрачным выражением. Художник уловил в случае его сущность, и каждое слово, каждая потребность имеет в целом свою силу. На этом маленьком стихотворении, приведенном нами для анализа, мы можем испытать все главные эстетические законы. В этом примере мы можем элементарно почувствовать, что значит отвлеченная формула, говорящая о воплощении идеи в определенной форме, о том, что художник представляет мысль в образах, о слиянии в его творчестве бесконечного с конечным и т. п. Повторив этот анализ на многих подобных примерах, мы будем вне опасности потеряться в отвлеченности формул и будем понимать дело в самом деле. Но возвратимся к нашему стихотворению.

Действительно ли был этот случай с Пушкиным, как он изображен в приведенном стихотворении, или он родился в воображении поэта, этого решить мы не можем, хотя по некоторым указаниям г. Анненкова можно положительно заключить, что это точно был сердце. Предположим, однако, что именно этого случая не было с ним: истина стихотворения, его очарование от того несколько не уменьшится. Это очарование состоит только в том, что в душе нашей изображается совершенно индивидуальное состояние, вызывается живое чувство со всей определенностью своего настроения, вся его музыка, как предмет внутреннего внимания. Очевидно, что произведение поэта будет тем выше в художественном отношении, чем действительнее будет его слово, то есть чем живее, определеннее индивидуальный образ. Надобно, чтобы явление, изображаемое поэтом, казалось произведением не отвлеченной мысли, а действительности; надобно, чтобы оно совершенно свободно выражало свою идею, чтобы каждая черта его, взятая порознь, была совершенно случайна и чтобы только в своем совокупном впечатлении все эти случайности становились существенным выражением своей истины. Она могла бы умереть не под голубым небом своей родины, мог бы умереть кто-либо другой, могло бы, наконец, вовсе не быть речи о смерти: для общего смысла, который можем мы извлечь из приведенного стихотворения, это было бы делом совершенно случайным, и именно в этой-то внешней случайности состоит художественное очарование приведенной пьески. Только жизнь может вызвать наше участие, только живое можем мы чувствовать, а чтобы узнать живое, надобно его почувствовать. Чем, по видимому, случайнее предмет поэтического изображения, чем оно индивидуальнее, тем глубже простирается его действие, тем оно выше в художественном отношении, тем плодотворнее и, если хотите, тем полезнее, потому что оно несет с собой в эти глубины свет сознания и покоряет ими случайные явления действительности. После этого небольшого анализа мы скажем уже не пустую фразу, говоря, что Пушкин внес в наше образование начало художественное, начало чистой по-

эзии. Мы можем теперь передать смысл этой фразы другими, более ясными словами: Пушкин, можем мы сказать, впервые в истории нашего умственного образования коснулся того, что составляет основу жизни, коснулся индивидуального, личного существования. Русское слово в лице Пушкина нашло путь к жизни и приобрело способность выражать действительность в ее внутренних источниках. До него поэзия была делом школы; после него она стала делом жизни, ее общественным сознанием. Потому-то Пушкина и назвали первым народным поэтом нашим. Он был действительно народным поэтом, хотя не в том смысле, что брал предметы для своих произведений из среды, в теснейшем смысле народной. Пушкин, как известно, в этом смысле не народен. Общий инстинкт назвал его народным потому, что в нем с особенной силой почувствовалось живое и оригинальное движение мысли в русском слове.

Вот еще стихотворение, которое имеет в себе нечто родственное с приведенным, хотя и отделяется от него значительным промежутком времени; первое относится к 1825 или 1826 году, а то, которое мы выписываем здесь, к 1830:

Для берегов отчизны дальней
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал над тобой.
Мои хладящие руки
Тебя старались удержать;
Томленья страшного разлуки
Мой стон молил не прерывать.
Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: в день свиданья
Под небом вечно-голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим.

Но там, увы, где неба своды –
Сияют в блеске голубом,
Где под скалами дремлют воды,
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой –
Исчез и поцелуй свиданья...
Но жду его: он за тобой.

В чем заключается невыразимое очарование этого стихотворения? В индивидуальности минуты, в нем изображенной. Оно дышит чем-то своим, чем-то совершенно особенным. Эта минута есть нечто единственное в своем роде, нечто до бесконечности оригинальное, в этих немногих строках целая повесть. Читая их, вы чувствуете, как на душе вашей слагается это полное мгновение, которое вы потом отличите от тысячи других. Вы никогда не забудете этого настроения. Поэзия овладела этой минутой и принесла ее в дар общему сознанию. Для мысли нашей нет большей радости, как выйти из своего одиночества и найтись в жизни, и чем индивидуальнее, чем особеннее предмет сознания, тем глубже наше наслаждение. На этом-то чувстве индивидуальности и основано очарование искусства.

Нам скажут: что же за важность в наших личных состояниях? И зачем прибегать для этого к поэзии, когда мы в жизни можем сколько угодно даром наслаждаться их сознанием? Все замечательное, что я, с нами бывает и что происходит в нас, сопровождается более или менее своим сознанием. Но в том-то и дело, что все в жизни сопровождается *своим* сознанием, и каждый человек имеет *свое* сознание. Такое частное, личное сознание недостаточно: оно невольная принадлежность жизни и ничем от нее не отличается. Оно не умеет высказаться. Вот внезапное горе постигло человека: подхватите слово, которое вырвется у него невольно. Ряд междометий или хотя бы и более знаменательных слов, хотя бы, наконец, целый поток красноречия обыкновенно представляют самый неопределенный смысл, простое общее место. Они сами принадлежат к тому

состоянию, которое их вызвало, и необходимо другого рода сознание, чтобы уразуметь или изобразить это состояние. Такое сознание есть дело свободной мысли, которая раскрывается в том, что мы называем просто знанием, а также в искусстве и поэзии; такое сознание есть общая сила, властвующая над отдельными умами и служащая средой для их сближения. Все развитие, все образование совершается в этом общем сознании и через него. Говорят, что художник выражает какую-либо общую мысль в образах. Это выражение не всегда точно, и может быть неверно понято. Иногда, действительно, общий смысл дела ясно обнаруживается в художественном произведении, как, например, в первой приведенной нами пьесе Пушкина; но иногда бывает почти невозможно перевести поэтическую прелесть изображения на язык отвлеченных понятий. Так, например, просим попробовать это на стихотворении «Для берегов отчизны дальней». Без сомнения, тут есть идея; но извлечь ее из этих звуков и образов трудно, не разрушая их очарований. Есть идея в прекрасном человеческом лице, есть идея в прекрасном пейзаже, но как выразите вы эту идею отвлеченными понятиями, общими словами?

Художник уловляет ее в своем изображении. Художественное изображение явлений жизни, возводя их в общее сознание, тем самым дает им общее значение. Идея не состоит непременно в отвлеченных формулах или сентенциях. Жизнь и живое сознание, вот где находит идея свое глубочайшее выражение. Пьеса Пушкина, которая так крепко замкнута в себе, так упорно противится анализу, тем не менее проникнута идеальным значением. Откуда же и самая глубина производимого ею впечатления, которое сотрясает столько струн в душе, возбуждает в ней столько движений? Откуда и это единение, эта гармония, откуда слияние всех этих звуков, всех этих душевных движений в одно цельное настроение, в одну речь, понятную всякой живой и понимающей душе? Каждое слово в этом стихотворении действует на душу и могущественно вызывает из сердечной глубины все те тонкие чувствования, которые в своем слиянии изображают идею стихотворения. Вдали, как

основа картины, чувствуется благодатный край юга, край жизни и любви. С этим ярким аккордом сливается мысль о печальной стране изгнания, и посреди этого общего настроения разыгрывается сцена... Поэт не ограничился простым извещением о своем чувстве, он передал всю особенность его проявления, и передал двумя-тремя чертами, которые представили нам живой образ, проникнутый всею силою «печального» мгновения. Как сильно действуют эти простые слова: «я долго плакал пред тобой!» Какая истина в этом движении хладеющих рук, в этом стоне, умоляющем продлить томительную минуту расставания! Как слышится в поэзии этой сцены присутствие нежного, милого женского существа! Ни одною чертою не обозначен ее образ, но он невольно чувствуется вами. Как хорошо и как кстати, что именно *она* прерывает «это страшное томление разлуки!» Женскому чувству особенно свойственно хранить меру в самом увлечении; женскому чувству сроднее, чем мужскому, остановиться в порыве и заикнуться в самоотречении или в надежде. Какой тихой прелестью звучат в ее устах слова утешения и надежды! Надежды не сбылись, она умерла под голубым небом своей родины, и прощальные слова поэта запечатлены чудной нежностью и вместе важностью. При строгой мысли о смерти чувство поэта помнит еще об обещанном поцелуе свидания; это нужное чувство устояло перед скорбной торжественностью минуты. Бедное сердце человеческое не потерялось, не отрелось от своих прав и пред зияющей бездной смерти. Однако мы не можем вовсе уклониться от вопроса, в чем же состоит идея этого стихотворения? Что дает ему внутренний и существенный интерес? Вопрос этот тем настоятельнее, что выбранное нами стихотворение служит характеристическим образчиком поэзии Пушкина.

Конечно, было бы нелепо переводить живую лирическую пьеску на язык отвлеченных сентенций под видом раскрытия ее идеи и умерщвлять поэзию под предлогом объяснения ее смысла. Но очень можно и должно показать, под каким небом распустился благоухающий цветок, из какой почвы произошла прелесть его красок. Всеобщее начало отражается в отдельной

песке, и, следуя скромным путем наведения, мы от малого примера можем сделать заключение к той системе сознания, которая была внесена в наше образование поэзией Пушкина. Небольшая рассмотренная нами пьеска, вместе с другими родственными ей звуками лиры Пушкина, есть выражение великой идеи, идеи, для которой много работала история. Эта идея человеческой личности, это права человеческого сердца. Звуками Пушкина предьявлены были эти права в нашем общественном сознании; его поэзией преимущественно эта идея была усвоена русской жизни. Не удивляйтесь, что мы коснулись такого тяжелого вопроса по поводу такой легкой вещицы, такого мелкого стихотворения, или хотя бы целого ряда таких стихотворений, – подумайте, что и ничтожный цветок, который вы бросаете, подышав его запахом, есть произведение многих великих сил природы, что он свидетельствует также о целой системе зиждательных начал и о великой подземной работе.

Все человеческое, и сердце человеческое, как глубочайшая основа жизни, имеет свои бессмертные права и свою великую ценность. Но была нужна целая история, чтобы эти права приобрели силу в сознании и жизни, чтобы эта ценность достигла всеобщего признания. Никакое общественное состояние не может быть удовлетворительно, в котором не признана вполне и свято человеческая личность, никакое дело не может иметь полного человеческого достоинства, если не запечатлено нравственной свободой лица, если не коренится в убеждениях сердца. И вот за многими великими идеями, которые осуществляются в историческом движении общества, приходит черед и до признания личности человеческой как самостоятельной силы, до призвания прав человеческого сердца, до признания его интересов в них самих, без отношения ко всему иному, что может направлять их в разные стороны и давать им еще особую ценность. Если самостоятельность личного существования необходима для общества, то она прежде, чем проявить себя в общественных направлениях, должна быть признана безотносительно и бескорыстно. С признанием прав человеческой личности вообще нераздельно и признание женщины. Без

женщины не может быть истинно человеческого общества; без женской стихии не может быть истинно человеческой жизни и истинно человеческого сердца.

Здесь красота и поэзия жизни в теснейшем значении этих слов, и ничем в мире нельзя заменить эту стихию там, где ее недостает.

Развитие и образование не создают сердца. Личность человеческая существует и там, где права ее признаны. Нежные звуки любви слышатся нам и в безыскусственной песне простых детей природы. Но дело не в этом; дело в том, чтобы *существующее* было понято, как нечто *существенное*, как начало, как право.

Одним из первых дел общественного образования у нас было освобождение женщины из домашнего заключения. Преобразователь России со свойственной ему пылкостью и энергией принудительно требовал появления женщин в учрежденных им ассамблеях. Но прошло более столетия, прежде чем общественное сознание могло раскрыться для принятия того начала, которое грубо знаменуется этим фактом. Иноземными влияниями вносились в умы представления, вытекавшие из общечеловеческого образования; но они были мертвой риторикой в нашей словесности. Справедливо была замечена в ходе нашего образования историческая важность легких произведений Карамзина, его сентиментальных стихотворений, его «Лизина пруда». Еще более важности имел в этом отношении Жуковский. Но все это носило более или менее подражательный характер, все это лишено было художественной силы; все это было или призраки, бледные тени, или общие места; все это было только выражением потребности, но не было ее удовлетворением.

Сравните, чтобы не ходить далеко, приведенные нами стихотворения Пушкина со всем, что в этом роде было писано до него, со всеми Темирами, Пленирами и т. п. Между тем и другим целая бездна. Вы смеетесь, читая какое-нибудь из сентиментальных стихотворений старого времени, но оно писано не для смеха; очень может быть, что чувствительный поэт точ-

но орошал слезами струны своей лиры; может быть, он и действительно что-нибудь чувствовал, и в его воображении точно носился образ Пленеры. Но стихотворение не имеет никакой силы; оно не производит в душе ничего определенного, ничего не изображает, между тем как произведение художественное заключает в себе силу, изображающую в душе нечто особенное. Стихотворения, лишенные художественного достоинства (каких, впрочем, есть много и у самого Пушкина), значат что-нибудь только в совокупности, в массе, как выражение какого-нибудь интереса, возникающего в общественном сознании, или как общая характеристика времени, или, наконец, по технике, по языку; но каждое из них, взятое отдельно, ничего не выражает и ничего не значит. Такого рода произведения бледнеют и исчезают с течением времени. Произведение же художественное не умирает, как бы ни казалось оно незначительным по своему объему и даже по содержанию. Оно и не стареет, и стих поэта, отдаленного от нас тысячелетиями, звучит в душе так же свежо, как и в свое время; а это потому, что в нем заключена сила, заставляющая нас почувствовать нечто особое, нечто свое; сила, действующая на душу всякого развитого человека, в ком есть элементы, необходимые для образования психических сочетаний, которых требует идея художника.

Итак, если признание прав человеческого сердца было и у нас давней потребностью, то полное удовлетворение себе онашла она впервые в поэзии Пушкина. Вот главная идея его поэзии, существенное значение его лирики, и вот истина, которая утверждена была в общественном сознании.

V

Не все, оставленное нам Пушкиным, имеет равное достоинство; есть многое в его произведениях, что имеет интерес только по отношению к языку и что даже вовсе не имеет интереса. Так, например, мы всегда с неприятным чувством перелистываем в полном собрании сочинений Пушкина большую часть его лицейских стихотворений. Нам пришлось бы, может

быть, поспорить по этому поводу с почтенным издателем сочинений Пушкина. Нам кажется, что детские опыты Пушкина не заслуживали бы места наряду с произведениями, составляющими его славу и богатство русской литературы. Мало ли что могло быть написано великим поэтом не только в школьные годы, но даже и в зрелую пору жизни? Только поистине достойное должно, по нашему мнению, войти в собрание, хотя бы и полное, сочинений писателя; все же прочее могло бы найти себе место или в материалах его биографии, или в особом приложении. Но мы не будем настаивать на этом мнении и не хотим спорить о таком несущественном пункте с издателем, который вдумываясь в план своего предприятия и, вероятно, на каком-нибудь основании решился поступить так, а не иначе.

По особенной природе своего гения Пушкин был поэт мгновения. Его дар состоял в изображении отдельных состояний души, отдельных положений жизни. Он воспроизводил движение сердца во всей полноте жизни и истины, основное настроение данного момента умел он возводить до типического выражения. Но не было в его даровании переходить в непрерываемом развитии от положения к положению, и из одного момента выводить другой. Напрасно стали бы мы искать у Пушкина полных характеров: лица, выводимые им, большей частью исчезают в поэзии отдельных мгновений или служат только внешней связью, соединяющей различные положения жизни. Пушкин не обладал даром созерцать в единстве многообразия явлений; для него все сосредоточивалось в отдельном моменте. Исчерпав одно, он обращался к другому, и в целом ходе его повествований или драматического движения редко мы усматриваем внутреннюю последовательность. Целое всегда распадается у него на отдельные положения и сцены, но так, однако, что каждая часть представляет собой нечто относительно цельное. Вспомним, как любил Пушкин форму драматических сцен, из которых, по самому свойству его природы, не развивалось полного драматического движения, но в которых тем не менее с удивительной полнотой и силой изображаются часто довольно сложные отношения, раскрывается

с художественной истиной психическое состояние и со всей индивидуальностью изображается положение жизни. Таковы «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный Гость», «Русалка» и др. Единственное полное драматическое произведение Пушкина, «Борис Годунов», в сущности, вовсе не есть драма, а представляет собой только ряд внешним образом связанных между собою сцен. Но зато эти отдельные сцены отличаются удивительной художественностью. Что видим в произведениях драматической формы, то находим и в повествовательных произведениях Пушкина. Везде отдельные моменты, изображения отдельных положений, нигде нет последовательного развития. Либо целое распадается на эпизоды, и повествование служит только нитью, на которой нанизывается великолепный ряд картин, очерков, образов, лирических мест. Таков «Евгений Онегин», любимое дитя фантазии Пушкина и действительно самое полное выражение всех особенностей его гения; такой же характер имеют «Руслан и Людмила», «Полтава». Либо вся поэма представляет собою одно какое-либо положение, богато обставленное разнообразными подробностями. Таковы «Кавказский Пленник», «Бахчисарайский Фонтан», «Цыганы», «Медный Всадник» и пр. Либо поэт, замыслив целое, остается при начале или при каком-нибудь отрывке из замышленного повествования; замысел не развивается, и поэт останавливается на каком-либо моменте, который более и сильнее всего прочего занял его мысль: таковы все эти отрывки или начала поэм, которых так много у Пушкина; сюда относятся «Галуб», отрывок или два отрывка, которые стоят многих целых поэм по удивительной художественности образов и стиха; превосходная пьеса, называемая в изданиях «Началом поэмы» («Стамбул гяуры ныне славят») и пр.

В прозаических повестях своих Пушкин как бы превозмогает эту особенность своей природы и пробует вести связный рассказ от начала до конца; но дарование его падает под этим усилением. Рассказы его по большей части вялы и бесцветны. Кто что ни говори о красотах «повестей Белкина», мы, со своей стороны, не видим в них большого достоинства;

это простые рассказы, не отличающиеся даже и внешне занимательностью. Хвалят в них язык; действительно, язык в них гладок, чист и правилен, свободен от риторики: но что это за качества, когда речь идет о произведениях такого таланта, как Пушкин? Выше «Повестей Белкина» рассказы: «Дубровский» и «Пиковая Дама»; но особенного достоинства, признаемся, не видим мы и в этих рассказах. Фигура Германа в последнем набросана бойко, но имеет только достоинство эскиза; вся повесть представляет два-три интересные положения и только. Нам кажется, что сюжет этой повести много бы выиграл, если бы Пушкин изложил его не в прозе, а в стихах. Только в мерной речи наш художник умел творчески выражать самые живые особенности чувства; только увлекаясь мерным движением слова, мысль его выражалась откровенно, только в стихе освобождалась она от какой-то стыдливости, от какой-то сжатости и холодности. Пушкину, который так много черпал из тайников собственного сердца и из опыта жизни, Пушкину была особенно нужна искусственная форма стиха. Как оркестр и ряд ламп отделяет в театре сцену от зрителей, так ряд рифм и музыкальность стиха ставит поэта в некоторое разобщение с действительностью; мысль его отдаляется от неволи жизни и возносится на ту идеальную высоту, с которой свободнее может она обращаться к явлениям жизни и извлекать из них язык страсти, боли и радости. Так, сценический художник с удивительной силой страсти, с поразительной истиной всех ее оттенков действующий под мантией героя, является, сошедши со сцены, самым простым и нередко самым прозаическим смертным. Чтобы представить какое-либо душевное движение, художнику нужно иметь в собственной душе, в истории своего сердца, элементы этого движения, и творчество его состоит в том, чтобы приводить эти элементы в такие сочетания, какие требуются идеей представляемого характера и положения. Пушкин не любил касаться этих внутренних струн иначе как в ограде стиха. По свойству его природы, чувствования, хранившиеся в его душе как результаты личного опыта, все, изведенное и пережитое им в собственном сердце, нелегко

переносилось в новые сочетания, нелегко входило в состав новых творческих образований. Быль сердца по большей части восходила у него к своему прямому выражению. Все в ней оставалось как бы на своем месте и, восходя из жизни в поэтическое представление, только очищалось от всего постороннего и несущественного. Вот почему Пушкина можно назвать по преимуществу поэтом лирическим. Но никак нельзя сказать, чтоб Пушкин в своих произведениях изображал только самого себя. Он мог уловлять жизнь в самых разнообразных проявлениях и даже в проявлениях совершенно чуждых ему лично; но образ, возникавший в его фантазии, удовлетворял его своим мгновенным появлением, и он не развивал схваченного момента. «Капитанская Дочка» составляет блистательное исключение из повествовательной прозы Пушкина. В этой повести есть развитие, целость и много прекрасного. Занятие материалами для истории Пугачевского бунта не осталось в Пушкине бесплодным. «Капитанская Дочка» несравненно более знакомит нас с эпохой, местами с характером лиц и событий, нежели самая история Пугачевского бунта, написанная Пушкиным. Удивительная верность изображений была новостью в нашей литературе. После «Бориса Годунова» повесть эта явилась новым доказательством способности Пушкина воссоздать быт прошедших времен. Но и здесь главное достоинство все же заключается не в развитии целого, а в подробностях и отдельных положениях. Образ Пугачева намечен мастерски: это одна из самых цельных характеристик у Пушкина. Прочие лица в этой повести: сама героиня, ее отец и мать, Савельич также хороши по замыслу и по исполнению. Но как ни сильно поддерживало, как ни возбуждало производительную силу повествователя обилие материалов, из которых выработан этот рассказ, оно не могло, однако, вполне заменить то, чего недоставало самой природе его дарования. И «Капитанская Дочка», изобильная прекрасными частностями, не составляет определенного и сильно организованного целого. В рассказе нельзя не заметить той же самой сухости, которой страдают все прозаические опыты Пушкина. Изображения либо слишком мелки, либо слишком

суммарны, слишком общи. И здесь также мы не замечаем тех сильных очертаний, которые дают нам живого человека или изображают многосложную связь явлений жизни и быта.

Не одно природное свойство дарования Пушкина было виной указанного недостатка в его произведениях, виной тому, конечно, было также и недостаточное развитие умственных и нравственных интересов в общественном сознании, которого органом был Пушкин. Чтобы постигать многообразие жизни, надобно обладать обширной и богатой системой воззрений. Каждая сторона жизни требует особого воззрения и особого интереса. Что бы ни происходило в нас и вокруг нас, все пропадет даром для нашего разума, если в нас не окажется замечательных, наблюдающих, постигающих понятий. Весьма естественно, что у Пушкина так часто или, лучше сказать, почти всегда обрывалась нить развития в изображениях, обрывался интерес, иссякало вдохновение, недоставало понятий, чтобы следить за дальнейшим ходом дела.

Есть у Пушкина одно стихотворение, в котором случайно, но очень верно и очень живо характеризуется замеченная нами особенность его дарования. Мы разумеем превосходное стихотворение «Осень», написанное им в 1830 году, в самую зрелую эпоху его развития. Обрисовав живыми чертами времена года и свою любимую осень, в которую он чувствовал всегда с особенной силой призыв к творчеству, поэт изображает свое состояние в эти минуты, которым мы обязаны его произведениями:

Душа сменяется лирическим волнением
Трепещет, и звучит, и ищет как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем –
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге
Минута и стихи свободно потекут.

Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге.
Но чу... матросы вдруг кидаются, ползут, –
Вверх, вниз, – и паруса надулись ветра полны:
Громада двинулась и рассекает волны.
Плывет... куда ж нам плыть?..

На этом стихе прерывается стихотворение, и этот вид неоконченности еще усиливает знаменательность образа. Все готово к отплытию, – но куда плыть? Кажется, даны были все условия для обширного и могущественного творчества, но что-то задерживало его развитие. Настал миг вдохновения, все живо заговорило в душе поэта; но едва успела мысль его двинуться вперед, как миг прошел, перед ней безвестный путь; ничто не манит далее – плыть некуда, и мысль остается на прежнем месте, в ожидании нового мгновения, и то же повторится, когда оно наступит. Блеснет мгновение, и изольется вдохновенным словом; но оно исчезнет, не оставив поэту путеводной идеи для его воображения.

VI

Перейдем теперь к вопросу о том, развивался ли и в какой мере развивался талант нашего поэта с течением времени?

Появление «Руслана и Людмилы» поразило и привело всех в неописанный восторг. Свежесть и свобода языка, юная, почти детская беспечность и резкость мысли, грациозные очерки, все дышало чем-то новым и неслыханным. И теперь еще, перечитывая эту поэму, мы легко переносимся воображением в первое время пушкинской поэзии, легко поддаемся тому обаянию, какое должна была производить эта поэма на современное поколение. Это обаяние проснувшейся жизни не исчезло вместе с минутой появления этой поэмы; она уносит его с собой и в потомство. Очень естественно, что Пушкина называли по преимуществу творцом «Руслана и Людмилы»: позднейшие более зрелые произведения его не могли изгладить первое впечатление, произведенное им на общественное

сознание. Содержание его ничтожно: это пустая сказка, ни на чем не основанная; герои не запечатлены никаким определенным характером места и времени, это какие-то воздушные призраки. Внутреннего творчества в ней нет; но есть творчество выражения; в ней слышится слово, которое вырвалось на вольный простор жизни; речения и обороты языка являются здесь во всей чистоте и силе своей. К тем мысленным движениям, которые вызываются ими в читателе, не примешивается ничего искажающего и стесняющего их раскрытие. Эти движения раскрываются с той непринужденностью и той чистотой, на которых основано чувство грации и красоты. Чтобы на самом деле почувствовать это значение нового слова, полезно сравнить язык «Руслана и Людмилы» со старейшим произведением русской словесности, которое приближается к нему по своему характеру и в свое время пользовалось большой славой. Мы разумеем «Душеньку» Богдановича. Нельзя не признать некоторого достоинства и в этой поэзии. Содержание, как известно, заимствованное Богдановичем из Лафонтена, лучше и интереснее содержания «Руслана и Людмилы». Но способ выражения в поэме Богдановича свидетельствует еще о не установившемся брожении языка. Между этим словом и нашей мыслью нет прямой и живой связи. Часто воображение наше отказывается представить то, чего требует это слово. Образ, который по-своему должен бы был раскрыться с легкой и идеальной грацией, дает точно так же чувствовать себя, как чувствуются нами претензии полуобразованной женщины на грацию и прелесть манер. Малейшее уклонение от истинной нормы движения производит на нас неприятное впечатление и не только лишает образ поэтического очарования, не только отнимает у него силу действовать приятно, но сообщает ему силу действовать в обратном отношении, в смысле противоположном его идее. Передайте некоторые места из поэмы Богдановича на какой-нибудь иностранный язык, они могут производить приятный эффект; но в формах той русской речи, какой писал Богданович, она действует на нас иначе, потому что эти формы возбуждают в нашей душе несоответственные настро-

ния. Там из-за Душеньки выглянет фигура подъячего, здесь запахнет семинарией, в другом месте вместо Купидона невольно мерещится фризовая шинель. Здесь:

... Хор певиц протяжистым манером
С приличным никаким размером
Воспел стихи, возвысив тон,
Толико медленно, толико слуху внятно и т. д.

Там:

Царевна, вышедши из бани наконец,
С удовольствием раскидывала взгляды
На выбранны для ней и платья и наряды,
И некакой венец.

Надобно иметь слишком сильную способность отвлечения, чтобы при чтении подобных мест удерживать воображение от разных примесей, которые, уж конечно, не требуются сущностью представления. Только благодаря такой способности можем мы вынести из чтения бедную схему образа, отказавшись совершенно от всего, что могло бы дать ему сколько-нибудь жизни, сколько-нибудь движения и поэтической ценности.

Карамзин, Батюшков, Жуковский вынесли из этих пучин русское слово и передали его Пушкину. С первых шагов своих он достиг уже того значения, с каким останется навсегда в истории русской литературы. Лирические пьесы, относящиеся ко времени «Руслана и Людмилы» (1817–1820), соответствуют этой поэме.

Они отличаются живостью и свежестью слова, но внутреннего, более глубокого значения они не имеют, за исключением двух-трех стихотворений, относящихся к последним годам этой поры. Мы не можем не упомянуть здесь о прекрасной элегии «Увы, зачем она блистает!», которая исполнена необыкновенной нежности, грустной и задумчивой нежности, так часто звучащей в самых зрелых произведениях нашего поэта.

От 1820 года, в который Пушкин окончил «Руслана и Людмилу», до 1825 следует ряд поэм: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», первая глава «Евгения Онегина», поэм, которые, равно как и лирические пьесы, их сопровождавшие, очевидно показывают постепенность в развитии нашего поэта. В самом деле это очевидно теперь для всякого благодаря умной заботливости издателя о хронологическом порядке сочинений.

Промежуток времени от 1820 по 1825 год имеет в развитии Пушкина характер эпохи переходной. Детская резвость «Руслана и Людмилы» сменяется порывами юношеской страстности, брожением возбужденного чувства, туманностью мысли. Он плачет с Кавказским пленником, ревнует с Заремой, колотит с Алеко, жалуется на людей и жизнь, хандрит и скучает с Онегиным. В лирике его слышатся уже звуки души, начавшей жить; стих становится выразительнее и сильнее; творческая сила обнаруживается не в одной прелести выражения, но и в замысле. От сказочного мира, от игры воображения мысль его все более и более обращается к действительности, по временам задумывается над ее явлениями, старается схватить их и постигнуть их значение. Здесь уже обозначаются главные черты его характера и гения, и чем далее, тем явственнее. Многие из мелких тем этого времени, особенно из относящихся к 1824 году, запечатлены истинной поэзией и приближаются к зрелой поре его музыки. В его душе слышатся уже вещие струны, которые отзываются на явления природы и жизни. Видимыми предметами возбуждаются в нем те думы, которые в поэтической душе звучат отголоском внутренней сущности предмета. Как сердце подает весть сердцу, так и душа природы сказывается в душе поэта, сначала туманно и невнятно, но уже сказывается. Мало-помалу приобретает он власть над сердцами. Иногда посреди общего места, которое, впрочем, не было для него общим местом, вдруг прозвонит стих, исполненный живой силы, которая никогда не утратит своего действия. У поэта уже есть прошедшее. Он вспоминает о первых годах своей юности, о первых впечатлениях, о первых тревогах своей души. Он

вспоминает, как в ту раннюю пору посещало его вдохновение и как впервые почувствовал он острое жало того искушающего начала, которое льнет ко всему живому и которого не может миновать никакое сильное развитие.

К этому-то времени относится все, что, бывало, говорилось о подражательности пушкинской поэзии; сюда относятся те байронические влияния, которые в ней обыкновенно отыскивались. Собственно говоря, Пушкин никогда не был подражателем; это природа в высшей степени оригинальная. Характер подражательности, который замечали в его менее зрелых произведениях, есть не столько подражательность, сколько эта относительная незрелость, и объясняется, с одной стороны, молодостью литературы, в которой действовал Пушкин, с другой – просто физиологическою причиною, молодостью самого поэта. Подражательность так мало свойственна его природе, что всему чужому, чего касалась его мысль, давал он совершенно новое значение и новый вид. Он никогда не мог быть прелагателем чужой мысли; всегда возбуждала она в нем самостоятельное творчество, из которого выходило нечто другое, совершенно оригинальное. Вспомним его позднейшие подражания Данту, мнимые заимствования из английских поэтов, подражания и заимствования, принадлежащие к самым оригинальным произведениям Пушкина. Конечно, в эту переходную пору своего развития Пушкин не мог не подчиниться влиянию того мрачного и могущественного британского гения, который господствовал тогда над умами, «властителя дум» тогдашнего поколения. Но влияние Байрона на нашего поэта вовсе не так глубоко; оно только возбуждало его, а вовсе не сообщало направление его развитию. В Пушкине нет и следов той непреклонной демонической гордости, которой дышат байроновские герои. В «Кавказском пленнике» и «Бахчисарайском фонтане» влияние Байрона ограничивается самым общим возбуждением и лишь внешней стороной; кое-где встречаются некоторые технические заимствования. Более напоминает байроновских героев Алеко: это у Пушкина единственный характер, в котором чувствуется существенное влияние британского поэта. Но

этим произведением Пушкин навсегда отделился от Байрона, и уже в первой песне «Евгения Онегина» слышатся только слабые отзвуки его влияния. Здесь Пушкин уже на своей почве, и в неустановившемся брожении его мысли оказываются уже твердые точки.

Эти поэмы носят на себе все признаки переходного времени. Внутреннего, безотносительного достоинства, за исключением некоторых мест, особенно в «Цыганах», они не имеют. Если мы спросим себя, чего именно недостает им, то легко найдем, что им недостает высшего условия художественности: индивидуальности изображений. Лица этих поэм еще как бы скрываются позади поэта, и перед взорами его ложатся только тени от них. Гений поэта не приобрел еще столько творческой силы, чтобы давать образ своим ощущениям. В подобных произведениях поэзии часто видят преобладание внутреннего над внешним и называют их субъективными; но, собственно говоря, в подобных произведениях столь же мало преобладает сила внутреннего, сколько в произведениях поистине художественных преобладает внешнее над внутренним. Сила внутреннего выражается не в чем ином, как в организации внешнего; чем глубже и сильнее внутреннее, тем явственнее образ его проявления. В произведениях незрелых именно внутреннему недостает силы: это-то внутреннее в них слабо и незначительно. Как в жизни чувство, не переходящее в дело, есть чувство неглубокое и незрелое, так и в искусстве представление, не имеющее явственной организации, есть представление слабое и незрелое. Чем выше стоит созерцающая мысль, тем определеннее созерцание. В произведениях переходной эпохи развития Пушкина внутреннее зрение не обнимает своих предметов, а теряется в их неопределенности. Но, следуя художественному порядку происхождения этих поэм, мы не можем не заметить, как творческая сила поэта постепенно крепнет и овладевает предметом. Образы «Бахчисарайского фонтана» явственнее, нежели «Кавказского пленника», чувствования высказываются определеннее и точнее, положение обрисовываются живее. В «Цыганах» и в

первых главах «Евгения Онегина» видим еще большую зрелость представления. Мысль в этих произведениях очевидно свободнее и зорче; из тумана и мерцания выделяются более решительные линии и более явственные очерки, определеннее обозначаются внешние отношения и по мере того ощутительнее сказывается внутреннее.

В фантазии поэта уже зарождаются начатки произведений, которые раскрываются пышным цветом в зрелую пору его развития.

Первым начаткам самостоятельного творчества русской мысли соответствуют далеко не так ценные начатки современной Пушкину жизни, как она отразилась в его первых произведениях. Герои этих поэм представляют собой только что пробудившуюся потребность жить собственным сердцем и умом; они хотят держаться на своих ногах, быть нравственными единицами, но остаются еще при самых скудных элементах сознания. Слишком мало в них нравственных сил и положительных начал для самостоятельности, слишком еще слабо держатся они на своих ногах и слишком тесен кружок, в котором они учатся ходить. Возбужденность в них сильная, но употребление ее слишком ничтожное. Личность человеческая тем самостоятельнее, чем меньше занята собой и тем более отражает в себе великий всеобщий мир, а эти господа только лишь и заняты собой. Они вышли из сплошной массы, они не хотят быть кирпичами, связанными чьей-то рукой в каких-то постройках, они хотят быть сами по себе и все-таки остаются теми же кирпичами, только сваленными в кучу. Пушкин отличает себя от Онегина:

Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,

Чтобы, продолжает поэт, не подумали,

Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт...

Но в то же время поэт сознается в своей близости к тому же Онегину. Они приятели и живут в одной сфере:

Страстей игру мы знали оба,
Томила жизнь обоих нас
В обоих сердца жар погас,
Обоих ожидала злоба
Слепой фортуны и людей
На самом утре наших дней.

Но над уровнем людей, к которым более или менее принадлежал сам Пушкин, он возвышался своим высоким даром и историческим призванием, возвышался над ними тем, что по ложному стыду старался прятать подальше и прикрывать светским безличием. В зрелую пору своей жизни Пушкин, кажется, освободился от этого ложного стыда, впрочем, весьма естественного в прежнее время, когда общество смотрело на литератора с любопытством, как на исключительное и несколько странное явление, – когда человеку, писавшему стихи, нельзя было показаться в гостиную, чтоб его не попросили продекламировать какое-нибудь новое произведение его музыки, – когда такому человеку нельзя было задуматься, чтобы прелестные уста не обратились к нему с вопросом: *A quoi revez-vous, o poete?**

В героях первых поэм Пушкина, взятых из жизни, не могло быть никаких нравственных столкновений; в них, кроме смутно пробудившейся потребности жить и чувствовать, нет более ничего; сердечным влечениям в них не с чем померяться, кроме разве «слепой фортуны». Кавказский пленник плачет над воспоминаниями обманувшей его любви и страдает, что не может увлечься новой страстью. Алеко бежит из города в степь, от «мучительных слов сердца» в цыганский табор, там ищет свободы от страстей, но увлекается новыми страстями и возмущает не очень завидный мир цыганской вольности. Что бы такое могло из него выйти, право не знаешь. Онегин – праздноша-

* О чем вы задумались, поэт? (фр.)

тающийся и скучающий чудака, который одним только серьезно занят – наукой любви, и, по уверению поэта, достиг в ней глубокой премудрости; пустой фат, а впрочем, добрый малый, из которого могло бы выйти что-нибудь и более путное, чего уж никак нельзя сказать о преемнике его, Печорине. Онегин еще только может быть Печориным, но может быть и чем-нибудь другим, а в герое Лермонтова вполне созрело нравственное ничтожество и загрубело в непроницаемом эгоизме.

С 1825 года начинается зрелая пора Пушкина, в которую постепенно вырабатывались и являлись на свет произведения, составляющие его истинную славу: «Полтава», последующие песни «Евгения Онегина», из коих вторая была написана в 1825–1826, а последняя (восьмая) в 1830; «Борис Годунов», давно уже замысленный, но получивший окончательный свой вид только в 1830 году, в котором были написаны и все прочие произведения драматической формы, кроме «Русалки», которая произошла позднее (1832); далее поэмы «Галуб» (1829) и «Медный всадник» (1833); наконец, рядом с этими более или менее обширными произведениями самые благоуханные цветки Пушкинской лирики, небольшие пьески, стоящие целых поэм, удивительные по своей глубине, силе и художественному совершенству.

Вот здесь-то мы встречаем истинного Пушкина, в этих-то произведениях раскрылись все особенности его природы и гения! Окончательное суждение о Пушкине должно основываться на произведениях этой эпохи.

Прежде всего будем отвечать на вопрос, в чем заключается дальнейшее развитие поэзии Пушкина, в чем выражается зрелость его творческой силы? Не много надобно вглядываться в произведения этой эпохи, чтобы усмотреть, как русская мысль в лице Пушкина приобретает все более и более силы для достижения действительности, как становится она способной воспроизводить истину явлений души и жизни. Колеблющиеся фантастические тени исчезают и сменяются ясностью действительного мира, чувство поэта собирается из неопределенных настроений, сосредоточивается, крепнет и растет в глубину.

Выражение достигает необыкновенной силы и высочайшей художественной точности, которая столько же составляет необходимое условие искусства, сколько и науки. Истинная поэзия должна столько же отличаться своего рода точностью, как и математика; вся сила поэзии основана на этом качестве, по видимому, вовсе не поэтическом. Точность поэтического выражения заключается в том, что оно производит то, а не другое впечатление, и производит его во всей чистоте и силе.

В «Полтаве» и в «Борисе Годунове» Пушкин касается истории. Мы не знаем с точностью, которое из этих двух произведений позднее по времени. Хотя, по указанию г. Анненкова, «Борис Годунов» замышлен был поэтом еще в 1824 году и написан в 1825, но известно также, что это произведение было предметом долгих и усиленных дум, подвергалось переделкам и только в 1831 году увидело свет. «Полтава» была начата и окончена в продолжение одного месяца в 1828 году. Поэма эта по языку и в частности изображения замечательна всей силой созревшего человека и созревшего дарования. Стих здесь творит чудеса. Но в целом это одно из слабейших произведений зрелой поры Пушкина. Собственно историческая часть поэмы зыбка и не отличается еще тем спокойствием воззрения, которое необходимо в произведениях этого рода. Битва блещет яркими красками, но не производит глубокого исторического впечатления. Изображение Петра исполнено страстного лирического движения, но представляет мало определенных очертаний. Фигура Карла обозначена, говоря эстетическим термином, объективнее.

Поэт смотрит на него с большим спокойствием. Что же касается до Мазепы, играющего главную роль в поэме, то изображению его сильно вредит несколько мелодраматический тон романа, который разыгрывается на исторической основе произведения, но мало вяжется с ней и отнимает у ней главный интерес поэмы. Взятый отвлеченно от своего исторического значения, этот образ коварного и обаятельного старика, умевшего внушить к себе страстную любовь в своей крестнице, местами исполнен художественной правды и запечатлен превос-

ходными стихами. Кочубей, жена его, тоже довольно бледные как исторические лица, дают поэту повод изобразить мастерскими чертами некоторые положения. Какая сила в выражении негодования Кочубея на губителя его дочери! Позднейшие произведения Пушкина не превзойдут силою стиха ни этого, ни многих других мест «Полтавы». Далее в этом отношении идти невозможно.

Образ Марии прекрасен; страсть ее к Мазепе, несмотря на свою неестественность, не лишена психологической правды. Ее объяснения с Мазепой во второй песне исполнены драматического движения. Это совершенно особая сцена, которая отличается всеми красотами драматических сцен, написанных Пушкиным в 1830 году.

В «Борисе Годунове» Пушкин совершенно освобождается от лирических увлечений и обнаруживает высшее творчество в изображении отдаленного исторического времени.

Никто еще не воскрешал у нас с такой истиной в поэтическом представлении образы давней жизни нашего Отечества. Пушкину ставят в укор относительно Бориса Годунова, что он черпал дух и краски этого произведения не из первых источников, а из истории Карамзина, что он смотрел на древнюю Русь сквозь чуждую призму, что вследствие этого он внес в ту жизнь какую-то торжественность и пышность, ей несвойственные. Укор этот, сколько нам помнится, впервые произнесен был в «Московском Телеграфе»; с тех пор он пошел в ход и стал общим местом критики. Всегда, как только речь пойдет о «Борисе Годунове», непременно заговорят о Карамзине. Но первый источник этого важного критического заявления, переходящего из уст в уста, был сам же Пушкин. Не посвяти Пушкин своего произведения памяти Карамзина, не скажи, что произведение это есть труд, вдохновенный его гением, критик «Телеграфа», ратовавший в то время против истории Карамзина, может быть, и не подумал бы об этом обстоятельстве. Но это посвящение дало тему и пищу для критики; не входя во внутренний разбор произведения, критик мог уже с легкой совестью развивать мысли, возбужденные заглавной страницей книги.

Само собой казалось ясным, что «Борис Годунов» есть труд пропащий, что «Борис Годунов» – несчастная ошибка таланта, что в ней нет исторической правды. Нельзя не согласиться, что самостоятельное занятие Пушкина историческими материалами, самими актами прошедшей жизни, могло бы быть весьма плодотворно.

Его высокое художественное чувство вынесло бы оттуда много свежих красок, много удивительных образов. Но мы не думаем, чтобы посредство Карамзина чем-нибудь существенно повредило исторической правде произведения Пушкина. Допустим, что образ самого Годунова может быть не совсем верен подлиннику; но история не сказала еще своего последнего слова об этом лице, и многие относящиеся к нему обстоятельства еще недостаточно объяснены. Если же характер этого лица у Пушкина не представляет полного драматического развития, то в этом надобно винить не какое-либо постороннее влияние, а самое свойство дарования Пушкина, замеченное нами выше. Точно то же должны мы сказать и о прочих лицах этой драмы: развития нет ни в одном, и каждое является в отдельных сценах с какой-либо уже данной, уже готовой стороной своего нравственного или общественного положения. Выше замечено, что не в обычаи, не в интересе нашего поэта следить за постепенным раскрытием дела, слагать постепенно зиждательные элементы характеров и событий; он брал дело в полноте его однократного проявления, в раздельные его моменты. Каждый дар имеет свою особенность: этим недостатком и этим свойством определяется, по нашему мнению, особенность Пушкина. Возвращаясь к «Борису Годунову», смело повторим высказанное уже нами мнение о достоинстве этого произведения: оно представляет верное художественное воспроизведение древней Руси в ее главных типических чертах. В этом отношении «Борис Годунов» далеко еще не оценен по своему достоинству и, прибавим, по своему значению в нашей литературе. Это произведение возникло в ту пору, когда у нас ни в обществе, ни в литературе не поднимался еще вопрос о древней русской жизни, о коренных

ее началах, не слышалось еще жалоб на разобщенность новой русской жизни с ее прошедшим. Пушкин не мог предусматривать всех этих толков и споров, и мысль его, обращаясь к прошедшему, могла сохранить то спокойствие и ту свободу воззрения, которые столь же необходимы художнику, как и мыслителю или историку. В сценах своих он ничего не хочет доказывать, он только изображает. Художественная истина этого изображения состоит не в подробностях обстановки, не в обозначении внешних примет быта, а в постижении внутренних основ его, в воспроизведении духа явлений, который порождал их существенные черты. В произведении Пушкина мы чувствуем, как древняя Русь неуклонно шла своим путем, как мало было в ней самой существенных побуждений оторваться от дальнейшего хода, как глубоко, напротив, таилась в ней потребность обновления. Но с тем вместе мы не чувствуем в этих изображениях никакого отрицающего действия со стороны поэта, никакого желания представить внешним образом недостатки или несостоятельность старого быта. Потребность перехода является здесь как положительное начало самой жизни старого времени.

Спросим себя, которое из типических лиц того времени, как они представлены у Пушкина, заключает в себе что-либо враждебное этому переходу, которое из лиц выражает собою начало укора и сопротивления? Конечно, не этот смиренный старец, который в тиши своей кельи в краткие досуги от молитвы пишет свои правдивые сказания; этот старец, отрекшийся от мира, но совершающий для него скромное, безвестное, но благое дело? Перечтите эту сцену в келье Чудова монастыря, признанную за один из драгоценнейших перлов целого произведения, прислушайтесь снова к речам доброго отшельника, к этим речам, которые запечатлены всей силой художественной правды: нет, здесь так много мягкосердечия и простоты! Нет, отсюда не может выйти дух сопротивления, и мысль отсюда легко обращается к будущему и доверчиво предается влекущей силе, в нем заключенной. Другим характером запечатлены следующие за нею сцены.

Но войдем в царские палаты. Отделим в Борисе Годунове то, что придано ему его личным положением, внутренней неправдой его власти, неправдой, из которой рождается династическое своекорыстие, — отделим этот страх и трепет за себя перед глухим ропотом народного мнения и самозванства, отделим также оцепенелость полувосточных, завещанных форм, все, что так верно выражено Пушкиным, несмотря на пышность и некоторую торжественность этого выражения, вообще, впрочем, не чуждые предмету, и в основных красках своих, и в общем впечатлении еще более возвышающие художественную верность изображения, и посмотрим, что останется в царственной мысли. Все, вероятно, помнят прекрасную сцену Бориса в своем семействе, кроткий образ Ксении, обозначенный столь немногими, но столь поэтическими чертами, и разговор царя со своим сыном.

А ты, мой сын, чем занят? это что?
Чертеж земли Московской, наше царство
Из края в край. Вот видишь: тут Москва,
Тут Новгород, тут Астрахань. Вот море,
А вот Сибирь.

А это что такое
Узором здесь вьется?

Это Волга.

Как хорошо! Вот сладкий плод ученья!
Как с облаков ты можешь обозреть
Все царство вдруг: границы, грады, реки.
Учись, мой сын: наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни.

.....
Учись, мой сын, и легче и яснее
Державный труд ты будешь постигать.

Истина изображений здесь так живо, так гласно говорит сама за себя, что не требуется исторической поверки. Эти слова дышат всей особенностью жизни и духа времени.

Вот еще другое место. Недовольный своими боярами и воеводами, царь обращается к Басманову:

..... Я ими недоволен.
Пошлю тебя начальствовать над ними:
Не род, а ум поставлю в воеводы;
Пускай их смесь о местничестве тужит:
Пора пресечь мне ропот знатной черни
И гибельный обычай уничтожить.
Ах, Государь, стократ благословен
Тот будет день, когда разрядны книги
С раздорами, с гордыней родословной
Пожрет огонь.

День этот недалек...

День этот, как мы знаем, настал, и вскоре за ним наставали другие дни, в которые тот же огонь пожирал ограды невежества и народной исключительности. И только из этих оград, а не из существенных начал, не из духа жизни происходило сопротивление делу обновления, протест против сближения народов, против великого дела истории, возводящего все отношения и формы в человеческом мире к их чистоте, к их разуму и к несомненной определенности. В произведении Пушкина мы можем как бы предчувствовать, что когда придет час перехода – будет упор, но упор со стороны оцепенелого и помертвевшего обычая, упор со стороны звенящей меди и бряцающих кимвалов, со стороны хранителей формы и ревнителей обрядности. Все поистине живое и плодотворное должно было перейти; осталось позади лишь внутренне-мертвое и негодное.

Вот что значит художественное изображение! Если б Пушкин старался проводить в своих очерках древнерусской жизни какую-либо мысль, если бы он хотел в них что-либо доказывать, то исчезла бы истина изображения, мы получили бы не истину жизни, а вовсе, может, ненужное нам мнение Пушкина, мы получили бы ложь и относительно искусства, и относительно действительности. Раздалось бы только лишнее горячее

слово в споре и только. Художнику более всего нужно высокое беспристрастие истины или, как мы выразились выше, свобода воззрения. Первым признаком произведения нехудожественного было бы желание автора высказать прямо какие-нибудь мысли. Лица являлись бы на сцену и высказывали бы эти мысли, высказывали бы, может быть, очень хорошо, очень живо и увлекательно; но мысли, высказываемые не в логическом развитии, могли бы только оглушить, увлечь вас слепо, а внутреннего, в вас самих происходящего процесса убеждения никак не могли бы они произвести. Между тем художник не только не навязывает вам каких-либо готовых мыслей, но и не подводит вас хитро под их влияние особой, сообразной с какими-нибудь посторонними целями постановкой сцен; он только приближает к вашему разумению сущность предмета и побуждает вас изображением дела дойти до скрытых в нем идей, заставляет вас самих домыслиться до них. Вам не сообщаются готовые убеждения, вам сообщаются элементы для убеждения. Пимен в «Борисе Годунове» ничего не говорит и не может говорить ни в пользу, ни против исторического развития и общественного преобразования; его сознание далеко от этих вопросов и вообще его жизнь не принадлежит миру; но в нем встречаем мы дух, который, чувствуем мы, никогда не озлобится против законного движения мира и который благословит всякое доброе дело, откуда бы оно ни исходило. Но очень вероятно, что братья Мисаил и Валаам, эти ханжи и лицемеры, изображенные Пушкиным с неменьшей верностью, стали бы в эпоху Петра на стороне противников реформы.

КОГО ЧЕСТВУЕТ РОССИЯ В ЛИЦЕ А.С. ПУШКИНА

В Москве, на Красной Площади, высится памятник Минину и Пожарскому. Их деяние золотыми буквами вписано в Русскую историю, и воздвигнутый памятник будит в нас высокое чувство народного самосознания и веру в Промысел, управляющий судьбами нашего Отечества. То было в смутную пору нашей истории, с лишком три с половиною века на-

зад. Прервалось преемство царского рода; власть, так тяжело собранная и возвеличенная, утратила свою святость, переходя из рук в руки путем преступлений, обмана, измены. Государство зашаталось. Русская земля, казалось, погибала. Иноземный враг уже владел Москвою. И вот тут-то, на голос простого человека из народа восстала вся русская земля. Все поднялось, все вооружилось; все несло достояние и кровь свою за Веру и Отечество. Великое, беспрецедентное народное движение, исполненное силы и духа и вместе смиренное духом, простое и некичливое в своем величии! Иноземный враг был посрамлен и изгнан, крамола раздавлена, государство спасено, и Верховная власть бережно и без ущерба передана избраннику всей земли Русской, родоначальнику нового царствующего дома, открывшего новую эру в истории нашего Отечества. И вот в Москве, колыбели русского единовластия, поставлен памятник вождям свободного народного подъема, которым спасено было русское государство и в котором впервые сказалось несокрушимое единство нашего народа и его дух, воспитанный Церковью.

Доселе этот памятник на общественной площади высился в нашей старой Москве одиноко. Теперь к нему присоединяется другой, посвященный человеку, не водившему в бой народных ополчений, но также народному двигателю, великому русскому народному поэту, как общий голос славит нашего Пушкина...

Жизнь народа и его призвание не исчерпываются делом государственной нужды. Когда тело сложилось и окрепло, душа освобождается для самостоятельной жизни. Развитием внешнего могущества и вооруженною силой еще не обеспечено существование народа, еще не доказано его право на существование. Бывали громады, скрепленные внешнею силою, которые, исполнив свое временное назначение, рассыпались во прах и исчезали. Великий народ, призванный к жизни, обладает силою внутреннего единения и проявляет свой дух не в одних заботах самосохранения, но и в развитии даров человеческой природы. Чем производительнее творчество мысли среди народа, чем выше подъем духа в его избранных людях,

чем обильнее и плодотворнее раскрываются в нем дары Божии, тем возвышеннее становится его положение в мире и тем он любезнее и дороже для человечества. Над царством нужды возвышается царство свободы, где каждый сам себе царь и где властвуют только вечные законы истины, блага и красоты, где народ достигает высоты человечества и куда утомленные трудом жизни обращаем мы взоры, ища успокоения, отрады и освежения сил. Что была бы жизнь наша, – и была ли бы возможна жизнь человеческая, – без этого царства чистой свободы?

В Пушкине всенародно чувствуется великий дар Божий. Ему не доводилось спасти Отечество от врагов, но ему было дано украсить, возвысить и прославить свою народность.

Язык есть единящая сила народа. По древнему, глубоко знаменательному церковно-славянскому словоупотреблению язык есть народ, народ есть язык. Но в нравственном мире надежны и животворны связи, лишь скрепленные свободой и любовью. Кто же, скажите, кто не полюбит русского языка в стихе Пушкина? Кто устоит против «живой прелести» этого стиха?

Пушкин заставил не только своих, но и чужих, полюбить наш язык, и в том его великая заслуга.

Литературный язык совершает долгий путь образования. Когда пришел Пушкин, литературный язык был готов, но он был sprysnut только «мертвою водою». Поэзия Пушкина была ему «живою водою». Пушкин извлек из русского языка неслыханные звуки и «ударил по сердцам с неведомою силой». Пройдут века и многое изменится, но язык пушкинского стиха останется во всем обаянии своей красоты и никогда не утратит своей силы и свежести.

В чем тайна животворной власти художника над языком? В том, что речения для него не просто знаки общих понятий, которые без остатка передаются на всякий другой язык, но каждое чувствуется им как нечто само по себе, как живое существо, имевшее свои судьбы и носящее на себе отпечаток всех сочетаний, через которые доводилось ему проходить. В этом тайна того очарования, которое художник извлекает из

языка, и вот почему произведение истинно творческого дара только приблизительно может быть передано на другой язык.

Пушкин имел право сказать, что он был «полезен живою прелестью» своего стиха. Это не суетная похвальба, но мудрое разумение. Никто не принес столько истинной пользы русской народности, как Пушкин, в то время, когда Бог судил ему жить, и его произведения стоят многих выигранных битв.

Мы гордимся нашим Пушкиным как великим поэтом. Его поэзия не есть только переходная ступень нашего образования, не есть только исторический момент, остающийся позади и внизу во мраке прошедшего. Пушкин стоит на высоте всемирного значения. Русский народный поэт, он имеет полное право на почетное место в пантеоне всех времен и народов. На произведениях его зрелой поры лежит печать совершенства. Это мир творчества, самородный и самобытный, как по веществу, так и по образу.

Он рано почувствовал свое призвание. Еще в детстве мечтал он о высоте, куда влекла его неведомая сила. В лепете пятнадцатилетнего мальчика уже слышится предчувствие нерукотворного памятника, на котором успокоился его дух пред концом земного поприща. От детского лепета до строгой и величавой думы на краю могилы протекло лишь двадцать два года.

Мы чествуем в Пушкине дар Божий; но должны чувствовать в нем и человека за то, что он при всех неблагоприятных условиях воспитания и среды не заглушил в себе Божьего дара и не солгал пред своим призванием. Как и все в то время, он учился «чему-нибудь и как-нибудь». Из своего воспитания он вынес только знание французского языка, бестолковую начитанность во французских авторах прошлого века, наполнивших библиотеку отца, да еще сказки своей няни. Он сам изобразил нам ничтожество среды, которая потом держала его в своих оковах. Лишь одна была у него опора, одно спасение – его божественный дар, его гений, который питал и направлял его и был его карающею совестью, когда легкомыслие и грубая чувственность овладели его воображением. Совесть

художника спасала в нем и человека. Он обязан ей перлами своей поэзии, и она же поднимала его нравственно. Он глубоко чувствовал двойство в себе, – и свое ничтожество и высоту своего дара, – и правдивый стих его запечатлел это чувство. В те минуты, когда «божественный глагол» касался его чуткого слуха, совершалось его воспитание и созревание, и он со своего Синая возвращался каждый раз с новыми лучшими силами. Мысль его возвышалась и умудрялась; душа освобождалась от оков «хладного сна». Божественный гость его души, будивший ее мгновенными посещениями, наконец водворялся в ней хозяином. Только природные черты напоминают в его музе прежнюю резвую вакханку. Одухотворенный лик прекрасен, но задумчив и важен. С поэтом как бы наяву совершилось то, что он повествует яркими библейскими образами в своем *Пророке*. Серафим «перстами легкими, как сон», коснулся его зениц и слуха. Пред его мысленным взором раскрылись глубины человеческого сердца, и нет высоты, на которую не восходил бы его созерцающий ум. Он слышал:

*И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход...*

Но он до конца оставался верен особенности своего дара. Он не берется не за свое, он не философствует, не проповедует. Его мудрость вся в образах его ясновидения. Все у него до бесконечности индивидуально. У него нет общих мест, нет голословных мыслей, которые приискивают себе приличную форму. Все у него, как у истинного художника, идет снизу вверх и находит свою идею в своем внутреннем просветлении. Все у него пережито в сердце или в воображении, и все говорит прямо живому чувству.

Но чем выше поднимался его гений, чем зреее становилась его муза, тем менее сочувствия находил он в окружающей среде. Славу ему между современниками доставили его молодые произведения, но уже начиная с *Полтавы* Пушкин падал в их мнению. *Борис Годунов* был оценен лишь немногими, и то

отчасти, и наша критика не посмела ставить его наряду с произведениями иностранных мастеров. Восьмая песнь *Онегина* навлекла на него упреки даже философствующей критики последующего времени, которая осталась недовольна поэтом за то, что он не пустил свою героиню по всем по трем разнузданной страсти. Вся созданная из родных нам стихий, в живой обстановке уже уходящего, уже ушедшего быта, плоть от плоти нашей, типически русское, милое женское существо с искренним сердцем и пылким воображением, Татьяна не умела сдержать своих порывов пред приличиями, но остановилась непреклонна пред святынею долга. Критика вменила эту черту в вину поэту...

Как высоко, в числе немногих, стоял этот человек, воспитанный своим гением над общим умственным уровнем! Он чувствовал возраставшее охлаждение к нему публики, ему были досадны пересуды глупцов; но он ни разу не впал в искушение и не унизил себя исканием популярности. Он оставался в одиночестве на своей высоте, не смущаемый ни хвалами, ни бранью. Благо тому, кто испытал это священное одиночество! Благо тому, кто на высоте своего дела, при исполнении своего долга остается наедине со своею совестью! «Ты царь, живи один», – говорил себе Пушкин, и в этом не гордость сказалась, но покорность высшему, что есть в человеке, тому божественному, что слышится во глубине человеческой совести при каком бы то ни было деле. Да будет и в этом наш великий писатель руководящим образцом и для нынешнего, и для будущего поколений! Кто не испытал этого высокого чувства независимости мысли не покорной ничему, кроме долга, тот не знает лучшего, что дано испытать человеку и чего не может заменить никакое опьянение тщеславия. Кто не ищет любви народной, как Пушкин (*Поэт, не дорожи любовью народной*), кто остается послушен лишь велению Бога (*Веленью Божию, о Муза, будь послушна*), тот только приобретает право на истинную любовь народную. Только то дело и прочно, и свято, и плодотворно, которое задумано и исполнено человеком наедине со своею совестью.

Не из среды, которой Пушкин был окружен, но из своих вдохновений вынес он и глубокое народное русское чувство, и свой исторический смысл, и свою веру в назначение русского народа. В поэзии Пушкина найдем мы источники чистейшего патриотизма. Его *Полтава*, его *Борис Годунов*, с сыновним чувством посвященный им памяти Карамзина, впервые раскрывшего книгу нашего прошедшего, – все обращения Пушкина к Петру Великому, его обращение *К клеветникам России*, его мощный дифирамб на Бородинскую годовщину свидетельствуют о глубине его народного чувства и о силе его патриотизма, просвещенного и возвышенного. Пушкин не был ни публицистом, ни оратором, да таких людей в те времена и не водилось на Руси, но прочтите строки, которые выше нами поставлены, прочтите его отповедь враждебной нам Европе. Эти патриотические песнопения вызваны событиями 1831 года и относятся к вопросу величайшей для России важности. Не говорим: какая сила слова, но какая сила гражданского чувства и ясность политического разума! Протекло тридцать лет, и возник тот же вопрос, – но в каком состоянии застигнута им наша литература, которая тогда получила уже голос и пустилась в политику? Наша литература занималась тогда поруганием и самого Пушкина, и всего, что дорого русскому чувству и просвещенному уму, она старалась превзойти самих врагов наших в клевете на свою страну...

У нас теперь все толкуют о политических партиях. Не принадлежал ли и Пушкин к какой-либо партии? Да, принадлежал. Воздавая хвалу Петру Великому, Пушкин ценил в Преобразователе особенно то, что он не презирал своей страны и верил в ее предназначение... «Предназначение русского народа», это сказано Пушкиным.

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещение,
Не презирал страны родной,
Он знал ее предназначенье,

Кто из этих слов не узнает партии, к которой принадлежал Пушкин? Он принадлежал к *Русской партии*. Самое слово *Русская партия* есть слово Пушкина. Передавая в своем *Современнике* записки Моро де-Бразе, иностранца, служившего в войсках Петра Великого, Пушкин останавливается на сетованиях этого авантюриста, который упрекал русского царя в пристрастии к русским. И делает такое примечание.

«Благодарим нашего автора за драгоценное показание. Нам приятно видеть удостоверение даже от иностранца, что Петр Великий и фельдмаршал Шереметев принадлежали к партии *Русской*».

Смерть постигла Пушкина на высоте его творчества, в полноте его сил. Жизнь его не кончилась: она была прервана, как прерывается музыка, когда порвется струна. Возблагодарим Бога за то, что было нам дано в нем и не будем роптать на его преждевременный конец, не будем напрягать мечту гаданием, что мог бы еще создать его гений. Нам есть чем довольствоваться и не выходя из пределов данного. Судьба нашего поэта преобразовательно сказалась и в самом характере его творчества. Многие из его превосходнейших произведений имеют вид как бы прерванного развития, хотя каждое представляет собою цельный момент. В этой характеристической черте выразилась, быть может, особенность пушкинского гения. Он не выводит одно из другого, он изображает во всей художественной правде отдельный момент, не переходя из него в другой. Даже обширнейшие и наиболее цельные произведения Пушкина представляют собой ряд отдельных моментов, следующих не столько один из другого, сколько один за другим. Но зато какая цельность и dokonченность изображения в самых на вид отрывочных произведениях!

Пушкин пал в бою чести, жертвой светских интриг. Когда он пал, сраженный насмерть, еще страсть кипела в нем и рука искала противника. Но вскоре спокойствие водворилось в его душе. Два дня предсмертных страданий были его духовным торжеством. Рассказы очевидцев, заслуживающих полного доверия, как Жуковский, Даль и другие, свидетельствуют всеми

подробностями о нравственной высоте человека. Испытание смерти оправдало и объяснило его. Он умер истинным христианином, со всеми примиренный и всем простивший. Его последние минуты открыли для всех тайну того великого, что всеми в нем чувствовалось и за что его ныне чествуют.

Кольцов

НЕСКОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОВ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ КОЛЬЦОВА

Несколько слов считаю я не лишними в дополнение к этой характеристике Кольцова, писанной одним из даровитейших наших сотрудников. Я знал Кольцова близко, еще будучи студентом; он был откровенен со мною; я присутствовал при рождении многих его стихотворений. Сколько раз, бывало, заходил он ко мне озабоченный, пасмурный, в своем длинном синем сюртуке, и, вынимая из кармана лоскуток, исписанный каракульками, просил прочесть и сказать ему мнение. Сам он никогда не читал своих стихов. «Ну что скажете? Ведь не выходит, не вытанцовывается? Видно, уж бросить!» Иногда действительно вещь оказывалась слабой, растянутой, пустословной. Он прежде всех и сильнее всех сам это чувствовал. Но мотив продолжал звучать в его душе, возникший образ не оставал от него. Мало помалу мысль становилась яснее, слово выразительнее; в потоке слов вдруг что-то проглянет, то там, то тут проблеснут стихи, в которых уже затеплилось чувство, загорелась жизнь; после многих таких опытов наконец он добирался до своего.

Особенно памятно мне, в этом отношении, одно прекрасное стихотворение Кольцова, которое перешло многие пробы, прежде чем достигло своего настоящего вида. У меня долго хранились черновые опыты Кольцова, из которых постепенно выработалась эта пьеска; к сожалению, они случайно утрати-

лись. Это *Пора любви* (стран. III. изд. Солд. и Щепк.). Помню, какое электрическое действие произвела на друзей Кольцова эта пьеска, когда в ней вдруг оказались следующие стихи:

Стоит она, задумалась,
Дыханьем гор овеея;
Запала в грудь любовь – тоска,
Нейдет с души тяжелый вздох;
Грудь белая волнуется,
Что реченька глубокая –
Песку со дна не выкинет;
В лице – огонь, в глазах – туман...
Смеркает степь, горит заря...

Душа его отличалась удивительною чуткостью. При всей скудости своего образования, как многое понимал он! Самые утонченные чувствования, самые сложные сочетания душевных движений были доступны ему. Чувством души своей он постигал многое, чего не успел и не мог выразить. Биограф Кольцова имел полное право назвать его натуру гениальной. Жажда знания и мысли сильно томила его. Никогда не забуду я наших бесед с ним. Часы, бывало, летели, как минуты. Помню я ночь, которую я провел у него. Он остановился где-то в Зарядье, в каком-то мрачном и грязном подворье, где я лишь с большим трудом мог отыскать его. Зашел я к нему на минуту, вечером. Он не хотел отпустить меня без чаю. Слово за словом, и ночи как не бывало. Часто захаживал он ко мне и, засидевшись, оставался ночевать. Живо еще я помню нашу прогулку в окрестностях Москвы. Мы ходили с ним в Останкино. День был прекрасный. Души наши были настроены так живо, так радостно; сколько поэзии, сколько звуков было в этом кремне, в этом длиннополом, приземистом, сутоловатом прасоле!

Но он был точно кремень. Не позволял он себе нежничать и сентиментальничать. Только иногда в заветные минуты распахивалась его душа. А то он даже любил пощеголять своей

практичностью и, может быть, даже не без маленькой аффектации, рассказывал, бывало, о разных прасольских своих проделках, о своем искусстве надуть неопытного покупателя, продать дороже, купить дешевле.

– Скажите, Алексей Васильевич, – прервал его однажды кто-то посреди таких рассказов, – неужели бы вы и нас надули?

– И вас бы надул. Ей-Богу, надул бы. Последним готов поделиться с вами, а на торгу не дал бы спуску, не удержался бы. Лучше после отдал бы вам вдвое, а тут надул бы.

Кольцов действительно сохранял до гроба глубокую привязанность к Серебрянскому и всегда говорил о нем с сердечной симпатией. Только от самого Кольцова я и слышал об этом человеке; лично же не знал его. Болезненный, чахоточный, Серебрянский был человек с музыкальной душой и действительно первый возбудил в своем друге поэтические звуки. Николай Владимирович Станкевич узнал Кольцова на его родине, в Воронежской губернии, которая была вместе и родиной Станкевича. Сближение с этим необыкновенным человеком не могло не быть плодотворно для Кольцова, да и для кого не было бы оно плодотворно? К Станкевичу как нельзя более идет слово поэта: *Gemeine Naturen zahlen mit dera was sie haben, schone – mit dem was sie sind**. В этом человеке заключалось что-то необыкновенное, обаятельное, живо говорившее и тогда, когда он молчал. В нем была сила, приводившая в связь и согласие самые разнородные элементы. Мы надеемся со временем познакомить ближе наших читателей со Станкевичем, который хотя и не оставил по себе заметного следа в литературе, но прекрасный образ которого тем не менее принадлежит истории нашего образования. Станкевич издал первые стихотворения Кольцова: маленькая книжка, в которой уже так много заключалось истинных перлов поэзии.

В последний раз виделся я с Кольцовым года за полтора до его смерти, он провожал меня с некоторыми друзьями за-

* Дурные натуры платят тем, что у них есть, прекрасные – тем, что они есть сами (нем.)

границу. Лицо его крепко запечатлелось в моей памяти. Борьба с одолевавшими обстоятельствами уже изобразила на нем безвыходное уныние. Но я был далек от мысли, что так скоро, на чужой стороне, дойдет до меня весть об его смерти.

Мир поэтической мысли Кольцова был действительно не обширен; и главная заслуга его, конечно, состоит в воспроизведении этого мира, главная и достойнейшая часть его поэзии посвящена жизни простого народа. Но дух Кольцова не был крепко-накрепко прикован к той сфере, в которой он родился: напротив, благородством своей природы и немолчной работой мысли он был поставлен в независимое отношение к ней, и только благодаря этой независимости он и был так способен постигать и воспроизводить в живом слове мотивы своего быта. Несмотря на скудость своего образования, он достиг однако той нравственной и умственной самостоятельности, по мере которой только и возможна живая и плодотворная деятельность мысли. То общечеловеческое, что так сильно боролось и работало в нем, было виной той чудной власти, которую он имел над впечатлениями своей жизни, оно-то было виной истинной народности его поэзии. В его песнях истинное искусство встретилось впервые с простонародною русскою жизнью и так сильно, так творчески, так обаятельно дало почувствовать ее мыслящему человеку. Многие из дум Кольцова, в которых с таким напряжением борется его мысль, конечно, не имеют значительной внутренней ценности; но если сами по себе они не очень важны, то это еще не значит, чтобы они не были важны по отношению к личному развитию поэта. Он слаб в некоторых из этих дум именно потому, что поэтическая мысль его не приобрела еще значительной свободы относительно вопросов, которые в них высказывались. Но зато с другой стороны они служат выражением весьма важного факта в жизни Кольцова, они свидетельствуют о том развитии его мысли, которое ставило его в независимое отношение к жизни, в то отдаление, которое необходимо для поэтического постижения сущности ее явлений; потому что в мире нравственном, также как и в физическом, требуется из-

вестная степень близости и известная степень отдаления для того, чтобы наш взор имел власть над предметом.

Тургенев

РОМАН ТУРГЕНЕВА И ЕГО КРИТИКИ

I

Публика уже имела время оценить литературное достоинство нового романа г. Тургенева. Действительно, все в этом произведении свидетельствует о созревшей силе этого первоклассного таланта: ясность идей, мастерство в обрисовке типов, простота в замысле и ходе действия, воздержанность и ровность в исполнении, драматизм, возникающий естественно из самых обыкновенных положений, ничего лишнего, ничего задерживающего, ничего постороннего. Но сверх этих общих достоинств роман г. Тургенева имеет еще тот интерес, что в нем уловлен текущий момент, схвачено убегающее явление, типически изображена и запечатлена на веки мимолетная фаза нашей жизни. Вот задача художника, который хочет непосредственно действовать на свое время; вот в чем истинный смысл того требования, чтобы художник оставался сыном своего времени, гражданином своей страны. Искусство может действовать только теми средствами, которые ему свойственны; насиловать его природу, делать его органом каких-нибудь преднамеренных тенденций значит уничтожить его силу и значение. Произведение искусства не может быть ни поучением, ни проповедью; его сила чисто теоретического свойства; оно должно быть созерцанием жизни в ее правде и сущности. Только в саду такого созерцания произведение искусства может быть плодотворно и в практическом отношении. В истинном произведении искусства ничто не должно возмущать чистоты созерцания, которое ровным светом простирается на все,

представляя каждую вещь в ее существенных очертаниях, в ее внутренних отношениях. Всякая случайная примесь не только повредит внутреннему достоинству художественного произведения, но и уменьшит его значение для жизни, отнимет у него силу действия, или сообщит ему совсем другое значение и, пожалуй, заставит его действовать в обратном смысле.

Наша умственная жизнь не отличается ни многочисленностью своих органов, ни богатством, ни внутренней последовательностью в своем развитии. Она зависит от разнородных влияний, действующих на нее со стороны. Эта скудная струйка нашего умственного и общественного быта протекает перед лицом великих и могущественных цивилизаций, от которых она зависит, которые непрерывно на нее действуют и производят в ней пертурбации. Оттого-то наше развитие, по видимому, идет так быстро; оттого-то оно так часто переходит из одной фазы в другую, так легко изменяется в своем направлении и цвете. Что ни день, то новое колено, новая эпоха, новые герои. В нашей литературе проходит последовательно целый ряд типов, соответствующих этим фазам. Это герои своего времени. Сам г. Тургенев изобразил уже несколько подобных типов. В прежних типах он изображал более или менее прожитые фазы; но в последнем романе он поймал героя прямо на деле. Вот почему новый роман г. Тургенева при своем общем художественном значении имеет еще значение непосредственно действующей силы. То, что действует теперь вокруг нас, что пробегает в умах и настраивает их известным образом, приведено здесь к сознанию, представлено на вид, из деятеля превращено в простой предмет, из центра отброшено к периферии. Для подобной задачи необходимо обладать высокой творческой силой; необходима также зрелая и чуткая мысль, точка зрения, до которой не всякий может возвыситься, глубокая и обширная наблюдательность, большая власть над собою. Только благодаря соединению этих условий могли мы получить эти исполненные жизни очерки, которые представляет нам последний роман г. Тургенева. Сфера этого романа, конечно, очень ограничена; она соответствует тому кругу, в

котором вращается наше малокровное образование. Это сфера так называемых у нас образованных людей, кончивших курс в университетах и других учебных заведениях, кое-что читавших и группирующихся вокруг литературы. Всего этого очень не много, все это очень скудно, все это не имеет внутренней силы. Дурные или хорошие мнения, ложные или истинные учения равно лишены глубокого корня и в отцах, и в детях. Все эти мнения, все эти толки и прения – дело большей частью наносное или продукт тепличного воздуха. Это общая черта всего, что называется у нас образованным, к какому бы оно не принадлежало поколению, молодому или старому. Хороши или дурны люди, даровиты они или бездарны по своей природе, вы чувствуете, что главная доля их умственного содержания не выработана жизнью, а случайно занесена со стороны и является или аффектацией и бесплодной вычурой, или сухим бытием. Сила здесь вовсе не сила, а только относительное бессилие окружающего. Таков тот маленький мир, к которому относится последнее произведение нашего писателя-художника.

Вслед за появлением этого романа раздалась голоса, которые, отдавая справедливость его достоинствам, сетовали на то, что молодое поколение представлено в нем с невыгодной стороны. Не отрицая правдивости изображения выведенных лиц, находили, что эти лица не могут служить типичными представителями обоих поколений, особенно младшего. Неужели, восклицали эти критики, все наши молодые люди таковы, как Аркадий и Базаров? Неужели это свежее, молодое поколение, в котором заключаются все наши надежды, все наше будущее, таково, как эти два типа? Но это безотрадно, это ужасно, это невозможно! Однако что же особенно безотрадного и ужасного в изображении молодого поколения у г. Тургенева? Мы оставим пока Базарова в стороне. Базаров герой; он существо более или менее исключительное; он воплощает в себе тот дух, который более или менее примешивается к мнениям, чувствам, действиям людей, но не господствует в них исключительно и даже большей частью вовсе не живет в них, а только говорит их устами. Каков бы ни был этот дух, он не портит их в осно-

вании, но и не действует в них, как живая сила, он занимает только пустое место; он внедряется там, где ничего нет. Итак, каков бы ни был герой, которого мы оставляем пока в стороне, большинство не представляет ничего безотрадного, хотя, правду сказать, и ничего особенно утешительного. Не понимаем, почему этот тип молодежи, изображенный г. Тургеневыми в лице Аркадия, представляет наше молодое поколение будто бы в невыгодном свете. Напротив; мы думаем, что он представляет собой очень хороший, очень привлекательный тип. Презрительные отзывы об этом молодом человеке понятны в самих же Аркадиях, в людях очень молодых, которые, разумеется, хотят казаться героями, как ребенок хочет казаться большим. Очень понятно, почему, например, критик журнала *Русское слово* отзывался с презрением о молодом Кирсанове и иначе не называет его как птенцом: по всем признакам, критик сам еще весьма юный человек, сам такой же Аркадий, которому можно пожелать только того, чтоб он сохранил многие добрые свойства своего прототипа. В самом деле, что дурного в этом Аркадии? Он не *хищный*, – но это слава Богу; в этом его достоинство. Хороша была бы молодежь, если б большинство ее состояло из *хищных*. Художественная правдивость, с которой изображена эта фигура в романе Тургенева, выше всяких похвал. Все в ней поражает удивительной жизненной верностью, и если не всякий юноша захочет узнать себя в Аркадии, то всякий переживший годы юности, смотря на него, припомнит их с умилением и улыбкой. Как он мил в своем нигилизме! Таков же был он и тогда, когда сыпал термины из немецкой философии и погружался в мировую субстанцию. Он тот же самый и в трансцендентальном идеализме, и в этом добродушном превознесении силы отрицания и разрушения, которая все ломит только потому, что она сила. Вчера он был утопистом, нынче он материалист; сегодня он разрушает и уничтожает, а завтра будет строить фаланстерии, пересоздавать землю и самую солнечную систему. Легкость, с какой играет воображение юноши, ловкость, с какой он судит о вещах, легкость, с какой юный ум переходит от одного к другому и соединяет не-

соединимое, все это дело самое естественное. Это физический признак молодости. Зрелость приходит с годами; опыт и наука воспитывают ум и дают ему веское содержание.

Аркадий бесподобен в своих нигилистических выходках; он также бесподобен в наивном сознании своего умственного превосходства над понятиями отца и дяди. Как добродушно сожалеет он об их отсталости. Как он очарователен со своим Бюхнером, которого подсовывает отцу вместо Пушкина, надеясь просветить его и возвысить! Как быстро решает он все вопросы, как легко справляется он со всем, как нипочем ему сломить и уничтожить что угодно из чистого нигилизма! Вы чувствуете, как под этим живым колоритом места и времени Аркадий остается тем же самым, каким знавали вы его в других местах и в другое время. Эти споры в романе Тургенева, в которых каждое слово запечатлено удивительной художественной правдой, не напоминают ли вам других споров, в другие времена? «Прежде, – говорит Павел Петрович Кирсанов, – были гегелисты, а теперь нигилисты». Это правда, но гегелистов было далеко не так много, как теперь нигилистов. В течение времени учащаяся молодежь значительно умножалась. Лет двадцать или пятнадцать тому назад круг людей, рассуждавших и споривших о материях важных, был гораздо теснее и малочисленнее, чем теперь: уже по одному этому он не был так заметен и не мог так шумно заявлять себя. Но в былое время подобные споры были не менее добродушны и наивны. «Помилуйте, – восклицал бывало пожилой человек с простым здравым смыслом, слыша торжественное доказательство совершенного единства между бытием и небытием, – помилуйте, неужели все равно, что быть, что не быть?» – «Все равно, – отвечал решительно юный мыслитель. – Все равно сказать ли, что этот стол существует или что его нет?» – «Совершенно все равно». – «Все равно, существую я или нет, говорю я теперь с вами или нет?» – «Совершенно все равно», – был опять неумолимый ответ. – «Боже мой! я теряюсь», – восклицал в отчаянии почтенный пожилой человек прежнего времени, отвертываясь от беспощадно-

го философа и обращаясь к другому столь же решительному. «Что же делать, – говорил этот, с добросердечными сожалением пожимая плечами, – что же делать, так выходит».

Но оставьте в стороне мнения, которые повторяет молодой Аркадий, не затрудняясь никаким преувеличением, не стесняясь никакой бессмыслицей. Оставьте эти мнения: они ничем не держатся, они исчезнут как утренний туман, и молодой человек при первых серьезных шагах в школе и в жизни легко освободится от них. Посмотрите на этого молодого человека в других отношениях; вы не найдете в нем ничего неисправимодурного, напротив, вы найдете в нем очень много хорошего. Он податлив на все доброе; в нем много прекрасных зачатков. А выйдет ли он хорош или дурен впоследствии, – это будет зависеть от обстоятельств, от общественной среды, в которой суждено ему жить, от условий, которые откроются для его деятельности. За такую молодежь, каков Аркадий, еще нельзя отчаиваться. Можно пожалеть только об одном, и пожалеть горько, что она плохо учится; что все эти кандидаты, кончающие курсы, так мало выносят из него положительного знания и зрелых понятий. Но можно ли ставить Аркадиям в вину верхоглядность и пустоту их образования? Они приняли то, что им дано: виноваты ли они, что их плохо учили в гимназии и ничему не учили в университете, и что вся их наука ограничивается большею частью несколькими затверженными терминами, несколькими усвоенными фразами, что в их сведениях нет ничего точного и твердого, в их мыслях ничего серьезного, что она не имели случая изведать собственным опытом, что значит образовать понятие или составить суждение?

Аркадий натура не *хищная*: это открыла ему умная девушка, с которой, к счастью для себя, он сблизился на первых порах своей жизни. Сначала его немножко покорило при этом открытии: простодушному молодому человеку было жаль расставаться с этим качеством, которое казалось ему признаком силы и героизма; но он скоро понял свою молодую глупость и, конечно, сам по себе смеялся над ней. Он не *хищный* ни по натуре, ни по воспитанию. Мнения, которыми он щего-

ляет, не проникают у него глубоко внутрь, точно так же как и не вырастают изнутри; это легкая игра представлений, еще не имеющих для молодого мягкого ума никакого определенного значения. Но все практические его инстинкты хороши, все непосредственные движения его сердца не испорчены и чисты. Они остались нетронуты и свидетельствуют о свежих непочатых силах, о добром задатке на будущее. Они свидетельствуют о любви, которая окружала колыбель нашего юноши, о мягкой семейной атмосфере, в которой протекло его детство. Правда, в его умственной организации не заметно твердых элементов; но им неоткуда было взяться. Чего нет, того нет; зато в нем много доброты и простосердечия; он способен к великодушным порывам, и остается пожелать, чтобы дальнейшая жизнь дала ему то, чего не могло дать воспитание. Можно ли ставить ему в укор это наивное самомнение, этот тон превосходства, с которым он относится к своему отцу? Впрочем, многие критики легко простят ему мнение о своем умственном превосходстве. Может быть, они найдут не только очень естественными, а даже еще очень трогательными его заботы подвинуть образование своего родителя и просветить его книжкой Бюхнера. Гораздо серьезнее упрек в чувстве нравственного превосходства, которое оказывается у него в отношении к отцу, – в этом тоне великодушного покровительства к отцовским слабостям, которое с таким мастерством изображено г. Тургеневым. В самом деле, жалко видеть, как конфузится бедный Николай Петрович перед своим сыном. Но кто же виноват в этом? Зачем он конфузится, или лучше, зачем он имеет основательный повод краснеть перед своим молоденьким сыном? Покровительство Аркадия, впрочем, несколько не наглое, но столько же наивное и простосердечное, как и его учительство, не есть в нем что-нибудь самостоятельное, образовавшееся в нем из собственных элементов; напротив, и то и другое есть прямое выражение действительной слабости его отца. В Аркадии нет и тени желания унижить своего отца или дать ему почувствовать его слабость; напротив, он добродушно старается поднять его, подкрепить, оправдать его по-своему. На Аркадия не по-

хож другой молодой человек, преклоняющийся перед *базаровщиной*. «Ситниковы» носят на лбу своем признаки пошлости и ничтожества. Но и он удивительно верен, и его изображение исполнено жизненной правды. Ситниковы везде есть, и везде их довольно. Он и мадам Кукшина несколько не карикатуры и не портреты, но живые представители целого разряда явлений, которые вошли в свои типы как своими общими, везде одинаковыми чертами, так и со всеми особенностями времени и места, со всеми своими *couleurs locales**. Ситниковых встретите вы в корпусах и гимназиях, в университетах и в обществе; они перемешаны с Аркадиями. Госпож Кукшиных развелось тоже довольно и в столицах, и в губерниях. *Хищные* очень хорошо понимают их и умеют ими пользоваться.

Нет ничего смешнее и нелепее беспрерывно повторяющихся у нас толков о молодом поколении как о чем-то особом и отдельном, будто о каком-то сословии или партии. Только в нашей литературе, только в нашей жалкой общественной среде могут слышаться подобные нелепости. Молодежь имеет всем известные физиологические признаки, которые характеризуют ее и отличают от людей пожилых и старых. Но воображать себе и говорить серьезно, что молодые люди именно в качестве молодых людей представляют особую политическую или философскую систему, особенный кодекс правил и мнений, с которыми они явились на смену всего, чем жили люди, прежде родившиеся на свет, — это простительно только самым юным из Аркадиев и возможно только в нашем литературном мире. Неразвившиеся юноши действительно воображают, что им свойственно быть людьми передовыми и стоять во главе движения и что всякий достигший зрелого возраста есть уже *eo ipso*** человек отсталой. Аркадии думают это по наивности, а люди другого сорта, люди свойств более или менее *хищных*, конечно, так не думают, но находят нелишним вселять и поддерживать такую мысль в молодом люде корпусов и гимназий.

* *Здесь*: собственными оттенками (*фр.*)

** Тем самым (*лат.*)

Как-то недавно один из наших литераторов, стяжавший себе лестную известность, г. Чернышевский, сетовал на то, что молодость его в силу неизбежного закона должна пройти и проходит, а с тем вместе, следуя тому же неизбежному закону, он из передового человека должен превратиться в отсталого; с умилением говорил он об этой ожидающей его участи и указывал на другого, более юного мыслителя, г. Антоновича, позднее появившегося на литературной сцене в том же журнале: по свидетельству г. Чернышевского, этот новый мыслитель еще не достиг полной физиологической зрелости, а потому самому и должен иметь большие, чем он, г. Чернышевский, права на звание прогрессиста и передового человека. Следуя этой теории, г. Писарев, другой мыслитель, как кажется, еще более юный, должен иметь большие права на этот титул. У студентов, еще не окончивших курса, права на этот титул должны быть еще выше; молодые люди, сидящие на скамьях в гимназии, должны быть еще *передовые*, – и таким образом, не форсируя шага, мало помалу дойдем мы до *сосущего* младенца, самого передового из всех передовых людей. Мы считаем себя не вправе решать, из какого источника выработалась эта теория передовых людей у почтенного г. Чернышевского, – из наивности и простосердечия или из *фальшивости*, которая по его собственному немного циничному сознанию* будто бы особенно свойственна его характеру.

Кому неизвестно, что человек рождается наг и пуст, без всяких понятий, без всяких систем, – что ребенок есть самое отсталое из всех существ, что все значение развития и образования состоит в том, чтобы привести его в уровень с тем временем, среди которого суждено ему жить, – что только люди вполне зрелые, вполне владеющие средствами и силами своей эпохи могут двигать вперед ее дело? Но милые малютки, которые пишут в наших журналах, этого не знают. Они, должно быть, в самом деле думают, что все эти непереваренные ими доктрины вынесены ими из утроб матери. Этот добродушный г. Писарев, который с заносчивостью Аркадия (дай Бог только

* Совр. № 11 «В изъявление признательности». Стр. 394.

чтоб Аркадия, а не Ситникова) толкует о новых понятиях и взглядах, составляющих неотъемлемую принадлежность его сверстников, – должно быть, в самом деле воображает, что *великие мыслители*, которым он поклоняется, которых цитирует, гг. Карл Фохт, Молешотт и Бюхнер, еще учатся в гимназии. Увы! Карл Фохт уже старичок, Молешотт также человек пожилой, равно как и этот пресловутый Бюхнер, которому по странному капризу рока суждено было стать великим авторитетом в учебных заведениях нашего любезного Отечества.

II

Произведение г. Тургенева находится в обстоятельствах совершенно исключительных. Взятое из текущей жизни, оно снова входит в нее и производит во все стороны сильное практическое действие, какое едва ли когда производило у нас литературное произведение. Рампа исчезла, актеры и зрители смешались. Роман как будто еще продолжается; произведенное там действие, явления, которые он вызвал – как будто новая глава в нем, как будто эпилог к нему.

Этот эпилог, разыгрывающийся в действительности, служит отличным комментарием романа: вот почему сказали мы, что он находится в исключительных условиях. Благодаря этим условиям чрезвычайно упрощается оценка и с совершенною точностью разрешается вопрос об истине типа, о верности его изображения. Впоследствии историк нашей литературы будет говорить об этом романе не иначе, как в связи с явлениями, вызванными им в той среде, из которой взято его содержание.

Верен ли тип, изображенный в Базарове? Есть ли истина в замысле этого типа? Точно ли в нем представлено нечто действительное? Или это каприз и выдумка? По-видимому, нет. Никакой возможности дать вполне доказательный ответ на этот вопрос. Мы можем думать так, другие могут думать иначе. Одно и то же впечатление будет действовать совершенно различно на разные умы. Под свежим впечатлением нового произведения искусства суждения по необходимости будут

отзываться теми понятиями, настроениями, предрассудками и пристрастиями, которые впечатление преднаходит в умах. Но в настоящем случае вопрос решается без всяких затруднений. Самой лучшей поверкой изображенного типа служит произведенное им действие. Посмотрим, как выразилось это действие и какие вызвало оно явления.

Надобно заметить, что для всякого начала, претендующего на господство, всего обиднее быть выведенным на сцену. Стать предметом наблюдения, показаться в определенном образе значит сойти с высоты и из господствующего начала превратиться в простой предмет. Известное дело, что человек не иначе освобождается от слепых увлечений, как путем сознания. Что удастся нам сознать, то теряет уже слепую власть над нами, то, напротив, само становится более или менее подвластно нам. Вот почему всякая слепая власть боится стать предметом сознания и не любит быть представленной. Вот почему люди, которые слепо покорствуют подобной силе, упираются руками и ногами, возмущаются и негодуют, когда вызывают ее на сцену. Особенно боятся они художественного изображения, которое берет ее не с общих сторон, а в ее специальности, во всех особенностях ее проявления, в ее индивидуальном воплощении. Общие понятия и рассуждения не покажут ее на самом деле; они представят ее в тех общих стихах, которые могут относиться к самым разнообразным явлениям. Как бы ни были точны наши понятия, от них всегда ускользнет живущее начало. Они только тогда могут настигнуть и накрыть его, когда оно уловлено в своем живом образе, усмотрено воочию, почувствовано в своем непосредственном действии. Вот почему слепая сила, владеющая умами, всего более боится стать предметом художественного изображения.

Она останется равнодушна к безличным изображениям, с каким бы то ни было оттенком, симпатическим или антипатическим, которые будут обозначены ее именем. Этого она не боится. Она боится только того, что ее действительно затронет, что заденет ее заживо. Общие толки, а также и какие-нибудь отдельные черты, какие-нибудь случайные проявления

не опасны; не опасна также карикатура: преувеличенное изображение какой-нибудь особенности только затемняет смысл целого и отвлекает от него внимание. Глупым, бездарным, нелепым попыткам бывает она очень рада; оставаясь в стороне, не тронутая ими, она над ними комфортабельно смеется.

Г. Антонович, критик *Современника*, не обратил бы никакого внимания или отозвался бы самым добродушным смехом на всякую неудачную попытку изобразить то, что не хотелось бы ему видеть изображенным; но он приходит в совершенное неистовство при чтении романа г. Тургенева. Точно будто вырвали что-то из его сердца, точно будто он чувствует себя пораженным в самую жизненную часть своего организма. Статья его об *Отцах и Детях* – не критика, а судорога, какая-то ужасная скороговорка, в которой все столпилось без всякого взаимного контроля, повинуюсь только чувству сильнейшего раздражения, не знающего, за что схватиться и что укусить. Он пересочиняет роман, навязывает автору разные тенденции, упрекает его за измену чистому искусству и в то же время истерически хохочет над этим чистым искусством, искажает цитаты, переиначивает действия, приписывает героям свойства и мнения совершенно противоположные тем, с которыми они являются у автора, всячески старается опошлить главного героя, довести его до одного уровня с каким-то романом г. Аскоченского, отдавая предпочтение последнему. В критике г. Антоновича есть все, даже сравнение с г. Аскоченским, который служит в нашей литературе последним термином всякого обидного сравнения. О, если бы под именем г. Тургенева явилось действительно что-нибудь в подобном роде, как ликовал бы тогда г. Антонович, каким благодушием отличалась бы тогда его критика, как спокойно и складно написал он ее тогда! Не было бы этих судорог, этого раздражения, этого отчаяния.

По толкованию г. Антоновича, Базаров есть какая-то жалкая карикатура на что-то небывалое. По его толкованию, это какой-то нелепый хвастунишка, фанфарон, обжора, пьянчужка, пустомеля. Мнения, которые он высказывает в спорах, глупы и нелепы. Сколько он глуп в своем образе мыслей,

столько же безобразен в своих поступках. Словом, ничего не может быть омерзительнее той фигуры, которую описывает г. Антонович под именем Базарова, героя тургеневского романа. Герой этот называет себя нигилистом; но г. Антонович ужасается при одном этом слове, ничего подобного не знает он в нашей литературе, и у него вянут уши, он краснеет от той дичи, которую горюдит этот нелепый нигилист. Г. Антонович божится, что в нашей литературе не было и помину о каком-нибудь отрицательном направлении. Всякое отрицание, поспешно учит теперь г. Антонович, сопровождается положением. Никто ничего не отрицал в смысле нигилизма. Г. Антонович возмущен неуважительными отзывами Базарова об искусстве, о Рафаэле, о науке и о многом другом. Г. Антонович торжественно утверждает, что ничего подобного никогда не было в нашей литературе. «Мы, – говорит он автору *Отцов и Детей*, – отрицаем ваше искусство, вашу поэзию, ваше *и* (под этим союзом критик понимает что-то многое); но не отрицаем и даже требуем другого искусства и поэзии, другого *и*, хоть такого *и*, какое представлял себе Гёте...» И вот мы узнаем неожиданно, что до сих пор было утаено от всех; перед нами раскрылось значение современной русской литературы, тайна ее стремлений и ее споров. Это старый немецкий вопрос, который до сих пор продолжает служить неистощимой темой разговоров на чайных вечерах в Германии; это преневиный вопрос о Гёте и Шиллере. Одни стоят за Гёте, этого монументального старца немецкой литературы; другие, должно быть, отцы, более сочувствуют меланхолическому, идеальному Шиллеру. Таким образом, Базаров с своими тенденциями и мнениями, со своим беспардонным отрицанием, со своим нигилизмом оказывается совершенной аномалией, полнейшим уродом, который ничего не представляет собой, которому ничто не соответствует ни в нашем обществе, ни в литературе. Критик оскорблен намерением автора изобразить в лице этого шута Базарова современное направление. Дело у нас шло о Гёте и Шиллере, а автор отыскал какой-то нигилизм. В этом капризе автора критик видит не просто каприз, но и клевету.

Не перебрать ли журнал, в котором пишет г. Антонович, не привести ли из него доказательства, что никто в этом журнале не выражал так толково и умно, как тургеневский Базаров, всего того, что эти господа старались развивать на все лады с примесью невежества, от которого сконфузился бы обруганный критиком Базаров, с примесью недобросовестности, которая заставила бы покраснеть его и отвернуться с презрением? Да, если б этот Базаров превратился в живого человека, если б он попал в среду этих господ, крепко взял бы в руки гг. Антоновича и Чернышевского; досталось бы им от него, и он научил бы их вести себя приличнее в литературе. Им нечего обижаться сходством с этой типической фигурой; им надобно еще дорасти до того, чтобы сходством этим похвастаться. Базаров, нет сомнения, не стал бы прибегать к таким уловкам, каких не постыдился г. Антонович в своей критике. Он, наверное, не написал бы такой критической статьи; он имел бы настолько вкуса, что не сказал бы: «Г. Асоченский предвосхитил роман г. Тургенева». Наконец, он не стал бы юлить, бросаться в двусмыслия, отпираться от самого себя. Он не стал бы, подобно г. Антоновичу, прикрывать свои мнения несвойственными им словами и не стал бы под свои слова подлагать несвойственный им смысл. Один маленький мальчик, воспитанный в набожном семействе, боялся произносить всуе имя Бога, и когда нужно было побожиться чтоб обмануть маменьку, он прибегал к хитрой уловке и вместо: «ей Богу», скороговоркой произносил: «ей-бо-лгу»: этого никак не сделал бы тургеневский Базаров...

Однако все-таки многим приятно будет встретить в человеке нового поколения, в молодом прогрессисте суровое пуританское благочестие. Послушайте, каким одушевленным и строгим тоном говорит г. Антонович о «священной минуте смерти». «Священная минута смерти»: как торжественно звучат эти слова! Для некоторого смягчения г. Антонович прибавляет: «так называемая священная минута смерти». «Так называемая» несколько смягчает эффект; эта прибавка рассчитана на строптивый слух юных и старых вольнодумцев, которые, пожалуй, пришли бы в соблазн от «священной минуты смер-

ти». Но смягчение смягчением, а благочестивый смысл остается и делает честь молодому прогрессисту и журналу, в котором он пишет. Однако Базаров ни в каком случае не решился бы прибегнуть к подобному славословию, не употребил бы его в качестве аргумента или для произведения какого-нибудь эффекта. Базаров, со своей точки зрения, не видит ничего священного в простом физиологическом процессе; но он еще настолько честен, что не стал бы прятаться за Гёте и не стал бы бросать пыль в глаза «так называемыми священными минутами». Любопытно было бы послушать, как осадил бы он г. Антоновича за все эти «абракадабры».

Но не все же Базаровы, и мы можем уважить искренность верования, в какой бы суровой форме она ни выражалась. Искреннее убеждение – такая редкость в мире, что молодому прогрессисту можно простить чрезмерную ревность благочестия. А ревность действительно чрезмерная: представьте себе, г. Антонович не может без негодования подумать, что человек в «так называемую священную минуту смерти» помышляет о своих земных привязанностях. Базаров, как известно нашим читателям, пожелал перед смертью видеть женщину, которую он любил, и был утешен ее прощальным поцелуем. Как же вы думаете? Критик приходит от этого в ужас; он с омерзением говорит об этой сцене и осыпает автора язвительными укорами за такую «гадость»... Молодой человек, чувствуя приближение смерти, не смеет и думать о том, что при жизни волновало его сердце, что он любил с увлечением и страстно. Проститься перед смертью с предметом этой любви грешно и безнравственно. Читатель помнит эту сцену: кажется, в ней нет ничего безнравственного и богопротивного? Однако этот ригорист находит ее такой.

Надобно думать, что появление тургеневского романа произвело какую-нибудь глубокую кутерьму в почтенном журнале, где пишет г. Антонович. В его критической статье слышатся отзывы этой подземной катастрофы. У г. Антоновича замелькали новые необыкновенные выражения. Не решаем, ловко ли, кстати ли употребляет он их, но он говорит и о все-

примиряющей любви, и о любви возвышенной, и о бесконечной жизни. Он укоряет автора за то, что тот не проникся глубоким смыслом этих слов, – за то, что он недостаточно питает эти возвышенные чувства и не вполне руководствуется ими в отправлении поэтического правосудия. Ему кажется, что автор до конца не прощает своему герою. Он скорбит о таком ожесточении и с горькой иронией говорит о заключительной сцене романа. В этой сцене видит он лицемерие; он обливает ядом насмешки и цветочки, и елки, «нарочито посаженные», и стариков, которые приходят *плакать* на могилу. Г. Антоновичу неприятно, зачем автор не появился самолично перед одром умирающего и не напутствовал его переход в бесконечную жизнь изливаниями всепрощающей любви.

Мы убеждаемся, что г. Антонович не искренен в своих дурных отзывах о Базарове. Г. Антонович и ругает Базарова самым непозволительным образом, и в то же время желает наделить его всевозможными благами; он вместе и терпеть его не может, и хочет, чтобы все ему удавалось. Ему обидно, зачем все другие имеют хоть что-нибудь и хоть что-нибудь да значат. Кто что ни скажи, кто что ни сделай, за все попрекает он автора. Всякую малость, всякую дрянь, – все бы взял он и отдал Базарову. Вот посмотрите: он презрительно топчет в грязь братьев Кирсановых, «отцов»: у одного песенка спета, другой пустейший фат. Но как только подумает он о Базарове, ему вдруг станет завидно им, и они выходят отличнейшими людьми, непобедимыми мыслителями, удивительными сельскими хозяевами, и умными, и сильными, и добродетельными во всех отношениях, и критик принимается язвить автора, зачем Базаров не в английском *сьюте* щеголяет, зачем он природой не любуется, тихим мечтаниям не предается, беспричинных слез не проливает; наконец, зачем он однажды обремизился в картах. Он почти ничего не говорит о дуэли, в которой Базаров вел себя таким молодцом. Но он никак не может забыть, что Базаров был побежден в картах отцом Алексеем. Поверят ли читатели, что критик посвящает несколько самых язвительных строк этому грустному обстоятельству. Какие завидующие глаза!

Не правду ли мы сказали, что критика г. Антоновича не критика, а болезненные конвульсии? Что значит эта жадная зависть ко всему, это желание совместить все в одном лице? Ему хотелось бы, чтобы в Базарове сидел и Николай Петрович, и Павел Петрович, и старушка мать его, и отец Алексей. Ему хочется, чтобы он и лягушек резал, и стихами наслаждался, и с дамами держал себя элегантно, и в ералаше играл лучше всех, и с мужиками умел говорить как мужик, чтобы он был и материалист и романтик, и чтобы он был силен как лев, и чист как голубица, и с пошлыми людьми не знался, и ни в какие грязи не пачкался, чтобы он был соединением всевозможнейших качеств, чтобы он был все, чтобы он был ничто. Дело в том, что критика гнетет определенность этого образа. Он хотел бы замазать это яркое изображение, улетучить эту живую фигуру. Он хотел бы уничтожить ее. Увы! Все эти усилия напрасны...

В то время как г. Антонович писал свою критику, тем же делом занимался и другой совершенно единомышленный ему писатель. В *Современной летописи** были представлены мнения этих обоих мыслителей в форме оживленного диспута. Они расходятся по всем пунктам в отзывах своих об *Отцах и Детях*, и особенно о Базарове: что кажется одному дурным, то самое кажется другому бесподобным. Г. Писарев восторженно благодарит автора за художественное изображение Базарова, в котором он видит истинный тип лучших и сильных умов нового поколения. Он совершенно доволен Базаровым. Он с горячим участием следит за ним во всех его похождениях, рукоплещет ему в его диспутах, радуется его победам, живо принимает к сердцу его невзгоды и с умилением присутствует при его смерти, в которой видит образец возвышенного героизма. От полноты сердца благодарит он художника за то, что тот не увлекся никакими тенденциями и представил тип лучших умов нашего времени с полной правдивостью. Предполагая, что г. Тургенев в сердце своем не сочувствует Базарову, критик искренне сожалеет о нем, сожалеет, что г. Тургенев по своим летам и мягкосердечию не может испытать всей сладости про-

* № 18. «Диковинки русской журналистики».

цесса базаровской мысли и пожить его жизнью. Но он отдает художественному творчеству г. Тургенева тем большую справедливость, что, по устарелости своих понятий, он не может принадлежать к той среде, где господствует дух нигилизма. Правда, манеры у Базарова не отличаются особенным изяществом; при большем сочувствии автор мог бы тот же самый дух вселить в более элегантного джентльмена; но критик тотчас же спешит оправдать автора и объясняет это обстоятельство удовлетворительным образом: Базаров пробивал себе дорогу собственными усилиями и тяжким трудом, – немудрено, что у него замозолились руки, огрубели манеры и очерствел нрав; зато он совершеннейший джентльмен по душе и по уму, и г. Писарев доказывает это изложением целого романа и проходит тот же путь, какой совершил г. Антонович.

Особенно кончина героя очаровывает г. Писарева. Он пишет о ней с гордым блеском во взоре; он кичится этой смертью за себя и за все новое поколение; он видит в этой смерти истинную апофеозу героя нашего времени; он не находит слов для изъявления благодарности автору за эту сцену смерти. Какая противоположность с воззрением г. Антоновича! Кто же прав?

Г. Антонович с негодованием говорит об отношениях Базарова к родителям. Нежная душа этого критика с особенной любовью останавливается на старушке, матери Базарова. Из всего романа ему понравилось только одно это лицо. Новое доказательство добродетельных свойств этого прогрессиста: старушка эта и суеверна, и эмбриологии не знает, и операции литотомии не видала, ничего в ней нет прогрессивного, все в ней застой и самый консерватизм, и однако ж г. Антонович полюбил ее, отличил от всех и говорит о ней с чувством. Но тем пуще негодует он на Базарова, который обходится с ней непочтительно и сурово. Г. Писарев, напротив, удивляется снисходительности и долготерпению Базарова в отношении к старичкам-родителям. Он бесконечно выше их. Что ему с ними делать, о чем с ними говорить? Не садиться же ему на пол, для того чтобы с ними сравняться? – так выразительно оправдывает героя его юный поклонник.

Этот юный поклонник, как замечено выше, рукоплещет мнениям героя, в котором видит яркое и сильное выражение начал нигилизма. Он с удовольствием и признательностью принимает титул нигилиста. Он приветствует героя именно в этом качестве. Только раз он не совсем согласился с мнением Базарова; только однажды показалось ему, что герой немного «заврался». Г. Писарев – любитель приятных ощущений, а потому и любитель красоты природы и искусства. Его шокировала холодность Базарова к искусству; его немножко встревожило суровое слово героя о том, что природа не храм какой-нибудь, а мастерская, в которой надобно работать. Г. Писарев отваживается на легкий диспут с героем и заявляет необходимость приятных ощущений для человека. Он осмеливается поставить герою на вид его непоследовательность в этом пункте и против его авторитета вдруг выводит тройственную силу Карла Фохта, Молешотта и Бюхнера. Г. Писарев напоминает Базарову, что этот великий триумвират разрешил употребление чарки водки чернорабочему и наркотические наслаждения людям достаточных классов: значит, разрешено и искусство. В этом единственное разногласие между героем и его поклонником; во всем прочем г. Писарев остается ему верен.

Теперь спрашивается, каким же образом критик *Современника* отрицает существование нигилизма? Каким образом не признает он никакой связи между Базаровым и действительностью и отнимает у него право быть героем нашего времени? Допустим, что он искренно так думает; но вот г. Писарев показывает ему своей особой, что он ошибся.

О вкусах, как известно, спорить не следует; в эстетической оценке самые единомышленные люди могут расходиться. Но тут дело не в эстетической оценке; мы сближаем этих двух критиков не с тем, чтобы из этого сближения делать какой-нибудь вывод относительно художественных достоинств произведения. Пусть во мнении одного оно стоит высоко; пусть во мнении другого оно ниже романа г. Аскоченского: это все равно, об этом толковать нечего. Но нас интересуют не мнения этих критиков, а их личные отношения к роману, который буд-

то бы они разбирают, но который накрыл их самих и произвел самое разлагающее действие на их умственную организацию.

Читая статью своего собрата, г. Антонович должен согласиться, что Базаров не выдумка, что есть люди, которые благодарят автора за создание этого типа и с восторгом узнают в нем себя. А г. Антонович честит этот тип самыми позорными именами, и пьянчужкой, и обжорой, и хвастунишкой, и картежником, и асмодеем г. Асоченского! Вот что значит страсть! В самом деле, каково было г. Писареву слышать, как этого героя, в котором он видит олицетворение самых передовых идей и лучших сил молодого поколения, называют пьянчугой, хвастунишкой и наконец асмодеем г. Асоченского? Если г. Антонович претендует на автора *Отцов и Детей*, то как же должен претендовать г. Писарев на своего собрата?

Странное дело! Оба эти философа и по молодости лет, и по характеру своих воззрений равно причисляют себя к передовым людям, у обоих один и тот же символ веры, и однако, какое радикальное разногласие по отношению к типу, в котором один узнает идеал современного поколения, другой – его карикатуру и поругание!

Вот очевидное доказательство, что художник попал метко. В его произведении узнало себя то, что он изобразил в нем, узнало себя не только не в искаженном, но даже в самом лестном виде, и в то же время почувствовало себя уязвленным. В одном человеке было бы невозможно совмещение этих двух результатов. И вот произошло разложение. Из одного и того же места послышались два голоса, противоречащие друг другу во всех пунктах, но принужденные слиться в один общий результат. Выходя из одного начала и описав две интересные кривые линии, они пришли к одному концу. Один заявил, что художник не выдумал своего типа, а извлек его из действительности; другой засвидетельствовал, что художник действительно извлек его.

Болезненные вопли критика *Современника* и восторженные ликования критика *Русского слова* сливаются в один звук и равномерно свидетельствуют о силе художника и об успехе его произведения.

Но мы сказали не все. Натуралистам известно, как тщательны и осторожны должны быть опыты и наблюдения, для того чтобы послужить к отчетливому и правильному наведению. Употребим другой прием, посмотрим еще и мы увидим, что оба критика, недовольный и довольный, не только противоречат между собой, но и совершенно согласны. Противоречие есть и противоречия нет. Во взглядах обоих философов, плачущего и смеющегося, совершенное согласие; но в их чувствованиях, в патетических движениях души совершенная противоположность. Одно и то же почувствовали они противоположным образом. Один узнал грядущего героя с веселым ликованием; другой тоже узнал его, но со скрежетом зубов. Один спокоен и счастлив; другой волнуется, и терзается, и сыплет проклятия.

Вы думаете, что протестующей критик в самом деле не сочувствует мыслям и поступкам героя Базарова? Ничуть не бывало; это только взбудораженная страсть в нем заметалась. Он не только отдает ему полную справедливость, подобно своему собрату, довольному критику, но и идет гораздо далее. Противоположность и борьба оказываются не между двумя лицами, но в самом лице протестующего критика. Посмотрите, он протестует против героя за неласковое обращение с родителями; он готов отдать Базарова под уголовный суд за эту неласковость в тоне. Мы видели, как удовлетворительно г. Писарев объяснил отношение Базарова к родителям: не сесть же ему в самом деле на пол, для того чтобы с ними сравняться? Но протестующий критик не довольствуется этим. Он потом не просто оправдывает Базарова, но возводит его в апофеозу. Совершив над ним экзекуцию за непочтительное обращение с родителями, он потом торжественным и мрачным тоном припоминает древних мудрецов, — кажется, это Эмпедокл, прибавляет он в скобках, — покидавших отца и мать, дабы слушать или проповедывать слово истины. Вот на какую высоту возводит он Базарова, которого за несколько минут перед тем в слепом бешенстве подвергал торговой казни.

Вы думаете, что он в самом деле спроста полюбил старушку мать Базарова? О нет! Он потому оказывает ей благоклонность, что она совершенно уничтожается перед своим сыном, перед великим учителем, пред «Эмпедоклом». Все прочие лица романа живут сами по себе и они ненавистны критику; а старички, родители Базарова, хотя и не способны понимать его, но преданы ему без памяти, до самозабвения, – и вот это-то и умиляет критика, это-то и подкупает в их пользу жреца капища, и он только им дает вкусить *от жертвенных*, их одних гладит по старой седой голове.

Вы думаете, что он в самом деле считает Базарова циником за то, что тот похвалил «богатое тело» М-ше Одинцовой и заставил ее отпрыгнуть в другой угол комнаты? Нисколько! Он объясняет, что иначе здоровый мужчина поступить и не может и не должен. Он со злорадством доказывает, что и романтик-отцы никогда не были равнодушны к «богатому телу», что все и всегда преусердно добивались от женщин «толку», и что без этого отцы не были бы отцами, и не рожались бы дети.

Вы думаете, что он в самом деле не признает мыслей, высказанных Базаровым? Нет, он в другой части своей статьи старается развить, оправдать и доказать их, но только делает это гораздо хуже, чем сам Базаров с его энергическим, кратким и толковым словом.

Базаров для протестующего критика имеет еще большее значение, чем для критика довольного; он еще глубже сочувствует герою. Но ему невыносима эта пьеска, энергически очерченная фигура; ему невыносимо, что на эту фигуру устремлены теперь тысячи глаз, что все могут рассматривать ее со всех сторон. Каждый решительный штрих в этой фигуре тревожит и волнует его душу. Еще никто ничего не сказал, а ему уже мерещатся обличительные физиономии, укорительные взоры. Автора нет, автора нигде не видно, но ему тяжело это беспощадно распростертое над всем созерцание художника. Он жметя и извивается, и пугливо взглядывает кверху, поднимает голову, ожидая удара, и злится, что не за что схватиться и некого укусить.

Увы! Храм растворен, святая святых осквернена, идол вынесен наружу! Как было жрецу остаться равнодушным, не растерзать риз, не посыпать главу пеплом! Как ему было не вознегодовать на осквернителя святыни?

Наконец, еще одно, последнее наблюдение: мы видели, что недовольный критик, волнуемый страстью, изменяет себе и признает своего бога в том, кого кощунственно обозвал самими позорными именами. Но что же мы встречаем у критика довольного? Г. Писарев, поклонившись Базарову и воскурив пред ним фимиам, с удивительной наивностью объявляет собравшимся мирянам, что божество это «холера». Добрый молодой человек сказал это с чувством собственного достоинства, охорашиваясь и рисуясь пред толпой...

Один признал в герое негодяя и скота, а потом тем же духом обоготворил его и пал во прахе перед ним. Другой, совершая перед этим божеством жертвоприношение, объявляет с самоуслаждением и довольством, что дух, которому он жертвует, есть не более не менее как сама Багавани...

И так мы видим, что противоречия нет и что природа на настоятельные вопросы наблюдателя дает ответы совершенно ясные.

III

Теперь спрашивается, что художник хотел изобразить в герое своего романа, или лучше сказать, что представляет собой эта типическая фигура и чему соответствует она в жизни? Мы видели, как сбивчиво выразилось впечатление, произведенное ею на ту среду, где она властвует деспотически; мы видели, какие противоречия совместились в этом впечатлении, сколько отозвалось в нем и боли, и радости, и самосознания, и самопрезрения. Интересно поближе всмотреться в этот образ и анализировать его сущность.

Кроме тех критиков, которых касались мы выше и в которых слышались лично заинтересованные голоса, мы слышали еще и другие голоса, более или менее свободные от лицепри-

ятного чувства. В одном из петербургских журналов (*Время* № IV) мы читали очень умную, хорошо написанную статью о романе г. Тургенева, в которой удачно и метко были сопоставлены и разобраны отзывы лично-заинтересованных критиков. Но, отдавая должную справедливость многим умным замечаниям автора этой статьи, мы не можем однако согласиться с ним в основной его мысли, именно во взгляде его на сущность типа, изображенного г. Тургеневым под именем Базарова. Взгляд этот не выдержит пробы, будем ли мы сравнивать его с самим романом или с той общественной средой, из которой взяты элементы изображения. По мнению критика, в этой фигуре выразился господствующий в наше время дух реализма, дух действующий и в жизни, и в науке. Критик раздвигает горизонт этого типа до всемирного значения и видит в нем какую-то всеобщую идею. Он видит в нем тот умственный аскетизм, который сурово отказывается от всего далекого, неясного, не дающегося непосредственно в руки, и направляет мысль и деятельность к достижимым целям. Но, придавая этому типу такое значение, критик далек от сочувствия ему; критик видит в нем силу одностороннюю, не удовлетворяющую всем требованиям человеческой жизни и подавляющую многие, лучшие из них.

Во всяком случае, такой взгляд уничтожает не только все индивидуальные, но и все типические особенности этого образа; он превращает его в отвлеченность, которая столько же может относиться к Базарову, сколько и к явлениям совершенно противоположным. Мы с умыслом останавливаемся на этом воззрении, потому что оно довольно распространено, хотя нигде так отчетливо и полно не высказано, как в упомянутой критике «Времени». Ухватившись за один наружный признак, критик оставляет без внимания другие, гораздо более существенные элементы этого образа, и из одной более мнимой, нежели действительной характеристической черты развивает его значение. Благодаря этой операции, мы должны приветствовать в лице этого типа дух нашего времени с придачей того гения мудрого самообладания, который олицетворился

в Сократе и составляет сущность всякого точного мышления и действительного знания. Но в таком случае мы решительно не понимаем, какое отношение может иметь этот тип к нашей жизни. Очевидно, критик оставил не тронутым существенное содержание своего собственного впечатления и унесся в сферу общих отвлечений, которые не имеют с ним ничего общего.

Если бы критик обратил внимание на бытовые стороны типа, то в нем не могло бы возникнуть и тени мысли о каком-то всеобщем духе реализма, и он легко нашел бы ключ к своему впечатлению. Он удивляется жизненности и верности изображения; действительно, тургеневский тип отличается в высокой степени этими качествами. Но как же критик не подумал, что при его толковании тип этот оказался бы самой неудачной выдумкой, и во всяком случае был бы чем-то совершенно исключительным, чем-то без всякой аналогии с окружающей средой? Дух реализма! Не было ли бы со стороны художника непростительной ошибкой создавать из элементов нашей умственной жизни тип того общего духа реализма, который господствует в современной мысли? Можно ли представить себе что-нибудь смешнее попытки изобразить героический тип русского реалиста или русского идеалиста из элементов нашего образованного общества. Тут не требуется доказательств; дело очевидно само собой. Может ли, например, кому-нибудь прийти в голову изображать из русской жизни тип исследователя, живущего интересом знания, посвящающего свои силы делу науки, сосредоточенного в вычислении элементов предполагаемой планеты, в эксперименте над солнечным спектром, в анализе сложной органической комбинации, в тонких исследованиях нервной системы? Возможен ли у нас тип молодого или немолодого человека, одержимого умственным голодом действительности в каком бы то ни было смысле, одностороннем или не одностороннем, дурном или хорошем, истинном или ошибочном? Какая странная, нелепая, непонятная вышла бы фигура! Какой ложью отозвалась бы в ней каждая черта и какой заслуженный смех возбудила бы она повсюду! Мы не хотим сказать, чтобы в нашей образованной среде не было умственных интересов;

но проявления их так малочисленны и слабы, так они незначительны, что всякая попытка воспроизвести их в типическом образе была бы нелепостью. Точно такую же странностью было бы представить себе тип русского купца, покоряющего Индию и создающего великую империю (хотя в давнюю, давнюю пору нечто подобное бывало у нас) или русского мореплавателя, пускающегося в арктические льды отыскивать в двадцатый раз останки сэра Джона Франклина. Было ли бы в подобных типах какое-нибудь соответствие с окружающей средой? Мог ли самый даровитый художник при всех благоприятных условиях создать в этом роде что-нибудь типическое, а не экземпляр совершенно исключительный?

Легко сетовать на наших художников за то, что они черпают из нашей жизни так мало положительных типов. Гораздо основательнее было бы спросить, представляет ли наша общественная жизнь элементы для таких типов. Гоголь вздумал было создавать положительные типы, и всем известно, какое он потерпел кораблекрушение. Критики, ставившие г. Тургеневу в упрек неудовлетворительность выведенных им типов молодого или старого поколения, не подумали, что если типы эти действительно неудовлетворительны, то виноват не автор, а жизнь, из которой он их взял. Он взял то, что есть, и всякая прибавка была бы искажением и ложью.

Не странно ли, что о произведении современном, взятом из текущей жизни, могут быть разнородные толки, недоумения и вопросы, как будто бы речь шла о каком-нибудь памятнике давно минувшей эпохи? Не странно ли, что современный, так резко со всех сторон очерченный тип, становится предметом комментариев, как будто бы речь шла о характере Гамлета или Макбета? Но чем индивидуальнее художественное изображение, тем труднее дается оно анализу. Тургеневский Базаров не просто тип, но и характер, лицо живое до мельчайшей подробности. Нигде в этом образе не обнажается сентенция, нигде не проглядывает в нем отвлеченное понятие; он с ног до головы живая фигура. Производимое им впечатление совершенно индивидуального свойства, точно такое, какое мы испытываем

при встрече с живым человеком, – безотчетное чувство симпатии или антипатии, которое то заговорит громко, то притихнет. Казалось бы, что сам автор мог бы всего легче разрешить загадку и дать ключ к созданному им характеру. Автор налицо, и, по-видимому, всего естественнее и проще можно было бы ожидать от него окончательного слова, которое решило бы дело без апелляции. Кому же как не автору знать сущность созданного им характера, понимать смысл изображенного им типа? Однако это не совсем так: автор в этом случае мало разнится от всякого другого наблюдателя. К тому, что вышло из его рук, он находится точно в таких же отношениях, как и все другие; он может иметь симпатическое или антипатическое чувство к живому лицу, которое возникло в его фантазиях, но ему придется совершить точно такой же труд анализа, как и всякому другому, для того, чтобы передать в суждении сущность своего чувства. В своем суждении он может ошибаться не менее всякого другого; и часто ему бывает еще труднее, чем другому произвести тот необходимый анализ, который должен дать элементы для ясного и точного суждения.

О бессознательном творчестве высказывались у нас прежде очень туманные мнения, которые вызвали справедливую реакцию. Без сомнения, невозможно допустить, чтобы такое дело, как художественное творчество, требующее полного развития умственных сил, происходящее в самом ясном элементе, в самом центре сознания, чтобы такое дело было в то же самое время чем-то бессознательным, похожим на бессловесный и темный процесс природы. Эти образы, эта тона, эти идеи, – что же все это, как не элементы сознания? Что же самый акт художественного творчества, как не приведение к усиленному, полному, ясному сознанию того, что происходит в жизни глухо, полусознательно, бессознательно, рассеянно, случайно? Но есть разные степени и разные виды сознания. И ощущение есть сознание, и понятие есть сознание, – но какая разница между этими двумя видами сознания! Точно так же есть разница между художественным образом и суждением, которое его анализирует. Без всякого сомнения, в работе ху-

дожника непременно участвует, с большей или меньшей силой, этот элемент суждения; без него не может обойтись никакое человеческое дело, но в работе художника оно играет второстепенную роль. Если б оно возобладали и стало управлять всем ходом дела, если бы художник начал поступать по указанию анализа, то мы получили бы аллегорию или иллюстрированный трактат, а не образ, не совершение; мы вовсе не имели бы той полноты живого впечатления, того многосложного содержания, которое требует анализа; не могла бы и возникнуть потребность нового труда мысли, желающей отдать себе отчет в своем содержании.

Сила, которая творит чудеса в гениальном художнике, вовсе не есть чей-нибудь исключительный удел. Это свойство общечеловеческое; оно принадлежит всем в большей или меньшей степени, и всякий может испытать в самом себе свойство и действие этой силы. Когда нам случится уловить в жизни какую-нибудь существенную черту и воспроизвести ее в воображении, то она сама по мере своей силы и значения начнет привлекать все элементы, сродные ей существенно или с которыми связала ее жизнь. Одно дополняется другим само собой, и чем менее будем мы вмешиваться в дело, тем вернее и полнее будет происходить сближение ищущих друг друга элементов. Посторонние вмешательства будут только ослаблять ход этого дела, уменьшать эту силу взаимного притяжения, расстраивать работу и вредить ее успеху. Нам остается только помогать этому процессу всеми зависящими от нас способами, – припоминать, соображать, повторять наблюдения, расширять круг данных, питать и усиливать те элементы, которые уже найдены нами, чтоб они с большей энергией обнаруживали свое действие, полнее и обширнее привлекать к себе все им сродное. В этом-то и состоит вся тайна художественных типов, – и художник только в особенной степени обладает условиями, благоприятствующими этому процессу, и сила этих условий растет и развивается от упражнения, как и при всякой другой деятельности. Верность, глубина и выразительность типов зависят от этой силы и ее развития. Истинные художники при

этом обладают даром фантазии, даром индивидуального созерцания, так что тип является у них не просто общей схемой, но живым лицом, которое само от себя действует и само за себя отвечает и в котором не все только тип, но есть и нечто совершенно индивидуальное.

Нельзя однако представлять себе это дело таким образом, чтоб оно могло быть изолировано от всяких более или менее случайных влияний или посторонних соображений. Истина созерцания нисколько не пострадает от той свободы, с которой художник выбирает свои точки зрения, руководствуясь общими соображениями, от того тона, который он решается дать своему произведению, и, наконец, от того мотива, который побуждает его соединить тип с таким или другим индивидуальным характером, поставить его в такие или другие обстоятельства.

В *Отцах и Детях* заметно желание автора дать главному типу возможно благоприятнейшие условия. Автор, видимо, как будто опасался показаться лицеприятным. Он как будто слишком усиливался быть беспристрастным, и эти усилия не остались без некоторых последствий. Нам кажется, что если б этих усилий не было, то его произведение еще более выиграло бы в своей объективности, между тем как принцип невмешательства был бы соблюден еще полнее. Впрочем, следы этих усилий незначительны; они только оказывают направление мысли автора, который не только не заслуживает упрека в несправедливости к герою, но, напротив, скорее может подвергнуться легкому упреку за излишнюю мнительность, за излишние усилия быть беспристрастным, потому что излишество во всем, даже в хорошем, бывает более вредно, чем полезно. Но эта излишняя мнительность лишь кое-где проглядывает и тотчас же исчезает, не производя большего вреда. Автор руководствовался другим, более существенным соображением. Он хотел, чтоб избранный им тип явился на свет в своих лучших одеждах, чтобы к производимому им впечатлению не примешивалось ничего невыгодного от каких-нибудь посторонних случайностей. Он хотел создать своего героя

из самых лучших материалов, какие только могли подойти к этому типу. Герой этот поставлен так, что данность его производит самое выгодное для него впечатление. Эта личность не бросается прямо в глаза какой-нибудь слабой стороной; на вид обращено только все выгодно действующее. Мы видим перед собой человека способного и крепкого, которого нельзя упрекнуть ни в какой пошлости. Даже то, что могло бы быть вменено ему в недостаток или в вину, внушает некоторый решпект. Ни в каком положении не кажется он смешным или жалким; изо всего выходит он с некоторым достоинством. Его мужество – *a toute йpreuve**, мужество не поддельное, но совершенно естественное. Он сохраняет полнейшее спокойствие под пулей, и автор, не довольствуясь впечатлением наружного вида, заставляет нас заглянуть в его душу, и мы видим действительно, что смерть, пронесшаяся над его головою, произвела на него не большее впечатление, чем прожужжавшая муха. Он постоянно удерживает власть над собой; его душевные настроения, намерения и мысли не запутываются в рефлексиях, не задерживаются, не расплываются, а переходят кратчайшим путем к делу. Слово его всегда толково и сжато; он высказывает только то, что хочет сказать, и хочет сказать только то, что ему пригодно. Короче сказать, нравится ли он кому или не нравится, хорош или дурень тот дух, который в нем выражается, он поставлен автором так, что производит впечатление сильной натуры. Автор везде дает ему центральное место; везде является он главным пунктом, а все прочее только группируется около него и выдает только резче и явственнее его фигуру. Все располагается так, чтобы он производил впечатление силы. Из лиц, близко подходящих к нему, только одно как будто стирает его, одно, перед которым он пасует: это – Одинцова. Другая женская фигура, также самостоятельная, которая могла бы умерять производимое им впечатление, молодая девушка, племянница Одинцовой, поставлена вдалеке и ни разу не приходит в соприкосновение с ним. Мы уже говорили о его молодом спутнике и поклоннике, – на-

* Решительное (фр.)

туре доброй и мягкой, как и его отец. А отец его – существо не дозревшее, не испытанное жизнью, бесхарактерное, неспособное к определенной деятельности, конфузливое, хотя доброе, кроткое, с неувядшей поэзией в душе. Оба они с братом люди умные и хорошие, и были бы людьми дельными, если бы жили в другой среде, при условиях более благоприятных для образования характера. Родись Павел Петрович английским сквайром, он был бы, может быть, славным мировым судьей и надежным органом политической партии; точно так же, как при другом, более серьезном образовании, чуткая и податливая природа Николая Петровича не осталась бы при одних неопределенных мечтаниях и настроениях, и тихая поэзия его души питалась бы более жизненными соками и находила бы пути выражаться как-нибудь плодотворнее в жизни. Бедный, добрый Николай Петрович совсем уничтожается не только перед Базаровым, но даже перед своим молоденьким сыном. Брат его – человек с характером; этот не пасует, в нем чувствуются силы, – но силы погибшие, которые завяли от бездействия, от мелочного употребления в бесплодно прожитой жизни. Он раздражителен и нервен; но настоящей силы в нем мало. Вы отдаете ему справедливость, вы признаете его настоящим джентльменом, вы уважаете его благородство; но вы чувствуете, что он герой в Мамбриновом шлеме, и автор без пощады выставляет на вид его смешные стороны. Это человек проигравший свое прошедшее, без настоящего, без будущего, призрак между живыми, бесплодно гальванизируемый впечатлениями, которые раздражают, кипятят его, но не могут воскресить погибшей жизни. В столкновениях с ним фигура Базарова еще резче оттеняется; в сравнении с ним только более чувствуется впечатление силы, производимой этой фигурой. О прочих лицах говорить нечего. Любовь к Базарову старика отца его, особенно матери, доходящая до благоговения, до самозабвения, довершает это впечатление силы, которое сопутствует Базарову. Итак, он решительно господствует над всей сценой. Ему дан полный простор, и все служит ему мягким материалом, чтобы выразиться и заявить свою силу.

А в чем же состоит его сила? Есть ли это действительная сила или только оптический обман, результат сравнения с окружающей мягкостью и бессилием? Этот вопрос идет довольно глубоко; он касается тех элементов, которые всеми отчетливо и невольно чувствуются в общем впечатлении. Этот вопрос ищет ключа к той тайной агитации, которую возбуждает Базаров, к тому горькому и язвительному чувству, которое поневоле должны испытывать люди, носящие его дух в своем сердце. Характер Базарова заслуживает подробного анализа, и мы возвратимся к нему.

О НАШЕМ НИГИЛИЗМЕ ПО ПОВОДУ РОМАНА ТУРГЕНЕВА

В один прекрасный день два молодые прогрессиста наехали с севера в мирное деревенское затишье, живьем везя с собой новый дух, который доходил туда прежде лишь в смутных отголосках, или слабых и карикатурных проявлениях. Один из этих молодых прогрессистов уже не самой первой молодости человек, – человек вполне сложившийся и зрелый, – и в нем-то главным образом сидит этот новый дух.

«Что у вас на душе?.. Кто вы, что вы?» – спрашивают этого гостя. – «Вы меня удивляете, – отвечает он, – вам известно, что я занимаюсь естественными науками».

Итак, в вашу глушь пожаловал дух исследования, ясной и точной мысли, положительного знания. Как кстати! Его-то нам и недоставало. Да, это действительно дух нового времени, завоевывающей одну область за другой. Этот дух ясной и точной мысли не ограничивается в наше время только теми науками, которые обыкновенно называются естественными; он простирается повсюду, и нет умственной сферы, которая бы в наше время не полагала своей силы и достоинства в ясной мысли и положительном знании.

Первым делом Базарова по приезде в деревню к отцу своего молодого поклонника было отправиться в болото за лягушками. Он выложил свои снаряды и наполнил свою ком-

нату химическим запахом. Компания сидит за утренним чаем, а он, суровый труженик, тащит свою добычу с болота и, не останавливаясь, отрывочно отвечает на докучные расспросы... Это рассказано так, что ни на чем не запнешься, и в самом деле поверишь, что вот приехал неутомимый исследователь тайн природы, который не хочет терять ни минуты времени и, не успев протереть глаза со сна после дальней дороги, не успев осмотреться на новом месте, ознакомиться с хозяевами и выпить чаю, спешит на ученую экскурсию, посылает мальчишек в болото за лягушками, в кратких, но выразительных словах объясняет им, для чего они ему нужны и что в сущности человек и лягушка одно и то же. «Ну полезай, философ», – говорит он шестилетнему мальчишке, который слишком заболтался, между тем как нашему естествоиспытателю дорога каждая минута: он должен немедленно произвести важный опыт над нервной системой.

Что проглянуло в этом: серьезное дело или нет? Автор оставляет нас без всякого намека. Если бы с его стороны был какой-нибудь умысел, то умысел этот непременно отозвался бы так или иначе в тоне его рассказа. Подозрительные глаза инквизиторски наблюдали за всеми движениями автора в его произведении и готовы были видеть во всем злонамеренный умысел; но ни одному критику не пришло в голову остановиться на этом пункте. Действительно, здесь нет ни малейшей иронии. Автор только взял тот дух науки, какой представила ему наша общественная среда, и пустил его действовать, ни за что не принимая на себя ответственности. Очень может быть, что автору вовсе и на мысль не приходило спросить себя, серьезное ли это дело или нет; но без его мнения в сумме общего впечатления всеми должно было чувствоваться, что это дело не серьезное. Что за Дюбуа Ремон, или Рудольф Вагнер, или, пожалуй, самый этот Джордж Генри Люис, о котором было у нас так много толков, появился на святой Руси? А если б и появился, так неужели эта типическая черта, которой обрисован Базаров, эта черта, исполненная такой художественной истины в романе г. Тургенева, – неужели эта черта годилась бы и для

них? Что за удивительное рвение, как будто лягушки в болоте не могли подождать день-другой! И мы тем сильнее чувствуем неестественность этого рвения, что наш естествоиспытатель вовсе не какой-нибудь чудака ученый, вовсе не какой-нибудь зарывшийся специалист; он живет как все, и гуляет, и праздничнословит, и ничего не делает.

«Я рассматривал виды Саксонской Швейцарии в вашем альбоме, – говорил однажды Базаров заинтересовавшей его даме, – а вы мне заметили, что это меня занять не может. Вы это сказали, потому что не предполагаете во мне художественного смысла, да во мне и действительно его нет; но эти виды могли заинтересовать меня с точки зрения геологической, с точки зрения формации гор, например».

Не является ли перед нами опять образ того же самого натуралиста, который так спешил нарвать врасплох лягушек в болоте? Он презирает художественный интерес; он даже дамский альбом рассматривает не иначе как с точки зрения геологической, с точки зрения формации гор.

Светская скучающая женщина заинтересовалась нашим ученым. Он возбуждает ее любопытство, и она делает его предметом своих наблюдений и опытов, а в нем между тем начинает закипать страсть. Пусть бы наш естествоиспытатель, забыв о своих химических снарядах, о своем микроскопе и лягушках, сел с прялкой у ног своей Омфалы; нет, он не забывает и тут, что он ученый; он не видит, что эта дама, заговаривающая с ним о физике и химии, вовсе не намерена изучать свойства кислорода или опыты с лейденскою банкой; он не видит, что она хочет изучать не что-либо другое, а его самого, и он рекомендует ей курс химии Пелуза и Фреми, да курс физики Гано, и пускается в исчисление всех достоинств этих учебников; он вдруг заговорил как вытверженный урок и не остановился бы, пока не прервала бы его сама собеседница и не направила разговор в другую сторону. Вот с г-жою Кукшиной он не пускается в подобный разговор; этой он не рекомендует *Физику* Гано; тут он не натянут; тут он, как говорится, в своей тарелке; тут он не заботится о контенансе и не пускается в науку.

Наконец, эта книжка Бюхнера, играющая роль какого-то талисмана, книжка, о которой всего менее мог бы подумать серьезный естествоиспытатель, притом человек положительный, не желающий терять минуты времени на пустые разговоры («человек положительный, не интересный, говорить не умею»), распространяющей повсюду химический запах, вечно трудящийся над лягушками и инфузориями: могло ли бы такое праздномыслие, как книжка Бюхнера, остановить на себе внимание серьезного специалиста, каким хочет казаться в своих глазах Базаров?

Нет сомнения, что наука здесь не есть что-либо серьезное и что ее надобно сложить со счетов. Если в этом Базарове сидит действительная сила, то она что-нибудь другое, а никак не наука. Своей наукой он может иметь значение лишь в том окружении, куда он попал; своей наукой он может подавлять только своего старичка-отца, юного Аркадия и мадам Кукшину. Он лишь бойкий школьник, который лучше других вытвердил урок и которого за то поставили в аудиторы. Впрочем, он настолько умен, что и сам это сознает, сам это высказывает, хотя не о себе лично, но вообще о своих соотечественниках, в сравнении с настоящими исследователями в тех странах, где это есть дело серьезное. Он и сам не признает особенного значения за своими учеными занятиями; они для него только точка опоры, только средство для дальнейшей цели, а цель его совсем другого свойства и не имеет ничего общего с наукой. Его опыты над лягушками не повели бы к открытиям. Он усердно занимается всем этим, но точно так же как в былое время молодые и даже довольно зрелые люди усердно занимались философией, ездя из одного немецкого университета в другой, слушали, записывали и религиозно перечитывали в своих тетрадках учение о *Sein* и *Nichts**. Бедные молодые люди! Они никого не хотели морочить, они морочили только самих себя. Они надувались, напрягались и губили свои умственные силы на бесплодное дело казаться в своих глазах великими философами. Сколько тяжелых минут переживали они, какой пре-

* Сущем и несущем (нем.)

давались хандре, как они страдали при малейшем намеке, что они трудятся даром! Они готовы были плакать и истязать себя при малейшем просвете собственного сознания, что они балуются попусту, что они вовсе не философы, что гораздо было бы полезнее заняться каким-нибудь более скромным делом или какой-нибудь наукой, которая более бы соответствовала их действительным потребностям, что они губят самих себя, заглушая в себе эти потребности, отвлекая себя от дельных занятий и становясь через то ни к чему неспособными.

Правда, науки, на которые предъявляет претензию Базаров – другого свойства. Они общедоступны и просты, они школят мысль и приучают ее к трезвости и самоограничению. Эти науки отказываются от преследования первых причин и сущности вещей. Каждая держится своего факта и не отходит от него, или отходит лишь на сколько-нибудь, чтоб охватить его в общности; наблюдение и опыт – их единственный источник, и вся их цель состоит только в том, чтобы привести в известность факт. За этим делом может найти себе место всякий ум, от самого скромного до гениального. Умный и способный человек, каков наш герой, мог бы, конечно, заниматься и химией, и физиологией не без успеха. Но он вовсе не о том хлопочет, чтобы стать специалистом по той или другой части; ему важна вовсе не положительная сторона науки; он занимается естественными науками более в качестве мудреца, в интересе первых причин и сущности вещей. Он потому занимается этими науками, что они, по его мнению, прямо ведут к решению вопросов об этих первых причинах. Он уже заранее уверен, что естественные науки ведут к отрицательному решению этих вопросов, и они ему нужны как орудие уничтожения предрассудков и для вразумления людей в той вдохновительной истине, что никаких первых причин не имеется и что человек и лягушка в сущности одно и то же.

Этой мудростью действительно характеризуется современная умственная фаза в нашем любимом Отечестве. Естественных наук у нас нет, а вообще нет никаких наук; наши юные химики, по замечанию г. Тургенева, не умеют отличить

кислород от азота; наши журнальные физиологи в жизнь свою не бывали в анатомическом театре, а между тем кстати и некстати то и дело толкуют о мозгах и нервах. Дело в том, что мы естественными науками занимаемся по книжкам Фейербаха и Бюхнера, или, еще лучше, по журналу Ноака. Под видом естественных наук мы все также занимаемся немецкой философией или тем побочным вырождением ее, который столько же походит на философию, сколько и на естественные науки.

Узкий и трудный путь натуралиста нам не по нраву. Мы возьмем у него лишь кое-что для *форса* или для *контенанса*, а пойдем другим, более широким путем; мы не исследователи, не испытатели, – пусть другие корпят над фазами и занимаются наукой для знания, – мы мудрецы и вероучители. Мы проповедуем религию нигилизма, мы *отрицаем*: вот наше значение, наша гордость и слава. Кто-то из критиков заметил, что этот нигилизм вносит дух плодотворного сомнения, которое освобождает ум от слепой веры в авторитет, и припутал сюда и Картезия, и Канта, и даже Конфуция. Можно, наверное, сказать, что наш критик столько же знаком с философским сомнением, сколько и с языком, на котором вещал любомудрый Конфуций. Сомнение дело нелегкое и не всякому доступное. Только немногие сильные умы способны к настоящему, серьезному сомнению относительно высших вопросов знания. Вот Декарт и Кант, те были к нему способны, и если бы наш критик был, в свою очередь, способен познакомиться с ними, то он узнал бы от них, что такое сомнение, как оно делается и к чему приходит. Наши философы вполне уверены, что сомневаться и отрицать одно и то же и что кто сомневается, тот непременно должен прийти к отрицанию. Но сомнение ни полагает, ни отрицает; сомнение, настоящее, истинное сомнение, допускает возможность противоположных решений. А где допускается возможность противоположных решений, там, значит, не принято решение ни в ту, ни в другую сторону. Сомнение ставит вопрос, возбуждает энергию к исследованию, к критике, к точнейшему определению силы наших понятий, к разграничению того, что мы знаем и чего не знаем; оно приво-

дит к воздержанию и терпимости, если не к окончательному удостоверению. Но если наше сомнение склоняется в ту или другую сторону, так это признак, что решение уже принято нами и что в вашей критике уже присутствует догматический элемент. Если наше сомнение склоняется к отрицанию, то мы уже не просто сомневаемся, мы уже более или менее уверены и не нуждаемся в сомнениях. Если мы отрицаем, то, значит, дело уже решено нами заранее, решено несомненно; мы только обманываем себя, воображая, будто мы сомневаемся; мы порешили дело просто и непосредственно. Мы обошлись без всяких исследований и вопросов, без всякой критики; нам не в чем удостоверяться, и отвергая возможность противного решения, мы с большей или меньшей нетерпимостью относимся не только к тем, которые приняли решение противоположное, но и к тем, которые допускают возможность того и другого; мы становимся нетерпимы к самой терпимости. Такого рода отрицательное направление не есть дело мысли; напротив, оно служит признаком отсутствия всякого интереса мысли и знания. Оно не просто только воздерживается от решения, – что вовсе не значит отрицать, – оно уже решило все вопросы, еще не задавая их себе. *Sic volo, sic jubeo*, говорит оно, как Ювеналова матрона. Люди, предрасположенные таким образом, люди, предубежденные в отрицании, не хотят доказательств; им утомительны и скучны всякие исследования, потому что всякие исследования кажутся им излишними; они уже убеждены и считают себя вполне знающими. Отрицательное направление есть своего рода религия, – религия опрокинутая, исполненная внутреннего противоречия и бессмыслицы, но тем не менее религия, которая может иметь своих учителей и фанатиков. Интерес отрицания, преобладая над всем, влечет этих фанатиков ко всему, что только запечатлено характером отрицания. Каким бы образом не был добыт отрицательный результат, лишь бы он был православно отрицательный, и он как вдохновение овладевает этими умами, и принимается как догмат без всякого колебания и сомнения. В этом отрицательном догматизме прекращается всякая умственная производи-

тельность, исчезают все влечения истины и знания. Добиваться нечего, все решено, и все вздор.

Религия отрицания направлена против всех авторитетов, а сама основана на грубейшем поклонении авторитету. У нее есть свои беспощадные идолы. Все, что имеет отрицательный характер, есть уже *eo ipso* непреложный догмат в глазах этих сенаторов. Чем решительнее отрицание, чем менее обнаруживает оно колебаний и сомнений, тем лучше, тем могущественнее авторитет, тем возвышеннее идол, тем непоколебимее вера. Отрицательный догматик ничем не связан; слово его вольно как птица; в уме его нет никаких определенных формаций, никаких положительных интересов, которые могли бы останавливать и задерживать его; ему нечего отстаивать, нечего охранять; он избавлен от необходимости сводить концы с концами. Ему нужна только полная самоуверенность и умение пользоваться всеми средствами для целей отрицания. Чем менее он разбирает средства, тем лучше. Он в этом отношении совершенно согласен с отцами иезуитами и вполне принимает их знаменитое правило, что цель освящает всякие средства.

Есть ли этот отрицательный догматизм, эта религия нигилизма – явление, характеризующее дух нашего века? Дозволительно ли думать, чтоб это явление было всемирной исторической фазой, которую переживают образованные народы нашего времени? Нет, наше время славится по преимуществу своей свободой и терпимостью, своей наукой, духом исследования и критики, не пренебрегающей ничем и ничего не предосуждающей. Дух догматического отрицания не может быть общим признаком какой бы то ни было всемирной эпохи; но он возможен во всякое время в большей или меньшей степени как общественная болезнь, овладевающая некоторыми умами и некоторыми сферами мысли. Как частное явление, оно встречается и в наше время, в большей или меньшей степени, в некоторых общественных средах; но, как и всякое зло, оно везде находит себе противодействие в могущественных силах цивилизации. Образование, наука, политическая и промышленная жизнь, развитие и состязание всевозможных интересов, свобо-

да совести, воспитательное влияние среды, живая сила предания, – вот препятствия, которые встречает это явление в образованных обществах нашего времени. Но если в этом явлении нельзя видеть общий признак нашего времени, то несомненно узнаем мы в нем характеристическую черту умственной жизни в нашем Отечестве за текущий момент. Ни в какой другой общественной среде Базаровы не могли бы иметь обширного круга действия и казаться силачами или гигантами; во всякой другой среде, на каждом шагу, отрицатели сами беспрерывно подвергались бы отрицанию; при каждой встрече приходилось бы им повторять про себя то, что сказал Базаров перед смертью: «Да, поди, попробуй отрицать смерть: она меня отрицает, и баста». Но в нашей цивилизации, не имеющей в себе никакой самостоятельной силы, в нашем маленьком умственном мире, где нет ничего стоящего твердо, где нет ни одного интереса, который бы не стыдился и не конфузился самого себя и сколько-нибудь верил в свое существование, – дух нигилизма мог развиваться и приобрести значение. Эта умственная среда сама собой подпадает под нигилизм и находит в нем свое вернейшее выражение.

Мы не можем пожаловаться, чтобы наша цивилизация была скудна. Напротив, чего в ней нет? В нашем умственном обращении ходят всевозможные идейки. Мы знаем все языки и знакомы со всеми литературами. Мы касаемся предметов всех знаний и всех сфер жизни. Но это богатство, как всем известно, – ассигнации, и притом фальшивые. Богатство нашего образования есть богатство мнимое: это истина уже избитая, повторенная тысячекратно на все лады, начиная от знаменитого изречения: «*grattez le Russe*»? до столь же знаменитого учения об оторванности от народной почвы. Все способы фигуральных выражений были истощены в нашей литературе, чтобы выразить эту мысль. Дело в том, что понятия, составляющие наше умственное образование, не имеют значения действительных сил. Сколько бы их ни было у нас, как бы ни были они разнообразны, и даже как бы ни были они ясны и сильны

* «Если потереть русского... [покажется татарин]» (фр.)

в отдельных людях (что, впрочем, великая редкость), они не являются организующими, то есть общественными силами. Только те идеи – силы действительные, которые не ограничиваются процветанием в разрозненных умах, но простирают свое действие далее и обнаруживаются как начала, соединяющие людей. Все же, что не обнаруживает такой силы, остается мнимым, воображаемым, недействительным. Идеи, собирающие людей в группы, связывающие их в разнообразные, более или менее крепкие формации, вот это и есть то, что мы называем общественными силами. Где этих сил нет, или где они подавлены, там образование всегда будет призраком, и как бы, по-видимому, ни было богато его содержание, оно не будет иметь никакого значения, и отдельные люди всегда будут чувствовать бессилие своего образования. Что бы ни совершалось в их голове, на всем будет лежать печать мнимого, недействительного; между их словами и мыслями не будет ладу, между их мыслями и действиями не будет органической связи. Все в них будет зыбко и шатко, все для них будет сомнительно, и их собственная нравственная личность будет мерещиться им как призрак, их собственная умственная организация будет пугать их как привидение. Человека в отдельности нет; человек везде есть часть какой-нибудь живой связи, какой-нибудь общественной организации; везде он связан с другими людьми, и везде его жизнь и образование условливаются окружающей средой. Человек, взятый отдельно от среды, есть не более как фикция или отвлеченность. Его нравственная и умственная организация, или, говоря вообще, его понятия только тогда действительны в нем, когда он преднаходит их как организующие силы среды, в которой привелось ему жить и мыслить. Но характеристическое отличие нашей среды в том и состоит, что она лишена этих организующих сил, которые группируют людей как общий им всем интерес, проходящий чрез них и живущий между ними. Нет ничего труднее, как найти в нашей общественной среде что-нибудь положительное, на чем могли бы сойтись между собой люди. Вы не свяжете трех человек в одно целое на каком-нибудь положительном интересе; во всяком

случае, связь между ними не продержится долго и не окажется плодотворной. Но зато нет ничего легче, как соединить между собой людей в чем-нибудь отрицательном. На положительном все перессорятся, и дело не пойдет; на отрицательном все легко сдружатся, и дело закипит. Даже в сфере так называемых материальных интересов мы замечаем то же явление. Такова историческая судьба нашей цивилизации. История разбила у нас все общественные связи и дала отрицательное направление нашей искусственной цивилизации. Она сама вся основана на отрицаниях; нет ни одной общественной основы, которая бы чувствовала себя неприкосновенной, нет ни одной общественной силы, которая не была бы подавлена или которой была бы дана возможность развития. Ничему не предоставлено самопроизвольного и естественного течения, и вместо живых органических сил люди чувствуют себя в механические сочетаниях, совершенно внешних и чуждых для жизни. Люди живут, таким образом, двойной жизнью, – внешней, в которой они не принимают умственного и нравственного участия, и внутренней, которая более походит на мир сновидений, чем на действительность.

Итак, сила нашего нигилизма заключается не в свойстве его содержания, – он в том и состоит, чтобы не иметь никакого существенного содержания, – а в обстоятельствах среды. Среда делает его силой, она условливает его значение и развитие. Отрицание за отрицанием порождает склонность к отрицанию, образует навык, и из этой склонности, из этого навыка вырастает, наконец, непреодолимая страсть, которая, как и всякая страсть, может доходить до степени помешательства, теряя всякую определенность и всякий предмет. Отрицание для отрицания – вот сущность этой страсти.

Характер силы сообщает нигилизму также его безусловный догматически характер. Сила его в том, что он не допускает никакого сомнения и колебания, и вследствие этого исполнен самоуверенности и решимости. А все, что имеет характер несомненного догматизма, производит обаятельное действие на людей. Бывали же, да и теперь есть, целые религиозные

культы, которые были основаны на идее уничтожения, массы людей охватывались этим фанатизмом разрушения, в котором видели они конечную цель всего. Есть же и теперь в Индии знаменитая секта *тагов*, которая приносит свои страшные жертвы тайному идолу, непреодолимо и слепо владеющему своими поклонниками. В сущности, то же явление повторяется и в нигилизме, повторяется в другой сфере, при другой обстановке, при иных условиях. Это в малом виде тот же дух, только говорящий иным языком и действующий в других формах.

Дух этого нового культа, разумеется, действует на людей в различной степени. Одни воплощают в себе его дух; другие покоряются ему внешним образом, потому что видят в нем господствующую силу, против которой не находят в себе никакого отпора. Являются ловцы душ, жрецы и учителя, и слабосильные люди покоряются их авторитету и слепо следуют за нами.

Что однако побуждает людей к такому служению? Каким образом может воплощаться в них такая странная сила? Как они сами отдают себе отчет в своих стремлениях, и какой интерес может иметь для них эта пропаганда? Но во всем ли мы можем отдавать отчет из того, что владеет нами и что увлекает нас? Всякая страсть, всякая сменность и даже всякий навык владеют человеком безотчетно, хотя люди тем не менее чувствуют побуждение объяснять и оправдывать даже то, чему они слепо покорствуют. Эти объяснения и оправдания нисколько не касаются сущности дела, и ими люди только обманывают себя. Приверженцы религиозных культов уничтожения имели свои вероучительные системы; у них были свои обетования. Маленький культ нашего нигилизма имеет также свое вероучение, свои догматы, и у него есть свои обетования. Учителя нигилизма находят в различных утопиях, с одной стороны, оправдание для своего культа, с другой – вспомогательное средство пропаганды. Но утопии имеют для них еще и другое, более существенное значение; утопии сами служат наилучшим орудием отрицания и разрушения. Несбыточное, неестественное, невозможное, представляясь делом совершен-

но возможным и естественным, действует одуряющим образом на умы и довершает разложение их организации – что и требуется. Все близкое, практически-возможное, все действительное, легче отвергается в силу отдаленного и мечтательно-го, опьяняющего людей, – а в этом-то и интерес нигилизма.

Тем не менее нигилизм не состоит в утопиях: они служат ему только вспомогательным средством. Люди умные, жрецы и учителя, не могут не сознавать в глубине своей души всю тщету этих фантазий, но они не считают нужным подрывать веру в них; напротив, они считают нужным и должным поддерживать эту веру и даже поощрять других ко всевозможным дурачествам. Чем более пронзается человек своим служением, чем более воплощается в нем дух, которому он служит, тем полнее и крепче связываются с этим служением все его личные интересы. Это-то и значит воплощение. Все интересы человека более или менее непосредственно связываются с этим господствующим интересом. Все получает от него питание, и все, в свою очередь, питает его. Человеку в нем и яснее, и теплее, и привольнее, а, наконец, и выгоднее. С ним соединяется самолюбие, гордость, самоуважение и уважение других. Как и всякий культ, нигилизм может в числе своих последователей иметь и лицемеров, и фанатиков, и простых обманщиков, и более или менее бескорыстных служителей. Под его знамя могут собираться люди разных сортов. Люди деятельные и способные могут предаваться ему тем с большею охотой, что чувствуют в нем силу. Видя, как легко нигилистические понятия овладевают умами, как мало они встречают себе отпора, как, напротив, все поблажает им и все питает их, люди *импульсивные* пристращаются к ним, потому что они могут давать им значение и в их собственных глазах и в глазах других.

В Базарове наш автор взял один из лучших типов нигилизма. Он принадлежит к числу людей *импульсивных*. Как и все наши образованные люди, он прямо из школы вынес добрый задаток этого духа отрицания, – вынес семя его, которое нашло в нем благодарную почву. Как и у всех наших так называемых образованных людей, в его уме живучими и сильными элемен-

тами оказывается лишь то, что запечатлено отрицающим характером; все прочее оказывается слабым, мертвым, гнилым, подлежащим отрицанию. Он держит про себя весь этот хлам только для произведения над ним операций разложения. Он – совершенная противоположность тем «грызунам», «самоедам», «гамлетикам», которых так мастерски изображал г. Тургенев в других своих типах. Те во всем сомневались; но сомневались самым фальшивым и самым бесплодным образом. Они сомневались не из любви к истине, не в интересе дела; напротив, они сомневались во всем от пустоты и безделья. Собственно говоря, они ничем другим и не были заняты, кроме своей собственной личности, и ее-то подвергали они пытке сомнения, ее-то они мучили, терзали и раздирали. Не находя в себе силы ничем заняться и позабыть себя в чем-нибудь, они вечно сравнивали себя с разными носившимися перед ними идеалами и вечно обращались к себе с разными претензиями, и вечно оставались недовольны, и вечно грызли себя. Но нигилисты – люди совсем другого свойства; они ничего не держатся и сразу от всего отказались; сомневаться им не в чем, они – готовые деятели. Свою особу чтят они как сосуд великой силы и не сравнивают себя ни с какими идеалами; они находят полнейшее удовлетворение своему самолюбию выходкой деятельности повального отрицания и всеуничтожения. Им незачем грызть и ломать себя; они собой вполне довольны, – они вполне довольны тем, что все легко поддается, легко ломается, легко отрицается. Им незачем обращаться на себя, они нападают на других и нападают тем охотнее, что все само собой валится. «Ты не дорос до нас, – говорит Базаров юному Аркадию, – ты невольно любишь себя собой, тебе приятно самого себя бранить; а нам это скучно – нам других подавай! нам других ломать надо!» Меру своего достоинства и самоуважения находят они в той пустоте, которая вокруг них образуется. Они любят и чествуют себя всем тем презрением, которое внушает им ничтожество окружающей среды, лишенной всякой силы сопротивления. Эти люди непременно будут иметь вид людей сильных и притом деловых, прямо идущих к цели, свободных от всякой мнительной и рас-

слабляющей думы, от всяких праздных мечтаний. Таков на вид и герой Тургеневского романа. В этом отношении особую характеристическую черту придает ему и то обстоятельство, что он не принадлежит к породе *баричей*. Эти последние никогда не бывают серьезными отрицателями; нигилизму предаются они из дилетантства, по молодости лет, по глупости, также потому, что видят в нем передовую мудрость и потому, что легко попадают в сети, находя, что лучше быть орудием отрицания, нежели служить ему мишенью.

Автор произвел своего героя от бедных родителей, из той волнующейся среды, которая приливает к нашему привилегированному сословию, группируется на его окраинах и просачивается в него с разных сторон. Отец его разночинец, дослужившийся до дворянства и ставший мелким помещиком, владельцем одной или двух дюжин душ. Еще характеристичнее то обстоятельство, что Базаров – внук дьячка, – «как Сперанский», сказал он раз своему юному приятелю, скривив губы. Может быть, фигура Базарова вышла бы еще типичнее, если б автор прямо произвел его от дьячка.

Когда у нас говорят о замкнутых сословиях, то разумеют обыкновенно дворянство и редко вспоминают о целом огромном сословии, которое вследствие своей разобщенности еще более походит на касту, чем дворянство. Мы разумеем духовное сословие. В настоящее время в целом христианском мире нет ничего похожего на эту особую касту, которая образовалась у нас случайно под именем духовного сословия. В католических странах, как известно, духовенство набирается из всех классов общества, и, при всей замкнутости, при всей строгости церковной организации, люди, вступающие в нее, не составляют особой породы уже по одному тому, что католическое духовенство безбрачно. В странах протестантских духовные лица не связаны безбрачием; но и они не составляют особой породы, не образуют касты вследствие общего гражданского положения этих стран. Таким образом, и католический, и протестантский мир убереглись от левитизма, так мало совместного с духом христианства, а с тем вместе так мало благоприятного разви-

тию народной и гражданской жизни. Левитизм образовался у нас сам собою, вследствие косности нашей жизни, под влиянием чуждых, внесенных в нее юридических начал. Коль скоро образовалась замкнутая дворянская порода, каста воинов, — то сама собой образовалась порода левитов, духовная каста. Вход в эту последнюю юридически не замкнут, точно так же не замкнут и выход; но вход в нее совсем зарос травой, и если из нее многие выходят, то масса пребывает. Церковные должности передаются из рода в род, оставаясь в постоянном обладании особой общественной породы. Если к дворянству до последнего времени притягивались элементы из разных общественных слоев, то к духовенству такой тяги не могло быть, и белое духовенство не возобновлялось новыми элементами, а плодилось рождением. То положение, которое заняла у нас Церковь относительно общества и государства, равно как и преобладание в ней черного духовенства, были причиной, обособившей духовное сословие и пресекавшей к нему пути из других общественных слоев. При всем высоком назначении своем, белое духовенство стало у нас сословием униженным, стесненным в своей деятельности и лишенным всякого значения в деле общественного развития.

Начала, создающие нравственную организацию, начала, собирающие людей в одно тело, тем сильнее выражаются и действуют, чем разнохарактернее во всех других отношениях бывают элементы, собирающиеся на их зов. Могущество всякого начала всего вернее измеряется тем соединяющим действием, которое оказывает оно на разнородные элементы. Если по каким-либо историческим судьбам живущие в обществе начала перестают оказывать такое единящее действие, то они мало помалу слабеют и теряют чувство собственного существования. Они исчезают и из сознания, и из воли людей, оставляя за собой праздное, часто обесславленное имя. Этот закон нравственных организаций очевиден: коль скоро нет разнокачественности в элементах, собирающихся на одно служение, то оно не может обнаруживать своей силы в их соединении; эти элементы не нуждаются в сильном жизненном движении для того, чтобы

собраться и составить одно целое; они уже находятся между собой в случайном единении; они уже так близки между собой, что им незачем, да и нет места энергически придвигаться друг к другу; в своем единении они не испытывают живого действия того начала, которое случайно скрывает их своим именем; связь между ними существенно чужда этому началу; оно не заявляет себя в ней, оно в ней не действует, – и вот от этого-то весьма часто происходит прискорбное противоречие между именем и вещью, между словом и делом, между назначением и действительностью. При таких обстоятельствах всякое звание теряет свой дух, или в нем заводится дух особого рода, дурной или хороший, но во всяком случае чуждый его сущности. Всякое начало действует лишь там, где люди сближаются между собой в его имя, и действует оно в той мере, в какой превозмогает в людях другие тяготения, пересиливает другие влечения; только при этом условии могут являться люди с плодотворным чувством призвания, с действенной силой убеждения. Каста и все, что ей подобно, не представляет такого условия. Где каста, там не может быть духа призвания, там не может быть никакого живого интереса. Где люди сгруппированы между собою по породе, там не может развиться общий дух служения по призванию. Пока каста остается в разобщении с жизнью, пока в нее не проникают жизненные токи извне, пока живущие в ней люди застрахованы общей косностью от всяких посторонних тяготений и влечений, от всякого рода испытующих наитий и искушений, до тех пор внутреннее противоречие остается скрытым, и существование общественного тела поддерживается его оцепенелостью. Но при первом движении вольного воздуха это противоречие скажется сразу, и признаки гниения будут развиваться в ужасающих размерах. Общественное тело в своих отщепенцах может стать обильным источником злобных отрицаний того самого начала, чье имя оно носит.

И наш нигилизм не может не находить себе поживы в отпрысках духовного сословия. Благодаря сложившимся обстоятельствам, именно между ними он может вербовать себе самых *импульсивных* поборников.

Отсюда-то всего легче и вернее могут выходить его вероучители и достаточно способные, и достаточно сильные для своего дела. А потому, повторим, очень верный инстинкт побуждал г. Тургенева привести своего нигилиста в некоторую связь с этим сословием. Эта черта была бы очень выразительна, если бы художник более воспользовался ею; физиономия героя была бы яснее, и многое в нем стало бы еще натуральнее; не было бы надобности прибегать к некоторым усилиям оттенить эту фигуру, к дуэлям и тому подобному; не было бы надобности в некоторых чертах слишком исключительных и мало типических для того, чтобы резче обозначить ее.

Вообще, как случилось уже нам заметить, в фигуре этого героя есть некоторые неясности. В иных местах фантазия автора как будто колебалась, и следствием этих колебаний выходит то, что иногда трудно бывает отделить чисто индивидуальное свойство изображаемого лица от его типических свойств. Базаров не настолько играет роль, чтобы получить значение как индивидуальный характер, а потому все черты в этой фигуре, которые лишены определенного типического значения, кажутся в нем неясностью и недоделанностью. Но мы не имели намерения разбирать роман и изображенные в нем характеры; мы только касаемся некоторых пунктов, имеющих общее значение, и по поводу их стараемся уловить и обозначить типические черты летучего явления нашей современной общественной среды.

Базаров враг фразы, — это признак очень хороший. Он терпеть не может лжи и аффектации, — чего же лучше? Он вооружается против всяких вычур и праздномыслия: не должны ли мы за это почтить в нем человека суровой истины и искреннего дела? Итак, вот он, грозный преследователь фразы, заедающей нашу мысль, беспощадный истребитель всех этих мыльных пузырей, которые носятся над нашей цивилизацией, искусственной и фальшивой, — всех этих призраков, которые лишают нас чувства действительности! Вот он, отрезвитель, которого мы с таким нетерпением ждали. Какая нужда, что он называется нигилистом? Будем рукоплескать ему, нигилисту.

Так вот, стало быть, почему он от искусства отрекается, вот почему он остерегается всякой игры фантазии! Призванный к отрезвлению нашей умственной жизни, он гнушается всего, что оказывает разнеживающее влияние на слабый ум человеческий. Вот почему один из критиков провозгласил его умственным аскетом, а другой поклонился ему как человеку дела по преимуществу. Да и как не поклониться? Он пришел положить конец нашему праздномыслию, пустословию и фразерству; своим аскетизмом он искупил нас от этой зловредной язвы, он выведет нас из тумана на ясный свет положительного дела.

Увы, все это напрасно! Все это такой же обман чувств, как и наука с ее лягушками и микроскопами. Наш герой не только не враг фразы, не только не враг аффектации и фальши, но, напротив, – он сам фраза, сам аффектация и фальшь. Он не терпит известный род фразы, потому что сам предан другому роду. Он преследует не фразу, а только тот род или тот вид ее, который ему по нутру и который противоположен его собственному роду. Он не любит, например, «красивую» фразу. «О, друг мой, Аркадий Николаевич, говорит он своему юному поклоннику, об одном прошу, не говори так красиво». Он побивает красивую фразу, а сам красуется со своей шероховатостью и жесткостью; щеголяет своим умственным аскетизмом, фразерствует своей ненавистью к фразе, рисуется в своих притязаниях на простоту мысли и дела. Убедиться в этом очень легко. Ненавидеть лож искренно, а не фальшиво, можно только из любви к истине. Отрицать фальшивое в мысли и жизни можно только в силу чего-нибудь положительного. Там же, где господствует отрицание, где оно начало и конец, где вся мудрость состоит из ряда нулей и минусов, там невозможна истинная ненависть ко лжи, там эта ненависть ко лжи окажется сама еще пущей ложью. Противодействие дурному и фальшивому может зародиться лишь в чувстве тех начал, которые искажаются и бесславятся в фальшивых явлениях. Нельзя возненавидеть ложь с бухты-барухты; нельзя ни с того, ни с сего возненавидеть фразу. Надобно чувствовать и уважать те положительные нормы, на которые фраза посягает. В чело-

веке, испытывающем сильное чувство, понятно и презрение, и негодование ко всякой аффектации, ко всякому притворному выражению того же самого чувства. Кто изведал собственным опытом какое-нибудь нравственное настроение, тому легко распознать его карикатуру, и тому она будет по справедливости противна. Человек истинно знающий будет возмущен фальшивой наружностью знания гораздо больше, чем простым неведением. Человек истинно верующий будет возмущен корыстно-лицемерной наружностью веры еще более, чем неверием. Человек, действительно имеющий в своей душе инстинкт свободы, будет оскорблен ее фальшивым видом еще более, чем грубым и наивным отсутствием всякого инстинкта свободы. Везде и во всем наши отрицания будут иметь истину лишь в той мере, в какой мы чувствуем и признаем силу положительных начал, извращаемых в своих фальшивых проявлениях. Но эта маленькая мудрость, которая знаменует последнюю фазу нашего умственного развития, состоит из одних отрицаний. Мы уже хорошо знаем эту немногосложную систему; она уже совершила полный цикл своего теоретического развития; она высказана у нас на все лады. Отрицание для отрицания, вот вся ее тайна; ничего в начале и ничего в конце, вот вся ее сила. Откуда же у нигилиста может взяться ненависть к фальши и фразе? Будет ли истина в этой ненависти? Не будет ли эта ненависть сама ничем иным, как ненавистнейшей фразой?

Нигилизм есть милейшее добродушие в молодом Аркадии, ученике и поклоннике нашего героя. То же учение есть отвратительная аффектация и смешная пошлость в мадам Кукушиной и Ситникове, других поклонниках того же героя. А что оно такое в самом герое? Содержание этой мудрости везде одно и то же, но только в разных людях оно принимает разный цвет. Оно и в Базарове не может быть ничем иным как пустотой. Однако в нем есть нечто такое, чего в других нет. В нем есть нечто такое, что пустоте придает некоторую силу, что лжи придает некоторую искренность, что фразе сообщает до некоторой степени характер действительной мысли и истинного чувства. В Базарове нигилизм не есть простодушная наивность; он не

есть в нем и пошлая вычура. В нем есть одно довольно искреннее чувство, которое более или менее примешивается ко всему и всему более или менее дает печать чего-то серьезного и как бы дельного. Этот элемент, которого нет у учеников и который есть у учителя, – этот элемент есть довольно искреннее и неподдельное чувство озлобления, которое в нем проглядывает. Его научные исследования – фраза; его заботы об общественных язвах – фраза; его общие воззрения, его толки об искусстве, о знании, о людях, об общественных учреждениях, о всеобщей несостоятельности, о необходимости повальной ломки, о непризнании авторитетов, об отрицании всех начал жизни и мысли, – все это совершеннейшее праздномыслие и пустословие. Так; но ко всему этому примешивается маленькая капля истинного яда действительной злобы, и вот все это смешение принимает более или менее серьезное значение и внушает респект окружающим. От фразы спасает Базарова единственно только эта доза натурального яда, которая сообщает истинный румянец его мысли. В ней источник его умственной энергии, в ней его вдохновение, в ней его сила; ею отличается он от своих поклонников, которые в своей умственной организации не имеют никакого серьезного элемента.

Всякий действительный элемент в уме человека, хотя бы то была частица яда, сообщает его проявлениям силу и жизнь; все правдиво существующее, хотя бы то было и самого дурного свойства, обладает этой тайной в противоположность мнимому, сочиненному, фальшиво-существующему, налганному. Где и как выработалась эта капля яду, которая действует в нашем нигилисте, – этого мы разыскивать не будем; да об этом нет речи и в самом романе. Но часто в жизни обществ эта капля, выработанная при весьма определенных условиях, потом обобщается и передается от человека к человеку, от поколения к поколению, соединяясь с самыми разнообразными воззрениями, замешиваясь в самые разнообразные системы, выражаясь в самых разнообразных действиях. Здесь пришлось ей жить в уме нигилиста, одушевлять его слова и придавать краску реальности его мыслям. Читайте вздором содержание

его мыслей, – да и содержание в них нет никакого, – но извольте уважить эту каплю яда, признайте ее действительностью и воздайте ей должное серьезными заботами, чтоб она потеряла свою силу и уступила свое место другим лучшим источникам умственной энергии.

Смотря на Тургеневского Базарова, всякий скажет, что это человек честный. Несмотря на все злоухищрения критиков, обвинявших автора во враждебном чувстве к его герою, дело несомненное, что автор не уронил его нисколько и не отнял у него ни одной черты, которая может производить выгодное для него впечатление. Все, что говорит в пользу героя, бросается в глаза. Этого мало, смотря на тургеневского Базарова, вы должны сознаться, что честность в нем не есть какое-нибудь случайное, чисто-индивидуальное свойство; вы должны сознаться, что это в нем черта типическая. Вы чувствуете, что он не пойдет на всякую подлость, подобно, например, Ситникову. Правда, он еще молод, жизнь еще не попробовала его; но вы чувствуете, что от всего мелкого и презрительного он довольно застрахован своей гордостью, громадно развившимся самомнением. Если от пошлости спасает его то искреннее чувство озлобления, которое дает тон его уму, то от мелкой подлости спасает его эта гордость. Ему невозможно не быть, в известном смысле и в известной степени, человеком честным; иначе он должен был бы сломить себя и отказаться от высоты, на которой стоит в собственных глазах. Он чтит в себе силу, и ему невозможно оскорбить ее позывами на презрительное и мелкое дело. Ему невозможно представить себя в таком положении, которое с какой-нибудь стороны показало бы его в жалком виде. Он должен быть высок и силен; он должен внушать к себе уважение, – и это в нем не просто расчет, это в нем жизненная потребность. Люди такого разбора могут прийти, пожалуй, до героизма в этом отношении.

Что ж? Это не худо, скажем мы опять. Каковы бы ни были мнения этих людей, – не должны ли мы воздать почет этим мнениям, по крайней мере, за то, что они возвышают человека над презрительным и подлым? Конечно, нельзя было бы не воз-

дать этого почета; но при малейшем вникании мы разочаровываемся снова. Для подобных людей не безнравственное – безнравственно, а только впечатление презрительного и жалкого. Норма их нравственности не определяет качества поступка; она определяет только его размеры и относительное значение. Каков бы ни был источник поступка и каков бы ни был его предмет, они спрашивают только, какими они покажутся в нем, большими или малыми, будет ли то в глазах других, или в своих собственных. Тот же самый поступок при одинаковой комбинации своих факторов будет по этой норме казаться и бесчестным и честным, смотря по тому, какой будет он иметь вид, мелкий или крупный, какое будет он производить впечатление, – презрительной мелочи или уважительного события, – водевильного фарса или эпической рапсодии. На мелкий обман не пойдет наш нигилист, потому что мелкий обман уронит его даже в собственном чувстве, в его самомнении; но на тот же обман, только в грандиозных размерах, он пойдет с полной готовностью, потому что обман в таких размерах будет чувствоваться им как сила и будет экзальтировать в нем чувство собственного достоинства. «Ты, брат, глуп, еще, я вижу, – говорил Базаров своему юному поклоннику, – Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи. Не богам же, в самом деле, горшки обжигать!»

Итак, на подлость наш герой не пойдет; но он не потому ею гнушается, что мотивы ее гнусны, что смысл подлого поступка противоречит его нравственному чувству и сознанию долга, – он это нравственное чувство и сознание долга отрицает в их основах, – нет, он гнушается подлостью лишь по ее мизерному характеру, по ее мелочности и унижительности для его особы. Отнимите этот мизерный характер, раздайте размеры того же в сущности поступка, экзальтируйте этот поступок какими-нибудь далекими целями, так чтобы он не казался презрительным и мелким, – наш герой охотно совершит его и будет им гордиться. Следовательно, вопрос здесь может быть не о нравственном или безнравственном, не о честном или бесчестном, а только о впечатлении силы или бессилия, только

о размерах действия, – о размерах презрительных и подлых по своей малости, или уважительных и почетных по своему объему, по многочисленности ожидаемых последствий, по отдаленным целям, к которым он может повести.

Да откуда и может взяться чувство положительной нравственности в том уме, который разлагает и гноит в себе ее основы? Было бы странно требовать от Базарова другой нравственности, кроме той, которая определяется его гордостью и самомнением. Надобно брать его, как он есть; надобно, пожалуй, и на этом сказать ему спасибо. Тем не менее художественное изображение этого типического лица должно было отозваться горечью и унижением в умах, ему симпатических.

В заключение спросим себя, имеет ли у нас этот нигилизм серьезное значение и суждено ли ему будущее? Капля яда в нем есть, это так; поэтому и нельзя отказать ему в серьезном значении. Правда, значение это все-таки должно измеряться объемом той среды, в которой он обнаруживается. Наша умственная среда еще так мала, так ничтожна, что происходящие в ней явления, какого бы то ни было свойства, не могут иметь очень большое значение. Но среда эта постоянно расширяется, число принадлежащих к ней людей растет непрерывно, и то, что не имеет большего значения, может с течением времени вырасти до весьма уважительных размеров, если не повстречает серьезного противодействия. В чем же может состоять это противодействие? Напрасны будут всякого рода отрицательные меры против этих отрицательных явлений, – не только напрасны, но и вредны. Всякого рода стеснения и преследования, оказывая только паллиативное действие, могут с течением времени усилить болезнь и сделать ее хронической. Есть только одно верное радикальное средство против этих явлений, – усиление всех положительных интересов общественной жизни. Чем богаче будет развиваться жизнь во всех своих нормальных интересах, во всех своих положительных стремлениях, религиозных, умственных, политических, экономических, тем менее будет оставаться места для отрицательных сил в общественной жизни. При таких обстоятельствах Базаровым

было бы крайне неловко: им приходилось бы чувствовать себя в положении презрительном и бессильном, а это для них самая лютая смерть.

ТУРГЕНЕВ

Печать наша вдруг напустилась с удивительным пылом на корифея русских социалистов и революционеров, известного Петра Лаврова. Этот Петр Лавров, артиллерийский полковник и профессор Военной Академии, давным-давно выселился за границу и лет, не помним, двенадцать или пятнадцать подвизается на революционном поприще. Нет предмета в покинутом им Отечестве, который не был бы им или его друзьями оболган и оклеветан. Но гг. Стасюлевичи были долготерпимы и не возмущались революционными клеветами. Наоборот, они негодовали против всякого слова в обличении клеветников и неутомимо агитировали против всякого дела, клонившегося к ограждению нашего общества и нашей школы от влияния пропаганды Петра Лаврова и компании.

Что же случилось в эти последние дни? Умер Тургенев, и Лавров счел своим долгом почтить его память изъявлением благодарности за поддержку, которую тот оказывал Лаврову при издании социалистического и революционного органа *Вперед*. И вот теперь только и речи, что об этом якобы гнусном поступке Петра Лаврова; он де оклеветал знаменитого писателя, он лжец, злоумышленник, негодяй. Разыгравшееся негодование этих господ, разумеется, захватило и нас. Мы оказались чуть не соумышленниками Лаврова, чуть не продиктовали ему это заявление. Нас обвиняют, зачем мы не скрыли напечатанного и перепечатанного в иностранных газетах сообщения Лаврова, или зачем мы не отделали Лаврова должным образом за ложь и клевету. Увы, с нашей стороны обличение революционеров не было интересной новостью. Теперь вышло лучше. Мы вызвали г. Стасюлевича, en personne*, выступить против корифея русских революционеров.

* Лично (фр.)

Г. Стасюлевич доходит в своей ревности до того, что объявляет делом бесчестным со стороны парижской радикальной газеты обнародование письма Лаврова. По его мнению, никакой другой орган парижской печати не решился бы на это, кроме газеты бесшабашного Клемансо. Прежде чем печатать это позорящее память Тургенева письмо, Клемансо должен был потребовать от Лаврова доказательств и проверить их.

Г. Стасюлевич и его друзья так привыкли издеваться над простодушием русской публики, что считают ее способной поверить, будто в нынешней Франции, которая чтит за великий праздник день взятия Бастилии, поддержка революционному органу может считаться делом бесчестным, и что Лавров своим сообщением, а Клемансо обнародованием оно, хотели бросить тень на память покойного, а не возвеличить и прославить его, что раскрытие факта, который требовалось держать в секрете при жизни Тургенева, было, с точки зрения Лаврова, комом грязи, а не наилучшим венком, какой он только мог положить на гроб покойного.

Грешные люди, мы не думаем, чтобы и для многих здешних ревнителей памяти Тургенева венок, положенный Лавровыми на его гроб, был обстоятельством позорящим. Лаврову нечего смущаться укоризнами, которые теперь на него сыплются. Он хорошо понимает, что они не серьезны. Ведь никто и не думал укорять его, пока его сообщение не огласилось в России. Факт с притворным пафосом опровергается из опасения, чтобы он не смутил статистов, скликаемых к участию в спектакле.

Впрочем, в толках есть и разнообразие. Одни, как г. Стасюлевич, утверждают, что Лавров выдумал сообщаемый им факт. Другие, не отрицая факта, объясняют его мягкосердечием Тургенева, который оказывал де пособия нуждавшемуся человеку, а не делу его. Исчисляют доходы Тургенева и находят, что 500 франков слишком ничтожная сумма для поддержки революционного издания. Печатают умилительный рассказ о самом Петре Лаврове, который не вяжется с ехидством лжи и клеветы, приписанных ему самим г. Стасюлевичем.

Господа, будет вам вертеться! Незачем отрицать факт, сообщенный Лавровым, незачем и затирать его. Тургенев не милостыню давал Лаврову, который в ней не нуждался. Пятьюстами франков, которые Тургенев ежегодно посылал в редакцию революционного журнала *Вперед*, и другими подобными щедротами он откупался от травли, которая не давала ему покоя в шестидесятых годах и которая сразу прекратилась в семидесятых, когда Тургенев решил платить дань печенегам и половцам.

При впечатлительности, авторском тщеславии и некрепком характере он не выдержал оскорблений, которыми осыпали его многие из нынешних чествователей его памяти, и сдался...

Пишущий эти строки знал Тургенева с молодых лет. Его артистической натуре, изяществу его вкуса, образованному уму был ненавистен грубый радикализм, который начал овладевать нашей литературой с конца сороковых годов. Кончилось тем, что он без оглядки бежал из *Современника*, когда в этом журнале решительно водворился дух Добролюбова и Чернышевского. Помним, с каким раздражением, с какой горечью говорил он тогда о зарождавшемся нигилизме, его виновниках, о том самом Базарове, которому после публично поклонился. Тогда Тургенев держался довольно крепко. В первой половине шестидесятых годов высоко поднялся патриотический дух в нашем обществе. Правительство, бывшее тогда еще в полном обладании собой, впервые с полной решимостью вступало на путь национальной политики, обновляя страну, ободряя и оживляя ее здоровые силы. Но все изменилось в последнюю половину этого десятилетия. Началось печальное время антирусской реакции; дух в обществе упал, и к началу нового десятилетия снова овладело им растление. Семидесятые годы были периодом возраставшего ослабления правительства, упадка государственного духа, революционной пропаганды, которая охватила своей сетью всю страну и стала властью, с которой спорить было нелегко.

Тургенев был художником по преимуществу. У всякого свое призвание. Политические интересы мало занимали его, и

он не имел твердого гражданского образа мыслей. Все достоинство его произведений заключается в чистой художественности. Он не был призван к борьбе и убегал или откупался от того, что было ненавистно ему. Сначала он насиловал себя, старался задобрить своих противников. Но когда оскорбления сменились овациями, то путь задобривания стал легче и завлекательнее. Шаг за шагом бедный Тургенев дошел до того, что преклонял свою седую голову под приговором буйного студента-социалиста, который снисходительно журил и поощрял его. Это стоит пятисот франков. В то время, когда в России бесновались испорченные молодые люди, сами не зная чего от нее требуя и какому делу служа, когда преступление совершалось за преступлением, растерянное общество не знало, чему верить и чего ожидать, Тургенев переводил на французский язык записки одного из этих несчастных, бежавшего из тюрьмы за границу, и печатал их с уважительным отзывом о нигилистах в одном из парижских журналов. Тургенев стал, наконец, символом какого-то неопределенного либерализма. Никто не заботился о его литературных произведениях. В нем чувствовали политического деятеля, каким он никогда не был, хотя не прочь был оказаться таковым, чтобы собаки не кусались, а ластились.

Напрасно издеваются над пятьюстами франков. Чем же и куплены овации, которыми эти господа чувствовали Тургенева в последние годы его жизни и чувствуют теперь по смерти?

Тургенев обладал замечательным литературным талантом. Он принадлежал к плеяде талантов, народившихся и созревших в те тихие времена, когда у нас не было ни городских, ни земских говорилен, ни газет, ни революций. В литературе мы все еще живем последками тех времен, а теперь таланты рождаются туго, созревают плохо, старые же хилеют и умирают прежде естественной смерти своих обладателей или сходят с ума. Если талант Тургенева не отличался глубиной и обширностью концепций, то произведения его блещут прелестью рассказа, поэзией описаний, тонкостью отделки, мастерством если не в характерах, то в типах и положениях, той наблюда-

тельностью художника, которая возводит в ясные очертания то, что в жизни разбросано, растеряно и закрыто случайностями. Произведения его далеко не все равного достоинства. Лучшие принадлежат к первой поре его деятельности. Ряд позднейших его произведений представляет зрелище постепенного упадка. С той минуты, когда пришлось ему *откупаться*, он с утратой свободы духа терял и силу творчества. В последний период своей деятельности он писал как бы по памяти, которая все более и более изменяла ему. Но как бы ни были значительны достоинства лучших произведений Тургенева, они, в этом всякий сознается, далеко не такого свойства, чтобы возводить его во всемирные гении. Он не принадлежал к числу начинателей, каким был, например, Глинка, творец русской музыки, которому на этих днях закладывали памятник в Смоленске, что обошлось без всероссийских криков газет, без пышных депутатий, без гг. Стасюлевичей, столь ревностных к отечественной славе и к интересам искусства. Лучшие повести Тургенева навсегда останутся украшением нашей литературы, но преувеличивать его значение до тех размеров, какие хотят придать ему, можно только с задней мыслью, не имеющей ничего общего с литературой, в которой, однако, замыкается весь талант и все призвание Тургенева.

Если бы литературные произведения Тургенева имели действительно то значение, какое хотят придать им, чтобы всю Россию поднять на ноги для тризны по нем, то оценка его гения в продолжение сорокалетнего писательского поприща не могла бы не выразиться в чем-нибудь серьезном. Должна была бы возникнуть целая литература, посвященная изучению его творений, а между тем кроме двух, трех статей указать не на что. Его травили в лучшую пору его таланта; прославлять его стали на склоне и не как художника, а как вождя какой-то партии, как представителя европеизма и либеральных идей, как ходячий символ конституции, о каковой нет и помину в его произведениях. Ему чуть не приписывали освобождение крестьян; ему кадили как другу «молодого поколения», его превозносили за гуманные отношения ко всем развращавшим

наше полуобразованное общество тенденциям. Тургенева рядили в чуждый ему костюм политического деятеля...

Господа, вы тешились над Тургеневым при жизни: постыдитесь продолжать ту же игру на его могиле. Имейте сколько-нибудь уважения к памяти умершего человека. Оставьте Тургенева при его истинных заслугах и достоинствах; не рядите, по крайней мере, мертвое тело в тот наряд, в каком при жизни водили вы его по улицам. Дайте, по крайней мере, похоронить его честно...

Достоевский

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРЕННЕГО МИРА ДОСТОЕВСКОГО

Достоевскому воздается честь не просто как писателю, не просто как литературному таланту. В нем особенно ценно, особенно дорого то духовное направление, которое в нем выработалось его жизнью. Он принадлежал к числу избранных душ, которые неумоимо ищут правды, ищут Бога. Вот в чем, в этом искании Бога истинный прогресс и человека, и человечества! Как бы в этом искании ни заблуждался человек, оно спасет его, оно выведет его на путь, если только искание правды само правдиво и идет из глубины души. В ком живет это животворящее духовное начало, тот выдержит всякое испытание, тот не изнеможет ни в какой борьбе. Много тяжкого перенес Достоевский в своей жизни. Буря застигла его на самом расцвете его жизни. В своих молодых великодушных, но еще неопределенных порывах к добру и правде он оступился, подпал под удар сурового закона – и очутился на каторге. Не будь в нем Бога, он бы озлобился, ожесточился бы и упал бы бесповоротно с высоты своих мечтаний. Но для него страшное бедствие стало путем истинного, глубокого совершенствования; оно зародило в нем духовного человека. Быть может, он не

вышел бы тем, чем он стал в своей деятельности, если б Бог не судил ему этого испытания. Талант его не получил бы такого развития и не выработался бы в нем тот духовный строй, который характеризует его по преимуществу, в котором заключается его главное достоинство как писателя. Из неопределенных и смутных исканий он мало помалу вышел на тот узкий и единственный путь, который ведет к истине. Он обратился на самого себя, он вступил в борьбу с самим собой, в борьбу упорную, неутомимую; в себе самом, а не в других, казнил он беспощадно все дурное и порочное человеческой природы, и чем более он очищался и овладевал собой, тем глубже становился он сыном своего народа и христианином, верующим в простоте сердца. В русском народном чувстве обрел он Христа, и все, что было в нем идеального, стремящегося, все его искания сосредоточились здесь. В своих суждениях и оценках он мог ошибаться, и не столько отдельными мыслями производил он доброе действие на умы, сколько общим строем своей души, общим направлением своих помыслов. В нем мы видим русский ум, который свои идеалы ищет и находит не в пустоте, не в отвлеченностях, не на чужбине, а в живой душе своего народа. Наши идеалисты и реалисты относились к своей народности по большей части отрицательно. Заслуга Достоевского как писателя именно в том состоит, что он со всей искренностью и со всей силой своего дара почувствовал и обрел высшую правду в своем народном чувстве, и прежде всего дух милосердия, самое христианское в христианстве начало, которое, мы чувствуем, живет во глубине нашей народности и в котором таится ее истинная сила. В своих произведениях Достоевский часто изображает нравственно больных, прокаженных людей. Никакого безобразия он не отвращался, никакого ужаса не пугался, никакой наготой не смущался. Его анализ простирался до мельчайших подробностей нравственных недугов, и надо удивляться тому спокойствию, той, казалось бы, беспощадной тонкости, с какой работал его анатомический нож. Не то ли это, что называется обличением? Нет. Не то ли, что называется реализмом в искусстве? Нет. Был ли это бес-

страстный наблюдатель в интересе какой-нибудь науки или искусства? Или, наконец, не походил ли он на врача, который добросовестно относится к своим больным, но видит в них не более как патологические случаи? Нет, если он походил на кого-то, разве на беззаветно преданную Богу, обрекшую себя, бесконечно проникнутую чувством своего служения сестру милосердия, которая не гнушается никакой язвой, не брезгает никаким гноем и вся озабочена только тем, чтоб облегчить страдания болящего. Он в своих анализах ищет правды и идет все глубже и глубже, идет до конца, ничем не смущаясь, пока под этой гадостью, под этой мерзостью не почувствуется, не послышится сама эта больная, трепещущая, забывшая себя, заглушенная душа человеческая. И нам становится понятна эта кропотливость анализа, и в этих подробностях, возбуждавших в нас гадливое чувство, мы усматриваем дело любви, которая ищет Бога в человеке и не отчаивается найти человека в одичалом и погибшем существе. Ум обнаруживается в высоте и широте соображений; любовь же испытывается и дает чувствовать свою благодать в тесноте подробностей...

Мы знали человека, – старейшие из нынешних воспитанников Лицея еще помнят его, – человека, который ежедневным примером учил нас на деле самоотвержению и любви. В стенах Лицея мы соединили имя Павла в одной общей заупокойной молитве с именем новопреставленного Феодора. Покойный устроитель Лицея в своей деятельности, посвященной этому заведению, не считал для себя ничего слишком мелким или слишком низким; не было подробности в жизни Лицея или его воспитанников, в которую он не входил бы всей душой своей, забывая о себе, не зная отдыха в своем труде, неутомимый в своем терпении...

По слову апостола, нет ничего больше любви. Всякое достоинство, всякая заслуга напрасны без любви. Бесполезны для души человека и разум, и всякое знание, и всякая добродетель, если они не соединяются с любовью. А любовь ходит только тесными путями и не знает ни страха, ни гадливости и ничего не считает слишком мелким или слишком низким для себя.

Русский язык и древнерусская литература

ПЕСНИ РУССКОГО НАРОДА, ИЗДАННЫЕ
И. САХАРОВЫМ. ПЯТЬ ЧАСТЕЙ.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1838—1839.

С недавнего времени у нас в литературе только и толка, что о русской истории. По крайней мере, в толках и словопрениях о русской истории видна еще какая-то жизнь, заметно еще какое-то движение нашей в глубокую летаргию погруженной словесности. Бедная литература наша или молчит, или громко, протяжно зевает, и если иногда спросонья, большей частью в бреду, проговорит словечко, так уж это наверно: «Варяго-русы, «Норманны», «Несторова летопись достоверна», «Несторова летопись недостоверна», «Несторова летопись относится к XII», «Несторова летопись относится к XIV столетию» и т.д. Где же результаты? К чему же все это ведет? Пока ни к чему: все ограничивается одними пустыми спорами, одними педантическими ссылками на источники, из которых ничего не вытекает, переливанием из пустого в порожнее. Большая часть наших ученых (особенно ученых по части русской истории) не отличается излишней добросовестностью: вся их ученость заключается большей частью в знании наизусть нескольких имен, нескольких отдельных фактов без смысла, — у иных даже только в нескольких напрокат взятых фразах и в высших взглядах с домашнего курятника. Всем этим сором и мусором они без милосердия пьют в глаза всякому, кто хоть сколько-нибудь подбросовестнее их, кто дерзнет сделать им хоть какое-нибудь возражение. Впрочем, и из добросовестных-то немного таких, которые бы шли дальше мертвой буквы, которые бы с *живой жизнью* в собственном духе искали живой жизни и в предмете своего изучения. Как не могут по сю пору

догадаться, что знать множество фактов и не знать их смысла, их духовного значения – не составляет еще ровно ничего? К чему весь этот хлам, состоящий из одних пустых названий? Убудет ли меня, если ветер светит с моей памяти одно из этих *пустых* названий? – прибудет ли меня, если в мою память совершенно произвольно, совершенно случайно забредет какое-нибудь новое имя? Одним бессмысленным фактом больше, одним бессмысленным фактом меньше, – скажите, Бога ради, не все ли равно?.. Мы этим нисколько не думаем отвергать важность фактического изучения предмета, – о, напротив! Мы глубоко сознаем всю его важность, всю его необходимость; мало того, мы скорее станем под знамена тружеников, пересыпающих с самой наивной, с самой нежною заботливостью архивную пыль, нежели пристанем к партии пустозвонных фразеров, которые под руководством какого-нибудь заморского фигляра, выучившись ходить на ходулях, думают, что их все принимают за неизмеримых великанов, что они обозревают всю поднебесную. Мы нисколько не восстаем против основательного и подробного изучения фактов – это была бы вопиющая нелепость, – нет! Изучение фактов должно входить в состав полного изучения; фактическое знание есть сторона, ступень, *момент*, если позволено нам будет употребить это слово, полного знания. Внешнее в предмете есть откровение внутреннего, органическое проявление существа предмета, – и наоборот: все то, что не имеет внешние стороны, не существует, и потому очень естественно не может быть предметом никакого знания. Всему своя граница. Только живое «объятие» предмета в его целостности есть истинное знание; все прочее – или фраза, произвольная идея, родившаяся Бог знает как и вследствие чего в праздной голове – или совершенно бессмысленное блуждание в дремучем лесу случайных явлений, остающихся всегда чуждыми, всегда темными для скитальца, потому что сквозь внешнюю оболочку для глаз его не сияет проявляющееся в ней существо.

Обращаюсь к вам, велеречивые мужи, к вам, умеющим так красно и так звонко рассуждать и о том, как далеко и ши-

роко раскинулась Россия, и о том, что в ней великое, или, говоря вашим фигуральным языком, несметное множество народов, и о том, что на ее необъятном горизонте поднялась уже пурпурная заря, чреватая великолепнейшим, ослепительным солнцем, и проч. и проч., – обращаюсь к вам, мужи, умеющие так мастерски облекать свои лица в смиренномудрое выражение, так строго хмурить брови и собирать частые складки на лбу, умеющие с такими оскорбительным цинизмом твердить всем и каждому: «Надо трудиться, не жалеть сил для нашей матушки-Руси; фактов, фактов побольше, поближе узнать наш православный народец» и проч. и проч. – и, увы, доказавшие на самих себе, как иногда бывает справедлива поговорка: не все то делается, что говорится; обращаюсь и к вам, добрые труженики с самодовольными лицами, наглотававшиеся всякого сорта пыли и потому начиненные самой прочной, как вы говорите, ученостью: – скажите, знаете ли вы, что такое эта Русь, о которой вы так много твердите?.. Или, нет, мы не так сделали вопрос, – мы уже должны были угадывать, что вы заранее, бросив на нас грозный взгляд, скажете без запинки, что знаете Русь и что Русь вас знает, что вы тысячекратно повторяли это, что вам странно, как можно сомневаться в вашем знании... Итак, скажите лучше прямо, что такое Русь, что такое православный русский народ, из каких стихий сложился его характер, какие свойства составляют существо его духа, в чем проявлялась жизнь его, и что это за жизнь, как развивался он и в чем заключается его развитие? – О, если вы можете, то Бога ради отвечайте на эти вопросы! Эти вопросы задает вам ваша наука; отвечать на них вы должны по вашему призванию; не отвечать на них было бы вам грешно перед самими собой, перед вашей наукой, перед вашим великим Отечеством. Вы свободно возложили на себя свою обязанность, – так вы должны выполнять ее. Не бросайте снова грозных взглядов, не указывайте на книги, книжки и статейки, пущенные вами в свет, – шутки в сторону: эти великие вопросы, хотя и беспрерывно повторяемые вами в тертых и пустозвонных фразах, никогда еще не были даже и приблизительно решены; вы и не касались

их, вы и не стремились даже решать их. Не дерзая сомневаться в вашей добросовестности, в вашей благородной готовности свято выполнять долг своего призвания, мы должны невольно подумать и сказать, что вы не умеете решить этих вопросов; а между тем их решение, или, по крайней мере, стремление к их решению необходимо для вашей науки, так необходимо, что без него она не может двигаться вперед, она теряет всякое значение, она совершенно бесполезна, совершенно пуста.

Неужели ваши бесконечные споры, не поведавшие еще по сию пору ничего положительного, исчерпывают все дело? Слова нет: было бы прекрасно, было бы очень полезно определить, что такое Несторова летопись и меру доверия к ней, но разве ваши противоречия об этом предмете примирены, сведены к одному непреложному результату, и если вы даже в самом деле достигли здесь до какого-нибудь результата, то разве в этом заключается вся ваша наука? Неужели вы думаете, что изучать русскую историю значит бросать бедных варягов из угла в угол, на север и на юг, на восток и на запад, словом, всюду, где только захочет погулять ваше воображение; строить самые фантастические теории на этимологических созвучиях, на нескольких словах, а иногда только на одном слове; дробить один народ на множество совершенно различных народов потому только, что он слыл под различными наименованиями; разыскивать, точно ли такой-то и в такое-то время открыл такую-то рукопись и проч. и проч.? Правда, не должно упускать из вида и мелочей: они имеют свою относительную важность, они могут пригодиться к делу. Но где же самое дело? Не пора ли уже, наконец, подумать и о науке? Все то, что вы делали, или, лучше, что вы наговорили, не может быть названо даже и заготовлением материалов для науки... Боже мой! Сколько нужно еще сделать для того, чтобы разработать для нее вещество, очистить источники, из которых в ее жилы должны струиться жизненные соки! Какое огромное поприще, и как мало изыскателей оставило на нем следы свои! Расчищен ли мусор, покрывающий священные курганы древности? Отыскан ли таинственный цвет папоротника, который должен навести на те места,

в которых предки наши погребали богатство своей жизни? Осмотрены ли живые следы отживших поколений? Изучены ли драгоценные памятники, в которых народ сам высказывал себя, в которых трепещет, не потеряв нисколько своей свежести, жизнь целых эпох, отделенных от нас веками, памятники, в которых дух народа, разливавшийся в бесконечном разнообразии его быта, собрался и сосредоточился, и остался в них навеки тем, чем он был в исчезнувшем моменте, – памятники, которые можно сравнить с теми очарованными карбункулами, в которых, как рассказывается в сказках, Соломон заключил стихийных духов? Оценены ли критически государственные акты и документы – самый верный, самый прочный источник для истории, или, лучше, эти лживые факты, говорящие сами за себя, являющиеся в своем собственном виде, не в бледных описаниях, которые точно так же относятся к нам, как копии к художественным произведениям? Собраны ли, употреблены ли в дело описания, завещанные нам, потомкам, от грамотных дедов, в умах которых отражался весь их современный мир? Исследованы ли и определены ли, как должно, все остатки старины, рассеянные в различных частях России? Наконец, где полная, составленная сообразно с современными требованиями коллекция русских песен, в которых лицом к лицу является нам вся наша Русь, разоблачается перед нами вся душа русского человека, в которых излился весь дух русского народа?.. Боже мой! Неужели нелепые песенники, продающиеся на Толкучем Рынке и не имеющие цены выше гривенника, должны заменять такую коллекцию?.. Это позор для нашей литературы! Нам должно быть стыдно не только перед теми европейскими народами, которые опередили нас в образовании – нам должно быть стыдно перед нашими меньшими братьями, перед бедными, чужеземными племенами славянскими.

Посмотрите, с какой заботливостью, с каким умением их ученые собирают и издают народные песни; какой верный инстинкт руководит им, когда они для того, чтобы изучить жизнь народа, для того, чтобы узнать его физиономию и сохранить ее на веки веков, для того, чтобы понять смысл его истории, –

с изумительным рвением принялись изучать его поэзию... С какой любовью прислушиваются они к отрывочным звукам, слетающим с бандуры бродячего певца; с какой неутомимостью подбирают и классифицируют они эти звуки, с каким искусством подмечают они тайное сродство их и с какой силой сливают их в целые создания, в мощные потоки, светлые, прозрачные, в которых отражается живой лик народа!.. И это делается не в одном каком-нибудь племени, может быть, настроенном на особенный лад природой или обстоятельствами: нет, это делается с равной силой и с равными успехами почти у всех славянских племен, кроме разве тех, которые уже подгнили на своем основании, в которых иссяк жизненный источник. В самом деле, какое очаровательное зрелище представляют с этой стороны славянские земли? Несмотря ни на какие обстоятельства, их обитатели упорно держатся своей народности и ищут жизни не в смерти, не в мертвой букве, а там, где она кипит всей полнотою своих сил, где она блещет самыми роскошными переливами своих цветов, откуда она веет вешней свежестью... А у нас!.. Страшно подумать!.. Или в нашем глубоком народе, в этом представителе всего славянского племени, в этом исполине, одаренном необоримыми силами, не бил и не бьет родник живой воды? Неужели вся жизнь его была одним механическим выростанием и разрастанием? Но чьи же эти заунывные, обдающие всю нашу душу каким-то особенным, *русским* чувством, эти милые, так нам понятные звуки? Чьи эти напевы, то грустные, то веселые, но больше грустные? Чья душа разыгралась в этих песнях удалых, молодецких? Из чьей же груди, глубокой и мощной, пробились несдержанным потоком эти магические песни? Волны чьей богатырской жизни льются и переливаются в этих простых, но Бог знает почему так сильно действующих на нас звуках?.. О, они принадлежат той душе, которая трепещет и поет, послушав их, которая, где бы ни была и чем бы ни наполнялась, невольно отдается им, сливается с ними и уносится их стремлением! О, эти звуки, эти песни принадлежат душе русской! В них жива наша Русь, в них скрыто ее горячее сердце с целым морем его

чувствований; в них заключились со всем своим богатством, со всей благовонной святостью жизни различные эпохи, их породившие; здесь высказывается весь русский человек со всеми своими страданиями и радостями, в своей определенности и со своим стремлением к определению; в них отражается мощная, поразительная физиономия великого народа во всей своей естественной красе, как создал ее Бог!..

Так вот, где родник живой воды. Что же никто не приходит черпать из него? Что же по сию пору не проторены дорожки к нему – что же не обложены мрамором берега его? Или, нет: зачем забираться со своими требованиями так далеко? Спросим, почему по сию пору не разметаны пыль и сор, разбросанный вокруг него временем и заграждающий к нему доступ. Вы, добрые труженики, любители пыли, что это значит? Неужели эта пыль менее достойна вашего внимания, чем пыль архивная, которую оспариваете вы у обитателей подполья? Выйдите из вашего душного заточения, выйдите под открытое небо, на чистый воздух: здесь обновятся ваши истощенные силы, освежатся ваши бледные лица; здесь солнце, в ваших кабинетах тусклая лампа; здесь жизнь, в ваших кабинетах смерть и тление, здесь труд не изнуряет, здесь труд живит, и здесь он легок и сладок, деятельность, не заключающая в себе никакого действительного содержания, не перетирает саму себя, здесь она непрерывно наполняется вечно новым содержанием. Неужели мы всегда должны довольствоваться безверными, неочищенными отрывками, которые удастся нам случайно услышать там и там? Неужели навсегда только одни ямщики будут представителями нашей народной поэзии? Неужели всякий, кто захочет упиться ей, должен для этого ездить по всему огромному пространству России, по всем углам и закоулкам, и ловить православного мужичка под веселый час? Неужели всякий должен повторять одни и те же труды? Кто из образованных русских не захотел бы *узнать* поэзию своего народа во всей ее действительной целостности? Но у всякого свое дело, свое призвание: все не могут посвящать свою деятельность одному и тому же предмету; требовать этого было бы

нелепо. Собирать русские песни, изучать их, критицизировать, по крайней мере, с исторической точки зрения обязаны более, нежели кто-нибудь, занимающиеся историей Руси: кто будет отрицать, что песни народа суть один из самых важных, из самых существенных источников для его истории? Скажем более: нигде народные песни не могут иметь такого значения, не заключают в себе столько важности для истории, как у нас. Славянские племена так бедны памятниками другого рода, жизнь многих из них и теперь еще чужда всемирно-исторического прогресса; они все очень хорошо сознают это и обращают все внимание на единственное выражение своей внутренней жизни – на песни. Русский народ был также долго вне этого всемирно-исторического развития; до него также долго не касались идеи, двигавшие человечество; он долго зрел одиноко, замкнутый со всех сторон, и только готовился – готовился тихо, едва заметно – к своему высокому назначению, в которое ввел его гений великого Петра. Только с Петра возникла Россия, могучее, исполинское государство; только с Петра русский народ стал нацией, стал одним из представителей человечества, развивающим своей жизнью одну из сторон духа; только с Петра вошли в его организм высшие духовные интересы; только с него начал он принимать в себя содержание развития человечества. А до Великого у нас не было ни искусства в собственном смысле этого слова, ни науки. У нас нет готических храмов, у нас нет ни произведений художнической кисти, ни произведений резца, у нас не было музыки. Народ еще не созрел тогда для таких проявлений своего существа: он был весь погружен в естественную жизнь, которая может обнаруживаться в естественной же, в *наивной* форме. Эта наивная форма выражения жизни народной есть народная поэзия. В самом деле, у нас очень мало предметов, непосредственно выражающих натуру русского народа, и ни одного, который бы равнялся в важности песням. Мы не говорим здесь об истории в тесном смысле, о политических фактах, в которых также выражается, или, лучше сказать, проявляется жизнь народа: они относятся к другой категории.

Вследствие всего этого равнодушие наших ученых к народным песням становится еще удивительнее, еще более заслуживает укоризны. Нельзя, однако ж, сказать, чтобы не было совсем никаких опытов собирать и даже изучать русские песни; но сумма их так мала, так ничтожна, что она теряется в предмете исследования как капля в море. Здесь более прочих заслуживают упоминания гг. Якубович и Калайдович, издавшие несколько поэтических песен, известных под именем песен Кирши Данилова, в виде, хоть сколько-нибудь похожем на дело. Но как они, так и все другие делали это не по сознанию достоинства и важности созданий народа, а так, ради курьеза; они даже и не предчувствовали в них поэзии, как они сами откровенно сознаются. После того нельзя было бы и ожидать от них чего-нибудь похожего на то, что было сделано у других славянских племен, весь труд собирателей заключался только в том, что они записывали слова и потом безо всякой связи, безо всякой критики, печатали их. Давно уже обещана нам большая, ученая коллекция русских песен; взоры всех любителей народной поэзии с ожиданием устремлены на г. Киреевского, – но он медлит и медлит; его издание мелькает перед нами в туманной дали будущего, как прекрасная мечта, к которой мы привязаны даже и тогда, когда не совсем верна надежда на ее осуществление... Но кто может знать и говорить о том, что впереди? И потому перейдем лучше к книжкам, лежащим теперь перед нами и пробудившим в нас все, что было нами высказано.

Это, как значится в заглавии нашей статьи, «Русские песни», собранные г-м Сахаровым. Г. Сахаров заслуживает благодарность за свое трудолюбие, за свою любовь к нашей народности. Он уже издал недавно книгу под названием «Сказания Русского Народа». Мы не хотим сомневаться в том, что он трудится, что он не жалеет сил для предмета своей деятельности; мы благодарны ему за все, что им сделано: всякий пусть делает, что может, или даже что хочет: этого правила критик не должен упускать из вида. Вот что говорит сам г. Сахаров в маленьком предисловии, приложенном к первому тому:

«Было время, когда с восторгом вслушивался я в напевы русских песенников, когда с жадностью записывал русские песни со слов простолюдинов; тогда я был покоен; тогда я делал для себя. Теперь... с отпечатанием песен я делаюсь посторонним человеком, с покорностью ожидаю приговора за свои труды от знатоков и безграмотных людей. Такова участь издателей».

В чем должна заключаться оценка трудов почтенного издателя? Критик должен определить свои, или, лучше сказать, современные требования от исследователя народной поэзии и вообще от собирателя песен, должен представить идеал того, что должно быть свершено на этом поприще. Но для этого он должен определить самый предмет, должен измерить, сколько позволяют ему его права и обязанности, это поприще. И потому мы прежде всего укажем нашу точку зрения на народную поэзию и постараемся развить, сколько можно кратко и отчетливо, наше понятие о русской народной поэзии. Пределы критической статьи дают нам право требовать от читателей, чтобы они не ждали от нас ничего более, кроме намеков. Потом мы посмотрим – чем должна быть сообразная с современными требованиями коллекция песен.

Всего чаще можно услышать выражения: «народ живет», «народ развивается». Посмотрим, что обыкновенно хотят сказать сими выражениями. С первого взгляда, для простого, эмпирического смысла эти выражения могут показаться, если не вовсе нелепыми, то, по крайней мере, неточными и только фигуральными. В самом деле, народ не есть осязаемое органическое существо, такое же, например, как отдельный человек, как всякий предмет природы; он не поставлен пред нашими эмпирическими взорами как особый предмет, сам собой втесняющийся в сферу наших представлений; он не дан нам *непосредственно*, т. е. мы не можем подойти к нему прямо, указать на него, – указать в собственном смысле этого слова и сказать: вот что называем мы народом. Но, относя к народу слова «живет» и «развивается», мы даем ему значение органического, особенного существа. Если видеть в народе только случайное

сборище людей, занимающих известное пространство, и больше ничего, то искать в нем жизни и развития было бы точно нелепо: живут в нем отдельные люди, каждый сам по себе, а народ, собрание их, как же может жить? ведь сборище не есть нечто действительное; оно и не существует вовсе как предмет, которого части связаны органически воплотившимся, зримым единством. Все это совершенная правда; но и тот прав, кто скажет, что народ живет. Народ есть органическое, живое существо, но чисто духовное, а не чувственное. В каждом отдельном предмете части, составляющие его, и единство этих частей, связующее их в одно целое, пребывающее на известной точке пространства – сопроникаются взаимно и взаимно друг друга условливают. Отнять от предмета это единство – значит рассыпать его на части, значит умертвить его. Мы еще больше поясним нашу мысль, если скажем, что под единством частей живого существа мы разумеем то, что зовется организмом. В народе целостность частей существует не явно, как в отдельном предмете: она незрима, она таинственно связует члены народа, *по-видимому* разрозненные, *по-видимому* не имеющие никакой внутренней, живой связи. Части народа сами по себе в их разрозненности доступны для эмпирического воззрения; но видеть органическое существо в народе, видеть живую связь его частей может только тот, у кого открылись духовные очи. Здесь уже прекращается царство *непосредственного* созерцания, которому предметы даются сами собой: здесь предметы схватываются и постигаются не иначе, как *через посредство* духовных орудий, – духовного процесса.

Итак, в чем же заключаются жизнь и развитие народа? Мы нашли, что его организм принадлежит к царству духа, а не к царству внешней природы; следственно, и жизнь его не есть жизнь естественная, какой живут отдельные предметы природы: она должна иметь духовное свойство и в своем развитии принимать духовные определения. Для того, чтобы пояснить это несколько темное выражение и прямее приступить к нашему предмету, взглянем поближе в то, что мы зовем «развитием». «Развиваться» значит, как уже показывает само слово,

раскрывать, разворачивать то, что сжато и сосредоточено в безразличном единстве; следовательно, обозначать и *определить* отдельные *моменты*, части, составляющие сущность предмета, выводить их постепенно один за другим в их характеристическом различии. Развиваться может только что-нибудь, то, что уже *существует*, что уже дано непосредственно как *сущность* предмета. Эта сущность есть зерно, где таинственно кроются все те части, которые постепенно выводятся развитием, пока не истощится их запас, пока то, что существовало идеально, не проявится во всей полноте, не станет действительным предметом. Между сущностью предмета и самим предметом, т. е. развившеюся сущностью, такое же отношение, какое между семенем растения и самим растением.

Итак, исходный пункт жизни народа есть его сущность. Но где же найти эту сущность, где *же* увидеть ее? она должна также иметь свое проявление, должна открываться в чем-нибудь; иначе мы не могли бы говорить о ней, как о сущности; как о чем-то существующем. Сущность, например, растения скрыта в семени; качеством семени определяется и качество самого растения. Проявление сущности есть самая первая, *самая непосредственная* ступень развития, в которой заключаются все последующие ступени; так точно в музыкальном произведении тема, с одной стороны, есть начало его, его первый, простейший мотив; с другой же стороны, она есть источник всех других мотивов, звучащих в этом произведении, как бы ни было велико их число и разнообразие.

Первоначальный вид народа есть его первобытное состояние, то состояние, в котором живет он до той минуты, когда вступает на поприще всемирно-исторического действия, до той минуты, когда он является членом в организме человечества, членом, трепещущим жизнью всемирно-исторической, вливающейся в него в таком количестве, какое необходимо для того, чтобы он мог свободно двигаться и выполнять свое назначение. Первобытное состояние народа имеет различные формы так же, как и позднейшее, развитое. Первая и самая простая форма есть семейные отношения, отношения между

отдельными людьми: это низшее и самое естественное (в отличие от духовного) определение жизни народной. Потом – отношения общественные, из которых развивается государство: в этой форме народ является тем, чем он должен быть – народом, между тем как в первой форме он был только семейством; здесь образуется и сочленяется тот духовный организм его, о котором мы выше говорили; здесь первый момент его исторического существования, зародыш того, что впоследствии должно быть свершено им в человечестве и для человечества. Наконец, третья и высшая форма есть его – выразимся так – теоретическая деятельность, его созерцание жизни и мира, его мифология, его поэзия. Мы назвали эту форму высшей, потому что здесь народ возвышается наконец до сознания самого себя, между тем как в первых формах он только проявлял себя. Здесь организм народа, образовавшийся и сочленившийся в предыдущей форме, получает сквозящую прозрачность; здесь жизнь его не просто двигается, но и обращается на самую себя, созерцает свое движение. Из всего того, в чем может обнаруживаться теоретическая деятельность народа в его первобытном состоянии, преимущественно должна обращать на себя внимание поэзия. Ей должно дать главное место, ее должно поставить в центр; все другие проявления теоретической жизни народа на этой ступени гораздо слабее, гораздо беднее ее, часто зависят от нее, часто условливаются ею, заимствуют у нее средства, даже черпают из нее жизненные силы. И это очень естественно. Наука возникает только в народе развитом: о ней и думать не должно при рассматривании народа дикого, еще не освободившегося от уз природы. Высочайшая, истинная религия доступна только для такого народа, в котором пробудился уже самосознательный и свободный дух, который перешел очистительный период жизни и очистился столько, что способен быть сосудом божественного слова, способен принять в себя откровение божества. Но народ, до которого не коснулось еще влияние духа, народ, в котором нет еще ни духовных вопросов, ни духовных стремлений, который еще только зреет для того, чтоб быть сосудом, проявителем той идеи, для коей

призван в мир, такой народ может иметь только предчувствие религии, может обнаруживать в себе возможность принять со временем откровенную истину; все его религиозные представления сами по себе не имеют никакой истины, все они не больше, как призраки, порожденные самим же народом; они имеют только относительное значение, раскрывая собой характер народа и обличая его религиозный орган.

Дух везде равен самому себе; он везде один и тот же; как в отдельном человеке, так и в отдельном народе, так и в целом человечестве, как в зерне развития, так и различных циклах своей жизни – действует он по одним и тем же законам, творит одни и те же миры, изводит из себя одно и то же содержание. Каждый период развития духа есть повторение предыдущего периода и вместе отрицание его; повторение – потому что дух, перейдя с одной ступени на другую, нисколько не изменил своего существа, ни одним атомом не увеличил и не уменьшил того, что от века заключалось в нем; отрицание – потому что дух не удовлетворяется ни одной формой своего проявления, потому что ни одна форма не может назваться равновесным выражением содержания духа, ни одна не в силах исчерпать всего бесконечного богатства духа, ни одна столько не прозрачна, чтобы дух сквозь нее являлся вполне тем, чем он есть по существу своему: он сбрасывает с себя одну форму для того, чтобы открыться другой, достойнейшей; он переходит с низшей ступени на высшую для того, чтобы виднее и явственнее показать существо свое. Все его назначение, все его развитие именно и заключается в том, чтобы непрерывно больше и больше уравнивать форму своего проявления с содержанием своего существа; потому-то деятельность его и обнаруживается в непрерывном метаморфозировании, в непрерывном отрицании. Шумно кипит поприще; веселый народ разбросан на нем могучими группами; гордые члены бойцов напряглись непреклонной отвагой, взоры их блещут сознанием силы... как выразительны контуры, как крепки мышцы, какая свежесть в телах и как прозрачны самые тени!.. Лучи обливают картину; цвета горят ярко, картина упруга, карти-

на дышит неодолимой силой... Взор ослепляется нестерпимо-ярким колоритом; тщетно хочет он обнять целость дивной картины: каждый предмет так мощно приковывает его к себе, каждая частность так разнообразна, так бесконечно-богата новыми частностями, так неотразима в своем впечатлении!.. Но постойте – видите ли, как начинает тихо и чуть заметно меркнуть далекий фон? Видите ли: лучи уже не с такой силой отражаются о предметы? Смотрите, смотрите – перспектива сжимается, передние группы бледнеют, группы в последних планах как будто свертываются и объемлются каким-то туманом; этот туман все ближе и ближе – он застилает собой всю картину; смотрите теперь, смотрите, пока не исчезла совсем картина, пока туман не поглотил всей жизни, – обнимаете ли вы теперь целость частей, организм дивного создания? Так, это дух, это момент его развитая; это он озарял таким нестерпимым блеском поприще, это он раскинулся в атлетических группах, это он горел во взорах людей; он двигался в каждом члене их; он обнаруживался в каждом взмахе руки, в каждом шаге ноги; это дух рассыпался на бесконечное множество отдельных явлений, это он рассыпался по картине; – но дело свершено, группы исчезли, темно и холодно... Как? но разве вы не видите блеска и движения там, в углу фона, там, откуда выходит солнце?.. Шумно стремятся новые группы, разноцветные круги появляются один за другим, сходятся и расходятся и размещаются по планам перспективы, новое солнце радостно потекло; новые лучи радостно заиграли и засверкали... Но колорит еще сильнее, контуры могущественнее, картина шире и глубже. И вечно будет повторяться эта смена, вечно, пока жив будет дух, а дух бесконечен и вечен!..

Но мы увлеклись в сторону от предмета; мы бы никогда не кончили, если б все продолжали идти по этому направлению. Мысль о тесных пределах нашей статьи заставляет нас просить прощения у читателей за это отступление...

Итак, народ в первобытном своем состоянии, народ, закованный в узы природы, народ естественный, зерно будущего народа, проявитель вечной идеи на самом поприще духа, пу-

скает из себя с самого начала своей жизни ростки, из коих свободным движением должны развиться все возможные определения, которые примет дух в этом народе. Даже у дикарей найдете вы зародыши всех тех миров, которые порождает из себя дух в своем развитии. История состоит не из отдельных отрывков, выхваченных, положим, из других планет, в которых жизнь развивается по иным законам: в каждой фазе жизни человечества содержание одно и то же, разница только в форме. Человек везде человек, на какой бы ступени образования ни находился он: народ всегда народ – живой организм, предназначенный для проявления всемирно-исторической идеи, – все равно, улучим ли мы его на заре его дня или в ясный полдень, кипящего всей полнотой созревших сил, или на тихом закате, в таинственный час смерти. Первобытное состояние народа есть как бы прелюдия к дивной оратории, в которой должна прозвучать его жизнь, как бы пролог к шекспировской драме, пролог, в котором уже обозначены противоположности, очеркнуты противоречия, долженствующие столкнуться в ходе драмы, вступить в борьбу и разрешиться в торжественное примирение, примирение, когда сокрушается организм, гибнут частности и жизнь покидает остывающих на арене бойцов и улетучивается в общую жизнь человечества. Как бы ни была низка ступень развития народа, в нем непременно должны возникать стремления к вечным областям свободного духа; в нем непременно должны быть начатки великих откровений духа. Вот почему никто не должен смущаться фактом, что у народа *дикого*, не отрешившегося от уз природы, есть очерки высших определений духовной сущности, есть космогония, теогония, есть поэзия. В самом деле, эти определения, эти области духа не могут даваться даром, не могут обретаться непосредственно, без труда, без посредства развития, без предыдущих страданий, которым они служат исцелением, без предыдущей борьбы противоречий, которым они служат разрешением. В них дух обретает награду за тяжкий труд развития, в них он является совершенно свободным, отрешенным от всех цепей, абсолютным; здесь существо его светло и прозрачно, здесь он

углубляется в бесконечность своего существа и блаженствует ею. Но за что же дается такая награда духу неразвитому и нежившему? За что же дается блаженство примирения тому, кто не испытал мук раздора с самим собой?.. Но что есть, то должно быть, и – взглянитесь хорошенько, вы убедитесь в разумности и необходимости того, что есть и что должно быть; завистливое чувство, завистливый вопрос исчезнет в душе, как мгновенно налетевший туман. Неизмеримая бездна отделяет космогонию народа от науки, теогонию от религии, его безыскусственные, неискушенные песни от искусства, от творческого проявления искушенной фантазии. Это эмбрионы, а не готовые, живые существа; это первоначальный хаос брожения элементов только что пробудившейся жизни, а не полные света и бесконечного блаженства пиры свободного духа. Скудны и слабы наслаждения бедных детей природы; тесны пределы их жизни, душна атмосфера их мира: их радости, их горести возникают из животных ощущений; они не знают цены окружающей их действительности; они не извели благодатного чувства любви к ней, потому что они не познали еще своей особенности, а любовь может быть между особными, между различными существами; они слиты с природой, они не вглядывались в красу ее и очарованные, плененные ее могучими прелестями, не бросались в избытке страстного восторга на ее лоно, не лобзали ее горячими поцелуями любви, не упивались негой ее дыхания, потому что они никогда не отрывались от ее лона, потому что они никогда не отдалялись от нее, потому что они, как родились в ее объятиях, с устами, прижатыми к ее персям, так и остались в безмятежном незнании того, кто они сами и кто лелеял их с такой нежностью. Что не распадалось на противоположности, в том еще нет жизни, потому что нет любви; только две противоположности, только два различные существа ищут друг друга, встречаются и, встретившись, обнимают друг друга и сливаются в гармонию одного аккорда; слившись воедино, они не теряют сознания своей особенности, своей отдельности: они видят свои личности друг в друге, они сознают себя одно в другом. И в народе, пока он не начинал еще отрешаться от

природы, не может быть никакого движения, никакой жизни. И горе тому народу, который не воспрянет тотчас же по своем явлении в мир, не будет высвободиться из объятий своей матери, не будет силиться сбросить с себя бремя, не будет срывать с себя одну за другой пеленки, горе ему, если не начнет тотчас же борьбы с природой, борьбы, в которой должны расправиться его члены, скрипнуть мускулы: он навсегда оцепенеет, зерно развития сгниет в нем, не дав ростка, силы замрут, не развернувшись, он умрет не живши, не родясь... Но народы, предназначенные для жизни, в самый миг появления на свет начинают процесс движения, начинают расторгать свои узы и поражать еще неокрепшими дланями воздоившую их грудь. В них тотчас же возникает чувство личности, стремление к независимости и самостоятельности; внутри их начинают появляться и организоваться определения духа, начинают выработываться факты *субъективной* жизни, начинают сквозь животную форму пробиваться мысли, начинает тонкой нитью сквозь материальное существование прокрадываться идеальное развитие; пока народ не отрешится, наконец, от бесчисленных пут, которыми обвила его природа, пока не образуется его духовная физиономия, пока не сочленится вполне его организм и не проявится в непреложной форме разумного государства, пока он не станет тем в духе (в истории человечества), чем он есть по своей сущности. Отсюда уже начинается период движения свободного духа в народе, развиваются те бесконечные миры, в которых он открывается самому себе со всей бесконечностью своего существа.

Теперь мы нашли, в каком народе, в каком состоянии народа, при каких условиях возникает и живет народная или, лучше сказать, естественная поэзия (*Naturpoesie*). Посмотрим же теперь, почему именно поэзия служит полнейшим и могущественнейшим проявлением внутренней жизни народа на рассматриваемой нами ступени. Поэзия по существу своему смыкает примирительным звеном чувственное созерцание с идеальным самосознанием, чувственную форму с бесплотной идеей, уравнивает материю с духом. Поэзия есть тот мир,

который граничит, с одной стороны, с внешней областью духа, где живет он, не зная самого себя, где он только проявляется, а не сознает себя, и если видит свое проявление, то разве только снаружи; с другой стороны, граничит она с внутренним миром духа, с царством мысли, в котором владычествует бесплотная жизнь и открывается в бесплотных же формах. Область поэзии, или, скажем лучше вообще, область искусства заселена так же живыми, органическими существами, как и мир эмпирической действительности, в котором движемся мы; в ней есть и небо, и земля; но земля ее зеленеет ярче, цветет благоуханнее, небо прозрачнее и глубже; там все полно торжественного света; там нет ни одного предмета темного, ни одного уголка, в котором бы не горел луч вечного солнца; там солнце не извне освещает жизнь: оно горит неугасимо внутри жизни, внутри каждой формы жизни; оттого-то так и сияют образы искусства, оттого-то каждый из них и окружен блистательным ореолом лучей, исходящих из него же самого; оттого-то в произведениях искусства атмосфера вся полна света, или, лучше, вся из света, слиянного из бесчисленных лучей! Вот что мы представляем себе, когда говорим, что искусство соединяет бесконечную идею с конечной формой, одухотворяет внешнее, чувственное, и воплощает внутреннее, сверхчувственное. Жизнь, открывающаяся в искусстве, есть первый момент, первая эпоха свободы духа: здесь он впервые проникает до существа своего и созерцает его, хотя и сквозь покров чувственного проявления.

Поэзия, так же как и всякий вид теоретической деятельности в народе, пробуждается тогда, когда народ начал свою борьбу с природой, когда в нем уже возникло первое, хотя и не свободное, хотя и подавленное силой еще непобежденной природы, движение духа. Мы назвали уже выше этот период жизни народа хаотическим брожением его элементов. В его духе, только что пробудившемся, царствует густой мрак, едва прорезываемый тусклыми лучами, льющими неверное, обманчивое мерцание. Первые явления духовной жизни подобны неустановившимся кометам, которые без всякого порядка, не повинувшись никакими законам, носятся в мрачной пустоте: это

зародыши идей и мыслей будущих граждан в будущем царстве духа. Эти идеи и мысли суть освобожденные от природы стороны духа, те светлые точки его существа, которые уже отделились от природы. Мы назвали их зародышами, потому что они далеки еще от того состояния, в котором должны впоследствии явиться через посредство развития. Это слабые, бледные призраки, дикие и безобразные, случайно разбросанные в сознании там и там, невидящие друг друга, ярко заклеянные печатью рабства, которая только тогда совершенно сгладится с них, когда освободится целый организм духа. Мы поймем, что такое эти первые плоды сознания, если определим их развитие. Цель духа – открыться в них, пробиться сквозь кору *естественности*, сквозь чувственную оболочку, сделать их формами самосознания. Они тем светлее, тем ближе к своему назначению, чем больше просвечивает сквозь них дух, который только тогда успокоится и примирится, когда победит всякую чувственную преграду и явится в них во всем блеске существа своего. В сознании свершается воссоздание чувственного мира, одухотворение темных предметов природы. Одухотворить предмет не значит вложить в него дух, которого прежде не было в нем, – нет, каждый предмет в природе выражает уже сам собою одну из сторон божественной мысли, воплотившейся в мире; нет ни одного явления, в котором бы не присутствовал дух; нет ни одной внешней формы, в которой бы не открывалось внутреннее содержание. Если есть явление, значит есть существо; если есть форма, значит есть содержание, если есть внешнее, значит есть внутреннее. Во всем проявляется дух, но сознает себя он только в самом себе. Сознывая себя, он следует тем же законам своего существа, по каким и проявлялся; он повторяет тот же процесс, проходит через одни и те же ступени развития. Сначала он принимает в себя предметы темными и непрозрачными, потому что он еще не видит в них самого себя; далее он начинает постепенно просветлять их, по мере того, как усматривает в них себя, или – употребим более удобное выражение, которое мы уже оправдали, показав его смысл, – входит в них, или, что все одно и то же, пробива-

ется сквозь их оболочку. Явно, что до той поры, когда он весь обнаруживается в предмете, предмет существует в сознании, в ложном и искаженном виде. Оторванные от спокойного, естественного существования, предметы теряют на время полностью своего содержания, которая тихо и немо жила в них в форме вещества; сознание пробило эту вещественную форму и содержание ее, воспламененное только в отдельных частях своего существа, – только отдельными частями, отдельными светлыми точками сквозит в предмете. Предмет утратил свою разумную, прекрасную *естественность*, он стал каким-то фантасмагорическим призраком. В сознании он уже не выражает того, что выражал в природе: он утратил свою истину, потому что дух сознал себя только в одной стороне его содержания, заставил его выражать только часть того, что он действительно выражает и что должен выразить: предмет стал символом.

Нам кажется, что нельзя лучше характеризовать явления в этом периоде сознания, как назвав их «символами». Символом называем мы все то, что намекает на какое-нибудь значение. В символах заключаются два элемента: во-первых, внутренний, какое-нибудь значение, – во-вторых, внешний, то, что намекает на это значение. Он не есть ни совершенно-чувственное созерцание предмета, ни чистая, совершенно-отрешенная от чувственного проявления мысль, ни даже художественный образ, примиряющий мысль с предметом, – это живое целое, в котором уравновешено чувственное со сверхчувственным. Символ только колеблется между внешним и внутренним; он насильственно сводит их, а не примиряет, не сливает их в живое, органическое целое; это образ неудавшийся, *image manquée**; в нем дух стремится только стать образом, полным, гармоническим откровением внутреннего во внешнем; в нем он только ищет равновесной формы для своего содержания; находит же он ее только тогда, когда совершенно окрепнет и освободится, когда достигнет того момента своего развития, который мы зовем *художественным искусством*, когда станет творческой фантазией.

* Образ неудавшийся (фр.)

После всего этого должно быть понятно, почему все явления внутренней жизни народа на первой ступени развития, его космогонические и теогонические представления запечатлеваются характером поэтического созерцания. Его мысли представляются ему в чувственных формах, но не в художественных, а символических. Мыслит ли он о существе высочайшем, он указывает на небо, на грозную тучу, издающую гром и молнию, на мощный, беспреградный поток, низвергающий все на пути своем, на огонь, которому не может противиться ничто живое и т. д., словом, на все те могучие феномены природы, в которых она является страшной властительницей; или, если он двинулся дальше в своем развитии, создает существа особенного рода, которых назначает к тому, чтобы они намекали своим видом на какие-нибудь отвлеченные представления. Это божества его, лица его мифологии. Божеству силы, например, дает он какой-нибудь признак льва; богине плодородия дает он в символ фаллос; верховному блюстителю неба и земли вложит он в длань перун; бога добра покроет он белым, бога зла черным цветом и пр. Он определит отношения между своими божествами, и в диких, хотя и не лишенных какого-то грандиозного величия гимнах, воспоет их происхождение, их историю, их брани, их подвиги. Каждая дума, каждое чувство его носит на себе отпечаток какого-нибудь явления природы; он ни в чем не может отрешиться от чувственных представлений; его речи испещрены непрерывными фигурами и тропами. У американских дикарей, например, самая пестрая песня из самых пестрых образов есть обыкновенный, вседневный язык. Каждое свойство, нравственное или физическое, существующее в сознании народа, непременно имеет в его фантазии своего представителя, — по крайней мере, те из них, которые преимущественно уважаются народом, в которых он любит себя самым собой. Эти представители различных свойств суть идеалы народа, которыми он гордится, которые он славит, которые он оделяет всем богатством своей фантазии: это богатыри, герои, из которых каждый образует вокруг себя особый миф из своих подвигов и доставляет содержание для эпических

песнопений. Они запечатлены тем же символическим характером, хотя и в меньшей степени, нежели герои космогонических и мифологических песен. Это не живые индивидуальные существа, которым не достает только плоти, чтобы встать и смешаться с действительными людьми, не такие создания, которыми заселены светлые миры художнической фантазии, не такие создания, которыми радовался до самозабвения, утопая в мгновенном наслаждении грек: все они большей частью являются символическими олицетворениями какого-нибудь свойства, физической силы, например, отваги, удачества и т.д.; других же свойств живой души или вовсе нет, или они все подчиняются одному, господствующему. Их лики одноцветны, без всяких теней и оттенков; дела монотонны. Так как господствующее свойство все поглощает и претворяет в себе, так как оно одно составляет существо их, то очень ясно, что оно должно выходить из своих естественных размеров, принимать вид колоссальный и доходить даже до уродства. Так, например, есть богатыри в русской народной поэзии, которых не держит земля, в которых сила подавляет самую себя, и они в своей бессильной силе, задыхаясь под собственной тяжестью, бездейственно лежат весь век громадными горами там, где свалила их собственная сила.

Был один народ в мире, который родился со свободным духом, – народ, проживший без борьбы и страданий и пришедший в мир для того, чтобы насладиться победой, собрать плоды страданий, не им понесенных, – народ, для которого тяжело трудились в продолжение целых веков другие народы, которому безропотно передали они то, что приобрели кровавыми трудами, и на который без зависти, с любовью и тихим чувством умиления смотрят его менее счастливые собратья, – народ, который был рожден у самой цели тяжких стремлений своих предшественников, – которого первые взоры пали на красоту, на роскошнейшие цветы полуземного-полунебесного существования, – у которого первый младенческий крик излетел из груди, переполненной наслаждением, – которого... Но мы век бы не кончили, если бы стали продолжать характеристику это-

го светлого народа. Этот светлый народ, этот любимец духа и природы, кто как не сыны прекрасной Эллады?

Между развитием целого человечества и развитием отдельного народа нельзя не усмотреть большой аналогии, хотя было бы нелепо искать совершенного совпадения между ними. В человечестве дух исчерпывает вполне каждый момент свой; в народе же он быстро перебегает с одной ступени на другую; на иных ступенях он слегка, чуть заметно, обнаруживает себя, к другим едва касается, как будто перескакивает через них до тех пор, пока достигнет он той ступени, для которой был рожден народ и на которой жизнь народа является одним из моментов жизни человечества: здесь он останавливается и исчерпывает себя. Греческий народ имел назначение исчерпать своей жизнью все существо искусства; проявить искусство в его всемирно-историческом значении. Другие исторические народы, его предшественники, были предназначены развить самосознание духа до этой ступени; жизнь их в сложности соответствует тому периоду в жизни народа, в который он борется с природой для того, чтобы освободиться от ее ига, и стремится определить и организовать свою духовную личность. Жизнь греков для человечества была тем же, чем художественная сфера свободной, творческой фантазии для народа в частности. Греческий народ получил еще в колыбели в дар от духа художественную форму красоты; он родился с резцом в руке, и его естественная поэзия (*Naturpoesie*) была вместе и полнейшим художественным проявлением свободной фантазии. Нужно ли что-нибудь говорить о дивной художественности великих всемирно-исторических песнопений гомеровидов?.. Искусство греков – живая эстетика, эстетика в лицах. И потому кто захочет определить как-нибудь вид искусства в истинной, полнейшей его форме, тот должен иметь необходимо в созерцании светлый мир художественных произведений греков. Этой аналогией между ходом целого человечества и развитием отдельного народа поясняется сходство, часто разительное, между сумрачными циклами древней восточной поэзии, в которых царствует символ, и поэзией отдельного народа, запечатленно-

го в большей или меньшей степени тем же символическим характером. Часто историки и этнографы, основываясь на одном этом сходстве, утверждают племенное физиологическое сродство между рассматриваемым народом и каким-нибудь представителем Востока. Не отвергая физиологического сродства позднейших племен с древними, замкнувшими цикл своей жизни еще в догреческий период человечества, признавая за Востоком право называться *vagina gentium*^{*}, мы думаем, однако ж, что причина этого сходства коренится больше в одинаковости духовных состояний. Впрочем, славяне и народ русский, в частности, поэзия которого должна теперь обратить на себя наше внимание, почти бесспорно выводятся всеми из стран загималайских: в этом согласны все этнографы, толковавшие о происхождении славян и ученые филологи-санскритологи. В самом деле, связь славянского языка с санскритским так жива, в поверьях и поэзии славян и древних индусов столько разительно-сходного, что можно без всякого опасения вывести племя славянское из Индии.

Задачи русской печати

РУССКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ

Явилось нечто такое, чего никогда не бывало на свете, явилось русское публичное мнение, русская политическая печать. Откуда взялось это явление, с которым на первых же порах приходится серьезно считаться? Русское общественное мнение, русская политическая печать есть создание нынешнего царствования. Нам только случилось быть на пути, когда совершались события, вызвавшие мало-помалу на свет эту новую силу; нас только настигла она и повлекла за собой. Нам только досталась первинка нового на Руси дела, — честь послужить на первых порах серьезным органом русского мнения. И

^{*} Колыбель народов (*лат.*)

мы высоко поставили эту честь. Мы положили все наши силы на то, чтобы по возможности соответствовать требованиям обстоятельств, среди которых приходилось нам действовать. Другие, более нас способные, могли бы действовать лучше нас, но нельзя было действовать усерднее и с более серьезным чувством долга. Политический характер нашей деятельности поняли мы в самом обязательном для себя смысле и ни на минуту не забывали, чего требует от всякого честного человека деятельность политического свойства. Мы немедленно отказались бы от нее, если бы почувствовали, что не можем вести ее в строгом соответствии с долгом русского подданного. Обстоятельства нашего развития, особенности нашего личного положения, к счастью, не затрудняли, а облегчали нашу задачу с ее нравственной стороны. Мы могли относиться ко всем возможным интересам с полным беспристрастием и полной независимостью, потому что ни в одном не имели и не имеем ни малейшей личной доли. Обо всем подвергавшемся публичному обсуждению могли мы судить исключительно с точки зрения русской государственной пользы. Наши мнения могли быть ошибочны, но мы не прежде решались высказать то или другое, как убедившись, что оно соответствует интересам России, и чем глубже убеждены были в этом, тем решительнее и настойчивее считали своим долгом высказываться. Нас укоряют в горячности, с которой мы высказываемся. В усилениях, которые употребляем мы для того, чтобы явственнее выставить вопрос, подлежащий обсуждению, в настойчивости, с которой мы обращаемся к одному и тому же, хотят видеть нашу притязательность или нетерпимость; но пусть пересмотрят те вопросы, по которым случалось нам высказывать наши мнения; ни с одним из них не связано ни наше честолюбие, ни какой-либо иной личный интерес: мы говорим это во всеулышание; пусть кто может уличит нас в неправде. Во многих случаях, можно сказать, в большей части случаев, почти во всех, русскому публицисту было бы легче, безопаснее и привольнее действовать во всяком другом, только не в русском государственном интересе: так еще странно поставлено в России ее

национальное дело. Мы никогда не добивались популярности через потворство господствующим мнениям. Большею частью нам приходилось высказываться наперекор тому, что было в моде, и за то подвергаться поруганиям, — точно так же, как приходилось высказываться наперекор тому, что могло нравиться влиятельным лицам, и тем навлекать на себя весьма серьезные неприятности. Ни с одним из тех лиц, с кем приходилось нам сталкиваться в суждениях, не были мы ни в каких личных счетах. Самым приятным отношениям никогда мы не делали ни малейшей уступки ни в смысле, ни в тоне наших суждений. Нас упрекают в упрямстве и злопамятстве: предоставляем судить об этих наших свойствах людям, знающим нас из личных отношений; что же касается до нашей публичной деятельности, о которой только и стоит говорить, то мы нимало не думаем протестовать против этого укора. Мы полагаем, что черное назовем мы упорно черным завтра, как нынче; мы полагаем, что дурное не становится лучше от того, что оно длится долее, и обман не становится честнее от того, что продолжает действовать и прибегать к новым уловкам. В делах общего интереса никто не имеет права быть уступчивым. Говорят, что в борьбе с нашими противниками мы неразборчивы и прибегаем даже к доносам. Нет, никто не осмелится сказать, чтобы мы нарушили чье-нибудь доверие и выдали чью-нибудь тайну — не только властям, но и кому бы то ни было. Ловкие люди называют нас доносчиками за то, что мы обличаем их публичные обманы: они хотят, чтобы никто не считал себя вправе раскрывать сущность мнений, которые ими самими высказываются во всеуслышание; они хотят, чтобы никто не смел оценивать по достоинству их общественные действия, которые у всех на виду; они хотят, чтобы все отступали перед зажигателем и впрочем, уважительно давали им дорогу и таким образом были их пособниками. Даже протест против злоупотреблений правительственной власти ловкие люди хотят причислить к категории доносов.

Новизна русского публичного мнения, русской политической печати придала, весьма естественно, необыкновенное

значение нашей деятельности. Одним это явление должно казаться приятным, другим оно досадно и ненавистно. До нынешнего царствования не бывало политической печати, которая смотрела бы на все в свете русских интересов.

Итак, противники наши – не наши противники. Не к нам лично относится их вражда; она относится к самому свойству той деятельности, которую мы, издатели *Московских ведомостей*, поняли серьезно. Им мешает русская политическая печать и они ее не любят; им неудобно, что в России публика смотрит на вещи в свете русских национальных интересов.

ПРАВО ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ ЕСТЬ СЛУЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Политическая печать в России есть дело новое. Россия стоит тысячу лет, но русские государственные интересы никогда не были предметом публичного обсуждения с их собственной точки зрения. Если им случалось когда-нибудь бывать предметом публичного обсуждения, то разве только в иностранной печати. Только иностранная печать формулировала для русских людей взгляд на русские дела. Новая жизнь, которая открылась для России в нынешнее царствование, создала и русское общественное мнение. И вот, в обильном токе льгот и прав явилась и печать, освобожденная от предварительной цензуры.

Нам довелось быть из первых серьезных органов силы, которой на Руси никогда не бывало и которая явилась только теперь, в нынешнее царствование: вот первая причина того значения, которое приобрела наша деятельность. Были ли при этом обнаружены нами какие-либо личные достоинства, это вопрос второстепенный. Сущность дела в том, что наша газета служила органом обсуждения русских дел с русской государственной точки зрения.

Но плодотворно только то право, которое видит в себе не что иное, как обязанность. Мало проку в тех правах, которые не чувствуют себя обязанностями. Право, которое не есть обя-

занность, оказывается мыльным пузырем; ничего не выходит из него и ни к чему не ведет оно. Такое право есть не сила, а слабость. Общественное мнение может быть полезно и плодотворно, если мыслящие люди проникнуты чувством долга и действуют не столько в силу права, сколько в силу обязанности. Нет пользы в том, что я имею право то и то делать, если я не чувствую себя обязанным сделать то, что можно.

С чувством какого же долга естественно соединяется право публичного суждения о предметах государственной важности? Каждый может составлять себе произвольное понятие о своем долге. Но политический деятель как в административных сферах, так равно и в сфере общественного мнения не может давать места произволу в определении своего долга. В чем же заключается этот долг, не допускающий произвола? Для политической печати, как и для всякой политической деятельности, это есть долг государственной присяги. Честная, достойная своего имени политическая печать должна быть ни чем иным, как постоянным, неуклонным и неослабным применением долга присяги, которая требует, чтобы всякий радел о нераздельных пользах престола и государства, и, не останавливаясь ни перед какими соображениями, противился всему, что может угрожать им опасностью или причинять им существенный вред. Можно ли придумать программу, которая могла бы более соответствовать признанию политической печати? Она обнимает все; под ее простую, краткую, ясную формулу подходят все обязанности честной политической печати, как и всякой политической деятельности. Какое право может дать больше, чем дает этот долг?

Право публичного обсуждения государственных вопросов поняли мы как служение государственное во всей силе этого слова. Когда мы приступали к делу, нас не призывали к присяге, но мы произнесли ее про себя и произнесли с полным убеждением. Долг, с ней соединенный, поставили мы во главу нашей деятельности и подчинили ему все. Он был жизненным средоточием наших мнений по текущим делам; он был единственным руководящим и возбуждающим началом нашей дея-

тельности. Этим и только этим объясняется то значение, которое приобрела наша деятельность. В этом вся ее сила, и если мы оказали какую-либо пользу, то единственно только потому, что долг этот был для нас живым убеждением. Он усугублял наши силы, он оплодотворял нашу мысль, он давал зоркость нашему суждению и цвет нашему слову, он поддерживал нас в борьбе, и в нем заключается тайна тех симпатических отношений, в которых находится к нам народное чувство.

Народное чувство обмануть нельзя, по крайней мере нельзя обманывать его продолжительно. Если бы в нашей деятельности не виделось оно верного и искреннего служения тому, что для него дорого и свято, то деятельность наша утратила бы всякое значение. Стоит нам только, – не говорим изменить направление наших мнений, а лишь понизить тон нашего слова, и тем обнаружить, что мы уступаем какому-либо постороннему побуждению, подчиняемся какому-либо ослабляющему влиянию, и все значение, которое приписывают нашей газете и которое действительно она имеет, исчезнет само собой.

РАЗДЕЛ VIII. ПИСЬМА К АЛЕКСАНДРУ II И АЛЕКСАНДРУ III

Письмо первое

Всемилодивейший Государь.

И долг верноподданного, и глубокая душевная потребность побуждают меня и дают мне смелость обратиться непосредственно к Вашему Величеству. В настоящее, столь критическое для меня время я должен высказать перед Вами, Государь, всю мою душу.

Я родился в один год с Вашим Величеством. Живо помню то время, когда в бедном глухом городке, где я жил ребенком, в церквах приносилась присяга на верность Вашему Августейшему Родителю и Вам как Наследнику Его Престола; живо помню, как в детской душе моей оказалось тогда чувство, в котором ребенок не мог отдать себе отчета, но которое и теперь возобновляется во всей своей индивидуальности, как только я обращаюсь мыслью к тому времени. Мне почувствовалось, что я призван как-то особенно послужить Вам. Когда я рос ребенком, часто повторялся во мне этот голос, часто в моем детском воображении представлял я себе моего царственного сверстника и мечтал о моей будущей службе Ему. Обстоятельства моего развития заключили меня в сферу чисто умственных интересов. Годы моей молодости протекали почти в отшельническом уединении. Весь преданный занятиям умозрительного свойства, я не принимал участия

ни в каких делах, ни в каких практических интересах и был чужд всему окружавшему. Случилось так, что первое начало моей самостоятельной общественной деятельности совпало с вступлением Вашего Величества на престол. В 1855-м году я исходатайствовал себе разрешение на открытие журнала с политическим характером, который с каждым годом Вашего царствования приобретал все большее значение и расширял сферу своего действия. Готовившиеся великие преобразования будили меня и обращали к делу. Наступил 1861 год, ознаменованный важным событием, которое положило эпоху в Русской Империи. Все пришло в движение, возникли новые условия и задачи для правительства, нового свойства опасности для государства и общества. Оказалась необходимость в сильном действии для направления общественного мнения преданного всевозможным влияниям, явным и тайным. Случилось, что в 1862 году московский университет постановил сдать свою старую газету в частные руки. Мы взяли ее после упорной и сильной конкуренции на тяжелых условиях, с трудом преодолев много неожиданных препятствий. В то время, когда дело это решалось, я впервые имел счастье представиться Вашему Величеству. Несколько милостивых слов, сказанных мне тогда Вашим Величеством и Государыней Императрицей, произвели чудесное действие. Когда я стоял пред Вашим Величеством, мешаясь в ответах, во мне со всей силой проснулось мое детское чувство. Грезе ребенка предстояло осуществиться. Вот та особенная служба, которая была мне предназначена. Горизонт был тогда мрачен, признаки тревожны, готовились события.

Товарищ мой, профессор Леонтьев, был послан мне Богом еще в первую пору моего уединенного умственного развития, и он был неразлучен со мной с самых первых шагов моей общественной деятельности. Между нами издавна установилась полная симпатия и единство во всех наших мыслях, убеждениях и интересах. Мы пополняли друг друга.

Нас хотели выставить честолюбцами. Но вся наша жизнь и самый характер нашей последней деятельности громко сви-

детельствуют против этого. Как никогда не старались мы угождать влиятельным лицам и партиям в видах честолюбия, так не были мы и искателями популярности.

Личная выставка противна всем инстинктам нашим. Почти всегда действовали мы вопреки модным увлечениям. Никогда не обращались мы с лестью ни к незрелой мысли, ни к воображению, ни к страстям. Мы опирались только на здравый смысл людей и всегда ввели в виду публику, не склонную к пустым увлечениям. Сочувственные заявления, которых случалось нам быть предметом, относились не к нам, даже не к мнениям нашим, а к тем интересам, на которые мы указывали. Нам сочувствовали люди, преимущественно преданные престолу и порядку, сочувствовали потому, что видели в нас честных слуг Вашего Величества. За то же самое были мы предметом вражды, которая осыпала нас ругательствами и клеветами.

Мы были несговорчивы и неуступчивы. Но ни в одном из вопросов, которых мы касались, не было ничего нашего, чем имели бы мы право располагать по преимуществу: как же мы могли быть уступчивы? Чистота нашего служения требовала полной независимости от всевозможных партий, как в административных сферах, так и в сословиях. Наша деятельность потеряла бы смысл, была бы более вредна, чем полезна, если бы мы по разным вопросам позволяли себе вступать в какие бы то ни было соглашения и сделки. Служить тому, на ком почиют судьбы великой страны, служить не для вида, а по правде, можно только при полном самоотвержении.

Не смею извинять свои действия посреди обстоятельств, которые имели столь роковые для нас последствия. Только по повелению Вашего Величества мог бы я представить свои объяснения по этому предмету. Одно только осмелюсь сказать: не строптивость руководила нами, а честь того знамени, под которым действовали, и мы решились лучше пожертвовать собой, нежели стерпеть то, что считали его оскорблением.

На этих днях я имел честь видеться с графом Шуваловым, который осчастливил меня сообщением, что Ваше Вели-

чество изволили благосклонно вспоминать о нас, но из разговора с ним я не мог извлечь определенных указаний на то, что ожидает нас впереди. Сердце царево в руке Божией. Решение Вашего Величества примем мы за указание Провидения и безропотно покоримся ему.

1866 год

Письмо второе

Всемилолюбивейший Государь!

Испытанная и признанная преданность моя Вашему Величеству побуждает меня свидетельствовать по делу, мне вполне известному и подающему повод к опасным в это смутное время недоразумениям.

Да поможет Бог доблестному генералу, облеченному особенным доверием Вашего Величества, вывести наши дела из смуты. Зло, с которым ему прежде всего приходится бороться, имеет острый характер. Опасно медлить раскрытием и искоренением этого зла, но столь же опасна ошибка в диагнозе и врачевании, которая поверхностный недуг может превратить в хронический. Мысль действовать в союзе с обществом есть мудрая мысль. Но для того, чтобы иметь общество на своей стороне, следует искать сойтись с ним не столько во мнениях, сколько в интересах. Нельзя гоняться за мнениями, которые ходят в обществе, особенно в смутную пору, какова нынешняя, когда всякий обман легко овладевает умами, превращает людей в бессмысленное стадо, заставляет их хотеть, чего сами не знают, требовать, чего не хотят, и действовать вопреки самим себе. История представляет разительные и страшные примеры катастроф, вызванных исканием подладиться к ходячим в обществе мнениям. Иное дело привлекать на свою сторону интересы общественных классов и соображать правительственные меры с народными нуждами. Всякое действие правительства в этом смысле почувствуется быстро и приобретет ему несравненно более надежную поддержку и

популярность, чем гоньба за блудящими огоньками так называемого общественного мнения.

Ваше Величество в чувстве Вашего священного призвания справедливо озабочены судьбой нашего учащегося юношества, в котором зреет будущее обновленной Вами России. Это главный вопрос среди нынешних обстоятельств. Во всяком другом деле ошибки поправимы, но в вопросах народного просвещения они влекут к последствиям, губительным для целых поколений. Посреди преобразований, которые совершались в истекшее славное 25-летие нашей истории, самым необходимым после отмены крепостного права и самым трудным было преобразование по учебному ведомству. Наша история не завещала нам в этом деле руководящих преданий; наше образованное общество не имело никаких понятий и не могло иметь суждения в вопросах этого рода, наша наука без самостоятельности и достоинства, слабая и колеблемая всяким ветром, не могла дать в этом деле правильных указаний, а напротив, сама-то и была тем недугом, который требовал врачевания. Сам Бог вложил в Ваше сердце, Государь, великодушную и мудрую решимость направить дело нашего народного образования на путь единственно верный и надежный. Примите, Всемилостивейший Государь, свидетельство это от человека, никогда не колебавшегося в своем гражданском долге, свободно посвятившего себя служению Вам и Вашему Государству, много за это потерпевшего поношений и навлекавшего на себя ожесточенную злобу партий, человека, не связанного никаким корыстным интересом с делом своего свидетельства, – напротив, приносившего ему тяжкие жертвы, изучившего все соединенные с ним вопросы не в теории только, но и на опыте, и имеющего достаточно политического разумения, чтобы понимать его связь с основными и существенными интересами Государства.

Не смея долее, ввиду выраженной Вашим Величеством воли, оспаривать начала установленной в наших гимназиях системы, агитация сосредоточила свои усилия против министерства народного просвещения, не без основания уверенная, что

с его немедленным удалением, при недостаточной опытности и убежденности его преемника довольно будет несколько незаметных перемен, чтобы лишить сделанное всякой силы и значения и остановить дальнейшее движение учебной реформы, которая не может считаться оконченной и обеспеченной в своих результатах, пока наши университеты не будут выведены из своего нынешнего ложного положения.

Я не имею никаких личных пристрастий к графу Толстому. Сближался я с ним лишь в интересах дела, которому и он, и я служили; в личных же моих к нему отношениях я имел бы скорее повод чувствовать себя недовольным и даже оскорбленным. Но Боже меня сохрани руководиться в деле общей пользы какими бы то ни было личными соображениями. Государь, я говорю перед Вами, как перед Богом, как на духу. Каковы бы ни были личные свойства графа Толстого, он служит Вам, Государь, верой и правдой, и ознаменовал себя заслугами, которые внесут его имя в историю Вашего Славного Царствования. Не личные неудовольствия и не какие-либо ошибки по управлению подняли против него бурю, но твердость и верность, с какими он исполнял свой долг. Он донес до верховной инстанции, не разоряя и не испортив, план учебной реформы и привел его в исполнение с замечательным успехом во всем главном и существенном. Это сделало его неприятным для всех противников реформы, как добросовестных и несведущих, так и недобросовестных и сведущих. Он был верным по своей части органом системы управления, установленной Вашим Величеством в западных губерниях и Царстве Польском, – и вот другая причина ожесточенной против него агитации со стороны противников этой системы, досаждающих на министра, который правдиво и честно исполнял волю своего Государя, успешно утвердив во всех тамошних учебных заведениях господство русского языка. Он ревностно стоял на страже русской народной школы, не давая никаким партиям вырвать или выманить ее из рук правительства: вот новая причина искусственной непопулярности, которую ставят графу Толстому в упрек. Ему было бы, конечно, легче и удобнее, умывая себе руки, отдавать народное обуче-

ние в полное ведение земских управ; он был бы тогда всем угоден; но было ли бы это согласно с правительственным долгом? Государство не может выпускать из своих рук дело народного образования не только в переходное и смутное время, каково наше, но и во всякое. Дело это не может быть предоставлено случайной прихоти или тенденциям безответственных лиц. Наши земства, организованные вовсе не для педагогических целей, вдруг возымели страсть заниматься педагогическим делом вместо того, чтобы поддерживать в исправности мосты и шоссезные дороги. Страсть эта не могла бы сама собой родиться в среде этих добрых, наполовину не совсем грамотных людей. Обыкновенно ходатайства земств о предоставлении им в заведование учебной части бывают делом одного или нескольких членов, имеющих при этом свои виды, которые нередко совершенно расходятся с правительственными.

Наконец, есть еще причина, вызывающая в эту минуту усиленную агитацию против министра народного просвещения, – на очереди пересмотр устава университетов. Если гимназии дают университетам слушателей, то университеты дают гимназиям учителей, – а также деятелей на всех поприщах государственной службы. Но устройство наших университетов на основании устава 1863 года представляет аномалию, какой нет ничего подобного в других странах. Этим уставом государство неизвестно зачем и в чью пользу отреклось от неотъемлемых прав своих и священной обязанности в деле научного образования юношества, из которого должны выходить его деятели и просветители народа. Пока наши университеты не получают правильного устройства, нельзя считать дело образования в России обеспеченным. Вопрос этот был давно на очереди, и к нему следовало приступить немедленно после преобразования гимназий.

Если тут есть вина министра, то разве в том, что он, по видимому, опасался сильной оппозиции и, быть может, утомившись тяжелой, только что выдержанной борьбой, слишком долго колебался и собирался, готовясь к реформе, неотложность которой была очевидна.

Зато план этой реформы теперь зрело обдуман и разработан на основании тщательно собранных сведений, при содействии бывшего товарища министра И. Д. Делянова. Проект реформы уже внесен в Государственный Совет, и противники ее употребляют все усилия, чтобы затормозить ее, сбивая своими обманами с толку людей благомыслящих, но недостаточно знакомых с истинным положением дела. Вот все причины так называемой непопулярности нынешнего министра народного просвещения. Непопулярность эта произведена искусственно партиями, которые видят в нем помеху своим видам и злобствуют против него главным образом за то, что он исполнял свой долг и исполнял успешно. К сожалению, агитация против графа Толстого поддерживается в самих правительственных сферах, и на него указывают почти как на преступника, распространяя слухи о скором увольнении его. В Верховной распорядительной комиссии, которая не может оставлять без внимания вопрос об ограждении учащейся молодежи от происков злоумышленников, не находится до сих пор ни одного делегата от Министерства народного просвещения, как будто само это министерство состоит под подозрением и следствием.

Все это производит тягостное впечатление на людей благомыслящих и понимающих дело и усиливает смуту.

Если бы утомленный 14-летним управлением, сопряженным с тяжкими потрясениями и борьбой, граф Толстой пожелал оставить свой пост, то ему следовало бы прежде дослужить свою службу Государю, докончить дело реформы и передать своему преемнику как высшие, так и средние учебные заведения благоустроенными. Новый министр, кто бы он ни был, не скоро может найтись в деле неоконченном, которое задумано и начато другим. Оно неизбежно затянется, чего только и желают противники дела. Вопрос величайшей государственной важности, в котором заключается теперь главная сила наших нынешних затруднений, – вопрос, требующий безотлагательного решения, – был бы компрометирован и, быть может, совсем испорчен прежде, чем новый министр успел бы ознакомиться со всеми обстоятельствами дела.

План университетской реформы выработан до мельчайших подробностей, и рассмотрение его в Государственном Совете, если бы последовало Высочайшее повеление, могло бы быть легко окончено в текущую законодательную сессию.

Об университетской реформе так же, как в свое время о гимназической, возбуждены фальшивые толки. Устройство университетов должно подвергнуться пересмотру столь же в интересе науки и учащегося юношества, сколько государства, будущность которого много зависит от правильной организации его учебных заведений. Это не есть мера реакционная, принимаемая в каких-либо интересах, чуждых делу просвещения, как кричат противники реформы, играя словами «консервативный» и «либеральный». Это есть мера столь же либеральная, сколько консервативная, какой бывает всякая истинно-полезная мера.

Это есть освободительная мера, как и все великие деяния нынешнего царствования. Этой мерою цвет нашего учащегося юношества освобождается от произвола профессорских коллегий, которыми государство как бы отдало его на эксплуатацию.

Нынешнее устройство университетов наших называют «самоуправлением»; но самоуправлением может быть признано лишь такое устройство, при котором люди о собственных делах заботятся сами. Так было бы, если бы речь шла об автономии какого-либо ученого общества, которому предоставлено определять круг своих занятий, выбирать своих членов, предпринимать экспедицию и т. д. То ли видим в университетах? Профессорские коллегии, пользуясь правительственным авторитетом, бесконтрольно и безответственно распоряжаются не своими делами, а участью громадной массы учащихся, которые не только обязываются моделировать свой образ мыслей согласно тому, что этим коллегиям заблагорассудится преподавать им под видом науки, но от них же получают и служебные права. Самая важная часть предполагаемой реформы заключается в положении об экзаменах, которые по проекту должны производиться не преподавате-

лями их лекций, ими читанных, а особыми комиссиями по установленным общим программам, так что экзамены будут служить не только проверкой познаний студентов, но и регулятором лекций их профессоров. Программы государственных экзаменов определяют и содержание, и размеры университетских курсов. Профессора обязаны будут читать именно то, что потребуется от студентов на государственном экзамене, и студент для получения прав на государственную службу должен будет доказать свои познания в науках, а не в том, что вздумается прочесть профессору и что может вовсе не соответствовать требованиям ни науки, ни государства. Студенту, с другой стороны, предоставляется свобода распределять свои занятия и благодаря учреждению приват-доцентства выбирать преподавателей, которые могут лучше и вернее руководить в приобретении познаний, требуемых государственными испытаниями. Со своей стороны профессора освобождаются от тирании своих товарищей, более искусных в интриге, которые захватывают в коллегии власть, терроризируя непокорных то посредством «студенческих историй», то страхом забаллотировки при возобновлении срока службы и всякого рода неприятностями и притеснениями, так что в университетских советах нет свободы мнений голоса, и большинство безусловно покорствуется кучке интриганов, немногочисленной, но крепко сплоченной.

При новом устройстве все поводы к агитации и интриги в профессорских коллегиях прекратятся, в стенах университета водворится спокойствие и дух, освобожденный от посторонней и притом дурной примеси. Надзор за студентами и их ограждение от вредных влияний может стать правдой только при новом уставе. Между тем как при нынешнем положении недавно введенные по предложению харьковского генерал-губернатора временные правила инспекции остаются бессильной мерой, только роняющей правительственный авторитет в глазах как профессоров, так и студентов.

Преобразование университетов, на основаниях графа Толстого есть мера крайней необходимости.

Всякое промедление только осложнит задачу и затруднит правительство.

Успешным исполнением этой реформы смута была бы поражена в одном из главнейших своих источников.

Вашего Императорского Величества верноподданный
1879 г. Июль. М. Катков.

Письмо третье

Ваше Величество!

Ничто так не нуждается в твердости и спокойствии, как школа, и никакая часть нашего быта не подвергается так часто потрясениям и тревогам, как именно школа. С самого начала 60-х годов шел непрерывный спор об учебной системе, который казался оконченным в начале нынешнего десятилетия. Вопреки всем усилиям неразумия, малодушия и злонамеренности, подавших друг другу руку в этом вопросе, несмотря на ожесточенную оппозицию у самого подножия Престола, вопрос этот был благополучно решен личным изволением Верховной власти, сохранившей к счастью России во всей полноте и неприкосновенности свободу своих решений. Но закон, установивший, наконец, в наших гимназиях правильную учебную систему, не обеспечил ее, однако, от потрясений и колебаний, препятствовавших ей укорениться, лишаящих доверия к ней общества. Лица, к сожалению, слишком влиятельные продолжают враждовать против совершившейся реформы. Не быв в силах предотвратить Высочайшее решение, они надеются обессилить его, добиться его отмены или испортить дело на практике. Неоднократно требовалось при разных случаях подтверждения закона словам Монарха, но агитация, притаившаяся на время, вскоре снова поднимала голову, пользуясь всякой смутой. Особенно оживилась она в последнее время. Вместо того, чтобы ныне убедиться в необходимости и пользе совершившегося преобразования нашей школы и отказаться от своих предрассудков, влиятельные лица сочли это время особенно

благоприятным для агитации. К противникам реформы присоединились лица, которым неуютен нынешний министр народного просвещения, а угодно его место. Одни подкапываются под учебную систему в надежде свергнуть министра, другие подкапываются под министра для того, чтоб ниспровергнуть систему. Как в подобных случаях действует интрига, они прикрывают свои намерения отборными консервативными фразами, извращая смысл факта. В газетах беспрерывно появлялись слухи о предстоящем увольнении министра и назывались лица, будто бы имеющиеся в виду на его место. С другой стороны, провозглашалась предстоящая будто бы отмена вскоре учебной системы, которая только что получила свою полную организацию, начала оказывать свое благотворное действие, отменена именно в то время, когда все свидетельствует об ее необходимости, когда следовало бы усиленно озаботиться ее введением, если б она не была еще введена в наши гимназии. Учебный закон имеет две существенные части. Им, во-первых, была водворена общепринятая во всем образованном мире классическая система в наших гимназиях, во-вторых, признано, что к университетам может вести только один путь подготовительного образования юношества в гимназиях. Обе эти части тесно связаны между собой, и весь смысл реформы был бы потерян, если бы было допущено, как требовали ее противники, чтобы, кроме гимназий, был еще другой путь, ведущий в университет. Агитация направлена теперь к тому, чтобы подорвать закон и ниспровергнуть созданную им систему посредством допущения в университеты воспитанников так называемых реальных училищ, которые по своему учебному плану представляют в сущности прежний тип нашей школы, и которые могут быть безвредны, только оставаясь в пределах практического, не имея притязания на приготовление к университету. Агитация дошла до того, что как бы по данному сигналу в разных частях Империи воспитанники старших классов реальных училищ принялись подписывать коллективные прошения о допущении их в университеты. К счастью, распоряжением министра вскоре было прекращено это противозаконное и бес-

смысленное движение между воспитанниками реальных училищ. Вместе с тем агитация, направленная против Министерства народного просвещения и введенного им учебного устава гимназий, возбудила вопрос о гимназистах, не оканчивающих курса и не получающих, таким образом, права на поступление в университеты. Этих, как их называют, недоучек провозглашают вредным для общества элементом, хотят видеть в них опасный революционный материал и, находя число молодых людей, выходящих из гимназии до окончания курса, слишком значительным, приписывают это зло чрезмерной трудности учения и ставят его в вину Министерству народного просвещения. Но толки эти лишены всякого основания, и в них нет ни слова правды. Невозможно ни желать, ни ожидать, чтобы все учащиеся в гимназиях непременно оканчивали курс и поступали в университет точно так же, как невозможно требовать и желать, чтобы все учащиеся в начальных училищах непременно поступали в средние учебные заведения. Гимназия открыта для 10-летних детей, умеющих почти только что читать, писать и считать. Только дальнейшее учение в гимназии может определить степень способностей и прилежания учащихся. Неспособные и не желающие учиться ограничиваются лишь некоторой степенью образования и обыкновенно прекращают учение в одном из низших классов. Точно так же далеко не все родители предназначают своих детей к высшему образованию, которое требует 12 лет учения, и берут их из гимназий до окончания курса. Доводить всех или большую часть поступающих в гимназия до конца курса – значило бы превратить учение в шутку, или, лучше, вовсе не заботиться о деле учения и выпускать в университеты юношей не только не подготовленных к науке, не только недостаточно зрелых для умственной работы, но и искусственно расслабленных и испорченных продолжительным пребыванием в заведении, не исполнявшем своего долга, оставлявшем их без серьезного учения, не заботившемся об их образовании, не приучившем их к труду. Чего стоило бы то учебное заведение, в котором и неспособные, и нежелающие учиться оканчивали курс наравне с прилежными и спо-

собными, и которое таким образом приносило бы последних в жертву первым? Не обращалось ли бы такое заведение во вред столько же науке и просвещению, для которых оно создано, сколько и учредившему его государству? Какая польза была бы для университетской науки от неприготовленных к ней и незрелых умом слушателей? Какая польза была бы для государства от массы этих мнимо образованных людей, получивших дипломы высшего образования с правом на государственную службу? Имеет ли, наконец, государство достаточное число мест для удовлетворения всей массы учащихся в гимназиях, если бы все они должны были непременно оканчивать курс? Сколько пришлось бы создать новых университетов для того, чтобы вместить всю эту массу? Наконец, к чему могла бы служить многочисленная и непрерывно возрастающая масса людей полуобразованных и ни к чему не приспособленных, но гордых своим дипломом и правом на службу?

Потребность образования в обществе имеет много степеней. Не всем начинающим учиться суждено достигать высшего образования. Гимназическое учение соответствует многообразию этой потребности. Оно имеет разные степени. Четырехклассные прогимназии по возрасту учащихся соответствуют уездному или городскому училищу; шестиклассные прогимназии соответствуют реальному. Если не требуется, чтобы все учащиеся в уездном училище стремились дальше и доходили до университетов, то нет никакого основания требовать, чтобы воспитанники прогимназий непременно кончали полный курс гимназии. Если шестиклассная прогимназия дает значительные права для военной службы как у нас, так и в других странах Европы, то весьма естественно, что большее или меньшее число ее учащихся, не расположенных учиться еще в продолжение шести лет и предпочитающих поступить на службу, выходит, также не окончив полного курса гимназии. Гимназия и только гимназия с классическим курсом может успешно и благотворно готовить своих воспитанников к университетской науке, но кроме этого назначения она служит также средством получить среднее образование в большей или меньшей степе-

ни. По самому свойству ее учебной системы учащиеся в ней юноши не могут вынести из нее ничего, кроме пользы. Она не надмевает их сообщением излишних, разнородных, мнимонаучных знаний, не делает их всезнайками, но лишь в большей или меньшей степени развивает их ум и приучает их к правильному труду и мышлению. Ученики, окончившие курс четырехклассной прогимназии, будут столь же мало вредными элементами для общества, как и мальчики, окончившие курс уездного училища. И нет никакой надобности насильно тянуть их к высшему образованию и с этой целью понижать для них требования науки, а университет наполнять истинными неучами, а государство снабжать неспособными или действительно вредными претендентами на деятельность.

Всем известно, что контингент испорченной молодежи главным образом вербуются из недоучек не гимназий, но университетов. Университетская наука может быть полезна только при условии, чтобы к ней приступали и ею занимались молодые люди умственно зрелые. Чем серьезнее и основательнее учение в гимназии, чем строже требования ее курса, тем лучший материал получает университет, тем лучших слуг – государство. Незрелые головы могут только помутиться при встрече с идеями университетского преподавания и вынести из него не пользу, а вред. Вот почему в образованных странах Европы, а теперь и у нас, только окончившие курс в учебных заведениях с классическим курсом допускаются молодые люди к слушанию лекций в университет. Не понижать требования учебного курса гимназий, которые у нас скорее слишком низки, нежели слишком высоки, а напротив – повышать их, – вот чего требует равно и интерес науки, и государственная польза.

Толки о том, будто в настоящее время вследствие строгости учебной системы и трудности изучения древних языков чрезмерно увеличилось число не оканчивающих курс гимназистов, и на столько же уменьшилось число оканчивающих – лишены всякого основания. Мы имеем неоспоримые тому доказательства из «Сведений» о числе учившихся в наших гимназиях с 1857 во 1860 год, обнаруженных за несколько

лет до последней реформы в журнале Министерства народного просв. (Октябрь, 1868. «Современная летопись», стр. 28). Явствует, что в это десятилетие с 1857-го по 1866 год в гимназиях обучалось средним числом в год 25 394 человек; из них выбыло из низших классов по одиннадцати человек на каждую сотню учеников и оканчивало курс по четыре человека из ста. Так было в ту пору, когда уровень учения в наших гимназиях находился на самой низкой степени и когда в них лишь для виду только в 4 высших классах преподавался латинский язык по три урока в неделю. В четырехлетие после реформы от 1876-го по 1878 год в гимназиях и прогимназиях обучалось средним числом в год 49 127 человек, и из них оканчивало курс средним числом 1622 ч., или по 3%. На приготовительный класс, которого в десятилетие с 1857 г. по 1866 год не было, приходится 15% общего числа, или 7 550); таким образом, учащихся в гимназических классах было 41 677 учеников, и вышеприведенная цифра 1 622 окончивших курс учеников составляет те же 4%, как в десятилетие 1857–1866 гг. В действительности же в настоящее время результат окажется значительно лучший, если принять во внимание, сколько открыто новых гимназий и прогимназий, в которых еще не могло быть окончивших курса по той причине, что в них не могли еще быть открыты старшие классы.

В Москве только что окончились в нынешнем году испытания зрелости и в ней из первой гимназии, отличающейся особенной основательностью и строгостью учения, окончили сразу 33 ученика, чего прежде в этой гимназии не запомнить. Итак, факты доказывают, что из гимназии при всякой системе учения, даже при крайнем понижении требований науки, всегда выходило и будет выходить много учащихся, не окончив курса. В эпоху упадка учебного дела у нас выходу учеников с полукурса способствовало еще то обстоятельство, что в университеты при низких требованиях приема можно было подготовиться скорее дома по программе. И действительно, достаточно было одного года для того, чтобы подготовиться к университету, обладая познаниями ниже уровня уездных учи-

лиц, от которых тогда и гимназии наши не много разнились. Вот поразительный факт, показывающий, до какой дерзости доходит ложь агитации против Министерства нар. просв. Недавно Директор Киевской 1-й гимназии Андреяшев был вынужден печатно опровергнуть («Москов. вед.» № 148 от 12 июня) бесстыдные выдержки, напечатанные в приложениях к издаваемому в Петербурге педагогическому журналу «Семья и школа», о характере и направлении которого можно судить по одному этому примеру. Какой-то безымянный корреспондент сообщает, будто из Киевских 1-ой и 2-ой гимназий в прошлом году из 1310-ти учеников исключено за безуспешность педагогическим Советом этих заведений 289 чел. На самом же деле, как показывает директор, в течение четырех лет на 5000 учащихся за безуспешность и дурное поведение уволено из двух упомянутых гимназий 24 ученика, да около того выбыло не перешедших в следующий высший класс после двухлетнего пребывания в низшем, так что средним числом приходится на каждое заведение по 12 уволенных (за безуспешность и дурное поведение вместе) в год, вместо 150, выдуманных корреспондентом.

Действительное число умножено само на себя 12 раз, а таким способом получено 145 жертв пропаганды, оплакиваемых заботливой хроникой «Педагогического журнала». «Добросовестный прием (сказано по этому поводу в «Моск. вед.» № 152 от 16-го июня), не в первый и не в последний раз употребляемый новыми оградителями юношества от пропаганды, неожиданно выступившими из разнообразных лагерей, — от высоко-консервативных до красно-радикальных, и из тех, что клянутся конституцией и боятся революцией и уверяющих, что корень зла ими найден, и корень сей заключается в гимназистах, не доходящих вследствие требований неумеренного классицизма до конца курса».

Журнальная агитация не может не иметь вредных последствий, но она не могла бы возобновляться так упорно и настойчиво, если бы не находилось ей поддержки в сферах влиятельных; она быстро истощила бы себя и прекратилась

бы сама собой, если бы она не получала внушений и возбуждений, дающих ей надежду на успех. Как в публике, так и в ученом мире распространена уверенность, что в недрах самого правительства идет глухая междуусобная борьба, а что ежедневно можно ожидать катастрофы, которая ниспровергнет только что установившийся порядок учения или что будет принята какая-либо мера, которая, оставляя действующий устав нетронутым с виду, лишит его всякой силы и значения. Чувство непрочности и шаткости волнует как учащихся, так и учащихся, лишает тех и других доверия к своему делу и деморализует их. Мудрено ли, что учащиеся не бегут об исполнении своих обязанностей, слыша со всех сторон, что их заставляют слишком много учиться, что к ним слишком строги и что есть добрые люди в самом правительстве, которые заботятся о том, чтобы сделать учение сколь можно более легким. С другой стороны, преподаватели и руководители школы, слыша тоже со всех сторон, что добросовестное исполнение долга вменяется им чуть не в уголовное преступление, поневоле должны заботиться не о том, чтобы способствовать наилучшему воспитанию вверенных им детей, а напротив, чтоб угодить им поблажками и потворством... Но в последнее время совершился факт необыкновенный, далеко оставляющий за собой все, что до сих пор колебало школу и вредило делу воспитания. До сих пор агитация, направленная против школы, была замаскирована; она действовала посредством толков, распространяемых в публике, и газетных статей, в которых только подозревалось действие, исходящее из правительственных сфер. Можно представить себе, какое смятение, какая тревога распространились во всем учебном мире, когда это действие выступило наружу, и одно правительственное ведомство начало открытую борьбу против другого. 26 марта сего года шефом жандармов генерал-адъютантом Дрентельном подписан циркуляр, разосланный по жандармской команде во все города Российской Империи, где имеются средние учебные заведения. Циркуляром этим предписывается отобрать конфиденциально от директоров этих заведений по

данной программе сведения, касательно учеников, выбывших из заведения до окончания курса. Хотя предписание это, по-видимому, касается всех учебных заведений без различия, но, в сущности, оно направлено против классических гимназий. От директоров требовалось обозначить, между прочим, сколько воспитанников уволено за безуспешность, причем в особой графе потребовалось показать, сколько из этого числа уволено за безуспешность в древних языках. Всем прочим предметам обучения противопоставались, таким образом, древние языки с тем, чтобы выставить этот последний предмет как главную трудность гимназического курса.

Директоры заведений были изумлены, озабочены и встревожены таким необыкновенным обращением к ним, которое нередко сопровождалось настоянием дать ответ немедленно в течение одних или двух суток. Иногда с этими требованиями являлся к директору даже не офицер, а фельдфебель (как, напр., в Коломне), ссылавшийся на всесильную в его глазах подпись шефа жандармов и резко выражавший свое мнение о бесполезности преподавания греческого и латинского языков. Лишь немногие из директоров имели мужество объявить, что они могут дать все требуемые объяснения не иначе как правильным порядком и официальным путем, не считая себя вправе вступать помимо своего начальства в какие-либо конфиденциальные сношения с другими властями. На это получалось в ответе, что требуются сведения правдивые, и не официальные, поступающие через начальство. Странная философия в устах жандармских офицеров и фельдфебелей и, во всяком случае, не способная укрепить доверие общества к государственному порядку, а учащихся и учащихся к их начальству и к закону, на котором зиждется самая школа. В губернских уездных городах не могли не распространяться разнообразные слухи и толки о таком вмешательстве жандармской команды в учебное дело. Следует припомнить, что все это происходило после покушения 2-го апреля, так что тайное следствие, которому подверглось Министерство нар. просвещения, невольно у всех в мысли связалось с этим ужасным событием.

К чему же клонится это тайное следствие, какие требовалось получать от директоров гимназий показания для того, чтобы подвергнуть обвинению Министерство народного просвещения, а вместе и введенную им систему учения? Для чего понадобилось отметить в особой графе учеников, выбывающих из гимназии по безуспешности в древних языках? Дело в том, что большая часть или значительное число учеников выбывает из гимназии за безуспешность не по одному какому-нибудь предмету, но по нескольким. Мало таких, которые остаются два года в одном классе по недостаточности успехов в обоих древних языках, а более случается безуспешных в одном из них вместе с некоторыми из остальных предметов: математики, новых языков, истории и проч. Мальчик, ленившийся в продолжение двух лет и оказавшийся безуспешным и на повторительном испытании, напр., из математики, географии, французского языка и вместе из греческого, должен, по смыслу конфиденциального требования жандармского управления, попасть в две графы как безуспешный по древним языкам и вместе безуспешный по другим предметами, и счесть ее два раза в общем числе выбывших учеников, умножив собой число выбывших специально по безуспешности в древних языках. Нет сомнения, что такая страгатагема не была делом самого ген.-ад. Дрентельна, который и не мог войти во все подробности чуждого ему вопроса, и что таковой способ собирания сведений по учебным заведениям был придуман кем-либо из второстепенных лиц его управления, Статистические сведения, способные служить основанием для общих вопросов, могут быть доставляемы лишь центральным управлением. Дирекция же может сообщить только относящиеся к оному отдельные сведения, которые не только не имеют значения для общих выводов, но неизбежно внесут в них фальшь. Директор показывает число выбывших из его гимназии, но выбывший воспитанник может поступить в другую гимназию и, следовательно, не может числиться выбывшим из гимназии вообще. Весьма часто родители, переезжая с улицы на улицу или из города в город, видят себя в необходимости взять своих детей

из одной гимназии для того, чтобы перевести в другую, где они и продолжают то же учение. Даже и попечитель округа не может дать точных в этом отношении сведений, так как с переездом родителей воспитанники могут переходить из гимназии одного округа – в гимназию другого. Очевидно, что собиранье сведений такого рода и такими способами, как оно проводилось чинами жандармской команды, не может иметь целью разъяснение дела, а ведет еще к затемнению его и фальшивым заключениям. Это было действие, равнозначное противоправительственной агитации, которая колеблет закон, подрывает доверие к правительству и вносит новую смуту в умы – агитация тем более вредная, что она производилась агентами самого правительства.

1881 или 1882 г.

Письмо четвертое

Ваше Императорское Величество
Всемилоостивейший Государь.

Каждый раз пребывание мое в Петербурге сопровождается какими-либо толками. На этот раз меня встретил настойчивый слух, еще до появления в печати распространившийся в городе, о моем назначении в члены Государственного Совета. Едва замолкли эти толки, как пущен слух о другом назначении, конечно, с целью вновь вызвать официальное опровержение, чтобы дискредитировать не только во мнении общества, но и перед Вашим Величеством. Я терпеливо переносил все толки обо мне, и они умолкали тем скорее, чем менее обращалось на них внимания. Но и малейшая тень во мнении Вашего Величества касательно чистоты моих побуждений лишила бы меня духа для какой бы то ни было общественной деятельности. Это для меня вопрос политической жизни и смерти.

Вот почему я осмеливаюсь заговорить о себе перед Вашим Величеством. Никаких назначений я не ищущу и не желаю. В этом свидетельствую за меня вся моя жизнь, которая теперь уже на

склоне. Я выдержал достаточную пробу и имею право сослаться на мое прошлое не в похвальбу, но в защиту от наветов и подозрений. Были моменты в моем прошлом, когда тщеславие не могло бы не разыграться во мне, если бы я сколько-нибудь был тщеславен. Ни разу не поколебался я, ни разу даже в мыслях не поддался я на соблазн честолюбия. Прошу как величайшей милости выслушать мою исповедь. Я не литератор, не журналист, не педагог, я – ничто в профессии. Моя молодость протекла в уединенных и сосредоточенных занятиях предметами умозрения, и никто не мог бы подумать, что мне суждена была тревожная политическая деятельность. Она началась для меня с началом минувшего царствования. Случайно открыл я издание сначала журнала, а потом политической газеты. Готовилось и совершалось падение крепостного права, открывалась эпоха реформ, разнузданся дух отрицания. Бог помог мне несколькими ударами сокрушить революционный призрак, носившийся тогда над Россией. Польское восстание, обнаружившее сеть интриги, которою была опутана Россия и ее правительство, было новым для меня призывом. Бог помог мне изобличить интригу во всех ее тайниках и возбудить в разлагавшемся обществе могучий дух патриотизма, перед которым отступила враждебная европейская коалиция и пал мятеж,

В противность лживой и коварной доктрине, которая развивалась и поддерживалась в тогдашних правительственных сферах, об искусственном обособлении разноплеменных фрагментов и расположении Империи на автономные области политические, я поднял знамя государственного единства России и русской национальной политики. Голос мой дошел до Государя, «Московские ведомости» стали ежедневным чтением Его Величества. Ежедневно являлся я как бы с докладом к Государю по делам государственной важности. Это напрягало и высоко подняло мои силы; я почувствовал на себе святую ответственность. Не зная отдыха, изо дня в день, из ночи в ночь сидел я за делами, изучая их во всех изгибах. Я чувствовал, как все во мне самом обновлялось и созревало. Свои показания и суждения я проверял всеми силами своего разумения, ни одного

знаменательного слова я не позволил себе сказать без полного убеждения. Я действовал на виду у всех, вне всякого лицепрятия, вне всяких партий и личных соображений. Я был ничто, но вниманием и доверием Государя из ничего было создано нечто, нечто значительное по своему действию, хотя не принадлежащее ни к какой категории деятелей. Министры советовались со мною, генерал-губернаторы на важных постах поверяли мне свои предположения и затруднения, иностранные политики принуждены были считаться со мной. Мое имя стало равносильно политической программе. Прошлое мое известно всей России и открыто для проверки: *Моя газета была не просто газетой, а случайным органом государственной деятельности. В ней не просто отражались дела, в ней многие дела делались. Она участвовала в событиях, и пред историей она будет свидетельствовать не только о том, что сделано, но и о том, что следовало делать и чего делать не следовало. На мне лежит обязанность собрать и издать все, что было в ней знаменательного, и посвятить этот громадный сборник памяти в Бозе почившего Императора.* Деятельность моя была государственной службой, но без жалования и наград и не в мундире. Была ли моя служба полезна? Не мне судить! Но случайно в одном официальном документе сделан отзыв о ней. По случаю моего первого столкновения с Министром внутренних дел в 1865 году состоялось Высочайше утвержденное постановление Комитета Министров, которым за мною и товарищем моим по изданию «Моск. вед.» признаны «заслуги, оказанные России».

Признанные государственные заслуги везде дают права на государственные отличия. Но я никогда и не думал об этом. Личное благоволение ко мне Государя я обращал не в свою пользу, а в пользу дела, которому служил, и которое было не мое, а его же, государево дело. Во всю жизнь мою никаких пособий из казны я не получал, до последнего времени оставался я спокойно в скромном чине, полученном мной за выслугу лет в молодости, и уклонялся от орденов, которые предлагались мне иностранными государствами. Высокий чин, пожалованный мне теперь Вашим Величеством, дорог мне, как знак Вашего

благоволения, которое имело бы ту же для меня цену, если бы и иначе выразилось; самый же чин нужен не столько для меня, сколько для достоинства состоящего под Высочайшим покровительством лица, при котором я лишь по необходимости, после смерти моего товарища, занял официальное положение. На моем необыкновенном посту я должен был непрерывно выдерживать ожесточенную борьбу. Правительственные лица мне недоброжелательствовали, я был неудобен для всех партий. У меня была одна защита – Государь, одно оружие – слово правды и разума при личной ни в чем незаинтересованности и готовности ежеминутно оставить поприще. К концу шестидесятых годов вошли в большую силу в правительстве противники национальной политики. Все пошло вопреки ей, в подрыв патриотическому духу, который еще был жив в обществе, в подрыв требованиям государственной пользы, которые легкомысленно вслед за врагами России объявились ультра-русским фанатизмом. Сила отходила от моего органа, голос его становился бесполезным криком. Противникам моим удалось, наконец, лишить «Московск. ведомости» их, как тогда говорилось, привилегированного положения и взять их под свою руку. Я пережил тогда тяжелые минуты, но вопреки ожиданиям моих противников остался при деле, пересилив свое самолюбие, ввиду великого для будущности России учебного вопроса, который тогда поднимался. Государь, уступив министрам «Московск. ведомости», сохранил ко мне лично все свое благоволение и полное, ни разу не поколебавшееся доверие к моему чувству и суждению, что касается вопросов народного просвещения. Тогда я обрек себя почти исключительно на это дело. В моей газете, в ущерб ее интересу и распространенности, почти замолкли все другие вопросы, Бог помог мне и в этом после долгой и мучительной борьбы. Одних разъяснений в печати было недостаточно. Я вступал в переговоры с влиятельными лицами и обращался к самому Государю, чтобы удерживать министра на правом пути и не допускать его до вредных компромиссов. Для той же цели основан лицей, который и послужил образцом для реформы гимназий. Правое дело

восторжествовало над всеми сопротивлениями и привилось с неожиданным успехом благодаря своевременным и удачным мерам. Интрига притихла, и внутри России новая школа была встречена без неприязни и даже сочувственно.

Борьба, происходившая в печати, разъяснила даже для простых, но добросовестных людей значение новой учебной системы, а через три года, по введении нового устава гимназии, в 1875 г., министра при объезде учебных округов сословия и города встречали с овациями, подносили хлеб-соль, давали в честь его обеды и в разумных речах воздавали ему хвалу за реформу, которой доброе действие уже сказалось на детях, принявшихся серьезным образом учиться. Так шло, пока ошибки министра не воскресили интриги. Искусная и неутомимая рука, с которой боролся я в продолжение 20 лет и которой приемы, не всем заметные, хорошо мне известны, успела составить в правительственных сферах коалицию из личных врагов министра и оскорбленных в своем самолюбии противников реформы, и в удобные моменты поджигала агитацию в печати. Чтобы поддержать министра, я истощил все усилия, весь кредит мой у Государя, но граф Толстой в последние годы не внимал никаким убеждениям и отшатнулся от меня в надежде тем умиротворить своих противников, потворствуя им своим бездействием, не будучи, однако, в состоянии исполнить их желания. Подняв еще в 1872 г. университетский вопрос, он в продолжение почти семи лет оставляет его открытым, откладывая под разными предлогами дело крайней необходимости, несмотря на неоднократные настояния Его Величества, чем граф Толстой и ослабил свое положение в правительстве. Но, удаляя министра, Государь не колебался относительно установившейся учебной системы. Из всех последовавших за отменой крепостного права реформ эта была самая безукоризненная, самая благонадежная и поистине плодотворная. Отпуская прежнего министра, Государь успокаивал его уверением, что сам будет стоять настороже совершившейся реформы, и, принимая нового министра, поставил ему обязанность непременно и главную, блюсти в целости установленную школу. Но

с первых же шагов нового управления были поколеблены ее основы. Удары прежде всего пали на Московск. округ, в котором учебное дело установилось крепче и лучше, чем где-либо в России, и изо всех попечителей сменен был достойнейший, потому только, что он был близок со мной. Дело разрушения и без законодательной логики началось и теперь продолжается успешно. Неприязненная рука коснулась нового насаждения в то время, когда требуется непрерывный, бережный, просвещенный, любящий уход за ним.

В последние годы минувшего царствования тяжело было оставаться в положении праздного наблюдателя, который ясно видит зло и пути его, но не может ничего сделать и только печально убеждается в верности своих бесполезных предвидений и предостережений.

После 1-го марта положение стало невыносимым, и я решился удалиться. Милостивые слова вашего Величества и происшедшая тогда перемена в правительстве удержали меня. Я остался в раздумье и в ожидании – что будет. Свидетельствую Богом, что никаких назначений я не ищу, как не искал никогда, и если мечтаю о чем, то разве о том, чтобы на склоне дней возвратиться в уединение и тишину моей молодости, к занятиям, которых призыв никогда, даже в самом горячие минуты житейской борьбы, не умолкал в моей душе. Отраднo было бы мне унести с собой, по крайней мере, надежду, что будущее России спасено в учащемся юношестве.

Недавно имел я счастье лично с полной откровенностью высказаться пред Вашим Величеством о нынешнем положении дел в Министерстве Народного Просвещения по единственно верном в настоящее время, по моему убеждению, выходе из затруднения.

Спасите, Государь, мудрым самодержавным решением, спасите в этих детях и юношах будущее Вашего царствования. Да благословит его Господь.

Вашего Императорского Величества
верноподданный М. Катков.

1884 год. Февраль.

Письмо пятое

Всемилолюбивейший Государь.

В те немногие дорогие минуты, когда я имел счастье, представляясь Вашему Императорскому Величеству, высказывать, что бывает у меня на уме и сердце, так много хотелось высказать, что ничего в надлежащей полноте сказать не удастся. Совесть упрекает меня, что, говоря о положении наших университетов и о необходимости отделения экзаменов от преподавания, я не успел доложить Вашему Величеству об аргументе, к которому прибегают противники предполагаемой университетской реформы, именно в пункте об экзаменах. Говорят, что вопрос об отделении экзаменов от преподавания касается не одних университетов, но входит в общий вопрос о государственных экзаменах, которым должны подлежать воспитанники и других высших учебных заведений, и что поэтому следовало бы отложить эту часть университетского устава до разрешения общего вопроса о государственных экзаменах. Но это значило бы лишить новый университетский устав того, что есть в нем самого существенного. Закон, который заботил правительство в продолжение 12 лет, вышел бы бессильной полумерой. А между тем в высшей степени важно, чтоб этот первый органический закон Вашего царствования, Государь, вполне соответствовал истинным потребностям регулируемого им дела и коснулся бы существа его. Только новая постановка экзаменов покажет ясно, что правительстве поняло, в чем сущность вопроса и что требует исправления; только эта мера сразу отзовется на строе университетского быта и все поставит на свое место, только она может способствовать развитию духа здоровой и полезной науки соответственно требованиям государства, которое только этим путем может успешно направлять образование юношества в содержимых им университетах. Все другие распорядки уста-

ва окажутся полезными и действительными только при условии этой меры как вспомогательные для нее средства. Если бы действительно в силу какого-либо соображения понадобилось отсрочить преобразование способа университетских экзаменов, то лучше было бы отсрочить всю реформу, но не издавать закона недостаточного и бессильного, который давал бы неблагонамеренным людям повод издеваться над несостоятельностью правительства. При коронных ректорах и деканах, при параграфах закона, усиливающих власть попечителей, ничто существенное не изменится: если экзамены будут отделены от преподавания, только все дурное, видя свое торжество, почувствует себя еще сильнее.

Что государственные экзамены должны быть общим учреждением и касаться не одних университетов, это весьма желательно. Есть, однако, такие специальные заведения, как военные и духовные, которые всегда будут иметь свои особые экзаменные учреждения. Другие же легко впоследствии примкнут к университетским. В университетах воспитываются многие тысячи молодых людей, и прежде всего требуется устроить их образование.

Порядок, учрежденный в университетах, даст тон всей системе высшего образования и быстро приравняет к себе все другие заведения. Реформа университетских экзаменов послужит началом учреждения общих государственных экзаменов для заведений, соответствующих факультетам университетов в той мере и в том виде, как укажут потребности и опыт.

Вашего Императорского Величества
верноподданный М. Катков.
1884 г. Июль

Письмо шестое

Всемилодивейший Государь.

Осмеливаюсь повергнуть перед Вашим Императорским Величеством мою всеподданнейшую благодарность за Авгу-

стейшее посещение, которого удостоился лицей Цесаревича Николая 15 мая.

Это было великим счастьем для заведения. Но я не могу не скорбеть, что при краткости времени, при взволнованном состоянии, в котором я находился, едва держась на ногах после работы и хлопот предшествовавших дней и ночей, проведенных без сна, почти лишившись слуха до того, что вынужден был оставить без ответа один из обращенных ко мне Государыней Императрицей вопросов, я не успел должным образом воспользоваться дорогими минутами и показать Вашему Величеству все сложное устройство лицея, его разнообразные пансионы, гимназические залы, рефректорию, больницу, представить служащих при пансионах тьюторов и педагогов и, уступая усиленным мольбам студентов, осмелился утруждать Ваше Величество и Государыню Императрицу восхождением на верхние этажи, где помещаются эти молодые люди, не успев и тут показать все части этого отделения. Замеченное Вашим Величеством искривление пола в столовой студентов произошло не от времени, но оказалось тотчас же после постройки и далее не увеличивается. Произошел этот недостаток от особого способа класть балки, которому следовал управлявший постройкой венский архитектор Вебер. Недостаток этот оказался после и в некоторых других местах здания, где был немедленно исправлен. Здесь же не нашли этого особенно нужным, тем более, что по тщательной архитектурской консультации оказавшаяся неровность пола признана совершенно безопасной.

Лицей существовал не напрасно. Он сослужил службу в деле отечественного образования. Он был первенцем учебной реформы. В нем выработан и применен тот учебный план, который положен в основание преобразованных гимназий. К несчастью, лишившись слишком рано своего директора, моего сотоварища по учреждению лицея, покойного профессора Леонтьева, который посвящал ему все силы своей любящей души и высокого научного образования, лицей остался весь на моих руках. При многосложности моих занятий и работ, при невозможности жить в самом лицее и принимать непрерывное

и непосредственное участие во всех подробностях его быта, я был в искушении закрыть его и удержался лишь по памяти о моем товарище и в надежде, что Бог поможет мне поддержать так хорошо начатое полезное дело, пока найдется достойный преемник покойному директору. Год за годом шло время, но такого не находилось, пробы не удавались, и я должен был вести дело как мог, один в продолжение 12 лет. Заведение, лишившись такой силы, какой был его покойный директор, не могло преуспевать значительно в дальнейшем развитии, но оно не упало и дает плоды. Установленный порядок поддерживается, учебная часть не слабеет.

При туторской системе и индивидуальном уходе за воспитанниками немало молодых людей спасено и при слабых способностях доведено до конечной цели с большим или меньшим успехом. Старшие учителя или инспекторы так же, как и многие из второстепенных деятелей, состоящих при заведении с самого основания его, свято хранят предания Леонтьева. Наконец, появились в самом лицее образованные преподаватели – воспитанники состоявшей при нем учительской (так называемой Ломоносовской) семинарии, которая дала и гимназиям министерства несколько преданных делу и приготовленных учителей.

В настоящее время лицей, имея в своей организации сверх среднеобразовательных или гимназических классов университетское отделение по всем факультетам, кроме медицинского, мог бы сослужить новую службу ввиду коренного преобразования, которого дождались, наконец, наши университеты. Как при учебной реформе гимназий, так теперь, при реформе университетского преподавания и системы экзаменов, лицейу предстояло бы практически способствовать своими опытами установлению новых порядков. Так как экзамены теперь поставлены в полную независимость от случайностей преподавания и произвола преподавателей, а должны производиться особыми, от правительства назначенными комиссиями соответственно действительным требованиям науки и надобностям государства, то в университетском отделении лицея по

главным предметам могут быть открываемы самостоятельные курсы именно в той силе и том направлении, как указывается в экзаменационных требованиях правительства, в составлении коих мне приходилось по приглашению министра народного просвещения принимать деятельное участие. Таким образом, если сбудутся мои предположения, лицей своим университетским отделением может содействовать подготовке экзаменационных программ для будущих испытательных комиссий и выяснению предстоящих им задач.

В гимназическом же отделении лицей вместо упраздненной и не совсем удавшейся Ломоносовской семинарии, куда принимались по состязательному испытанию для бесплатного воспитания мальчики в слишком раннем возрасте (по окончании ими элементарной школы), когда способности и свойства не могут еще достаточно обнаружиться, я полагал бы принимать на стипендии оказавшихся наиболее способными из учеников 5-го или 6-го класса как самого лицея, так и гимназий, и вести этих отборных юношей далее высоким уровнем учения до конца университетского курса с тем, чтобы образовать из них людей науки, которые бы со временем могли послужить обновлению и улучшению наших профессорских коллегий.

Мысль об этих новых задачах для лицея не покидает меня, но я буду в состоянии должным образом осилить их не прежде, как найду себе помощника, чем в настоящее время я и особенно озабочен. Если проба удастся, то я буду ходатайствовать о разрешении передать ему директорскую должность, соединенную в лицее с преподаванием, с тем, чтобы он жил в самом заведении и непосредственно управлял им как в учебно-воспитательном, так и в хозяйственном отношении, сам же я удержал бы за собой собственно попечительские к лицейскому отношению, продолжая помогать ему в его нуждах нравственно и материально, направляя и контролируя общий ход дел в его жизни.

Смею думать, что для правительства в деле науки и воспитания не бесполезно содействие подобного рода для достижения прочных и надежных результатов.

Между тем злоумышленная пропаганда не дремлет. Она изобретает новые способы действовать среди учащейся молодежи, не только в университетах, но и в средне-учебных заведениях. Из разных мест империи получены мной не лишненные в этом отношении основания сведения, которые по проверке немедленно будут мной доставлены министру народного просвещения.

Но как ни важны в моем суждении все эти вопросы, я не осмелился бы утруждать Ваше Величество особым письмом о них, если бы в эту минуту не решалось дело, которое поправить будет трудно. Это новое, прошедшее через Государственный Совет положение о найме сельских рабочих. Я был успокоен уверением, что окончательное обсуждение этого закона будет отложено до будущей сессии, и лишь теперь узнаю, что мнение Государственного Совета по этому вопросу уже состоялось и подлежит Высочайшему утверждению.

Сколько смею судить, воля Вашего Величества направлена к тому, чтобы восстановить и укрепить расстроенный у нас порядок. В этих видах готовится теперь реформа местного управления, долженствующая положить в наших селах конец хаосу, который губит народ и разоряет наше хозяйство. Но новые правила о найме сельских рабочих, вступив в действие, окажутся в противоречии с этим направлением. Имея в виду облегчить и обеспечить сельское хозяйство, новые правила приведут его в худшее, чем ныне, положение.

Проект этих правил исходит от двух министров, которые так справедливо пользуются полным доверием Вашего величества и с которыми было бы мне крайне прискорбно в чем-нибудь разногласить. Всякое мое разногласие с ними было бы на руку противникам дела, которому мы равно служим, они — на своем высшем государственном посту, я — в моей общественной деятельности.

С графом Толстым я был безотлучен в лучшую пору его управления Министерством Народного Просвещения. С ним, как и с М. Н. Островским, я нахожусь в полном принципиальном единомыслии по государственным вопросам, и только

крайняя необходимость могла бы заставить меня выступить против них с публичным в чем-нибудь возражением. Но когда мнение Государственного Совета станет законом, критика будет бесполезна.

Ваше Императорское Величество! Остается одно средство: повременить утверждением проекта. Говоря это, я черпаю смелость в моей преданности, в чувстве долга перед Государем и Отечеством. Издание этого закона было бы теперь во всяком случае неблагоприятно. Можно ли успешно регулировать отношения рабочих и нанимателей, которые в сельском быту составляют почти половину всех дел, прежде чем обозначился новый порядок, который имел быть установлен реформой местного управления? Можно ли правильно поставить дело, которого органы еще неизвестны? Реформа местного управления теперь на очереди. Лишь когда она будет готова, в ее свете могут быть разработаны и постановлены правила, какими должны руководиться новые власти, имеющие выдать отношения между сельскими хозяевами и сельскими рабочими. Вот основание для отсрочки утверждения, основание, которого не могут не признать министры, вносившие этот вопрос на законодательное разрешение. Между тем дело это может быть разъяснено так, что и они увидят сами необходимость некоторых изменений в составленном их чиновниками проекте.

Оба министра задумали дело в наилучшем смысле; но проект тем не менее составлялся чиновниками, недостаточно подготовленными к тому, чтобы войти в логику этого вопроса, и мало знакомыми с условиями сельского быта. А между тем всякое не соображенное с действительными условиями и внушенное отвлеченными мотивами постановление может отозваться пагубными последствиями, возбудить небезосновательный ропот и дискредитировать правительство. Если бы Ваше Величество дозволили, я мог бы изложить соображения касательно этого проекта, основанные на тщательном изучении вопроса и верных данных. Не все ли равно, важная ли особа или скромный прохожий обратит внимание хозяина дома на тлеющую искру? Если что в моих показаниях и доводах может

представиться сомнительным, повелите, Ваше Величество, доверенным лицам, не называя моего имени во избежание толков, собрать справки, какие окажутся нужными. Какое бы ни было принято Вашим Величеством решение, лишь бы дело предстало во всей своей ясности, и в решении сказалась бы не случайность. Простите, Всемилостивейший Государь, дерзновение моей преданности.

Вашего Императорского Величества
верноподданный М. Катков.

1886

КОММЕНТАРИИ

В дореволюционной России труда М. Н. Каткова неоднократно публиковались и переиздавались. Их довольно часто цитировали в своих работах другие русские публицисты. В 1887 г. в Москве выходит его двухтомное «Собрание статей по польскому вопросу, помещавшихся в Московских ведомостях, Русском вестнике и Современной летописи. 1863 год». В память великого публициста его вдовой С. П. Катковой было организовано издание монументального «Собрания передовых статей «Московских ведомостей» 1863–1887» в 25 выпусках (М., 1897–1898). Произведения Каткова объединялись также в отдельные авторские тематические сборники, посвящавшиеся каким-либо узловым вопросам российской жизни. Это: «Наша учебная реформа» (М., 1890), «М. Н. Катков о современных вопросах России» (М., 1898), «О самодержавии и конституции» (М., 1905), «О дворянстве» (М., 1905), «О церкви» (М., 1905), «О печати» (М., 1905) и другие.

В Советском Союзе произведения Каткова уже не переиздавались, а сам русский мыслитель, как правило, упоминался в советской печати с негативным оттенком. Впрочем, некоторые из его литературно-критических работ в сильно урезанном виде все-таки иногда включались в коллективные историко-литературные сборники. Здесь можно упомянуть «Несколько дополнительных слов к характеристике Кольцова», включенную в сборник «Современники о Кольцове» (Воронеж, 1959), и «Пушкин», вошедшую в сборник «Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века» (М., 1982).

Уже в начале нашего столетия М. Б. Смолиным были подготовлены два сборника произведения Каткова – «Имперское слово» (М., 2002) и «Империя и крамола» (М., 2007). Однако составлены они в основном из передовых статей «Московских ведомостей» и, к сожалению, многие крупные работы замечательного представителя русской мысли в них не вошли.

РАЗДЕЛ I. ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА РОССИИ

Власть и общество

Вопросы самоуправления

Впервые опубликовано: Московские ведомости. – 1863. – № 162. – 25 июля. – С. 1. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1863 год. – М., 1897. – С. 402–405.

Новые реформы

Впервые опубликовано: Московские ведомости. – 1863. – № 200. – 14 сентября. – С. 1. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Стр. 43: «Об этом узнаем мы из заметки, появившейся на днях в Journal de St.-Pétersbourg и сообщаемой ниже». – «Journal de St.-Pétersbourg» – политическая и литературная газета, орган Министерства иностранных дел, издавалась в Петербурге. Заметка, о которой идет речь, перепечатана на стр. 1–2 этого же номера «Московских ведомостей». В ней, в частности, говорилось: «Органы иностранной печати не берут на себя ни малейшего труда добросовестно изучить действия правительства и движение общественного мнения в России. Они считают за лучшее предаваться в этом отношении внушениям своих интересов и влиянию духа партий» (С. 1).

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1863 год. – М., 1897. – С. 535–539.

Потребность прочного единения

Впервые опубликовано: Московские ведомости. – 1863. – № 205. – 21 сентября. – С. 1. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1863 год. – М., 1897. – С. 551–554.

Условия плодотворности реформ

Впервые опубликовано: Московские ведомости. – 1864. – № 1. – 1 января. С. – 1. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1864 год. – М., 1897. – С. 1–5.

Цельность и однородность русского государства

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1864. – № 246. – 10 ноября. – С. 1–2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1864 год. – М., 1897. – С. 701–708.

Неразрывная связь русского народа с Верховной властью

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1867. – № 88. – 23 апреля. – С. 1. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. О Самодержавии и Конституции. – М., 1905. С. 27–30.

Заглавие статьи дано по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1867 год. – М., 1897. – С. 201–202.

Что значит слово «реакция»?

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1881. – № 79. – 20 марта. – С. 3. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. О Самодержавии и Конституции. – М., 1905. – С. 33–35.

Единственный царский путь

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1881. – № 114. – 26 апреля. – С. 3. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. О Самодержавии и Конституции. – М., 1905. – С. 32–33.

Свобода и власть

I. Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1881. – № 126. – 8 мая. – С. 3. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

II. Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1881. – № 126. – 8 мая. – С. 3. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. О Самодержавии и Конституции. – М., 1905. – С. 41–47.

Панургово стадо

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1881. – № 138. – 20 мая. – С. 2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1881 год. – М., 1898. – С. 242–243.

Заглавие дано составителем сборника.

Земля и государство

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1881. – № 197. – 18 июля. – С. 3. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. О Самодержавии и Конституции. – М., 1905. – С. 47–50.

Годовщина события 1-го марта

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1882. – № 61. – 2 марта. – С. 3. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1882 год. – М., 1898. – С. 102–104.

Государственный патриотизм

К какой принадлежим мы партии?

Впервые опубликовано: Русский вестник. – 1862. – Т. 37. – № 2. – С. 832–844. Без упоминания фамилии автора.

Эта работа является программной для понимания социально-политических взглядов М. Н. Каткова и его общественной позиции. Здесь он последовательно анализирует сложнейшие вопросы общественного бытия: равновесие, соотношение между общественной свободой и государственными установлениями, охранительные начала, либерализм и общественный прогресс, истинный и ложный консерватизм и др. Сформулирована катковская концепция государственного патриотизма. Произведение «К какой принадлежим мы партии?» – одно из самых замечательных по глубине научной мысли в духовном наследии М. Н. Каткова.

Печатается по тексту первой публикации.

Столетний юбилей митрополита Филарета

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1882. – № 357. – 25 декабря. – С. 2–3.

Работа посвящена духовному наследию Филарета, митрополита Московского и Коломенского. Будучи последователем государственного учения Филарета, М. Н. Катков в своих публикациях обращался к его жизни и деятельности

неоднократно. См., напр.: Московские ведомости. – 1867. – № 166, 172, 255 и др.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1882 год. – М., 1898. – С. 672–678.

РАЗДЕЛ II. ЗАДАЧИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Россия и Европа

Истинный и разумный патриотизм

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1863. – № 103. – 14 мая. – С. 1. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1863 год. – М., 1897. – С. 232–237.

Мнимое и действительное

Впервые опубликовано: Русский вестник. – 1863. – Т. 45. – № 5. – С. 419–428. Без упоминания фамилии автора.

Печатается по тексту первой публикации.

Русский вопрос в Европе

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1864. – № 221. – 10 октября. – С. 1. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1864 год. – М., 1897. – С. 625–627.

В чем состоит национальная политика России

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1867. – № 105. – 14 мая. С. 1. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1867 год. – М., 1897. – С. 245–247.

Важность для России истинно-
национальной политики

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1882. – № 91. – 3 апреля. – С. 3. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1882 год. – М., 1898. – С. 155–156.

Задачи внешней политики России

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1886. – № 197. – 19 июля. – С. 3. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Эта статья является программной для понимания внешне-политических взглядов великого русского публициста.

Печатается по тексту первой публикации. Заглавие дано составителем сборника.

Истечение срока Тройственного Союза и
страх Европы перед свободной Россией

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1887. – № 66. – 8 марта. – С. 2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. – 1887 год. М., 1898. – С. 124–126.

Россия и славянство

Славянство и русский язык

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1867. – № 128. – 13 июня. – С. 1–2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1867 год. – М., 1897. – С. 297–301.

Славянские первоучители

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1885. – № 93. – 6 апреля. – С. 3. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1885 год. – М., 1898. – С. 165–167.

Польский вопрос

Польский вопрос

Впервые опубликовано: Русский вестник. – 1863. – Т. 43. – № 1. – С. 471–482. Без упоминания фамилии автора.

Печатается по тексту первой публикации.

Польское восстание не есть восстание народа, а восстание шляхты и духовенства

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1863. – № 130. – 15 июня. – С. 1. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1863 год. – М., 1897. – С. 306–311.

Защита русской народности за рубежом

Русские галичане и «польская справа»

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1884. – № 55. – 25 февраля. – С. 3. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Стр. 201: «...можем ли мы не сочувствовать нашим горючим братьям, особенно в лице столь достойных предста-

вителей нашей народности, как отец Наумович, гг. Добрянский, Площанский и другие...» – в 1882–1883 гг. по наущению польских ксендзов и иезуитов австро-венгерскими властями было организовано судебное преследование протоиерея И. Г. Наумовича, писателей и журналистов А. И. Добрянского, В. М. Площанского и других защитников русской народности в Галиции по обвинению «в государственной измене». Подлинной причиной было добровольное желание части населения Галиции вернуться в православие.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1884 год. – М., 1898. – С. 101–103.

РАЗДЕЛ III. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Отечественная промышленность

Мнимая бедность России

I. Впервые напечатано: Московские ведомости.– 1884. – № 123. – 5 мая. – С. 2. Без заглавия и указания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1884 год. – М., 1898. – С. 248–250.

II. Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1884. – № 126. – 8 мая. – С. 2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1884 год. – М., 1898. – С. 252–254.

Естественные богатства России

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1884. – № 262. – 21 сентября. – С. 1–2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1884 год. – М., 1898. – С. 485–488.

При каких условиях могла бы у
нас развиться техника?

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1884. – № 319. – 17 ноября. – С. 2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1884 год. – М., 1898. – С. 592–593.

Необходимость покровительства
народной промышленности

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1863. – № 162. – 25 июля. – С. 1. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1884 год. – М., 1898. – С. 610–612.

Заботы нефтепромышленников
о пользе Отечества

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1886. – № 73. – 15 марта. – С. 3. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Стр. 228: «*Новости*, напечатавшие подробный отчет об этом заседании...» – Речь идет о статье «Налог на нефть», напечатанной в газете «Новости и Биржевая газета» (№ 68 от 12 марта 1886, с. 3). В статье, в частности, говорилось: «Вопрос о пошлине остался еще не решенным, хотя победа заметно склонялась на сторону ее противников. В прениях участвовали гг. Рагозин, Нобель, Менделеев, Лазарев, Лоранский и др. Защитниками пошлины выступили гг. Рагозин и Нобель».

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1886 год. – М., 1898. – С. 149–150.

Сельское хозяйство

Русская сельская община

Впервые опубликовано: Русский вестник. – 1858. – Т. 17. – Кн. 1. – С. 185–235. Без упоминания фамилии автора.

Печатается по тексту первой публикации.

Причина обеднения крестьян

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1881. – № 15. – 15 января. – С. 3. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1881 год. – М., 1898. – С. 33–35.

РАЗДЕЛ IV. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЯЗВЫ РОССИИ

Либерализм и антипатриотизм интеллигенции

Истинный и фальшивый либерализм

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1863. – № 178. – 15 августа. – С. 1–2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1864 год. – М., 1897. – С. 271–272.

Наше варварство – в нашей
иностранной интеллигенции

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1878. – № 106. – 28 апреля. – С. 3. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1878 год. – М., 1897. – С. 189–191.

«русский народ» и «Петербургская
интеллигенция» (Ответ Кавелину)

Впервые опубликовано: Московские ведомости.— 1880.—
№ 66.— 7 марта.— С. 3. Без заглавия и упоминания фамилии
автора.

Стр. 305: «На прошлой неделе в одной из петербургских
газет К. Д. Кавелин...» — речь идет о статье К. Д. Кавелина «За-
метка», опубликованной в газете «Молва» 28 февраля 1880 (№
59, с. 1). Статья К. Д. Кавелина вызвала немало сочувственных
откликов в либеральной печати.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передо-
вых статей Московских ведомостей. 1880 год. — М., 1898. — С.
127–130.

Национальная и антинациональная
политика партии в России

Впервые опубликовано: Московские ведомости.— 1880.—
№ 94.— 4 апреля.— С. 3. Без заглавия и упоминания фамилии
автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передо-
вых статей Московских ведомостей. 1880 год. — М., 1898. — С.
193–196.

Постом и молитвою искупим нашу вину

Впервые опубликовано: Московские ведомости.— 1881.—
№ 69.— 10 марта.— С. 2–3. Без заглавия и упоминания фамилии
автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передо-
вых статей Московских ведомостей. 1881 год. — М., 1898. — С.
131–132.

Процесс Стасюлевича (Долг
честного гражданина)

Впервые опубликовано: Московские ведомости.— 1882.—
№ 311.— 9 ноября.— С. 2. Без заглавия и упоминания фамилии
автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1882 год. – М., 1898. – С. 585–588.

Уважение нашей интеллигенции ко
всякой доблести нерусской

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1883. – № 105. – 15 апреля. – С. 3. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1883 год. – М., 1898. – С. 197–199.

Нигилизм и революционное движение

Заметка для издателя «Колокола»

Впервые опубликовано: Русский вестник. – 1862. – Т. 39. – № 6. – С. 834–852. Без упоминания фамилии автора.

Стр. 330: «...пишущий эти строки еще три года тому назад в бытность свою в Лондоне встретился с этими господами...» – речь идет о поездке М. Н. Каткова в Англию в 1859 году для изучения особенностей английского общественного строя.

Стр. 341: «...под заглавием *Молодая Россия*» – Эта революционная прокламация распространялась в мае 1862 г. Ее автор – П. Г. Заичневский.

Печатается по источнику первой публикации.

Ответ на книгу Шедо-Ферроти

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1864. – № 195. – 5 сентября. – С. 1–2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1864 год. – М., 1897. – С. 540–548.

Кто наши революционеры?

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1870. – № 4. – 6 января. – С. 1–2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1870 год. – М., 1897. – С. 12–18.

Процесс нечаевцев

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1871. – № 161. – 25 июля. – С. 2–3. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

«Процесс нечаевцев» – название статьи связано с именем Сергея Геннадьевича Нечаева (1847–1882), организатора тайной революционной организации. Процесс нечаевцев проходил в С. Петербурге в июле–сентябре 1871 г. Одно из тяжких преступлений нечаевцев – убийство в 1869 г. в Москве студента И. И. Иванова.

Стр. 379: «Но вот катехизис русского революционера» – «Катехизис революционера», устав «Народной расправы». Написан С. Г. Нечаевым. В основе принцип: «Цель оправдывает средства». Оглашение устава этой организации на суде вызвало общественный шок и возмущение в России.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1871 год. – М., 1897. – С. 490–496.

Нигилизм по брошюре проф. Цитовича

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1879. – № 153. – 17 июня. – С. 2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1879 год. – М., 1898. – С. 297–300.

Общественная апатия и самоуничтожение

Страсть к поруганию и самоуничтожению

Впервые опубликовано: Московские ведомости.— 1863. — № 214. — 4 октября. — С. 1. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1863 год. — М., 1897. — С. 575–578.

Причина скудости и бессилия
русской народной жизни

Впервые опубликовано: Московские ведомости.— 1864. — № 51. — 5 марта. — С. 1–2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1864 год. — М., 1897. — С. 136–138.

Дилетантизм и пустословие

Элегическая заметка

Впервые опубликовано: Русский вестник. — 1861. — Т. 34. — № 8. — С. 162–166. В отделе «Литературное обозрение и заметки». Без упоминания фамилии автора.

Печатается по тексту первой публикации.

Пьянство

Необходимость сокращения кабаков

Впервые опубликовано: Московские ведомости.— 1881. — № 228. — 18 августа. — С. 2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1881 год. – М., 1898. – С. 386–388.

РАЗДЕЛ V. ОСНОВЫ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Православие – основа русской народности

В России есть национальная Церковь
Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1867. – № 101. – 9 мая. – С. 1–2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. О церкви. – М., 1905. – С. V–VIII.

Пастырь и паства

Неправильность в положении Православной Церкви и православного духовенства в России
Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1867. – № 162. – 25 июля. – С. 2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. О церкви. – М., 1905. – С. 9–15.

Необходимость уничтожения касты в православном духовенстве

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1868. – № 40. – 23 февраля. – С. 3. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. О церкви. – М., 1905. – С. 15–23.

Гнет, тяготеющий над русской
церковной жизнью

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1871. – № 154. – 16 июля. – С. 2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. О церкви. – М., 1905. – С. 38–42.

Православие и раскол

Вопрос о расколе

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1863. – № 250. – 16 ноября. – С. 1. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1863 год. – М., 1897. – С. 678–680.

Веротерпимость,
ее сущность и границы

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1864. – № 13. – 17 января. – С. 1. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. О церкви. – М., 1905. – С. 56–63.

Причина происхождения
раскола и путь к его
уничтожению

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1864. – № 66. – 22 марта. – С. 1. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. О церкви. – М., 1905. – С. 67–75.

Православие и католицизм

О свободе совести и религиозной свободе
(Римско-Католическое исповедание)

Впервые опубликовано: Московские ведомости.— 1863. — № 168. — 2 августа. — С. 1–2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

«...монах-редемпторист...» — член ордена Искупителя, тесно связанного с иезуитами.

Печатается по изданию: Катков М. Н. О церкви. — М., 1905. — С. 106–116.

Церковно-славянский язык – язык Русской Церкви

К вопросу о переводе Св. Писания
со славянского языка на русский

Впервые опубликовано: Московские ведомости.— 1879. — № 115. — 30 мая. — С. 1–2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. О церкви. — М., 1905. — С. 31–38.

РАЗДЕЛ VI. ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Высшая школа

О необходимости изменения
университетских экзаменов

Впервые опубликовано: Московские ведомости.— 1881. — № 109. — 21 апреля. — С. 2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1881 год. – М., 1898. – С. 188–190.

Ключ предстоящей реформы университетов

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1882. – № 220. – 10 августа. – С. 2–3. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Стр. 466: «...с «диктатурой сердца» включительно...» – Намек на ошибки М. Т. Лорис-Меликова, который, будучи председателем Верховной распорядительной комиссии (1880 г.) и министром внутренних дел (1880–1881 гг.), допускал уступки либерализму.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1882 год. – М., 1898. – С. 410–412.

Университетский вопрос

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1884. – № 178. – 29 июня. – С. 2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Стр. 472: «Мы просим наших гг. Ласкеров и Рихтеров нашего парламентаризма...» – Упоминание в ироническом смысле двух известных в те годы германских политических деятелей.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1884 год. – М., 1898. – С. 337–341.

Среднее образование

Значение классической школы
как общеобразовательной

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1864. – № 205. – 19 сентября. – С. 1–2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Наша учебная реформа. – М., 1890. – С. 7–12.

Значение концентрации

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1864. – № 238. – 31 октября. – С. 1–2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Наша учебная реформа. – М., 1890. С. 17–36.

Возобновившаяся агитация против учебной реформы

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1880. – № 36. – 6 февраля. – С. 2–3. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1880 год. – М., 1898. – С. 69–76.

Церковно-приходские школы

Церковь и народная школа

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1882. – № 290. – 19 октября. – С. 2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1882 год. – М., 1898. – С. 541–544.

Церковно-приходские школы

I. Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1884. – № 347. – 15 декабря. – С. 2–3. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Стр. 524: «Когда взята будет школа, – писал их учитель Писарев...» – здесь Катков вольно цитирует работу Д. И. Писарева «Школа и жизнь».

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1884 год. – М., 1898. – С. 643–646.

II. Впервые опубликовано: Московские ведомости. – 1884. – № 348. – 16 декабря. – С. 2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1884 год. – М., 1898. – С. 646–649.

РАЗДЕЛ VII. ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Пушкинская тема

Отзыв иностранца о Пушкине. Предисловие

Впервые опубликовано: как предисловие к собственному переводу статьи Фарнхагена фон Энзе «Сочинения Александра Пушкина» в журнале Отечественные записки. – 1839. – Т. 3. – № 5. Приложение. – С. 1–36.

Печатается по тексту первой публикации.

Пушкин

Впервые опубликовано: Русский вестник. – 1856. – Т. 1. – Кн. 1. – С. 155–172; Кн. 2. С. 306–324; Т. 2. Кн. 2. С. 281–310.

Стр. 585: «...сюда относятся «Галуб»...» – Катков имеет в виду поэму «Гасуб» («Тазит»). Опубликована в журнале «Современник» (1837), при этом имя героя было искажено: Галуб вместо Гасуб.

Впоследствии работа эта неоднократно перепечатывалась.

Текст печатается по изданию: М. Н. Катков о Пушкине. Издание Императорского Лицея в память Цесаревича Николая по случаю празднования столетия со дня рождения Пушкина. – М., 1900. – С. 17–93.

Кого чествует Россия в лице А.С. Пушкина

Впервые опубликовано: Особое прибавление к № 155 «Московских ведомостей». – 1880. – 6 июня. – С. 2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Статья Каткова была специально написана к 6 июня 1880 года, дню открытия памятника А. С. Пушкина в Москве. Автор памятника – выдающийся русский скульптор, ярославец А. М. Опекушин. Михаил Никифорович активно поддерживал на страницах своих изданий идею создания в Москве памятника Пушкину. Он же поддержал и опекушинский проект памятника, хотя поначалу этот проект вызвал неоднозначные оценки представителей творческой интеллигенции.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1880 год. – М., 1898. – С. 310–316.

Кольцов

Несколько дополнительных слов
к характеристике Кольцова

Впервые опубликовано: Русский вестник. – 1856. – Т. 6. – Кн. 1. – С. 169–171.

Напечатано в дополнение к статье М. Е. Салтыкова-Щедрина «Алексей Васильевич Кольцов. Стихотворения» (С. 147–168). Статья начиналась словами: «Пред нами лежит книга, от которой отрадой веет на наше сердце. Кольцов бесспорно принадлежит к числу лучших людей своего времени; несмотря на то, что он не был приготовлен к литературной деятельности даже элементарным учением, все лучшие симпатии, все лучшие верования того времени нашли такой полный отголосок в его сердце, что невольно удивляешься этой свежей и доброй личности, которая сумела выйти невредимой и неприкосновенной из целого ряда самых тяжелых, самых грустных испытаний» (стр. 174). В 1959 году статья «Несколько дополнительных слов к характеристике

Кольцова» в сокращенном виде была включена в сборник «Современники о Кольцове. К 150-летию со дня рождения поэта», вышедший в Воронеже. Непонятно, однако, почему составители сборника не включили в текст публикации наиболее интересные и содержательные фрагменты воспоминаний М. Н. Каткова.

Печатается по первой публикации.

Тургенев

Роман Тургенева и его критики

Впервые опубликовано: Русский вестник. – 1862. – Т. 39. – № 5. – С. 393–424. Без указания фамилии автора.

Ни один из романов И. С. Тургенева не вызвал столько споров в литературной критике, как «Отцы и дети».

Стр. 627: «Г. Антонович, критик *Современника*...» – М. А. Антонович (1835–1918) посвятил роману И. С. Тургенева статью «Асмодей нашего времени» (*Современник*. – 1862. – № 3. – С. 65–114).

Стр. 627: «...даже сравнение с г. Аскоченским...» – писатель и публицист В. И. Аскоченский высказал свое мнение о романе И. С. Тургенева в постоянной рубрике «Блестки и изгарь» своего журнала «Домашняя Беседа» (1862. – № 19. – С. 447–454).

Стр. 632: «Г. Писарев восторженно благодарит автора...» – имеется в виду статья Д. И. Писарева «Базаров», опубликованная в журнале «Русское слово» (1862. – № 3. – С. 1–54).

Катков упоминает также статью в «Современной летописи» – «Диковинки русской журналистики (Письмо к редактору)» (1862. – № 18. – С. 16–18).

Печатается по первой публикации.

О нашем нигилизме. По поводу романа Тургенева

Впервые опубликовано: Русский вестник. – 1862. – Т. 40. – № 7. – С. 402–426. Без упоминания фамилии автора.

Печатается по тексту первой публикации.

Тургенев

Впервые опубликовано: Московские ведомости.— 1883. — № 261. — 20 сентября. — С. 1. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1883 год. — М., 1898. — С. 431—434.

Достоевский

Характеристика внутреннего мира Достоевского

Впервые опубликовано: Московские ведомости.— 1881. — № 33. — 2 февраля. — С. 1—2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1881 год. — М., 1898. — С. 69—71.

Русский язык и древнерусская словесность

Песни русского народа, изданные И. Сахаровым

Впервые опубликовано: Отечественные записки. — 1839. — Т. IV. — С. 1—24. В разделе «Критика». Без упоминания фамилии автора.

Стр. 686: «А до Великого у нас не было ни искусства, в собственном смысле этого слова, ни науки» — весьма спорное утверждение Каткова.

Печатается по первой публикации.

Задачи русской печати.

Русская политическая печать

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1866. – № 65. – 25 марта. – С. 2–3. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. О печати. – М., 1905. – С. III–VI.

Право публичного обсуждения
государственных вопросов есть
служение государственное

Впервые опубликовано: Московские ведомости.– 1866. – № 151. – 19 июля. – С. 2. Без заглавия и упоминания фамилии автора.

Печатается по изданию: Катков М. Н. О печати. – М., 1905. – С. 16–19.

РАЗДЕЛ VIII. ПИСЬМА К АЛЕКСАНДРУ II И АЛЕКСАНДРУ III

Публикуемые в настоящем сборнике письма хранятся ныне в Российском Государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), фонд № 262, ед. хран. № 1. Все письма печатаются по изданию: Былое. – 1917. – Кн. № 4. – С. 3–32.

Письмо – 1879 г., июль

Стр. 712: «Да поможет Бог доблестному генералу...» – Имеется в виду граф М. Т. Лорис-Меликов.

Комментарии составил Ю. В. Климаков

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860), сын *С. Т. Аксакова*, русский публицист, критик, поэт, историк, языковед, один из основоположников русского славянофильства. – 8, 12.

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859), писатель, мемуарист, критик. – 12, 14, 565.

Александр II Освободитель (1818–1881) – Император Всероссийский (1856–1881). – 6, 14, 19, 21, 23, 26, 93, 709–742.

Александр III Миротворец (1845–1894) – Император Всероссийский (1881–1894). – 30, 33–35, 709–742.

Алексей Михайлович (1629–1676) – русский царь с 1645. – 75

Анатолий – архимандрит Успенского Чонско-Макариева монастыря в Гомельском уезде Могилевской губернии. – 326–327.

Андреяшев Алексей Фомич (1826–1882) – педагог, деятель русского образования, директор 1-й киевской гимназии. – 725.

Анненков Павел Васильевич (1812–1887) – известный литератор, критик-мемуарист, убежденный западник, первый научный биограф *Пушкина*. Редактор и издатель его сочинений. – 25, 538, 576, 598.

Антонович Максим Алексеевич (1835–1918) – русский публицист, литературный критик, философ-материалист. – 25, 624, 627–633, 635.

Арсений (в миру – *Москвин Федор Павлович*) (1795–1876) – митрополит Киевский, выдающийся церковный деятель, публицист, борец с расколом. В 1860–1870-е — активный поборник распространения церковно-приходских школ. – 533.

Аскоченский, Виктор Ипатьевич (1813–1879) – писатель, историк. – 627, 635.

Бабёф Франсуа-Ноэль (1760–1797) – французский революционный коммунист-утопист, руководитель движения «во имя равенства» во время Директории. – 343.

Бабст Иван Кондратьевич (1824–1881) – экономист и историк. – 15.

Багавани – жестокая ипостась богини Кали, жены Шивы. – 638.

Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) – деятель российского и международного революционного движения, теоретик анархизма, один из идеологов революционного народничества. – 8, 364–368, 370–372, 378.

Бастиа Фредерик (1801–1850) – французский экономист, автор теории гармонии интересов труда и капитала. – 246.

Батюшков Константин Николаевич (1787–1855) – русский поэт. – 567, 591.

Безак Александр Павлович (1800–1868) – генерал-адъютант, губернатор Юго-Западного после подавления Польского мятежа. – 419.

Безбородко Александр Андреевич (1747–1799) – государственный деятель, дипломат. В конце жизни пожертвовал деньги на основание высшего юридического учебного заведения, которое основал его брат Илья Андреевич в городе Нежине. – 511.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) – мыслитель западнического направления, литературный критик, основоположник реалистической эстетики. – 7–11.

Бердан Хайрем (1824–1893) – американский оружейник, генерал, конструктор винтовки, более 20 лет состоявшей на службе в российской армии. – 219.

Бернар Клод (1813–1878) – французский физиолог. – 385.

Бисмарк Отто-Эдуард-Леопольд (1815–1898) – граф, государственный деятель Германии, канцлер (1871–1890). – 157–158, 160, 164.

Бланк Огюст (1805–1808) – французский социалист и революционер. – 343.

Блиох Иван Станиславович (1836–1901) – известный экономист, статистик и финансист, писатель. – 209, 211.

Богданович Ипполит Федорович (1743–1803) – поэт, переводчик, журналист. – 590.

Богоявленский Д. Г. – протоиерей, автор статьи «Письмо к Издателю», опубликованной в «Московских ведомостях» и посвященной вопросам борьбы с пьянством в деревне. – 406–407.

Бороздин Корнилий Александрович (1828–1896) – историк и литератор. – 17, 21 –22.

Боткин Василий Петрович (1812–1869) – русский мыслитель, литературный критик. – 7 –8, 25.

Бразе Иоанн-Николай Моро (1663–1723) – военный деятель, наемник, состоял на службе у *Петра I*, автор путевых заметок о России. – 611.

Брут Марк Юний (85–42 до н.э.) – римский сенатор, участник убийства *Гая Юлия Цезаря*. – 378.

Будда Гаутама (прим. 563–483 до н.э.) – легендарный индийский духовный учитель. – 284.

Бунге Николай Христианович (1823–1895) – государственный деятель, экономист, академик. – 15.

Буслаев Федор Иванович (1818–1897) – языковед, фольклорист, историк искусства. – 15.

Бушен Артур Богданович (1831–1876) – русский статистик. – 198.

Бюхнер Людвиг (1824–1899) – немецкий физиолог и философ, вульгарный материалист. – 620, 622, 625, 634, 650, 652.

Валуев Петр Александрович (1815–1890) – граф, государственный деятель, министр иностранных дел (1861–1868). – 21.

Василий Великий (Кесарийский) (ок. 330–379) – святой, церковный деятель, теолог, философ-платоник, представитель патристики, епископ г. Кесария. – 415.

Васильев Иосиф Васильевич (1821–1881) – выдающийся проповедник и духовный писатель, священник в русском по-

сольстве в Париже, настоятель русской церкви на рю Дарю. Издал переводы отечественных духовных писателей и православных молитв на французский язык. – 454.

Вебер Август Егорович (1836–1903) – архитектор, окончил императорскую художественную академию в Вене, работал в России. – 737.

Веймар Орест Эдуардович (1843–1885) – известный хирург, был судим по делу «социально-революционной партии». – 386.

Вердер Карл (1806–1893) – немецкий философ-гегельянец и драматург. – 365.

Вернадский Владимир Иванович (1863–1945) – минеролог, кристаллограф, геолог, геохимик, историк. – 15.

«Вестник Европы» – умеренно-либеральный литературно-политический журнал, издавался в Санкт-Петербурге с 1866 по 1918. – 14, 316, 514.

«Весть» – дворянско-консервативная газета. Издавалась в Санкт-Петербурге с 1863 по 1870. – 306.

Вико Джамбаттиста (1668–1744) – крупнейший итальянский философ эпохи Просвещения. – 542.

Владимир Святой (?–1015) – великий князь Киевский, осуществивший в 988 г. Крещение Руси. – 522.

«Военный сборник» – русский ежемесячный военный журнал. Издавался в Санкт-Петербурге в 1858–1917 (с 1862 – официальный орган Военного министерства). – 219.

Волховский (Волховской) Феликс Вадимович (1846–1914) – политический деятель либерального направления, писатель. Был осужден, сослан, бежал за границу. – 375.

Волынец – псевдоним автора опубликованной в «Московских ведомостях» статьи, называющей украинофилов пособниками польской интриги, а украинский вопрос более важным для России, нежели польский. – 439.

Востоков Александр Христофорович (1781–1864) – русский филолог, поэт, академик. Занимался проблемами древнеславянской письменности и грамматики русского языка. – 459.

«Вперед» – газета, орган русского и международного социалистического и революционно движения, издавалась в 1873–1876 в Лондоне и Цюрихе. – 671.

«Время» – ежемесячный журнал, издававшийся в 1861–1863 под редакцией Ф. М. Достоевского. – 639.

Воронов Андрей Степанович (1819–1875) – педагог, деятель народного образования, публицист. – 61.

Габсбурги – королевская династия, правившая в Священной Римской империи, Австрии, Чехии, Венгрии и Испании. – 172, 201.

Гай (Кай) Гракх (153–121 до н.э.) – древнеримский политический деятель, трибун. – 57.

Гай Кассий Лонгин (85–42 до н.э.) – римский полководец и политический деятель, организатор убийства Гая Юлия Цезаря. – 378.

Гакстгаузен Август (1792–1866) – барон, прусский чиновник, экономист. В 1843 г. путешествовал по России. – 256.

Гано Адольф (1804–1887) – французский физик, автор учебника физики, пользовавшегося чрезвычайной популярностью во всем мире во второй половине XIX–нач. XX вв. – 649.

Гатлинг Ричард Джордан (1818–1903) – американский оружейник. – 219.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) – немецкий философ-идеалист, создатель системы законов и категорий диалектики (диалектического метода). – 7–10, 365, 537.

Гейне Генрих (1797–1856) – немецкий поэт. – 9.

Герцен Александр Иванович (1812–1870) – революционер, писатель, философ. – 8, 12, 21, 23–24, 5, 328–345, 348–351, 353–354, 370, 372.

Гёте Иоганн Вольфганг фон (1749–1832) – крупнейший поэт и универсальный гений немецкой литературы. – 9, 628–629.

Гетте Рене Франсуа (в православии – Владимир) (1816–1892) – католический священник, доктор богословия, духовный писатель. Под влиянием о. И. Васильева принял православие, а затем и русское подданство. – 454.

Гирс Николай Карлович (1820–1859) – статс-секретарь и министр иностранных дел. Присутствовал на четырех свиданиях императоров (1879, 1881, 1884, 1885). Был сторонником сближения России с Германией. – 34, 152.

Глинка Михаил Иванович (1804–1857) – русский композитор. – 675.

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) – великий писатель, автор «Ревизора» и «Мертвых душ». – 16, 538, 641.

Голицын Михаил Александрович (1804–1860) – дипломат, известный библиофил. – 11.

«Голос» – ежедневная политическая и литературная газета, издавалась в 1863–1884 в Санкт-Петербурге. – 505 – 506, 508, 514.

Гомер – древнегреческий поэт, которому приписывается авторство легендарных эпических произведений – «Илиады» и «Одиссеи». – 234, 456.

Горчаков Александр Михайлович (1798–1883) – государственный деятель, дипломат. – 140.

Градовский, Александр Дмитриевич (1841–1889) – правовед, историк, публицист. Примыкал к славянофилам. – 477.

Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) – историк и социолог, либеральный мыслитель. – 8, 12.

Греви Жюль (1807–1891) – французский политический деятель, президент Франции (1879–1887). – 33.

Греч Николай Иванович (1787–1867) – русский журналист, писатель, ученый-филолог, автор известного в XIX веке учебника «Практическая русская грамматика». – 459.

Григорий I Великий (540–604) – святой, церковный деятель, римский папа. – 415.

Давыдов Иван Иванович (1820–1847) – профессор Московского университета, математик, физик, историк, философ и словесник. – 9.

Даль Владимир Иванович (1801–1872) – русский писатель, лексикограф, этнограф. – 611.

Данте Алигьери (1265–1321) – итальянский поэт эпохи Возрождения, автор «Божественной комедии». – 593.

Декарт Рене (1596–1650) – французский философ, ученый, математик. – 652.

Делянов Иван Давыдович (1818–1897) – граф, русский государственный деятель, статс-секретарь, товарищ министра народного просвещения и министр народного просвещения (1882–1897). – 716.

Дементьева Александра Дмитриевна (по мужу *Ткачева*) (1868–1869) – петербургская мещанка, в 1868–1869 вместе с мужем *П. Н. Ткачевым* принимала участие в студенческих беспорядках, предана суду. – 382.

Демишель Овидий-Хрисанф (1793–1866) – профессор, историк, автор книг по истории Средних веков. – 9.

Державин Гавриил Романович (1743–1816) – русский поэт. – 567-568.

Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) – русский литературный критик, публицист. – 25, 673.

Добрянский-Сачуров Адольф Иванович (1813–1901) – галицко-русский писатель и общественный деятель, ревностный русофил. – 201.

Достоевский, Федор Михайлович (1821–1881) – великий русский писатель, один из высших выразителей духовно-нравственных ценностей русской цивилизации. – 15-17, 22, 676-678.

Дрентельн Александр Романович (1820–1888) – генерал, член Государственного Совета, командующий войсками Киевского военного округа и Киевский, Подольский и Волынский генерал-губернатор. – 726, 728.

Дружинин Александр Васильевич (1824–1864) – писатель, литературный критик, теоретик искусства. – 16, 25.

Дубровин Владимир Дмитриевич (1855–1879) – подпоручик, сторонник террора, пытался организовать военный террористический кружок. Казнен по приговору военного суда. – 386.

Дюбуа Ремон (Реймон) Эмиль (1818–1896) – немецкий физиолог. – 648.

Дюкрэ-Дюмениль (Дюкродюмениль) Франуса-Гильом (1761–1819) – французский писатель. – 387.

Екатерина II Великая (1729–1796) – Императрица Всероссийская (1762–1796). – 73.

Елагина Авдотья (Евдокия) Петровна (урожд. Юшкова) (1789–1877) – переводчица, хозяйка литературного салона. – 11.

Елисеев Григорий Захарович (1821–1891) – публицист, журналист. – 25.

Жанлис Стефани-Фелисите Дюкре де Сент-Обен (1746–1830) – графиня, французская писательница. – 387.

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) – русский поэт, переводчик, один из основоположников русского романтизма. – 567-568, 582, 591, 611.

Забелин Иван Егорович (1820–1908) – историк, археограф, археолог, музейный деятель. – 15.

Замойский Андрей (1800–1874) – граф, польский общественный и государственный деятель, вождь умеренной шляхетско-помещичьей партии. – 190.

Заморин Иван – крестьянин, раскольник из секты «бегунов», осужденный за осквернение Св. Таин. – 428–434.

Засулич Вера Ивановна (1850–1919) – писательница, деятельница общественного и революционно движения, народница. – 303, 305, 309, 318.

Землевладелец – псевдоним автора опубликованной в «Московских ведомостях» статьи «К вопросу о кабаках и кормчестве», посвященной вопросам борьбы с пьянством в деревне. – 406.

Зиновьев Николай Алексеевич (1845–нач. 1900-х) – общественный и революционный деятель, был связан с народолюбцами, осужден и сослан на Дальний Восток. – 386.

Зубалов Лев Константинович (1853–1914) – крупный нефтепромышленник, коллекционер. – 207.

И. П. – псевдоним автора статьи «Голос из деревни», опубликованный в «Московских ведомостях» и посвященной борьбе с пьянством в деревне. – 406.

Иванов Иван Иванович (?–1869) – студент Петровской земледельческой академии, член революционно-анархистской группы *Нечаева*. Был убит за неподчинение приказам руководителя группы. – 378.

Игнатъев Николай Павлович (1832–1908) – граф, дипломат-панславист и государственный деятель, министр внутренних дел (1861–1868). – 407.

Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920) – историк и публицист. – 19, 22, 29–30.

Иоанн Златоуст (ок. 350–407) – видный деятель Восточно-христианской Церкви, епископ Константинополя (с 398 г.) – богослов и проповедник. – 415.

Иоанникий (в миру – *Руднев И. М.*) (1826–1900) – митрополит Московский и Коломенский, позднее Киевский и Галицкий, выдающийся духовный просветитель. – 200.

К. Л. – псевдоним *К. Н. Леонтьева*.

Кавелин Константин Дмитриевич (1815–1885) – русский правовед, историк, публицист, философ. – 15, 305–309.

Казимихаил Ильич (1835–1896) – общественный деятель, организатор отечественного судостроения. – 229–230.

Калайдович Константин Федорович (1792–1832) – археограф и историк. – 687.

Кальноки Густав (1832–1898) – государственный деятель и дипломат Австро-Венгрии. В 1881–1895 гг. министр иностранных дел. – 157, 165.

Каминский С. К. – специалист по вооружениям и артиллерии, автор учебного пособия для офицеров-артиллеристов «Записки о стрельбе». – 219.

Кант Иммануил (1724–1804) – немецкий философ и ученый, родоначальник немецкого классического идеализма. – 8, 652.

Каракозов Дмитрий Владимирович (1840–1866) – русский революционер-террорист, совершивший неудачное покушение на *Александра II*. – 368, 386.

Карамзин, Николай Михайлович (1766–1826) – русский историограф, писатель, поэт. – 568, 570, 582, 591, 599–600, 610.

Карл XII (1697–1718) – шведский король, противник *Петра I* в Северной войне. – 598.

Картезий – см. *Декарт*.

Катакази Константин Гаврилович (1830–1890) – чиновник Министерства иностранных дел. – 34.

Катков Мефодий Никифорович (1820–1875) – брат М. Н. Каткова, преподаватель юридических наук. – 5.

Катков Михаил Мефодьевич (1861–19?) – племянник М. Н. Каткова, юрист. – 35.

Катков Никифор Васильевич – отец М. Н. Каткова, дворянин, чиновник. – 5.

Каткова Варвара Акимовна (урожд. Тулаева) (1778–1850) – мать М. Н. Каткова. – 5.

Каткова Софья Петровна (урожд. Шаликова) (1834–19.02.1914) – жена М. Н. Каткова. – 13.

Квирины – в Древнем Риме эпохи республики название римских граждан. – 275.

Кери (Кэри) Генри Чарлз (1793–1879) – американский экономист, сторонник промышленного и аграрного протекционизма. – 246.

«Киевлянин» – патриотическая газета, фактически орган «Киевского Клуба Русских Националистов», издавалась в Киеве с 1864 по 1919. – 323, 419.

Киреевский Петр Васильевич (1808–1856) – собиратель русских народных песен. – 9, 687.

Кирилл (Константин) (?–869) – святой, христианский проповедник, вместе со своим братом св. *Мефодием* создал славянскую азбуку. – 175, 177–178, 201, 456.

Кириша Данилов – предполагаемый составитель первого сборника русских былин, исторических, лирических песен, духовных стихов, скоморошин (издан под названием «Древние российские стихотворения» в 1804, в 1818 переиздан с музыкальной нотацией). – 234, 687.

Киселев Павел Дмитриевич (1788–1872) – граф, государственный и военный деятель, дипломат. – 385.

Клемансо Жорж (1841–1929) – политический и государственный деятель Третьей республики. – 672.

Клюшников Иван Петрович (1811–1895) – поэт. – 8.

«*Колокол*» – русская эмигрантская газета, издавалась на русском и французском языках *А. И. Герценом* в Лондоне и Женеве с 1857 по 1867. – 23–25, 292, 328, 333–335, 340, 342, 345, 350, 353, 364.

Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842) – русский поэт. – 7, 17, 612–616.

Консидеран Виктор (1808–1893) – французский социалист-утопист, последователь Ш. Фурье. – 261.

Конфуций (551–479 до н.э.) – китайский философ. – 652.

Корнилий – в Библии римский сотник из Кесарии Палестинской, обращенный в христианство апостолом Петром. – 427.

Корф Николай Александрович (1834–1883) – педагог, организатор земских школ. – 517, 531.

Корш Евгений Федорович (1810–1897) – русский журналист и переводчик. – 15.

Коссюра – земский деятель Золотоноши, предложивший назначить премии за подготовку школьных учебников на «русском» (суржике), а не русском языке. – 203.

Кочубей, Василий Леонтьевич (1640–1708) – генеральный судья в Гетманском уряде при гетмане *Мазепе*. – 598–599.

Кошут Лайош (1802–1894) – руководитель революции в Венгрии в 1848–1849. – 339–340.

Крупп – династия немецких промышленников из Эссена, известна с XVI века. – 219–220.

Кудрявцев Петр Николаевич (1816–1858) – русский историк и литератор. – 15.

Купер Джеймс Фенимор (1789–1851) – американский писатель, историк, критик. – 9.

Куручкин Василий Степанович (1831–1875) – поэт-сатирик, переводчик и журналист. – 15.

Лаверн Леонс (1809–1880) – французский экономист и политический деятель, противник доктрина *Прудона*. – 263.

Лавров Петр Лаврович (1823–1900) – писатель и политический деятель, народник. – 386, 671–673.

Ласкер Эдуард (1829–1886) – немецкий политический деятель, один из основателей национал-либеральной партии. – 472.

Лафонтен Жан (1621–1695) – французский поэт. – 590.

Лев XIII (Джоакино Печчи) (1810–1903) – папа Римский. – 202.

Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) – русский философ, писатель и публицист, идеолог панславизма. – 286–287, 290.

Леонтьев Павел Михайлович (1822–1874) – филолог и журналист, сподвижник М. Н. Каткова. – 12, 15, 18, 29, 333–334, 678, 710, 737–738.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) – великий поэт. – 8, 597.

Лесков Николай Семенович (1831–1895) – писатель – 16, 22.

Лессепс Фердинанд Мари (1805–1894) – французский дипломат, юрист, инженер-строитель. Вел строительство Суэцкого канала (1859–1869 гг.). – 164.

Липсиус Юстус Герман (1834–1920) – немецкий филолог, профессор лейпцигского университета. – 511.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) – великий физик, химик, поэт, просветитель. – 199, 553, 567, 569, 739.

Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825–1888) – граф, русский государственный деятель. Председатель Верховной Распорядительной комиссии. Подвергался покушениям террористов. – 306, 317, 712.

Луи Блан (1811–1882) – французский социалист, историк, журналист, деятель французской революции 1848 года. – 397.

Льюис Джордж Генри (1817–1878) – английский философ-позитивист, ученый и литературный критик. – 648.

Любимов Николай Алексеевич (1830–1897) – физик и публицист. – 15, 34–35.

Мадзини Джузеппе (1805–1872) – итальянский патриот и писатель. – 338, 340.

Мазад Шарль (1821–1893) – французский писатель. – 22.

Мазепа, Иван Степанович (1644–1709) – гетман Левобережной Украины (1687–1708). Стронник выхода Украины из состава России. – 598–599.

Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) – русский поэт, переводчик. – 16.

Макрина – странствующая униатская монахиня, упоминается в прокламации польского революционного правительства. – 197.

Мария Кочубей – дочь *В. Л. Кочубея*. – 599.

Марковников Владимир Васильевич (1837–1904) – русский химик, основатель научной школы. Содействовал развитию отечественной химической промышленности. – 212.

Мацкевич Антоний (?–1863) – ксендз, один из руководителей восстания 1863 года в Литве. Повешен. – 451

Марко Вовчок – псевд. *Вилинской Марии Александровны* (по мужу *Маркевич* и *Лобач-Жученко*) (1834–1907) – украинской писательницы. – 15.

Мельников-Печерский Павел Иванович (1818–1883) – писатель и историк. – 16.

Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907) – знаменитый русский химик, физик, экономист, педагог, общественный деятель. Стронник протекционизма и хозяйственной самостоятельности России. – 227.

Мерославский Людвик (1814–1878) – активный участник польских восстаний. – 351–352, 372.

Мефодий – святой, христианский проповедник, вместе со своим братом св. *Кириллом* создал славянскую азбуку. – 175, 177–178, 201, 456.

Мещерский Владимир Петрович (1839–1914) – князь, журналист, публицист, прозаик. – 24–25.

Миллер Орест Федорович (1833–1889) – ученый-фольклорист, литературовед, общественный деятель. – 477.

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912) – граф, генерал-фельдмаршал, государственный и военный деятель, член Государственного Совета. – 15.

Минин Козьма (Кузьма Минич Захаров Сухорук) (?–1616) – купец из Нижнего Новгорода, организовавший вместе с князем *Д. М. Пожарским* народное ополчение для отпора польско-шляхетской интервенции в начале XVII в. – 604.

Михайлов Михаил Ларионович (1826–1865) – писатель, поэт. – 25.

Модестов Василий Иванович (1839–1907) – филолог и публицист. – 511.

Молишотт Якоб (1822–1893) – немецкий ученый-физиолог и философ, вульгарный материалист. – 625, 634.

Мольтке Гельмут Карл Бернгард (1800–1891) – фельдмаршал, выдающийся германский стратег. Один из главных организаторов военного разгрома Франции во время франко-прусской войны (1870–1871 гг.). – 158.

Монтескье Шарль Луи (1689–1755) – французский политический писатель, историк и социолог, родоначальник европейского либерализма. – 42.

Морен Артур-Жюль (1795–1880) – французский инженер и механик, президент Парижской Академии наук. – 481.

Морокин Александр Федорович (?–1911) – фабрикант, земской и общественный деятель, публицист. – 406.

«Московские ведомости» – одна из старейших русских газет (основана в 1756), ведущий орган национально-патриотической мысли до 1917 года. – 13, 15, 18, 19, 27, 30–36, 59, 208, 222, 305, 307, 322, 406, 531, 706, 730–732.

«Московский телеграф» – общественно-литературный журнал, издавался в Москве с 1825 по 1834 Н. А. Полевым. – 599.

Муравьев Михаил Николаевич (1796–1866) – граф, генерал от инфантерии, член Государственного Совета. В 1863–1865 гг. генерал-губернатор Северо-Западного края. Сыграл выдающуюся роль при подавлении Польского восстания. – 327.

Мюллер Лукиан (Миллер Лукиан Адамович) (1836–1898) – немецкий филолог. – 511.

Наполеон I (Бонапарт) (1769–1821) – французский император (1801–1814, март–июнь 1815), выдающийся полководец. – 245, 306.

Наполеон III (1808–1873) – племянник *Наполеона I*, император Франции с 1852 г.; после поражения при Седане свергнут с престола, умер в Англии. – 158, 180.

«Народ» («*Narod*») – чешская общественно-политическая газета, основанная в 1863 *Ф. Палацким* и *Ф. Ригером*. – 167.

«Народные листы» («*Narodni listy*») – чешская ежедневная общественно-политическая газета, основанная в 1861 *Ф. Ригером*, орган национальной партии. – 167.

«Народные новины» («*Narodni noviny*») – ежедневная общественная политическая газета, издавалась Карелом Гавличек-Боровским в 1848–1850 (запрещена). – 167–171, 174.

Наумович Иоанн Григорьевич (1826–1891) – протоиерей, духовный писатель-просветитель, общественный деятель, выдающийся защитник русской народности в Австро-Венгрии. За приверженность к православию был отлучен папой Львом XIII от Церкви (униатской). – 201–292.

Неверов Януарий Михайлович (1810–1893) – писатель. – 8.

Неелов (П. Е.) – публицист, противник общины, автор статьи «О личном и общинном владении землей», опубликованной в «Русском вестнике». – 246.

Непир Чарльз (1786–1860) – английский адмирал. В 1854 году командовал английским флотом в ходе Крымской войны – 127.

Нечаев Сергей Геннадиевич (1847–1882) – политический деятель, анархист, террорист. – 364, 369, 370, 371, 378–379, 380–382.

Николай I (1796–1856) – Император Всероссийский (1825–1855). – 14.

Николай II (1868–1918) – Император Всероссийский (1894–1917). – 29.

Ноак Людвиг (1796–1854) – немецкий философ. – 652.

Нобель Людвиг Эммануилович (1831–1888) – крупнейший шведский нефтепромышленник, владевший значительным нефтепромышленным предприятием в России — в Баку. – 227–229.

«Новое время» – ежедневная газета прогрессивно-либерального направления, издавалась в Санкт-Петербурге с 1868 по 1917. – 206, 316–317, 461–464.

«Новости Биржевая газета» – ежедневная общественно-политическая газета, издавалась в Санкт-Петербурге с 1880 по 1906. – 222, 228.

Обручев Владимир Александрович (1836–1912) – отставной поручик, сотрудник *«Современника»*. В 1862 году за распространение *«Великорусса»* осужден на каторгу. В конце 70-х годов вновь принят на военную службу. Дослужился до генерал-майора. – 341.

Огарев Николай Платонович (1813–1877) – поэт, публицист, русский революционер. – 8, 340.

Огарева Мария Львовна (урожд. Рославлева) – жена Н. П. Огарева. – 8.

Орлов Владимир Федорович (ок. 1843–1989) – учитель, член группы С. Г. Нечаева. – 375, 381.

Островский, Александр Николаевич (1823–1886) – великий русский драматург. – 16.

Островский Михаил Николаевич (1827–1901) – государственный деятель. Член Государственного Совета, министр государственных имуществ в 1881–1893). – 740.

Павел – апостол из 70, ближайший ученик Христа, автор 14 посланий, входящих в Новый Завет. – 331.

Павлов Михаил Григорьевич (1792–1840) – философ и ученый, профессор Московского университета. – 6.

Палацкий Франтишек (1798–1876) – чешский политический деятель, историк, философ, организатор (1831) Матицы Чешской, с 60-х гг. XIX в. лидер партии старочехов. – 167.

Пальмерстон Генри Джон Темпл (1784–1865) – премьер-министр Великобритании в 1855–1858 гг., с 1859 г. — лидер партии вигов. – 137.

Панаев Иван Иванович (1812–1862) – прозаик, поэт, литературный критик, редактор. – 8.

Пелуз Теофиль Жюль (1807–1867) – французский химик. – 649.

Петр I (1672–1725) – русский царь, с 1721 г. Император России. – 73–74, 77, 418, 502, 598, 604, 610–611, 686.

Печорин Владимир Сергеевич (1807–1885) – русский общественный деятель, философ, поэт. В 1840 г. принял католичество. Жил в католических монастырях. – 450–451, 597.

Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) – революционный демократ, литературный критик и журналист. Неоднократно выступал против педагогических взглядов Каткова в печати. – 29, 500, 524, 624, 632–636, 638.

Писемский Алексей Феофилактович (1821–1881) – писатель. – 14–16.

Плоцанский Венедикт Михайлович (?–1902) – писатель, защитник русской народности в Галиции. – 201.

Победоносцев, Константин Петрович (1827–1907) – русский государственный деятель, правовед, обер-прокурор Синода (1880–1905), идеолог самодержавия. – 15, 30, 34.

Погодин Михаил Петрович (1800–1875) – историк, писатель, публицист, профессор Московского университета, академик, специалист по русской истории. – 9.

Пожарский, Дмитрий Михайлович (1578–1642) – князь, русский военный и государственный деятель, один из руководителей освободительной борьбы русского народа против польских и шведских интервентов в н. XVII в. – 604.

Полигистор Александр (род. около 105 г. до Р. Х.) – учитель детей римского писателя Корнелия Лентула. – 492.

«Порядок» – ежедневная газета, издавалась М. М. Стасюлевичем в 1881–1882 в Москве. – 316.

Потапов Александр Львович (1818–1886) – русский государственный деятель, шеф жандармов и начальник 3-го отделения. С 1868 года генерал-губернатор Северо-Западного края. – 327.

Прокофьев Наум – петербургский дворник, у которого врач С. П. Боткин обнаружил признаки чумы, что свидетельствовало о том, что вспыхнувшая на Волге Ветлянская эпидемия чумы добралась до столицы. Распространения, однако, здесь эпидемия не получила. – 93.

Протасов Николай Александрович (1798–1855) – граф, генерал-адъютант, обер-прокурор Синода в 1836–1855 гг. – 521.

Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) – французский социалист, теоретик анархизма. – 333–335, 397.

Пугачев Емельян Иванович (1744–1775) – организатор и вождь Крестьянской войны 1773–1775. – 587.

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) – великий поэт. – 8, 16–17, 535–612, 620.

Пытин Александр Николаевич (1833–1904) – литературовед, культуролог – 15.

Рафаэль Санти (1483–1520) – итальянский живописец и архитектор эпохи Возрождения. – 561, 628.

Рётшиер Генрих Теодор (1803–1871) – немецкий теоретик искусства. – 9.

Ригер Франтишек Ладислав (1818–1903) – барон, один из лидеров партии старочехов. Организатор издания первой чешской энциклопедии (1858–1874). – 167.

Рикардо Давид (1772–1823) – английский экономист, главное произведение — «Начала политической экономии и налогового обложения» (1817). – 245, 255, 261.

Рихтер Евгений (1838–1906) – депутат рейхстага, юрист. – 472.

Рудольф Вагнер (1805–1864) – немецкий физиолог и анатом. – 648.

«Русские ведомости» – ежедневная общественно-политическая газета, орган либеральной интеллигенции, издавалась в Москве с 1863 по 1918. – 205, 224.

«Русский вестник» – литературный и общественно-политический журнал. Издавался в Москве (1856–1887) и

Санкт-Петербурге (1887–1906). – 15–18, 20, 22, 24–26, 36, 246, 257, 332, 334.

«Русский летописец» – первый вариант названия журнала М. Н. Каткова, известного впоследствии как «Русский вестник». – 14.

«Русское слово» – ежедневная газета либерального направления, издавалась в Москве с 1985 по 1917. – 619.

Рюккерт Фридрих (1788–1866) – немецкий поэт, переводчик и ученый. – 9.

Рюрик – легендарный вождь варягов, призванный княжить на Русь. – 95.

Сабуров Андрей Александрович (1837–1916) – государственный и общественный деятель, министр народного просвещения в 1880–1881. – 467.

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826–1889) – писатель-сатирик, публицист. – 15–16.

«Санкт-Петербургские ведомости» – ежедневная (с 1800) газета, издавалась в Петербурге с 1728 по 1917. – 477.

Саркисовы (Саркисяны) Багдасар и Погос – армянские нефтепромышленники, владевшие месторождениями на Каспийском море. – 207.

Сахаров Иван Петрович (1807–1863) – собиратель и исследователь фольклора, этнограф и палеограф. – 10, 679, 687.

«Семья и школа» – российский педагогический журнал, выходил в Санкт-Петербурге с 1871 по 1888. – 725.

Серебрянский Андрей Порфирьевич (1808–1838) – поэт и публицист. – 614.

Смит Адам (1723–1790) – шотландский экономист и философ. – 245, 251.

«Современная летопись» – еженедельное приложение к «Русскому вестнику» (1861–1862), а в 1863–1870-х гг. – к «Московским ведомостям». – 18, 24, 167, 257, 328, 332, 334–335, 632, 724.

«Современник» – литературный и общественно-политический журнал, издавался в Петербурге в 1836–1866. – 25, 611, 627, 634–5, 673.

Сократ (469–399 до н.э.) – древнегреческий мыслитель. – 323.

Соловьев Александр Константинович (1846–1879) – учитель, член организации «Народная воля», осуществил покушение на *Александр II*, казнен. – 386.

Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879) – русский историк, автор многотомной «Истории России с древнейших времен». – 15.

Солсбери Роберт Артур Толбот Гаскойн-Сесил (1830–1903) – государственный деятель Великобритании, премьер-министр и министр иностранных дел. – 165.

Спасович Владимир Данилович (1829–1906) – известный судебный оратор и публицист, ученый-юрист. – 318, 320, 322.

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) – общественный и государственный деятель, законодатель и реформатор. – 661.

Станкевич Николай Владимирович (1813–1840) – философ, поэт, глава знаменитого литературно-философского кружка. – 8, 12, 614.

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911) – известный общественный деятель либерального направления, публицист, редактор, историк. – 316–324, 671–672, 675.

Степанов В. Л. – биограф *Д. А. Толстого*. – 27.

Строганов Сергей Григорьевич (1794–1882) – граф, государственный деятель, коллекционер, меценат. – 6, 11, 13.

Строев Сергей Михайлович (1815–1840) – историк. – 8.

«*Сын Отечества*» – исторический, политический и литературный журнал, выходил в Петербурге с 1812 по 1852. – 14.

Татищев Александр Александрович (1823–1895) – Крестецкий уездный (Новгородской губернии) предводитель дворянства, губернатор Пензы. – 399.

Тенгоборский Людвиг Валерианович (1793–1857) – экономист, статистик и государственный деятель. – 210.

Тиберий Гракх (163–133 до н.э.) – древнеримский политический деятель. – 275.

Тихонравов Николай Саввич (1832–1893) – историк русской литературы. – 15.

Ткачев Петр Никитич (1844–1885) – идеолог революционного народничества, публицист. – 381–382.

Толстой Алексей Константинович (1817–1875) – поэт, прозаик, драматург. – 16.

Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889) – граф, государственный деятель, член Государственного Совета, министр просвещения (1866). – 27, 508, 714, 716, 718, 733, 740.

Толстой Лев Николаевич (1828–1910) – граф, русский писатель. – 15–16, 22.

Тредиаковский Василий Кириллович (1703–1769) – русский ученый и поэт. – 402.

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) – русский писатель, публицист, мемуарист. – 15–17, 22, 26, 616–647, 647–671, 671–676.

Тьер Адольф (1797–1877) – французский государственный деятель, ученый-историк. – 333–335, 338.

Уваров Сергей Семенович (1786–1855) – граф, государственный деятель, президент Петербургской Академии наук (1818–1855), министр народного просвещения (1834–1849). – 6.

Фарнхаген Фон Энзе Карл Август (1785–1858) – немецкий писатель, критик, переводчик – 17, 535–537.

Фейербах Людвиг (1804–1872) – немецкий философ, основоположник антропологического материализма. – 652.

Фет (Шенишин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892) – поэт. – 16.

Фиркс Федор Иванович (1812–1872) – барон, официальный публицист, автор брошюр, дискредитирующих Россию. Критиковал Герцена и вел полемику с Катковым. – 346–351.

Филарет Московский (в миру – *Василий Михайлович Дроздов*) (1783–1867) – святой, митрополит Московский, богослов, проповедник, общественный деятель. – 112–124, 455, 523–524.

Флоке Шарль-Тома (1828–1896) – французский политический деятель. – 33.

Фогт (Фохт) Карл (1817–1895) – немецкий естествоиспытатель и философ, вульгарный материалист. – 625, 634.

Франклин Джон (1746–1847) – английский путешественник и исследователь, пропавший в ходе экспедиции в Арктику. – 641.

Фреми Эдмонд (1814–1894) – французский химик. – 649.

Фридрих-Вильгельм (1688–1740) – король Пруссии (1713–1740) из династии Гогенцоллернов. – 129.

Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович (1595–1657) – гетман Украины, завершивший воссоединение Украины с Россией (Переяславская рада 1645 г.). – 202.

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) – философ, публицист, поэт, православный богослов, основоположник славянофильского направления русской мысли 30–50-х годов XIX в. – 9, 12.

Худяков Иван Александрович (1842–1876) – революционер, фольклорист и этнограф. – 364, 369.

Цезарь Гай Юлий (100–44 до н.э.) – римский полководец; консул, а затем и военный диктатор Рима. – 378.

Цитович Петр Павлович (1843–1913) – профессор, сенатор, журналист, ученый-правовед, автор учебников по правоведению и книг, посвященных разбору поведения литературных героев с точки зрения уголовного законодательства. – 383–384, 386–387.

Черкесов – санкт-петербургский мировой судья, был арестован по подозрению в соучастии с революционерами. – 362.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) – русский писатель, философ западнического направления русской мысли. – 16, 21, 25, 383, 385–386, 388, 624, 629, 673.

Чичерин, Борис Николаевич (1828–1904) – русский правовед, философ, историк, представитель «государственной школы» в российской историографии. – 15.

Шаликов Петр Иванович (1768–1852) – князь, писатель и журналист. – 13.

Шедо-Феротти – псевдоним *Фиркса Ф. И.* (см.). – 352.

Шекспир Вильям (1564–1616) – великий английский поэт и драматург. – 9, 12, 545.

Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775–1854) – философ, представитель немецкой классической философии. – 8, 11–13.

Шереметев Борис Петрович (1652–1719) – военный деятель, дипломат. – 611.

Шибяев Сидор Мартынович (?–1888) – богородский 1-й гильдии купец, фабрикант. – 217.

Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805) – немецкий поэт, драматург, теоретик искусства. – 343–333, 628.

Шницлер Иоганн Генрих (1802–1871) – эльзасский статистик и историк, был известен как горячий почитатель России. – 79–80.

Шувалов Петр Андреевич (1827–1889) – граф, государственный деятель, дипломат, шеф корпуса жандармов и начальник Третьего отделения (1866–1874), ближайший советник *Александра II*. – 711.

Щегловитов Семен Григорьевич – биограф М. Н. Каткова. – 7.

Щепкин Михаил Семенович (1788–1863) – великий русский артист, один из основоположников реализма в русском театре. – 7.

Эмпедокл (492–ок. 432 до н.э.) – древнегреческий философ, поэт, врач, политик и религиозный деятель. – 636–637.

Эразм Роттердамский (1469–1536) – священник, католический писатель, богослов, библеист, ученый-филолог. – 425.

Якубович Андрей Федорович (70-е XVIII в.–40-е гг. XIX в.) – литератор, издатель «Древних русских стихотворений, собранных Киршей Даниловым»). – 687.

«Agence Generale Russe» («Главное представительство России») – официальная газета, издавалась на французском языке в Санкт-Петербурге. – 506.

«*Allgemeine Zeitung*» («*Всеобщая газета*») - общенациональная ежедневная немецкая газета, издавалась с 1798 по 1929 годы, с 1807 по 1882 – в Аугсбурге, под названием «*Augsburger Allgemeine Zeitung*». – 303, 364.

«*Dziennik Poznanski*» («*Познанский ежедневник*») – польская ежедневная общественно-политическая газета, издавалась с 1859 по 1939. – 203.

«*Gazeta Narodowa*» («*Национальная газета*») – польская общественно-политическая газета, орган антирусской партии, издавалась во Львове с 1862 по 1915. – 205.

«*Jahrbucher fur wissenschaftliche Kritik*» («*Ежегодник научной критики*») – немецкий научный журнал, издавался в Берлине с 1827 по 1846. – 537.

«*Journal des Debats*» («*Журнал обсуждений*») – французская общественно-политическая газета, издавалась с 1789 по 1944. – 156.

«*Journal de St.-Petersbourg*» («*Санкт-Петербургский журнал*») – ежедневная газета, издававшаяся Министерством иностранных дел России в 1825–1914. – 43–44, 46, 49–50, 156, 506, 514.

«*L'Opinion nationale*» («*Национальное мнение*»). – французская газета. – 75.

«*Le Nord*» («*Север*») – ежедневная политическая газета на французском языке, субсидированная правительством России. Издавалась в Брюсселе в 1855–1862, 1865–1872 и в Париже в 1863–1864, 1894–1907. – 166.

«*National-Zeitung*» («*Национальная газета*») – немецкая ежедневная общественно-политическая газета, издавалась в Берлине с 1848 по 1938. – 156.

«*Norddeutsche Allgemeine Zeitung*» («*Северогерманская всеобщая газета*») – ежедневная немецкая газета; в 60–80-х годах – официальный орган правительства Бисмарка; выходила в Берлине с 1861 по 1918. – 373.

«*Politische Correspondenz*» («*Политическая корреспонденция*») – ежедневная общественно-политическая газета, издавалась в Вене. – 166.

«*Stahl und Eisen*» («*Сталь и металл*») – немецкий журнал, посвященный металлургической промышленности. Издается с 1881 по настоящее время. – 226.

«*The Times*» – ежедневная английская газета, издается в Лондоне с 1785 по настоящее время. – 501–502, 508.

Указатель составили Ю. Климаков и Д. Орлов

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 5

РАЗДЕЛ I. ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА РОССИИ37

Власть и общество	37
Вопросы самоуправления	37
Новые реформы	43
Потребность прочного единения	52
Условия плодотворности реформ	59
Цельность и однородность русского государства	67
Неразрывная связь русского народа с Верховной властью	82
Что значит слово «реакция»?	85
Единственный царский путь.....	86
Свобода и власть	87
Панургово стадо.....	91
Земля и государство	95
Годовщина события 1-го марта.....	97
Государственный патриотизм	100
К какой принадлежим мы партии?	100
Столетний юбилей митрополита Филарета.....	112

РАЗДЕЛ II. ЗАДАЧИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ ...125

Россия и Европа	125
Истинный и разумный патриотизм	125

Мнимое и действительное.....	136
Русский вопрос в Европе	145
В чем состоит национальная политика России	149
Важность для России истинно-национальной политики	152
Задачи внешней политики России	156
Истечение срока Тройственного союза и страх Европы перед свободной Россией	163
Россия и славянство	167
Славянство и русский язык	167
Славянские первоучители	175
Польский вопрос	179
Польский вопрос	179
Польское восстание не есть восстание народа, а восстание шляхты и духовенства	191
Защита русской народности за рубежом	200
Русские галичане и «польская справа»	200
РАЗДЕЛ III. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА	205
Отечественная промышленность	205
Мнимая бедность России	205
Естественные богатства России	213
При каких условиях могла бы у нас развиться техника?	218
Необходимость покровительства народной промышленности	221
Заботы нефтепромышленников о пользе Отечества	226
Сельское хозяйство	230
Русская сельская община	230
Причина обеднения крестьян	286
РАЗДЕЛ IV. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЯЗВЫ РОССИИ	292
Либерализм и антипатриотизм интеллигенции	292

Истинный и фальшивый либерализм	292
Либерализм в России	297
Наше варварство – в нашей иностранной интеллигенции	300
«русский народ» и Петербургская интеллигенция» (ответ Кавелину)	305
Национальная и антинациональная партии в России	310
Постом и молитвою искупим нашу вину	315
Процесс Стасюлевича (Долг честного гражданина)	316
Уважение нашей интеллигенции ко всякой доблести нерусской	324
Нигилизм и революционное движение	328
Заметка для издателя «Колокола»	328
Ответ на книгу Шедо-Ферроти	346
Кто наши революционеры?	362
Процесс нечаевцев	373
Нигилизм по брошюре проф. Цитовича	383
Общественная апатия и самоуничижение	389
Страсть к поруганию и самоуничижению	389
Причина скудости и бессилия русской народной жизни	395
Дилетантизм и пустословие	400
Элегическая заметка	400
Пьянство	406
Необходимость сокращения кабаков	406
РАЗДЕЛ V. ОСНОВЫ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ	411
Православие – основа русской народности	411
В России есть национальная Церковь	411
Пастырь и паства	414
Неправильности в положении Православной Церкви и православного духовенства в России	414
Необходимость уничтожения касты в православном духовенстве	419
Гнет, тяготеющий над русской церковной жизнью	425

Православие и раскол	428
Вопрос о расколе	428
Веротерпимость, ее сущность и границы	434
Причина происхождения раскола и путь к его уничтожению	440
Православие и католицизм	446
О свободе совести и религиозной свободе	446
(римско-католическое исповедание)	446
Церковно-славянский язык – язык Русской Церкви	454
К вопросу о переводе Св. Писания со славянского языка на русский	454

РАЗДЕЛ VI. ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Высшая школа	461
О необходимости изменения университетских экзаменов	461
Ключ предстоящий реформы университетов	465
Университетский вопрос	469
Среднее образование	477
Значение классической школы как общеобразовательной	477
Значение концентрации	482
Возобновившаяся агитация против учебной реформы	500
Церковно-приходские школы	515
Церковь и народная школа	515
Церковно-приходские школы	521

РАЗДЕЛ VII. ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Пушкинская тема	535
Отзыв иностранца о Пушкине, статья Фарнхагена фон Энзе	535

СОДЕРЖАНИЕ

Пушкин	537
Кого чествует Россия в лице А.С. Пушкина	604
Кольцов	612
Несколько дополнительных слов к характеристике Кольцова	612
Тургенев	616
Роман Тургенева и его критики	616
О нашем нигилизме по поводу романа Тургенева.....	647
Тургенев.....	671
Достоевский	676
Характеристика внутреннего мира Достоевского	676
Русский язык и древнерусская литература	679
Песни русского народа, изданные И. Сахаровым. Пять частей. Санкт-Петербург, 1838–1839.....	679
Задачи русской печати	703
Русская политическая печать	703
Право публичного обсуждения государственных вопросов есть служение государственное.....	706
РАЗДЕЛ VIII. ПИСЬМА К АЛЕКСАНДРУ II И АЛЕКСАНДРУ III	709
Письмо первое	709
Письмо второе	712
Письмо третье	719
Письмо четвертое	729
Письмо пятое	735
Письмо шестое	736
КОММЕНТАРИИ	743
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ	768

**ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ВЫПУСКАЕТ
БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ
РУССКОГО НАРОДА**

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

- Русская цивилизация *(вышел)*
- Русское Православие *(выйдет в 2009 г.)*
- Русское государство *(вышел)*
- Русский патриотизм *(вышел)*
- Русское мировоззрение *(вышел)*
- Русский образ жизни *(вышел)*
- Русская география
- Русское хозяйство *(вышел)*
- Международные отношения
- Национальные отношения
- Русская литература *(вышел)*
- Русское искусство
- Русский театр
- Русская музыка
- Русская наука
- Русская школа
- Русское воинство
- Памятники Отечества
- Русские за рубежом
- Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организаций. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

Автономная некоммерческая организация Институт русской цивилизации создана в октябре 2003 г. для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Предшественником Института был Научно-исследовательский и издательский центр «Энциклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований, конференций, семинаров и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 20-томной «Энциклопедии русского народа», а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма.

Редактор Д. В. Орлов
Корректор Е. Г. Титова
Компьютерная верстка Д. Е. Поляков
Институт русской цивилизации Тел.: 8-499-242-50-80.

Подписано в печать 17.12.2008 г. Формат 84 x 108 ¹/₃₂.
Гарнитура «Times». Объем 38,5 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.